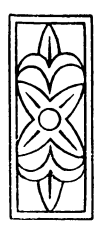
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

$\frac{7-2-2}{299—72}$

ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛАТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X–XII веков



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1972

Ответственные редакторы:
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК и М. Л. ГАСПАРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1970 г. в издательстве «Наука» вышел сборник «Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков». Это была первая попытка познакомить советского читателя с важнейшей из средневековых западноевропейских литератур, ранее почти ему неизвестной. Настоящий сборник служит продолжением названного. Он построен по тому же плану: две большие статьи, посвященные двум большим периодам латинской средневековой литературы, затем небольшие заметки об отдельных авторах или группах авторов, и при них — переводы образцов их произведений.

Два периода, охватываемые настоящим сборником, — это X—XI века, время подступа к так называемому высокому средневековью, и XII век, время расцвета так называемого высокого средневековья. Это эпоха, когда средневековая европейская культура раскрывается во всей своей полноте и своеобразии, а также во всей своей противоречивости. XII век часто называют «средневековым возрождением», а культуру XII века — «средневековым гуманизмом». Эти понятия, сплошь и рядом употребляемые буржуазной наукой без достаточного прояснения и обоснования, до сих пор не получили должного раскрытия в советской науке. Задача настоящего сборника — предложить достаточный материал для обсуждения проблемы средневекового гуманизма.

Составители сборника ни в коей мере не пытались предрешать результаты такого обсуждения. Полная характеристика специфики средневекового гуманизма — дело сложное и требующее долгих совместных усилий историков, филологов и искусствоведов. Одно лишь ясно уже теперь — средневековый гуманизм существовал, средневековье не было «бесчеловечным» провалом в истории духовного развития человечества. Средневековье создало свою картину мира, стройную и до мелочей рассчитанную и соразмеренную, человек был гармонической частью этого мира и поэтому в каком-то смысле служил в нем «мерой всех вещей». Этот средневековый гуманизм ни в коей мере не тождествен с гуманизмом античным, или гуманизмом Возрождения, или гуманизмом Просвещения, но это не мешает ему быть и оставаться гуманизмом — формой утверждения человека в мироздании.

Проявления средневекового гуманизма многообразны. Он находит выражение и в богословских сочинениях, и в светских панегириках; и в религиозной лирике, и в мирской песне; и в ученом подражании античным образцам, и в живой разговорности сатиры или притчи. В соответствии с этим многообразен и материал настоящего сборника. Читатель найдет здесь и первые образцы любовной лирики («Кембриджские песни», поэзия вагантов), и медитативные элегии (Хильдеберт Лаварденский), и страстные гимны (Хильдегарда Бингенская, Адам Сен-Викторский), и поэмы на античные сюжеты («Александреида» Вальтера Шатильонского), и первый в Европе рыцарский роман («Руодлиб»), и первые средневековые драмы («Посещение гроба», «Действо об Антихристе»), и сочинения историков крестовых походов (Гвиберт Ножанский, Гийом Тирский), и сочинения богословов и философов (Ансельм Кентерберийский, Петр Абеляр, Бернард Клервоский). Почти все памятники, публикуемые в этом томе, появляются на русском языке впервые.

Сборник подготовлен сектором античной литературы Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР.

Продолжением настоящего сборника должен служить сборник «Памятники средневековой латинской литературы XIII в.».

ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ИМПЕРИЕЙ И ПАПСТВОМ (X–XI вв.)

X—XI века в истории Европы были временем окончательного складывания феодального строя. Кризис начала X в. застал ее еще в состоянии социально-политического хаоса, а к концу XI в. мы уже находим во всех основных ее государствах развитую систему феодальных отношений, сложную и гибкую, в ее классическом западноевропейском облике. Земля с прикрепленными к ней крестьянами, над ней — целая иерархия держателей-феодалов: император или король, под ним герцоги, под ними графы, под ними бароны и виконты, под ними простые рыцари; каждый вассал получает держание только от своего непосредственного сеньора и обязан верностью только ему, каждое держание наследственно и не выходит из родового владения; рядом с этой иерархически организованной светской властью — столь же иерархически организованная духовная власть: римский папа, ему подчинены архиепископы, им — епископы, тем — приходские священники, особняком держится только черное духовенство в монастырях — таков западноевропейский феодализм, каким он сложился в X—XI вв.

В этой разветвленной системе отношений действовали свои центробежные и центростремительные силы. Центробежные силы в светской организации выступали в лице местных феодалов, в духовной организации —в лице монастырей, разрозненных и выпадавших из общецерковной иерархии, подвластных влиянию местной знати. Центростремительные силы в светской организации выступали в лице короля или императора, в духовной организации — в лице папы и иерархической епископальной сети. В начале X в. и королевская и папская власть переживали кризис: королевская власть была доведена последними каролингами до полного бессилия, папство было игрушкой в руках римских феодалов и их любовниц («порнократия», «блудовластие» — назвали впоследствии этот период истории папства). X век стал в истории Европы веком реставрации империи, XI век — веком реставрации папства.

Латинская литература — литература на языке всеевропейском, международном, ни для кого не родном — всем существом своим

была связана именно с центростремительными, объединяющими тенденциями европейского общества и культуры. Время Карла Великого было придворным периодом истории латинской литературы, каролингский IX век — монастырским периодом; в X—XI вв. латинская литература покидает монастыри с их партикуляристскими тенденциями, и центр тяжести ее перемещается в епископские города с их централистскими тенденциями. При дворе Карла средневековая латинская литература торопливо набиралась античных культурных запасов из впервые собираемых древних рукописей. В тиши монастырей происходило медленное усвоение этих античных традиций, их переработка, их скрещивание с традициями местной народной культуры. Теперь средневековая латинская литература, сложившись и окрепнув, выходит на открытый простор общественной жизни, политической и идейной борьбы. Пора ученичества для нее закончена, она обретает свой собственный голос.

Но на пути из монастырских келий в епископские палаты латинская литература должна была пройти еще один этап. Политические обстоятельства сложились так, что в X в. реорганизация императорской власти, блестящая, но кратковременная, опередила реорганизацию церковной власти, более медлительную, но более основательную и прочную. Поэтому во второй половине X в. культурным центром Европы на недолгое время вновь стал императорский двор — это так называемое оттоновское возрождение, ослабленное повторение каролингского возрождения.

1

Политическими обстоятельствами, которые повели в середине X в. к созданию оттоновской империи, были натиски на Германию славян со стороны Эльбы и венгров со стороны среднего Дуная — последняя угасающая волна великого переселения народов. Необходимость отпора сплотила Германию (настолько, насколько это было возможно) вокруг новой королевской династии — саксонской, Лиудольфингской. Ее основатель Генрих I Птицелов (919—936) укрепил славянскую границу новыми городами-крепостями, отодвинул французскую границу присоединением Лотарингии к Германии, нанес первое серьезное поражение венграм. Его сын Оттон I Великий (936—973) перешел в решительное контрнаступление против славян, разгромом при Лехе (955) положил конец венгерским набегам, взял под свой контроль династическую борьбу каролингов и робертингов в бессильной Франции, браком с итальянской королевой Адельгейдой (Аделаидой) сделал Италию своим вассальным владением, в 962 г. венчался в Риме императорской короной по примеру Карла Великого, в 972 г. женил своего сына на византийской принцессе Феофано. Возрожденная империя достигла предела в своем внешнем величии. Такой она перешла к сыну императора, Оттону II (972—983), и внуку, Оттону III (983—1002).

Императорам новой империи все время приходилось бороться с непокорностью могущественных местных герцогов (Баварии, Швабии, Франконии, Лотарингии). В этой борьбе со светскими феодалами императорам нужна была опора. Такой опорой стали церковные феодалы, епископы и архиепископы. Для императора это были такие же вассалы, как герцоги или графы, с той только выгодной разницей, что церковные феоды не передавались по наследству и поэтому крепче зависели от императорской власти. Поэтому Оттоны прежде всего заботились о замещении епископских и архиепископских кафедр преданными им людьми и об округлении их земель за счет прирезок от уделов светских феодалов или от монастырей. Так, при Оттоне I кельнским архиепископом был брат императора Брунон, архиканцлер, дипломат и меценат, второй после Оттона человек в государстве, майнцским — незаконный сын императора Вильгельм, трирским — двоюродный брат императора Генрих, а богатство церковных феодалов было таково, что при Оттоне II они поставляли для императорской армии больше средств и сил, чем светские феодалы. На церковных магнатах держалось внутреннее единство империи — каждая смена императоров (особенно, если император был малолетний и нуждался в регентстве) сопровождалась сепаратистскими порывами герцогов и централистским нажимом архиепископов. На церковных магнатах держалась внешняя политика империи — безопасность на французской границе обеспечивали архиепископы кельнский и трирский, на славянской границе — магдебургский и бамбергский. Наоборот, монастырям саксонские императоры не покровительствовали, отнимали у них земли в пользу епископств, пытались вернуть их от привольной жизни IX в. к прежнему аскетизму и всячески старались, чтобы епископы главным образом воздавали кесарево кесарю, а монахи — божее богу. Исключение составляли новооснованные монастыри, настоятелями которых были лица императорского рода или близко с ним связанные: Гандерсгейм, Кведлинбург, Нордгейм и др.; они служили такой же опорой императорской власти, как и епископства.

Этот социально-политический блок императорской власти и церковных феодалов определяет и особенности культуры в оттоновское время, отличающие ее от культуры каролингского времени или сближающие с ней. Важнейших таких особенностей можно насчитать четыре.

Первая особенность оттоновской латинской культуры — ее германская (и даже у́же — саксонская) замкнутость, столь непохожая на всеевропейскую «открытость» каролингской культуры. Причина этого в том, что немецкая церковь всеми силами подчеркивала свою связь с германской королевской властью и свою независимость от Рима и остальной церковной сети. Конечно, и оттоновской культуре приходилось начинать с ученичества у иноземных или периферийных учителей — из Лотарингии (где еще доживали свой век ирландские монахи), из Италии (связь с которой окрепла

после женитьбы Оттона I на Адельгейде), даже из Византии (откуда приехала к Оттону II Феофано и куда собирались выдать замуж племянницу Оттона Великого Гедвигу). Сам Брунон Кельнский, ученейший человек оттоновского двора, усвоил свои знания от лотарингца Бальдерика Утрехтского, ирландца Израиля и, наконец, от того неугомонного Ратхера Веронского-Люттихского, которого равно можно считать и лотарингцем, и итальянцем. Из Италии приехал как эмигрант служить пером немецкому двору и Лиутпранд, самый талантливый в старшем поколении оттоновских писателей. Но ни Ратхер, ни Лиутпранд не прижились при императорском дворе и не оставили там учеников. Германские монахи гордились традициями каролингской культуры и на пришельцев смотрели свысока. Итальянский грамматик и богослов Гунцо Новарский, приглашенный Оттоном I в Германию, проезжая Санкт-Галлен, обмолвился в латинской беседе с местными монахами винительным падежом вместо творительного. Его тут же попрекнули этим так едко, что в отместку он написал огромное письмо (к монахам Рейхенау, вечным соперникам Санкт-Галлена), полное язвительнейших обличений санкт-галленского буквоедства и полное эффектного щегольства собственной широкой ученостью. Письмо Гунцо написано блестяще, оно напоминает лучшие страницы Лиутпранда, но весь талант его автора пропал зря: по приезде в Германию, Гунцо исчезает где-то в глуши, не оставив ни сочинений, ни учеников. Литературная продукция X в. создается в Германии собственными силами и посвящена собственным интересам. В высшей степени характерно, что Видукинд в своей «Истории» представляет Оттона I, своего героя, исключительно как германского короля, а об его итальянской политике, отношениях с Римом и императорском венчании говорит почти мимоходом — для него это не события.

Вторая особенность оттоновской культуры — ее децентрализованность. Причина этого — в том, что духовная деятельность сосредоточивается теперь не при императорском дворе, а в епископских городах и в новооснованных монастырях. Никакого подобия «академии» Карла Великого при Оттонах не существует; имеется придворная школа, с трудом налаженная Бруноном, но она едва обеспечивает потребности императорской канцелярии. Придворная ученость поддерживается скорее для блеска, чем для дела: мать императора Матильда, жена Адельгейда, дочь Матильда Кведлинбургская, племянницы Герберга и Гедвига славятся своей образованностью, но сам Оттон Великий по-латыни не умеет не только читать, но и понимать. Оба главные памятника панегирической литературы об Оттоне и его династии созданы не при дворе, а в монастырях — это «История» Видукинда Корвейского, заказанная Матильдой, и поэма «Деяния Оттона» Хротсвиты Гандерсгеймской, ученицы Герберги. «История» Видукинда — это прежде всего прославление доблестей саксонского племени и военных подвигов Оттона, поэма Хротсвиты — это прежде всего домашняя хроника императорского двора; первый перерабатывает героические сказа-

ния, вторая — семейные предания; специфически-религиозного пафоса нет ни в том, ни в другом произведении, и все-таки это продукты монастырской литературы, рассчитанные на местную, саксонскую публику, а не на общеимперское распространение: популярности они не имели, и рукописи их малочисленны. Виднейшие деятели и покровители оттоновской церкви нашли своих биографов: жизнеописания матери императора Матильды, Брунона Кельнского, Удальриха Аугсбургского, Бернварда Гильдесгеймского представляют интереснейший материал для характеристики эпохи; но это произошло потому, что почти все они были епископами, и память о них хранилась в епископских городах; сам же Оттон Великий остался без биографии, он не нашел своего Эйнхарда, потому что при нем не существовало того придворного ученого круга, откуда мог бы выйти новый Эйнхард.

Третья особенность оттоновской культуры — усиление в ней христианского моралистического духа и ослабление античного светского духа. Это уже не столько контраст, сколько преемственность с каролингской культурой. Вергилианский идеал и библейский идеал могли мирно сосуществовать лишь на первых порах каролингского возрождения, в «академии» Карла; далее, в монастырский период, вергилианский идеал все больше стушевывается перед библейским; в оттоновский период, под влиянием союза императора и церкви, эта тенденция еще более усилилась. Вергилий, буколический и героический, впервые теряет свое первое место среди античных образцов. Теперь наиболее почитаемыми авторами становятся самые сентенциозно-моралистические — Теренций, Гораций (Горация знали в это время только как автора моралистических «Сатир» и «Посланий», «Оды» читались лишь кое-где в Италии), Персий, Ювенал. Начитанность в этих авторах давала подчас неожиданные результаты: так, в «Жизнеописании Матильды» портрет короля Генриха I описывается фразами из Теренциевой «Девушки с Андроса». Впрочем, даже чтение таких нравственных писателей казалось порой предосудительным, ибо все же они были язычники; и биограф Брунона Кельнского, сообщив, как хорошо знал его герой Теренция, спешит добавить: «но при этом наименее его занимало содержание, наиболее же — словесное искусство» (правда, это не помешало после смерти Брунона появиться рассказу-«видению», будто Христос и святые на небесах упрекали его в чрезмерной любви к языческим авторам, и только заступничество апостола Петра его спасло). Точно так же рассуждала и Хротсвита, когда, пленившись разговорным изяществом комедий Теренция, она поставила своей целью воспроизвести это «словесное искусство», но наполнить его языческую форму благочестивым содержанием из житий святых. Ученые иногда условно называют X—XI вв. в латинской литературе «горацианско-теренцианским возрождением», в отличие от предшествующего «вергилианского возрождения» IX в. и последующего «овидианского возрождения» XII в. Это удобная номенклатура, однако следует помнить,

что в собственном смысле слово «возрождение» к оттоновскому времени применимо еще менее, чем к каролингскому: здесь не было сознательного обращения к традициям дальних предков через голову ближних предков, здесь было добросовестное продолжение традиций ближних предков в том виде, в каком они определились к концу монастырского периода.

Наконец, четвертая особенность оттоновской культуры — это ее ученость и аристократизм. Это опять-таки скорее объединяет, чем разъединяет, оттоновскую культуру и культуру предшествующего периода. В каролингских монастырях, которые были островками латинского языка и латинской культуры в море «варварского» германского населения, рано наметились две противоположные тенденции развития: одна — к изоляции от народного окружения, к уходу в самодовлеющую ученость и изысканность, в игру пышным и темным стилем античных реминисценций, другая — к сближению с народным окружением, к использованию народных тем в латинских стихах и латинских литературных форм в стихах на народном языке. Оттоновская эпоха решительно поддержала первую тенденцию в ущерб второй: и епископства, и ведущие монастыри тесно связаны с двором и слабо связаны с народом, внешний словесный блеск важнее для них, чем доходчивость и популярность. Самый разительный пример действия этой тенденции — полное прекращение литературного творчества на немецком языке: между опытами IX в. (Отфрид Вейсенбургский, «Муспилли», «Хелианд») и опытами XI в. (переводы Ноткера Немецкого) оттоновская эпоха зияет провалом в истории немецкой литературы. Но и латинская литература этих лет старается быть как можно менее народной и как можно более книжной: это сказывается и в языке, и в стиле, и в метрике, и жанровом своеобразии ее произведений.

Латинский язык в средние века не был мертвым языком, он был языком живым, разговорным, на нем говорили и в школе, и в канцелярии, и при епископском дворе, но в литературе этих лет, и школьной и деловой, и «высокой», это не чувствуется нигде: книги пишутся языком книжным, искусственным, их фразы сшиты из обрывков фраз античных и церковных классиков или построены по их образцу. Образцами чаще всего являются: для историков Саллюстий, для поэтов Теренций, Гораций и Пруденций, для всех вообще — Библия, Августин и другие отцы церкви. Лишь изредка у наиболее талантливых авторов (у Ратхера, у Лиутпранда, в диалогах Хротсвиты) это ученое наследие Возрождения оживляется индивидуально окрашенной интонацией.

Латинский стиль этих лет отмечен новшеством, характерным именно для ученого, эстетского вкуса — воцарением рифмы. Рифма в европейской литературе зародилась не в стихах, а в прозе — в латинской риторической прозе с ее любовью к параллелизму, сопровождаемому порой невольным созвучием окончаний (гомеотелевтон). Среди христианских писателей мастером такой прозы был

Августин, у него вкус к ней переняли писатели раннего средневековья, сознательно культивировать рифму в прозе стал, как кажется, Венанций Фортунат. Каролингское возрождение с его классическими вкусами задержало развитие рифмованной прозы, но в X в. она расцветает вновь, ярче всего у Хротсвиты, и к XI в. затопляет всю латинскую литературу, сколько-нибудь притязающую на художественность: проповеди, жития, письма, даже папские указы, в меньшей степени историю, в наименьшей богословские трактаты. Рифма здесь пока еще примитивна, односложна, и на нынешний слух почти неуловима: «католики — поступки» в начале пролога Хротсвиты для нас вряд ли рифма, но для средневекового читателя, привыкшего читать по слогам, это была рифма. (В нашем издании рифмованная проза передана — с некоторым усилением — лишь в переводе Хротсвиты, в остальных же памятниках не соблюдена.) Из прозы рифма — тоже поначалу простая, односложная — перешла в поэзию: в IX в. метрические стихи с рифмованными полустишиями («леонинские» гексаметры и пентаметры) и ритмические стихи с рифмованными концами были еще сравнительно редки, в X—XI вв. они становятся массовым явлением. (В нашем издании звучание леонинского стиха точнее всего передано в переводе «Весны» Марбода, менее точно — в переводах из Примаса Орлеанского, совсем не передано в переводе «Руодлиба».)

Латинские жанры этих лет переживают полосу экспериментов, понятных именно в условиях ученого, эстетского отношения к литературе. Их творцы действуют на свой вкус и на свой риск, не имея ни предшественников, ни последователей. Хротсвита пишет ученые житийные пьесы в век, когда грамотная Европа понятия не имеет о театре; только через триста лет одна из ее пьес дойдет до подмостков. Ратхер Веронский превращает свои обличительные трактаты в исповедь, самоанализ и саморазоблачение: предшественников его приходится искать за триста и за пятьсот лет в Исидоре и Августине, а преемников — через сто и полтораста лет в Отлохе и Ансельме. Лиутпранд пишет историю, как памфлет, полный личных выпадов против политических противников и пересыпанный стихотворными вставками на боэтиевский философский образец. Через полтораста лет, в эпоху публицистической борьбы между империей и папством, такой ученый и воинственный дух никого не удивил бы, но в X в. он одинок. Такими одиночками были все талантливые писатели оттоновского века: они экспериментировали с небывалой смелостью, но результаты их экспериментов или должны были ждать отклика очень долго, или не находили его совсем. Они слишком возвышались над общим уровнем культуры своего времени.

Именно эта погоня за ученостью и изысканностью, именно этот новый, слишком поспешный отрыв латинской культуры от народной культуры был причиной столь быстрого надлома оттоновского возрождения. Точно так же и в политике отрыв от германских национальных интересов и погоня за идеалом вселенской им-

перии были причиной быстрого надлома саксонской династии. Рубежом здесь оказалось правление Оттона III, фанатического юноши, мечтавшего о водворении на земле в «юбилейном» 1000 году августиновского идеала «града божия» с императором и папой во главе. Он перенес свою столицу в Рим, писал на печатях «Обновление империи римской», сделал папой своего наставника Герберта, ученейшего человека в Европе и такого же политического идеалиста, как он (Герберт принял папское имя Сильвестра II в память о том Сильвестре I, который был папой при Константине Великом), ходил на поклонение к мощам Карла Великого и к итальянским отшельникам-аскетам, окружил себя двором византийского образца, вел переговоры с константинопольским императором, а Германию целиком оставил в управление епископам и герцогам. Кончилось это в 1002 г. скоропостижной смертью 23-летнего Оттона III, а через несколько месяцев — смертью Герберта-Сильвестра. На Оттоне III кончилась линия прямых потомков Оттона Великого, а на его преемнике Генрихе II Баварском (1002—1024) — и вся династия Лиудольфингов; ее сменила новая династия, франконская, в лице Конрада II (1024—1039) и Генриха III (1039—1056). Новые императоры вернулись от вселенской политики к германской политике, в Италию ходили походами лишь для коронации и наведения порядка, а в Германии по-прежнему опирались на епископов и боролись с герцогами.

Для латинской культуры в Германии это все означало прежде всего смещение географического центра. Саксонские монастыри Корвей и Гандерсгейм, державшиеся лишь покровительством саксонских императоров, приходят в упадок. Последний запоздалый представитель саксонского оттоновского возрождения — это Титмар Мерзебургский (975—1018), епископ пограничного города, сам участвовавший в походах, написавший драгоценную для историков хронику, главный предмет которой — Саксония, главные события — войны со славянами, а стиль — потуги на ученую красивость (вплоть до стихотворных вставок), так хорошо дававшуюся предыдущему поколению и очень плохо дающуюся Титмару. После этого латинская культура в северной Германии надолго иссякает; центр ее вновь перемещается в южную Германию с ее более давними и прочными культурными традициями.

Южная Германия — Швабия и Бавария — находилась в оттоновской империи на особом положении. В политическом отношении она всегда стояла в оппозиции к саксонским императорам и была вечным очагом герцогских мятежей. В духовном отношении она стояла в оппозиции к насаждавшимся сверху культурным центрам — епископским дворам и императорским монастырям — и хранила верность старым каролингским монастырским традициям: культуре дружеских посланий и стихов на случай, ученому щегольству и связям с народной германской культурой, омывавшей стены монастырей. Старыми южногерманскими монастырскими центрами были Рейхенау и Санкт-Галлен в Швабии, в X в. к ним прибавил-

ся третий — Тегернзее в Баварии. Из Тегернзее происходит любопытный памятник монастырской культуры и быта ок. 1000 г.— сборник писем (конечно, рифмованной прозой), составленный Фроумундом, аббатским секретарем и учителем монастырской школы, вставившим тут и там между письмами стихи на случай собственного сочинения — дружеские послания, эпитафии, надписи, инвективы, школьные парафразы евангельских отрывков, поздравления проезжему баварскому герцогу, вычурные акростихи. Кое-где они звучат живо и забавно (начало послания к кастеляну с просьбой о теплой одежде: «Время настало, когда —«у! у!»— мы дуем в ладоши...»), но общий их художественный уровень невысок. Из Рейхенау происходит написанная в 990-х годах панегирическая поэма монаха Пурхарда в честь аббата Витиговона и его монастырских построек, в изысканной форме диалога поэта и олицетворенного монастыря, который — характерно! — жалуется на то, что аббат слишком много разъезжает по императорским делам и слишком мало уделяет внимания своим аббатским обязанностям. Автор явно вдохновлялся в этой поэме панегирическими стихами Валахфрида Страбона, память которого свято чтилась в Рейхенау. Другим напоминанием о Валахфриде Страбоне является южногерманская поэма X в. «Деяния Аполлония Тирского» на сюжет греческого романа, написанная в форме эклоги двух певцов, «Страбона» и «Саксона», и полная вергилизмов и темных слов из глоссариев, —отголосок византийских связей оттоновской культуры. Третий центр, Санкт-Галлен, переживал в это время полосу упадка (после венгерского погрома 920 г. и пожара 937 г.; пожар устроил ученик монастырской школы, провинившийся и боявшийся наказания; после этого школу чуть не закрыли совсем), однако и здесь аббат Эккехард I продолжал сочинять секвенции в традиционном стиле, а глава монастырской школы Ноткер Младший (Ноткер Лабеон — «Губастый», или Ноткер Немецкий, ок. 950—1022) впервые после долгого перерыва обратился к сочинению на немецком языке и перевел на немецкий язык псалтирь и школьные пособия по логике — разумеется, это было возможно только в условиях монастырского контакта с народной культурой. Переводил он и стихи («Буколики», Теренция, дистихи Катона), но до нас они не дошли.

Именно здесь, на стыке монастырской и светской культуры, возникли два наиболее художественно ценных и исторически важных памятника начала XI в.— лирика «Кембриджских песен» и эпос «Руодлиб». «Кембриджские песни» были записаны в южной Лотарингии, на границе германского и романского мира; здесь совершается самый смелый опыт сочетания религиозной формы и мирского содержания, здесь немецкие дружинные песни и народные анекдоты облекаются в форму латинских (ноткеровских) секвенций, а французские любовные песни — в форму латинских (амвросианских) гимнов; здесь впервые в средневековой литературе — писанной литературе, конечно,— появляется любовная тема «под двойной аккомпанемент Овидия и «Песни Песней» (по выражению од-

ного исследователя), которая потом расцветет у вагантов, от вагантов перейдет к трубадурам, труверам и миннезингерам, от них — к поэтам предвозрождения и Возрождения, после которых станет столь характерной для всей европейской лирики нового времени. «Руодлиб» был записан в Тегернзейском монастыре, но автор его хорошо знал и придворную и рыцарскую жизнь (король и простой рыцарь описаны в «Руодлибе» с похвалой, а магнаты-феодалы — с осуждением: это отголосок политики франконских императоров, пытавшихся опереться на мелкое рыцарство против герцогов). В поэме легко сочетаются монастырский морализм («двенадцать добрых советов»), предкуртуазный вкус к изображению подвигов и роскоши и народный дух сказочных приключений. И все это растворяется в плавном повествовании, с такой наивностью живописующем каждую подробность и каждый эпизод, что будь эта поэма дописана, она доросла бы до исполинских размеров поздних рыцарских романов. По существу это и есть первый рыцарский роман — первое в новоевропейской литературе большое эпическое произведение не с историческим или псевдоисторическим, а с откровенно вымышленным сюжетом, первый образец той «беллетристики» в собственном смысле слова, без которой наш современник не может представить себе художественную литературу. «Кембриджские песни» и «Руодлиб» — наиболее многообещающие открытия, сделанные латинской литературой XI в.

Но общий облик латинской литературы XI в. определялся не этими уникальными достижениями разрозненных монастырских центров, а массовой литературной продукцией единой сети епископских кафедр и соборных школ. К рассмотрению этого материала мы и переходим.

2

Епископские школы существовали в Европе так же издавна, как и монастырские. Они устраивались при соборах в епископских и архиепископских городах и должны были обеспечивать образование белого духовенства — приходских священников, диаконов, епископов. До X в. культурная роль их была незначительна: учителей не было, книги и люди сосредоточивались в монастырях, оттуда и выходило большинство церковных и литературных деятелей. С упадком монастырей в первой половине X в. положение меняется, ведущая культурная роль все более переходит к соборным школам — сперва во Франции и Лотарингии, потом — в XI в.— и в Германии. Можно почти поименно проследить, как наука переходила из монастырей в города: для организации или реорганизации образования в соборных школах обычно приглашались учителя из известных монастырских школ. Так, ведущая из соборных школ X в.— в архиепископском Реймсе — была налажена последними питомцами каролингского возрождения, грамматиком Ремигием Оксеррским и поэтом Хукбальдом Сент-Амандским. Так, из одного Санкт-Галлена вышли организаторы школ в Зальц-

бурге, в Страсбурге, в Шпейере и — что важнее всего — в Люттихе (Льеже), где санкт-галленский монах Ноткер стал епископом в 972 г. и возродил местную латинскую ученость, заглохшую было после норманнских погромов. Реймс, Люттих и — немного позднее — Шартр стали тремя главными центрами европейской латинской культуры во второй половине X и в первой половине XI вв.

Чем отличались новые епископские школы от старых монастырских? Главным образом тем, что монастырские школы воспитывали учеников для своих же монастырских нужд, и монастырские питомцы сплошь и рядом оставались в родном монастыре учителями, писцами, счетоводами; епископские же школы готовили учеников «на сторону», для церковной карьеры в других местах. Это имело свою отрицательную черту: обучение в монастырях было бесплатным (монах потом «отрабатывал» его своему монастырю всю жизнь), в соборных школах стало платным, т. е. доступным лишь для имущих — состав учеников стал аристократичнее. Впрочем, для способных учеников из простонародья легко делались исключения — оба светоча культуры этого времени, Герберт Реймсский и Фулберт Шартрский, были низкого происхождения. Но это имело и свою положительную сторону: ученики епископских школ были старше и подготовленнее, обращение с ними было мягче (о поджоге школы, как в Санкт-Галлене, здесь не могло быть и речи), между учителями и учениками легче завязывались дружеские связи, которые не порывались и тогда, когда питомцы рассеивались по разным концам Европы. И, что еще важнее, обучение в новых школах, готовившее учеников не к монастырскому уединению, а к общественной жизни, должно было стать шире и практичнее: оно уже не могло сводиться, как в монастырской школе, к изучению грамматики с чтением школьных авторов и к изучению богословия с заучиванием святоотеческих суждений по компендиям,— к грамматике должны были присоединиться остальные «благородные науки», а к искусству владеть цитатами — искусство владеть диалектическими приемами.

Важнейшей ступенью в повышении культуры соборных школ была деятельность Герберта Реймсского (или — по месту рождения — Орильякского, ок. 945/950—1003), будущего папы Сильвестра II. Он учился гуманитарным наукам в Реймсе и математическим в Испании, где познакомился, хотя и из вторых рук, с арабской культурой; из Испании он вывез абак — таблицу для позиционного счисления, крайне облегчавшую все арифметические действия и подготовлявшую переход Европы от римских цифр к арабским,— и астрономические приборы, казавшиеся его современникам чудом. Впоследствии за ним закрепилась слава чернокнижника и имя его обросло цветистыми легендами (записанными в «Истории» Вильяма Мальмсберийского). Его письма напоминают письма Сервата Лупа или позднейших итальянских гуманистов: он собирает в Реймс списки древних книг со всей Европы, обещает

соседнему архиепископу собственноручно изготовленную небесную сферу в обмен на полный экземпляр «Ахиллеиды» Стация, тоскует, что в бытность свою в Италии читал и не успел переписать астрономическую поэму Манилия, а когда его книги задерживаются в переписке, обращается к переписчикам по-цицероновски: «quousque tandem...». Он один в своей литературной эпохе, колебавшейся между варварской примитивностью и ученым маньеризмом, сумел оценить и взять за образец стиль Цицерона; он один, преподавая в реймсской школе риторику, советовал ученикам не выставлять искусство речи напоказ, а скрывать его за видимой безыскусственностью; ему принадлежит фраза, воскрешающая цицероновский идеал единства жизни, мысли и слова: «Так как образ нравов и образ речи неотделим от философии, то я всегда старался соединять заботу о хорошей жизни и заботу о хорошей речи». Но главной заслугой Герберта было то смещение центра тяжести гуманитарных наук с грамматики на диалектику, которое стало началом всего будущего развития европейской схоластической философии. Публичный диспут Герберта, лучшего французского диалектика, с Отрихом, лучшим германским диалектиком, на отвлеченную тему о классификации наук, состоявшийся в 980 г. перед Оттоном II и его двором и длившийся целый день, пока слушатели не изнемогли, был первым прообразом схоластических диспутов XII—XIII вв.

Учеником и духовным наследником Герберта Реймсского был Фулберт Шартрский (ок. 960/975—1029); для Европы XI в. он был таким же «всеобщим учителем» и авторитетом, как за двести лет до него Алкуин, а за полтораста — Храбан Мавр. Это был более «средний» человек и мыслитель, чем Герберт, не увлекавшийся ни математическими отвлеченностями, ни политическими утопиями (которые привели Герберта к Оттону III и папскому сану), но именно потому он лучше подходил для своей просветительской деятельности. Он писал жития, проповеди, немногочисленные стихи, занимался медициной, в письмах своих давал консультации по богословию и каноническому праву всей ученой Европе, но славился он не столько как писатель, сколько как человек и наставник. Из его шартрской школы вышел целый выводок церковных деятелей, просветителей и ученых: Вазон Люттихский, один из первых поборников папской теократии; Ольберт из Жамблу, канонист и агиограф, учитель такого историка, как Сигеберт из Жамблу; Регинальд Анжерский, учитель такого поэта, как Бальдерик Бургейльский; Франкон Люттихский, автор трактата о квадратуре круга; Радульф Малькоронский, знавший медицину лучше знаменитых салернских медиков; Адельманн Люттихский, автор трогательного и неуклюжего стихотворения о школе Фулберта, покойном учителе и бывших своих соучениках; и самый знаменитый из всех — Беренгарий Турский, диалектик-еретик, о котором еще будет речь дальше. Всех их объединяла память об общем наставнике. Когда Беренгарий начал проповедовать свое еретическое

учение, чувствительный Адельманн писал ему: «Молочному брату моему во Христе Беренгарию... Молочным братом зову я тебя. ибо вместе провождали мы сладостное наше время — я постарше, ты помоложе — в Карнутской Академии при достопочтенном нашем Сократе; и этому мы более имеем права радоваться, чем радовался Платон, благодаря природу за то, что он родился в дни Сократа, и не скотом, а человеком»,— и далее Адельманн вспоминает «уединенные вечерние беседы, которые он так часто вел с нами в садике за капеллой, говорил о том царствии, где ныне он, произволением божьим, восседает среди сенаторов, и увещевал нас со слезами, от избытка святого рвения прерывавшими порой его речь, чтобы к царствию тому направляли мы все наши стремления, чтобы следовали прямою дорогою, путь держали бдительно по стопам святых отцов, не отвлекаемые ничем, не сбиваясь ни на какие обманчивые нехоженые тропы...» Пусть этот образ Фулберта крайне идеализирован, но идеализирован он не только под христианского праведника, а и под античного философа, и это уже характерно для новой эпохи европейской культуры.

Сверстники и ученики Фулберта распространили это оживление научных интересов по всей сети епископских школ, покрывавшей Европу,— главным образом, Францию, в Германии эта сеть была реже. Рядом с Реймсом вскоре возвысился Лан, где во второй половине XI в. учил Ансельм и учился Абеляр; из Лана даже приглашали учителей в Реймс для налаживания занятий. Мец славился изучением музыки, Тур — изучением медицины, Камбрэ — изучением математики; в Вердене учил архидиакон Германфрид, знавший пять языков; в Турнэ учитель Одон преподавал, прогуливаясь, как Аристотель и Зенон, увлекался языческими авторами настолько, что годами не брал в руки христианских, а прочитав, по настоянию друзей, «О свободе воли» Августина, воскликнул: «Я не знал, что у Августина было такое высокое красноречие!» Люттих, по словам его историка, «познаниями наук не уступал Платоновой Академии, а твердостью веры — Риму при папе Льве»; на тот же титул «вторых Афин» успешно притязал и немецкий Регенсбург. Такая картина свидетельствует, между прочим, о том, что в новых условиях трудно было получить всестороннее образование в каком-нибудь одном месте: круг изучаемых наук расширился, и в одних школах лучше преподавались одни, в других— другие. Поэтому любознательные ученики начинают кочевать из одной школы в другую: об Ангельраме, ученике Фулберта, говорили, что он собирает знания по школам, как пчела свой мед по цветам. В следующем столетии это станет массовым явлением, и на этой почве вырастет вагантство.

Главный предмет изучения в епископских школах составляли «семь благородных наук», канон которых прочно держался со времен поздней античности: «тривий» (грамматика, риторика, диалектика) и «квадривий» (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Науки квадривия, несмотря на сильный толчок, данный им

Гербертом, разрабатывались слабо. Из арифметики обычно усваивались лишь четыре правила (умножение и деление — уже с трудом), дроби давались немногим; из геометрии решались простейшие практические задачи; астрономия должна была ждать XII в., чтобы усвоить от арабов Птолемееву систему мироздания; музыка сводилась к церковному пению, которое усваивалось на слух, пока в 1020-х годах Гвидон Аретинский не изобрел записи нот на линейках; однако все эти «практические» знания сопровождались «теоретическими» рассуждениями самого отвлеченного рода о числах как основе гармонии мироздания.

Грамматика изучалась сперва по краткому курсу Доната, потом по подробному — Присциана. Авторов, читаемых в школах, учебник конца XI в. делит на три степени трудности: 1) дистихи Катона, басни Авиана и Эзопа («Ромула»), Максимиан, «Латинская Илиада» (краткое изложение «Илиады» латинскими гексаметрами I в. н. э.); 2) Плавт, Цицерон, Боэтий, грамматики, латинский перевод «Тимея» Платона; 3) Теренций, Вергилий, Гораций, Овидий, Лукан, Стаций, Ювенал, Персий, Саллюстий. Элементарных справок, сообщаемых в грамматическом курсе об этих авторах и их произведениях, оказалось достаточно, чтобы к концу XI в. из них сложился краткий «Диалог об авторах» Конрада из Гиршау — первое подобие учебника по истории литературы. Средства к овладению стилем были прежние: сочинения в стихах и в прозе, закрепляющие запас словесных штампов, усвоенных от изучения авторов. Имитация древних авторов не была самоцелью: в отличие от школ поздней античности или Возрождения, здесь не считалось высшим блеском написать, например, подражание Цицерону так, чтобы его можно было выдать за сочинение самого Цицерона. От этого предохраняло христианское недоверие к языческим авторам; поэтому основной языковой и стилистический фон сохранялся библейский, а реминисценции из античных авторов — более или менее обильные, в зависимости от жанра и от вкусов писателя,— служили в нем лишь инкрустациями и расцветкой. Это и позволило языку средневековой латинской литературы остаться жизнеспособным и не выродиться в мертвую книжную ученость — опасность, реально грозившая ему в пору каролингского и оттоновского возрождения, и следы которой чувствуются на протяжении всего XI в. в пристрастии многих писателей к редким словам из глоссариев.

Риторика изучалась, главным образом, по цицероновскому трактату «О нахождении материала» и псевдоцицероновской «Риторике к Гереннию»; остальные сочинения Цицерона и Квинтилиана были мало известны. Здесь усваивалась, главным образом, античная традиция построения речи и использования стилистических фигур. Это было практически важно: по традиционному плану «вступление — разделение — изложение — разработка — заключение», с традиционными средствами «распространения» и «сжатия» материала, строились и проповеди и письма; а владение этими

жанрами было необходимо для каждого клирика. Проповедь была основной формой пастырского служения священников, а письма им приходилось писать и за себя и за других, потому что именно на клириках лежала секретарская работа не только в монастырях и епископатах, но и при светских владетелях: миряне, вплоть до самых знатных, были еще почти сплошь безграмотны, и о грамотности, например, императора Генриха IV историки сообщают почти с восторгом. Проповеди и письма составляют едва ли не половину всей литературной продукции описываемого (да и позднейшего) времени. В конце XI в. появляется первый «письмовник», сочинение Альберика Монтекассинского в трех книгах: о разработке материала, о сентенциях и примерах (предмет особой гордости автора) и о грамматике и стиле.

Диалектика, как сказано, сильно выдвинулась вперед с тех пор, как Герберт перестал преподавать ее по кратким компендиям раннего средневековья и обратился к подлинному Аристотелю в латинском переводе и к его толкователю — Боэтию. Изучалось сперва «Введение к Категориям Аристотеля» Порфирия (в латинском переводе IV в.) с комментариями Боэтия, затем трактаты самого Боэтия («О категорических силлогизмах» и др.), затем «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля с «Топикой» Цицерона, опять-таки в сопровождении комментария Боэтия, и наконец, в качестве дополнительного чтения по философии,— «Тимей» Платона в латинском переводе, «О свободе воли» Августина и «Утешение философией» Боэтия. Этот курс позволял ученикам достаточно свободно рассуждать о «пяти предметах» диалектики — роде, виде, различии, свойстве и проявлении; этот курс развивал достаточную гибкость мысли, чтобы ученики могли оторваться от буквы святоотеческих авторитетов и делать из их положений собственные логические выводы. До середины XI в. диалектические рассуждения еще держались на уровне школьных упражнений: так, Герберт в трактате «О разумности и о пользовании разумом» (вопрос, поднятый в его знаменитом диспуте с Отрихом) ставил проблему: какое понятие шире — «разумность» или «пользование разумом»? Обычно считается, что разумность шире, ибо не всякий, кто разумен, пользуется своим разумом; нет, возражает Герберт, «пользование разумом» шире, ибо это есть «способность с действием» (potentia cum actione), тогда как «разумность» есть «способность без действия»; стало быть, «пользование разумом» и «разумность» относятся как род и вид, и первое может служить атрибутом ко второму; и далее следуют тонкие операции с понятиями «потенция», «акция» и «атрибут». Пройдет два-три поколения, и из таких диалектических упражнений вырастет спор об универсалиях и начнется схоластика.

Однако покамест этот переворот в средневековой философии еще не наступил, и в богословской науке стоит затишье. X в. и первая половина XI в.— это промежуток между авторитарным богословием предшествующего периода и диалектическим богослови-

ем последующего периода: уже прошла эпоха, когда ученые монахи в одиночестве своих келий старались решить для себя догматические неясности умелым подбором святоотеческих цитат, и еще не наступила эпоха, когда ученые богословы перед лицом всей Европы в напряженных спорах будут решать догматические неясности логическими операциями над текстами Писания и отцов церкви. Богословская продукция этого времени скудна и малоинтересна.

Точно так же теряет интерес другой род литературы, характерный для предшествующей, монастырской, эпохи,— агиография. К X в. тип жития в латинской литературе все больше стандартизируется: черты истории и быта выветриваются, черты личности складываются в твердый канон, вырабатывается житийный тип святого епископа, миссионера (иногда — мученика), девственницы; центром жития становится перечисление и восхваление христианских добродетелей героя (особенно — аскетических), биографические эпизоды излагаются все суше и однообразнее, а описания чудес, прижизненных и посмертных,— все обильнее и цветистее. Очень поучительно сравнение ранних и поздних биографий церковных деятелей X в.— миссионера-мученика Адальберта Пражского, епископа Удальриха Аугсбургского, императрицы-матери Матильды: ранние версии, относящиеся к концу X в. и подчас написанные людьми, лично знавшими своих героев, еще сохраняют их живые индивидуальные черты, а переработки, сделанные в начале XI в., уже превращаются в безликие «зерцала добродетелей», изукрашенные всеми средствами ученого красноречия. Любопытно видеть, как один и тот же реальный прототип преображается до неузнаваемости в соответствии с требованиями жанра: о современнике Карла Великого, графе Вильгельме Желлонском говорится и в историческом повествовании о деяниях св. Бенедикта Анианского, и в панегирически-благочестивом «Житии Гульельма», и в героическом эпосе старофранцузской джесты о Гийоме Курносом; и трудно усмотреть какое-нибудь сходство между подвижником жития и удалым рыцарем джесты.

Исторический жанр также не имел почвы для развития в обстановке феодальной раздробленности XI в. Кругозор летописца был узок и ограничивался пределами его епархии, в лучшем случае — его государства; о событиях в других местах он писал по смутным слухам. Когда один из наиболее заметных историков XI в. Адемар Шабаннский переходит в своем труде от ранних разделов, компилирующих каролингские источники, к поздним разделам, где ему самому приходится собирать сведения, его поле зрения разом суживается со всей Европы до его родной Аквитании. Типичной для этого времени формой исторического жанра являются хроники епископств и аббатств — «Деяния епископов такого-то города», «Деяния аббатов такой-то обители». Они могут быть высокоинтересны по материалам для внутренней истории (например, труд Флодоарда Реймского, пересказывавшего весь

богатейший реймсский архиепископский архив), по материалам для внешней истории (например, хроника Адама Бременского с ее сведениями о германском натиске на славянскую Прибалтику), они могут даже отличаться заботой о стиле (например, хроника Рихера, Гербертова ученика, который в своем подражании античным историкам доходил до того, что графов называл «консулярами»), но по сравнению с давними историческими трудами Беды или Павла Диакона это — шаг назад. Единственным историком XI в., сознательно задавшимся целью написать о своем времени историю, подобную истории Беды или Павла, был клюнийский монах Радульф Глабр; но то, что у него получилось, — это беспорядочный хаос разрозненных заметок, наугад размещенных по годам, перемешанных с моралистическими и богословскими рассуждениями и пронизанных тревогой о близком конце света, которого с 1000 г. н. э. ждали особенно настороженно.

Ведущими жанрами в латинской литературе XI в. становятся жанры моралистические. Это понятно: если для монахов главной целью было обретение пути истинного в удалении от мира, то для белого духовенства главной целью было наставление мира на путь истинный.

Простейшим из моралистических жанров была пословица. Пожалуй, ни раньше, ни позже не производило средневековье в таком количестве сборники пословиц и сентенций. В самом непритязательном виде они сочинялись рифмованной прозой по собственному разумению: таков был маленький сборник Випона, капеллана и биографа Конрада II, начинавшийся: «Царское звание есть законов знание», «Да внемлет трон, что велит закон», «Наук изучение есть душ просвещение» и т. д. В более зрелом виде они представляли собой коллекции выписок из Священного писания, из античных поэтов (главным образом, сатириков) и т. п. (отрывок из такого сборника, составленного Отлохом Эммерамским, помещен в этой книге). Следующим шагом литературной обработки этого жанра было переложение сентенций в стихи; такова была книга Арнульфа «Услады клира», посвященная Генриху III, — 291 сентенциозное двустишие (образцом были, конечно, «Дистихи Катона») в форме наставлений отца сыну, со стихотворным же обрамлением. Наконец, предельной изысканности достигает этот жанр в поэме Эгберта Люттихского «Ладья обильная», состоящей из двух частей — «носа» (вереница сентенций — одностиший, потом двустиший, потом трехстиший и т. д.) и «кормы» (несколько десятков поучительных стихотворений, где в гексаметры перелагаются басни, отрывки проповедей Августина и Григория, куски «Физиолога» — книги о животных, и т. п.). Но основной фонд материала всюду был один: так, одно и то же изречение из «Притч Соломоновых» Випон отважно рифмует: «Лучше знание, чем силой обладание», а Эгберт укладывает в гексаметр: «Мудрость лучше стократ, чем все драгоценные камни».

От таких сентенций был естествен переход, с одной стороны, к сатире, где содержание сентенции раскрывалось конкретными примерами, а с другой стороны — к дидактической поэме, где содержание сентенции раскрывалось отвлеченными рассуждениями. Сатира разрабатывалась меньше — она требовала хорошего знания жизни и быта, которое было не у всякого клирика; однако в середине XI в. в рейнской Германии поэт, скрывшийся под псевдонимом Амарций Галл Пиосистрат, написал четыре книги «Бесед» — две о пороках, две о добродетелях, — взяв за образец «Беседы» («Сатиры») Горация, но не копируя их, а подражая им, и довольно удачно.

Дидактическая поэма разрабатывалась гораздо усерднее: получалось нечто вроде проповеди в стихах, растягивавшейся на любую длину и заполнявшейся то медитациями, то увещаниями, то пересказами Писания. Еще в X в. знаменитый монашеский реформатор Одон Клюнийский написал поэму в семи книгах о сотворении, грехопадении и спасении человека,. В XI в. о царящем в мире зле и о пути к спасению души пишут Отлох Эммерамский в поэме «О духовном учении» и Герман Увечный в поэме «О восьми главнейших пороках» (имеются в виду гордыня и порождаемые ею тщеславие, зависть, гневливость, уныние, скупость, чревоугодие и похоть). Варнерий Базельский в поэме «Параклит» изображает диалог между кающимся грешником и господней благодатью (которая, между прочим, учит его не верить в тот всесильный рок, обрекающий на зло, о котором пишет Платон в «Тимее», — «не Сократу следуй, а апостолу», говорит благодать), а Евполемий («Благовоитель», псевдоним загадочного поэта) сочиняет огромную аллегорию о борьбе между богом и дьяволом за душу человека, причем бог у него — это король Агат («Благой»), Дьявол — отпавший от него вассал Как («Злой»), человек — это Иуда, сын Антропа («Человека»), завлеченный Каком в плен. На выручку Иуде идет сперва передовое войско Агата во главе с Номом («Законом»), а потом — главное, во главе с Мессией, сыном Агата. Они воюют и ценой жизни Мессии одерживают победу, причем ход войны изображается по всем вергилианским канонам. Так мы видим, как в ходе художественной разработки дидактического материала поэзия все дальше отходит от первоначальной моралистической установки и все больше включает в себя элементов образной и сюжетной занимательности. Стоит сделать еще один шаг — и моралистическая установка останется лишь слабым рудиментом. Это и происходит, например, в диковинной поэме Эмбрихона Майнцского «Житие Магомета», где нанизывается бесконечный ряд самых фантастических эпизодов злодейской жизни героя, а исток этих злодейств — отпадение от христианства еретика-колдуна, рабом которого был когда-то Магомет (!) — остается забытым в завязке поэмы.

Смежным, но не сходным с моралистической поэмой является и еще один усердно разрабатываемый в эту пору жанр — дидакти-

ческая поэма на научную тему (часто — в качестве мнемонического пособия); наиболее значительным памятником здесь является медицинская поэма «О действиях трав» Одона Мёнгского, долго считавшаяся произведением римского поэта Эмилия Макра, учителя Овидия.

Все эти ответвления моралистических жанров получат свое развитие в поэзии следующего столетия: сатира найдет продолжателей в Нигелле Вирекере, в ученых английских сатириках и в вагантах, дидактическая аллегория — в Алане Лилльском, экзотическая сюжетная поэма — в «Александреиде» Вальтера Шатильонского, научная поэма — в «Книге о камнях» Марбода Реннского.

Лирические жанры описываемого времени по-прежнему неразрывно связаны с церковной службой: это гимны и секвенции. В церковном году было много праздников, над епископскими и монастырскими церквами было много покровителей-святых, каждый праздник и каждый святой многократно прославлялись в гимнах. Гимны о праздниках поневоле должны были перерабатывать один и тот же узкий круг образов и мотивов; здесь забота поэтов сосредоточивалась, в основном, на вариациях деталей и оттенков, доходивших до необычайной тонкости. Гимны о святых были более разнообразны по содержанию и более единообразны по форме: вступление, панегирик святому, повествование о житии и чудесах святого (в избранных эпизодах, количество которых варьировалось в зависимости от объема гимна), молитва к святому о заступничестве, заключительное исповедание ортодоксального символа веры (особенно учения о Троице). Повествовательная часть гимна, естественно, опиралась на опыт стихотворных житий, которые продолжали сочиняться и в эту эпоху, как и в предыдущую. Единообразие церковных служб еще не установилось, поэтому поводов для сочинения гимнов было великое множество. Гимнографическая продукция эпохи огромна, она продолжится и в XII в.; подавляющее большинство гимнов анонимно и не поддается точному хронологическому приурочению.

По стихотворной форме гимны по-прежнему разделялись на метры, ритмы и секвенции. Метрическая гимнография переживает решительный упадок: богатый репертуар «боэтианских» размеров, которым так широко пользовалось каролингское возрождение, стремительно оскудевает, их напевы, по-видимому, ощущаются как что-то разом слишком сложное и слишком однообразное. Ритмическая гимнография, наоборот, процветает: мода на рифму, сперва — односложную, потом более глубокую — двухсложную, придала ритмическим строчкам законченность и стала основой для их объединения в строфы; простой ритм ямбов и хореев был хорошей основой для сложного музыкального рисунка. Именно здесь, в размерах, легко дающихся сочинителю и легко доступных слушателю, стихия средневекового лиризма этой поры находила наиболее непосредственное воплощение. Секвенция была формой более изысканной, ее гибкие строфы, создаваемые заново для каж-

дого нового напева, предоставляли больше всего простора поэтической индивидуальности. Именно форму секвенций имеют лучшие лирические шедевры XI в.— произведения Випона и Германа Увечного. Секвенции XI в. подвергаются сильному влиянию со стороны ритмической гимнографии: они украшаются рифмами, параллельные строки строф и антистроф приобретают не только силлабическое, но и ритмическое тождество, строение их схематизируется, многообразие упрощается; это — начало той тенденции, которая в XII в. приведет к созданию Адамом Сен-Викторским нового типа секвенций с единой формой строфы, выдержанной от начала до конца. Такая тенденция ощутимее в секвенциях французского происхождения, германские секвенции ближе держатся традиций Ноткера Заики.

Особого упоминания заслуживает новый жанр литургической лирики, родственный секвенции, — троп. Начало этого жанра, как и жанра секвенции, восходит к IX в. Автором нескольких тропов считается санкт-галленский товарищ Ноткера Заики Туотилон, но быстрый подъем жанра тропов относится уже к X—XI вв. Как и секвенция, троп представлял собой вольное добавление к каноническому тексту литургии; но если секвенция была приурочена к колоратурному пению «аллилуйя», не связываясь с конкретным содержанием смежных текстов и легко выделяясь в самостоятельный «номер», то троп был приурочен к конкретному месту литургического текста — обычно к зачину — и служил его риторическому эмоциональному подчеркиванию. А так как троп, как и секвенция, пелся антифонно двумя полухориями, то эти вставки рано стали приобретать вид вопросов и ответов. Так, пасхальная служба стала открываться тропом: «Кого ищете во гробнице, христоревнители? — Иисуса Назареянина распятого, о небожители! — Нет его здесь, ибо воскрес он, как и предсказывал; идите, возвестите, что воскрес он из гроба»,— а далее следовал уже канонический зачин литургии: «Воскрес я и доселе с тобою есмь, аллилуйя» и т. д. Так, рождественская служба стала начинаться тропом: «Кого ищете в яслях, пастыри, молвите? — Спасителя Христа Господа, младенца в пеленах, по вещанию ангельскому! — Здесь сей младенец с Мариею, матерью своею» и т. д.— а далее следовал канонический зачин: слова Исайи «Отрок рожден нам и сын дарован нам» и т. д. Постепенно разрастаясь, реплика за репликой, в целые диалоги между солистами, полухориями и хором, антифонный литургический троп стал зачатком литургической драмы, а она — зачатком всего средневекового театра. Но становление более развитых форм религиозной драмы относится уже к следующему столетию.

В целом литература XI в. по сравнению с литературой X в. выглядит ровнее, хотя, быть может, и бледнее. X век был веком одиночек: Ратхер, Лиутпранд, Хротсвита, Видукинд, Герберт — все это писатели яркие, своеобразные, совершенно не похожие друг на друга, но еще более не похожие на ту темную массу полугра-

мотных монахов, которые писали в это же время хроники и грамоты на фантастичнейшей латыни. XI век был веком выработки массовой и общеприемлемой латинской литературы: ни одного крупного имени, соизмеримого с именами предшествующего века, он не дал (если не считать Петра Дамиани и Ансельма, о которых речь будет дальше), но общий культурный уровень пишущих повысился и стал единообразнее: порой кажется, что все они вышли из одной школы. Так оно и было; и школа эта была соборной епископской школой, раскинувшейся по Европе целой сетью очагов преподавания грамматики, риторики и диалектики.

Не следует представлять себе этот культурный прогресс гладким и беспрепятственным. На каждой новой его ступени изначальное противоречие между унаследованным от античности культурным материалом и унаследованным от раннего христианства культурным идеалом обнажалось вновь и требовало нового примирения. В 990-х годах папский легат, протестуя против избрания Герберта в реймсские архиепископы, уже осуждает всех, кто учится «у Платона, Вергилия, Теренция и прочего стада философов» («ибо Петр не знал всего этого, но поставлен был при вратах небесных»), а Герберт, возражая ему, заявляет, что папский Рим, коснеющий в невежестве, не может диктовать свою волю французской церкви. Крайности в увлечении античным материалом и крайности в протесте против него встречались всюду. В Равенне обвинялся в ереси грамматик Вильгард, которому являлись демоны в виде Горация, Вергилия и Ювенала и требовали, чтобы он веровал в их стихи, как в Священное писание. В северной Италии Ансельм Безатский в наивном тщеславии описывал свое видение — как в царствии небесном его душу тянет в одну сторону весь небесный сонм, а в другую — три сестры: грамматика, риторика и диалектика; а в Германии Отлох Эммерамский с тревожным пылом писал книгу за книгой, стихами и прозой, чтобы собственным примером отвратить верующих от пагубных языческих наук и обратить их к «бегоборству духовному» в христианском самосовершенствовании.

Драматическое столкновение этих двух тенденций средневековой латинской культуры, духовной и светской, происходит в последней трети XI в. и находит выражение в бурном взрыве литературной активности вокруг двух вопросов, всколыхнувших всю ученую Европу, — вокруг спора об инвеституре и вокруг беренгариевской контроверсии.

3

Монастыри были церковной организацией, зависимой более всего от местных феодалов. Епископаты были церковной организацией, зависимой более всего от королевской власти. Спор об инвеституре был борьбой за создание церковной организации, зависимой прежде всего от папского престола. Церковь X—XI вв. была государственной церковью, подчиненной во Франции фран-

цузскому королю, в Германии — германскому императору. С конца XI в. церковь становится единой всеевропейской церковью, подчиненной римскому папе.

Движение за церковную реформу началось как протест против «обмирщения» церкви на службе у светской власти. О том, как короли и императоры укрепляли епископскую церковь, чтобы найти в ней опору против местных феодалов, уже рассказывалось выше. Епископы получали свои епископства в лен от императора, император совершал над ними обряд инвеституры, посвящения в сан — вручал им посох, символ духовного пастырства, и кольцо, символ обручения с церковью,— принимал от них клятву верности, и это считалось нормой. Епископы были заняты политическими делами больше, чем церковными: когда императору Генриху II (прозванному Святым) нужно было унять непокорного лотарингского феодала, он нашел энергичного барона, согласившегося принять духовное звание, возвысил его в сан трирского архиепископа; новый архиепископ роздал 60 приходов своим товарищам-рыцарям, собрал с них войско и в два счета подавил мятежника. Но когда заботами императоров церковь достаточно окрепла, она стала бороться за освобождение от императорской опеки и сплачиваться вокруг римского престола. Внешним знаком этой перемены было то, что инвеститура стала совершаться не императором, а папой или его представителем. Этот поворот был крут, он означал не только борьбу между папством и империей, но и борьбу внутри самой церкви: узы, связывавшие епископов с покровителями-императорами, рвались болезненно. Эта борьба и выплеснулась в литературе конца XI в. волной полемических сочинений вокруг спора об инвеституре.

Первый этап движения за церковную реформу начинается еще в X в. и обнаруживается не в белом духовенстве, а в монашестве. Это так называемое клюнийское движение. История монашества в Европе циклична: в VI в. явились строгие бенедиктинские уставы, затем строгость их сама собой расшаталась; в начале IX в. Бенедикт Анианский вновь усилил строгость, но через сто лет она вновь ослабела; тогда в первой половине X в. новое укрепление строгости бенедиктинского устава начали осуществлять во Франции Одон, аббат Клюни (в Оверни), а в Лотарингии Иоанн, аббат Горзы (близ Меца). Клюнийская реформа вновь подчеркивала в монастырском уставе требования аскетической простоты и безусловной дисциплины: занятия науками были ограничены до минимума (в житии Одона Клюнийского рассказывается, что смолоду он много читал Вергилия, но однажды увидел во сне его стихи в образе вазы, с виду прекрасной, но внутри полной ядовитых змей, и с этих пор не брал в руки языческих книг). Не следует преувеличивать клюнийского обскурантизма. Сам Одон, как мы видели, был автором латинской дидактической поэмы, виднейший клюнийский деятель Аббон Флёрийский, сверстник Герберта, был одним из ученейших книжников в Европе,

но в целом клюнийская реформа, конечно, была враждебна культурным традициям каролингских монастырей и содействовала упадку монастырской латинской литературы. Клюнийское движение быстро распространялось, к середине XI в. число реформированных монастырей считалось многими сотнями, клюнийский аббат Одилон (994—1049), визионер и чудотворец, был самым почитаемым человеком в Европе. Папы покровительствовали клюнийству, заботясь о нравственности монахов, короли — заботясь об их дисциплине. Недовольны были только сами монахи, которым приходилось менять привольную жизнь на строгую.

В литературе XI в. распространение клюнийской реформы нашло отражение, между прочим, в двух любопытнейших сочинениях этого времени. Первое из них — поэма «Бегство узника», написанная в Лотарингии, в самом центре реформаторского движения. Талантливо сочетающая элементы эзоповской басни, народной сказки и горацианской сатиры, обнаруживающая одинаково живое знакомство и с монастырскими и с придворными нравами, эта поэма аллегорически изображает судьбу молодого монаха, который томится в строгом монастыре по вольной мирской жизни, убегает из монастыря, сталкивается на горьком опыте с превратностями и опасностями света, чуть не гибнет и, наконец, возвращается в обитель, чтобы отмолить грехи и обрести душевной покой,— ситуация, если не реально, то психологически правдоподобная, особенно для монаха из знатного рода, выросшего в светском окружении, каких было немало в лотарингских монастырях. Второе произведение — «История Санкт-Галленского монастыря» Эккехарда IV, красочный рассказ о давних днях процветания знаменитого аббатства при последних каролингских и первых саксонских королях, рассказ, окрашенный ностальгической тоской по золотому прошлому, которому навек положила конец клюнийская реформа, докатившаяся и до Санкт-Галлена в лице аббата Норперта, «при котором мы теперь живем не как хочется, а как можется», по дипломатичному выражению Эккехарда. Через аллегорию или через историческую легенду, но оба эти произведения позволяют заглянуть в душу средневекового монаха в критическом XI веке, и это их особенная ценность.

Второй этап движения за церковную реформу начинается в середине XI в., когда движение распространяется с черного духовенства на белое, внимание смещается с «очищения нравов» на освобождение от светской власти, и центр движения переносится в Рим. Почвой здесь был протест итальянских клириков и мирян против засилья немецких епископов, назначаемых императорской властью. Благоприятной обстановкой было временное ослабление империи в 1050—1060-х годах, в пору малолетства императора Генриха IV (1056—1106). Подготовительными мерами были, во-первых, реорганизация папской казны энергичным архидиаконом Гильдебрандом и, во-вторых, союз папства с норманнами, только что завоевавшими южную Италию: это дало папству финансовую

и политическую опору. Первыми шагами папства к независимости были в 1054 г. открытое отделение западной христианской церкви от восточной (независимость от византийского престола) и в 1059 г. декрет о том, что папа избирается не «клиром и мирянами», как прежде, а только клиром в лице высших его представителей — кардиналов (независимость от германского вмешательства). Двумя главными пунктами реформаторской программы было осуждение симонии — «святокупства», взяточничества при получении духовного сана и требование целибата — безбрачия духовенства: и симония, и браки священников слишком связывали их с мирскими интересами и ставили в зависимость от светской власти. Требование целибата разом вызвало волнения низшего духовенства, осуждение симонии быстро повело к конфликту с императорской властью, для которой подарки от назначаемых епископов были законным актом феодальной верности. Конфликт разразился между Генрихом IV и Гильдебрандом, ставшим папой Григорием VII (1073—1085): в 1076 г. папа впервые в истории отлучил императора от церкви, освободив тем самым его вассалов от присяги и вызвав в Германии гражданскую войну. Затем последовало в 1077 г. покаяние Генриха в Каноссе, в 1080 г. второе отлучение, в 1084 г. погром Рима сперва немцами, а потом норманнами, в 1085 г. смерть Григория VII. Борьба затянулась, папы поддерживали в Германии антиимператоров, императоры в Италии — антипап, епископы стояли в большинстве на императорской стороне, монастыри (в союзе с мятежными феодалами) — на папской. Наконец, уже в начале XII в., постепенно был достигнут компромисс, духовная инвеститура (кольцом и посохом) была отделена от светской (скипетром), обязанности епископов по отношению к императору и к папе четко разграничены. Сперва такой компромисс утвердился в Англии и Франции, где борьба была не столь острой, а в 1122 г. был закреплен и в Германии Вормсским конкордатом.

В литературе XI в. время Григория VII и его преемников — это высший подъем полемической словесности: политической, юридической, моралистической, богословской. Памфлетов этого времени сохранилось около полутораста, а погибло, вероятно, еще больше. Использовались все жанры: главным образом, конечно, трактаты и письма, причем некоторые из них, ради авторитета, издавались под именами церковных деятелей прошлых веков (например, Удальриха Аугсбургского). Однако отголосками полемики полны и проповеди этого времени, и толкования Писания, и хроники. Так, полемически направлена против Генриха IV лучшая история этого времени, написанная Лампертом Герсфельдским. Один итальянский епископ написал поэму «О кольце и посохе» в защиту папской инвеституры, другой — стихотворный панегирик Генриху IV. В жанре видения монах Руперт Санкт-Лоренцский аллегорически изобразил (в стихах разных метров) церковь как ладью средь моря бед и как невесту Христову, оскверняемую си-

монитами. Блестящую сатиру на папскую алчность, полную библейских пародий, предвещающих вагантскую поэзию, написал испанец Гарсия Толедский под заглавием «О пренесении мощей Альбина и Руфина» (Альбин — «белый», Руфин — «рыжий»· имеются в виду серебро и золото, приносимые в Рим). Есть даже темное упоминание об антипапском «сценическом измышлении, наподобие трагедии о житии и уставе папы римского».

Важность этой полемики была в том, что она впервые объединила вокруг общего интереса всю Европу — не только географически, от Рима до Кельна, Толедо и Тура, но и социально, от герцогов до саксонских повстанцев-крестьян и от монахов и клириков до итальянских горожан. Впервые в Европе ощутилось подобие общественного мнения, и литература стала апеллировать к этому общественному мнению. Памфлеты распространялись через епископскую сеть, через монастырскую сеть, через странников, даже через купцов, грамотные доносили их до неграмотных: «книжка расходится повсюду, появляется на площадях и перекрестках, шумом ее уже повсюду полны прядильни баб и слесарни ремесленников», — сколь ни гиперболичны эти жалобы современников, все же они означают начало новой полосы в духовной жизни Европы.

Важность этой полемики была и в том, что в ней впервые были осознаны многие идеи, имевшие потом славную судьбу в истории европейской мысли. Ощутимее стало культурное единство и цельность политически раздробленной Европы оттого, что на смену местным церковным организациям стала утверждаться всеевропейская («Нелепо верить, будто бог не одинаков повсюду, и будто он не может сделать в Шпейере того, что сделал во Франции»,— писал один из деятелей германского клюнийства). Римский собор 1123 г., утвердивший Вормсский конкордат, считался на Западе IX вселенским собором, созванным через два с половиной века после VIII в. Заново было продумано представление о государстве: папист Манегольд Лаутенбахский, оправдывая отлучение Генриха IV, впервые выдвинул идею «общественного договора» в феодальном осмыслении: мирская власть, конечно, от бога, но не непосредственно, а через народ; есть договор между правителями и подданными, который может быть расторгнут, если правители нарушат обязательства. Заново было обдумано и представление о церкви: в сочинениях антипапистов впервые мелькает мысль будущих реформаций, что когда есть Священное писание, то нет нужды в папе.

Одним из частных следствий этого оживления мысли были энергичные занятия правом: они имели самое практическое значение для обоснования претензий императора и папы на власть. Прежде всего началась систематизация церковного, канонического права (материалы к нему сразу умножились, когда Григорий VII раскрыл своим сторонникам архивы папского престола): своды канонов появляются один за другим, самый значительный из них был составлен Ансельмом Луккским в 1080-х и

Деусдедитом в 1090-х годах. А затем началось и открытие римского права: до сих пор романское население западной Европы пользовалось лишь кодексом Феодосия, с сильными видоизменениями от страны к стране, теперь становится известен кодекс Юстиниана; первый его толкователь Ирнерий работал в Болонье ок. 1100 г. Занятия правом требовали умения делать дальние логические выводы и разрешать противоречия. Это была область, где невозможно было обойтись без применения той диалектики, которой столь усердно учили в соборных школах.

Было бы натяжкой выводить обострение философского интереса к диалектике непосредственно из практических нужд борьбы за инвеституру. Но тот факт, что первое в западной Европе (после одинокого усилия Эриугены) применение диалектики к богословию — беренгариевская контроверсия — точно совпадает по времени со спором об инвеституре, конечно, не случаен. Это были симптомы одного и того же духовного оживления Европы на новом историческом рубеже.

Беренгарий Турский (ок. 1010—1088), ученик Фулберта Шартрского, исходил из основного положения средневековой логики: сущность вещи (субстанция) предшествует формам ее существования (акциденциям), изменение субстанции влечет изменение акциденций, неизменность акциденций свидетельствует о неизменности субстанции. Он применил этот критерий к церковному таинству причастия — евхаристии. Получилось: так как вид и качество хлеба и вина при причастии не меняются, то и субстанция хлеба и вина не превращается в субстанцию плоти и крови Христовой, а лишь приобретает их силу, их действенность. С точки зрения церковной традиции это была ересь. Беренгарий был осужден на нескольких соборах (в первый раз в 1050, в последний раз в 1079 г.), сидел в тюрьме, отрекся, потом взял свое отречение назад как вынужденное, потом отрекся вновь и умер под покаянием; только личная приязнь Гильдебранда спасла его от более серьезного наказания. От Беренгария сохранилось лишь одно сочинение. от его оппонентов (главным из которых был Ланфранк, аббат Бека в Нормандии, потом архиепископ Кентерберийский) — около десятка; по размаху эта контроверсия несравнима с борьбой за инвеституру, но значение ее не меньше.

Дело даже не в том, что из традиционного церковного взгляда на евхаристию можно вывести схоластический «реализм», а из беренгариевского — схоластический «номинализм»; дело в том, что эта контроверсия открывала путь в науку для разума. Спор между сторонниками и противниками диалектики был прежде всего спором о границах научного познания. Именно этот вопрос был главным в беренгариевской контроверсии: противники Беренгария попрекали его тем, что он «злоупотребляет диалектическими софизмами против простоты апостольской веры» (по выражению историка Сигиберта из Жамблу). «Оставив святые авторитеты, ты ищешь прибежища в диалектике..., я же предпочел бы выслуши-

вать и отвечать на святые авторитеты, а не на диалектические тонкости»,— писал Ланфранк. Беренгарий же отвечал, что довод от большинства голосов — не довод и что апеллируя к разуму, он апеллирует к богу, ибо разум и делает человека образом и подобием бога. Увлечение диалектикой и протест против нее столкнулись в эти годы так остро, как никогда раньше. Противники диалектики выдвинули из своих рядов писателя необычайной силы — это был Петр Дамиани, из свинопаса ставший знаменитым учителем, потом монахом, потом кардиналом, аскет, самобичеватель, автор экстатических стихов и молитв, отвергавший и обличавший мир и все мирское. Это ему принадлежит знаменитая сентенция о науке — служанке богословия («О всемогуществе божием»,5). Ниспровергая грамматику, он предлагал просклонять, не впадая в ересь, слово «бог» во множественном числе; ниспровергая диалектику, он утверждал, что для бога не существует законов логики и законов природы, нет причин и следствий, бог может даже уничтожить прошлое и сделать бывшее небывшим. Это — предельная точка иррационализма XI в.

В этом противоборстве двух крайностей решающее слово сказал ученик Ланфранка Ансельм Кентерберийский (1033—1109), одна из крупнейших фигур во всей истории Европы; и это было слово в пользу разума. Ансельму принадлежит формула: credo, ut intelligam, «верю, чтобы понимать» («Прослогий», I). Эти слова не следует понимать (как часто делается) как утверждение превосходства веры над разумом. «Вера» для Ансельма — не метод познания, противоположный разуму, а степень познания, предшествующая разуму: та непосредственная убежденность в достоверности фактов, без которой бесплодны всякие логические операции над фактами (другое дело— что для Ансельма, как для всякого средневекового человека, и евангельские чудеса и повседневные явления одинаково были «фактами»). Диалектики претили ему тем, что принуждали своими софизмами к выводам, противоречившим непосредственному жизненному и душевному опыту; иррационалисты — тем, что принуждали в своем протесте против выводов отказываться и от самих исходных данных непосредственного душевного опыта. Мир Ансельма — это не воздушный замок диалектических построений, красивый и стройный, но пустой и безжизненный, это и не страшный мир Петра Дамиани, в котором царит лишь неисповедимый божий произвол. Это гармоничный мир, органической частицей которого является человек, и поэтому мир живой, доступный и понятный во всех проявлениях. Чтобы показать, что этот мир открыт для человеческого разума до предельных его высот и глубин, Ансельм предпринимает свои знаменитые доказательства бытия божьего, все исходящие только из непосредственного душевного опыта. Так как психологически невозможно представить себе бесконечность, то необходимо должен существовать конечный предел блага, бытия, совершенства, всеохватности; это и есть бог. Понятно, что при таком отношении к

миру и разуму Ансельм не нуждается в библейских и святоотеческих авторитетах для опоры своих мнений: ему достаточно смотреть в свою душу и давать себе отчет о своем душевном опыте. Его сочинения приобретают вид духовных медитаций, в которых через раскрытие личного достигается всеобщее. Образцом Ансельма здесь был только Августин, а сам Ансельм стал образцом — и обычно недостижимым образцом — для лучших писателей и мыслителей XII—XIII вв. В истории средневекового мышления это был переворот огромной важности.

Мировоззрение Ансельма снимало на новом уровне то вечное противоречие античного и христианского духовного идеала, которое так мучило в этот критический век европейскую культуру. Целиком основанное на приятии мира, оно открывало ворота для средневекового гуманизма — «возрождения XII века». Первые проявления этой новой культурной эпохи заметны уже в поколении Ансельма. Очагами нового «возрождения» были, во-первых, Монтекассино и, во-вторых, луарская область — Анжер, Тур, Манс.

В Монтекассино в 1070—1080-х годах после долгого культурного упадка вновь вспыхивает вкус к античному стилю и античному стиху в самых лучших его образцах: монтекассинский поэт Альфан пишет гимны святым и оды современникам горацианскими размерами, монтекассинские прозаики вырабатывают нормы прозаического ритма (по образцу античных ораторов), чтобы постепенно это тонкое украшение вытеснило из прозы более грубое украшение — рифму. Однако здесь непримиренность античного идеала формы и христианского идеала содержания еще чувствуется, мирские темы избегаются, дышит дух соседнего григорианского Рима.

В луарской области, вдали от центра борьбы между империей и Римом, эта напряженность исчезает. Здесь трудятся поэты Хильдеберт, Бальдерик, Марбод, правовед-канонист Ивон Шартрский, историк крестового похода Гвиберт Ножанский; здесь недалеко аббатство Бек и архиепископство Кентерберийское, где живет и пишет сам Ансельм. Здесь приятие мира совершается уже без ограничений, здесь Марбод любуется в стихах красотами весны, Бальдерик — роскошной утварью и светским обхождением, Хильдеберт — древним величием Рима; в Монтекассино эти темы были бы немыслимы. Там красота ценится лишь постольку, поскольку она облекает христианское содержание; здесь красота ценится сама по себе, ибо она тоже есть частица божьего мира и восприятие ее поселяет гармонию в душе человека. И Альфан и Бальдерик с одинаковым вкусом умеют воспевать роскошь построек и убранства, но Альфану нужно, чтобы это было убранство божьей обители — Монтекассинского монастыря, а для Бальдерика прекрасно и убранство покоев блуаской графини. И Альфан и Бальдерик с одинаковым изяществом и пафосом пишут скорбные элегии в дистихах, но у первого это излияние скорбной души перед Христом, а у второго — излияние сосланного Ови-

дия перед Флором. Мирская тематика не противопоставляется христианской у луарских поэтов. Она сливается с ней в общем эстетическом подходе: Хильдеберт с одинаковой заботой отделывает и гимн Троице, ставший одним из знаменитейших образцов латинской христианской лирики, и эпиграмму о слуге и хозяйской жене, долго считавшуюся произведением самого Марциала. Гармонический божий мир, на его лоне — ученое светское общество, в котором каждый обходителен в поступках, проницателен в мыслях, изящен в словах,— и все это во славу божию: таков идеал начинающегося «возрождения XII в.», идеал, выношенный духовным сословием Европы с его латинской словесностью и затем переданный им рыцарскому сословию с его новоязычной словесностью.

Именно здесь пролегает граница между подготовкой «возрождения», совершаемой на исходе XI в. и собственно «возрождением», приходящимся на XII в. Историческим событием, отмечающим этот рубеж, был крестовый поход 1096—1099 гг.— первый и важнейший из крестовых походов. Именно крестовые походы дали толчок возвышению рыцарства, дали толчок возвышению бюргерства, а вместе с этим — подъему новоязычной словесности, а вместе с этим — подъему светской стихии в европейской культуре рядом с религиозной стихией. Положение латинской литературы в Европе разом меняется. XII век — это для нее уже новый исторический период.

«Кембриджские песни»

«Кембриджские песни» открывают этот раздел не потому, что они хронологически самые ранние из произведений этого раздела. Они имеют на это право скорее потому, что образуют наиболее органически связующее звено между двумя периодами средневековой латинской литературы — предшествующим, каролингским, монастырским, и последующим, оттоновским, придворным и епископским. Это — предельная точка сближения книжной поэзии с народной поэзией; образы и темы народной поэзии облекаются здесь в языковые и стиховые формы книжной, религиозной поэзии. Дальше этого взаимное оплодотворение двух культурных стихий раннесредневековой Европы не могло идти: должно было наступить, с одной стороны, новое самоопределение литературы на латинском языке, а с другой стороны, становление литературы на народных языках, что и произошло в X—XI вв.

«Кембриджские песни» — условное заглавие антологии 50 стихотворений, сохранившейся в рукописном сборнике XI в., ныне хранящемся в Кембридже. Антология была составлена неизвестным любителем (несомненно, духовного звания) из стихотворений разного времени — самое раннее откликается на смерть герцога Генриха в 948 г., самое позднее — на смерть императора Конрада II в 1039 г.— и происходивших из разных стран Европы: можно различить стихотворения германского, французского, итальянского происхождения. Антологии такого рода, по-видимому, имели в это время уже довольно широкое хождение: в одной сатире Амарция (ок. 1050 г.) рассказывается, как богач приглашает к себе жонглера (jocator), и тот развлекает его песнями о швабе, одурачившем жену, о Пифагоре и о соловье — три песни на эти темы находятся и в Кембриджской рукописи. Местом составления антологии была, по-видимому, рейнско-мозельская область — место наиболее близкого соприкосновения германской и романской культур. В рейнской области жил и Амарций.

Антология составлена из стихотворений разного содержания, но в расположении их заметен известный план. В начале помещены стихи религиозного содержания (в том числе, отрывки из Венанция Фортуната и Храбана Мавра); затем — стихи на придворные темы (плач о смерти герцога Генриха, в котором чередуются полустишия на латинском и на немецком языках; «Песнь об Оттонах», приводимая ниже; стихи, посвященные Генриху II, Конраду II, Генриху III, кельнскому и трирскому архиепископам; одно из стихотворений, на выздоровление королевы от болезни, быть может, принадлежит какой-нибудь ученой придворной даме); затем — стихотворные новеллы и анекдоты (из них

ниже переведены «Снежный ребенок» и «Лжец»); затем — стихи о весне и любви (из них переведены «Весенние вздохи девушки» и «Приглашение подруге»), стихи дидактического содержания, и наконец — несколько отрывков из античных поэтов, преимущественно патетического склада (из «Энеиды» и «Фиваиды»).

Из этого обзора видно, что социальная среда, в которой возникли эти стихи, также различна: церковная, дружинная (в «Песни об Оттонах»), придворная (сохранилось письмо учителя вормсской соборной школы Эбона к Генриху III о том, что он собирает для короля «напевы»; быть может, наша антология имеет отношение к этому собранию), мирская (в анекдотах и любовных песнях). Предтечами этих стихов можно считать те «каролингские ритмы», которыми заканчивался предыдущий сборник памятников латинской средневековой литературы. Но «каролингские ритмы» писались самыми простыми стихотворными размерами, а наши стихотворения облечены в сложную форму секвенций («Песнь об Оттонах», «Снежный ребенок», «Лжец») или в метры амброзианских гимнов («Весенние вздохи девушки», «Приглашение подруге»). Контраст традиционно-церковной поэтической формы и заведомо мирской тематики представляет собой главное своеобразие поэтики этих песен. Язык их прост, за исключением некоторых произведений, нарочито щеголяющих ученостью («Стих о Пифагоре»). В «Песни об Оттонах» заметен налет вергилианского стиля.

Главной новостью в содержании этих песен является любовная тематика. В произведениях каролингской, монастырской эпохи она, как мы помним, начисто отсутствовала. Здесь она появляется впервые, и не без сопротивления: несколько стихотворений нашей рукописи тщательно вымараны кем-то из ее средневековых читателей (по обрывкам слов видно, что это тоже были любовные стихи), пострадала и одна строфа в переведенном ниже «Приглашении подруге». Источник этой тематики — конечно, народная поэзия; характерно, что одно стихотворение даже написано от лица женщины, хотя автором его почти заведомо был мужчина-монах, лишь перелагавший на свой литературный латинский язык смолоду запомнившуюся народную женскую песню. Большинство этих стихотворений о весне и любви, по-видимому, не немецкого, а французского происхождения; одно из них, «Стих о соловье», приписывается самому Фулберту Шартрскому. Несколько особняком стоит послание «К мальчику», происходящее из Италии (упоминание «Тезида», реки Адидже) и сочетающее громоздкие ученые образы с эротической пряностью обращения мужчины к мужчине — может быть, учителя к ученику.

Рядом с этим стихотворением, самым «нечестивым» в нашем цикле, в одной из рукописей находится другое стихотворение, самое благочестивое в нашем цикле — гимн Риму на праздник Петра и Павла, написанный, по-видимому, от лица подходящих к Риму паломников, сочиненный тоже в Италии, тем же размером и, по всей вероятности, тем же автором, что и послание «К мальчику». Оно не вошло в антологию «Кембриджских песен», но мы помещаем его в виде приложения к ним. Так, стихами об Оттонах начинается и стихами о Риме заканчивается этот стихотворный цикл, открывающий серию памятников литературы X—XI вв.— «литературы между империей и папством».

ПЕСНЬ ОБ ОТТОНАХ

(напев Оттонов)

1. Оттон, славный кесарь, в честь коего
Названа эта песня «Оттоновой»,
Как-то ночью спал спокойно, отдыхая,
Как вдруг вспыхнул
Его дворец
Жарким полымем.
Слуги стоят в страхе, уснувшего
Не решаясь коснуться, и в звонкие
Струны разом ударяют во спасенье,
Возвещая:
«Восстань, Оттон!» —
Песнь Оттонову.

2. Восстал наш кесарь, неся надежду ближним,
И без страха пошел врагам навстречу,
Ибо приходят вести: злые венгры
На него войною ополчились [1].
На речном бреге военным стали станом;
Грады, замки, села лежат во прахе;
Сын о матери плачет, мать о сыне,
Из края родного во изгнаньи.

3. Молвил Оттон кесарь: «Знать, меня ленивцем
Мнят парфяне [2] за то, что долго медлю?
Миг промедления множит избиения —
Отбросьте же робость и за мною
Встречу злым парфянам поспешите!»
Молвил герцог Конрад [3], из всех самый храбрый:
«Да погибнет всяк, кто убоится!
Руки к оружию — враг уже поблизости:
Сам я вскину знамя, и клинок мой
Первым вражьей кровью обагрится!»

4. Все пылают волей к бою,
Мечи в руки, рвутся в битву,
Вьются знамена, трубят трубы,
Крик несется к небу, и воины
Сотнями несутся на тысячи.
Бьются насмерть, редкий дрогнет,
Франки ломят, венгры — в бегство,
Трупы горою прудят реку,
Лех, от крови красен, к Дунай-реке
Весть несет о славном сражении.

5. С малым войском разбив парфян,
Многократный победитель,
К общему горю опочил он,
Имя, царство, славу
Сыну милому завещавши.

Оттон юный за ним следом
Государил многи лета,
Кесарь справедливый, кроткий, сильный,
В едином лишь меньший —
Победителем был он реже.
6. Но его же славный отпрыск,
Оттон, краса юношества,
Был и отважен, был и удачлив:
Даже тех, кто был мечу его недоступен,
Слава его имени побеждала.
В войне храбрый, в мире мощный,
Ко всем он был милостивым;
И, торжествуя в войне и мире,
Всех, кто скуден был и бедствовал,
призревал он,
Прослыв отцом истинным неимущих.
7. На том кончим песню, да не упрекнут нас,
Что дар наш убогий доблести Оттонов
Сверх меры принизил,
Между тем как оных подстать лишь Марону
Славословить [4].

СНЕЖНЫЙ РЕБЕНОК

(напев Либонов)

1. Послушайте, люди добрые,
Забавное приключение,
Как некий шваб был женщиной,
А после швабом женщина
Обмануты.
Из Констанца шваб помянутый
В заморские отплывал края
На корабле с товарами,
Оставив здесь жену свою,
Распутную.
2. Едва гребцы в открытое вышли море,
Как страшная нагрянула с неба буря:
Море буйствует, вихри вихрятся,
Вскипает хлябь;
И по многом скитании выносят гонимого
Южные ветры на берег далекий.
А между тем жена не теряла часа:
Являются шуты, молодые люди,
Тотчас приняты, с лаской встречены,
А муж забыт;
В ту же ночь забеременев, рождает
распутница
В должные сроки недолжное чадо.

3. Два года уж миновало;
Возвращается муж заморский.
Навстречу бежит супруга,
Ведя с собою ребеночка.
Поцеловавшись, муж вопрошает:
«От кого младенец без меня родился?
Скажи, не то худо тебе будет!»
Она же, страшась супруга,
Измыслила такую хитрость:
«Мой милый,— она сказала,—
Пошла я в горы альпийские,
Мне пить хотелось, глотнула я снегу,
И с этого снегу тяжела я стала,
И ах, на срам родила ребенка».

4. Пять лет или боле с тех пор миновало,
Шваб неугомонный вновь наладил весла,
Починил корабль свой, поднял парус,
А младенца, от снега рожденного,
Взял с собою.
Переехав море, он выводит сына
И продает в рабство за большие деньги.
Получил сто фунтов и с прибытком
От продажи такого невольника
Воротился.

5. И с порога дома говорит супруге:
«Горе, жена моя, горе, голубушка,
Сына потеряли мы,
Которого и я, и ты
Так любили.
Поднялася буря, и жестокий ветер
В жаркие заводи угнал нас, измученных,
Все от зноя маялись,
А сын-то наш, а снежный наш
Весь растаял».

6. Так неверную жену-изменницу
Проучил он:
Так обман обманул обман,
Ибо тот, кого снег родил,
От палящего солнца впрямь
Должен таять.

ЛЖЕЦ

(напев Флоров)

1. Начну-ка я песню плутовскую,
Для мальчиков к радости великой;
Пусть, слушая мой напев лукавый,
За ними и взрослые смеются.

2. У царя была царевна,
И прекрасна, и разумна;
Женихов ей ожидая,
Царь такое дал условье:

Кто найдется лжец великий,
До того во лжи искусный,
Что сам царь признает это,—
Тот и станет ей супругом.

3. Шваб, узнав условие,
Молвил, не колеблясь:
«Шел однажды с луком
Один я на охоту
И, разя за зверем зверя,
Поразил стрелой и зайца,
Брюхо выпотрошил, шкуру
Снял, и голову отрезал.

Только зайца голову
За уши я поднял —
Вылились из уха
С полсотни ведер меду,
Из другого же из уха
Ровно столько же гороху.
Распластал я шкуру зайца,
Закатал туда добычу,
А под хвостиком зайчачьим
Вдруг нашел письмо царево,

4. В котором ты в рабство мне отдался!»
«Лжешь! — крикнул царь,— и лжет твоя находка!»
Вот так-то шваб, ловкой этой ложью
Поддев царя, стал царевым зятем.

СТИХ О МОНАХЕ ИОАННЕ

1. Уча деянья отчие,
Прочел смешную притчу я;
Ее я вам поведаю
Стихами так, как следует.

2. Жил-был в далеком времени
Мних, Иоанн по имени;
Он росту был невзрачного,
Но нрава непорочного.

3. Сказал он другу ближнему,
С которым жил он в хижине:
«Хочу, как Божий ангел, жить —
Не есть, не пить и наг ходить!»

4. «Одумайся,— ответил друг,-
И не берись за дело вдруг —
Не то, боюсь, раскаешься
И сам потом измаешься».

5. А Иоанн: «Для робких нет
Ни поражений, ни побед!»
Сказал и, голоден и наг,
Пустыни в глубь направил шаг.

6. Семь дней тоску голодную
Питал он пищей скудною,
Но тщетны все усилия —
И вновь бредет он в келию.

7. Его товарищ в келье той
Сидит за дверью замкнутой;
И гость изнемогающий
«Открой!» — зовет товарища.

8. «Я Иоанн, твой верный брат,
Пришел, увы, к тебе назад:
Под прежний кров меня впусти,
Не откажи мне в милости.

9. А тот, не открывая дверь:
«Мой брат средь ангелов теперь,
Он в небе обретается,
Он в крове не нуждается».

10. Всю ночь под дверью пролежав,
Всю ночь от стужи продрожав,
За казнью добровольною
Он принял казнь невольную.

11. Лишь поутру подвижнику
Открыла двери хижинка;
Попреки друга слушая,
Он мыслит лишь о кушанье.

12. Благодарит раскаянно
И Бога и хозяина,
И к очагу становится,
Где снедь уже готовится.

13. Вот так-то понял Иоанн,—
Удел ему от Бога дан
Не ангела небесного,
А мужа благочестного.

ВЕСЕННИЕ ВЗДОХИ ДЕВУШКИ

1. Зефиры веют нежные,
Восходит солнце теплое,
Земля раскрыла грудь свою
И дышит вешней сладостью.

2. Одета багряницею,
Весна идет царицею,
Луга цветами сеяны,
Леса листвою зелены.

3. Повсюду птицы гнезда вьют,
А звери гнезда делают,
И сквозь листву древесную
Несется песнь чудесная,

4. Все вижу я, все слышу я,
Но, ах, полна душа моя
Не радостью живительной,
А горестью томительной.

5. Сижу я здесь совсем одна,
От мыслей тягостных бледна,
Ни света нет очам моим,
Ни пенья нет ушам моим.

6. Весна всемилосердная,
Услышь и пожалей меня —
Среди цветов, листов и траз
Моя душа скорбит, устав.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОДРУГЕ

1. Приди, подружка милая,
Приди, моя желанная,
Тебя ждет ложница моя,
Где все есть для веселия.

2. Ковры повсюду постланы,
Сиденья приготовлены,
Цветы везде рассыпаны,
С травой душистой смешаны.

3. А вот тебе и стол накрыт
И всеми яствами покрыт,
Вино чистейшее блестит,
И все здесь душу веселит.

4. Звенят звуки прелестные,
Играют флейты звонкие,
И в лад певцы ученые
Заводят песни складные.

5. Смычок струны касается,
С музыкой песнь сливается.
И слуги появляются,
И кубки наполняются.

6. «Пошла гулять я в темный лес,
Пошла искать укромных мест,
Претят мне толпы шумные
И стогны многолюдные.

7. . . . .

8. Мне в радость не богатый пир,
А в радость мне беседы мир,
Не пышных яств обилие,
А лишь сердечность милая».

9. Нам есть, чем душу радовать,
Зачем же нам откладывать?
Ведь рано или поздно ведь
С тобой нам праздник праздновать!

10. Приди, сестрица милая,
Люблю тебя всем сердцем я,
Приди же, свет моих очей,
Приди, душа души моей!

К МАЛЬЧИКУ

1. Отрок, подобие прекрасной Венеры,
Всей чистоты людской затмивший примеры,
Бог да хранит тебя, Бог истинной веры,
Создавший землю, хлябь и звездные сферы!
Пусть не грозят тебе воры-лицемеры,
Пусть Клото выпрядет нить твою без меры!

2. «Храните отрока!» — молю не для вида,
А с сердцем искренним трех сестер Аида,
Клото, Атропу и ту, что Лахезида.
Будь тебе помощью Нептун и Фетида,
Когда ты пустишься по волнам Тезида [5].
Ах, уплываешь ты, горька мне обида:
Как буду жить, тебя потеряв из вида?

3. Кость материнская, земные каменья
Были материей людского творенья [6].
Ах, не из них ли ты создан в день созданья,
Кого и слезные не тронут рыданья?
Без олененочка томлюся, как лань, я,
А ты лишь высмеешь все мои стенанья.

Приложение

ПОХВАЛА РИМУ

1. О Рим, столица ты мира великая,
Все города земли превосходящая,
Кровью святых мужей вся обагренная.
Кринами чистых дев вся убеленная:
Неумолкаемо нами хвалимая,
Славься, во все века благословенная!

2. Петр, о вратарь небес многовластительный,
Слушай прошения наши внимательно!
Все дважды шесть колен судя рачительно,
Ты отнесися к ним доброжелательно:
Всем, кто на суд к тебе шел своевременно,
Свой приговор скажи ты сострадательно.

3. Павел, о внемли всем нашим молениям:
Всех любомудров ты сверг своим рвением.
В доме всевышнего ставший рачителем,
Ты ублажи всех нас Божеским яствием:
Вечной премудрости полный учением
Полни и нас всегда всем своим знанием.

Ратхер Веронский

Если бы Ратхер Веронский жил столетием раньше, он был бы видной фигурой среди энергичных богословов-администраторов каролингского времени; если бы Ратхер жил столетием позже, он нашел бы себе место в бурной борьбе между императорской и папской властью. Но жизнь его пришлась на самое глухое и бесплодное время — на первую половину X в.; и поэтому его редкая начитанность, замечательный талант и кипучий темперамент были растрачены на склоки с ничтожными современниками, клиром и мирянами, и на душераздирающую вражду с самим собой.

Он одинаково известен как Ратхер Люттихский и Ратхер Веронский — это следствие его бурной судьбы, которая носила его из конца в конец Европы, из Нидерландов в Италию и обратно. Он родился близ Люттиха (Льежа) ок. 887 г. в знатной семье, получил образование в местном монастыре Лобб: здесь были заложены основы его эрудиции (в богословии — главным образом, по сочинениям Августина и Григория Великого, в античных авторах — вплоть до редчайших по тому времени Плавта и прочитанного им уже позднее, в Вероне, Катулла), а также и его вкуса к вычурному и витиеватому стилю, унаследованному от нидерландских ирландцев. Быстро почувствовав свое превосходство над окружавшим его обществом, он уверился в своем праве на обличение невежества и нехристианского образа жизни современников и стал искать для себя место, которое было бы его достойно.

В 926 г. Ратхер сопровождает в Италию своего начальника — Хильдуина, бывшего епископа Люттихского, и остается при нем, когда итальянский король Гугон назначил Хильдуина епископом Вероны. Из Вероны Ратхер ведет деятельную переписку по богословским вопросам с итальянскими клириками и получает славу признанного авторитета. В 931 г. Хильдуин стал архиепископом миланским, а Ратхер получил освободившееся епископство в Вероне; Ратхер в это время был тяжело болен, и король надеялся, что занимать это место он будет недолго. Но Ратхер выздоровел, и обманувшийся в надеждах король Гугон с этих пор возненавидел его и стал преследовать. Ратхер отвечал ему такими же чувствами; а когда в 934 г. на Гугона пошел войной герцог Арнольд Баварский, Ратхер примкнул к нему и поддержал его большой суммой денег. За это наступила скорая расплата: Гугон схватил мятежного епископа и бросил его в тюрьму в Павии. Здесь Ратхер провел два с половиной года; здесь он написал самое известное свое сочинение — «Шесть книг предисловий, или Агонистик».

«Агонистик» значит «Борец»: Ратхер имеет в виду борьбу разума и чувств, борьбу страстей, которая помогает или мешает каждому человеку в его стремлении к христианскому нравственному идеалу. Под этим психологическим углом зрения Ратхер дает блестящий обзор типов современного общества; традиционный жанр «зерцала добродетелей» обращается под его пером в подлинную инвективу, направленную прежде всего против духовенства. В первой книге перед читателем проходят художник, воин, врач, торговец, адвокат, чиновник, хозяин, раб, учитель, ученик, богач, нищий; во второй — супруги, родители, дети, отроки, юноши, старцы; в третьей — правитель государства; в четвертой — его обязанности по отношению к духовным властям и, в частности, к епископам («Дражайший повелитель! — дерзко обращается Ратхер к мнимому собеседнику,— кто осмелится ныне молвить тебе в лицо всю правду? А когда на это осмелюсь я, ты запишешь меня в сумасшедшие, и бранным речам твоих собутыльников, которыми они будут поносить меня, не станет предела»); в пятой — нравы духовенства; и, наконец, в шестой — праведник, грешник, кающийся, мудрец, простачок, дурак. Кончает Ратхер свое сочинение излияниями скорби о собственных душевных слабостях.

В 936 г. Ратхер был освобожден из тюрьмы и сослан на поселение в Комо. Отсюда он переписывается с Бруноном Кельнским и Ротбертом Трирским; последний приглашает его на должность секретаря и библиотекаря, но Ратхер отказывается, ссылаясь на то, что он слишком долго не держал в руках книг. Вместо этого он уезжает в Прованс учителем в знатную семью (в этой должности им была написана несохранившаяся грамматика под характерным заглавием «Спасение от розог»), надеялся получить там приход, но безуспешно; в 944 г. мы видим его в Лане, где ему предлагают аббатство Сент-Амандское, но он отказывается, надеясь на лучшее, а потом — в Лоббе. В 946 г. король Гугон вновь приглашает его в Верону, чтобы сместить там неугодного епископа; Ратхер не удерживается от искушения и едет, вновь становится игрушкой политических интриг итальянских феодалов, апеллирует в блестящих посланиях и к папе, и к епископам, и к Лиудольфу, сыну Оттона Великого, державшему в это время верховную власть над Италией; но, наконец, не выдерживает и возвращается монахом в Лобб.

Потерпев неудачу в Италии, Ратхер пытает счастья в Германии. В 952 г. он принимает приглашение преподавать в придворной школе Оттона I и в награду вскоре получает от Брунона назначение епископом в Люттих. Однако в 955 г. местный граф сместил его, а Брунон из политических соображений не заступился за него; тогда Ратхер перебирается в Майнц под покровительство архиепископа Вильгельма, другого своего ученика. Вильгельм дает ему аббатство в Ольне близ Лобба; здесь Ратхер проводит несколько лет, сочиняя апологетические памфлеты, среди которых выделяется «Исповедное собеседование», предел беспощадного душевного самораскрытия. Сборник его памфлетов, составленный им самим в Майнце, носит характерное заглавие «Безумие» (12 книг, сохранившихся неполностью).

В 961 г. Ратхер сопровождает Оттона I в его итальянском походе, в третий раз становится епископом Вероны и со всей своей энергией принимается за исправление нравов итальянского духовенства: произносит десятки проповедей, пишет трактаты «О пренебрежении к канонам», «О недозволенном браке», «Суд», «О мятежных клириках», «Раздор», «Книга оправдательная», «Проти-

воборство двоих», «О своем падении»,— заглавия говорят сами за себя. Взаимная вражда между Ратхером и подчиненными ему итальянскими клириками доходит до того, что в 965 г. вспыхивает прямой бунт, и толпа разоряет епископский дом. Покровитель Ратхера Брунон около этого времени умер, итальянские феодалы были против него; после нескольких лет борьбы утомленный Ратхер, 80-летний старик, оставляет свое епископство и возвращается в Лобб.

Последние годы неугомонного священнослужителя были не менее беспокойными, чем прежние. В Лоббе его радушно принял аббат Фолькуин, сам писатель-историк, но Ратхер тут с ним поссорился; купил у короля Лотаря (на вывезенные из Италии деньги) лен на Сент-Амандское аббатство, но на второй же день был выгнан оттуда монахами; скитался по Ольну, Отмону, Монсу и другим обителям в окрестностях Люттиха; в 970 г. выжил из Лобба своего врага Фолькуина, стал отстраивать аббатство, как крепость, и покупать себе союз окрестных графов; лишь в следующем, 971 г. новый люттихский епископ Ноткер с трудом примиряет строптивого Ратхера с Фолькуином и убеждает Ратхера принять аббатство в Ольне. Однако и здесь Ратхер не удержался дольше года: в 972 г. после смерти Оттона I в Лотарингии вспыхнули новые феодальные раздоры, Ратхера выгнали из Ольна, он бежал в Намюр и умер там в 974 г., немного не дожив до девяноста лет.

ШЕСТЬ КНИГ ПРЕДИСЛОВИЙ, ИЛИ АГОНИСТИК

СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ НЕКОЕГО РАТХЕРА ВЕРОНСКОГО БЛЮСТИТЕЛЯ ЦЕРКВИ, ТАКЖЕ МОНАХА ЛОББСКОГО, ИЗЛОЖЕННЫЕ ИМ В ИЗГНАНИИ; ТОМ, СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ ШЕСТИ КНИГ И ПРЕДВАРЯЮЩИЙ СОЧИНЕНИЕ ПОД ЗАГЛАВИЕМ «АГОНИСТИК», АВТОР РЕШИЛ НАЗВАТЬ «ПРЕДИСЛОВИЯМИ»

I. Вступление

Так как я свободен и время благоприятствует, да и положение мое способствует, я порешил собрать в сей книге немногое из бесчисленных целительных средств, источаемых величием Божьим, с помощью каковых средств ратник Божий нашего века будет сражаться с противником. И пусть силы уже на исходе, пусть мышцы ослабели, он должен ежедневно себя умащивать, дабы, ратоборствуя по всем правилам, заслужить победный венец.

Если же кто-нибудь пожелает лучше понять сие, тем с меньшей охотой объясню я еще раз, что с Божьей помощью постараюсь отовсюду извлекать слова для благочестивой молитвы, чтобы наш состязатель, предаваясь борьбе, обратил их к тому, кто это ратоборье правит, к небесным его зрителям, к покровителям своим, и молил бы у них для себя милости, а для врага — устрашения и трепета и от ударов, и от велегласия.

Тот, кто будет эту книгу читать или просматривать, уразумеет, что сочинение такое более всего пристало тому, кто полностью отрешился от всяческой суеты, забот и дел насущных и преходящих, зерцало разума затемняющих,— для того ли, чтобы истинной философии следовать или защищать истину и справедливость, по слову Божью, избрав себе удел блаженных (От Матфея, 5, 10), для того ли, чтобы какую-то свою вину исправить, находясь в заточении по собственному побуждению или по чьему-то повелению.

Эту книгу, мною ради меня же написанную, хоть и возмутительную многословием в делах необходимых, если кто-нибудь сведущий признает полезной, умоляю, пусть вместе со мной называет он ее «Агонистик» или же «Врачевание». Ибо если захочет он судить об ее содержании, он заведомо сможет обрести в ней и на битву зов, и для врачевания великую пользу. И в самом деле, она тебя, с одной стороны, и к сражению увлекает, а с другой стороны, и полученные от противника удары, словно искусно поставленная припарка, лечит и исцеляет. Поэтому сильного и храброго книга эта к сражениям побуждает, равным же образом надломленного и обессиленного преображает и подавленного возрождает, затем смиренного и робкого к дерзаниям направляет, а преисполненного гордыни и самомнения изобличает и принижает, указуя при этом, от каких источников должно ему черпать силы свои. Порой пробуждает она от беззаботности в праздность погруженных, а порой вознаграждает боем воспламененных. То предрекает она борьбу с искушениями, то сулит пальмовую ветвь за победное одержание.

А теперь соберись и отправляйся в путь, и помысли о своем направлении, и сам исследуй, так ли все это на деле. Мною сказано здесь слишком немного, чтобы ты от этого почувствовал скуку, ибо все, как ты увидишь, собрано по цветку из писаний святых отцов.

Сначала, если угодно, прочитай те предварительные наставления, которые предпосланы всем шести книгам «Предисловий», наставления достаточно краткие, и все же более подробные, чем это кажется на первый взгляд: быть может, в них ты обретешь некоторое подкрепление, коим желание твое возжется и на дальнейшее, и тем с легкостью будет явлено, чего ради было нам угодно написать эту книгу. А ты, чтец или переписчик ее, умоляю тебя, заклинаю живущим во веки веков и страшным его испытанием, а еще той благостью, которой «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву богу, в благоухание приятное» (К эфес., 5, 2), когда возьмешься читать или переписывать это сочинение, не пропускай того, что предпослано осторожности ради.

Кое-что отыщется в этих книжонках, чего сам сочинитель в душе не одобряет, каковы, например, упоминания о деяниях и страстях «некоего Оригена» [1] в III и IV книгах. Но раз уж так слу-

чилось, что сочинение это опирается преимущественно на свидетельство божественной воли, будь снисходительным, прошу тебя, читатель, к тому, кто рассказывает частью виденное, частью слышанное, частью неясное, частью познанное. Не заботься о содержании — правдиво ли, ложно ли или сомнительно оно: лишь бы ты воспринимал истину и здравый смысл речей, и тем более охотно, чем меньше ты стремишься уйти от главного и правильного пути.

Касается же это первое предисловие: I. Любого частного лица. II. Воина. III. Искусника. IV. Врача. V. Делового человека. VI. Адвоката. VII. Судьи. VIII. Свидетеля. IX. Чиновника. X. Сеньора. XI. Торговца. XII. Советника. XIII. Господина. XIV. Слуги. XV. Учителя. XVI. Ученика. XVII. Богача. XVIII. Человека среднего достатка. XIX. Нищего.

Начало первой книги

Все заповеди Господни согласуются вообще со всеми установлениями церкви, однако некоторые из них подходят лишь в отдельных случаях к отдельным людям, в зависимости от времени, сословия, обстоятельств, возраста, нравов, пола, страстей и различных причин. Ведь лучше мирно отдать рубашку (От Матфея, 5, 40), когда приказано в тяжбе даже самую душу положить за брата (I Иоанна, 3, 16).

Господь говорит: «Продай имение твое и раздай бедным, и следуй за мной» (От Матфея, 9. 21); но если бы все это немедленно выполняли, кто стал бы обрабатывать землю? И если бы все жен своих оставили, как продолжался бы род человеческий? И если Он же говорит: «Давайте милостыню».— что даст тот, кто ничего не оставил для себя? Зато речение «Всякому просящему у тебя дай» (От Луки, 7, 30), как кажется Матфею, всем подходит, всех наставляет, никого не упуская. Это значит: если у тебя есть что дать, не медли; если нет, дай самого себя, предоставь щедрый разум и благоволение.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение» (От Луки, 2, 4). Псалмопевец говорит: «Во мне, Господи, обеты твои» (Пс. 55, 12). И еще: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всем духом твоим, всеми силами твоими, и ближнего, как самого себя, и не кради, и не убивай, и не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай добра или жены ближнего твоего» (От Луки, 10, 17). Вот слова, которые обращены ко всем, к юношам и старцам, к мужчинам и женщинам, к рабам и свободным, к бедным и богатым, к мирянам и клирикам, никого они не минуют, никого не пропускают, всех объемлют. Нет человека, которого не касались бы эти речения, нет человека, который примет их, не почувствовав за собой вины. Здесь, стало быть, не существует различий между людьми.

Глава 1. Обязанности христианина

Хочешь ли ты быть христианином и христианином хорошим среди многих христиан, среди народа и черни, на сходках и в совете, на городских площадях и в селах?

Будь тружеником, не только справедливым, но и прилежным, довольствуйся тем, что имеешь, никого не обманывай, никому не вреди, никого не хули, ни на единого человека не возводи клеветы.

Бойся Бога, молись святым, посещай церковь, почитай священнослужителей, посвящай Богу первинки и десятину от своих трудов, раздавай посильную милостыню, люби супругу; кроме нее, ни к одной женщине не приближайся, а в праздничные дни и во время постов, в согласии с ней, сдерживай себя из страха Божьего и в страхе Божьем воспитывай детей; немощных навещай, умерших предавай погребению; для себя желаемое уделяй и другому, но чего себе не желаешь, не причиняй и ближнему.

Глава 3. О занимающихся искусством

Ты занимаешься искусством? Слушай!

«Молитва художника — в исполнении искусства его; он упорно ищет закон Всевышнего и сливается с ним душой» [2]. Ты должен понять, что всеми твоими творениями ты можешь воздать достойную хвалу Богу, особенно твоими речами, если ты стремишься найти закон Всевышнего, соблюдая в слове его заповеди. Так случится, если ты позаботишься, чтобы искусство, которое телесно кормит тебя, стало хотя бы малой поддержкой для души. Сделай себе из него милостыню, отдай из него десятину Господу. Помни, что из всех творений, которые он сотворил, он всегда взимает то, что принадлежит ему. Если же ты не отдашь ему его части, смотри, как бы ты не лишил себя своей, и в настоящем, и в будущем.

Глава 4. О врачах

Не обратиться ли нам от тех, кто занимается искусством вообще, к одному из видов искусства? Ты врач? Вот и выслушай, что дословно предписывает тебе Господь:

«Врач! Исцели себя сам» (От Луки, 4, 23). Это значит: если ты берешься лечить у других недуги телесные, позаботься об исцелении своих недугов нравственных. А это сбудется, если ты этим своим даром врачевания стремишься служить своему Творцу.

В отношении к бедным поступай по тому предписанию, которое Господь изрекает в Евангелии: «Даром получили, даром давайте» (От Матфея, 10, 8), а в отношении богатых — по известному слову

Апостола: «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, потому что Господь мститель за все это» (I Фессал., 4, 6). Отсюда ясно, что к бедным ты должен приходить безвозмездно и милосердно, из любви в Господу, а у богатых, за принятую мзду, ты должен применять верное лечение, чтобы не испытать за свой обман Божьей кары.

Ты, пожалуй, скажешь: «Да ведь я принял мзду не даром: я и учителям платил, и лекарства различные покупал, и много трудных и бессонных ночей провел я ради больных людей и лечения!» Тогда Господь ответил тебе: «Без меня не можете делать ничего!» (От Иоанна, 15, 4). Также говорят и апостолы: «Есть ли что-нибудь у тебя, чего ты не получил?» (I Коринф., 4, 7). И еще: «Кто дал первым, тому возместилось» (К римл., 2, 35). К тому же Иаков: «Всякое, — говорит он,— даяние есть благо, и всякий дар совершенен» (Захария, 1, 17). Ведь если бы предстал пред тобой Господь, разве не изрек бы он: «Кто дал тебе ту награду, которою ты обогащен? Неужели не я? Кто дал учителю твоему — наставлять в знании, а тебе — ума набираться? Неужели не я? Или ускользнуло из памяти твоей: «Всякая мудрость от Господа?» (Сирах, 1, 1).

Также и рвение, которое было в тебя вложено за ту плату,— кто бы вложил его в тебя, если бы я воспротивился? Также и деньги, которые ты уплатил за снадобья, кто предоставил в твое обладание? Чьей силой, сочувствием и утешением в трудах ты наслаждаешься? Когда ты работаешь, кто дает завершение твоим трудам? Неужели ты по многом опыте не сознаешь, что твой труд ничего не значил бы, если бы я не судил больному выздоровление?

И если при одной и той же болезни одно лекарство возвращает к жизни, а другое обрекает на погребение — все это у тебя откуда? по каким заслугам твоим? по какому преимуществу? за какую плату? от чьей благосклонности? Обо мне, обо мне помышляя как о щедром подателе наград, как о распределителе трудов, служи своему искусству смиренно и благодарно, честно и весьма осторожно; помни, что я всегда при тебе, дабы ты и в труде твоем достиг исхода плодотворного и по совершении труда возымел награду заслуженную».

Также усмотри явную разницу между светом и тьмой, между правдой и ложью, между благодатью Божьей и деяниями дьявола, чтобы помыслить, что относится к врачеванию, а что — к волхвованию.

Пользуйся, например, напитками, травами и различнейшими творениями Господними во имя его — всем тем, что мудрость, которую он вдохнул в искуснейших, открыла врачам. Прибегать же к гаданиям, к заклинаниям и к другим кощунственным суемудриям — дело математиков, или марсов [3].

Племя математиков обитает в Африке и вреда от змей не испытывает. Если же они хотят узнать, не чужеродные ли у них дети,

они бросают детей змеям; ибо чужеродных детей змеи пожирают. Другие марсы, называемые в Африке псиллами [4], занимались заклинанием змей, или убивая их, или не позволяя им приносить вред.

И от карбункулов, и от злокачественных гнойников — эта болезнь в просторечии называется «малампн» [5] — есть избавление: оно заключается в том, что траву, которая на языке франков так и называется «корень», в тщательно измельченном и растертом виде налагают сверху на больное место и оставляют до того часа, в который было наложено [6], а сок того корня в то же время примешивается в питье больного, чтобы отрава не проникла до самого сердца; и пока не наступит час, в который это было приложено, нужно понемногу, чтобы не возникало отвращение, как можно более принимать его в пище. И напротив того, никакого исцеления не приносит заклинание, написанное кругообразно на клочке бумаги и наложенное на рану, о котором здесь и поминать не след,— хоть и кажется оно отличным средством, однако на самом деле есть колдовство и несет крайнюю, смертельную опасность для души.

Но что это? От подобных средств, кажется, довольно часто тело обретает все же истинное здоровье? Отнюдь! Не кажется ли порой, что дьявол, никогда не свидетельствующий во истину Божью, говорит правду? Но разве от этого поколеблется слово истины Божьей: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины»? (От Иоанна, 8, 44)?.

Лиутпранд Кремонский

Среди историков X в. Лиутпранд занимает видное место как по своему таланту, так и по значительности описываемых им событий. Сочинения Лиутпранда служат и источником для его биографии. Из них выясняется, что родился он в Павии, приблизительно в 920 г., в знатной лангобардской семье, в придворной школе короля Гуго получил прекрасное классическое образование. Отец его был влиятельным лицом при дворе, был даже послан в Византию для укрепления связей короля с империей. В 931 г. Лиутпранд, благодаря прекрасному голосу, был приглашен в дворцовую капеллу. Во время правления в Италии Беренгария (с 945 г.) Лиутпранд служил у него личным секретарем. Позднее был диаконом церкви в Павии. По поручению Беренгария он в 949 г. ездил послом в Константинополь, где усовершенствовал свои знания греческого языка. О целях и последствиях этого посольства Лиутпранд не сообщает, но известно, что по возвращении у него произошел разрыв с Беренгарием. И уже в 956 г. он живет в Германии в качестве политического эмигранта. Оттон I оказал ему благожелательный прием. В Германии Лиутпранд встретился с епископом Рецемундом из Эльвиры, послом калифа Абдерахмана III, и по его убеждению начал писать историю современной Европы и ее королей. Писал он ее во Франкфурте с 958 по 962 г. и назвал «Антаподосис, или Воздаяние». У Оттона Лиутпранд выполнял дипломатические и политические поручения: в 963 г. сопутствовал королю в его итальянском походе в качестве переводчика в синоде в Риме, за что потом был пожалован епископством кремонским, а в 968 г. был главой посольства в Византию к Никифору Фоке, целью которого было сватовство Феофано, дочери императора Романа II, для сына Оттона. Оттон рассчитывал, что южноитальянские владения греков будут отданы его сыну в качестве приданого. Но его надежды не оправдались — Никифор ответил отказом, и в 969 г. Лиутпранд вернулся из Константинополя, не достигнув желанных результатов. Об этих своих поездках он написал два сочинения: «О деяниях Оттона» («Historia Ottonis», или «Gesta Ottonis») — об итальянском походе императора, и «Отчет о путешествии в Константинополь» («Relatio de legatione Constantinopolitana», или «Legatio») — сочинение пропагандистского прооттоновского характера, направленное против Византии. Есть сведения, что Лиутпранд ездил в Византию и в третий раз и во время этой поездки умер, но это недостоверно. Умер он, по-видимому, в 972 г., потому что в следующем году епископом кремонским называется уже Ольдеберт.

Из сочинений Лиутпранда самое значительное по содержанию и объему — «Воздаяние», в 6 книгах, направленное против Беренгария и имеющее целью

обличить его перед современниками и потомками, т. е. воздать ему по заслугам. Однако задача эта не была выполнена,— история доведена автором только до 949 г., она останавливается на описании путешествия Лиутпранда в Византию. Причину необычного названия книги Лиутпранд объясняет в предисловии к III книге (см. ниже). По-видимому, это греческое название ее («Антаподосис») не было изначальным, а дано сочинению позднее. В нем освещаются события в Европе с 887 по 949 г.

Порядок изложения их хронологический, хотя нетрудно заметить довольно беззаботное отношение автора к точности датировок. Первые 3 книги излагают события в Италии и Германии с 887 по 931 г. Более ценна вторая часть сочинения, в которой автор выступает как очевидец изображаемых им событий и их активный участник. Лиутпранд осуществил здесь требования античной историографии, и в этом он выгодно отличается от своего современника, саксонского историка Видукинда. В IV книге содержатся сведения о Германии и ее королях Генрихе и Оттоне, а в V снова речь идет об Италии и ряд глав посвящен Византии. Основная ее тема: история царствования короля Гуго до его смерти в 947 г. В VI рассказано о путешествии Лиутпранда в Константинополь. Книга осталась незаконченной по неизвестным причинам.

В «Антаподосисе» история сплетена с автобиографией. Это сочинение напоминает мемуары политического деятеля, направленные против его врагов, и отличается крайней субъективностью; изложение его явно тенденциозно: Беренгарий нарисован самыми мрачными красками, напротив, Оттон — светлыми. Читатель ясно видит в нем автора — пламенного почитателя Оттона и ожесточенного врага Беренгария. При написании «Воздаяния» Лиутпранд опирался и на устную традицию, но главным образом — на личные впечатления.

Форма изложения сочинения неровная: историческое повествование чередуется с живописными картинами быта, с новеллами и анекдотами порой весьма пикантного содержания, размышлениями, стихотворными вставками. Такое разнообразие не было случайным. В предисловии к сочинению Лиутпранд говорит, что книга — это не только серьезное чтение, но она должна служить и отдохновением читателю. Поэтому он, в подражание Боэтию, вводит в прозаический рассказ стихотворные описания и инвективы. Стихотворения то продолжают рассказ, то его иллюстрируют, то выражают отношение автора к излагаемому — его порицание или его одобрение, его ненависть или его любовь. В зависимости от изложения тон сочинения меняется: то в нем преобладает пафос, то ирония, то сарказм. Язык сочинения живой, местами несколько вычурный. Лиутпранд охотно щеголяет греческими словами, пересыпает речь цитатами из античных авторов: Вергилия, Овидия, Теренция, Ювенала, Цицерона и др. У античных историков Лиутпранд заимствовал прием вымышленной речи для характеристики своих героев. Эти речи очень оживляют и украшают его рассказ. В качестве литературного сочинения книга Лиутпранда оригинальна и значительна. Здесь в полной мере обнаруживается его талант. В качестве исторического сочинения она проигрывает из-за слишком односторонней и субъективной оценки событий. Как патриот лангобард Лиутпранд ненавидит всех иноземцев, вторгшихся в Италию: сарацинов, венгров, византийцев. Зато его сочинение дает живое представление о деталях жизни, быта и нравов современной Лиутпранду эпохи в феодальной Германии, Италии, Византии.

Второе сочинение Лиутпранда, «Деяния Оттона», содержит всего 22 главы и посвящено деятельности Оттона в 960—964 гг., его итальянскому походу и действиям против папства. Здесь есть весьма интересные сведения о жизни и нравах папского двора. Сочинение это вполне объективно, о себе Лиутпранд говорит здесь в третьем лице, приводит документы, письма, речи. Стиль его спокоен, стихов нет, хотя заимствования из античных авторов встречаются. Оно должно было послужить продолжением «Воздаяния», составить его VII книгу, но осталось незаконченным.

Третье сочинение Лиутпранда, «Посольство», написано после его второго путешествия в Константинополь. Никифор Фока, зная о посягательстве Оттона на южные владения греков в Италии и о претензиях его на господство в Риме, недружелюбно встретил послов Оттона, не оказал им должного приема и даже держал их под домашним арестом. Окончившееся неудачей посольство дало Лиутпранду повод написать ярко тенденциозное сочинение. Формально оно было отчетом о посольстве, фактически же сатирой и инвективой, направленной против византийского двора, и, с другой стороны, пропагандой в пользу Оттона. В нем особенно ярко проявился талант Лиутпранда — памфлетиста и сатирика. Все оно пропитано иронией и ненавистью к византийскому двору, к его дипломатическим интригам, нравам придворной знати, этикету и церемониям. Рассказ Лиутпранда выражает глубокую оппозицию и враждебность, которая разделяла мир западный и мир византийский, несмотря на попытки их сближения. Для греков соотечественники Лиутпранда оставались варварами, невежественными и прожорливыми. Лиутпранду греки и их правители представлялись лживыми, изнеженными, жадными, недостойными сравниться с доблестными, смелыми и благородными германскими королями. Лиутпранд в гротескной форме рисует Никифора — уродливого, грубого, невежественного, несправедливого, противопоставляя ему идеальный образ Оттона. Это сочинение, как и два первых, не окончено. И хотя рассказу Лиутпранда не всегда можно доверять и его инвективы высказаны крайне раздраженным тоном, все же он представляет значительный культурно-исторический и литературный интерес.

Литературные достоинства Лиутпранда не вызывают сомнения. Он блестяще рассказывает анекдоты и новеллы, вымышленные или исторически достоверные, но одинаково безжалостные для его врагов, пишет их портреты, нередко сатирически-карикатурные. При этом героем новеллы порой оказывается клирик. Излишняя страстность Лиутпранда может рассматриваться как недостаток, но размах его риторического таланта, его искусство описания, его эрудиция ставят его в ряд по-настоящему значительных писателей X в.

АНТАПОДОСИС, ИЛИ ВОЗДАЯНИЕ

I, 1. Достопочтенному и всякой святости преисполненному господину Рецемунду, епископу либерританской [1] церкви, Лиутпранд, диакон тицинской [2] церкви, не в меру своих заслуг, шлет привет.

Вот уже два года, как я по скудости таланта не решался приступить к осуществлению твоей просьбы, дорогой отец; ты убеж-

дал меня написать книгу о деяниях императоров и королей всей Европы как человека, который знает обо всем этом не по сомнительным слухам, но по собственному наблюдению. Страшило меня в этом деле сознание недостатка в себе дара красноречия и зависть недоброжелателей, которые в своем непомерном высокомерии, даже не заглядывая в книгу, полагают, по выражению ученого мужа Боэтия, что облачены в философскую мантию, тогда как владеют всего лишь лоскутьями от нее [3]. Они-то, издеваясь надо мной, скажут: «Наши предки написали столько, что скорее не хватит читателей, чем книг», и высмеют меня известным стихом из комедии: «Ничего не скажешь больше, чего бы не было уже сказано раньше» [4]. Им, только и умеющим облаять, я отвечу так: «Как одержимый жаждой, чем больше пьет, тем сильнее чувствует жажду, так философы, чем больше читают, тем ненасытнее стремятся познать новое. Если же кто утомится, читая глубокомысленные сочинения красноречивого Туллия, тот может по крайней мере отдохнуть за чтением литературных безделок. Ибо, если не ошибаюсь, как тот, кто, пораженный лучами солнца, защищает чем-нибудь свои глаза, чтобы не видеть его яркого света, так и ум, погруженный в размышления при чтении сочинений академиков, перипатетиков, стоиков, тупеет, не подкрепись он благотворным стихом комедии или забавным рассказом о героях. Если уж в книгах сохраняется память об отвратительных обрядах древних идолопоклонников, знание которых не только бесполезно, но, я бы даже сказал, довольно вредно, так почему же обходить молчанием деяния современников, чья слава равна славе таких выдающихся полководцев, как Юлий, Помпей, Ганнибал, брат его Гасдрубал и Сципион Африканский?..»

III, 1. Я не сомневаюсь, святой отец [5], что тебя несколько удивит название этого труда. «Зачем,— возможно, спросишь ты,— книге дано название « 'Ἀνταπόδοσις » («Воздаяние»), если повествует она о деяниях знаменитых людей?» Отвечаю: цель этого труда состоит в том, чтобы отметить, показать и изобличить дела Беренгария [6], кто не правит теперь, но скорее тиранствует в Италии, а также жены его Виллы, которая за безмерность ее злодеяний может быть названа второй Иезавелью [7], а за ненасытную жадность к стяжательству истинным ее именем — Ламией [8]. Ибо меня и мой дом, родных и близких они, не имея на то причин, так преследовали и копьями лжи, и хищным вымогательством, и бесчестными интригами, что ни языком этого выразить, ни пером описать невозможно. Да послужат эти страницы им антаподосисом, т. е. воздаянием. За свои страдания я обнажу перед современниками и перед грядущим поколением их 'ἀσέβειαν , т. е. их нечестие. Но не в меньшей мере пусть послужит этот труд воздаянием и людям благочестивым и благонамеренным за услуги, какие они мне оказали...

V, 10. ...Беренгарий, брат упомянутого Анскария [9] и маркграф Ивреи, тайно стал замышлять против короля [10]. Когда король

узнал об этом, то, скрыв гнев и притворившись благосклонным, замыслил лишить его глаз, как только он придет к нему. Однако присутствовавший на совете сын его, Лотарь, еще очень молодой и не понимавший, что ему полезно, не мог, как мальчик, утаить это и, послав к Беренгарию гонца, дал ему знать о намерениях своего отца. Беренгарий, узнав об этом, тотчас покинул Италию и через Юпитерову гору [11] поспешил в Швабию к герцогу Германну, а жене своей Вилле велел прибыть туда же другой дорогой. Я не могу надивиться тому, как эта беременная и близкая к родам женщина перешла через Птичью гору [12], каким образом удалось ей пешком пройти столь суровые и непроходимые горы. Одно лишь я знаю твердо — фортуна не благоволила мне тогда. Но, увы! Какую сам себе приготовил западню Лотарь! Простодушный, он не мог знать будущего! Ведь в то время как он заботился о Беренгарии, он спас того, кто отнял у него потом и власть и жизнь [13]. Поэтому я взываю не к Лотарю, кто совершил ошибку по детскому недомыслию и после горько сожалел об этом, но к тем суровым горам, которые, вопреки их обычаю, предоставили им [14] легкий путь. Мне хочется возгласить теперь мою на них обиду.

11. О, гора Бездорожная! [15] Тебе ль Бездорожною зваться?
Ты бы злодея сгубить могла, а ты его пожалела!
Тропы твои для путников трудны и в знойную пору,
В дни, когда жрец кривым серпом сечет колосья Цереры,
В дни, когда пламя Фебово нас жжет из звездного Рака!
Ты ли вдруг проходимою под зимнею стала стужей?
О, когда бы исполнилось все то, чего я желаю,—
Тотчас бы горы соседние низвергли тебя в барафры! [16]
Вижу: гора Юпитера путем прямым и свободным
Ход дает Беренгарию: ей любо губить справедливых
И сохранять нечестивейших — таких, как мавры-злодеи,
Те, кто живут убийствами, человечьей радуясь крови.
Долгие речи к чему вести? Да сразят тебя божьи перуны,
И да пребудешь ты в хаосе отныне на вечные веки [17].

12. Итак, Германн, герцог швабский, благосклонно принял прибывшего к нему Беренгария и с большими почестями привел его к благочестивому королю Оттону. Мое перо не в состоянии описать, как милостиво принял его король, какими одарил его дарами и какую воздал ему честь. Все же, насколько возможно, оно опишет то, из чего разумный читатель легко сможет понять, как благочестив и гуманен был король и какое бесстыдство обнаружил Беренгарий.

13. Король Гуго, услыхав о бегстве Беренгария, отправил послов к королю Оттону и обещал ему столько золота и серебра, сколько он только пожелает, если не примет он у себя Беренгария и не окажет ему помощи. Король дал им такой ответ: «Беренгарий обратился к нашей милости не с целью погубить вашего государя, но чтобы, коль это возможно, примириться с ним. И если

бы я мог чем-нибудь помочь ему у вашего государя, то не только не принял бы обещанных мне даров, но охотно послал бы ему дары от себя; просить же о том, чтобы я не оказал помощи Беренгарию или кому-то другому, кто взывает к моему милосердию,— это верх глупости». Итак, подумай только, с какой любовью принял его благочестивый король, который не только не пожелал получить обещанное, но сам намеревался заплатить за него [18].

18. В то время как Беренгарий бежал из Италии, он взял с собой вассала Амедея, человека весьма знатного рода, который, как выяснилось позже, хитростью и отвагой не уступал Улиссу. Когда могущественный король Оттон не смог предоставить войско Беренгарию (его задержали некоторые обстоятельства, в частности заинтересованность в получении ежегодных даров от короля Гуго), упомянутый Амедей сказал Беренгарию следующее: «Тебе, мой господин, небезызвестно, как сильно итальянцы ненавидят короля Гуго за его жестокое правление и особенно за широкие раздачи должностей сыновьям своих наложниц и бургундцам, в то время как не найти итальянца, которого бы он или не изгнал или не лишил всех его званий. И если они ничего не предпринимают против него, то лишь потому, что у них нет никого, кого бы они могли сделать своим королем. Вот если бы кто-нибудь из нас, переодевшись, чтобы не быть узнанным, отправился туда и выведал намерения людей, то, несомненно, он мог бы подать нам хороший совет». Беренгарий ответил: «Никто не сумеет сделать этого искуснее и лучше, чем ты сам».

И вот Амедей, переодевшись, отправился в Италию вместе с бедняками, которые шли в Рим на богомолье, будто тоже был намерен идти туда же. Он побывал у владетельных людей и выведал, что у каждого из них было на сердце. При этом он не показывался всем в одной и той же одежде: одни видели его в черном, другие в красном, третьи в пестром. Все же «молва, что любого зла иного проворней, скоростью самой жива, набирает в движении силу» [19], о том, что он в Италии, дошла и до слуха короля. И тогда Гуго приказал разыскивать его самым тщательным образом. Но Амедей, вымазав свою длинную и прекрасную бороду смолой, окрасив в черный цвет золотистые волосы и исказив лицо, прикинулся калекой столь искусно, что отважился в толпе нищих, которых по приказу короля кормили в его присутствии, предстать перед королем нагим, и не только получил от него одежду, но и услышал, что он говорил о Беренгарии и о нем самом. После этого, досконально все разузнав, он вместе с паломниками вернулся домой, однако не той же дорогой, какой пришел. Потому что король отдал приказ стражам горных проходов не пропускать никого, не обследовав тщательно, кто он такой. Узнав об этом, Амедей отправился в путь по непроходимым и суровым местам, где не было никакой охраны, и прибыл к Беренгарию с донесением, которого тот ждал...

27. И вот «молва, что любого зла иного проворней, скоростью

самой жива, набирает в движении силу»[20], о том, что прибыл Беренгарий[21], быстро распространилась меж всеми... Тем временем все владетели Италии не в добрый час начали оставлять Гуго и примыкать к бедному Беренгарию. Бедным же я называю не того, кто ничего не имеет, а того, кому никогда ничего не достаточно. Потому что бесчестные и алчные люди, чье богатство ненадежно и подвержено всяким превратностям, вечно жаждут иметь еще больше. Из них никто еще когда-либо не был доволен тем, что имел. И они не должны рассматриваться ни как зажиточные, ни как богатые люди, но, напротив, как неимущие и бедняки. Ибо только те богаты и владеют прибылями и постоянным имуществом, которые довольны тем, что имеют, и считают достаточным то, что у них есть. Не быть жадным — истинное богатство, не быть одержимым страстью к наживе — доход. Так признаемся же себе, кто богаче из двух: тот ли, кому не хватает чего-то, или тот, у кого больше чем нужно? Тот ли, кто терпит нужду, или тот, кто имеет всего в изобилии? Тот ли, кто чем больше имеет, тем сильнее стремится к наживе, или тот, кто содержит себя на свои средства? Быть довольным тем, что имеешь,— величайшее и самое верное богатство. Впрочем, об этом теперь сказано вполне довольно. Пусть мое перо вернется к Беренгарию, чье появление всем предвещало золотой век, и время, возвысившее такого человека, считалось счастливым.

28. Итак, в то время как он оставался в Милане и раздавал государственные должности своим приверженцам, король Гуго отправил туда своего сына Лотаря, к Беренгарию и ко всему народу с просьбой: раз уж они отвергают его, кто не поступает в угоду им, то пусть примут по крайней мере ради любви к богу его сына, который ни в чем против него не провинился и кого они могли бы сделать послушным своим желаниям. Когда же Лотарь отправился в Милан, король выехал со всеми своими сокровищами из Павии с намерением оставить Италию и уйти в Бургундию. Однако его задержало следующее обстоятельство: когда Лотарь в церкви св. исповедника Амвросия и св. мучеников Гервасия и Протасия распростерся перед крестом, народ поднял его и объявил своим королем. Потом в скором времени к Гуго был отправлен гонец, с заверением, что он снова будет королем. Это решение, или скорее обман, исходило не от всех, но только от Беренгария, который, исполненный коварства, помышлял вовсе не о том, чтобы те в самом деле получили власть, но, как выяснилось впоследствии, чтобы не исчез Гуго и с помощью своего огромного богатства не восстановил бы против него бургундцев или какой-то другой народ.

30. ...Как велика тогда была радость итальянцев! Они громогласно кричали: «Новый Давид пришел!» В своем ослеплении они предпочитали Беренгария даже великому Карлу. И хотя Гуго и Лотарь снова были признаны королями Италии, Беренгарий, однако, лишь назывался маркграфом, на деле же был королем; а они,

напротив, называясь королями, на деле оказывались не более чем графами. Что сказать еще? Обманутые такой славой Беренгария, его обходительностью и щедростью, мои родители отдали меня к нему на службу. Богатыми дарами, которые они ему преподносили, добились они того, что он стал доверять мне свои тайны и поручил вести его переписку. Долгое время я ему верно служил, и получил за это такое вознаграждение, о Боже! О нем я расскажу в надлежащем месте [22]. Подобное воздаяние довело бы меня до отчаяния, не поступи он точно так же со многими моими друзьями. О таком, как он, прекрасно сказано в Писании: «перья страуса похожи на перья ястреба и цапли; когда настанет время, поднимется он на высоту, посмеется коню и всаднику его» [23]. Действительно, при жизни Гуго и Лотаря этот огромный и прожорливый страус, не будучи добрым, тем не менее казался похожим на такого. Но когда они умерли и на вершину власти возвели его, как он поднял вверх крылья, как он нас всех осмеял — расскажу не столько словами, сколько вздохами и стонами. Но оставим это и вернемся к нити рассказа.

33. В это время [24] Таксис, венгерский король, напал на Италию с большим войском. Но Беренгарий откупился от него десятью модиями [25] монет, не из своих, однако, средств, а из церковных сборов и сборов в пользу бедных. Поступил же он так не потому, что заботился о спасении народа, но чтобы под этим предлогом собрать большое богатство. Это ему и удалось. Все граждане без различия пола и возраста должны были внести по одной серебряной монете. Он же, подмешав к ним меди, начеканил таким образом из небольшого количества серебряных монет десять модиев. Остальную часть и все, что он взял из церкви, оставил себе.

VI, 2. Со времени смерти короля Гуго в Провансе имя Беренгария прославилось у многих народов и особенно у греков. Ведь в действительности он правил во всей Италии, а Лотарь был королем лишь по имени. Поэтому Константин [26], по свержении Романа и его сыновей правивший в Константинополе, когда услышал, что власть Беренгария превосходит власть Лотаря, отправил к нему некоего Андрея, занимавшего должность дворцового графа [27], с письмом; в нем он говорил, что очень хотел бы видеть у себя посла Беренгария, по возвращении которого Беренгарий мог бы узнать о добром расположении к нему императора. Он написал также рекомендательное письмо относительно Лотаря, в котором советовал быть верным управляющим тому, кому Беренгарий милостью божьей поставлен опекуном. Константин проявлял немалую заботу о благополучии Лотаря, потому что относился с чувством благочестивой любви к своей невестке, сестре Лотаря [28].

3. И вот Беренгарий, со свойственным ему коварством размышляя, кого бы ему послать, чтобы это не повлекло никаких расходов, обратился к моему отчиму, на чьем попечении я тогда находился, и сказал ему: «Чего бы я ни дал, чтобы твой пасынок

понимал по-гречески!» «Да я бы за это отдал половину своего состояния!»,— ответил тот. «Не надо и сотой доли,— сказал Беренгарий.— Император константинопольский просил меня в письме направить к нему посланника; никто не подходит для этого больше, чем твой пасынок, как по твердости характера, так и по дару красноречия. Да что говорить, с какой легкостью он выучится там греческому языку, если еще в детские годы он так освоил латинский!» Воодушевленный такой надеждой, мой отчим оплатил все расходы и отправил меня с большими подарками в Константинополь.

4. В августовские календы [29] я оставил Павию и, спустившись вниз по реке Эридану [30], на третий день прибыл в Венецию. Там я встретил греческого посла Саломона, китонита [31], т. е. евнуха, который был послан в Испанию и Саксонию и теперь возвращался назад в Костантинополь. Его сопровождал с большими дарами посланный нашего государя, тогда еще короля, теперь императора [32], Лиутфрид, один из самых богатых жителей Майнца. Мы выехали из Венеции в 8-й день до сентябрьских календ [33], а в 15-й день до календ октября [34] прибыли в Константинополь. Я не премину описать здесь, какой неслыханный и удивительный прием был нам оказан там.

5. В Константинополе есть зал, примыкающий к дворцу, поразительно величественный и прекрасный, который греки называют «магнавра», ставя вместо дигаммы [35] «V», как будто бы это magna aura. И вот его Константин приказал приготовить для приема испанских, недавно туда прибывших, послов и для нас с Лиутфридом следующим образом. Перед троном императора стояло бронзовое, но все позолоченное дерево, ветви которого заполняли птицы разных пород, тоже из бронзы с позолотой, соответственно своей птичьей породе певшие на разные голоса. А трон императора был так искусно построен, что одно мгновение он казался низким, в следующее — повыше, а вслед за тем возвышенным. Этот трон как бы охраняли необыкновенной величины львы, не знаю из бронзы или из дерева, но позолоченные. Хвостами они били по полу и, разинув пасть, подвижными языками издавали рычание. И вот в этот зал в сопровождении двух евнухов я был приведен пред лик императора. Когда при моем появлении зарычали львы, защебетали птицы, каждая на свой лад, я не испытал никакого страха, никакого изумления, потому что обо всем этом был осведомлен теми, кто это хорошо знал. Но вот когда, склонившись пред императором, я в третий раз отвешивал поклон, то, подняв голову, увидел его, кого только что видел сидящим на небольшом возвышении, сидящим теперь чуть ли не под потолком зала и одетым в другие одежды [36]. Как это случилось, я не в состоянии был понять, разве что, пожалуй, поднят он был тем же способом, каким поднимают вал давильного пресса. Сам император не произнес ни слова (да если б и захотел, то это было бы неудобно из-за большого отдаления от меня), но через логофета [37] он осведомился о

жизни и здоровье Беренгария. Ответив ему подобающим образом, я по знаку переводчика вышел и вскоре был препровожден в предоставленную мне гостиницу.

6. Но я не могу здесь не вспомнить, что я тогда сделал для Беренгария, с тем, чтобы стало известно, сколь велика была моя любовь к нему и какое вознаграждение получил я от него за свою верную службу. Испанские послы и упомянутый Лиутфрид, посол нашего государя, тогда еще короля, Оттона, поднесли императору Константину богатые дары от имени их повелителей. Я же от Беренгария не принес ничего, лишь только письмо, да и то насквозь лживое. Поэтому душа моя из-за этого постыдного положения была полна смятения, и я напряженно придумывал, что бы такое предпринять в данных обстоятельствах. Но тут меня, озабоченного и обеспокоенного, осенила мысль: дары, которые я должен был преподнести императору от себя, поднести ему от имени Беренгария, и небольшой подарок по мере сил моих словами приукрасить[38]. Вручил же я ему девять превосходных панцирей, семь великолепных щитов с позолоченными буллами, два серебряных с позолотой бокала, мечи, копья, дротики и четыре carzimasia, невольника, которые для императора были ценнее всех других даров. Carzimasium же греки называют совсем юных евнухов, таких, на которых торговцы из Вердена получали огромные барыши и обычно вывозили их в Испанию.

7. И вот когда это подобным образом было проделано, император приказал пригласить меня через три дня во дворец и сам лично, поговорив со мной, пригласил меня к столу, а после мне и моим спутникам преподнес богатые дары. Но поскольку теперь представляется случай рассказать, каким был его стол, особенно в праздничные дни, и что за зрелища были во время пиршества, я считаю уместным не обходить молчанием, но описать здесь.

8. С северной стороны близ ипподрома есть там помещение, необычайно высокое и изящное, которое называется «Деканеакубита»; имя это оно получило не без основания, но по очевидной причине. Ведь «deca» по-гречески значит «десять», «ennea» — «девять», а «cubita» от «cubare» мы можем перевести как «наклонное» или «изогнутое». Это название происходит оттого, что в каждую годовщину рождения Господа нашего Иисуса Христа в этом зале накрываются девятнадцать столов, на которых император и его гости пировали не как в прочие дни сидя, но возлежа за столом. В эти дни на стол ставили не серебряную, но исключительно золотую посуду. А после пира приносили плоды в трех золотых вазах, которые из-за их непомерной тяжести доставлялись не людьми, но подвозились на тележках, покрытых пурпуром. А на стол они подавались таким образом: через отверстия в потолке спускалось три каната, обтянутых позолоченной кожей, с прикрепленными к ним золотыми кольцами, которые продевались в петли на краях сосудов и тогда посредством лебедки, находящейся над потолком, и с помощью четырех или более человек, стоящих внизу, вазы ставились на стол

и точно так же потом убирались. О представлениях, какие я там увидел, я умолчу, так как было бы слишком долго описывать их; об одном лишь хочется упомянуть здесь, потому что было оно удивительным.

9. Вышел один человек, который нес на лбу шест, не поддерживая его руками, в 24 или даже более фута, а на нем локтем ниже верхнего конца была перекладина длиной в два локтя. Затем привели двух нагих мальчиков — на них были только набедренные повязки. Они вскарабкались вверх по шесту и выполняли там трюки, потом, перевернувшись головой вниз, опускались по нему, а он оставался неподвижным, словно бы врос корнями в землю. Наконец, после того как один из мальчиков спустился, другой, оставшись óдин, продолжал выступление; это привело меня в еще большее изумление, потому что, пока находились на шесте оба, это казалось вполне возможным, ведь они, хотя, слов нет, и были искусны, но управляли шестом, на который взбирались, благодаря одинаковой тяжести. Но каким образом один, оставшись наверху шеста, сумел сохранять равновесие так, чтобы и выступить с номером и спуститься невредимым,— это меня поразило настолько, что мое удивление не укрылось даже от самого императора. И поэтому, подозвав переводчика, он пожелал узнать у меня, чтó показалось мне более удивительным: мальчик ли, который управлял своими движениями столь осторожно, что шест оставался недвижимым, или же мужчина, который держал его на лбу с таким мастерством, что ни от тяжести мальчиков, ни от их трюков он даже слегка не отклонился в сторону? И когда я ответил, что не знаю, чтó кажется мне thaumastoteron, т. е. более удивительным, он, рассмеявшись от души, заметил, что тоже этого не знает.

ОТЧЕТ О ПОСОЛЬСТВЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Обоим Оттонам, непобедимым римским императорам августейшим, и прославленной императрице Адельгейде Лиутпранд епископ св. церкви в Кремоне, от всего сердца искренне желает всегда здравствовать, процветать и торжествовать.

1. Почему у вас до сих пор не было от меня ни донесения, ни вестника, объясняется следующими обстоятельствами. Накануне июньских нон прибыли мы в Константинополь и были позорно, оскорбительно для вас, встречены и позорно, бесчестно приняты. Нас заперли в довольно большом, но открытом помещении, которое не защищало ни от холода, ни от зноя. Вооруженные воины были приставлены к нам в качестве стражей, они запрещали нам выходить оттуда, а всем прочим туда входить. Само это помещение, только и доступное нам, заключенным, находилось в таком отдалении от императорского дворца, что у нас перехватывало дыхание, когда надо было туда добираться пешком, а не на

лошадях. Несчастье наше усугублялось еще и тем, что греческое вино оказалось непригодным для нас, потому что отзывалось оно гипсом и сосновой смолой. В дом не подавалась вода, и всякий раз, чтобы не умереть от жажды, мы вынуждены были покупать ее. К этой немалой беде добавлялась еще и вторая, а именно наш страж, который снабжал нас необходимым. Пожелай кто-нибудь найти ему подобного — он не нашел бы такого нигде, разве что в преисподней. Ведь он обрушивал на нас, словно бурный поток, любое зло, любое надувательство, любой шантаж, любое мучение, любое оскорбление — все, что только мог придумать! Из 120 дней не проходило и одного, чтобы он не доставил нам вздохов и стенаний.

2. Накануне июньских нон [1] мы, как сказано выше, достигли Константинополя, остановились перед Золотыми воротами и ждали, сидя на лошадях, под проливным дождем до 11 часов. А в этот час Никифор [2] приказал впустить нас. Однако он не считал нас, удостоенных вашей высокой милости, достойными въехать в город верхом, и нас отвели в упомянутый уже мраморный, ненавистный, открытый для сквозняков дом [3]. А в восьмой день до июньских ид [4], в субботу накануне Троицы, я был представлен его брату [5], дворецкому и логофету, и выдержал с ним большой спор о Вашем императорском титуле. Потому что он назвал Вас не императором, что значит βασιλέα на их языке, но пренебрежительно ῥῆγα, т. е. король по-нашему; когда я ему заметил, что это означает то же самое и только обозначается по-разному, то он заявил, что я пришел не с миром, но чтобы спорить, встал, истинно негодуя, и принял Ваше письмо, но не сам, а через посредника — человек довольно высокого роста, но низкий лицемерностью; если кто на него обопрется, руку ему он проколет [6].

3. А в седьмой день до июньских ид [7], в самый день святой Троицы, привели меня в большой зал, который называют στεφάνα, т. е. залом венчания на царство, к Никифору, человеку весьма отталкивающей наружности, какому-то пигмею с тяжелой головой и крошечными, как у крота, глазами; его уродовала короткая, широкая, с проседью борода, а также шея высотой в толщину пальца. Его длинные и густые волосы придавали ему вид кабана, цветом кожи он был подобен эфиопу: «с ним бы ты не хотел повстречаться средь ночи» [8]. Живот одутловатый, зад тощий, бедра для его короткой фигуры непомерно длинны, голени маленькие, пятки и стопы соразмерны. Одет он был в роскошное шерстяное платье, но слишком старое и от долгого употребления зловонное и тусклое, обут в сикионские [9] башмаки. Дерзкий на язык, с повадками лисы, по вероломству и лжи он — Улисс. Вы, мои повелители и императоры, всегда казались мне прекрасными, насколько же прекраснее теперь! Всегда великолепными, насколько же великолепнее теперь! Всегда могущественными, насколько же могущественнее теперь! Всегда добрыми, насколько же добрее теперь! Всегда полными всяческих добродете-

лей, насколько же полнее теперь! Слева от него, но не в одном и том же ряду, а несколько ниже, сидели два молодых императора [10], когда-нибудь его повелители, теперь ему подчиненные [11]...

9. Да не будет мне в тягость описать προέλευσις [12], а моим повелителям узнать об этом. Огромная толпа торговцев и простого люда, собравшаяся в этот праздник для торжественной встречи и восхваления Никифора, знала обе стороны дороги от дворца до святой Софии, образуя как бы стену. В руках они держали уродливые тонкие щиты и убогие пики. Безобразие их шествия усугублялось еще и тем, что бо́льшая часть сброда шла во славу его самого босой. Так, мне думается, они предполагали еще больше украсить свое святое προέλευσις. Да и придворные его, проходившие с ним сквозь толпу этой босоногой черни, были одеты в широкие и потрепанные от старости туники. Гораздо приличнее выглядели они в своих повседневных одеждах! Не было среди них ни одного, чей прадед надел бы эту одежду новой! Золотом или драгоценностями не был там украшен никто, разве что сам Никифор, который в императорском одеянии, взятом с плеча предшественника более крупного телосложения, выглядел еще более уродливо. Клянусь Вашим благополучием, которое мне дороже собственного, что парадная одежда одного из Ваших вельмож ценнее сотни и даже более подобных одеяний! Итак, меня привели на προέλευσι и усадили на возвышенное место возле псаломщиков, т. е. певцов.

10. И когда он, как ползучее чудовище, приблизился, вскричали льстивые псаломщики: «Вот появляется утренняя звезда, всходит Эос! Его взор отражает лучи солнца! Бледная смерть сарацинов, Никифор μέδων, т. е. властитель!» И стали его воспевать: «μέδοντι, т. е. властителю Никифору πολλὰ ἔτη, т. е. многия лета! Народы поклоняйтесь ему, чтите его, склоните выи перед великим мужем!» Куда уместнее было бы им петь тогда так: «Иди, угасший уголь, μέλλε, ковыляя, как старуха, ты, с лицом Сильвана [13], неуклюжий, блуждающий по глухим местам, козлоногий, рогатый и двухтелый, ты, щетинистый, упрямый, неотесанный варвар, ты, бесстыдный, косматый, строптивый каппадокиец!» И вот он, чванясь от этих лживых славословий, входит в святую Софию, в то время как его повелители императоры, следовавшие за ним поодаль, склоняются с поцелуем мира в земном поклоне перед ним. Его оруженосец отметил стрелой в церкви год, который шел со времени его вступления на престол, и так те, кто этого не видел, узнавали год с начала летосчисления.

11. В этот же день пригласил он меня быть его гостем, но поскольку он не счел меня достойным занять место перед каким-либо из его вельможей, то оказался я сидящим на пятнадцатом месте от него и от скатерти. Никто из моих спутников не только не сидел за столом, но и до́ма-то, в котором я был гостем, не видел. В течение долго тянувшегося и отвратительного обеда с избытком масла, как это и бывает у пьяниц, и какого-то мерзкого рыбного маринада, он задал мне массу вопросов о Вашем могу-

ществе, о Вашем государстве и войске. И после того как я ему последовательно и правильно все ответил, он сказал: «Ты лжешь! Воины твоих государей не способны к конному сражению, не умеют они биться и в пешем войске; величина щитов, тяжесть панцирей, длина мечей и бремя шлемов не позволяют им вести бой ни тем, ни другим способом». И добавил насмешливо: «Мешает им к тому же gastrimargia, т. е. ненасытность желудков, их бог — чрево [14], их отвага — хмель, хитрость — пьянство; их трезвость — слабость, воздержанность — страх. И на море у твоего государя ничтожный флот. Я один могуществен на море, я буду атаковать его своими кораблями, разрушать его приморские города, а города на реках обращу в пепел. А на суше, скажи, кто в состоянии с малым войском противостоять мне? Был при нем сын, была жена, саксы, свевы, бавары, итальянцы, все были с ним, и все же один городишко, оказавший им сопротивление, не сумели они тогда захватить [15], да и вообще не могли бы. Как же они собираются противостоять мне, если бы я пришел? Мне, за кем следует столько воинов, сколько

Жатв на Гаргарском уклоне [16], лоз винограда в Мефимне,
Рыб в пучине морской, звезд неисчислимей ночных [17]?

12. Когда я хотел ответить ему и по достоинству возразить на это самохвальство, он не позволил мне этого и словно для унижения добавил: «Вы не римляне, а лангобарды!» Он намеревался говорить и дальше и рукой сделал мне знак молчать, но я сказал в возбуждении: «От Ромула, братоубийцы, от кого и получили римляне свое имя porniogenitus, т. е. рожденный от разврата, ведет начало летописание. Он соорудил себе убежище, куда стал принимать неплатежеспособных должников, беглых рабов, убийц, которые заслуживали свою смерть, и множество им подобных, и назвал их римлянами. Они-то и были родоначальниками тех, кого вы называете космократами, т. е. миродержцами-императорами. Но мы, лангобарды, саксы, франки, лотаринги, бавары, швабы, бургундцы, так презираем их, что у нас, когда мы в гневе, нет иного бранного слова, чем «римлянин». Одним этим именем, «римлянин», мы обозначаем все, что только есть самое низкое: трусость, алчность, изнеженность, лживость, словом, все самое порочное! А то, что мы, по твоим словам, невоинственны и неспособны к конному сражению — если грехи христиан заслуживают того, чтобы ты упорствовал в этом своем строгом суждении,— в ближайшей битве выяснится, что́ вы за воины и какова наша воинственность».

13. Раздраженный этими словами Никифор движением руки приказал мне замолчать и покинуть длинный узкий стол. Он велел мне вернуться в ненавистный дом, или сказать по правде, в мою тюрьму. Там, спустя два дня, я был поражен тяжелым недугом, как от негодования, так и от зноя и жажды. И среди моих спутни-

ков не было никого, кто бы ни испил из этой чаши и ни боялся, что близок его последний день. Как, спрашиваю я себя, они не заболели, когда питьем их был, вместо хорошего вина, лишь соленый раствор, ложем — не сено, не солома, даже не земля, но лишь жесткий мрамор, а подушкой камень? Когда открытое помещение не ограждало ни от жары, ни от дождя, ни от холода? Сама богиня здоровья [18], вся излившись на них, если б захотела, как говорят обычно, спасти б их не смогла [19]...

46. В шестой день до августовских календ [20], находясь в Умбрии, недалеко от Константинополя, я получил разрешение от Никифора возвратиться к вам. Но когда я прибыл в Константинополь, патриций Христофор, евнух, правивший там вместо Никифора, передал мне, что я не смогу теперь уехать, потому что сарацины завладели морским путем, а венгры сухопутным, и что мне следует ждать пока они не отступят. Но и то и другое было обманом [21]. Тогда же была приставлена ко мне охрана, которая не позволяла мне и моим спутникам выйти из моего же дома. Плохо понимавшие латинскую речь, те, что пришли помочь мне, были схвачены и заключены под стражу; моему греколону, т. е. умевшему говорить по-гречески, не разрешалось выходить даже за необходимым продовольствием. Лишь повару, понимавшему по-гречески, было дозволено выходить, и он, не разговаривая с продавцами, объяснялся с ними только знаками, пальцами и кивком головы, и на четыре монеты покупал столько же продуктов, сколько греколон на одну. И когда бы кто-либо из моих друзей ни послал мне немного пряностей, хлеба, вина, плодов, все это мои стражи выбрасывали на пол и отсылали посланного назад, изрядно наградив его тумаками. И если бы не приготовлена была предо мной божьей милостью трапеза в виду врагов моих [22], то мне оставалось бы только принять смерть. Но кто допустил искушение, тот дал мне по своему милосердию и силу устоять. В таком бедственном положении томился я в Константинополе с кануна июньских нон до шестого дня до октябрьских нон [23], целых 120 дней [24].

Видукинд Корвейский

О Видукинде, первом национальном историке саксов, известно немногое: жил он в середине X в. во время правления первых королей саксонской династии Генриха I Птицелова и Оттона I Великого. Приблизительные даты его рождения и смерти: ок. 925 — после 973 г. Сакс по происхождению, Видукинд был монахом Корвейского аббатства (в Вестфалии), где получил неплохое классическое образование. Возможно, он имел какие-то близкие отношения ко двору Оттона. Ведь по просьбе дочери этого императора, Матильды, аббатисы Кведлинбургской, он и написал свое главное сочинение «Историю саксов в трех книгах» («Rerum gestarum Saxonicarum libri tres»), охватывающее период от древнейших времен до 967 г. В нем Видукинд осветил политическую и военную жизнь саксов и деятельность их первых королей. В первом из посвятительных обращений к Матильде, предпосланных каждой книге, Видукинд с сожалением замечает, что смог изложить только часть подвигов Генриха и Оттона: «Я писал кратко и с выбором, чтобы рассказ был для читателя ясным и неутомительным. Но я позаботился рассказать кое-что о происхождении и о нравах народа, первым королем которого был сам всемогущий повелитель Генрих, чтобы ты, читая об этом, усладила душу, откинула заботы и порадовалась приятному развлечению». Вся начальная часть I книги (15 глав), излагающая древнюю историю саксов, составляет истинную ценность сочинения, являясь единственным, хотя и полулегендарным, источником для ознакомления с историей происхождения и бытом саксов в языческий период, и придает сочинению своеобразный характер. Используя здесь народные саги и предания, бытовавшие в устной традиции, Видукинд с гордостью говорит о древнем и благородном происхождении своего народа от греков, о храбрости саксов, достойной римлян, подчеркивает внутреннее превосходство их над франками. Достоверная история саксов и ее первых королей начинается с 16 главы; здесь излагаются события с начала X в.: воцарение Генриха I Птицелова, его деятельность, войны против славян и венгров, смерть Генриха. Во II книге описываются события с 936 по 946 г., рассказано о коронации Оттона I и его деятельности, о войнах против редариев и венгров, о распрях в королевском роду. Книга заканчивается смертью королевы Эдиты. В III книге речь идет о событиях до 967 г., о победе Оттона над венграми при Лехе, о новых междоусобиях, коротко излагается внешняя политика Оттона. Уже после смерти Оттона было добавлено к этой книге еще 6 глав о последних годах правления

Оттона, о его смерти и погребении. Правда, вопрос о принадлежности этих последних глав Видукинду остается спорным.

Источниками Видукинда, кроме устной традиции, были труды римских и средневековых историографов: в этнографических частях он опирался на Беду и Иордана, в биографических на Светония (через Эйнхарда), в описании феодальных битв и мятежей против Оттона на Саллюстия. Использование преданий и саг роднит Видукинда с Павлом Диаконом и Бедой, хотя он значительно уступает им по политическому кругозору и эрудиции. Особенно заметно влияние на Видукинда Саллюстия. Например, в драматичном изображении паники населения осажденного саксами города турингов (I, 11; ср. «Заговор Катилины», 31, картину паники жителей Рима перед войском Катилины), или в речи Оттона перед сражением при Лехе — III, 46, построенной по образцу речи Катилины перед битвой при Пистории («Заговор Катилины», 58), наконец, в ряде прямых текстуальных заимствований.

При составлении «Истории саксов» Видукинд использовал также и рассказы очевидцев событий, и свои личные воспоминания, хотя он и не был участником изображаемых событий и не имел отношения ни к дипломатии, ни к военным подвигам героев своего повествования (в противоположность предшествующим ему историкам — Эйнхарду, Нитхарду и современнику Лиудпранду). Стремясь придать своему сочинению объективный, правдивый характер, Видукинд не замалчивает распрей в королевском роду, не утаивает королевских секретов, «считая своей обязанностью удовлетворить требование истории» (II, 25). Порой он рисует картину жестокой расправы саксов с их противниками, а о них говорит без неприязни. И все же национальный патриотизм явственно проступает в его желании прославить свой народ, его неизменно победные битвы с окружающими племенами и народами. Саксы изображаются доблестными воинами, которые под героическим девизом «победа или смерть» дрались с врагом за славу и за отечество (I, 9; 11 и др.). Соответственно, короли саксонской династии, Генрих и Оттон, представлены воинственными вождями, мудрыми, щедрыми, великодушными правителями, целью которых, по мнению Видукинда, было расширение и укрепление государства, упрочение мира с соседними народами. Разумеется, есть в такой оценке изрядная доля лести. Но то, что Видукинд рисует оттоновское государство как господство саксов над другими племенами и народами, отвечало действительности того времени: саксы имели преобладающее влияние, а Оттон в 962 г. вторично восстановил «Римскую империю», провозгласив себя ее главой.

Композиция «Истории саксов» строго продумана. Развитие повествования идет сюжетно законченными группами (например, древний период истории саксов — I, 1—15, правление Генриха I—I, 26—41, битва Оттона I при Лехе — III, 44—49), с соблюдением причинной связи событий, и в хронологическом порядке, лишь изредка нарушаемом ретроспекциями в более ранние времена, в чем Видукинд считает нужным оправдаться перед читателем: «События и обстоятельства теперь так перепутываются друг с другом, что почти невозможно различить их последовательность; и пусть меня никто не винит в смещении времен, если я иной раз излагаю последующие события раньше предшествующих» (II, 28).

Сочинение Видукинда своеобразно и по стилистике: историческое повествование соседствует в нем с драматической сценкой, сага с агиографическим

экскурсом, рассказ о чудесах с прямой характеристикой исторических персонажей. Все же основной характер сочинения скорей всего может быть определен как историко-эпический, с введением отдельных элементов биографического жанра. Эпические средства выразительности служили Видукинду формой выражения исторической действительности: картины боев нарисованы с эпической широтой, красочностью и наглядностью. Эпизоды часто драматизированы живым диалогом, патетические места изложены ритмической прозой, применен прием речевой характеристики персонажей. Язык «Истории саксов» местами недостаточно ясен, встречаются неточности в употреблении слов.

Трудом Видукинда пользовались последующие саксонские хронисты: Титмар Мерзебургский и Саксонский анналист. Для нас он ценен как источник для знакомства с историей саксов и славян и как образец немецкой историографии X в.

Из других сочинений Видукинда известны два ранних его агиографических сочинения, но они не сохранились.

ИСТОРИЯ САКСОВ

I, 1. Пусть никто не удивляется тому, что я, изобразив в первых своих трудах триумф воинов высочайшего повелителя [1], намерен теперь описать деяния наших правителей. Поскольку в том труде я, как мог, выполнил то, чего требовало мое призвание, то и теперь не уклонюсь от своего долга потрудиться по мере сил моих для своего племени и своего народа.

2. Но предварительно я вкратце расскажу о происхождении и быте саксов, следуя здесь, пожалуй, исключительно преданиям, потому что давность времени затуманивает почти всякую достоверность. Ведь мнения об этом различны: одни думают, что саксы происходят от датчан и норманнов, другие — что род их идет от греков; я сам слышал в молодости, как кто-то хвастал тем, что сами они предполагают в саксах остатки македонского войска, которое следовало за Александром Великим, а после его безвременной смерти рассеялось по всей земле. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что это было древнее и благородное племя, о котором упоминается и в речи Агриппы к иудеям у Иосифа [2] со ссылкой на высказывание поэта Лукана [3].

3. Но мы знаем точно, что саксы прибыли в эти края на кораблях и впервые вышли на берег у того места, которое еще и до сего дня называется Гадолаун [4].

4. Местные жители, должно быть туринги [5], недоброжелательно отнеслись к их прибытию и вооружились против них; саксы мужественно сопротивлялись и удержали за собой порт. Потом еще долгое время были у них стычки друг с другом, и, когда с обеих сторон пало много жертв, решили, наконец, вести переговоры о заключении мира. Договор был заключен на условии: саксам разрешалось покупать и продавать все, но они должны были воздер-

живаться от захвата других земель, убийств, а также разбоя. Этот договор долгое время оставался нерушимым. Когда же у саксов вышли деньги и они ничего уже более не могли ни купить, ни продать, то сочли они мир для себя бесполезным.

5. И вот случилось в это время сойти с корабля какому-то молодому саксу с тяжелой ношей золота, в золотом ожерелье, да еще и в золотых браслетах. Повстречался ему туринг и спрашивает: «К чему столько золота вокруг твоей тощей шеи?» — «Я ищу покупателя, — ответил тот,— лишь для этого и ношу на себе это золото; разве бы я стал украшать себя золотом, когда умираю от голода?» Туринг спросил о цене, сколь она высока. «Цена,— отвечал сакс,— для меня ничего не значит, сколько бы ты ни дал — приму с благодарностью». «А что,— заметил тот, насмехаясь над юношей,— если я наполню твой карман этой вот пылью?» На том месте как раз была навалена куча земли. Сакс, не мешкая, подставил карман, взял землю и тотчас отдал турингу золото; и оба, довольные, поспешили к своим. Туринги превозносили земляка до небес [6] за то, что он так ловко провел сакса и стал счастливейшим из смертных, заполучив такую уйму золота за столь ничтожную цену. Совершенно уверенные в своей победе, они почти торжествовали над саксами. Тем временем сакс, уже без золота, зато тяжело нагруженный землей, приближался к кораблям. Товарищи, вышедшие ему навстречу, были поражены его поступком: одни из них стали смеяться над ним, другие порицать, но все единодушно сочли его безумцем. А он, попросив всех помолчать, промолвил: «Следуйте за мной, храбрые саксы, и вы убедитесь, что безумие мое для вас полезно» [7]. Они, хоть и сомневались, все же пошли следом за вожаком. Он же, взяв землю, рассыпал ее как можно реже по соседним полям, и занял это место для лагеря.

6. Но когда туринги увидели лагерь саксов, то показалось им это нестерпимым и они отправили послов с жалобой, что со стороны саксов нарушен мир и не соблюден договор. Саксы возразили, что они до сих пор нерушимо соблюдают договор, а купленную на свое собственное золото землю намерены оставить за собой, не нарушая мира, в противном же случае — отстоять ее оружием. Услыхав это, местные жители прокляли саксонское золото и объявили виновником несчастья их страны того, кого сами же незадолго перед тем восхваляли за удачливость. Потом, распаленные гневом, бросились они в пылу безрассудства без порядка и без плана на лагерь саксов; а эти встретили врагов в боевой готовности, опрокинули их и, после счастливого окончания битвы, удержали за собой, по закону войны, ближайшие окрестности. После долгих и многократных столкновений обеих сторон туринги убедились, что саксы одержат над ними верх, и предложили через посредников встретиться обеим сторонам в установленный день в определенном месте без оружия и снова заключить договор о мире. Саксы ответили, что принимают предложение. В те времена были у

них в употреблении большие ножи, какими и до сего дня пользуются англы, по обычаю предков. С этими ножами, спрятанными под плащами, саксы выступили из лагеря и сошлись с тюрингами в условленном месте. И когда они увидели, что враги безоружны и с ними пришли все их предводители, то, сочтя это удобным моментом для овладения всей страной, выхватили ножи, бросились на беззащитных, ничего не подозревающих людей и перебили всех, так что ни один из них не уцелел. Так саксы приобрели известность и стали внушать соседним народам великий страх.

7. А иные полагают, что они от этого злодеяния получили свое имя. Потому что ножи на нашем языке называются «сакс»; и они за то и были прозваны саксами, что перерезали такое множество людей своими ножами.

9. ...Саксы без колебаний и сомнений выбрали [8] девять предводителей, у каждого из которых было по тысяче воинов. И предводители вступили в лагерь, каждый с сотней воинов, тогда как остальная часть многочисленного войска оставалась за лагерем, и дружественными словами приветствовали Тиадрика. Тиадрик с радостью принял это приветствие и, после обмена рукопожатиями с ними, дал им слово. Они же сказали: «Преданный тебе и повинующийся твоим повелениям народ саксов послал нас к тебе; и вот мы здесь, готовые ко всему, что внушит тебе твоя воля, готовые или победить твоих врагов, или, коль суждено судьбой иное, умереть за тебя. Знай же, что у саксов нет никакого другого желания, кроме как победить или отдать жизнь [9]; ведь мы не можем оказать своим друзьям бо́льшей услуги, чем пренебречь ради них смертью. И мы горячо желаем, чтобы ты убедился в этом на деле». Пока они так говорили, франки дивились воинам, отличающимся телесной силой и мужеством. Удивлялись они и их своеобразной одежде, а также вооружению и рассыпа́вшимся по плечам кудрям [10], но всего более их героической решительности. Одетые в военные плащи [11] и вооруженные длинными копьями, стояли они, опершись на небольшие щиты, с большими ножами на бедрах. Некоторые даже говорили, что им, франкам, не следует пользоваться услугами столь могущественных друзей: люди они необузданные, и если заселят здешнюю страну, то, и сомневаться нечего, со временем разрушат франкское государство. Но Тиадрик, заботясь лишь о своей личной выгоде, принял воинов как союзников и приказал им готовиться к штурму города [12]. Саксы, возвратясь от короля, расположились лагерем с южной стороны города на лугах, примыкающих к реке, а на следующий день, с первым лучом солнца, взялись за оружие, атаковали пригород [13] и подожгли его. После того как пригород был взят и сожжен, они выстроились в боевом порядке против восточных ворот. Когда осажденные увидели у стен неприятеля, приведенного в боевую готовность, и поняли, что им грозит крайняя опасность, то сделали из ворот отчаянную вылазку, ринулись в слепой ярости на про-

тивников, стали копья метать, а потом стали биться мечами[14]. Завязался жестокий бой. Многие и с той и с другой стороны полегли в этой битве. Одни сражались за отечество, за жен и детей, наконец, за собственную жизнь, саксы же бились ради славы и ради приобретения страны[15]. Раздавался крик подбадривающих друг друга воинов, звон оружия и стоны умирающих, и такое зрелище длилось весь этот день. Повсюду совершались убийства, повсюду слышался вопль, но ни то, ни другое войско не отступало, и лишь поздний вечер прервал битву[16]. Многие из турингов были в тот день убиты, многие ранены, саксы же насчитывали убитыми шесть тысяч.

10. Тогда Ирминфрид[17] послал Иринга[18] со всеми своими сокровищами к Тиадрику смиренно ходатайствовать о мире и сообщить о добровольной сдаче. Иринг пришел к нему и сказал: «Твой прежний родственник[19], а теперь слуга, послал меня к тебе, чтобы ты сжалился, если не над ним, то хоть над своей несчастной сестрой и над своими племянниками, которые находятся в бедственном положении». Когда он, обливаясь слезами, проговорил эти слова, то подкупленные золотом франкские предводители прибавили от себя, что королевскому милосердию не подобает отвергать такую мольбу, что он не должен забывать родственных связей и что полезней оказать покровительство тем, кого он уже одолел и так ослабил, что они никогда против него не восстанут, чем такому необузданному и неуступчивому народу, от которого франкское государство не может ожидать ничего, кроме опасности; сколь тверды и непоколебимы саксы, он может также видеть по бою, который они дали, и потому лучше поддержать турингов, а саксов изгнать из своей страны. Такие речи, хоть и были неприятны Тиадрику, все же изменили направление его мыслей, и он обещал на следующий день принять своего зятя и отказаться от союза с саксами. Услыхав это, Иринг бросился королю в ноги и стал прославлять королевское мягкосердечие, потом послал своему господину желанную весть, чем обрадовал его, и заверил город в безопасности; а сам остался в лагере, чтобы дело не приняло ночью дурного оборота. Между тем из города, которому обещанием мира была возвращена безопасность, вышел какой-то туринг с соколом и стал высматривать добычу на той стороне реки. Но лишь только он пустил птицу, один из саксов тотчас поймал ее на другом берегу. И как он ни упрашивал вернуть ее, сакс отвечал отказом. Тогда туринг сказал: «Отдай ее мне, и я выдам тайну, которая будет полезна тебе и твоим товарищам». Сакс ответил: «Говори — и получишь, что просишь». «Короли,— молвил тот,— заключили между собой мир и договорились, что, если застанут вас завтра в лагере, захватят в плен, а в случае сопротивления — перебьют вас». «Шутишь ты или говоришь всерьез?» — спросил сакс. «Второй час завтрашнего дня,— ответил, тот,— покажет, что вам следовало действовать без шуток. Поэтому позаботьтесь о себе и ищите спасения в бегстве». Сакс тут же выпу-

стил сокола и передал товарищам что услышал. Те, глубоко потрясенные этой вестью, в первый момент не знали даже, как им вести себя при данном положении дел.

11. Но был тогда в лагере саксов убеленный сединами воин, по имени Гатагат[20], старец уже, но и в старости все еще полный силы, которого называли «отцом отцов» в награду за его доблестные подвиги. Он схватил боевое знамя, которое у них почиталось святыней, с изображением льва, дракона и парящего над ними орла — что означало величие храбрости, мудрости и подобных добродетелей,— и сказал, всей своей позой выражая непреклонность духа: «До сих пор я жил среди храбрых саксов и дожил почти до глубокой старости, но никогда я не видел, чтобы саксы бежали; неужели же теперь доведется мне делать то, чему я никогда не учился? Я умею сражаться, но не могу и не хочу бежать; и если судьба не позволит мне жить долее[21], пусть по крайней мере суждено мне будет то, что для меня всего дороже,— пасть с друзьями. Распростертые вокруг нас тела друзей, которые предпочли лучше отдать жизнь, чем быть побежденными, испустить непоколебимый дух, чем отступить перед врагом, служат мне примером отеческой доблести. Но к чему столько слов на увещания презирать смерть? Мы пойдем на беспечных людей, на убийство — не на битву. Ведь они не подозревают никакой беды, полагаясь на обещанный мир и на наши тяжелые потери; да и утомленные нынешним боем, они не позаботятся о сторожевых постах и об обычной охране. Набросимся же на ничего не подозревающих, погруженных в сон людей — это не составит труда. Следуйте за мной, как за вождем, и даю вам голову на отсечение, все выйдет так, как я сказал».

Воодушевленные его прекрасными словами, они использовали остаток дня на восстановление своих сил. Потом, в первую ночную стражу, когда обычно тяжелый сон охватывает людей, они взялись по данному знаку за оружие, устремились под предводительством вождя к стенам и, не обнаружив ни постов, ни охраны, с устрашающим боевым криком ворвались в город. Встревоженные этим враги искали спасения — одни бежали, другие блуждали, подобно пьяным, по улицам и укреплениям города, третьи, принимая саксов за своих сограждан, попадались им в руки. Они же всех взрослых смерти предавали, а малолетних в добычу сберегали. Это была ночь, полная криков, убийств и грабежей, и не было в целом городе ни одного спокойного места, пока румяная утренняя заря не занялась и бескровной победы не осветила[22]. Но поскольку венцом победы считался плен короля, т. е. Ирминфрида, то стали искать его всюду, пока не выяснилось, что он с супругой, сыновьями и немногочисленной свитой бежал.

12. С наступлением утра саксы принесли своего орла к восточным воротам, воздвигли алтарь победы и, следуя заблуждениям предков, торжественно славили своего собственного истукана, который изображал Марса, соответствуя по виду столпам Геркулеса[23],

а по положению — солнцу, называвшемуся у греков Аполлоном. Из этого очевидно, что мнение тех, кто считает саксов потомками греков, все же вероятно; потому что Марс называется по гречески Хермин, или Хермис [24] — этим словом мы и до сих пор пользуемся, даже не зная его значения, для похвалы или порицания. После этого они еще три дня праздновали победу, делили военные доспехи врагов, оказывали последние почести павшим и до небес превозносили своего вождя, восклицая, что он одарен божественным духом и неземной доблестью, потому что своей стойкостью достиг такой блестящей победы. Все это случилось, как передают наши предки, в календы октября [25]. Эти дни суеверных заблуждений обращены теперь благочестивыми людьми в посты, молитвы и приношения за всех наших умерших христиан.

13. По окончании всего этого они вернулись в лагерь к Тиадрику, были им радушно приняты, восхвалены и получили в дар эту страну на вечные времена. Теперь уже их называли союзниками и друзьями франков, и они поселились прежде всего в городе, который уберегли от огня как свой собственный. А каков был конец самих королей, я не премину рассказать здесь — ведь это замечательная сага. Вот она: Иринг, посланный в день взятия города к Тиадрику, был им принят и остался на ту ночь в лагере. Когда же Тиадрик услышал о бегстве Ирминфрида, то замыслил хитростью вернуть его назад, а Ирингу велел убить его, за что обещал ему великолепные дары и великую власть в государстве. Сам Тиадрик, однако, хотел казаться непричастным к этому убийству. И хотя Иринг с болью выслушал это, но в конце концов, соблазненный ложными обещаниями, уступил и согласился подчиниться его воле. И вот Ирминфрид был вызван и пал к ногам Тиадрика, и тогда Иринг, стоявший рядом как королевский оруженосец с обнаженным мечом, убил своего коленопреклоненного господина. Тотчас вскричал король: «После такого злодеяния ты, убийца своего господина, стал ненавистен всем людям. Мы не хотим быть соучастниками твоего подлого поступка, дорога тебе открыта — прочь отсюда!» «Поделом,— промолвил Иринг,— стал я ненавистным всем людям за то, что поддался твоим козням; но прежде чем уйти, я искуплю это мое преступление местью за своего господина». И он, как стоял с обнаженным мечом, пронзил им самого Тиадрика; потом, взяв тело своего господина, положил его на труп Тиадрика, чтобы тот, кто был побежден при жизни, мог быть победителем по крайней мере по смерти, и ушел, пролагая себе мечом дорогу.

Я предоставляю читателю судить, насколько правдоподобен этот рассказ. Все же нельзя не удивляться тому значению, какое он приобрел: еще и по сей день именем Иринга обозначается на небе так называемый Млечный путь.

I, 32. И вот когда междоусобная война утихла [26], венгры снова прошлись по всей Саксонии, предавая огню города и селения, и произвели повсюду такую резню, что стране угрожало полное

опустошение. Король[27] же находился в укрепленном городе, называемом Верлаон[28], потому что не доверял своему еще малообученному войску, непривычному к большой войне против такого дикого народа[29]. А какое кровопролитие произвели они в те дни и сколько сожгли монастырей,— об этом я счел лучшим умолчать, чем возобновлять даже словами наши бедствия. Но вот случилось схватить какого-то из венгерских предводителей, его связали и привели к королю. Венгры, очень любившие его, предложили за него выкуп — несметное количество золота и серебра. Но король, отвергнув золото, потребовал мира и, наконец, добился, что за выдачу пленных и дары, мир был заключен на 9 лет

I, 35. Так король Генрих получил мир от венгров на 9 лет. С какой мудростью и неусыпной заботой укреплял он отечество и покорял варварские народы, высказать я не в силах но и совсем умолчать об этом не должен. Прежде всего он выбрал из военнообязанных поселян[30] каждого девятого и заставил жить в городе, чтобы он для остальных своих восьми товарищей строил жилища, получал и сохранял третью часть всего урожая, остальные же восемь должны были сеять, жать, собирать плоды для девятого и держать их у себя. Он распорядился также, чтобы суды и все прочие собрания и празднества проводились в городах, над строительством которых трудились дни и ночи, с тем чтобы в мирное время обучиться тому, что понадобится делать в случае необходимости в борьбе с врагами. Вне городов имелись очень плохие строения, или же их и вовсе не было. Приучив жителей к такому порядку и дисциплине, он неожиданно напал на славян, которые назывались гевельдами[31]; измучив их нескончаемыми битвами, он, наконец, воспользовавшись сильным морозом, расположился лагерем на льду и овладел их крепостью Бранибор[32] с помощью голода, меча и стужи. И когда вместе с этим городом он овладел и всей страной, то обратился он против даламанциев[33], войну против которых давно уже доверил ему отец[34], осадил город, который назывался Гана[35], и захватил его, наконец, на двадцатый день. Трофеи города были отданы воинам, все взрослое население перебито, а мальчики и девочки взяты в плен. После этого он со всем своим войском напал на Прагу, город в Богемии, и принудил к подчинению его правителя[36]; о нем рассказывают всякие чудеса, но я за неимением доказательств[37] обойду все это молчанием. Он был братом Болеслава и всю жизнь оставался верным и покорным императору[38]. Итак, обязав короля Богемии платить подати, Генрих вернулся в Саксонию.

I, 38. А когда король имел уже у себя войско, подготовленное к конному сражению, то решился он начать борьбу со старым врагом — венграми[39]. ...И вот венгры внезапно, со стремительностью, на какую только были способны, вступили в пределы Тюрингии и прошли всю эту страну огнем и мечом. Здесь они разделили свои отряды; одна часть пошла на запад, намереваясь с юго-запада напасть на Саксонию, но саксы вместе с турингами

вступили с ними в борьбу, убили их предводителей, а остатки западного войска рассеяли по всей стране: одни из них умерли от голода, другие — замерзли, третьи были избиты или попали в плен и, как того и заслуживали, погибли жалкой смертью. Отряды же, которые остались на востоке, узнав, что сестра короля, выданная за какого-то туринга Видо — ведь была она рождена вне брака,— живет в соседней крепости и обладает множеством золота и серебра, с такой силой бросились атаковать крепость, что, не помешай им ночь, они захватили бы ее. Но когда этой ночью они получили известие о поражении западных отрядов и близости к ним самим короля с огромным войском — король расположился лагерем при местечке Риаде[40],— то, объятые страхом, покинули они лагерь, созывая по своему обычаю рассеянные полчища пламенем костров и густым дымом. Король же на следующий день[41] вывел войско вперед, увещевая воинов возложить свои надежды на божью милость и не сомневаться в том, что явится им, как и в других сражениях, божественная помощь, что венгры — всех их общий враг, что они должны думать только о защите родины и соотечественников, что скоро они сами увидят, как враги обратятся в бегство, если они, мужественно сражаясь, окажут им сопротивление. Возбужденные этими прекрасными словами, воины, видя, как их полководец появляется то в передних рядах, то в задних, то в середине войска[42], а перед ним ангел — его именем и изображением было украшено полковое знамя,— приобрели уверенность и твердую решимость. Все же король опасался — как оно и вышло,— что враги при виде вооруженных всадников тотчас обратятся в бегство; вот почему он выслал вперед отряд легковооруженных турингов с тем, чтобы венгры, преследуя их, оказались таким образом вблизи его войска. Так оно и получилось. Но, несмотря на это, они, едва завидев тяжеловооруженную конницу, бежали, да так, что на пространстве восьми миль лишь немногие были убиты и взяты в плен; зато лагерь их был опустошен и все пленные освобождены.

I, 39. По возвращении из похода король-победитель, как и подобало, с щедростью воздал богу хвалу в благодарность за дарованную ему победу над врагами, а ту дань, которую он обычно отдавал врагам (венграм), посвятил на божественную службу и предназначил ее для раздачи бедным. Войско приветствовало его как отца отечества, всемогущего повелителя и императора; слава о его могуществе и храбрости распространилась повсюду, среди всех народов и королевств... А когда он задумал возвысить свой народ, то мало кто оставался из знатных людей всей Саксонии, или таких и вовсе не было, кого бы он ни удостоил богатыми дарами, чином или же какой-нибудь должностью. К его исключительному благоразумию и мудрости добавлялась еще и могучая телесная сила, придававшая его королевскому достоинству истинную красоту. На военных состязаниях он одерживал победы с таким превосходством, что нагонял на всех

ужас; на охоте был так неутомим, что за один выезд убивал сорок или даже более штук дичи. И хотя в обществе он был весьма общителен, однако ничуть не ронял королевского достоинства; воинам он внушал такое благоговение и в то же время страх, что они, даже если он сам шутил, не осмеливались позволить себе какую-нибудь вольность.

II, 36. ...Сам он [43], всемогущий повелитель, старший и лучший из братьев [44], славился прежде всего благочестием; в своих предприятиях отличался среди всех смертных настойчивостью; несмотря на страх, внушаемый его королевским величием, был всегда приветлив; в даяниях был щедр, в сне умерен и обычно что-то говорил во сне, так что казалось, он всегда бодрствует; друзьям он ни в чем не отказывал и проявлял к ним более чем человеческую верность. Ибо я слышал, что некоторые из обвиненных и изобличенных в преступлениях находили в нем своего защитника и поручителя, который не верил в их виновность и обращался с ними так, будто они никогда против него и не совершали никакого преступления. Дарования его достойны всяческого удивления [45]. Ведь по смерти королевы Эдиты [46] он овладел грамотой, которой до тех пор не знал, так что вполне мог читать и понимать целые книги. Кроме того, он умел говорить на романском [47] и на славянском языках, хотя не часто случалось, чтобы он счел достойным ими пользоваться. Охотником он был усердным, любил игру в кости, изредка упражнялся в верховой езде, сохраняя королевское приличие. Вдобавок к этому он был крепкого телосложения, вполне соответствующего его королевскому достоинству, с седой головой и сверкающими глазами, подобно вспышкам молнии излучающими блеск; лицо было румяным, борода вопреки древнему обычаю — окладистой, грудь покрыта волосами, как бы львиной гривой, живот соразмерный, походка то быстрая, то величавая. Одежду он носил отечественную и никогда не пользовался иноземной. Всякий раз, как ему предстояло надевать корону, он, как рассказывают, соблюдал пост.

Хротсвита Гандерсгеймская

В плеяде писателей-новаторов оттоновского времени Хротсвита Гандерсгеймская занимает почетное место. В век, когда драматического жанра в литературе не существовало, она писала драмы; в век, когда рифмованная проза только что начинала утверждаться в латинской словесности, она пользовалась ею широко и свободно; в век, когда женщина рассматривалась господствующим мировоззрением, главным образом, как «сосуд диавольский», она выступила с апологией женского достоинства в той форме, в какой это только и было возможно в средневековой христианской культуре,— в форме прославления девственности.

Даты рождения и смерти Хротсвиты неизвестны; творчество ее относится к 950—970-м годам. Имя свое (Хротсвита, Гросвита, Росвита — около 20 орфографических вариантов) она толковала как «Громкий Глагол», но этимология эта сомнительна. По-видимому, она происходила из Саксонии, и по-видимому, из знатного рода: Гандерсгеймский каноникат, к которому она принадлежала, был аристократическим заведением, из 8 первых его аббатис 6 принадлежали к оттоновскому Лиудольфингскому роду. В Гандерсгейме Хротсвита воспитывалась смолоду, одной из ее наставниц была племянница Оттона I Герберга (940—1001), с 959 г. гандерсгеймская аббатиса; Хротсвита была ненамного старше Герберги. Училась она с усердием, была знакома не только с тривием, но и с квадривием, свои знания она с гордостью выставляет напоказ в своих сочинениях; ученость была для нее как бы обоснованием права на человеческое достоинство.

Сочинения Хротсвиты были собраны ею самой в три книги с посвящениями и предисловиями. Первая книга — это сборник 8 стихотворных легенд (в леонинских гексаметрах, одна — в дистихах), главным образом, из житий святых; впрочем, две легенды, о франкском мученике Гонгольфе и о кордовском мученике Пелагии повествуют о совсем недавних событиях, отчасти даже со слов очевидцев. Одна из легенд посвящена истории Теофила, продавшего душу дьяволу, а потом спасенного заступничеством Богоматери,— сюжет, обработанный потом Рютбёфом и послуживший легенде о Фаусте. Писать легенды Хротсвита начала в юности и тайно, лишь потом, с одобрения Герберги, она собрала их в книгу, и они читались за монастырской трапезой.

Вторая книга Хротсвиты — это 6 пьес, содержание которых тоже заимствовано из житий святых; они были написаны в два приема. Первыми явились: «Галликан» — история языческого военачальника, влюбленного в дочь импера-

тора Константина, обратившегося и ставшего святым; «Дульциций» — о мученичестве девственниц Агапии, Хионии и Ирины во время Диоклетианова гонения; «Каллимах» — о юноше-язычнике, влюбленном в христианку Друзиану, об их смерти и чудесном воскрешении по воле бога; «Авраам» — о святом отшельнике, возвращающем на путь истинный свою приемную дочь, совращенную дьяволом и ставшую блудницей. Потом были написаны еще две пьесы: «Пафнутий», вариант того же сюжета, что и в «Аврааме», и «Сапиенция», вариант того же сюжета, что и в «Дульциции»; обе эти пьесы сильно перегружены ученым материалом, в «Пафнутия» вставлен длинный диалог героя с его учениками о философских и научных предметах. Как возникли эти пьесы, Хротсвита рассказывает в предисловии к ним: читая популярного в X в. Теренция, она любовалась его изящным стилем и живым диалогом, но жалела, что все эти достоинства служат лишь для описания мирских утех и блудной любви; поэтому она решила написать несколько сочинений в той же форме (словом «комедия» она не пользуется), но с благочестивым христианским содержанием. Теренция современники Хротсвиты читали как прозу, потому что сложное строение метрического стиха римской комедии ими уже не воспринималось; поэтому и свои подражания Теренцию Хротсвита пишет прозой, однако украшая ее только что начавшим входить в моду украшением — рифмой. Кроме Теренция, несомненное влияние на форму пьес Хротсвиты оказали диалогические учебники (типа Алкуиновых), диалогические эклоги и, быть может, мало известный нам народный примитивный театр бродячих мимов.

Третья книга Хротсвиты включает две эпические поэмы исторического содержания. Первая — «Деяния Оттона», написанная по прямому заказу Герберги, сохранилась неполностью; здесь панегирически рассказывается история правления императора, кульминацию образует римская коронация, но в целом внимание автора больше сосредоточено на лицах, чем на событиях. Это, главным образом, семейная история, самая живая ее часть — рассказ об итальянской королеве Адельгейде, ставшей потом женой Оттона, ее плене, бегстве и т. д. Вторая поэма — «Начала Гандерсгеймской обители» — стихотворная история Гандерсгеймского канониката, начиная с его основателей графа Лиудольфа и графини Оды — и до смерти их дочери Христины в 919 г. Поэма об Оттоне имеет посвящения самому Оттону I, Оттону II и Вильгельму Майнцскому — свидетельство о прямой связи творчества Хротсвиты с оттоновским двором.

Идейный мир Хротсвиты прост и ясен. Все четко делится на праведное и грешное, божье и дьявольское, черное и белое; дело истинного христианина — побеждать в себе грешное начало и служить господу всеми своими силами; страсть есть проявление грешного начала, опасное и соблазнительное, и борьбу своих героев со страстью Хротсвита рисует живо и сочувственно; девственность есть образец чистой жизни, угодной богу, для мужчин такая степень чистоты недоступна, и поэтому Хротсвита прославляет девственность от первых своих стихотворений до последних. Содержание большинства ее произведений — столкновение праведной стихии и грешной стихии, для изображения этого конфликта она не жалеет контрастных красок, упоминает и о педерастии (в «Пелагии») и о некрофилии (в «Каллимахе»); оттого она и возвращается к таким ярким ситуациям, как «обращение в лупанаре» («Авраам», «Пафнутий») и «беззащитные девы перед деспотом» («Дульциций», «Сапиенция»);

победа в этой борьбе уготована светлому началу, отсюда такой вкус к изображению божьих чудес (например, в «Каллимахе»), отсюда же тезис о всесилии божьего милосердия в «Аврааме». Пьесы Хротсвиты построены как наглядные иллюстрации к ее идейной программе; отсюда намеренная простота их построения, прямолинейность действия, строгая однокрасочность фигур, простота диалога. При всем этом она умеет разнообразить свое искусство: читатель почувствует разницу между комической окраской ее «Дульциция», лирической — «Каллимаха» и психологической углубленностью «Авраама» — пьесы, в которой внутреннее перерождение грешной Марии происходит на глазах у читателя.

Задуманные не столько как комедии, сколько как «антикомедии», пьесы Хротсвиты не имели успеха: Теренция продолжали читать, а ее скоро забыли; лишь одна из ее пьес, «Галликан», в XII в. была переработана для сцены уже возникшего средневекового театра. Зато когда накануне германской реформации, в пору обостренной немецкой национальной гордости, гуманист Цельтис в 1493 г. нашел и в 1501 г. издал эти сочинения «первой немецкой поэтессы» (с гравюрами Дюрера и Траута), это стало всеевропейской сенсацией. (Высказывалось даже предположение, что пьесы Хротсвиты были лишь подделкой, написанной самим Цельтисом и его друзьями, но оно оказалось не выдерживающим критики). В эпоху классицизма восторг перед Хротсвитой затих, но в эпоху романтизма вспыхнул снова. Неожиданное усиление интереса к драматургии Хротсвиты наблюдается на Западе и в наше время — в связи с тем, что некоторые исследователи не без оснований усмотрели в ее творчестве черты сходства с «эпическим театром» Бертольта Брехта, возникшим, конечно, на совершенно иной идейной основе, но использующим аналогичные агитационно-поэтические приемы.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАМ

Многие обретаются католики,
коим вряд ли можем мы простить таковые проступки,
что ради изощренного
красноречия словесного
языческих книг суетность бренную
предпочитают пользе Писания священного.
Есть и другие,
святым страницам прилежащие,
кои, хотя все языческое вообще презирают,
Теренциевы вымыслы, однако же, частенько читают,
и пока сладостью речи упиваются,
познанием нечестивых вещей оскверняются.
А посему я, Громкий Глагол Гандерсгеймский [1], не погнушалась подражать тому писанием,
кого многие почтили чтением,
дабы в том роде сочинительства, в коем постыдное
распутных жен многоблудие
воспевалось,
ныне достохвальное
святых девственниц целомудрие

по силе умишка моего прославилось.
Сие не раз заставляло меня стыдиться
и густым румянцем заливаться,
ибо, по велению
сего рода сочинения,
и ненавистное влюбленных безумие,
и пагубно-сладкое оных общение,
к коему даже наш слух
должен оставаться глух,
часто в уме обсуждала
и перу писать препоручала.
Ибо, если бы я стыда ради сие опустила,
то и задачи своей бы не свершила,
и невинности хваления
не воздала бы в меру своего умения.
Ибо, чем обольстительнее улещения безумцев, тем сила всевышнего заступника сильнее
и торжество победителей становится славнее,
особливо когда женская слабость побеждает,
а мужская мощь посрамлена бывает.
Без сомнения, иные тем меня попрекнут,
что в этом моем писании убогом
все много хуже,
все много плоше
и уж совсем на того не похоже,
кому подражать я хотела слогом.
Не возражаю,
но утверждаю,
Что по справедливости нельзя меня в том обвинить,
будто я предерзостно пытаюсь оным быть
равной,
кои намного превзошли мое скудоумие мудростью достославной,
и не таково
мое хвастовство,
чтобы даже с последними
тех творцов учениками
я равнялась познаньями.
Одного только добиваюсь: хотя ничего как следует делать не умею,
но в смирении душевном вожделею,
как бы свыше приятое дарование
даятелю вернуть без ослушания.
И не столь я себялюбива,
чтобы, убоявшись укоризненного слова,
во святых явленную мощь Христову
(поелику мне им же дарована сила),
я людям не возвестила.

Если кому благочестивое тщание мое будет любо,
возрадуюсь сугубо.
Если же (ради моего ничтожества
или нескладной речи моей убожества)
не понравится никому,
то сама я от содеянного радость приму;
ибо, когда я ранее
невежества своего жалкие писания
героическим стихом нанизала,
а нынешние в драматический ряд увязала,
то все же прелести
языческой мерзости
ничуть не подпала.

ДУЛЬЦИЦИЙ

МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТЫХ ДЕВСТВЕННИЦ АГАПИИ, ХИОНИИ И ИРИНЫ

Сцена 2

Дульциций. Приведите, воины, приведите
тех, кого в узилище томите.
Воины. Вот те, кого ты звал.
Дульциций. Батюшки!
Какие милочки!
Какие красоточки!
Какие чудесные девицы!
Воины. Истинно красавицы.
Дульциций. Пленен я красою их особы.
Воины. Еще бы.
Дульциций. Жажду их привлечь для своей утехи.
Воины. Сомневаемся в успехе.
Дульциций. А почему?
Воины. Верны они богу своему.
Дульциций. Что если соблазню улещеньями?
Воины. Пренебрегут.
Дульциций. Что если застращаю мученьями?
Воины. Ни за что почтут.
Дульциций. Что же делать?
Воины. Размысли сам.
Дульциций. Поместите этих затворниц
в самую далекую из горниц,
перед которою кухарь
складывает грязную утварь.
Воины. Для чего же в это место?
Дульциций. Чтобы я мог посещать их часто.
Воины. Как прикажешь.

Сцена 3

Дульциций. Что делают пленницы
В часы бессонницы?
Воины. Поют гимны.
Дульциций. Приблизимся слегка.
Воины. Три тоненьких голоска
слышны нам издалека.
Дульциций. Вы теперь
со светильниками сторожите дверь,
я же войду
и в желанных объятиях усладу найду.
Воины. Входи, подождем.

Сцена 4

Агапия. Кто в дверь стучится?
Ирина. Несчастный Дульциций сюда ломится.
Хиония. Боже, нас не покинь.
Агапия. Аминь.
Хиония. Что означает звон этих котлов,
кувшинов и горшков?
Ирина. Пойду взглянуть... Подойдите,
прошу вас, подойдите,
в замочную скважину посмотрите.
Агапия. Что там такое?
Ирина. Этот безумный,
рассудка лишенный,
воображает,
что в наших объятиях пребывает.
Агапия. Что же он делает?
Ирина. То котел нежно к груди прижимает,
то горшки и кувшины обнимает,
сладкие поцелуи расточает.
Хиония. Ах, как смешно!
Ирина. От такого объятия
лицо, руки и платье
так уж измазаны,
так уж изгажены,
что от налипшей сажи
стал он эфиопа гаже.
Агапия. Справедливо, чтобы он так же выглядел извне,
как душа его, преданная сатане.
Ирина. Вот он собирается уходить. Посмотрим скорей,
что сделают воины, стоящие у дверей.

Сцена 5

Воины. Кто это выходит? Караул!
Он дьяволом одержим.

Иль, быть может, это сам Вельзевул?
Бежим!
Дульциций. Эй, стража!
Куда же?
Стойте, погодите!
В опочивальню меня со светом отведите.
Воины. Голос господина нашего,
а образ диавола падшего...
Мы здесь не останемся,
но еще быстрей бежать ударимся...
Привидение хочет нас загубить!

КАЛЛИМАХ

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ ДРУЗИАНЫ И КАЛЛИМАХА[2]

Сцена 1

Каллимах. Друзья мои, выслушайте друга.
Друзья. Все мы к твоим услугам.
Каллимах. Не подумайте дурного,
Но хочу я вам втайне сказать два слова.
Друзья. Говори свободно
Все, что тебе угодно.
Каллимах. Тогда отступимте в сторону,
Чтоб не быть разговору прервану.
Друзья. Мы готовы.
Каллимах. Стражду я страданьем,
Тяжким и давним,
И от вашего суждения
Надеюсь получить облегчение.
Друзья. Истинным другом и зовется лишь тот,
Кто с ближним делится всем, что на долю ему фортуна пошлет.
Каллимах. Поделюсь я моим страданьем
И утешусь вашим состраданьем.
Друзья. Что нам расскажешь,
Тем и сострадание наше заслужишь;
Если же нет,
Постараемся мы душу твою отвратить от бед.
Каллимах. Люблю я!
Друзья. Что?
Каллимах. Нечто прекрасное,
Нечто прелестное.
Друзья. Много сказано,
Мало названо,
Единичность любви твоей не указана.
Каллимах. Женщину.

Друзья. Женщину ты назвал —
Обо всем женском роде в едином слове сказал.
Каллимах. Не всех равномерно,
Но единую безмерно.
Друзья. Всякое определение
Мыслимо только через отношение.
Назови существо,
Чтобы понятно сделалось качество.
Каллимах. Друзиану.
Друзья. Андроника, нашего князя, жену?
Каллимах. Ее самую.
Друзья. Но ведь эта жена
Крещена.
Каллимах. Мне до этого дела нет,
Лишь бы только любовь моя к ней проложила след.
Друзья. Не проложит.
Каллимах. Почему же не сможет?
Друзья. Трудно.
Каллимах. Разве первый склоняю я женщину к страсти блудной?
Друзья. Слушай, брат,—
Та, обольстить которую ты рад,
Святым апостолом Иоанном крещена
И единому Господу всею душою предана.
Даже к мужу,
Христианнейшему Андронику, не всходит она на ложе;
И похоть твою подавно отвергнет тоже.
Каллимах. Искал я у вас утешения,
А обрел я у вас отчаяние.
Друзья. Притворство обманно есть,
И пагубна для истины лесть.
Каллимах. Если в помощи вашей вы мне отказываете,
Сам я пойду,
К ней подойду
И страстными словами любовь в ней разожгу.
Друзья. Тщетны твои попытки.
Каллимах. Пусть, судьбе вопреки! [3]
Друзья. Увидим.

Сцена 2

Каллимах. Послушай меня,
Друзиана, любовь моя!
Друзиана. О чем тебе говорить со мной,
Каллимах молодой,
Право, не понимаю.
Каллимах. Не понимаешь?
Друзиана. Нет.
Каллимах. Прежде всего — о любви.

Друзиана. О какой любви?
Каллимах. О том, что тебя люблю я больше всего на свете.
Друзиана. Какие же узы кровные
Или какие обеты законные
Внушили тебе эту любовь?
Каллимах. Красота твоя.
Друзиана. Красота моя?
Каллимах. Да.
Друзиана. Но что тебе до нее?
Каллимах. Увы! Немногого я добился,
Но надежды на большее пока не лишился.
Друзиана. Прочь, прочь скорей.
Грешный блудодей!
Стыдно мне долее говорить с тобой,
Ибо чувствую, покорен ты воле диавольской.
Каллимах. Друзиана, Друзиана, не отвергай меня, влюбленного,
В самое сердце страстью пораженного,
Но любовью на любовь мою ответь.
Друзиана. Блудные ухищрения твои осуждаю,
Похоть твою отвергаю,
Самого тебя всею душою презираю.
Каллимах. Не гневайся, Друзиана, не гневайся:
Ты сама, быть может, не знаешь, что с тобой делается,
И краснеешь от смущенья.
Друзиана. Нет, лишь от возмущенья!
Каллимах. Возмущенье твое минует.
Друзиана. Того не будет!
Каллимах. А вдруг?!
Друзиана. О безумный, о грешный, зачем ты душою мечешься,
Зачем надеждою пустою тешишься?
Ужели, мнишь ты, меня
Тронет твоя болтовня,
Если я так долго
Ради божеского долга воздерживалась и от супружеского долга?
Каллимах. Но да будет
Свидетелем Бог и люди:
Если ты надо мною не сжалишься,
Я не устану,
Я не отстану,
Пока рано или поздно
Не опутают тебя коварные мои козни.

Сцена 3

Друзиана. Горе мне!
Господи Иисусе Христе,
К чему было блюсти мне для тебя мое целомудрие,
Если вид мой вселил в безумца такое безумие?

Услыши, о Господи, муку мою,
Услыши, как я боюсь!
Что мне делать, что делать мне, я не знаю:
Если я все открою,
То жестокую вражду посею;
Если скрою,
То без вспоможения твоего я диавольских козней не одолею.
Повели же мне,
Господи Христе,
Умереть скорее,
Да не погублю я души
Этого красивого юноши.
Андроник. Горе мне! Друзиана, супруга моя любимая,
Внезапной похищена кончиною.
Побегу
И святого Иоанна приведу.

Сцена 4

Иоанн. Что, Андроник, тебя огорчает?
Отчего твои очи слезы источают?
Андроник. Увы! учитель и господин,
Жизни не рад твой духовный сын.
Иоанн. Что приключилось?
Андроник. Друзиана, крестница твоя...
Иоанн. Неземного сподобилась бытия?
Андроник. Да!
Иоанн. Неуместно слезы твои проливаются
О той, что теперь небесным покоем наслаждается.
Андроник. Прав ты поистине:
Душа ее ликует в царствии небесном,
Тело же восстанет при воскресении телесном.
Мучит меня иное:
Только что предо мною
Стояла она
И смерть на себя призывала сама.
Иоанн. Почему?
Андроник. И об этом тебе расскажу,
Но не прежде, чем душу от скорби освобожу.
Иоанн. Поспешим
И достойным образом погребение свершим.
Андроник. Мраморный гроб поблизости есть,
В тот гроб хочу я ее перенесть,
А охраною этому гробу
Будет Фортунат, слуга мой особый.
Иоанн. Погребем ее тело с честию многой,
А душа ее возликует в горних пред богом.

Сцена 5

Каллимах. Почему, Фортунат,
Друзиана уже в гробнице покоится,
А душа моя от любви никак не исцелится?
Фортунат. Жаль мне тебя.
Каллимах. Гибну я,
И надобна мне помощь твоя.
Фортунат. Какая?
Каллимах. Хочу я еще раз насладиться ее лицезрением.
Фортунат. Тело ее не тронуто тлением,
Ибо не страдала она долгим страданием,
Но смерть похитила ее мгновенно.
Каллимах. О, близость возлюбленной, сколь ты блаженна!
Фортунат. Если подарком меня пожалуешь,
Сделаю я так, что ты ее изведаешь.
Каллимах. Все, что при мне,
Дарю я тебе,
А потом, Фортунат,
Получишь ты и больше стократ.
Фортунат. Идем же.
Каллимах. Не замедлю.

Сцена 6

Фортунат. Вот и тело,
Лицо ее не истлело,
И члены не тронуты гнилью:
Наслаждайся им вволю.
Каллимах. О Друзиана, Друзиана, как истинно
Я тебя любил,
Какою страстию искренней
До самых недр я охвачен был!
А ты меня всегда отвергала,
Словам моим не внимала!
Ныне же в моей ты власти:
Совершу над тобой все, что угодно моей страсти.
Фортунат. Ах! ах! страшная змея на нас ползет.
Каллимах. Горе мне! Фортунат, почто ты меня обманул,
Почто на постыдное преступление подстрекнул?
Вот, умираешь ты, ужален змеею,
И я от ужаса умираю вместе с тобою.

Сцена 7

Иоанн. Поспешим, Андроник, ко гробу твоей жены:
Мы за душу ее помолиться пред Господом должны.
Андроник. Воистину ты — святой человек:
Кто душою к тебе прилепился, ты не оставляешь тех.
Иоанн. Но се!
Господь наш незримый

Предстал пред нами въяве,
Подобный юноше в цветущей красе.
Андроник. Трепещите все!
Иоанн. Иисусе, Господи мой, почто ты днесь
Снизошел рабам твоим явиться здесь?
Бог. Друзианы ради
И того, кто лежит при гробе ее,
Ибо их воскресением прославится имя мое.
Андроник. Сколь мгновенно вознесся он в небеса!
Иоанн. Оттого, увы, непонятны мне его слова.
Андроник. Пойдем же быстрее —
По приходе, быть может, изреченное станет тебе яснее.

. . . .

АВРААМ

ПАДЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ МАРИИ ДЕВИЦЫ,
АВРААМА ОТШЕЛЬНИКА ПЛЕМЯННИЦЫ,
КОТОРАЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ПУСТЫНЕ СПАСАЛАСЬ,
НО, УТРАТИВШИ ДЕВСТВО, ВНОВЬ В СУЕТУ МИРСКУЮ ВМЕШАЛАСЬ
И ДАЖЕ БЛУДНОЙ ЖИЗНИ НЕ УБОЯЛАСЬ;
НО ПО МИНОВЕНИИ ДВУХ ЛЕТ,
ВНЯВ УВЕЩАНИЯМ АВРААМА ОТШЕЛЬНИКА,
ЯВИВШЕГОСЯ К НЕЙ ПОД ОБЛИЧИЕМ ЛЮБОВНИКА,
К ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ ВОРОТИЛАСЬ
И МНОГИМИ СЛЕЗАМИ, ДОЛГИМИ ПОСТАМИ,
ДВАДЦАТЬЮ ГОДАМИ МОЛЕНИЙ И БДЕНИЙ
СМЫЛА С ДУШИ СВОЕЙ ПЯТНО ПРЕГРЕШЕНИЙ

Сцена 3

Авраам. Брате Ефреме, во всякой участи я к первому тебе прихожу,
У тебя совета прошу.
Выслушай, не обессудь, стенания мои,
И облегчи мне страдания мои.
Ефрем. Аврааме, Аврааме, почто так печалишься,
Какою мукою мучишься?
Мирянину духом смущаться можно,
Отшельнику же отнюдь не должно.
Авраам. Скорбь меня обуяла неизмерная,
Горе меня постигло несказанное.
Ефрем. Долгими речами окольными меня не томи,
Но что с тобою, прямо скажи.
Авраам. Мария, та,
Которая вместо дочери мне была,
Которую четырежды пять лет
Воспитывал я так тщательно,
Учил так старательно...
Ефрем. Что же с ней?

Авраам. Горе! Она погибла.
Ефрем. Как же?
Авраам. Ужасным было ее падение
И тайным исчезновение.
Ефрем. Как же Мария
В сети попала оного древнего змия?
Авраам. Была она во власти
Грешной страсти
К человеку, который приходил к ней под одеждой монашеской черною
И любовью своею притворною
В сердце ее девичьем,
К обману непривычном,
Такую страсть заронил,
Что на мерзкий грех убежать в окно ее соблазнил.
Ефрем. Слышу и трепещу.
Авраам. Когда же злополучная поняла свой позорный путь,
Стала она бить себя в грудь,
Лицо свое ранами покрывать,
Одежды рвать,
Волосы вырывать,
Голосом громкие вопли издавать.
Ефрем. Истинно, истинно, в участи такой
Не омыть греха и целою слезною рекой.
Авраам. Плакала она,
Что уже не та она, какою была.
Ефрем. Ах, горькая беда!
Авраам. Плакала, что нашими увещаниями она пренебрегла.
Ефрем. О, да!
Авраам. Плакала она,
Что забыла и бденья, и моленья, и пост, и пот.
Ефрем. Если в этом раскаянии твердой останется она,
То будет она спасена.
Авраам. Увы, она его позабыла,
И после худого с нею еще худшее было.
Ефрем. Поражен я до самых недр,
И силы в моем теле больше нет.
Авраам. Когда излилась она в стенаниях своих,
То горе ее крайнее
Увлекло ее стремглав в бездну отчаянья.
Ефрем. Гибель, гибель прегорькая!
Авраам. И отчаявшись заслужить себе прощение,
Решила она в мир вернуться
И в суету окунуться.
Ефрем. Ах, таким победителем
Ни один бес никогда не был над пустынножителем.
Авраам. Да, преданы мы демонам-губителям.
Ефрем. Одно удивительно для меня:
Как она ускользнула незаметно для тебя.

Авраам. Дух мой был в великом смятении
Из-за ужасного одного сновидения.
Если бы не это мое ослепление,
Я предупредил бы ее падение.
Ефрем. Расскажи мне, прошу, твое видение.
Авраам. Мнилось мне, будто стою я перед келией.
И вот некий дракон, виду огромного,
Запаху зловонного,
Налетел на меня изо всех сил,
Беленькую голубку у меня ухватил,
Ее сожрал,
И во мгновение ока из глаз пропал.
Ефрем. Вещий сон!
Авраам. А когда я был пробужден,
То, размышляя об этом видении,
Испугался я, что на святую церковь готовится гонение,
И иные из верующих могут впасть во искушение.
Ефрем. Испуг справедливый.
Авраам. И тогда, простершись ниц, Предведающего я молил,
Чтобы он значение сна мне открыл.
Ефрем. Ты правильно поступил.
Авраам. И вот на третью ночь,
Когда уже обнял мои усталые члены сон,
Привиделось мне, что оный самый дракон
К ногам моим, растерзанный, упал без сил,
И голубку, целую и невредимую, выпустил.
Ефрем. Отрадный ответ!
И сомнения у меня нет,
Что твоя
Вернется к тебе Мария.
Авраам. Сие второе видение
После первого было мне в утешение.
Духом я воспрянул,
И о питомице моей вспомянул —
И тут-то с тревогою подумал я,
Что уж целых два дня
Не видел ее на молитве божией возле себя.
Ефрем. Поздно об этом подумал ты.
Авраам. Поздно, увы!
Пошел я к ее окну,
Рукой в него стукнул,
Девицу многажды по имени окликнул...
Ефрем. Ах, тщетно ты ее окликал!
Авраам. Этого я еще не знал.
И спросил я, почему к божиему служению в ней прилежания нет?
Но ни звука не получил в ответ.
Ефрем. И что же ты сделал?

Авраам. Когда понял я, что дочери моей в келии нет,
Сердце мое страх пронизал,
По членам моим холод пробежал.
Ефрем. И не диво: сам я, слушая речь твою,
То же самое чувствую.
Авраам. Слезными стенаниями я воздух потрясал,
Вопрошал: что за волк овечку мою растерзал,
Что за разбойник дочь мою украл?
Ефрем. И впрямь, как же тебе не плакать о той,
Которую вскормил ты собственною рукой.
Авраам. Наконец, пришли те, кто истину знал,
И поведали все то, что я тебе пересказал,
И сказали, что в мирскую суету она ушла.
Ефрем. Куда?
Авраам. Неведомо.
Ефрем. Что же делать?
Авраам. Есть у меня верный друг,
Обойдет он города и села вокруг,
Пока не узнает, где,
В какой она есть земле?
Ефрем. И что же, когда узнает?
Авраам. Я в мирской одежде туда пойду,
Под видом любовника к ней войду:
Может быть, от моего увещания
После жизненного своего крушения
В тихой пристани обретет она спасение.
Ефрем. А если дадут тебе мяса и вина?
Авраам. Не отвергну, дабы не узнали меня.
Ефрем. И подлинно, ты разумно и похвально поступишь,
Если строгость воздержания своего на недолгое время нарушишь,
Дабы вернуть ко Господу заблудшую душу.
Авраам. Крепче стало мое решение,
Оттого что в твоем согласии я нашел утешение.
Ефрем. Тот, кто тайны сердец человеческих знает,
Всякого поступка намерение проницает
В высочайшей мудрости суда своего
Осуждать он не будет того,
Кто от строгости воздержания
Отступая недолговременно,
Не погнушался к нижайшим и слабейшим снизойти,
Чтобы заблудшую душу ко Господу воротить.
Авраам. Ты же споспешествуй силою молитв,
Да избегну я диаволовых ловитв.
Ефрем. Волею всевышнего бога,
Подателя всякого блага,
Да будет
Делу твоему благое завершение.

Сцена 4

Авраам. Не это ли мой друг.
Коего вот уже два года послал я разыскивать Марию?
Да, это он.
Друг. Здрав буди, досточтимый отче.
Авраам. Бог тебя храни
По вся дни.
Долго тебя я ждал,
Но уже надеяться перестал.
Друг. Оттого я опоздал,
Что неверными вестями тревожить тебя не желал.
Когда же я истину узнал,
Тотчас вернуться к тебе поспешил.
Авраам. Видел ли ты Марию?
Друг. Видел!
Авраам. Где?
Друг. В ближнем городе.
Авраам. С кем же она была,
И с кем имела дела?
Друг. И сказать не могу.
Авраам. Почему?
Друг. Стыдно языку моему.
Авраам. Все же молви, прошу!
Друг. В доме некоего сводника она обиталище имеет,
А он ее и холит и лелеет,
Потому что денег целую тьму
Мариины любовники приносят ему.
Авраам. Так у Марии любовники есть?
Друг. Есть.
Авраам. Кто же они?
Друг. Их не перечесть.
Авраам. Боже мой, боже правый,
Какая ужасная слава:
Невеста, уготованная тебе,
Других любовников ищет себе.
Друг. Так о блудницах ведомо с древних дней:
Чужая любовь им всегда милей.
Авраам. Коня мне быстроногого приведи
И платье мне воинское принеси:
Духовное облачение я сниму
И в обличье любовника к ней пойду.
Друг. Вот тебе все, что нужно.
Авраам. Дай же мне и шляпу — гуменце прикрыть.
Друг. Конечно, иначе тебя могут открыть.
Авраам. И возьму я с собой,
Чтобы заплатить гостинику, единственный мой золотой.
Друг. Да: ведь если денег у тебя не будет,
То и к Марии тебя не пустят.

Сцена 5

Авраам. Здравствуй, гостиник честной!
Гостиник. Здравствуй! что это за гость такой?
Авраам. Может ли в твоем жилище
Путник ночной найти себе кров и пищу?
Гостиник. Конечно!
В этот приют
Каждому вход открыт.
Авраам. Отлично.
Гостиник. Войди же
И садись к нашему столу поближе.
Авраам. За ласковый прием тебя благодарю,
Однако еще кое-чего у тебя попрошу.
Гостиник. Проси, что хочешь:
Все получишь.
Авраам. Этот скромный подарок от меня прими,
И за это к ужину моему пригласи
Девицу ту,
Которая с тобою обитает тут.
Гостиник. А зачем она тебе надобна?
Авраам. Хочу я свести знакомство с ней,
Ибо многие, многие красоту ее расхваливали мне.
Гостиник. Кто ее хвалил,
Тот истинную правду говорил,
Ибо так ее лицо красотою блистает,
Что всех остальных женщин затмевает.
Авраам. Оттого и сердце мое любовию к ней пылает.
Гостиник. Дивлюсь я, что в твоей преклонной старости
Влюбился ты в женщину в цвете юности.
Авраам. Право, затем лишь и пришел я сюда,
Чтобы ее увидать.

Сцена 6

Гостиник. Поспешай, Мария, поспешай:
Пусть увидит новый гость наш, как ты хороша.
Мария. Вот я и пришла.
Авраам. (*про себя*). Сколько же нужно мне душевных сил,
Чтобы ту, которую сам я в глухой пустыне вскормил и вспоил,
Видел я девицу
В обличье блудницы?
Но нельзя, чтобы являлось в моем лице
То, что я чувствую на сердце:
Удержу я слезы, льющиеся из очей,
И под притворною веселостью моей
Скрою всю горечь душевных моих скорбей.
Гостиник. Радуйся, Мария, судьбе своей:
Ибо уже не только юноши влюбленные,
Но и старцы, годами убеленные,

К тебе спешат
И тебя на любовь склонить хотят.
Мария. Всякий, кто с любовью ко мне приходит,
Любовь ответную во мне находит.
Авраам. Приблизься, Мария, и подари мне поцелуй.
Мария. Не только я поцелуй тебе подарю,
Но и шею твою дряхлую объятием обовью.
Авраам. Этого я и хочу.
Мария. Но что со мною?
Какою нежданною упиваюсь я новизною?
Словно такое чувствую я благоухание,
Каким дышало оное давнее мое воздержание.
Авраам. Должен я, должен притворствовать
И в шалостях, резвому юноше пристойных, упорствовать,
Чтобы по строгости моей она не признала меня
И от стыда в дальний свой покой не сокрылась от меня.
Мария. Бедная я!
С какой высоты я пала.
И в какую погибельную бездну попала!
Авраам. Не место здесь изливать жалобы,
Где застольному веселию предаваться надлежало бы.
Гостиник. Госпожа Мария, отчего ты вздохи испускаешь
И слезы проливаешь?
Не два ли ты года уже здесь пребываешь
Без единого стона,
Без горестного слова?
Мария. Ах, лучше бы мне все эти два года
В могиле лежать,
Нежели здесь в пороке жизнь свою провождать.
Авраам. Не затем я пришел, чтобы о грехах твоих рыдать,
А затем, чтобы любовь твою познать.
Мария. Угрызение коснулось моей совести,
Оттого и стала я такие речи вести.
Однако лучше яствами усладимся
И тем увеселимся,
Ибо сказал ты неложно;
Что здесь нам оплакивать грехи не должно.
Авраам. Вот, наелись мы сытно,
Напились мы славно
Твоими, хозяин, щедротами
И твоими заботами;
А теперь позволь нам встать из-за стола
И на отдых расположить усталые тела.
Гостиник. Воля твоя.
Мария. Вставай, господин мой, с кресла,
Отведу я тебя в опочивальное место.
Авраам. Спасибо. Но только вдвоем
Туда мы пойдем.

Сцена 7

Мария. Вот и покой,
Где на эту ночь ты обретешь покой,
Вот и ложе,
На которое богатый покров положен,—
Сядь, и я разую тебя,
Чтобы ты, разуваясь, не утомил себя.
Авраам. Прежде запри на дверях замок,
Чтобы войти к нам никто не мог.
Мария. Пусть это тебя не тревожит:
Я сделаю так, что никто к нам войти не сможет.
Авраам. Ныне время мне с открытым лицом
Пред дочерью предстать отцом.
О Мария,
Избранная дочь моя,
Лучшая частица сердца моего,
Узнаешь ли во мне ты старца того,
Который отечески вскормил тебя и вспоил
И царя небесного сыну единородному посвятил?
Мария. Увы мне! предо мною отец и наставник мой Авраам!
Авраам. Дочь моя, что с тобой?
Мария. Мучусь горькою судьбой.
Авраам. Кто тебя обольстил,
Кто тебя совратил?
Мария. Тот же, кто первосотворенных человеков соблазнил.
Авраам. Где та ангельская жизнь, которою на земле ты жила?
Мария. Миновала.
Авраам. Где стыдливость твоя девственная,
Где воздержность твоя удивительная?
Мария. Пала.
Авраам. За все твои бдения, молитвы, посты,
Какой же мзды, неразумная, чаешь ты,
Если, низвергнувшись с высоты небесной,
Ты погрузилась в адские бездны?
Мария. Увы!
Авраам. Почто ты от меня отвратилась?
Почто удалилась?
Почто в беде падения твоего ты мне не открылась?
Между тем
Как я и возлюбленный мой Ефрем
Могли бы достойным покаянием
Оказать тебе вспоможение?
Мария. С тех пор, как грехами я себя запятнала,
К святости твоей приблизиться я не дерзала.
Авраам. Кто чист от греха, кроме едина
Святой приснодевы сына?
Мария. Никто.
Авраам. Грешить — удел человеческий,

Но упорствовать во грехах — удел диавольский.
Не того осуждают, кому случится пасть,
А того, кто не поспешит скорее встать.

Мария. Горе мне, бедной!

Авраам. Зачем падаешь в изнеможении?
Зачем на земле простираешься без движения?
Восстань с земли
И моим словам внемли.

Мария. Обессилил меня страх,
Что не вынесу я упреков в отеческих словах.

Авраам. Мою любовь к тебе вспомяни
И страх отгони.

Мария. Не могу.

Авраам. Не тебя ли ради оставил я любезное свое пустынное уединение,
И сложил с себя обычай монашеского воздержания,
И из дряхлого отшельника
Превратился в распутных юношей собеседника,
И, привыкнув безмолвствовать целыми сутками,
Стал, скрываясь, разговаривать веселыми шутками?
Отчего же ты потупила долу очи
И не вымолвишь ни слова на все мои речи?

Мария. Казнюсь я сознанием содеянного,
Оттого я не смею и глаза к небесам поднять
И с твоими речами мои менять.

Авраам. Надежды не теряй,
Дочь моя, и в отчаяние не впадай,
Но духом восстань из бездны отчаяния, как из пропасти,
Дабы искать спасения во Господе.

Мария. Грехов моих изобилие
Повергает меня в горестное бессилие.

Авраам. Грехи твои
Поистине тяжелы,
Но всего на свете безмернее
Божие милосердие.
Поэтому скорбь оставь
И единственно к покаянию помыслы твои направь:
Кто грехи свои покаянием омывает,
На том и милость Господня бывает.

Мария. О, я каялась бы с истинным усердием,
Будь хоть малая у меня надежда на божие милосердие.

Авраам. Ты видишь ради тебя принятое мучение мое,
Забудь же пагубное отчаяние твое,
Ибо оно есть грех,
Поистине худший всех.
Кто в Господе снисхождения к грешникам не чает,
Тот неисцелимо согрешает,
Ибо как искра с огнива не может моря воспламенить,

Так и всех грехов наших горечь божественную сладостную милость не может переменить.

Мария. В вышнем милосердии не сомневаюсь отнюдь,
Но собственных грехов моих тяжесть давит мне грудь,
И о том я тревожна,
Что недостанет мне сил для покаяния должного.

Авраам. Тяжесть покаяния я с тобой разделю,—
Об одном молю:
Воротись туда, откуда ты ушла,
И вновь живи тою жизнью, которою жила.

Мария. Ни в чем не прекословлю воле твоей,
И покорно повинуюсь повелениям твоим.

Авраам. Ныне вижу, что истинная
Ты дочь моя избранная,
Паче всех моей любови достойная.

Мария. Золота есть толика у меня и платья:
Что велишь с ними делать, желаю знать я.

Авраам. Что грехом добыто,
То вместе с грехом должно быть и забыто.

Мария. Думала я, для бедных это будет вспоможением
Или ко святому алтарю приношением.

Авраам. Неугоден Господу дар такой,
Который обретен преступной ценой.

Мария. Более о том нет заботы никакой.

Авраам. Утро всходит,
Солнце выводит —
Пора нам в путь.

Мария. Отец мой добрый,
Усердному пастырю подобный,
Шествуй же вперед,
А овца, тобою обретенная, вослед тебе послушно пойдет.

Авраам. Отнюдь; я пешим пойду,
Тебя же на коня посажу,
Чтобы камни дорог
Не изранили нежных ног.

Мария. О, как тебя назвать,
Какою благодарностью тебе воздать
За то, что меня, сожаления недостойную, ты не страхом понуждаешь,
Но кротостию к покаянию побуждаешь?

Авраам. Ничего от тебя не хочу,
Только чтобы служению Господнему посвятила ты жизнь свою.

Мария. От всей души моей Господу послужу,
Все силы мои к тому приложу,
И даже если силы не будет,
То воля неизменна пребудет.

Авраам. И как служила ты суете мирской,
Так послужишь воле божеской.

Мария. Пусть же, пусть твоею добротой
Воля Господня сбудется надо мной.
Авраам. Итак, поспешим.
Мария. О, даже миг промедления мне невыносим.

Сцена 8

Авраам. Как быстро одолели мы столь тяжелую дорогу!
Мария. С мыслию о боге
Легки все дороги.
Авраам. Вот и келья
Покинутая твоя.
Мария. Бедная я!
Видела она прегрешение мое,
И оттого боюсь я войти в нее.
Авраам. И как же не бежать нам оттуда,
Где вражия была над нами победа.
Мария. Но где же мне скрыться от плачевных
Моих угрызений душевных?
Авраам. Стены святые
Кельи глубочайшей укроют тебя от древнего змия.
Мария. Не прекословлю,
Но повинуюсь с любовью.
Авраам. Теперь я пойду
К Ефрему, другу моему,
Чтобы он, сострадавший мне о погибели твоей,
Ныне порадовался радости моей.
Мария. Да будет так.

Сцена 9

Ефрем. Добрые ли вести несешь ты мне?
Авраам. Весьма.
Ефрем. Верно, нашлась Мария сама?
Авраам. Нашел я ее, нашел,
И овечку мою домой привел.
Ефрем. Не без божиего сие было внушения.
Авраам. Без сомнения.
Ефрем. Хотел бы я узнать, где она живет
И какую жизнь ведет.
Авраам. Вблизи моей келии обитает.
Ефрем. Так и подобает.
Авраам. Что я ей ни прикажу,
Какой труд ни положу,
Самый мучительный,
Самый обременительный —
Все она исполняет неукоснительно.
Ефрем. Похвально.
Авраам. Носит она власяницу,

Повсечасным постом и бдением томится,
Принуждает нежное тело строгому уставу покорствовать
И духу не противоборствовать.
Ефрем. Справедливо: мерзость грешного наслаждения
Очищается горечью покаяния.
Авраам. Кто стенания ее услышит,
Тот в сердце их запишет,
Кто сердечные угрызения ее узрит,
У того у самого совесть заболит.
Ефрем. Так и надлежит.
Авраам. Усиливается она
Для тех, кого смутила она падением,
Ныне стать примером обращения.
Ефрем. Разумно.
Авраам. Мыслит она: чем грех ее черней,
Тем сияние искупления должно быть светлей.
Ефрем. Радуется мой слух,
И ликованием полнится дух.
Авраам. Истинно так: ведь и ангельские сонмы
Господа славя, ликуют о каждом обращенном.
Ефрем. И не диво: ведь грешника обращение
Паче верности праведника для Господа драгоценнее.
Авраам. И тем заслуженнее хваление,
Чем казалось его неразумие безнадежнее.
Ефрем. Ликуя, восхвалим,
Восхваляя, прославим
Единородного,
Достолюбезного,
Преблагостного,
Всемилостивого
Сына Господня,
Спасающего с любовью
Тех, кто искуплен его святою кровью.
Авраам. Ему же честь бесконечная,
Хвала и прославление во веки вечные.
Аминь.

«Житие Алексея, человека Божия»

Сказание об Алексее, человеке Божием — несомненно один из самых любимых сюжетов житийной литературы. Мы встречаемся с ним уже в сирийских рукописях V—VI вв., в рассказе о человеке Божием (имя его не названо), который в брачную ночь покинул свой родной дом в Риме, тайно приехал в Эдессу, где как нищий странник провел неузнанным долгие годы, предаваясь суровым подвигам молитвы и поста. Там же, в Эдессе, он и умер, а после смерти был прославлен как святой. В более поздних рукописях IX в. (сирийских и греческих) повесть получает свое продолжение — герой после многолетнего пребывания в Эдессе возвращается в Рим, поселяется под отчим кровом на положении бездомного пришельца и лишь в предсмертном послании открывает родителям кто он.

Версии этого сюжета существуют не только на языках всех стран восточной и западной Европы, но также и на арабском и эфиопском. Житие переводилось на грузинский язык и, вероятно, на армянский (см.: *A. Amiaud*. La légende syriaque de Saint Alexis l'homme de Dieu. Paris, 1889). Латинские варианты его восходят к византийским редакциям, которые оформились, по всей видимости, на почве устных переложений, пришедших с Востока. Житие Алексея прошло не только через все литературы Европы, но и через все жанры — рассказ, проповедь, гимн, поэму, средневековую мистерию, драму. Его стихотворные переложения были особенно популярны в XI—XIV вв. в Италии, Испании, Франции, Германии, Англии. Пьесы по его мотивам стали писаться с XI в. во Франции, позднее также в Италии (с XVI в.) и Испании (с XVII в.). Наибольшей славой, однако, образ нищего Алексея пользовался в литературе Древней Руси и русском фольклоре. Известная исследовательница русского духовного стиха об Алексее, В. П. Адрианова-Перетц пишет об этом так: «Широко распространенное среди книжных людей Древней Руси, давшее толчок творчеству известных и неизвестных деятелей древнего периода нашей литературы, житие Алексея, человека Божия, проникло и в неграмотную народную массу. Здесь оно прочно укоренилось в форме трогательного духовного стиха, передающего главные моменты жития этого святого. Стих о св. Алексее — один из наиболее излюбленных в репертуаре наших калик-слепцов. Помимо чисто художественных достоинств жития, которые в значительной степени объясняют внимание к нему со стороны читателей и слушателей, в среде убогих певцов оно должно было вызвать особенно живой интерес и самим содержанием; жизнь св. Алексея, полная лишений и страданий, напоминала им об их собст-

венной участи, вселяла надежду на небесную награду. Но стих о св. Алексее весьма популярен и среди сказителей былин, которые наделяют св. Алексея чертами любимых национальных героев, а самый язык стиха приспосабливают к привычному строю былевого эпоса...» (*В. П. Адрианова-Перетц*. Житие Алексея, человека Божия, в древней русской литературе в народной словесности. Пг., 1917, стр. 226). Та же исследовательница указывает и на причины такой легкости распространения данного сюжета: «Популярность жития св. Алексея,— пишет она,— прежде всего базируется на наличности вызываемых им у читателя и слушателя сочувственных переживаний, которые обуславливаваются как трогательностью содержания, так и художественностью композиции. Но в процессе усвоения того или иного художественно-поэтического образа или идеи большое значение имеет также характер почвы, на которую падает посев нового. Если почва подготовлена, то усвоение совершается легче, притом в направлении этой подготовки. Вот почему в поисках причины популярности легенды о св. Алексее, отдавая должное ее влиянию на эстетические эмоции слушателя не следует оставлять без внимания литературы, сродной по идеям и по форме с этой легендой.

Житие св. Алексея объединило в своем содержании излюбленные житийные мотивы. Разбросанные поодиночке или группирующиеся по два — по три в других житиях, здесь они в большом количестве соединились в одном художественном рассказе, способствуя тем его популярности и легкости запоминания...» (там же, стр. 127, 128, 131).

Путем сопоставительного анализа В. П. Адриановой-Перетц раскрыт трафаретный, общеизвестный в житийной литературе характер почти всех главных деталей биографии Алексея: его происхождение от богатых и благочестивых родителей, привычка отца ставить ежедневно три стола для нищих, бездетность родителей и рождение у них сына после усиленных молитв, бегство героя из дома в брачную ночь, раздача нищим своего имущества, добровольное странничество, изнурение плоти и перенесение обид, наконец, чудесный голос, возвещающий о святости страдальца, и исцеление больных, прикасающихся к его мертвому телу.

Приводимый ниже перевод жития выполнен по той редакции (Vita Romana), которая принята как канонический текст римской церковью и издана в «Acta Sanctorum» болландистами по рукописи IX—X вв.

ЖИТИЕ АЛЕКСЕЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

1. Жил в Риме человек, великий и знатный, именем Евфимиан, очень богатый и первое лицо в императорском дворце. Было у него три тысячи отроков, препоясанных золотыми поясами и одетых в шелковые одежды. Был он справедлив и милосерд и жаловал нищих щедрой милостыней. Каждый день в его доме накрывались три стола для сирот, вдов, странников и путешествующих. Сам же он вкушал пищу в девятом часу вместе с людьми благочестивыми. Жена его, именем Аглая, была благочестива и богобоязненна, и не было сына у них по ее неплодию. Они горевали и печалились, не имея наследника стольких семейных богатств. На

всякий день они раздавали несметную милостыню и прилежными молитвами и прошениями испрашивали у Господа даровать им сына-наследника.

2. Бог по благости своей призрел на смирение их, вспомнил дела их, услышал их и послал им сына, и назвали его Алексеем. В сугубой радости они возблагодарили Бога и положили с тех пор остальную жизнь свою жить в чистоте и святости, чтобы приятны Богу были и они сами и дарованный им сын и чтобы впредь не касаться друг друга, а пребывать в целомудрии. А когда отрок пришел в возраст, способный к учению, его отдали служителям церковных таинств и свободных наук, и по Божией милости он выучился так, что преуспел во всех занятиях философских, а более всего духовных. Потом он стал юношей, и они порешили, что уже время для брачных уз. Выбрали ему девицу из императорского рода, украсили брачный чертог. И руками достойнейших священнослужителей на главах их в храме святого мученика Бонифация были положены венцы, и так провели они праздничный день в веселии и радости. Вечером Евфимиан сказал сыну: «Войди, сыне мой, в опочивальню к невесте твоей». Войдя туда, благороднейший юноша, весьма умудренный во Христе, начал поучать супругу и многое говорил ей о святыне, затем отдал ей кольцо свое золотое и ленту, то есть головку пояса, которым препоясывался,— все это завернутое в вышитый пурпурный платок, и сказал: «Возьми и храни это, пока Господу угодно будет, и Господь да будет посреди нас».

3. Он взял после того часть своего имущества и пошел к морю. Придя к морю, взошел на корабль и с Божьей помощью достиг Лаодикии [1], а оттуда поспешно направил путь свой в Сирию, в город Эдессу, где был нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа на полотне. Прибыв туда, он роздал нищим все, что принес с собой, и, одевшись в убогие одежды, сел с нищими в притворе храма святой Богородицы Марии. Каждый воскресный день он принимал святые тайны [2] и из милостыни, которую ему подавали, брал себе необходимое, а остальную часть дарил нищим.

В Риме же после его ухода сделан был тщательный обыск, и когда его не нашли, то отец послал своих слуг во все концы земли искать его. Из них некоторые, придя в Эдессу, видели его сидящим вместе с другими нищими и, дав ему милостыню, отошли, потому что не узнали его. А человек Божий узнал их и прославил Бога словами: «Господи, благодарю тебя, который призвал меня и устроил так, что я от рабов своих принимаю милостыню во имя твое; молю, сподоби свершиться во мне делу, которое ты начал». Слуги, между тем, возвратившись, сказали, что не нашли его.

4. Так же и мать его с того дня, как скрылся сын, сидела на полу своей спальни во вретище и горестно вопила: «Жив Господь, не сойду с места, доколе не узнаю, что́ стало с сыном моим». И невеста тоже сказала свекру: «Не выйду из дому тво

го, но уподоблюсь горлице, которая не сочетается ни с кем, когда супруг ее пленен. Так буду и я вести себя, пока не узнаю, что стало со сладчайшим супругом моим».

А человек Божий пребывал незнаемый никем в том притворе семнадцать лет, ведя жизнь воздержанную и святую. И Бог после этого пожелал открыть подвиг его. И вот однажды бывшая там икона святой Богородицы Марии заговорила при церковном пономаре: «Введи сюда человека Божия, он достоин царства небесного, и дух Божий почивает на нем, и молитва его, как огонь, поднимается к лицу Божию». Пономарь вышел, поискал его и не нашел, вернулся обратно и стал молить у всесильного Бога милости: да покажет ему этого человека. И снова та же икона вымолвила: «Тот, кто сидит при входе, это он».

5. Обрадованный пономарь вышел, увидел и припал к ногам его, моля войти внутрь церкви. После этого о нем все узнали и стали чтить его, но человек Божий убежал от людской славы: тайно покинув Эдессу, он пришел в Лаодикию и сел там на корабль, чтобы отплыть в Тарс Киликийский, где думал жить в безвестности при храме святого Павла. Божиим промыслом, однако, ветер подхватил и погнал корабль к римской гавани. Когда человек Божий понял, куда он прибыл, он сказал в сердце своем: «Жив Господь! Я никому не буду в тягость и пойду прямо в дом отца моего, потому что там не узнают меня». И сойдя на берег, он пошел, и вот навстречу ему из дворца идет отец и множество людей вслед за ним. И возопил [к отцу]: «Раб Божий, взгляни на меня и яви милосердие, ибо я беден и странник, вели принять меня в доме твоем, чтобы мне питаться крохами от стола твоего, и Бог благословит лета твои и помилует того, кто у тебя на чужой стороне».

6. Слушая это, отец вспомнил о сыне своем и, растрогавшись, позвал его к себе, а слугам сказал: «Кто из вас примет заботу об этом человеке? Жив Господь, я сделаю его свободным, и из дома моего он получит наследство». Когда служитель был назначен, отец велел привести [Алексея] и при входе в дом поставить ему постель, чтобы сам он, входя и выходя из дому, мог видеть его и чтобы давали ему пищу со стола и ни в чем бы не притесняли. [Алексей] же и тут продолжал свою подвижническую жизнь, не ослабляя постоянных молитв, постов и бдений. Слуги стали насмехаться над ним, выливали на голову ему помои и учиняли много обид. Но человек Божий все их терпел с радостью, по любви к Господу. Ведь он понимал, что эти козни строил ему древний враг рода человеческого[3]. Так провел он неузнанный в доме отца своего еще семнадцать лет. Когда же почувствовал, что завершилось время жизни его, то потребовал себе у приставленного к нему слуги бумагу и трость и описал свою жизнь по порядку — как он отказался от брака, как пошел странствовать, как против воли возвратился в Рим и как выносил множество бесчестий в доме своего отца.

7. Бог пожелал после этого открыть его подвиг и величие, и вот в воскресный день после торжественной мессы в храме раздался с неба голос: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас»[4]. Слыша этот голос, все объяты были страхом великим и, пав на лицо свое, восклицали: «Господи, помилуй!» И снова голос произнес: «Ищите человека Божия, чтобы молился о Риме. Ведь на рассвете в пятницу он испустит дух». И тогда все пошли и стали искать его, не найдя же, собрались в пятницу в храме и просили у Бога милости — показать им, где находится человек Божий. И услышали голос: «Ищите в доме Евфимиана». Евфимиану стали говорить: «Ты имел в своем доме такую благодать и не показал нам?» Но он отвечал на это: «Жив Господь! Не знаю». И тотчас призвав управителя домом своим, спросил его: «Знаешь ли ты в доме моем кого-нибудь, чтобы имел такую благодать?» Тот ответил, что не знает. Тогда императоры Аркадий и Гонорий, царствовавшие в то время в Римском государстве[5], отправились вместе с архиепископом Иннокентием в дом Евфимиана и тщательно расспрашивали про человека Божия.

8. Евфимиан же со слугами пришел раньше их, чтобы отдать распоряжения, и с возженными светильниками и кадильницами вышел навстречу императорам и архиепископу. В это время слуга человека Божия подошел к господину дома и сказал: «Посмотри, господин мой, не тот ли это, к кому ты приставил меня. Ведь я видел много дивных дел его: он причащался каждое воскресенье святых тайн, умерщвлял себя постами и от слуг твоих с радостью принимал и терпел множество бесчестий и досаждений». Услыхав это, Евфимиан бегом поспешил к нему, но застал его уже скончавшимся. Приблизившись, он открыл лицо его и увидел, что оно светится, как светильник, как лицо ангела Божия, а в руке у него небольшая записка, и он захотел взять ее и не смог. Изумленный и напуганный, он быстро вернулся к императорам и произнес: «Мы нашли того, кого искали». И рассказал про то, что говорил слуга, и про то, как сам застал его мертвого с запиской в руке и как не смог взять ее.

9. Императоры и архиепископ направились тогда вместе с Евфимианом к месту, где он лежал, стали перед постелью и сказали: «Хотя мы и грешные, но держим кормило правления. Архиепископ же — общий отец. Дай нам хартию, чтобы мы узнали, что в ней написано». После этого архиепископ подошел, взял из его руки хартию и дал ее прочесть архивариусу святой римской церкви, имя которого было Этий. И вот при полной тишине она была прочитана пред всеми. Едва услыхав слова хартии, отец его Евфимиан пал без чувств на землю, затем, встав, разодрал одежды и стал рвать седины свои, дергать бороду, царапать себя и, повергаясь на тело, вопить: «Увы мне, Господи Боже мой! Зачем сотворил мне так, зачем так преогорчил душу мою, зачем столько лет доставлял мне воздыхания и стоны? Я ждал когда-нибудь услыхать твой голос и получить от тебя весточку, где бы ты ни был, и вот

вижу тебя, хранителя старости моей, лежащего на одре и безмолвствующего. Увы мне! Какое утешение положу в сердце моем?»

10. Тут и мать его, услыхав, вышла, как львица, разодравшая сеть: в растерзанной одежде, с распущенными волосами, с глазами, обращенными к небу. Столпившийся народ мешал ей приблизиться к святому телу, и она кричала: «Пустите меня к человеку Божию, дайте взглянуть на утешение души моей, дайте взглянуть на сына, который сосал сосцы мои!» Подойдя же к телу, она пала на него и завопила: «Увы мне, сыне мой! Свет очей моих, зачем ты поступил так с нами? Ты видел, как горько плакали отец твой и я, и не явил себя нам! Рабы твои ругали тебя, и ты терпел». И снова и снова простиралась она над телом, обнимая его, гладя руками его ангельский лик, и, целуя, восклицала: «Плачьте со мною все, здесь стоящие; семнадцать лет имела я его в доме моем и не познала, что это сын мой единственный, слуги глумились над ним, задевали его и плевали ему в лицо. Увы мне! Кто даст очам моим источник слез? Да плачу день и ночь печаль души моей!» [6]

Прибежала также и невеста его в худой одежде и со слезами заговорила: «Увы мне! Сегодня горестный день для меня, сегодня стала я вдовой. Уже не на кого мне взирать, не на кого поднять очей. Ныне разбилось зеркало мое, и погибла надежда моя. Отселе начинается горе, которому нет конца». Народ, видя это, лил слезы.

11. Затем архиепископ вместе с императорами положили тело на украшенные носилки и понесли на средину города. Народу было возвещено, что найден человек Божий, которого искал весь город. И все устремились навстречу святому телу. От прикосновения к этому священному телу расслабленные сразу исцелялись, слепые прозревали, бесы изгонялись, и все недугующие, какой бы болезнью ни страдали, когда прикасались к святому телу, исцелялись.

Императоры, видя эти чудеса, сами взялись нести одр вместе с архиепископом, чтобы и самим освятиться от этого святого тела. Они велели рассыпать по улицам много золота и серебра, чтобы толпа прельстилась деньгами и позволила бы пронести его в церковь, но народ пренебрег любовью к деньгам и все больше и больше теснился, чтобы прикоснуться к священному телу. Так с великим трудом они принесли его в храм святого мученика Бонифация, и семь дней возносили там хвалы Богу и делали ковчег из золота и драгоценных камней. В него и положили это священное тело в семнадцатый день месяца июля.

От этого ковчега потекло благоухание, как будто он полон был всеми ароматами. Люди с радостью тогда вознесли великое благодарение Богу, который изволил дать народу своему такую помощь, от которой всякий человек, просящий с искренним расположением ума, несомненно получает просимое.

Анселл Схоластик

Анселл Схоластик был преподавателем монастырской школы в монастыре св. Бенедикта во Флёри — известном центре клюнийского движения в средней Франции. Свое стихотворное «Видение» он написал по поручению самого клюнийского аббата Одона (ум. в 945 г.). Действие видения происходит в Реймсе, в монастыре св. Ремигия, который как раз в это время был тесно связан с флёрийским монастырем и готовился получить оттуда новый устав, реформированный в клюнийском духе. Можно подозревать, что содержание видения или целиком выдумано или сильно переработано Анселлом: образ самого ясновидца-монаха бледен, никак не охарактеризован, ясновидец даже не назван по имени. Если это и реальное лицо, то Анселл вряд ли общался с ним лично.

Особенностью данного видения является то, что путеводителем ясновидца является не кто иной, как Христос, спускающийся в ад после своей крестной смерти, чтобы вывести оттуда праведников. Рассказ об этом составлял содержание апокрифического евангелия от Никодима; оно и было основным источником нашего автора. Это видно, в частности, из того, что в начале «Видения» (ст. 84—104) подробно описывается вхождение Христа в Иерусалим — мотив, которым начинается действие в евангелии от Никодима. Соответственно с этим меняется все строение видения: систематического обозрения адских мук не дается, ни одно реальное лицо среди обитателей загробного мира не упоминается, а вместо этого в резком эмоциональном контрасте патетическими средствами изображается ликование праведников и бессильное неистовство демонов. «Устрашающая» же часть выносится в особый дополнительный раздел — беседу с бесом-искусителем; в беседе этой много внимания уделено специальной богословской тематике, обсуждается вопрос об отношениях человека и дьявола, о том, может ли дьявол спастись по милости божьей и т. п. Может быть. автор потому старается здесь показать свою ортодоксальность в богословских вопросах и свою приверженность к строгим клюнийским монашеским уставам, что он чувствует весь риск использования в своем сочинении такого явно апокрифического произведения, как евангелие Никодима.

Автор постарался придать своему «Видению» весь блеск школьной поэмы: эффектное ученое вступление, описательная вставка об аббатстве св. Ремигия и его прошлом, длинные фразы — до 17 стихов,— изукрашенные стилистическими вариациями: повторениями одной и той же мысли в двух смежных сти-

хах (см. ст. 76—77, 170—172, 173—174 и др.) — это излюбленная стилистическая фигура Анселла. Зато лексикон поэмы прост, выисканных глосс и заимствованных грецизмов немного, ритмический стих легко воспринимается: это восьмисложный стих с дактилическими окончаниями, обычно связанными слабыми парными рифмами, переданными и в переводе.

ВИДЕНИЕ АНСЕЛЛА СХОЛАСТИКА

На ложе Соломоновом,
Из древ святых воздвигнутом
Ливанских пречудеснейших,
Тайный смысл сокрывающих,
Где власть царя построила
Локотники из золота,
Седалище из пурпура
Для Иерусалимских дев,
Храм олицетворяющих [1],
Там пиршество духовное
Обретешь превеликое:
Из рога изобилия
Сыплются там те кушанья,
От коих скорбь смиряется,
И дух наш исцеляется,
И перестанет род людской
Оплакивать свой жребий злой.
Но, в аромате лилии
Сладчайший плод скрывается,—
Средь цветов благовоннейших
И средь медов отменнейших
Яство найдешь ты некое:
Вкушай его во здравие.
Есть город-метрополия,
Реймсом званная, стольная,
Что Ремом встарь построена,
Родимым братом Ромула,
Римского повелителя [2].
Имел тот город царственный
И издревле прославленный
Доброго архипастыря,
Великого Ремигия [3].
. . . .
Раз, в календы октябрьские,
В день оного святителя,
Когда народ стекается
И сим увеселяется,
Среди других паломников
И всех добрых католиков
Один пришел в смирении
Из иноческой братии,
Чтоб плачем сокрушения
Смыть плоти прегрешения.
Его, как гостя, приняли
Под сень святой обители:
Так был включен он в братию,
Сроднился с ней любовию.
Когда в опочивальне он
Был погружен в глубокий сон,
Было ему видение,
И вот каков рассказ его.
. . . .
«Пока мне очи сон смежал,
На ложе плоть покоилась,
В видении увидел я,
Что в алтаре Ремигия,
Славного архипастыря,
Свершаю чин молебствия
Я в облаченьи дьякона
Среди народа множества.
Было то в воскресение,
В кое Христу в сретение
Шли люди иудейские,
Соборне сына Божия,
Плоть приявшего, чествуя.
Знаем мы из Евангелья,
Что большего почтения,
Чем в этот день, оказано
Христу в то время не было,
Пока средь нас он шествовал.

«Осанна!» — громко отроки
Кричат.— «Благословен грядый
Ныне во имя Господа!»
Видя восторг неистовый,
Евреев род завистливый
Подверг Христа мучению,
Приговорил к распятию.
Бедро копьем пронзается,
Кровь с водой проливается,
Душа из тела просится,
В руце Отца возносится.
Когда о дивном деле том
Провозгласил я с трепетом
И затем по прочтении
Шел с амвона в смирении,
Держа под левой мышцею
Святую книгу Библию,—
Увидел я воочию
Христа изображение,
С креста ко мне сошедшее,
И знаменье победное,
Крестом у нас рекомое,
Мощной дланью держащее
И так мне говорящее:
«Крепко ли, брат, ты веришь в то,
О чем читал ты только что?»
Упавши на колени, я
Ответил, полн смирения:
«Я пред тобою прах земли,
И пыль, и персть, и хуже тли!
Что ртом прочел я, Господи,
В то сердцем верю в кротости,
И в глубине сознания
Нет и тени сомнения,
Что ты — Единый, рождшийся,
Страдавший и вознесшийся,
В третий день возродившийся:
И в это крепко верю я».
Тут тотчас повелел он мне:
«Иди, за мною следуя,
Куда стопы направлю я».
И вот, быстрей мгновения,
Свыше всякого чаянья,
Сошел он в преисподние,
Держа в деснице знак креста:
Я ж следовал без трепета,
Ибо страшиться нечего
С таким руководителем.
Тут все князья поземной тьмы,
И бледной Смерти воины,
И злобные мучители,
И быстрые набежчики
Рассеялись в поспешности,
Не смея и очей взвести
И не дерзая вынести
Сего молниеносного
Сияния преясного.
Полями и долинами
Прочь убегают демоны
Темновидные, черные,
Печной золе подобные,
Обличием бескровные;
Все ревут, завываючи,
Как львы освирепевшие,
Львят своих потерявшие [4].
И день и ночь скулят они,
И звуки пенья скорбного
Рвутся из горла черного.
Вот прилетают ангелы,
Поющие судье хвалы,
Чтоб души в небеса вести,
Которые от тягости
Христос возносит к радости;
И звучит славословия
Небесная мелодия.
Вовек ничей не видел взор,
И слух не внял до этих пор,
Ничья душа не ведала,
Какой был взрыв веселия,
Какая радость велия,
Как шли на выси горние
Смерти рабы недавние.
О Иисусе Господи!
Кто восхвалить дела твои
Возмог иль сможет в будущем?!
Ты над жалкими сжалился,
Ты опальных и брошенных
Вознес до мест возвышенных.
Но возвращу я кисть свою
К чудесному видению,

Дабы поведать истинно
По ряду все, что видено.
Видя сей подвиг благостный,
Шел вслед за ним я, радостный,
Как будто раньше времени
Избег я плоти бремени.
Но обратил тут с ласкою
Господь ко мне главу свою:
«Куда идешь ты с радостью?»
«С тобой, Свет светлый, шествую!
Твою я славу чествую,
Коей хочу участником
Я быть и сонаследником!»
Он же промолвил ласково:
«Шаги замедли временно
И не двигайся далее!
Вернись к твоей обители:
Года твои не минули».
Что мог бы я на то сказать
И что бы мог ответствовать?
Слова не смея вымолвить,
Долго стоял в молчании,
В сердечном трепетании...
«Как возвращусь, о Господи?»
«Дорогой той же вспять иди!»
«Но всюду, сзади, спереди
Полны дороги нежити:
Мне одному не выбрести».
Иисус же немедленно,
Взглянув налево пристально,
Зрит образину страшную,
Диавольскую, мрачную,
И, поманив концом перста:
«Негодный раб, пойди сюда!
Злой раб, послушай Господа!»
Властно повелевает он:
«Здоровым и нетронутым
Брата верни к местам родным,
И к святому Ремигию
Верни монаха в братию.
Смотри, чтоб мог он в целости
Без страха в свой удел идти,
Чтоб все твои приятели
Пальцем его не тронули!»
. . . .
В хаос Эреба входим мы
И вмиг обуреваемы
Роем теней подземной тьмы,
Бежавших прежде в ужасе
И вновь кружащих в хаосе.
Все больше их и больше их,
В сумраке изнывающих!
И вот с зубовным скрежетом
И со свирепым ропотом
Скликают диким голосом
Товарищей по бедствиям,
Чтоб руками когтистыми
И крюками калеными
Меня скорей увлечь на дно
И за спасенных множество
Мучить меня, невинного.
. . . .
Но злой руководитель мой
Речью смирил их яростной:
«Если вы, племя бесово,
Замучите мне этого,
Что сотворите, жалкие,
Когда Христос опять придет?
Приказываю строго я
Пустить его, не трогая:
Не смейте вы бороться с ним:
Так велено Христом самим,
Что нас страшит крестом своим,
Чье Царство ужасающе,
Чья власть для нас страшилище:
Ее снести не можем мы,
Ее назвать не смеем мы!»
. . . .
Смирив их строгим голосом,
Таким исполнил ужасом,
Что через племя мрачное,
Между копий сверкающих
И пропастей зияющих
Нераненым, нетронутым
Вернулся я к стенам святым
Блаженного Ремигия..
. . . .

Но неотступно спутник злой
Вплоть до одра идет со мной.
Едва без промедления
Улегся на постели я,
Предстал с зубами черными,
Со спутанными космами
И с бельмами кровавыми,
С медведем схожий лапами [5],
А когтем с львом, и черную
Неся козу на дротике.
«Пусти в постель убогую
Того, с кем шел дорогою!
Не бойся ты приятеля
Принять в свои объятия:
Тот, кто в пути не трогает,
На ложе не попробует!»
Тут, храбр и смел не в меру, я,
В Христа, не в силу, веруя,
Быстро подавшись в сторону,
Справа дал место демону,
Чтоб лег со мной в постель одну;
Уста к устам, на ложе том
Ведем беседу шепотом.
Я в божью помощь верую,
Без страха с ним беседую:
«Скажи, приятель, спутник злой,
Противник веры истинной:
По каковому поводу
Понадобилось Господу
Спускаться в преисподние,
Чтоб вырвать души грешные
От вас из тьмы кромешныя?»
. . . .
И тут со страшным скрежетом
Он начал искаженным ртом
Ответ свой диким голосом,
Дрожа губами робкими:
«Монашек мерзкий, мне внимай
И слухом сердца выслушай!
(Правду молвлю невольно я,
Скрывать ее не пробуя,
Хотя в моем обычае —
Солгать при всяком случае.)
Епископы-отступники,
Архимандриты-неучи,
Несчастные священники,
Негодные распутники,
Обманщики-диаконы,
Развратницы-монахини,
С толпою младших клириков
И завидущих иноков,
Ропщущих привередников [6],
Все дни и ночи целые
От радостных пасхальных дней
И вплоть до пасхи будущей
Мольбы возносят к Господу
В литургиях торжественных
За грешников отверженных.
А миряне негодные
Раздают подаяния
Бедным и недостаточным,
Крадут у нас покойников,
Наших слуг и работников.
Смягченный их молитвами
И гнусными поступками,
Любезный вам, враждебный нам,
Христос, соперник демонам,
Вывел от нас всех пленников
К себе, своих приспешников,
А после, в воскресенья час,
Увы и ах! осилил нас,
Сократил наше царствие,
Отнял великолепие.
С тех пор в дни пасхи ясные,
Для вас всегда прекрасные,
Для нас всегда ужасные,
Взял он себе за правило
Нас поражать безжалостно.
Лишь в одном мы довольны им
И даже нами он хвалим:
За то, что кто грешнее всех,
Кто скован здесь теснее всех,
Кого гнетет тягчайший грех,
Убийцы и грабители
И брака нарушители,
Рабы содомской мерзости,
Привычные предатели,
Кто со стыдом не знается,
С законом не считается,
В грехах своих не кается,—

Таких не хочет вывести
Он ради справедливости:
Правых дарит наградою,
А худших тяжкой карою:
Не то, спасая всех равно,
Судил бы он неправедно».

. . . .

Еще о многом речь вели,
О многом с ним поспорили,
Чего я не сумел спасти,
Что за ночь от усталости
Навек истерлось в памяти.
И лишь одно оставил я,
Что вам опишет кисть моя,
Коль вам, отцы, желательно.
Выслушав все внимательно,
Злой дух увещевал меня:
«Вот близится заутреня,
И близок день Ремигия,
Что вашему хвалению
Будет внимать и чтению.
Ты ж, движим мне неведомой
Привычкой некой пагубной,
Чуть звоны колокольные
Проникнут в уши сонные,
С постелью распрощаешься,
В божью церковь направишься,
Первым быть постараешься!
В то время, как тебе кровать
Сулит возможность мирно спать
И телу сладкий отдых дать,
Ты, как глупец, без памяти
Несешься первым к паперти.
Успеешь ты, обряд храня,
Еще явиться во время,
Пока певцы усердные
Девяносто четвертое
Будут тянуть «Приидите»[7].
«Палач бесчестный, пусть тебе
Бог ниспошлет возмездие,
Чтобы не знал ты сладости,
Вовек не видел радости,
Ты, что велишь во имя сна
Презреть уставы ордена[8],
Велящие срываться с мест,
Едва раздастся благовест!
Едва ушей коснется он,
Тотчас должны со всех сторон
Мы, иноки, бежать на звон.
И если что во сне, незрим,
Ты, полунощник, шепчешь им,
Все могут отмолить тогда
Перед престолом Господа[9].
Но что, о дикий, злобный волк,
Тебе до пенья нашего?»
«Всегда ношусь без отдыха
Я по простору воздуха,
Быстрей, чем Евр[10], как тать в ночи,
В приютах божьих рыщучи,
Славить стараюсь грешника,
Воли моей приспешника!»
«Ну, повести постыдных дел
Теперь же положи предел:
Прерви глагол кощунственный!..»
Тут разговор окончил бес
И через миг из глаз исчез.
Затем покинул сон меня.
Вновь вместе с вами, братия,
Я к Господу Ремигия
Моленья шлю о том, чтоб сон
Виденью равным сделал он[11].

«Бегство узника»

Латинская поэма «Бегство узника» стала известна с 1834 г., когда Якоб Гримм нашел ее в двух рукописях в Брюссельской библиотеке. Латинское ее заглавие звучит экзотично своими грецизмами: «Ecbasis captivi per tropologiam», приблизительно: «Исшествие плененного, описанное через аллегорию». Имя автора остается неизвестным, и датировка поэмы до сих пор является предметом споров.

Аллегорический смысл поэмы раскрывается в ее прологе. Монах, находящийся в монастырской темнице, по-видимому, за какую-то серьезную провинность, решает заслужить прощение, сочинив поэму о своей судьбе. Он изображает ее в повести о том, как в предпасхальную субботу 812 г. некий теленок бежал из родного хлева, чуть не погиб в пещере волка, но спасся благодаря своевременному приходу своих родителей, быка и коровы, с целым войском животных, во главе которых стоял лис, исконный враг волка. Поэма заканчивается освобождением теленка, казнью волка и несколькими стихами эпилога «от автора».

В поэме есть некоторые исторические и географические намеки на время и место ее создания. Исторические намеки, к сожалению, недостаточно ясны: упоминаются имена германских императоров Конрада и Генриха, но неясно, подразумеваются ли Конрад I (911—918) и Генрих I Птицелов (918—936) или Конрад II (1024—1039) и Генрих III (1039—1056). Ранние комментаторы поэмы (Фойгт и Царнке) придерживались первого мнения и поэтому относят поэму к X в., другие (Штреккер и Триллич) — второго мнения и датируют поэму серединой XI в. По-видимому, это мнение более исторически обоснованно: 1) Речь идет о предписанном Генрихом «замирении» и запрещении войны и убийств в праздничные дни, а этот факт известен относительно Генриха III; 2) Генрих III был еще при жизни Конрада II его соправителем и заместителем, что отражено в поэме в образе разумного, благородного и благочестивого барса, которого больной лев назначает своим соправителем; 3) упоминаются родовые наследственные замки феодалов, владение которыми закрепляется королевскими грамотами, что в X в. было еще неупотребительно.

Более надежны данные географические: местом действия являются пастбища и леса Вогез, а местом написания поэмы — монастырь св. Эвра в Туле возле Вогез («теленок» сам называет себя «безбородым юнцом, беглым монашком из Туля»). Упоминаются реки Маас и Мозель и их рыбные богатства и даже приток Рейна, ручей Рабадо. Автор поэмы — немец (в латинском языке встречаются германизмы), не симпатизирующий «западным франкам».

С чисто литературной точки зрения поэма «Бегство узника» интересна в двух отношениях: во-первых, она является первой дошедшей до нас литературной обработкой народного «животного» эпоса, впоследствии пышно расцветшего в XII—XIII вв. во фламандских, французских и немецких вариантах, переделках и обработках; во-вторых, в ней впервые употреблен — еще довольно неискусно — литературный прием так называемого рамочного повествования: в основную повесть (названную исследователями «внешней») вдвинут длинный рассказ волка о причинах его вражды с лисом, тянущейся уже в течение трех поколений («внутренняя» повесть). Ход распри изложен очень подробно, попутно рассказано об излечении больного короля-льва, о пире по поводу его выздоровления, о песнях менестрелей — соловья и попугая, о выборе соправителя; общим стержнем рассказа являются коварные замыслы лиса.

Целеустановка и тенденция поэмы не совсем ясны. В ней, несомненно, имеется момент сатиры, но неясно, против кого она направлена: против светского общества или против духовенства. Вернее всего, эта неясность проистекает из контаминации «внешней» и «внутренней» повести. В истории злоключений теленка насмешкам и осуждению подвергается монах-волк, на словах отрекающийся от земных благ, на деле же собирающийся полакомиться телятиной и дающий своему сателлиту-ежу рецепты для ее изготовления. Во «внутренней» же повести (о пире у льва) подвергается критике придворное общество с его интригами жадных феодалов, со стремлением к роскошной жизни, безделью и обжорству. Попытки приурочить образы отдельных зверей к определенным историческим лицам не привели к надежным результатам.

Поэма написана довольно неуклюжим гексаметром с леонинской системой рифмовки, точному переводу не поддающейся. Имеется много стихов, целиком перенесенных из античных поэтов и христианских поэтов раннего средневековья.

В «эпилоге» автор говорит, что его поэма состоит из 1170 стихов, в обеих рукописях же число стихов больше — их 1224, т. е. лишних стихов 54 (ясно наличие интерполяции). Наиболее вероятно предложение Э. Фойгта считать интерполяцией песню менестрелей во «внутренней» повести (религиозную песню о распятии Христа, по содержанию не связанную с темой королевского пира,— ст. 852—905— как раз дают 54 стиха). Менее вероятно предложение Триллича считать добавленным пролог: в нем 68 стихов и он органически связан с эпилогом.

БЕГСТВО УЗНИКА

(аллегория)

Если назад оглянусь и минувшие годы припомню,
Диву даюсь, до чего довела меня юная глупость.
Мыслям разумным был чужд, избегал я общения с братьей,
Занят был всяческим вздором, тонул в нелепых забавах.
Слово свое на уроках учитель тратил напрасно,
Я от ученья бежал и бродил, предаваясь безделью.
Вот за такой-то мой нрав меня прозвали «осленком».
Нынче ж хочу позабыть о грубом реве ослином,

С толстой дерюгой мешка хочу — хоть и поздно — расстаться.
Чтобы усердным трудом победить привычную тупость,
Взялся стихи я слагать, хоть опыта в них не имею.
Сон отгоняют они, и пить, и есть запрещают.
То в затылке почешешь, то ногти упорно кусаешь.
То ломаешь перо, от глубоких устав размышлений.
Кто этим делом займется, пускай простится с бездельем,
Бросит привычки свои, стремясь к стихам благозвучным.
Люди найдутся, конечно, которые, видя ошибки
В этих стихах, осудят меня по высоким законам.
И, метнувши копье, мое творенье проколют.
Есть ведь немало таких,— изучив стихов построенье,
Ловко умеют они сплетать изгибы напевов.
Я же, стремясь уложить в размер установленный стóпы,
Очень уж слаб в различенье слогов, долготы их и счета.
Их сочетать не могу, соблюдая времени меру,
Лучше уж мне помолчать, прикусив свой язык неискусный.
Можем мы всюду прочесть в сочинениях древних поэтов,
Как населяют Камены луга, леса и потоки,
Как и в размерах каких они свои песни слагают.
Поступь легкая их скользит то туда, то обратно,
Нас, неумелых, уча, чтоб не пачкали золото грязью,
Чтоб не пытались стихом неуклюжим описывать небо
Иль нашим словом бессильным могучие подвиги славить.
Этим запретом смущен, я готов был вспять обратиться.
Впрочем, при наших отцах такой соблюдался обычай:
Пусть не посмеет никто говорить и писать о деяньях,
Если не слышал о них достоверных надежных рассказов
Или не видел того, что достойно памяти долгой;
Верили только таким свидетелям, верным и крепким.
Я ж свой рассказ поведу иначе — басенным складом,
В тяжкой сознаюсь вине: эта повесть — вымысел чистый.
Есть, однако, и в ней немало мыслей полезных.
Кто ее вслух прочитает, получит хлеба ковригу.
Верьте мне, пользы немного, а много вреда, если люди
Станут писать об одном, одному отдавать свои силы.
Пусть, кто в школе сидит, обучается разным наукам;
Время ученья пройдет, и сам он учителем станет.
Кто мою книгу прочтет, узнать, конечно, захочет,
С целью какою я начал ее и зачем обработал.
Чтобы на это ответить, я все расскажу по порядку.
Днем я однажды сидел взаперти, как обычно бывало.
Видно мне было, как много людей трудилось на поле,
Как убирали пшеницу, ее ссыпая в амбары,
Как со вниманьем глядели на пашни, на милые лозы,
Как грузили в телеги запас урожая обильный,
Не для монахов одних, хранящих тайны завета,
Но в пропитанье сироткам, и странникам бедным, и нищим.

Все свой долг исполняли, полезное делая дело.
Был без дела лишь я, заключен в монастырской темнице.
Горькую душу мою терзала память о прошлом,
Жалобы я воссылал в высоту, к потокам воздушным;
Сердца печального горечь я сам врачевать попытался,
Жечь каленым железом, лечить целебною мазью.
Горько оплакивал я все то, чем тешился прежде.
Я сказать не умел, что таил я в уме молчаливом.
Был я как высохший ствол, огнем обугленный ярым,
Был я как жалкий теленок, ремнем привязанный крепким.
Так же обуздан, как он, я был руками монахов.
Нити узорные в повесть сплетая, о нем расскажу я.

Лет восемьсот с Рождества истекло, и трижды четыре,
Месяц апрель наступил и пасхальное в нем полнолунье,
Жил в эту пору теленок — он вскормлен был возле Возага
(Можно об этом прочесть во всем том, что сказано раньше).
Этой весной, как всегда, овчары погнали отары
В поле; за ними свиней погнал свинопас неуклюжий;
Все старались они держать свое стадо в порядке;
Следом погнали коров пастухи и коней коневоды.
Все со вниманьем искали, где лучше выпас для стада.
Бедный теленок в хлеву оставался, за шею привязан.
Воли ему не дают, его сердце подавлено горем,
А что печальней всего,— он лишен материнской заботы:
Жалобно стонет, грустит и часто глубоко вздыхает,
Взор свой к небу подняв, Иисуса о помощи молит,
Слезы горькие льет, не одну, а две или двадцать,
Просит, чтоб сторож его отпустил, ремень развязавши,
Дал насладиться ему молоком из вымени сладким.
То он о воле мечтает, а то о напитке целебном,
Но не дают ему воли и к вымени путь закрывают.
Он замышляет побег, чтоб скорее свободы добиться,
Привязь свою он жует и сосет и — ремень разрывает.
Вырвавшись, скачет, ликуя, и нежным копытцем топочет,
Громко мычать он боится, бежит по цветущему лугу.
Полная воля теперь теленку дана молодому,
Может налево свернуть, а если захочет, направо,
Может на травке прилечь, а может побегать вприпрыжку.
Весело носится он, ожидая встречи со стадом.
Но наконец утомившись, в лесу он ищет защиты.
Вдруг пред теленком отшельник лесной; он гимн запевает
Так, как поют пилигримы, из стран возвращаясь далеких.
«Благословен, о Христе, твой служитель! Он прислан тобою!
Господу жизнь он доверил — пусть сердцем своим возликует!
Мирный приют он найдет здесь, в этой обители, ночью,
Завтра же кровью своей освятит он трапезу нашу.
Кто умеет грешить, тот сумеет нести покаянье!»

И приглашает теленка хозяин в волчью пещеру,
В угол приводит его, вонючий, грязный и темный.
Волк ликует, что завтра он досыта сможет наесться;
Речь произносит, в которой слова все дышат любовью;
«Мне поведай, кто ты, почему навестить меня вздумал?
Да, для меня ты, поверь, являешься гостем желанным.
Вышним хвалу вознеси! Ты станешь жителем леса,
Пищей ты восстановишь мое ослабевшее тело.
Третий уж месяц идет — не вкушал я сладкого мяса,
В кубке губ не мочил, наполненном свежею кровью.
В день, когда наша земля породила впервые животных,
Созданы были для нас бессловесные жирные твари,
Так положено в мире, и кровь эта богу угодна».

Вот что ответил теленок — он в речи своей запинался,
Детская робость ему сказать побольше мешала.

Теленок про себя:
«О Юпитер, ты можешь карать и миловать можешь!
Грех мой мраком покрой и тучей — мой дерзкий проступок!
Если останусь в живых, я вышним воздам благодарность:
Я на каждый алтарь тебе положу по козленку.

Теленок волку:
Долго я слушал тебя, но боюсь отвечать слишком длинно.
Я — безбородый юнец, я — беглый монашек из Туля.
Грех мой я сознаю,— я по юности лет заблуждался.
Сам во всем виноват — я учителю был непослушен,
Но поддался порыву и, сам разорвав мою привязь,
В этот я лес прибежал и сам себе смерть уготовил.
Эту вину мне прости, но если в другом я повинен,
Казни предай поскорей, ты — царь из всех наивысший;
Только мне жизнь сохрани до того, как мессу отслужат.
Срок этот Генрих король повелел давать осужденным.
Сказано в отчих заветах: за каждый проступок монахи
Кару несут: за малый — полегче, за тяжкий — суровей».

Молвит хозяин пещеры: «Удрать ты надеешься, жалкий!
Срок, что ты просишь, я дам, если это богу угодно.
Но приказ мой послушай: храни спокойствие духа,
Взором веселым гляди, поцелуй подари мне, как другу».

Теленок:
«Другом зачем притворился и манишь лживым приветом?»

Волк:
«Голод свой утоли и займи за трапезой место.
Но не проси у меня особо изысканной пищи,
Той, что из грязных котлов подается с пылу да с жару;
Лишь на столах богачей ты подобные кушанья встретишь.

Будь умерен в еде и питайся сухою листвою,
Кушанья плотные вредны, они приносят болезни.
Есть у меня здесь латук, и редька, и разные зерна.
Мозг здоров у того, кто уксусом жажду смиряет.
Мозг больной порождает всегда безумство и ярость,
Власть над собой сохранишь, если пуст и легок желудок.
Скоро ежик вернется с тяжелой грудою яблок,
Выдра, искусный рыбак, мне рыбки достать побежала.
Слезы утри! королям затяни ты хвалебную песню.
Зря ты молишь богов: обречен ты подземному миру,
Жертвою станешь Плутона,— а он беспощаден, ты знаешь.—
Нынче ж, пока удается, блаженствуй и радуйся жизни».

Вот ложится теленок и пробует все, что подносят,
Ест он, что твердо, что мягко, и все, что влажно, что сухо,
Корм холодный иль теплый, господскую ль, рабскую ль пищу.
Волк, подвязавши передник, спешит подавать угощенье,
Повара службу несет, свою должность правит усердно,
Кончен ужин обильный: объедков осталось немало,
В угол волк их относит и накрепко прячет в корзины.

Ночь пробежала уже половину небесного свода;
Этой порой возвратились прислужники волка, припасов
Разных с собой принесли: окуней различного рода,
Камбалы плоской и гибких угрей, толстолобиков жирных,
Мелких речных пескарей, каракатиц черных и раков,
Краснобородок, стерлядок, сельдей, осетров и форелей,
Был здесь и вкусный лосось, питомец рейнских затонов,
Не было также нехватки ни в рыбных богатствах Рабада,
Ни в многочисленных рыбах, живущих в глубинах Мозеллы;
Корюшек стая была, населяющих горные речки,
Тех, что своим плавником чешую любую пронзают.
Все это выдра достала, прислужник любимый и кроткий.
Пищу другую добыл покрытый иглами ежик:
Пряности, перец сухой, семена снотворного мака,
Листья капусты, порей и остро-жгучую редьку,
Нежный сладкий каштан, украшенье господских пирушек,
Разных деревьев плоды, айву и крустумские фрукты.
Волк с благодарностью принял весь этот запас принесенный,
Все уселись за стол; и вот что промолвил «наставник»:
«Семь уж лет истекло и год восьмой на исходе
С дня, как плодами земли и рыбой я начал питаться;
Все покупал я на рынке и тем же гостей угощал я,
Жил по-монашески я, соблюдая устав монастырский,
Дорого стоило это, и средства мои истощились;
Вам благодарен душой — вы помощью верной мне были;
Тяжко гнетет меня старость, я вам оставляю наследство:
Ежику — скалы, а выдре — богатую рыбами реку».

С нежной улыбкой они ему гладили шею и морду.
Вдруг, заметив меня, сейчас же воскликнули оба:
«Диву даемся: кто он? Что делает в нашей пещере?»

Волк:
«Хлев свой он бросил и вот — в пещере теперь очутился.
Что-то не спится ему: я его держу под надзором,
Но, оставляя его в живых, я закон нарушаю:
Слишком его полюбил, беззаконное дело творю я;
Завтра, однако, послужит он мне, как ему подобает;
Кровью наполнит он чашу, язык мой иссохший омочит,
Грудь мне очистит от слизи,— она мешает дыханью.

. . . .

Кашель сухой — от бобов — пусть считает осел благозвучным,
С пищи такой пусть свинья своим хрюканьем грубым гордится,
Я ж из-за этой еды все силы тела утратил,
Даже на землю ступить не могу моей лапою нежной,
Весь я исчах и иссох от пищи, мне непривычной.
(Варвары-франки пускай эти зерна в стручках поглощают!)
Что за прибыль от них? Куда лучше прежний порядок!
К старым я нравам вернусь, возвращусь я к прежнему быту:
Мясо вновь буду жрать и ко всем обращаюсь с советом;
Свежее мясо теленка вкуснее, чем чахлые рыбки!
Сил я опять наберусь и здоровья от жирного сока,
Вновь заиграет румянец на морде моей побледневшей;
Вкус привлекает, манит аромат, и безмерна услада!
Средства я все применю, чтобы грудь излечилась больная».

Выдра:
«Ах, беззаконье ликует, закон попирая и правду».

Волк:
«Брось свои старые штучки, у них уже выпали зубы.
Сам я себе господин и не дам над собой издеваться».

Выдра:
«Если есть разум в тебе, придержи язык за зубами:
Будь своей долей доволен, отцов соблюдая заветы.
Целых семь лет истекло, как избрал ты устав воздержанья,
Чрево свое отучил от вкушения мяса любого,
Всем соблазнам стола предпочел ты рыбную пищу,
Трапезу часто свою украшая нежной форелью.
Ныне ж теленка поглотишь, устав святой нарушая;
Как же могу я молчать и не лить мои слезы потоком?
Много обрушится бед, и бедою ты будешь проучен.
Ты лишь по званью монах, но стезю ты прямую покинул,—
Ты преступленье замыслил, устав отвергая священный.
Кроткого видя малютку, простись с безумною злобой.
Бодрствовать должен монах — он обетом скован великим —
И наставленья устава оправдывать словом и делом.

Пусть ничего он «своим» не зовет, пусть все будет общим,
Братьям пусть бед не чинит, каких себе не желает.
Если не так ты живешь, окончишь жизнь, как преступник,
И, как разбойник, ты будешь казнен по канонам церковным».
Умная выдра умолкла, сказавши ни много, ни мало.

Волк:
«Тем, кто на́ ухо туг, об этом всем им поведай!
Хвостик теленка меж тем закушу бедром я ослиным.
Мать мне природа велела питаться так, не иначе».

Выдра:
«Должен монаха язык вести лишь разумные речи»

Волк:
«Если со мной хочешь дело иметь, обуздай свою дерзость».

Выдра:
«Время тратит напрасно, кто мокрую клеит посуду;
Если ж посуда грязна, то все, что кладешь в нее, скиснет».

Новый день наступил, счастливый и самый желанный.
Только лишь солнца лучи разогнали покровы ночные,
Сторож стада с рожком обошел хлева и овчарни,
Кличет питомцев своих, проверяет, все ли на месте,
Чтоб не погиб ни один из тех, кто ему препоручен.
Слышит — корова мычит и бык ревет разъяренный,
Ищут по стойлам они своего пропавшего сына.
К ним подбегает собачка — она из породы Вогезской,
Дебри лесов ей знакомы — и верную весть им приносит.
«Думаю я, что могу вас порадовать, горем сраженных;
В Библии есть в «Бытии» такие слова про Исава:
«Был он метким стрелком, носил колчан нагруженный,
Рог при себе он имел и лук натягивал ловко,
Слева носил на боку охотничью сумку большую».
Он-то меня воспитал и водил за собой по трущобам,
После же смерти его я у вас приютилась, бедняжка.
То, что пришлось увидать и услышать, меня испугало.
Есть здесь пещера в горах, а в ней — добычи без счета,
Я вчера на закате — уже от лая охрипши —
Вдруг заслышала шум... барсука поймать я старалась.
Если пещеру обыщем, вернем пропажу мы в стойло».
Гостьи чуждой слова прослушали все со вниманьем;
Славно собачка ведет их, не хуже, чем целая свора,
В ногу со всеми бежит, обогнать никого не стараясь,
Прямо приводит туда, куда она обещала.
Конный отряд выступает, за ним шагает пехота,—
Счетом больше она, но доблестью меньше и честью;
Опыта мало у ней, неуклюжа, но к битве готова.

Ростом огромный и силой своей равный целому стаду,
Бык разжигает их пыл, потрясает их яростным ревом,
Гул идет по земле, словно рушится все мирозданье.

Волк, пробужденный внезапно, вином и сном одурманен,
Слуг призывает к себе, от ратного дела отвыкших,
Храбрости ждет он от них, приученных только к безделью.
Волк влезает на вышку, чтобы лучше к врагам приглядеться,
Вид их в ужас ввергает его; отдышавшись, он молвит:
«Храбрые слуги мои, вы врагов моих видите гневных;
Злоба во всех них одна, не у всех у них равная доблесть.
Жаждут нас погубить, никого в живых не оставить.
Как вы поможете мне побороть разъяренное войско?
Не в рукопашном бою, не в стрельбе из лука — их сила,
Нет для метанья камней у них ни пращей, ни снарядов,
Я в их отрядах не вижу пернатых, коварных и злобных,—
Волк ведь копытом не бьет, а бык не может кусаться.
Лишь бы рогатый олень иль клыкастый кабан не явились!
Очень уж тяжко сражаться с клыками иль с рогом ветвистым.
Если осадят пещеру, тарану она не уступит,
Трудно найти в нее вход, не проскочит и крошка-мышонок.
Может, боюсь, только лис разрушить крепление камня;
Если не сможет один, позовет друзей он на помощь;
Он и вся шайка его моей лишь погибели ищут,
Это, наверное, он и всю эту свару затеял.
Там, где сил не хватает, всегда господствуют козни;
Пусть же ли́су на гибель коварство его обратится!»
Оба, однако, слуги́, ничуть не поддавшись испугу,
К волку открыто вопрос обращают и просят ответа:
«Мы не свершали вовек беззаконий; в деяньях преступных
Мы не имели участья, нас кара не может коснуться.—
Нас ни один из этих врагов обвинить не посмеет
В братской крови пролитье, в убийстве сородичей гнусном.
Мы в беспорочном безбрачье всю жизнь провести собирались;
Благодаренье всегда всемогущему Богу возносим,
Давшему всем нам закон, положившему грани дерзаньям.
Много ты дать нам не мог, но ты договора держался,
Клятву ты нам приносил; истек уже срок семилетний
С дня, как союз наш скреплен; а теперь нашей смерти ты хочешь?
Это ль награда за службу, что ты нас на смерть обрекаешь?
Что за причина, скажи, что испуган ты ли́са коварством?
И почему ты дрожишь пред ударами этого войска?
Вот, что узнать мы хотим,— где больное скрывается место?»

[Волк в ответ рассказывает длинную историю (ст. 392—1096) о том, как его дед оклеветал ли́са перед королем-львом и лис был бы повешен, если бы не сумел оправдаться; лис же не только оправдался, но и отомстил волку, убедив больного льва, что ему для выздоровления надо завернуться в свежую

шкуру, содранную с волка; после выздоровления льва лис выпросил себе во владенье ту пещеру, в которой теперь опять живет волк; каким образом волк снова завладел пещерой, не упоминается, но лис сохраняет на нее законное право и ждет случая, чтобы выгнать из нее волка.

Этот случай представляется теперь, когда волк совершил новое преступление, заманив теленка. Выслушав эту историю, выдра опять напрасно убеждает волка выпустить теленка; волк отказывается.]

Выдра:
«Ты хорошо поступил, что нам подробно поведал
Все, что так долго скрывал; теперь вся тайна раскрыта.
Войско, быть может, помедлит, и это нам будет на пользу.
Я, под защитой святых, взгляну, что оно замышляет».

Выдра влезает на холм, лежащий рядом с утесом,
Видит сейчас же, что лис королевскую грамоту держит:
Все подписались под ней, кто жил в ту прежнюю пору.
Войско храбро идет и голосом громким взывает:
«Пусть не решится никто преступить приказ королевский!
Птицы того расклюют, кто его веленья нарушит.
Тот, что другого клеймит клеветой, не получит награды.
Хочет он ложью прожить и намеки лукавые сеет.
С тыла тайком он кусает врага, повадкою волчьей,
Мысли скрывая свои, извращает он право и правду.
Он — рыболовный крючок, ядовитой насадкой снабженный,
Он смертоносный напиток дает, обещая лекарство.
Козни, что сам он затеял, ему же погибелью станут,
Что беззаконно возникло, пускай беззаконно погибнет.
Кто упорствует в лжи, пусть пищей вóронам станет.
Всех подручных его в цепях отправят в Илерду,
Все же владенья его немедля вернутся к владельцу».
Слышала выдра, какое решение принято было.
Страшных угроз испугавшись, охвачена страхом безумным,
Все, что увидеть пришлось, по порядку поведала волку
И убеждала его отпустить теленка на волю.

Волк:
«Нет, я людей не боюсь и ничуть не дрожу перед лйсом».

Выдра:
«Ты презираешь совет, а меч уже к горлу приставлен.
Скоро и приговор смертный тебе придется услышать.
Будут и те казнены, кто вместе с тобой попадется.
Помощи просишь: ее искать надо в мирное время,
Ты же не хочешь понять и не веришь тому, кто умнее.
Волю и нравы сильнейших владык ни во что ты не ставишь,
Честью было б тебе у них заслужить благосклонность;
Ныне ж захваченный замок они возвращают владельцу:
Верь, из пещеры никто не спасется, ни сильный, ни слабый».

Выдра, послушник робкий, с холма вершины скатилась;
В страхе пред силой врага осажденный покинула замок,
Жизнь спасая свою, на дно речное нырнула.
Ежик, напротив, привык обитать в хоромах просторных,
Нынче ж ему довелось в скалистой щели укрыться.
Крепость атакой взята, торжествующе лает собачка,
Войско врывается в замок, досель не поддавшийся франкам.

Лис:
«Здесь он, и больше нигде! Здесь скрывается тот, кого ищем.
Вот он, дядюшка мой! Как дела, любезнейший родич?
Вижу — цела голова и почтенной блестит сединою.
Как ты красив! И лицо, и бедро, и зубы, и лапы!
От головы и до пят так и светишься весь белизною.
Славного отпрыск отца, воспитанный с сердцем невинным,
Видно, что ты возрастал в семье богатой и знатной,
Верно, и Конраду ты посреди королей не уступишь.
Знатностью всех превосходишь, кто предками может похвастать.
Ты и в науках силен, возвеличен безмерным почетом.
Кто б тебя мог обвинить в чем-нибудь, в чем меня обвиняют?
Можно ль тебе быть угодным? Добром ты на зло отвечаешь.
Отче, выйди ко мне! Пускай же все подивятся,
Сколь величавы все члены, сколь тело твое благородно!
Если в словах моих ложь, пусть мне голову грязью обмажут!»
Лиса льстивая речь затуманила голову волку.
Бедный же узник — меча острие его пощадило,—
Выждав, чтоб волк отодвинуть решил дверную щеколду,
Выпрыгнул быстро на волю; отца и мать разыскавши,
Сладкое вымя сосет и к матери радостно жмется.
Это — ясный пример, что правдива, как свет, поговорка:
«Лук пусть натянут, но в цель стрела не всегда попадает».
Волка бык пригвоздил к стволу высокого дуба,
Лис эту казнь поощрил, обе лапы вниз опустивши,
Надпись надгробную тут же составил разбойнику злому:
«Вот, что Писанье гласит, и видим мы это на деле:
«Горе тебе! если грабишь других, сам будешь ограблен.
Смерть готовит себе, кто возлюбит искусство коварства,
Радостей тот не пожнет, кто вступил на путь беззаконья.
Взглянет пускай на тебя, кто жить замыслит неправдой!»
Вот что лис произнес, вступая в наследье отцово.

Мать, возвращаясь с теленком, его расспрашивать стала:
«Что ж не расскажешь, сынок, что делал хозяин жестокий?»

Теленок:
«Милая мать, ты грешишь, вспоминая минувшие беды.
Вспомнить противно кощунство, что видел я в этой пещере.
Если я больше скажу, то это вас всех опечалит.

Сладостна скромная речь, утомляет рассказ многословный.
Грустно мне было, что вы за мной так поздно явились,
Впрочем, целую ночь я провел не так уж печально:
Был там приятель и друг, со мною плакавший горько,
Волка просил за меня он, потоки слез проливая.
«Выдрой смешною» его называют — известное имя.
Плещется вечно в реках он, наследник рыбных затонов.
Грусть мою он утешал, отирать мои слезы старался,
Зябкого друга от стужи ночной согревал возле печи.
Даже и в этой беде нам все же вздремнуть удавалось,
Вакха дарами меня угощал он и ласковой речью.
Ну, а ежа-хитреца, одного из прислужников многих,
Ирод-злодей наставлял, как готовить мясо телячье.
Он говорил, что я буду пасхальным праздничным блюдом,
Съест он меня целиком, не даст на кусочки разрезать.
Меч двуострый уже к моему он горлу приставил,
Жаждал меня, бедняка, растерзать кровожадною пастью.
Господу слава! Меня от зубов он волчьих избавил,
Я невредимым вернулся в объятья матери милой».

Благословенно вовеки святое имя Христово!
Тысячу с сотней стихов я сложил, да еще семь десятков.
Долог был труд, и теперь дозволено сном насладиться.
Надо поистине мне одуматься, бросить забавы,
Пеньем псалмов заменить пора уже легкие шутки.
Голод терзает меня, и зубам надо дать поработать.
Кончу я повесть мою, не прибавлю к ней больше ни слова.

«Руодлиб»

Латинская поэма, известная под названием «Руодлиб» по имени героя ее, является первым дошедшим до нас «рыцарским» авантюрным романом, еще довольно несложным по фабуле, но дающим много интересного материала: и бытового, и фольклорного, и даже политического характера.

Имя автора неизвестно, но, поскольку рукопись поэмы, хотя и дошедшая до нас в сильно поврежденном виде, написана в монастыре Тегернзее (в Баварии) в XI в. (второй экземпляр конца XI в. найден тоже в монастырской библиотеке св. Флориана), предполагают, что автором был монах первого монастыря. Рукопись состоит из восемнадцати пергаментных двойных листов большого формата, но с лакунами, так что полностью связного повествования мы получить не можем и промежутки приходится дополнять предположительно. К сожалению, не имеется конца, в котором, очевидно, заключалась развязка повести. Впрочем, есть предположение, что поэма и не была окончена ее автором, так как в рукописи на обратной стороне первого и последнего листа той же рукой, как вся поэма, написано одиннадцать эпиграмм, посвященных различным предметам обихода. Повреждения рукописи значительны — ее переплели и при этом на многих листах обрезали и испортили клеем начало многих стихов, а иногда всю первую половину их.

Содержание поэмы вкратце следующее. Некрупный и небогатый феодал Руодлиб, долго служивший у более мощных «князей» (principes, или domini), вынужден покинуть родину: князья не награждают его за верную службу, а товарищи враждуют с ним. По пути он встречается с королевским охотником, и тот устраивает его на службу к самому королю (rex), где Руодлиб показывает и свое искусство на охоте и рыбной ловле, и храбрость на войне, когда некий граф, чьи владения граничат с землями короля, совершает разбойничий набег, кончающийся поражением. Граф ссылается на приказ «своего» короля, но тот отказывается от него, хочет примириться с «главным королем» и просит его покровительства (по-видимому, здесь подразумеваются отношения между императором и местными герцогами). Подробно описаны приезды послов, мирные переговоры, подарки, которыми обмениваются короли.

Через несколько лет Руодлиб получает письмо от матери; она зовет его домой. Король награждает его богатыми подарками и дает ряд полезных советов. Руодлиб едет домой, переживая по дороге новые приключения. Где-то он встречается со своим племянником (этот эпизод утерян), заезжает с ним в замок к его вдовствующей владелице. Племянник Руодлиба влюбляется в дочь вла-

делицы и с дядей возвращается домой, чтобы готовиться к свадьбе. Мать Руодлиба хочет женить и его, но он узнает, что девушка, которую ему сватают, была любовницей клирика, и ловко выводит ее на чистую воду. Мать Руодлиба видит сон о будущем величии своего сына — он победит сказочного короля гномов и сам станет королем. Руодлиб едет искать счастья, встречает и побеждает короля гномов — на этом поэма обрывается.

Как видно из изложенного, в поэме переплетены картины реальной жизни, рыцарского быта с фантастическими мотивами. Отношения крупных феодалов к мелким, менее богатым и мощным, обрисованы с осуждением. Напротив, сильно идеализирован «главный» король, император: он стремится только к миру, старается обуздывать своевольных феодалов, ласков с подчиненными, умеет быть благодарным за услуги; он щедр и благожелателен. Возможно, что под этим идеализированным образом автор подразумевал Генриха III, императора хорошо образованного и очень энергичного (либо его отца, Конрада II). Это тем более правдоподобно, что описание драгоценностей, которые король дарит Руодлибу, соответствует сохранившимся в Майнце украшениям королевы Гизелы, матери Генриха III.

Вторым заслуживающим внимания элементом романа являются мотивы «плутовской» новеллы на темы, которые впоследствии дошли до фацетий эпохи Возрождения: король, прощаясь с Руодлибом, советует ему не верить рыжим людям, а ночуя в какой-нибудь деревне, останавливаться не там, где у старого хозяина молодая жена, а у пожилой вдовы, либо у пожилой женщины с молодым мужем. Уехав от короля, Руодлиб скоро встречается с навязчивым рыжим бродягой, который сперва обкрадывает его, а потом на ночлеге соблазняет молодую хозяйку и убивает ее старого мужа. Рассказ о суде над изменившей мужу женщиной, приносящей искреннее покаяние, и над рыжим злодеем не закончен. Также несколько комически-буффонадный характер носит и рассказ о мнимом сватовстве Руодлиба к девушке, потерявшей девичью честь.

Наконец, чисто сказочный мотив, очевидно, должен был быть развернут в эпизоде с королем гномов и его красавицей-женой, только «очень уж маленького роста».

Поэма не лишена затяжек и повторений (например, растянут рассказ о сватовстве и о свадьбе племянника), но имеет и художественные достоинства: живо изображено горе Руодлиба и его домочадцев при его отъезде с родины, просто и искренно написано письмо его матери.

Язык поэмы — подлинная средневековая латынь, античные реминисценции почти отсутствуют (в этом она сильно отличается от поэм раннего средневековья, включая «Вальтария»). Стих ее — довольно правильный гексаметр, правда с некоторыми нарушениями долготы и краткости слогов, но уже со сплошной леонинской рифмой (вернее, ассонансом), почти недоступной для нашего слуха и в нашем переводе не переданной.

5 Заказ № 550

РУОДЛИБ

Лист 1

Жил некий муж благородный, потомок семьи родовитой,
Доблесть врожденную он украшал своими делами.
Многим богатым князьям ему служить приходилось,
Часто приказы он их исполнял, но ни разу не видел
Он ни наград, ни похвал, подобавших ему по заслугам.
Кто б из князей ни велел вместо них отомстить за обиду
Или какой-либо труд по их желанью исполнить,
Брался за дело всегда без отказа, нимало не медля.
Жизнь свою он не раз подвергал опасностям грозным
В жарком бою, на охоте, в нежданных схватках с врагами,
Счастья, однако, не знал — никто даже малого дара
Не дал ему: обещанья всегда князья нарушали.
Нáжил он много врагов за свою усердную службу,
Их одолеть был не в силах и что ему делать не ведал.
Даже и жизнь уберечь — он на это надежду утратил.
Матери он поручил вести управленье именьем,
Край свой покинул родной и направил свой путь на чужбину.
Оруженосец один лишь ему стал спутником верным,
Торбу взвалил на коня дорожную, с разной поклажей
(С раннего детства привык он нести при хозяине службу):
Справа он торбу повесил, а слева — копье господина,
Правой — копье ухватил, колчан под щитом закрепивши,
Сам же сидел на мешке с зерном для конского корма.
А господин был одет иначе — в камзол и кольчугу,
Шлем — а не шапку — носил, сверкающий яркою сталью,
Был мечом опоясан с литой золотой рукоятью,
Коготь изогнутый грифа — рожком на охоте служивший —
Шею ремнем обвивал; был тот коготь в пол-локтя длиною.
Он на обоих концах, на широком и узком, украшен
Золотом был и скреплен полоской кожи оленьей.
Не был он снега белей, но светился насквозь, как алмазный,
Если ж подуют в него, он гудел, как труба боевая.

Матери, дому родному сказать «прости» приходилось.
Ждал уже конь вороной, скребницей начищен и вымыт.
Масти особой он был — белый волос был виден сквозь черный.
Свесилась с шеи крутой налево грива густая,
Пышен был конский убор — так господским коням подобает.
Возле седла приторочен был кожаный кубок дорожный,
Смазан внутри и снаружи он был смолой ароматной,
Так что напиток любой в этом кубке слаще казался;
И покрывалось седло небольшой пурпурной подушкой.
Путник вскочил на коня, и конь высоко подпрыгнул,
Словно обрадован был, что несет на себе господина.
Быстрый охотничий пес носился то слева, то справа;

Чутким он был следопытом, едва ли нашелся бы лучший;
Дичи такой не водилось нигде, ни крупной, ни мелкой,
Чтобы укрыться могла — ее он разыскивал мигом.
Всадник с последним «прости» обратился к матери, к слугам;
Хлынули слезы из глаз, когда всем он дарил поцелуи.
В руки поводья схватил и, коня пришпорив, рванулся
В поле широкое, вдаль — так быстро лишь ласточка мчится.
Мать сквозь решетку окна его провожала глазами,
А домочадцы взошли наверх, на зубчатую башню,
Вслед глядели ему, тяжело вздыхали, рыдали.
Только он скрылся из глаз, как все расплакались горше,
После, рыданья сдержав, они лица умыли водою,
Чтобы пойти к госпоже и ее попытаться утешить.
Но, свою боль затаив, слова надежды притворной
Им говорила она, чтоб горе их успокоить.
Сына ее между тем забота терзала не меньше,
Он во время пути размышлял обо всем, что случилось:
Как за верную службу ни разу награды не видел,
Как из-за многих врагов, окружавших его отовсюду,
Должен он ныне покинуть пределы родины милой.
Думал также о том, куда он поступит на службу.
Если ж фортуна к нему враждебной будет, как прежде,
Если товарищи снова завистливы будут и злобны,
Станет ли жизнь его легче? Быть может, трудней и печальней?
Тяжко вздохнув, со слезами он к Богу с мольбой обратился,
Чтобы его не покинул в нужде, не дал бы погибнуть,
Помощь ему ниспослал, даровал над несчастьем победу.

Так он, печальный, вступил в пределы края чужого.
Вскоре попутчик нашелся ему — королевский охотник;
Вежливым оба приветом они обменялись, как должно.
Ростом изгнанник был статен, и мужествен был его облик,
Звучен был голос его, и ответ — суров и достоин.
Кто он — охотник спросил — и едет куда и откуда,
Но на вопрос не ответил ему чужеземец ни слова.
Спрашивать снова охотник не стал, в уме размышляя:
«Это навряд ли посол, уж очень бедна его свита,
Кто ж при дворе его меч понесет, кто подарки разложит?
Беден он, думаю я, но доблестен (это же видно)».
Он помолчал, как прилично, и новую сделал попытку:
«Ты не сердись, если снова к тебе обращусь я с вопросом:
Пользу тебе принести я хочу, а вредить не намерен.
Я — королевский охотник, слуга любимый и верный.
Чаще, чем многих других, меня он выслушивать любит.
Если ты край свой покинул родной из-за тяжких усобиц,
Если в здешней земле — что и мне, и тебе не родная —
Службу ты хочешь найти, одержать над невзгодой победу,
Дам я полезный совет; ты, надеюсь, его не отвергнешь.

Если в охотничьем деле ты опытен, ловок, искусен,
Верь мне — изгнанье твое для тебя обернется удачей!
Любит охоту король и любит ловчих умелых.

. . . .

Тот, кто имеет, дает,— что же может дарить неимущий?
Он же не каждый хоть день, да зато дает постоянно.
Впредь не будет заботы тебе об одежде и пище.
Если ему кто-нибудь подарит коней превосходных,
Нам поручает проверить, насколько они быстроноги,
Легок ли конь на скаку, не упрям ли в беге по кругу.
После дарит их тому, кому конь всех более нужен.
Корм для коня никогда покупать тебе не придется.
Только захочешь — скажи, и тебе насыплют, не меря.
Часто король на пиру покинет гостей своих знатных,
К нашим столам подойдет, беседует с нами и шутит,
Кушанья лучшие нам со стола своего посылает.
Это — не плата для нас, а чтоб нам оказать уваженье.
Если согласен со мною вступить ты в крепкую дружбу,
Верности клятву дадим, по рукам с тобою ударим,
Чтоб неразлучны мы были до горького смертного часа.
Где бы нам быть ни пришлось, пусть каждый за дело другого,
Как за свое — если может помочь — душою болеет».
Речи поверив такой, изгнанник ответил не медля:
«Да, ты поистине мне доказал, что добра мне желаешь.
И не могу я презреть твой совет, от сердца мне данный.
Как моя доля сложилась, ты правильно сам догадался.
Так закрепим же с тобою союз и верную дружбу».
Давши друг другу десницу, они договор заключили,

. . . .

Прочную дружбу свою скрепив поцелуем взаимным,
Единодушно служить одним и тем же владыкам.

Ехали долго они, о делах своих рассуждая,
И недалеко уже была королевства столица.
Путник там каждый вступал под власть королевских законов.
В замок войдя, своих слуг и коней отправив на отдых,
Вместе сейчас же они ко двору короля поспешили,
Ловчего видя, король к нему обратился с вопросом:
«Где побывал ты, о чем ты слыхал, поскорей расскажи нам!
Выследил, может быть, ты, бродя по трущобам лесистым,
Иль кабана, иль медведя? И можно ль затеять охоту?»
Не как владыке ответил охотник, скорее как другу:
«Нет, я зверей не видал: но того, кто их усмиряет,
Выследил я и поймал и к тебе с собою привел я.
Юноша этот достоин тебе послужить, я уверен,
Он искусством охоты давно и умело владеет,
Это я вижу и сам по всему его снаряженью.
Будет коль милость твоя, его ты сам испытаешь.
Вот его скромный подарок; он просит его не отвергнуть.

Просит принять пришлеца под твою высокую руку».
Гончую масти двуцветной держал он левой рукою.
Был к ошейнику пес золоченой привязан цепочкой.

[На 2 листе рукописи идет рассказ о рыбной ловле; здесь Руодлиб показывает свое искусство заманивать рыбу особой травой «буглосса», которая лишает рыб зрения. Потом он применяет это же средство во время волчьей облавы. В это время после долгого мира соседний ма́ркграф совершает неожиданный разбойничий набег на границы государства; Руодлиб становится военачальником, разбивает войско маркграфа и берет его самого в плен. Маркграф ссылается на приказ «своего» короля, Руодлиб ему возражает.]

Лист 3

«Нет, приказа такого, я знаю, король ваш разумный
Дать бы не мог; но виною твоя пустая надменность.
Вот теперь и смотри, какой ты чести добился.
Ты преступленье свершил, ища себе призрачной славы.
Мог бы тебя по заслугам повесить я вниз головою».
Воины вскрикнули все: «И повесь! Чего же ты медлишь?
Но отвечал Руодлиб: «Нет! Наш король не велел нам
Тех губить, кто нам сдастся, и тех, кого в плен мы захватим.
Был нам приказ: если сможем, отнять у врагов их добычу,
Наших из плена вернуть. Мы исполнили то и другое,
Тех победили, кто нас победил,— чего же нам больше?
Львом ты в битве себя покажи, а в возмездье — ягненком.
Честью не будет для вас, если станете мстить за убытки,
Гнев свой уметь обуздать — это лучший способ отмщенья.
Вот почему я прошу, чтоб решили вы все добровольно:
С нами пусть едет маркграф, своего лишенный оружья;
Будет ли собственный конь ему дан или лошадь любая,
Только пусть ко́нюший будет при нем, который умело
Сможет коня расседлать, напоить и задать ему корму.
Пусть пред глазами маркграфа пройдет, заковано в цепи,
Войско его; пусть увидит, в какую пучину позора
Вверг он людей, чтоб опять не затеял такую же распрю».
По́ сердцу воинам всем пришлись слова полководца,
И с ликованьем они в свой край родной поспешили.
Даже и те, чьи дома сгорели во время набега,
Горе забыли свое — они снова были свободны.

[Руодлиб докладывает своему королю об удачном походе; король одобряет его образ действий, велит хорошо обращаться с пленными, Руодлиба же посылает во главе посольства к «младшему» королю, предлагая переговоры и заключение мира. «Младший» король принимает посольство очень любезно и соглашается на все условия.]

Лист 4

С речью такою король к послам, их позвав, обратился:
«Ваш государь своим другом в посланье меня называет;

Я советникам всем сообщил о его завереньях.
Милостив он и к тому, кого бы он мог уничтожить.
Нам возвращает он тех, кто был бы казни достоин.
Честь он мне оказал большую своим милосердьем.
Нам же теперь надлежит воздать ему благодарность,
Если все то, что чрез вас обещал, он исполнит по правде».
«Знай,— ответил посол,— никогда в его не было нравах
Слово хотя бы одно изменить в своих обещаньях.
Правда — все, что он скажет, всегда его слово правдиво».
Молвил король: «А когда же и где мы встретиться можем?»
«Время и место назначить — твое королевское право».
«Нет,— король возразил,— ты выбери место для встречи,
Где мы на тысячу лет установим мир нерушимый».
«Если согласен и ты, и советники,— молвил посланник,—
Лучше не может быть места, где можно бы встречу назначить,
Чем то широкое поле, где мы лишь недавно сражались.
Эта равнина граничит и с нашей, и с вашей землею,
Там победили мы вас и своим вернули свободу,
Там же и ваши пойдут по домам, с нами мир заключивши».
Все согласились с послом: на равнине места довольно,
Чтоб разместиться могли там две королевские свиты.
Срок трехнедельный до встречи назначили общим решеньем.
Встал с престола король и, советников всех отпуская,
Он в покои свои на отдых к себе удалился.

Лист 5

Было для встречи гостей приготовлено место на поле:
Вкруг — сидений ряды, середина ж пустой оставалась;
К трапезам здесь созывать мог король и утром, и в полдень
Многих епископов — счетом двенадцать — и столько ж аббатов.
Тут же разбит был шатер обширный, повернут к востоку;
Шел от него переход к другому шатру небольшому,
Где при поездках всегда помещалась походная церковь;
В нем был воздвигнут алтарь, покрывалом роскошным украшен;
Крест короля был положен на нем и венец королевский.
Там ежедневно король мог слушать церковную службу,
Утром — на мессе бывать, посещать вечернее бденье,
Также моленья дневные всегда исполнять по уставу.
Прибыл старший король и, немедля мессу прослушав,
К младшему он отправляет посла, того же, кто раньше
Вел с ним беседу, в тот день, когда сговорились о встрече.
Видеться он предложил до того, как завтракать сядут.
Младший король, принимая посла, ему улыбнулся
И поцелуй подарил. «Что скажешь? — спросил он тотчас же.—
Рад я видеть тебя, заслужил ты мою благодарность».
«Мне государь мой велел передать, что с тобой увидаться
Он бы хотел поутру, покуда за стол не садились.
Выйдет к тебе он на мост, что наши края разделяет.

Там будет мир заключен и будет закончена распря,
Пленных тебе отдадут; ты жалоб от них не услышишь,
Ведь возвратятся они с достатком, бо́льшим, чем прежде».
«Так пусть и будет»,— ответил король, посла отпуская.
Встретились там короли, где решили, согласно условью,
И, не сказавши ни слова еще, обменялись лобзаньем.
Наш король повелел всем высоким сановникам церкви
Так же, как он, поступить — сам почтил поцелуем аббатов;
Тот же почет был оказан прибывшему с ним духовенству.
Заняли место свое короли, прелаты, аббаты,
Вместе с ними князья и две королевские свиты,
К ним обратился великий король с разумною речью:
«Наш любезнейший друг, король, нами всеми любимый!
Все, что я обещал, в чем поклялся, я ныне исполню.
То, что в пылу неразумья затеяли наши народы,
Мы должны им простить и мир заключить между ними.
Пусть друг с другом они в согласье живут без обмана,
Впредь пускай ни один о своих невзгодах не вспомнит,
Пусть позабудет о них и о мести пускай не помыслит.
Лучше добром я за зло отплачу, чем победой неправой».
Встать хотел младший король, чтоб воздать благодарность достойно,
Наш же его удержал; он сел, но все же воскликнул:
«Столько деяний благих для нас ты свершил, что едва ли
Сможем тебе отплатить мы за это полною мерой.
Тот, под чьею рукой ты победное носишь оружье,
Он возвеличил тебя и покрыл тебя славой и честью.
Нет нужды мне теперь осыпа́ть тебя похвалами.
Доблесть твоя, милосердье и щедрость повсюду известны,
Недруги даже твои восхваляют тебя против воли.
Я же и весь мой народ служить тебе верой и правдой
Ныне должны и вступить под твое победное знамя!»
«Так да не будет! — сказал наш король. — Покуда живу я,
Прав я твоих никогда и чести твоей не затрону.
Ты — король, как и я, над тобой величаться не стану,
Равным владеем мы правом, нам равный почет подобает.
То, за чем мы пришли, что задумали, то мы исполним.
Ныне — прими же своих и взгляни, как мы их почтили».
Это промолвив, ввести приказал он пленника-графа
В пышной одежде, с оружьем, как будто готовым на битву.
Пленников шло вслед за ним девятьсот, ни один из отряда
Не был без новой одежды, и не был никто безоружен.
«Вот они,— молвил король,— те, кого судьба пощадила.
Сами же были они беспощадны; когда победили,
Грабили, жгли и людей убивали коварно и злобно.
Как обращался я с ними и чем отплатил за злодейство,
Сам ты услышишь от них; пусть, вернувшись, тебе порасскажут.
Пусть же теперь, присмирев, к обычаям прежним вернутся,

Пусть земляками опять и верными станут друзьями».
Так был мир заключен и дана взаимная клятва,
Чтобы никто никогда не дерзнул эту клятву нарушить.
Мир заключив, короли в шатры свои возвратились.
Сели со свитой за стол; и великая радость царила;
Все ликовали в тот день, что вернулись друзья невредимы.

[«Младший» король готовит для «старшего» короля и его свиты подарки — драгоценности, диковинных зверей; для его светских спутников — коней и дорогое оружие; для духовенства — много золота. Щедро награждены Руодлиб и его спутники по посольству.]

Все приготовив подарки, король удалился на отдых,
Но приказал известить, когда его гость пробудится.
Сам же велел, отдохнув, чтоб мула ему оседлали,
С малою свитой, верхом, он в лагерь гостя поехал.
Там, спеша, сбежалось к нему немало народа,
Сам же король усадил его рядом с собою любезно.
Младший промолвил: «Меня удостой своим посещеньем,
Скромных подарков моих, я надеюсь, ты не отвергнешь;
Тех, кто приехал с тобой, я тоже к себе приглашаю».
«Так пусть и будет»,— ответил король, и оба расстались.
Старший король пригласил к себе своих приближенных,
Возле себя усадил и такое им дал наставленье
(Было в привычках его, что просьба равнялась приказу):
«Каждый из вас свою честь пусть ценит выше подарков,
Пусть ни один не возьмет того, чем король вас одарит.
Думать не должен никто, что вас привлекает нажива.
Как поступлю я, глядите и так же, как я, поступайте».
Все пошли с королем и приняты были с почетом.
Трижды чаша вина их всех кругом обходила.
Младший король попросил гостей идти за собою.
Он их привел на широкий лужок, обнесенный оградой;
Там стояли столы, а на них громоздились подарки;
Возле в роскошном убранстве стояли на привязи кони,
Были и мулы и много верблюдов огромного роста,
Тридцать онагров стояло, уже укрощенных и смирных:
Львы, наводящие ужас, и подле них леопарды,
Рысь прикована крепко была золотою цепочкой,
Связаны были друг с другом большой павиан и мартышка,
Два близнеца-медвежонка играли в забавные игры,
Пять приру́ченных птиц, человеческой речью владевших:
Ворон, скворец, попугай и сорока с болтливою галкой.
Молвил король: «Это все для тебя, досточтимый владыка,
Эти дары — духовенству, а эти — его подчиненным.

. . . .

Старший король, на подарки взглянув, оценил их высоко.
Молвил дарителю: «Слишком они изобильны и пышны.
Мы не хотим, чтобы ты понес столь тяжелый убыток.

Добрую волю твою принимаю я вместо даренья;
Двух близнецов-медвежат я возьму — они славно играют,
Дочке моей передам от тебя я скворца и сороку;
Но благодарность тебе воздаю, как если бы принял
Все я, но я не хочу, чтоб епископов, графов, придворных
Ты одарял; лишь аббатам, коль хочешь, и скромным монахам
Можешь дарить — я не спорю — тебе это все возместится.
Всю свою жизнь ведь они посвятили всевышнему Богу,
Ночью и днем за тебя молитвы возносят усердно,
То, что подаришь ты им, принесет самому тебе радость.
Сильных же мира сего осыпáть не позволю дарами».
Он умолчал — а быть может, забыл — об епископских служках
Им потихоньку вручили дары, их всех осчастливив.
Против запрета король никого б наградить не решился,
Да и никто бы не взял ни большого, ни малого дара.
Вот поцелуем прощальным уже короли обменялись,
Молвив друг другу «прости»; и оба домой возвратились.
Только успел Руодлиб вернуться к себе, как нежданно
Вестник прибыл к нему с известьем от матери милой.
Радостно принял его Руодлиб, вопрошая: «Скажи мне,
Как моя мать — здорова ль она и как ей живется?»
Вестник ответил: «Жива и здорова; тебе посылает
Это письмо; ты больше поверишь ему, чем рассказу».
Взявши письмо, пригласил к себе Руодлиб грамотея;
Тот, прочитавши, сказал: «Вот, думаю, вкратце в чем дело:
Все, кому ты служил, к тебе теперь благосклонны;
Просим тебя возвратиться, грустим, что тебя потеряли
Мы на столь долгое время; ведь ты удалился в изгнанье;
Сколько вражды и нападок терпел ты всегда непрерывно!
Край свой покинул родной и надолго ушел на чужбину,
Знаем, что даже и там перенес трудов ты немало.
Горько мы сетуем все, всякий раз, как придется собраться
Нам для общих решений, порой — по судебному делу:
Нет никого среди нас, кто мог бы сравняться с тобою,
Дать разумный совет, судить справедливо и честно,
Стать защитой вдовиц и опорой сирот малолетних,
Если стяжатели их угнетают, чиня им обиды;
Жалобно стонут они, этот гнет вынося нестерпимый.
Тех, кто с тобой враждовал, теперь ты уже не увидишь:
Кое-кто умер из них, другие калеками стали;
Нынче нет никого, кто с тобою бы распрю затеял.
Милый, вернись поскорей, мы ждем твоего возвращенья.
Прежде всего мы должны и сами с тобой помириться,
Все возвратить, что у нас заслужил ты верною службой,
Ты ведь, себя не жалея, за нас бросался в опасность».
Ну а в конце твоя мать от себя письмо прилагает:
«Вспомни, мой сын дорогой, о родной своей матери бедной;
Знаешь ведь ты, что, когда ты дом свой покинул, осталась

В нем неутешной она и дважды стала вдовою:
После отца твоего и после тебя, мой родимый.
В дни, что со мною ты был, облегчал ты все мне заботы,
Но ты уехал, и мне остались лишь тяжкие вздохи.
Все ж я решила тогда терпеливо нести что угодно,
Лишь бы тебе удалось в безопасности жить на чужбине,
Лишь бы избавился ты от врагов столь жестоких и мощных.
Ныне конец им пришел — либо сгибли, либо калеки.
Сын мой милый, вернись, положи конец моей скорби!
Ты возвращеньем своим не только сородичам близким
Радость вернешь, но и всем, кто в нашем краю обитает».
Рыцарь все эти слова с великой радостью слушал,
Но материнская речь залила ему очи слезами.
Слух о посланье разнесся повсюду, и лучшему другу
Рыцаря он причинил несказанно безмерное горе,
Да не ему одному; среди всех его подчиненных
Только и толков было о том, как жаль с ним расстаться.
Все говорили, что ввек не видали подобного мужа,
Верности, чести такой и столь безупречного нрава:
Ведь никому он вреда не нанес, но всем был полезен.
Те лишь, кто знал, какие труды он несет ежедневно,
«Диво ль,— сказали,— что здесь ему жизнь показалась нелегкой?
Много ли он заслужил? Живет он совсем небогато:
Пища, одежда — и только, а больше награды не видит.
Служит, однако, он крепкой опорой всему государству».
С лучшим другом своим к королю отправился рыцарь
И, представ перед ним, к нему с мольбой обратился:
«Если б осмелился я, если б знал, что не будешь в обиде
Ты на меня, я б тебе рассказал, что меня угнетает».
«Ну, говори же,— король отвечал,— помогу я охотно».
Рыцарь упал к ногам короля и обнял их, целуя,
После, поднявшись, сказал, запинаясь, со вздохом тяжелым:
«То, что печалит меня, король пусть сам прочитает!»
В руки он дал королю посланье из края родного;
Молвил король, прочитав: «Да, меня это очень печалит.
Если ж исполнят князья все то, что тебе обещают,
Мой совет — возвращайся домой, не раздумывай долго.
Матери ж нежное слово сильнее трогает сердце;
Разве противиться можно тому, чтобы ты к ней вернулся,
В горе утешил ее и на радость сородичам многим,
Жаждущим видеть тебя, в своем доме стал господином?
В путь собирайся, когда пожелаешь; лишь эту неделю
Сроку нам дай, чтоб могли, не спеша, мы обдумать спокойно,
Как нам, тебя наградив, отпустить с достойной оплатой.
В полную меру ты нам послужил и верой и правдой;
И не забвенью предать, а запомнить нам подобает,
Как ты не раз свою жизнь подвергал опасностям грозным,

В битвах сражаясь за нас, за народ и за все государство».
Пред королем преклонился изгнанник; и радостно слышать
Было ему, что заслуги король оценил. Отвечал он:
«Ты за услуги мои меня наградил выше меры.
Да, с той поры, как пришел я к тебе, король досточтимый,
Служба твоя, что ни день, была мне праздником Пасхи.
Здесь получал я всегда и даров, и почета немало,
Как от тебя самого, так от всех, кто тебя окружает».
Дал приказанье король изготовить немедленно чаши,
Чистое взяв серебро,— по краю окружности — в локоть,
Счетом четыре; из них — две глубоких, две плоских, для крышек.
Станут схожи они с караваем печеного хлеба,
Если снаружи покрыть их слоем теста из полбы.
Первую чашу наполнил король ходячей монетой,
Тою, что каждый зовет ювелир «византийским денаром».
Так ее туго набил, чтоб нельзя ни единой монеты
Было вбить молотком и при тряске они не звенели.
Пусть, когда рыцарь вернется домой, он хозяйство поправит,
Тех, кому прежде служил, дарами к себе расположит,
Чтоб, обещанья сдержав, они с ним расплатились по чести.
Чашу вторую король разделил на две разные части:
В первую часть положил он одни золотые монеты;
Их чеканят особо и в яром огне обжигают;
Город Византий им дал свое прозванье и имя.
Вьется по-гречески надпись кругом по краю монеты,
А в середине монеты стоит Господь Вседержитель,
Руку свою возложив на главу повелителя мира.
Должен раздать эти деньги друзьям и сородичам рыцарь,
Чтобы с ним вместе могли отпраздновать день возвращенья
Так, как обычай велит; ведь он в изгнании тяжком
Не повстречался с нуждой, но вернулся с честью и славой.
Золотом первую часть король, наполнив до края,
В часть вторую вложил двенадцать прекрасных застежек:
Восемь — цельнолитых, не свинцом утягченных, не дутых;
Видом подобны двум змеям: их жала друг к другу стремятся,
Но, в поцелуе любовном сливаясь, вреда не наносят.
Прочие были четыре изогнуты в круглые кольца,
Каждое весом в пол-либры; похожи на толстые жилы,
Были не столько красивы они, сколь полезны и ценны.
Пряжкой роскошною царской еще был дополнен подарок.
В глиняной форме, как видно, ее отлили когда-то,
И молоток ювелира ее не касался; шлифовки
Не было видно на ней, но была она цельнолитою;
На середине ее орел вздымал свои крылья,
Шар из кристалла прозрачный он в клюве держал, а в кристалле
Три малюсеньких птички, казалось, летали кругами;

Были они, как живые, готовы к полету и к пенью.
Крепким кольцом золотым был орел по груди охвачен,
Словно лентой широкой оно его обвивало,
Целый талант золотой пошел на его изготовку.
Несколько пряжек король прибавил, более легких:
Вставлено было и в них немало камней драгоценных
Разных цветов — и сверкали они, как звезды на небе,
Около четверти либры была из них каждая весом,
Тонкой прелестной цепочкой была снабжена и замочком,
А на замочке задвижка; она и справа, и слева
Крепко держала замок, ему не давая открыться:
Так, что увидеть нельзя, что хранится под этой задвижкой.
После добавил король к дарам золотой полумесяц
Весом в либру одну; его сделал мастер искусный.
Он по изгибу внутри и снаружи камней разноцветных
Много таких нанизал, какие рождаются в море
В месяце мае всегда и сливаются с золотом чистым,
Если в раковин створки, как надо, его положили.
Сам полумесяц покрыт разноцветной осыпью мелкой,
В ней цветное стекло, и в ней золотые осколки,
Видом похожи они на листки, узелки и на пташек;
Их обжигают в огне, придают им разную форму,
После на камне точильном, смочив, их шлифуют до блеска.
Этот чудеснейший сплав называют «кузнечной эмалью».
Маленьких шариков нить полумесяц сзади скрепляет.
Тихо друг друга касаясь, звенят они сладостным звоном.
Бережно в чашу вложить король велел полумесяц,
Дважды восемь сережек висячих туда же добавил:
Первые пары четыре усыпаны были камнями,
Ярко сверкали на них аметист и берилл драгоценный;
В пары другие камней никаких не вставляли; узоры
Дивные были на них, узелки, сплетенные в сетку;
Так ювелир на стекле золотой рисунок наносит;
Звон издавали подвески серег при малейшем движенье.
Тридцать колец изготовить король приказал напоследок,
Чистое золото взять — и самого высшего рода.
Каждый перстень велел драгоценным камнем украсить,
Вставив в него лигурин, гиацинт с бериллом прекрасным.
Три колечка назначил король для подарка невесте,
Тонких, не очень больших, как женской руке подобает.
Обе наполнились чаши теперь дорогими дарами;
Плотно забив их гвоздями с припаянной крепкой головкой,
Тесто из тонкой муки приготовить и, клею подбавив,
Чаши обмазать король приказал, чтоб никто не пытался
Этот слой отскрести, водой размочить иль разрезать.

Вот и тот день наступил, в который ответ и решенье
Рыцарю верному дать король обещал благосклонно.

Близких придворных созвав, он сказал: «Наш рыцарь приезжий
Хочет вернуться домой; его туда призывают
Те, кто принудил его покинуть землю родную.
Вот послание их; его послушайте сами».
Так он сказал; и письмо им прочел тот, кто грамотой ведал.
После прочтенья письма они все преисполнились скорби.
Как же лишится король, да и все они этого друга?
Верен и предан он был, разумен и доброго нрава.
Дали совет королю удержать его силой иль просьбой,
Дать ему дом и жену, и честью богато осыпать,
Даже сказали: «Ему ведь и графство вполне подобает».
«Нет,— ответил король,— от меня не увидит насилья
Тот, кто ни разу во мне не вызвал ни малого гнева,
Если же гневался я, превращал меня в кроткого агнца.
Так же и в деле любом он всегда был предан и верен.
Все же изгнанье из дома так тяжко его угнетало,
Как не видал никогда я, чтоб кто-нибудь чувствовал так же.
Мы же отпустим его; пусть вернется на родину снова,
Но в благодарность ему мы скажем, что если случится
Снова дома беда, то к нам вернуться он может.
Службу и званье свое у нас он снова получит».
К рыцарю, речь свою кончив, король слугу посылает
И приглашает прийти. Не замедлив, рыцарь явился.
Краткое длилось молчанье, но молвил король благосклонно:
«Я отпускаю тебя, мой милый, совсем неохотно:
Был ты к услугам всегда готов и хорошего нрава,
И за все это, мой друг дорогой, я тебе благодарен.
Нет здесь врагов у тебя, ты всему народу любезен.
Ныне ответь мне по правде, какой ты награды желаешь,
Мой дорогой, от меня? Иль добрый совет, или деньги?»
Рыцарь немного подумал, что будет приличней ответить.
«Я не хочу,— он сказал,— выше мудрости ставить богатство.
Слишком обильный достаток вражду вызывает и козни.
Гонит подчас нищета бедняков к воровству и разбою.
Часто богатство родит в друзьях и сородичах зависть.
Брата враждой зажигает и рушит верности клятвы.
Лучше лишиться богатств, чем утратить рассудок и разум;
А у того, кто в себе возрастит благочестную мудрость,
Будет всегда у него серебра довольно и злата.
Все завоюет разумный, ему не изменит оружье.
Часто, напротив, я помню, видал я немало безумцев,
Что, неразумьем своим потеряв все то, что имели,
Жили в нужде и в грязи, опускаясь все ниже и ниже.
Был им достаток не впрок, он принес им одни лишь несчастья.
Можешь поэтому ты такие мне дать наставленья,
Кои я ввек не забуду, а все сохраню нерушимо;
Будет мне это дороже, чем десять золота фунтов.
Грабить не станут меня, враждовать со мною не будут.

В темных дебрях убить меня не замыслит разбойник.
Пусть в королевской казне сохраняется клад драгоценный,
Бедный же, если здоров и умен,— с него и довольно.
Мне оплаты не надо, вкусить я жажду познанья».
Это услышав, промолвил король: «Пойдем же со мною».
В дальний укрылись покой, никого с собою не взяли.

[Наставления, которые король дает Руодлибу, очень разнохарактерны, некоторые даже несколько смешны. Нельзя верить рыжему человеку, он всегда коварен; нельзя проезжать верхом по засеянному крестьянскому полю; останавливаться на ночевку у старого мужа с молодой женой; давать соседу кобылу, у которой скоро должен родиться жеребенок; слишком часто ходить в гости хотя бы к другу; приближать к себе служанку, даже очень красивую; а если женишься, не надо давать жене над собой власти; не надо вступать в распри со своим начальником; обносить свое поле канавой (люди протопчут дорогу по обе стороны канавы, и часть поля пропадет); надо в пути заходить в церкви, это защитит путника по дороге.]

Кончил король наставленья, умолк и с рыцарем вместе
В зал возвратился и сел на престол. Перед всеми своими
Рыцаря он превознес похвалами за доблесть и разум;
Был ответом ему одобрительный шепот придворных.
Рыцарь им всем благодарность воздал — королю и народу.
Молвил король: «Возвращайся к себе, почетом покрытый,
К матери снова вернись, управляй отцовским наследьем,
Если на родине жить безбедно ты сможешь и если
Те, кому ты служил, свои обещанья исполнят;
Если ж обманут тебя, как много раз уже было,
Можешь и ты обмануть и от службы у них отказаться.
Людям скупым и нечестным ты больше служить не обязан.
Если же в душу твою порой закрадется сомненье,
Жизнь в родимом краю тебе будет тоскливой казаться,
То возвращайся; тебя я приму с таким же приветом,
Как провожаю сейчас,— и слово мое неизменно».
После король по́дал знак слуге, стоявшему рядом,
На ухо что-то шепнул — такой у него был обычай.
Тотчас его казначей принес две сумки, в которых
Были спрятаны хлебы, хранившие много сокровищ;
Тесто из полбы — снаружи, внутри — золотые монеты.
Их вручая, король промолвил: «Мой добрый товарищ,
Я прошу, дорогой, не ломать этот хлеб и не резать
Раньше, чем сядешь один ты за стол с своей матерью милой;
Лишь у нее на глазах разломи ты тот, что поменьше.
Ну, а второй ты разломишь, когда за свадебный ужин
Сядешь с невестой; тогда угостишь и друзей своих близких,
Пусть узнают они, что за вкус у нашего хлеба».
Рыцарю три поцелуя король подарил на прощанье,
С вздохом его отпустил. И рыцарь в слезах удалился.
Шла за ним следом толпа, его провожая с печалью,

Руки жали ему, целовали его со слезами.
Дальше его провожал лишь самый близкий приятель.
Тот щитоносец, что встарь с небольшой поклажей приехал,
Вел он теперь под уздцы тяжело нагруженную лошадь.
Тяжкое горе снедало друзей, что уж скоро разлука,
Что лишь короткое время побыть им друг с другом придется,
Целых три дня по пути они проводили в беседах,
Вечером — ужин у них едва к полнóчи кончался.
В вечер последний пораньше легли, чтоб заснуть, но в постелях
Долго лежали, разувшись, и сна ожидали, но тайно
Слезы в молчании лили, и каждый вздыхал, отвернувшись,
Больше, однако, чем рыцарь, скорбел королевский охотник:
Он, как ребенок, рыдал, теряя столь верного друга.
Ведать не мог, приведется ль им снова встретиться в жизни.
Он бы хотел провести всю ночь, не заснув и рыдая,
Если б печальное сердце ему не сморила дремота.

Вот забрезжил рассвет, и оба разом проснулись,
Встали, оделись, поели, взнуздали коней и в дорогу
Снова пустились, пока не достигли границ государства.
Здесь завершался совместный их путь и пришлось расставаться.
Слез не в силах сдержать, едва промолвил изгнанник:
«Друг мой, прошу я, скажи королю, что всем своим сердцем
Я молюсь за него и служить всегда ему буду,
Так же и близких его любить я буду, как душу».
Горькие слезы пролив, обменялись они поцелуем,
Слово «прости» и не раз, и не два они повторяли,
Но, наконец, разлучились, и каждый к себе возвратился.

Лист 12

Мальчик на вишне высокой сидел, и вишенок много
Вкруг висело, но их он как будто и вовсе не видел,
Первым хотел он увидеть, когда господин возвратится.
Над головою его сидела галка ручная,
Знать хотелось бы ей, почему не срывает он вишен,
И, причину раскрыв, госпоже об этом поведать.
Мальчик же больше всего увидеть хотел господина,
Часто твердил: «Руодлиб, господин мой, вернись поскорее!»
Это запомнила галка; к своей госпоже полетела,
Ей сказала: «Прошу, что сейчас скажу я, послушай!»
«Ну говори!» — «Руодлиб, господин мой, вернись поскорее!»
Слуги, хотя увидали — госпожа их тяжко вздохнула,—
Все ж рассмеялись, заметив, как быстро учится галка.
Мать же сказала: «Лети-ка назад и, на ветке усевшись,
Все, что он скажет, запомни и крикни, если он крикнет».
Галка, над мальчиком сидя, ловила каждое слово.
Мальчик же ждал одного — чтоб скорей господин возвратился,
Взгляды свои напрягал, и когда из леса густого

Конный отряд появился, то он его сразу увидел.
Первым ехал племянник, за ним — его щитоносец.
Дальше — сам господин, со своим постоянным слугою.
Мальчик громко вскричал: «Господин уже близко, ликуйте!»

Лист 13

Рыцарь после купанья за стол сел в свежей одежде,
Но не хотел он занять, как хозяин, первое место,
Справа от матери сел, как прилично скромному гостю,
Ей предоставив охотно за трапезой ведать порядком.
Все, что она подавала ему, принимал он с почтеньем.
Резала ломтики хлеба она и всем раздавала,
Кушанья разные всем подавать велела особо.
Кубки с вином рассылала иль чаши с брагой медовой.
Рядом сидел с Руодлибом его сородич-племянник.
Хлеб меж собою делили и ели из общего блюда,
Также из чаши вино они оба пили, меняясь.
Матери спутницей верной была ее галка ручная,
Если ей хлебные крошки давали, хватала сейчас же,
По столу важно ходила и ловко прыгала боком.
Съедено было немало, немало и выпито кубков.
Воду велела подать госпожа; и стольничий подал
Каждому гостю ее; по столам по чину налили,
И виночерпии всех обнесли последнею чашей.
После убрали столы и сложили скатерти. Гости,
Весело пир завершив, госпоже благодарность воздали.
Рады, сказали они, что живым и здоровым вернулся
Сын — утешенье ее — и скорбеть ей больше не надо,
Как приходилось доселе, лишенной поддержки сыновней.
Быстро весть разнеслась, и повсюду стало известно,
Что Руодлиб вернулся домой — и с немалым богатством.
Кончился пир; и, когда ему показалось уместным,
С матерью милой тайком Руодлиб удалился в покои.
Дал щитоносцу приказ принести тяжелую торбу;
Много вещей дорогих, ее развязавши, он вынул;
Много мехов и одежд и других драгоценных подарков,—
Все, что во время изгнанья за десять лет приобрел он.
После велел он ему принести и дорожные сумки
Хлебы достать из муки — как сказали ему — африканской.
Матери их показал и молвил с веселою шуткой:
«Мать, посмотри-ка, что я заработал за долгую службу.
Хлеб этот дал мне король, не позволив ломать по дороге».
Мать предложила ему: «Позовем же слуг наших верных,
Пусть они так же, как мы, попробуют хлеб африканский».
Сын возразил: «Нет, пожалуй, мы лучше их сами разрежем».
Вынул свой нож Руодлиб, чтобы хлеб нарезать ломтями,
Вдруг увидел, что там чаша сквозь хлеб серебром заблестела;
Тесто сухое соскреб; засверкала она еще ярче.

Три гвоздя он увидел, сцеплявшие накрепко чаши,
Быстро головки гвоздей отделил он напильником острым,
Чаши одну от другой отцепил; золотые монеты
В первой увидел; так плотно лежали — одной не прибавишь!
Был Руодлиб восхищен и Богу воздал благодарность.
Медлить он больше не стал, взял в руки чашу вторую,
Тесто из полбы соскреб; распилив все гвозди, увидел
Гору монет и сокровищ, наполнивших чашу до края.
Был поражен несказанно; воскликнула мать в удивленье;
Хоть по привычке вздохнула, но сердце ее ликовало,
И, прослезившись, она Христа восхвалила в молитве;
Сына он ей возвратил, изобильем осыпав и счастьем.
Рыцарь же на землю пал и к земле приложился устами,
Словно к ногам короля своего, к ней приник поцелуем.
Хлынули слезы рекою, ему лицо заливая.
«Господи! — стал он молиться.— Кто может сравниться с тобою?
Был человек я ничтожный и жалкий; но ты меня принял
И в милосердье своем удостоил богатства и чести.
Не вспомянув о проступках моих, тебя оскорблявших,
Ныне молю я, не раньше пошли ко мне смерть, чем увижу
Снова того, к кому я пришел в нищете и печали;
Он по воле твоей меня приютил милосердно,
Дал участвовать мне во многих житейских усладах,
Десять лет бедняка на своей удерживал службе,
Так возвеличив меня, что отныне могу я в почете
Жизнь мою проводить, если буду я мудр и разумен».
Рыцарь и с ним его мать любовались долго дарами;
Чаши закрыли потом, насколько могли, осторожно.
Взяли с собой кое-что из вещей, привезенных в подарок,
И прибежали, на зов их спеша, их младшие слуги.

Отлох Эммерамский

Биография Отлоха — монаха из монастыря св. Эммерама в Регенсбурге — достаточно типична для средневекового латинского христианского писателя.

Он родился ок. 1010 г. в Фрейзингенском аббатстве и получил свое начальное образование в монастыре Тегернзее. Четырнадцатилетним мальчиком он был отдан послушником в монастырь Герсфельд для усовершенствования в науках. Там он с такой самоотверженностью отдался учению, что чуть не потерял зрение. Позднее, став уже известным писателем, он, как было принято в то время, подарил этому монастырю две свои книги.

Из Герсфельда он возвратился к себе во Фрейзингенское аббатство, а оттуда, поссорившись с аббатом Веринхаром, перебрался в Регенсбург, где в монастыре св. Эммерама рассчитывал найти хорошую библиотеку и образованное духовенство. Там он через некоторое время дает монашеский обет, решившись на этот шаг не без колебаний.

История этого обращения, выразительно рассказанная Отлохом в его «Книге видений»,— традиционна и представляет собой общее место в биографиях латинских христианских писателей. Она отражает общую закономерность в их образовании, сохраняющуюся на протяжении нескольких веков: к изучению Священного писания бóльшая часть латинских христианских писателей приходила, освоив в той или иной мере богатства литературы классической древности.

По собственному признанию Отлоха, он до тех пор усердно предавался чтению классиков, пока однажды не заболел, чрезмерно увлекшись чтением Лукана. Несмотря на последовавшее затем страшное видение и повторяющиеся приступы тяжелой болезни, он продолжал читать Лукана и не решался окончательно покинуть мир. Наконец, все усиливающаяся болезнь, по его словам, убедила его в том, что бог хочет его обращения, и он попросил монахов монастыря св. Эммерама принять его в свое братство. После многих возражений его нашли готовым к этому шагу, и в 1032 г. он становится монахом.

В монастыре скоро оценили его эрудицию, и хотя он не достиг еще нужного для этого возраста, его сделали школьным учителем. Может быть, этот факт, помимо всего, наложил отпечаток на его сочинения, в которых дает о себе знать дидактическая тенденция. Все последующие годы до самой своей смерти он, дослужившись до деканства, почти постоянно живет в монастыре св. Эммерама, совершив лишь два путешествия в Фульду — в 1054 и 1062 гг. Второе пребывание Отлоха в Фульде длилось четыре года и было чрезвычайно для него

плодотворным. Здесь он написал свою «Книгу видений», в которой он, как и в «Книге об искушениях», в назидание молодым рассказывает о своих переживаниях юных лет, обнаруживая при этом весьма чувствительную натуру и тонкую душевную организацию. Здесь же он написал новую биографию Бонифация и начал составлять обширное собрание пословиц, предназначенное для учебных целей. Возвращаясь в Регенсбург, он задержался на год в Аморбахе, где написал проповедь «Quomodo legendum sit in rebus visibilis». Последние годы в монастыре св. Эммерама он провел в писательской работе. Умер Отлох вскоре после 1070 г.

Одним из основных его сочинений считается автобиографическая «Книга об искушениях, переменчивой судьбе и сочинениях». Личные переживания с возрастом приобретают для писателя все бо́льшую важность, и у него появляется желание поведать потомству о своей внутренней жизни, о главных духовных битвах, дабы дать урок молодым и прославить себя. В первой части книги «Об искушениях» Отлох подробно рассказывает о том, каким искушениям он подвергался со стороны дьявола уже после вступления в монастырь и как он победоносно их преодолел. Вторая часть этого сочинения начинается с заявления о том, что об искушениях он поведал для того, чтобы молодые монахи знали, как можно против них бороться с помощью Священного писания. Затем он дает подробный хронологический отчет о своих работах, объясняя причины их возникновения. Здесь же, не без хвастовства, он рассказывает о том, как рано он научился писать, как хорошо писал и какие из написанных им книг он подарил разным монастырям и лицам.

Интересной работой Отлоха является составленный им большой сборник пословиц. Это уже не первая в христианской литературе, начиная с X в., попытка заменить языческий учебный материал христианским. По времени такой ближайшей к Отлоху работой был сборник изречений Випона. По словам самого Отлоха, на мысль составить подобную книгу его натолкнул сборник изречений, приписываемый Сенеке. Как и в сборнике мнимого Сенеки, в сборнике Отлоха материал расположен в алфавитном порядке и разделен на 20 глав в соответствии с двадцатью буквами алфавита. Сборник содержит более двух тысяч пословиц. Приблизительно треть изречений взята из книг Священного писания. Бо́льшая часть пословиц — пословицы прозаические. Однако каждая глава кончается небольшим количеством стихотворных пословиц, и среди них немало стихов из дистихов Катона, из Горация и Ювенала, от которых Отлох открещивался в предисловии и без которых все-таки не обошелся. Надо сказать, что и в прозаической небиблейской части немало совпадений со сборником пословиц, теперь известным под именем Публилия Сира.

Эта работа Отлоха в свою очередь была многократно переписана и существовала в извлечениях. Ряд сочинений Отлоха указывает на то, что он владел определенным интересом к философской теории и философским проблемам. Любопытно, что свои сочинения он писал не сам, а диктовал и только делал к ним собственноручные приписки.

КНИГА ОБ ИСКУШЕНИЯХ, ПЕРЕМЕНЧИВОЙ СУДЬБЕ И СОЧИНЕНИЯХ

Жил некий, погрязший в разных пороках, служитель церкви, который в ответ на частые увещевания Господа исправиться обратился наконец и, не сказав ни слова своим друзьям, принял монашеский обет. В том месте, где он стал монахом, он встретил всяких людей: одни из них читали языческие книги, другие — Священное писание, сам же он взял за образец тех, кто, как он видел, успешно предается божественному чтению. Но чем чаще он присутствовал на этих чтениях, тем невыносимее была для него тяжесть вселившихся в него дьявольских искушений.

Но он, надеясь на Господа и вручая себя милости божьей, с тем же рвением, с каким начал, настойчиво продолжал читать священные книги. Много лет спустя, избавившись от этой напасти и размышляя о том, какую пользу может принести рассказ о том, что он претерпел, и ему самому и другим, он написал не только о выпавших на его долю тяготах искушения, но и о тех изречениях из Священного писания, которые, возникая у него в уме как бы по божественному вдохновению, служили ему щитом против дьявольских обольщений. Так он стал писать о тяготах искушений:

«Я перенес различные насмешки сатаны во время сна и бодрствования и все их, конечно, разоблачить не смогу, но о некоторых, осевших в памяти, я, по возможности, хочу рассказать. Я думаю, что поведать об обольщениях, которые я терпел и до принятия монашества и долго после, следует прежде всего потому, что само желание дать обет было у меня, конечно, слишком неожиданным и несерьезным. Ведь это и против Писания, где говорится: «Без рассуждения не делай ничего» (Сирах., 32, 24). Я же принял решение внезапно, со всем пылом юности, без совета родных и друзей; так что если какой-нибудь молодой человек столь же поспешно даст опасный обет — это будет слишком опрометчиво. Гораздо лучше подождать до более зрелого возраста и тогда, наконец, принять обращение как естественное и желанное. Поспешное же решение и подобные ему поступки внушил мне дьявол под видом совета и сочувствия. Когда же нечестивый соблазнитель своими проделками не смог достичь осуществления своего желания и завладеть мною полностью, так как я, благодаря Богу, противился ему, он подстрекнул меня к еще большему беспутству. С привычной ловкостью он старался довести меня до отчаяния, внушая, правда, впустую, что если я теперь захочу вернуться, то, запутавшись в низких поступках, стану ненавистен не только своим начальникам, но и множеству других людей, а также своим родителям и знакомым.

«Уж не думаешь ли ты,— говорил он,— что человек, погрязший в таких страшных грехах, может оказаться достойным предстать перед Богом, самым занятым судьей, когда в Писании сказано:

«праведник едва спасается» (I Петра, 4, 18). Следовательно, не желай того, чего не следует желать, а лучше обрати свое усердие на то, чего ты можешь достичь тотчас же. Если же дело обстоит так, как упрямо думаешь ты, считая, что у всех есть равная возможность и что царства небесного может достичь как праведник, так и грешник, то светлейший апостол Павел ни за что не сказал бы: «ибо не во всех вера» (II Фессал., 3, 2). И еще раз не сказал бы то же самое: «но не все послушались благовествования» (К римл., 10, 16). И сам Спаситель и правдивейший автор дал своим ученикам и всему миру такие первоосновы: «Кто может вместить, да вместит» (От Матфея, 19, 12). Эта сентенция, без сомнения, означает, что не всякий способен на доброе».

Пока меня терзали подобные искушения, какое, как ты думаешь, было у меня тогда состояние духа? Ничего другого мне, конечно, не оставалось, кроме слез, и точно так, как сказано у Псалмопевца: «Слезы мои были для меня хлебом — день и ночь» (Пс. 41, 4). Признаюсь из самой глубины сердца, что только благодаря милости Господа можно преодолеть такое мученье.

После того как коварный злоумышленник не смог заставить меня смириться с отчаянием, он пытался с помощью других своих лживых доводов вызвать мое недовольство божественным правосудием и толкнуть меня на богохульство; и к тому же он старался это сделать, не порицая и не запугивая меня, а притворяясь, будто жалеет меня и сочувствует моей скорби, внушая мне при этом размышления такого рода: «О бедный юноша, его печали не внял ни один человек! Да и кто из людей способен постичь твою глубокую скорбь? Ты не должен винить их за это, так как люди не способны помочь в том, чего они не могут знать. Только Господь знает все. Поэтому он один в ответе за все, что представляется нелепым и неустроенным. Но если он все знает и все может, почему он не поможет тебе в твоей беде? Ведь ты оставил мир ради любви к нему и уже давно терпишь невыносимые мученья? Каков же смысл этих страданий, на которые он непрерывно по-разному обрекает тех, кто обращается к нему с мольбой? Сделай то, что ты намеревался сделать; оставь пустые мольбы и печаль, так как он продолжает упорствовать в той жестокости, которую до сих пор проявлял. Слишком глупо вымаливать просьбами то, что, как ты знаешь, невозможно вымолить. Однако не бойся, так как он никогда не позволит погибнуть всем из-за несправедливости одного владыки. Но почему всегда наказание обрушивается на какого-нибудь одного человека? Кто из смертных может прожить без греха от начала и до конца жизни? Разве в старости можно обладать невинностью ребенка? Как учит Христос, говоря: «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царство небесное» (От Матфея, 18, 3). Неужели же не пугает тебя угроза, которая содержится в словах пророка Иезекииля: «Душа, которая согрешила, она умрет. Ибо умрет всякий, кто грешит» (Иезек., 18, 20). Ведь ни один человек не спасется,

так как никто не может скрыться от греха. А разве не привлекает твое внимание замечательная мысль, которую несколько позже высказал тот же самый пророк? Он сказал: «Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, все добрые дела его не припомнятся» (Иезек., 18, 24). По этой причине Иуда — предатель Господа, хотя он совершил только одно это предательство, был осужден после многих праведных дел. Обрати внимание и на два других важных примера того же рода, которые могут подтвердить и уточнить нашу мысль. В самом деле, в книге Исхода можно прочесть, как Господь говорит Моисею: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею» (Исход, 33, 19). И опять-таки в Евангелии записано, как некто, желая стать учеником Господа и сказав: «Я последую за тобой, куда бы ты ни пошел» (От Луки, 9,57), получил от него ответ: «Лисы имеют норы, а птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имеет, где приклонить голову» (От Матфея, 8, 20). О беспристрастная строгость, о достойная сожаления беспристрастность, подвластная лишь воле своих судей и отвергающая ищущих у нее защиты. Такой порядок, конечно, невыносим и, по справедливости, не может никому нравиться. Подобного рода искушения, которые с очевидностью доказывают, какой опасности подвергался мой дух, долго смущали мои мысли.

КНИГА ПОСЛОВИЦ

Предисловие

Когда я прочел недавно составленное в алфавитном порядке собрание пословиц, которое приписывают Сенеке, то сначала подивился тому, что неверующий мог обладать той мудростью, какая открылась мне в некоторых из его изречений. Затем у меня возникло сильное желание последовать примеру его занятий и составить подобный же сборник изречений, выбрав их как из языческих книг, так и из Священного писания и взяв также кое-какие из наших пословиц, подходящие для назидания верующих.

Ведь если даже Сенека, не имея ни веры, ни надежды на достижение вечной жизни, а довольствовавшийся лишь честным поведением в этой, старался и сам исправиться и подвигнуть к исправлению других, то насколько больше могу сделать я, если я верю, что Бог вездесущ, что он обещает вечную жизнь любящим его, и знаю сказанное всем: «и слышавший да скажет: прииди!» (Апок., 22,17) и «взывай громко, не удерживайся... и укажи народу моему на беззакония его...» (Исайя, 58, 1).

И согласно с евангельской притчей о том, как отец семейства, ссудив одних — пятью талантами, других — двумя, а третьих — одним, сказал при этом: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» (От Луки, 19,13), так и я должен привлечь кого-нибудь к устроению душевному с помощью уделенных мне даров знания. И как должно быть приятно каждому постоянно держать в своем

уме и памяти некоторые из этих коротеньких изречений, способствующих исправлению, когда мы знаем, что отъявленный злодей и преступник вымолил у Господа прощение всех своих грехов немногими словами: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие твое!» (От Луки, 23, 42). Я спрашиваю, разве того, кто стремится получить от Бога дар разумения, невозможно научить так, словно он им владел, если он беспрестанно повторяет стих: «Разум верный у всех, исполняющих заповеди его» (Пс. 110, 10). Во всяком случае, если он постигнет смысл этих слов и поверит, что в них — истина, то и этого ему будет достаточно для спасения. Ибо они учат, что, делая добро, которое он в состоянии понять, он обретает для себя дальнейшее разумение. Разве не следует во всех отношениях одобрить такое учение и обетование?

Подобную же науку можно найти во многих сентенциях, которые я здесь привел. А небольшое изречение в прологе я упомянул для того, чтобы вложить в душу читателя искреннее стремление прочесть не только те пословицы, которые я здесь собрал, но и все изречения Священного писания. Ибо эти священные слова не принесут спасения тому, кто читает и слушает их без сердечного участия. Поэтому и Господь наш в Евангелии часто напоминает своим ученикам: «Имеющий уши, да слышит» (От Луки, 14, 35). Тот, у кого есть горячее стремление, следуя божественным предписаниям, делать добро, которое он постиг, пусть слушает мои поучения, в противном случае мои слова не принесут ему пользы, даже если он их услышит. Любой маленький ученик при желании может с легкостью выучить собранные здесь пословицы, ибо они гораздо короче и понятнее стихов из басен Авиана и полезнее некоторых изречений Катона; а те и другие без колебаний обычно читают мальчикам почти все учителя на первых уроках, тогда как верующим в Христа, как маленьким, так и постарше, прежде всего должны быть изложены основы христианского, а не языческого учения, с тем чтобы они, усвоив их до некоторой степени, безопаснее могли учиться грамматике по языческим книгам.

В самом деле, хотя мальчики и неспособны различать добро и зло, зло обычно пристает к ним легче и укрепляется в них крепче, чем добро. Поэтому тот, кто хочет, чтобы обучение имело хороший исход, пусть позаботится о хорошем вступлении, т. е. о начале обучения, и пусть знает, что трудно человеку расстаться со злом, если он связан с ним долгой привычкой. Кроме того, об этом надо помнить и потому, что если Бог призреет с небес на детей человеческих, чтобы видеть, есть ли на земле разумеющий, ищущий Бога, то чтобы он знал, какое внимание уделяют учителя обучению учеников; направляют ли они их стремление к достижению славы земной или славы духовной. Возьмите это на заметку равно и вы, ученики, и вы, учителя.

Прочтите это, прошу вас, мальчики и юноши, с сердечным участием.

I Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю (Пс. 123, 8).

Душа, которая согрешила, она умрет (Иезек., 18, 4).

Душа праведника — обитель мудрости.

Отборное серебро — язык праведного (Притчи Сол., 10, 20).

Послушает мудрый и умножит познания (Притчи Сол., 1, 5).

Кто дружится с глупыми — развратится (Притчи Сол., 13, 2).

Трудно искать золото в грязи.

Друг познается в беде.

Большая радость достигается лишь ценою больших страданий.

Любить — удел сынов, страшиться — удел рабов.

Скупой лишь раз поступает правильно — когда умирает.

Скупому всегда не хватает и того, что он имеет, и того, чего он не имеет.

Скупость творин ненавистных, щедрость — знаменитых.

И дурные, и хорошие дела начинаются с малого, но со временем и те, и другие становятся больше.

Тот к смерти спешит, кто поспешно о чем-нибудь судит и в ком царствует какой-нибудь порок.

II Блажен, кто помышлет о бедном. В день бедствия избавит его Господь! (Пс. 40, 2).

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (От Матфея, 5, 6).

Всякая злость мала в сравнении со злостью жены (Сирах., 25, 21)

Праведно говорить и нечестиво жить значит казнить самого себя.

Блаженнее давать, нежели принимать.

Лучше всех войн та война, когда дух противится плоти.

Тот храбрый воин, кто сможет победить самого себя.

Жестокое животное — сердце порочной женщины.

III Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь (Пс. 18. 2).

С чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его (Пс. 17, 28).

Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых — истребит (Пс. 144, 20).

Небо и земля прейдут, но слова Бога не прейдут (От Матфея, 24, 35).

Будь неторопливым и твердым, как требует дело.

Только небо меняют, не душу: кто за море едет [1].

Жадность к монете растет соответственно росту богатства [2].

Прежде исправиться сам должен тот, кто других поучает.

Если болит голова, страдает с нею и тело.

Быстро преступная алчность ломает все лучшее в мире [3].

IV Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его (Пс. 10, 5).
Уклоняйся от зла и делай добро (Пс. 36, 27).
Давайте, и вам да воздастся.
Тот уж полдела свершил, кто начал: осмелься быть мудрым [4].
Часто ученого может добру научить неученый.
Слов понапрасну не трать, говоря о делах ненадежных [5].

V Высок над всеми народами Господь; над небесами слава его (Пс. 112, 4).
Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби (От Матфея, 10, 16).
От избытка сердца говорят уста (От Матфея, 12, 34).
Мальчик познается по усердию своему.
Знаний лишенный вечно живет во тьме непроглядной.

VI Верен Господь во всех словах своих и чист во всех делах своих.
Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы (Притчи Сол., 31, 31).
Вера, если не имеет дел, мертва (Посл. Иак., 2, 17).
Напрасна забота о спасении тела, если одновременно не помышлять и о спасении души.
Счастлив, кто обрести сумеет покой долговечный.
Самый испытанный ум бывает повержен неправедным словом.

VII Вкусите, и увидете, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него (Пс. 33, 9).
Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих (Притчи Сол., 27, 3).
Чистой радости нет нигде на земле.

VIII Дни человека, как трава: как цвет полевой, так он цветет (Пс. 102, 15).
Человек видит лицо, Бог — сердце.
Человек рожден для труда, птица — для полета.
Человеку свойственно грешить, дьяволу — способствовать ему в этих грехах.
Бояться людей больше, чем Бога, не свойственно верующим во Христа.
Довольно часто доныне последние в первые метят.

IX Начало мудрости — страх Господень (Пс. 110, 10).
Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои (Пс. 118, 137).
Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане (Пс. 92, 13).

Признание зла — есть начало добра.
Хрупкое человеческое правосудие скорее отпускает грехи, чем укрепляет добродетели.
Истинная безвредность состоит в том, чтобы не вредить ни себе, ни другим.
Деньги бывают царем иль рабом для того, кто скопил их [6].
Сохнет завистник, когда у другого он видит обилье [7].
Гнев омрачает наш разум и истину видеть мешает [8].

X Следует не вымогать любовь, а добиваться ее с помощью благодеяний.
Любовь покрывает множество грехов.

XI Да веселится сердце ищущих Господа (Пс. 104, 3).
Широк и пространен путь, ведущий к смерти.
Язык мудрецов украшает науку.
Язык миротворца — дерево жизни.
Да похвалят тебя чужие, а не твои уста.
Светильник тела — глаза; свет ума — мудрость духовная.
Упорный труд все преодолевает.
Юноша дерзкий нуждается часто в наставлениях наших.
Вечный свет благочестным, и вечная тьма нечестивым.

XII Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим (Пс. 146. 5).
Милости Господа полна земля.
Ужасна смерть грешника, и тот, кто ненавидит праведника, совершает проступок.
Лучше покорность, чем жертвы.
Лучше жестокий мужчина, чем услужливая женщина.
Музыка в минуту скорби — назойливый рассказ.
Лучше идти к дому печали, чем к дому веселья.
Лучше почетное поражение, чем позорная победа.
Трудно сраженье, в котором юнец свою плоть побеждает.

XIII Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет (Пс. 1, 6).
Не уподобляйтесь коню и мулу, у которых нет разума.
Никто не благ, как только один Бог (От Матфея, 19, 17).
Никто не может служить двум господам.
Не может хорошее дерево давать плохие плоды, а плохое — хорошие.
Не мила похвала в устах грешника.
Не медли обратиться к Господу.
Ничто на земле не бывает без причины.
Никто не грешит опаснее, чем тот, кто защищает грех.
Тот сам себе отказывает, кто стремится к недостижимому.
Стоит похвал не знающий много, а честно живущий.
Вовсе не грешны глаза, если ум — господин над глазами.

XIV Очи Господни обращены на праведников, и уши его — к воплю их (Пс. 33, 16).
Для верующих нет невозможного.
Всякий, делающий грех, есть раб греха (От Иоанна, 8, 34).
Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (От Матфея 3, 10).
Всякому делу — свое время.
Без рассуждений не делай ничего, а сделав, не раскаивайся.
Все позволено, но не все достижимо.
Жизнь всякого неверующего грешна.
Праздность враждебна природе.
Всякий день надо рассматривать как последний.

XV Близок Господь ко всем, призывающим его в истине (Пс. 145, 18).
Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Дурные исправляются с трудом.
Сильный и муки терпит сильные.
Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели (I посл. Тим., 5, 20).
Сытый желудок с легкостью рассуждает о посте.
Нужно повелевать деньгами, а не повиноваться им.

XVI Любящие Господа, ненавидьте зло (Пс. 96, 10).
Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою (Притчи Сол., 13, 3).
Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет (II Коринф., 9, 6).
Кто богат? Тот, кто ничего не желает. А кто беден? Жадный.
Тот, кто себя не щадит, и других щадить не умеет.
Кто тебе много дает, от тебя ожидает того же.

XVII Предай Господу путь твой и уповай на него, и он свершит (Пс. 36, 5).
И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль (Притчи Сол., 14, 13).
Кроткий ответ отвращает гнев (Притчи Сол., 15, 1).
Корень всех зол есть сребролюбие (I посл. Тим., 6, 10).
Благочестивый человек быстро гневается и легко успокаивается.
Уменье обращаться с животным есть искусство из искусств.
Вера дается редкому человеку, горе же, увы, всякому.

XVIII Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом (Пс. 2, 11).
Да будет Господу слава вовеки (Пс. 103, 31).
Если рука твоя и нога соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя (От Матфея, 18, 8).

У мудрого глаза его — в голове его (Екклес., 2, 14).
Глупого не исправишь словами.
Мудрый постоянен, как солнце, глупый изменчив, как луна.
Чаще треплет вихрь великаны-сосны [9].
Жадный всегда ведь в нужде, так предел полагай вожделеньям [10].
Злато дороже сребра, но доблесть дороже и злата.

Слово даруется всем, душевная мудрость — немногим.

XIX Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе и тебе воздастся обет в Иерусалиме (Пс. 64, 2).
Вожделенное сокровище почиет во взоре мудреца.
Глупый выставляет напоказ все свои мысли, мудрый же медлит и бережет их на будущее.
Время всякой вещи под небом (Екклес., 3, 1).
Лживый свидетель не избежит наказанья.
Позор, когда тот, кто не умеет управлять своей жизнью, берется судить о чужой.
Лучше вовсе остаться без крова, чем кров иметь ненавистный.
Знай, что ты сам заболел, если в каждом видишь больного.

XX Все пути Господа — милость и истина к хранящим завет его и откровения его (Пс. 24, 10).
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (От Матфея, 26, 41).
Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; сын же человеческий не имеет, где приклонить голову (От Матфея, 8, 20).
Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (От Матфея, 6, 21).
Вино и женщины делают отступниками даже мудрых.
Где высокомерие, там и обида.
Горе одинокому, так как некому будет поддержать его, если с ним случится беда.
Доброе слово умножает число друзей и укрощает врагов.
Муж состоит скорее из силы духа, чем тела.
Светит как солнце муж, других опекающий мудро.

Эккехард IV

Эккехард IV родился в 980 г. в Эльзасе. Он рано пришел в Санкт-Галленский монастырь. Одним из его учителей был Ноткер Лабеон, научивший его писать стихи на церковные сюжеты. После смерти Ноткера (в 1022 г.) Эккехард уехал в Майнц, где был учителем в соборной школе. Там по предложению архиепископа Арибона он стилистически исправил латинские стихи поэмы Геральда «Вальтарий». В 1034 г. возвратился в Санкт-Галленский монастырь, где и умер в 1060 г.

Из сочинений Эккехарда известны: «Liber benedictionum» — коллекция поэм и песнопений для церковных торжеств и в честь святых монастыря, эпитафия Арибону, написанная в 1031 г., и «История Санкт-Галленского монастыря» («Casus Sancti Galli»), написанная по просьбе собратьев по монастырю как продолжение хроники Ратперта, законченной им на 883 годе. Эккехард изложил события из жизни монастыря дальше, до 973 г. Начинается книга со времени Саломона III и кончается последним годом правления Оттона I. События, заключенные в этих пределах времени, размещены в книге без соблюдения строгой хронологической последовательности и во многом лишены исторической достоверности. Ведь главным источником сочинения была устная монастырская традиция и рассказы очевидцев. Тем не менее сочинение чрезвычайно своеобразно и любопытно как образец, едва ли не единственный в это время, бытописательной литературы. Главные его достоинства — непринужденность изложения, жизненность образов, наглядность и красочность описания, богатство содержания. Эккехард рисует самые разнообразные картины культурно-бытовой жизни монастыря, приводит любопытные детали быта и нравов обитателей монастыря, рассказывает о буднях и праздниках, об обучении в монастырской школе, о приемах знатных гостей, о забавных происшествиях местного характера и о событиях исторических (например, о вторжении в монастырь венгров), о днях процветания монастыря и о случившихся там несчастиях (среди которых был, например, пожар в 937 г.).

Примечательна удивительная жизненность характеров некоторых героев книги: аббатов и монахов, учителей и учеников, например Ноткера, Ратперта, Туотилона, о которых Эккехард говорит с величайшим почтением. Но рядом с выдающимися монахами рисует Эккехард и самых простых, порой недостойных — лицемерных, тупых, заносчивых, хитрых (таких, как Синдульф или Сандрат), которых он осуждает и над кем посмеивается (Герибальд). Юмор — неотъемлемая черта таланта Эккехарда и его истинное украшение, так же как и

умело примененный живой диалог героев. Сочинение иллюстрировано цитатами, сравнениями и сентенциями из Библии и античных авторов: Вергилия, Цицерона, Саллюстия, Квинтилиана и др. Главный элемент сочинения Эккехарда — анекдот, а не исторически верный рассказ, и в этом его недостаток как исторического источника, но и его достоинство, обеспечивающее ему литературную неповторимость.

Эккехард в своем сочинении не касается современности, и потому уверенно судить о его взглядах на жизнь и его отношениях к различным злободневным вопросам невозможно. И все же сама эта обращенность в прошлое, прославление предреформенных времен блеска и процветания монастыря, по-видимому, скрывает скептическое отношение Эккехарда к современности, неприятие им новшеств реформы, проводимой в его время аббатом Норпертом (1034—1072), «под управлением которого мы теперь живем, не так, как мы этого якобы хотим, но так, как можем»,— говорит Эккехард в предисловии к книге.

Недостаток сочинения Эккехарда в неясности его языка, что вызвано сильной риторической окрашенностью стиля, изобилием стилистических фигур. Впрочем, по утверждению исследователей стиля Эккехарда, его затемненность — это художественная манера, она предумышленна и даже лежит в основе всего сочинения, являясь риторическим искусством. В латинском языке Эккехарда встречаются тевтонизмы, а то и целые немецкие выражения. Но ценность Эккехарда, как одного из лучших рассказчиков средневековья, остается неоспоримой.

ИСТОРИЯ САНКТ-ГАЛЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

[Ноткер, Ратперт и Туотилон]

33. Я начинаю общий рассказ о Ноткере[1], Ратперте и Туотилоне[2], учениках Изо и Марцелла[3], ибо у них, несомненно, было одно сердце и одна душа, как мы слышали это от отцов, словно трое составляли одно целое. Основательно обучившись у Изо божественным вещам, перешли они, как я уже сказал, к Марцеллу. А он, владеющий знанием божественных вещей, равно как и человеческих, направил их к изучению семи свободных искусств, особенно же к музыке. И поскольку это искусство естественнее других и хотя труднее осваивается, но в применении доставляет истинное наслаждение, то овладели они им в конце концов настолько, что это проявилось в некоторых соченениях, о которых я уже упоминал недавно[4]. Но хоть эти трое и были единодушны в их стремлениях, по натуре, как это случается, меж собой различались. Ноткер — телом, но не духом, хилый, голосом, но не в душе, заика, в божественных делах возвышенный, в неблагоприятных обстоятельствах кроткий, ко всему снисходительный, был строгим блюстителем нашей дисциплины; перед внезапным и неожиданным он робел, не считая демонов, с которыми он обычно отважно сражался. В молитвах, в чтении, в сочинении стихов был весьма прилежен. И был он, чтобы мне все дарования его

святой личности вкратце выразить, воистину сосудом Духа святого, полнее которого не было в его время.

34. Туотилон же был хорош и полезен совсем по-иному, человек, который мускулами и всеми членами тела был таким, каких Фабий[5] рекомендовал выбирать атлетами. Он был красноречив, имел звучный голос, был искусен в резьбе и мастером в живописи; музыкант, как и его товарищи, он, однако, превосходил всех игрой на различных струнных инструментах; ведь он обучал даже сыновей сановников игре на струнных инструментах, в месте, установленном аббатом. Искусный предвещатель далекого и близкого, в зодчестве и других своих занятиях преуспевающий, умел он слагать стихи на обоих языках[6] и к тому был одарен природой; и в серьезном, и в шутке столь изящен, что наш Карл[7] как-то упрекнул того, кто человека с подобным дарованием сделал монахом. Но при всем том был он, что важней прочего, в обществе деятельным, в уединении склонным к слезам; наделенный даром слагать стихи и мелодии, он был целомудрен, как истинный ученик Марцелла, который перед женщинами опускал глаза.

Ратперт занимал середину между обоими, о ком я говорил. С юношеских лет школьный наставник, ровный и благожелательный учитель, строгий в воспитании, еще реже, чем его братья, выходил из кельи, снашивая за год всего лишь пару башмаков и называя прогулку смертью; часто, обнимая отправляющегося в путь Туотилона, он просил его беречь себя. Ревностный в школе, он порой небрежно относился к урокам молитв и мессам, говоря: «Мы слушаем хорошую мессу, в то время как учим ее служить». И хотя он считал величайшим злом монастыря безнаказанность, он приходил в капитул[8], лишь когда его призывали, потому что, как он говорил, ему должна быть доверена эта важнейшая обязанность — исправлять и наказывать.

35. Таковы были эти три сенатора нашего общества; между тем терпели они — что всегда бывает уделом ученых и ценных людей — лишения и постоянные оскорбления от тех, кто вел праздную и беззаботную жизнь, в особенности же Ноткер, святой (я уверен в этом), потому что он совсем не привык защищаться. Правда, Туотилон и Ратперт, которые подобным людям резко возражали и менее всего подходили для оскорблений, преследовались ими реже. Ноткер же, кротчайший из людей, на себе самом испытал, какими бывают оскорбления. Из этих многих обидчиков я хочу рассказать по крайней мере об одном, чтобы ты по нему мог судить и обо всех[9], так как именно такими повелевает сатана. Был этот человек, по имени Синдульф, служащим рефектория[10], и за свою притворную услужливость, за то, что обвинял братьев в вымышленных преступлениях, был в конце концов поставлен Саломоном[11], поскольку ни в каком ином месте не мог быть полезен, старшим над работниками[12]. Действительно, в должности рефекторария[13] он оказывал некоторым, кому осмеливался, предпочтительно же Ноткеру, вместо услуг одни неприятности.

Так как Саломон, обремененный множеством дел, не мог уделять достаточного внимания частностям, а он иногда лишал братьев пищи или портил ее, то многие громко сетовали на несправедливость. Среди них однажды оказались и те трое, о ком я говорил, о чем-то беседующие. Но Синдульф, который всегда был горючим для раздора и умел разжечь старый факел ненависти и повод к ней среди собратьев, угодливо шепнул на ухо Саломону, что должен сообщить ему нечто касающееся его чести. А тот, хотя и понимал, что ничего нет вреднее для прелатов, чем выслушивать нашептывания подчиненных, все же спросил, что за новости он принес. Синдульф между тем лгал, что трое и всегда-то плохо отзываются о Саломоне, но вчера говорили такое, что и богу было бы нестерпимо. Саломон поверил наговору, затаил к ним, ничего плохого и не предполагавшим, неприязнь и в конце концов проявил ее. Но поскольку они от него ничего не могли разузнать о своей вине, то и решили, что стали жертвой Синдульфа. Когда наконец дело в присутствии братьев было рассмотрено и сами они с другими вместе изобличили Синдульфа, ибо все засвидетельствовали, что они вообще ни слова против епископа не говорили, то испросили они, каждый себе, разрешения наказать лжеца. Но так как тот не признавался, они молчали [перед епископом] и держали себя тихо.

36. Был у этих трех неразлучных обычай: в ночной перерыв между хвалебными песнопениями собираться, с разрешения аббата, в скриптории и проводить сравнение сочинений, которые для подобного часа более всего подходили. И вот Синдульф, зная о часе и об их собеседованиях, однажды ночью тайком подкрался к застекленному окну, у которого сидел Туотилон, и, прижав ухо к стеклу, стал подслушивать, не удастся ли чего-нибудь подхватить, что бы он мог, извратив, передать епископу. Его заметил Туотилон, человек непреклонный и полагавшийся на силу своих мускулов, и сказал товарищам по-латыни, чтобы тот ничего не понял и мог оставаться скрытым: «Этот здесь и прижался ухом к окну. Ты, Ноткер, так как ты робок, вернись в церковь. Ты же, мой Ратперт, возьми плеть братьев, что висит в зале собраний[14], и подбеги с той стороны, потому что я, лишь только заслышу твои шаги, мгновенно распахну окно, схвачу его за волосы и, притянув с себе, буду крепко держать. А ты, душа моя, проникнись мужеством, будь твердым и накажи его плеткой изо всех сил, пусть бог покарает его!» Тот послушно вышел, ибо всегда был весьма строг к дисциплине, схватил плеть и, быстро подбежав, изо всех сил стал осыпать ударами спину человека, голова которого была втянута внутрь помещения. И вот Синдульф, отбиваясь руками и ногами, поймал вскинутую плеть и крепко зажал ее, но Ратперт, схватив замеченную поблизости розгу, стал наносить ему сильнейшие удары. А этот, после того как уже жестоко был наказан и напрасно молил о пощаде, сказал: «Я вынужден звать на помощь»,— и завопил во весь голос.

Несколько братьев, услыхав крик в столь необычное время, в недоумении сбежались сюда со свечами и стали спрашивать, что случилось. А Туотилон без устали твердил, что поймал дьявола, и просил посветить ему, чтобы он мог разглядеть, в каком образе он задержал его. И вот он, поворачивая голову сопротивляющегося туда и сюда, чтобы рассмотреть, спросил, будто не зная, не Синдульф ли это? Когда же все вскричали, что это действительно он самый и есть, и стали просить Туотилона отпустить его, он выпустил его и промолвил: «Горе мне, несчастному, что я коснулся епископского наушника и доверенного!» Когда братья сбегались сюда, Ратперт, отойдя в сторону, украдкой скрылся, и потому пострадавший не мог узнать, кем был бит. Все же некоторые спросили, куда вышли господин Ноткер и Ратперт; Туотилон ответил: «Оба они, лишь только заметили дьявола, ушли к службе господней и оставили меня в темноте с тем, кто проходил здесь по делу. Но право же, вы все это должны знать, ангел божий собственной рукой нанес ему удары!» Когда наконец братья стали расходиться, между приверженцами начались, как это случается, всякие разговоры; одни говорили, что это свершился суд божий, чтобы были разоблачены тайные подслушиватели, другие, что подобному человеку не подобал такой образ действий, разве что он ссылался в оправдание на ангела божия. Синдульф же скрылся, потому что был сокрушен болью тела и в равной мере души. Спустя несколько дней епископ наконец спросил, где это так долго пропадает его поставщик слухов — так именно он обыкновенно называл человека, приносившего ему какие-либо тайные новости. Узнав все, как было, он велел позвать его и, так как не хотел столь постыдное дело ставить в вину столь нужному ему человеку, стал утешать его. «Поскольку,— сказал он,— те, которые с детства всегда были моими недоброжелателями, причинили тебе зло, я, если буду жив, обойдусь с тобой лучше». Спустя некоторое время случай представился, и, хотя многие выражали опасение, как бы столь важному делу в монастыре не был причинен ущерб передачей его такому человеку, Синдульф тем не менее был поставлен им, как я уже сказал ранее, старшим над работниками.

[Нападение венгров]

52. Разведчики шли день и ночь по знакомым местам, желая предупредить братьев, не веривших в возможность нападения на Санкт-Галлен варваров, о приближении врага, чтобы они могли бежать в крепость. Даже и сам Энгильберт [15], думая как и они, чуть было не опоздал перенести в крепость драгоценности Санкт-Галлена; вот поэтому и остался врагам киборий [16] св. Отмара.
Враги наступали не все разом, но, поскольку никто не оказывал им сопротивления, отрядами вторгались в города и села

и, разграбив, сжигали их; и так внезапно нападали они, когда хотели, на неподготовленных. Иногда они скрывались в лесах по сто человек, или меньше, и нападали потом оттуда; но дым и красноватое от костров небо выдавали, где находились отдельные отряды. Был тогда среди наших братьев весьма простодушный и чудаковатый брат, по имени Герибальд, чьи слова и поступки часто подвергались осмеянию. И вот когда ему, при первом отходе братьев в крепость, некоторые объятые страхом братья сказали, чтобы он тоже бежал, он ответил: «Право, бежать должен тот, кто хочет, я же никуда не побегу, потому что кастелян [17] не выдал мне еще на этот год ремней для башмаков». А когда братья в последний момент силой хотели заставить его отправиться с ними, он стал отчаянно сопротивляться и поклялся, что никуда не двинется, пока не дадут ему в руки годовой ремень. И так бесстрашно он ждал нашествия венгров. Наконец, совсем поздно, бежали братья с другими маловерами, потрясенные ужасным известием «враги в угрожающей близости»; он же, оставаясь при своем решении, без страха праздно прохаживался взад и вперед.

53. И вот наконец вторглись сюда носящие колчаны враги, угрожая пиками и острыми стрелами. Они тщательно обыскали все вокруг, так что ни пола, ни возраста не пощадили бы, это уж точно, и нашли одного его, бесстрашно стоящего в середине. Они удивились: что бы это значило? и почему он не убежал? Предводители, приказав убийцам не трогать его до поры до времени, стали допрашивать его через переводчика, и лишь только увидели, что он невероятно глуп, смеясь, оставили его в покое. Мраморного алтаря св. Галла они и не подумали касаться, потому что до этого не раз были обмануты подобными алтарями, не найдя внутри их ничего, кроме костей и пепла. В конце концов они стали выпытывать у дурака, где спрятаны местные сокровища. И когда он бодро привел их к сокровенным дверям сокровищницы и они, взломав их, ничего там не нашли, кроме подсвечников и позолоченных венков [18], в спешке оставленных бежавшими, то пригрозили они обманщику оплеухой. Двое из них забрались на колокольню, думая, что петух на ее верхушке золотой, потому что, по их мнению, божество места, которое так называлось [19], могло быть сделано только из благородного металла. И тут один здоровенный мужчина, вытянувшись, чтобы сорвать петуха копьем, свалился с высоты во двор и испустил дух. Тем временем другой, взобравшись на верх восточного щипца с намерением на поругание бога святилища, освободить там свой желудок, упал навзничь и разбился насмерть. Герибальд потом рассказывал, что в то время, как этих двух сжигали между дверными косяками, сильный, пламя извергающий костер охватил дверную притолоку и перекинулся на потолок, и многие тогда наперебой стали шестами мешать головешки, однако поджечь храм Галла, как и Большой храм, не смогли. Но были в общем подвале братьев два бочонка вина

полные еще до самой пробки. Они остались там потому, что в тот момент никто не рискнул запрячь быков или погонять их. Однако никто из врагов не открыл их, не знаю благодаря какому счастливому для монастыря случаю, разве только потому, что такой добычи было на их повозках в изобилии. Ведь когда кто-то из них, замахнувшись топором, собирался срубить один из обручей, Герибальд, который уже совсем по-домашнему обращался с ними, сказал: «Оставь это, добрый человек! Что же, по-твоему, должны мы пить, когда вы уйдете отсюда?» И тот, услыхав через переводчика эти слова, засмеялся и попросил товарищей не прикасаться к бочонкам их дурака. И так были они сохранены, пока не нашел их аббат, после того как венгры покинули монастырь.

54. Но разведчиков, которые должны были обыскивать леса и все тайные места самым тщательным образом, высылали они одного за другим и ждали, не принесут ли эти каких-либо новостей. В конце концов они расположились в атриуме и на лугу для богатого пира, когда Виборада[20] уже приняла мученическую смерть. А серебром покрытый киборий св. Отмара, который при внезапном нападении венгров беженцы не могли унести, они оголили. Вожди, разумеется, заняли ровное место внутри монастыря и пировали со всей пышностью. Также и Герибальд наелся у них досыта, больше чем когда-либо, как он сам потом говорил. Когда они по своему обычаю порознь и без стульев растянулись на зеленом сене для пиршества, принес он себе и клирику, которого они захватили как добычу, по маленькому стулу. После того как венгры, без ножей, а зубами, растерзали лопатки и прочие части убитого зверя и жадно проглотили их полусырыми, стали они, развлекаясь, перебрасываться обглоданными костями. Вино в полных чанах, поставленное посредине, каждый черпал себе без разбора, сколько ему было угодно. Когда же они, разогретые неразбавленным вином, стали взывать ужаснейшим образом к своим богам, то заставили делать то же самое клирика и своего дурака. Клирик, хорошо зная их язык, благодаря чему и была сохранена ему жизнь, принялся громко кричать вместе с ними. И вот когда от их языка он совсем было обезумел, затянул он, заливаясь слезами, антифон[21] из службы святому Кресту (открытие которого должно было праздноваться на следующий день[22]) «Sanctifica nos», это запел с ним и сам Герибальд, хотя и сиплым голосом. Все, кто там был, собрались на необычное пение пленников и в необузданном веселье стали плясать и состязаться в борьбе перед вождями. Некоторые сбежались сюда даже с оружием, чтобы показать, как они владеют военным искусством. Тем временем клирик, сочтя такую веселость благоприятным моментом для того, чтобы просить о своем освобождении, бросился, несчастный, в слезах, вождям в ноги, призывая крест святой на помощь. А эти, озлобившись, свистом и каким-то отвратительным хрюканием дали понять своим приближенным, чего бы они хотели. И они в неистовстве налетели, схватили человека быстрее, чем

это сказано, и обнажили ножи, чтобы сыграть шутку, которую немцы называют picchin [23], на его тонзуре [24], прежде чем отсечь ему голову.

55. В то время как они к этому готовились, разведчики из леса, лежащего против крепости, спешили сюда, подавая неожиданные сигналы трубами и голосами. Они объявили, что совсем близко находится крепость, охраняемая вооруженными отрядами. Клирик и Герибальд были оставлены одни в монастыре, а воины, каждый сам по себе, бросились бегом за ворота и выстроились, как были приучены, в боевом порядке, прежде чем кто-либо мог подумать об этом. Когда же услыхали они о природном положении крепости, о том, что она не может быть осаждена и что место это из-за его длинного и очень узкого горного кряжа может быть доступно нападающим лишь с огромными потерями и непременной опасностью, а его защитники по своей численности, хотя это были только мужчины, никогда не уступали противнику, пока у них были съестные припасы, то отказались они от монастыря; а поскольку Галл, его бог, был владыкой огня [25], подожгли несколько домов в деревне, чтобы можно было видеть (ведь уже близилась ночь), и отправились, после того как трубы объявили призыв к молчанию, по дороге, что ведет на Констанцию. Но так как люди в крепости подумали, что горит монастырь, и услышали об отходе венгров, то окольным путем последовали они за ними, схватили разведчиков, которые шли вдали от общей массы воинов, спереди, и нескольких убили, одного же, раненого, взяли в плен. Прочие, кому едва удалось спастись бегством, дали главному отряду сигнал трубами, чтобы они были настороже. А венгры быстро, как только они могли, овладев полями и равнинами, поспешно расставили в боевом порядке войско, в соответствии с возможностью; повозки и прочий багаж разместили вокруг, ночь разделили на вахты и, расположившись на лугу, молча предались вину и сну. А на рассвете вторглись в ближайшую деревню, выискивая, не оставили ли чего-нибудь бежавшие, и грабили и сжигали все жилища, мимо которых проходили. Но Энгильберт, который был предводителем в наступлении на врага, распорядился, чтобы бóльшая часть людей снова вернулась в крепость, а сам с немногими, подобными ему смельчаками, избегая опасности, пробрался в монастырь разведать, не оставлен ли там кто-нибудь в засаде. И так как ему было жаль простака Герибальда, который был, однако, хорошего происхождения, то стали они тщательно искать, не удастся ли найти хотя бы его тело для захоронения. Когда же его нигде не нашли — потому что он, с трудом убежденный клириком, поднялся с ним на вершину ближайшей горы и спрятался в зарослях кустарника — стал жалеть его Энгильберт еще сильнее, если только враги увели с собой раба такого простодушия. Он удивился также, что враги, большие охотники до вина, оставили без внимания бочонки с вином, и возблагодарил бога.

[Пожар 937 года]

67. Был, как я уже сказал, праздничный день св. Марка[26]. Обычно случается, что в праздничные дни младшие школьники заслуживают наказания на следующий день, на этот же раз, благодаря заступничеству, они получили прощение, или, чтобы вернее написать, отсрочку до второй ферии[27]. Но на третью ферию, после того как надзиратели, которых мы называем обходчиками[28], напомнили школьному наставнику о виновниках, всем было приказано раздеться. Одного из тех, кого собирались наказать, послали на верхний этаж принести хранившиеся там розги. А он, чтобы освободить себя и товарищей, быстро выхватил головню из печурки и закинул ее на сухое дерево рядом с крышей и раздул огонь, насколько хватило времени. Когда же ему крикнули надзиратели, что́ он там медлит, он громко прокричал в ответ, что горит дом. Когда сухая кровля[29] воспламенилась, ибо дул еще и северный ветер, дом скоро был объят пламенем. Быстрее, чем это сказано, ученики оделись, отстранив учителя, сорвались с мест, взобрались на крышу. Северный ветер подхватил разбросанные обломки кровли и вместе с огнем занес их на лету на щипец ближайшей башни церкви св. Галла. Это была та самая башня, которую Гартмут[30] окружил некогда, имея в виду ее огнеопасность, тремя защитными стенами, с тем чтобы, в случае пожара в монастыре, можно было быстро перенести в нее, при надобности, через крипту[31], имевшую туда проход, церковные сокровища. Тем не менее эта башня, покрытая поверх черепицы деревянной кровлей, загорелась, как я уже сказал, и сильный огонь, как это до сих пор видно, сжег абсиду[32] св. Девы, там, где она примыкает к башне. Удивительно было, как мы слышали это от стариков, бывших тогда молодыми, замедление пожара перед тем, как воспламенилась верхняя кровля. Ведь они сняли все колокола и стащили их, вместе со всей церковной утварью, вниз. Разбили решетки и свалили их на алтарь св. Галла, чтобы останки его от огня не распались. Наконец вынесли они мощи св. Отмара и отнесли все, что вынесли, под охраной в жилище усадьбы аббата, которое едва уцелело от пожара. В таком бедствии и несчастье Фиет, очевидец, преисполненный страха, бегал туда-сюда.

68. По окончании пожара с наиболее близких стен церкви был тщательно собран пепел и счищен смывной водой, и золотые таланты [украшения?] Гартмута, которые сверкали в них каплями, извлечены. Пестрая толпа живущих по соседству людей, как это бывает, сбежавшись, многое тайком унесла с собой. Мало того, сами сторожа, как рассказывали, не хранили верность своему долгу. Многие книги были похищены, потом и прочее. После такого бедствия, причиненного пожаром, представился братьям, которые долгое время не имели ни крова, ни средств пропитания, случай к испытанию. Так как братьям не запрещалось искать местожитель-

ство за горами и долинами и в ближайших поселениях, где только было возможно, то пошли, как это случается, частично верные, частично ложные, дурные слухи. Ведь Фиет просил, как этого требовала необходимость, то сам, то через вестников из подходящих братьев, если он только мог надеяться на чье-то сочувствие, о помощи потерпевшему бедствие монастырю. Около пожарища и пепла Галла остались старики с учениками, которые не очень-то повиновались приказаниям. У хижин, которые были построены близ пожарища, собирались вместе кто и когда хотел. Дисциплина сохранялась только согласием, нарушалась раздорами. Ибо некоторые, а именно те, на кого в таком несчастии нельзя было положиться, противились дисциплине, сбрасывали с себя ярмо и отбивались от него.

Ламперт Герсфельдский

О жизни Ламперта Герсфельдского известно немного — всем, что мы о нем знаем, мы обязаны его же сочинению «Анналы». Родился он в 20-х годах XI столетия в состоятельной семье, учился в Бамбергской школе (в Баварии), где получил хорошее церковное и классическое образование. В марте 1058 г. он стал монахом Герсфельдского монастыря в Тюрингии; в этом же году получил сан священника в Ашафенбурге и ходил на поклонение в Палестину, откуда вернулся в Герсфельд в сентябре следующего года. В 1071 г. он временно находился в монастырях Залфелда и Зигбурга для ознакомления с новыми монашескими правилами, вводимыми архиепископом Анноном Кельнским. О дальнейшей жизни Ламперта сведений нет. Умер он в начале 80-х годов.

Из сочинений Ламперта первые три («Жизнь св. Лулла» — основателя Герсфельдского монастыря, стихотворение в гексаметрах по истории монастыря и «История Герсфельдского монастыря») не сохранились, или сохранились частично. Зато последнее, написанное в 1077—1079 гг. и прославившее его, сочинение «Анналы» дошло до нас полностью. Оно состоит из двух, неоднородных по значению, интересу и объему, частей: начальная, «от сотворения мира» до середины XI в., представляет собой краткий и сухой перечень событий и имен по «шести эпохам» (от Адама до смерти Генриха III), изложенных главным образом по анналам Герсфельдского и Фульдского монастырей и по сочинениям Беды и Исидора; вторая часть, начинаясь со времени вступления на престол Генриха IV, содержит богатый материал по политической истории Германии середины XI в. и особенно по истории спора за инвеституру между Генрихом IV и папой Григорием VII Гильдебрандом, спора, обусловившего ожесточенную и длительную борьбу империи и папства за политическое господство в феодальном мире. В ней подробно и красочно рассказывается о современных Ламперту событиях: саксонском восстании 1073—1075 гг., Вормсском соборе и низложении папы Григория VII, отлучении Генриха IV от церкви в 1076 г., встрече его с папой в Каноссе и последующем разрыве с ним. Оканчивается книга избранием на Форхгеймском сейме в 1077 г. антикороля Рудольфа Швабского. Неравноценность частей сочинения объясняется, по-видимому, тем, что Ламперт мыслил его как историю современности, но, отдавая дань анналистической традиции, вначале поместил краткий обзор всемирной хроники.

В «Анналах» использовано множество источников, как античных (Вергилий, Овидий, Теренций, и особенно Ливий и Саллюстий), так и средневеко-

вых (Библия, Иероним, Августин, Иордан, Эйнхард и др.). По своим знаниям и литературному дарованию Ламперт заметно выделяется из ряда средневековых историков. Он мастерски владеет искусством живого, наглядного, стройного рассказа и красочного описания. Латынь его ясна и выразительна, стиль лишен риторических ухищрений; тон повествования ровный, изложение кажется объективным.

Однако под прикрытием этой кажущейся объективности скрывается определенная тенденциозная настроенность Ламперта. И хотя его не слишком увлекали, судя по его же словам, аскетические идеалы клюнийского движения за реформу, поддержанного Григорием VII в его борьбе за право инвеституры, все же в конфликте между папой и императором он принял сторону тех кругов феодальной знати, которые составляли крайнюю оппозицию Генриху IV, заняв, таким образом, позицию, противоположную позиции его собратьев по монастырю, стоявших на стороне императора. Это сказалось на освещении событий в «Анналах», в частности на изображении Генриха IV и Григория VII. Если первый обрисован с неприязнью, сгущенно-темными красками (это клятвопреступник, лицемер, осквернитель церкви и т. п.), то второй, напротив,— с симпатией и благожелательностью. События в целях защиты интересов папы изображены Лампертом в соответствующем духе. Таков, например, рассказ о начале и развитии борьбы между императором и папой, о встрече их в Каноссе.

Наличие в «Анналах» тенденциозного вымысла и фактических неточностей, преувеличений или умолчаний, столь свойственных вообще анналам XI в., отнюдь не снимает их ценности, хотя заставляет относиться к ним с известной осторожностью. Это сочинение, предлагающее читателю широкую и живописную картину политической жизни Германии XI в., представляет большой интерес как памятник культуры своего времени, отражающий и борьбу партий и общественные настроения, господствовавшие в различных кругах населения Германии в тот период.

АННАЛЫ

Год 1076 [1] ... Король [2], хорошо зная, что спасение его заключается в освобождении от церковного отлучения до дня его годовщины, и полагая, что не в его интересах ожидать прибытия римского папы [3] в Галлию [4] и передать дело свое на рассмотрение столь враждебному суду и столь беспощадным обвинителям, решил, что при его тогдашнем положении будет лучше встретить папу, направляющегося в Галлию, еще в пределах Италии и любым возможным способом попытаться добиться снятия с него анафемы; добившись этого и не опасаясь потом ничего со стороны церкви, он легко одолеет и другие трудности — переговорит с князьями [5], а при неудаче обратится к верности друзей. За несколько дней до рождества он покинул город Шпейер и отправился в путь вместе с женой и малолетним сыном. Когда он покидал государство, никто из свободных немцев не сопровождал его, кроме одного, да и тот не отличался ни родом, ни богатством. И так как

у него не хватало средств для столь дальнего пути, он обратился ко многим, кому неоднократно во времена благоденствия государства оказывал помощь, но лишь немного нашлось таких, которые в память прежних его благодеяний, или из сочувствия к разыгравшемуся перед ними зрелищу [превратностей] человеческой судьбы, несколько облегчили его затруднительное положение. В такую беду и несчастье был он низвергнут вдруг с вершины славы и могущества. Подобно ему, и другие отлученные, горя желанием быстрее добиться освобождения, поспешили в Италию, однако из страха перед князьями, или, вернее, перед папой, они условились не допускать, чтобы король отправился в путь вместе с ними [6].

Зима в том году была на редкость жестокой и затяжной, и наступила она со столь необычной суровостью, что с праздника св. Мартина [7] и почти до апрельских календ скованный ледяным холодом Рейн оставался для пешехода переходимым, и во многих местах виноградники совсем засохли, потому что корни их вымерзли.

Год 1077 ... На пути в Италию король Генрих отпраздновал в Бургундии в местечке Безансон Рождество, где довольно пышно для своего тогдашнего бедственного положения был встречен и принят дядей по матери, графом Вильгельмом [8], владетелем обширных и богатых поместий в той области. Свернуть с прямого пути и идти по Бургундии его заставило известие о том, что герцоги Рудольф, Вельф и Бертольд [9] расставили по всем ведущим в Италию путям и проходам, обычно называемым клузами, стражу, чтобы у него не было никакой возможности для прохода там. После рождественского праздника он отправился дальше и по прибытии в местечко Гекс встретил там свою тещу [10] с ее сыном Амадеем [11], которые в тех краях пользовались большим влиянием, имели громкое имя и обширные владения. Они приняли гостя с почетом, но все же согласились пропустить его через свои земли только с условием передачи им, в качестве платы за проход, пяти итальянских епископств, граничащих с их владениями. Всем приближенным короля это условие показалось тяжелым и неприемлемым. Но он, вынужденный крайней необходимостью, купил себе пропуск даже и на таком условии; а тех ничуть не волновали ни чувства родственности, ни сострадание к столь несчастному его положению, и после того, как было потрачено много труда и времени на эти переговоры, ему еле-еле удалось добиться того, что они получали, в качестве платы за предоставление ему прохода, одну, но чрезвычайно богатую Бургундскую провинцию. Так гнев божий отвратил от него не только связанных с ним клятвой и его многочисленными благодениями, но даже друзей и родственников.

После того как он с трудом добился разрешения на проход, тут же возникло другое затруднение. Зима стояла необычайно суровая, и огромной протяженности горы, через которые ему пред-

стояло переходить, с вершинами, уходящими почти в облака, были так плотно покрыты глыбами снега и льда, что при спуске по их скользким и отвесным склонам ни всадник, ни пешеход не могли сделать без риска ни шага. Но приближавшийся день отлучения короля [12] не допускал никакого промедления в скором пути, потому что, не освободись он до этого дня от анафемы, он узнал бы общее решение князей [13] о том, что он и осужден и лишился трона без всякой возможности восстановления в правах в будущем. Поэтому он нанял за какое-то вознаграждение нескольких туземцев, знакомых с этими местами и привыкших к альпийским кручам, которые провели бы его через крутые горы и снежные глыбы и следовавшим с ним могли бы облегчить путь каким только возможно образом. Когда они, с проводниками впереди, с большим трудом добрались до горной вершины [14], то далее продвигаться уже не было никакой возможности, потому что отвесный склон горы, как говорят, был настолько скользким, что спуск здесь казался совсем невозможным. Мужчины пытались одолеть опасность своими силами: то ползая на четвереньках, то опираясь на плечи своих проводников, иной раз даже, поскользнувшись на льду, они теряли равновесие, падали и катились далеко вниз; и все же в конце концов с огромной опасностью для жизни они достигли равнины. Королева же и другие женщины из ее свиты были усажены на воловью шкуру, и впереди идущие проводники волокли их вниз. Лошадей спустили они частично тем же способом, частично скатили, связав им ноги, из них многие, пока их стаскивали, погибли, многие были изувечены, и лишь совсем немногие смогли избежать опасности, оставшись целыми и невредимыми.

Когда в Италии распространился слух о том, что прибывает король и что он, пройдя через крутые горы, уже находится в пределах Италии [15], устремились к нему наперебой все итальянские епископы и графы. Везде принимали его с высшими почестями, как это и подобает его королевскому достоинству. В течение нескольких дней к нему сошлось огромное войско. Ведь они уже со времени его вступления на престол с нетерпением ждали его появления в Италии, потому что страну тревожили беспрестанные войны, мятежи, разбои и различные междоусобия, и они надеялись, что все то, что, вопреки законам и правам, было попрано нечестивыми людьми, будет восстановлено силой королевской власти. К тому же разошелся слух, что он спешит сюда, исполненный гнева, чтобы свергнуть папу, и они весьма обрадовались тому, что им представится случай надлежащим образом отомстить за свое бесчестие тому, кто уже давно отлучил их от общения с церковью...

И вот когда папа на своем поспешном пути в Галлию неожиданно услыхал, что король уже в Италии, то по совету Матильды [16] остановился в хорошо укрепленном замке, Каноссе [17], намереваясь выждать здесь до тех пор, пока не разузнает точнее

о цели его прибытия: пришел ли король за тем, чтобы покаяться в своем поступке, или чтобы, исполненный гнева, с оружием в руках отомстить за позор своего отлучения...

Между тем Генрих, пригласив на переговоры графиню Матильду, послал ее, обремененную просьбами и посулами, к папе, и с ней свою тещу с ее сыном, а также маркграфа Аццо [18], аббата Клюнийского [19] и некоторых других знатных итальянцев, которые, как он не преминул вспомнить, пользовались у папы большим уважением, умоляя освободить его от уз отлучения и не верить слепо немецким князьям, которые возводят на него обвинения больше из побуждений зависти, чем из рвения к справедливости. Выслушав их обращение, папа ответил, что крайне несообразно и совсем чуждо церковным установлениям разбирать дело по обвинению в отсутствие обвинителей. Напротив, если король уверен в своей невиновности, пусть без всякого страха и сомнения доверчиво явится в назначенный день в Аугсбург, где решили собраться другие князья; там он, рассмотрев показания обеих сторон, без ненависти или благосклонности, а лишь на основании церковного установления, по данному пункту обвинения, отведя правое от неправого, вынесет возможно более справедливый приговор [20].

На это посланные отвечали, что король нигде на свете не уклонился бы от его приговора, потому что знает его как неподкупного карателя и защитника справедливости и невиновности; но ведь уже близится годовщина его отлучения от церкви, и королевские князья в настороженном ожидании и тревожной напряженности жаждут исхода дела, чтобы его, если не будет он освобожден от отлучения до этого дня, объявить по имперским законам недостойным королевского сана и впредь не выслушивать его оправданий в невиновности. Вот поэтому король настоятельно просит, готовый нести всякое наказание, какое только потребует папа, снять с него анафему и возвратить благодатное общение с церковью. Потом он снова, как будто ничего и не было решено этим соглашением, в тот день и том месте, какие назначит папа, опровергнет все обвинения, возводимые на него [21] обвинителями, и по его приговору или вступит в управление, если освободится от обвинений, или же, если проиграет дело, послушно перенесет это.

Долго папа противился, опасаясь юношеского непостоянства короля и его склонности следовать за льстецами, куда бы они его ни вовлекали. Но в конце концов, побежденный настойчивостью посредников и весомостью их доводов, сказал: «Если он и вправду раскаялся в своем поступке, то пусть передаст нашей власти в доказательство искреннего и от всего сердца идущего покаяния корону и другие знаки королевского сана и объявит себя, после столь кощунственного проступка, недостойным королевского имени и должности». Но это показалось посланным слишком жестоким. И так как они упорно просили его смягчить

приговор и надломленную трость не переломить[22] строгостью приговора, то он наконец позволил, хотя и с большим трудом, уговорить себя, чтобы король явился к нему лично, и, если он принесет искреннее раскаяние за проступки, то вина, которую он навлек на себя поношением апостольского престола и непослушанием апостольским постановлениям, будет забыта.

И вот король явился, как было приказано[23], и поскольку замок[24] был обнесен тройной стеной, то его приняли внутри второго кольца стен, тогда как вся его свита осталась снаружи; там, сняв королевское одеяние, без знаков королевского достоинства, без всякого великолепия, стоял он, не сходя с места, с босыми ногами, не принимая пищи с утра до вечера, в ожидании приговора римского папы. Так было и на второй и на третий день. Наконец, на четвертый[25] он был к нему допущен, и после долгих переговоров с него было снято церковное отлучение на следующем условии: в назначенный папой день он должен явиться в назначенное место на общее собрание немецких князей и дать ответ на обвинения, которые они ему предъявят. А папа, если сочтет это полезным, как судья примет решение, и он должен будет по его приговору или удержать власть в случае освобождения от обвинений, или безропотно лишиться ее, если обвинения будут доказаны и он по церковному уставу будет объявлен недостойным королевских почестей. Удержит ли он или потеряет корону, он никогда и никому не должен будет мстить за это унижение. Но до того дня, когда дело его будет разобрано законным порядком, он не должен носить никаких королевских украшений, никаких знаков королевского достоинства, ничего не предпринимать, по своему обычному праву, в управлении государством и ничего не решать, что́ еще должно быть одобрено. Наконец, он не должен пользоваться ни королевским, ни государственным имуществом, разве что сборами с королевских земель, необходимыми для содержания его самого и его людей; а все те, кто давал ему клятву на верность, должны до поры до времени оставаться перед богом и людьми свободными от уз этой клятвы и необремененными обязательством хранить ему верность. Роберта, епископа Бамбергского, Удальрика Косгеймского[26] и других, по совету которых он и себя и государство вверг в беду, он должен навсегда лишить своего доверия. Если же, в случае опровержения обвинений, он останется могущественным и вновь утвердится на троне, то должен он подчиниться римскому епископу, всегда повиноваться ему и помогать, по мере сил своих и в полном единстве с ним, в устранении всех дурных, укоренившихся в его государстве обычаев, противных церковным законам. И последнее: если он нарушит какой-либо из этих пунктов, то освобождение от анафемы, которого он теперь так жаждет, должно будет считаться недействительным, и тогда уже, считаясь уличенным и признавшимся, он никогда больше не должен домогаться аудиенции, чтобы доказывать свою невиновность; и все имперские князья, свободные от всяких клят-

венных обязательств ему, без дальнейшего рассмотрения дел смогут единогласно избрать нового короля.

Король с радостью принял условия и обещал [27] под священной клятвой все их соблюсти [28]...

... Король, пораженный этим неожиданным предложением, стал колебаться, отговариваться и советоваться со своими приближенными, в стороне от толпы, соображая в смятении, что бы ему предпринять, как бы избежать необходимости столь ужасного испытания чашей [29]. Когда, наконец, он пришел в себя, то начал ссылаться на отсутствие князей, которые сохраняли ему в беде неизменную преданность и без совета которых, а тем более в отсутствие обвинителей, то испытание, которое он перенесет в доказательство своей невиновности перед немногими свидетелями, будет тщетным и у неверующих людей не будет иметь никакого значения. Поэтому он умолял папу отложить дело до общего собрания князей и всеобщего обсуждения, чтобы там перед собравшимися обвинителями и согласно церковным законам, после изучения как жалобы, так и личностей обвинителей, он мог бы опровергнуть обвинения по условиям, которые имперскими князьями признавались справедливыми. Папа без труда удовлетворил эту просьбу и по окончании божественной службы пригласил короля на трапезу; и после того как этот хорошо подкрепился и был тщательно подготовлен ко всему, что ему нужно было выполнить, он с миром отпустил его к своим, оставшимся далеко за пределами замка. Из благой предосторожности, чтобы король, после восстановленного общения с церковью, вновь не запятнал себя, он послал перед ним Эппо, епископа Цейцского, снять вместо него самого отлучение с тех, кто с отлученным, еще до снятия с него анафемы, не колеблясь, поддерживал отношения.

И вот когда этот епископ пришел и изложил итальянцам, с чем был прислан, поднялась против него буря гнева и недовольства. Все принялись шуметь и буйствовать, кричать и размахивать руками, перебивать апостольское посольство насмешливыми выкриками, осыпать его попреками и поношениями и самой гнусной бранью, на какую только подстрекала их ярость: они не ставят ни во что анафему папы, которого самого итальянские епископы давно уже, на справедливом основании, предали анафеме за то, что он занял апостольский престол святокупством [30], замарал себя убийствами, обесчестил развратом и другими тяжелыми преступлениями. Король поступил не по своему достоинству и запятнал свою честь никогда не смываемым позорным пятном, потому что королевское величие подчинил еретику, человеку, опозоренному всеми пороками. Он, кого они избрали в защитники справедливости и хранителем церковных законов, своим постыдным смирением совершенно обесчестил католическую веру, авторитет церкви и достоинство государства. Они наносили папе, какие только могли, оскорбления, мстя за него [31], а он теперь, стыдно даже сказать, оставил их среди волн смятения и, руководствуясь лишь частной

необходимостью, примирился с общественным врагом. Такими были главные упреки, которые бросали итальянские князья и распространяли повсюду в народе. Они возбудили вскоре жестокую ненависть к королю. Короче говоря, возмущение возросло настолько, что у всех было одно только желание, одна мысль: отца, который сам себя сделал недостойным королевской власти, свергнуть, а сына его, хоть и был он еще несовершеннолетним и не созрел для управления государством, поставить королем и, придя с ним в Рим, выбрать другого папу, который бы безотлагательно посвятил его в сан императора, а все распоряжения Григория VII отменил.

Когда до короля дошли вести об этом неприятном заговоре, он спешно отправил всех князей, которые были при нем, с поручением какими угодно средствами и какими возможно усилиями успокоить взбудораженные умы населения: они не должны дурно воспринимать и считать за оскорбление то, что он сделал, вынужденный крайней необходимостью, для общего блага. Не освободившись от церковного отлучения до установленного дня, он не мог бы удовлетворить ни германских князей, которые злоумышляют клеветническим обвинением лишить его короны, ни папу римского, который для разрушения благосостояния святой церкви все кругом поражает мечом духовным. Теперь он освободил себя от всех препятствий, которые расставили на его пути враги, и всю свою заботу и старание обратит на мщение за причиненную ему несправедливость. Лишь с трудом смогли они наконец умерить, но отнюдь не погасить, пожар вспыхнувшего негодования. Бо́льшая часть князей в гневе покинула лагерь и без разрешения вернулась домой. Остальные, скрыв на время недовольство, принимали возвращавшегося короля миролюбиво, хотя и не оказывали ему обычного почета и не снабжали таким обильным, как раньше, продовольствием, и как это подобает королевскому величию, но, опустив глаза, повсюду на каждом углу они, враждебно настроенные, шептались о его легкомыслии и сумасбродстве и обвиняли в беспечности, потому что в конце концов он обманул надежды находившейся в опасности несчастной Италии, которая давно и с такой тревогой ждала его, и не оказал ей никакой поддержки. И когда он объезжал Италию, чтобы по королевскому обычаю оказать справедливость притесненным и гонимым клеветой, его не принимали в городах, не выходили ему навстречу с факелами и ликующими возгласами, как к прежним королям, но вынуждали разбивать лагерь за городом и доставляли ему туда продовольствие для содержания войска, но и то в скромном количестве, едва достаточном для удовлетворения насущной потребности, не говоря уж о приличествующих королевской трапезе роскоши и изобилии, лишь бы только их не могли уличить в преждевременном отходе от него. Они распорядились расставить в отдельных местах стражу, чтобы вооруженной рукой обуздать тех, кто, быть может, захотел бы поживиться чем-то в полях и деревнях.

Король, напуганный неожиданным оборотом дела, поздно раскаялся в том, что легкомысленно доверился неизвестному ему и не испытанному до сих пор на верность народу, и, удалившись от границ Германии, не избежал, но лишь сменил врага. Угнетенный тягостным беспокойством и страхом, он не нашел никакого другого выхода, как снова расположить к себе, если как-то удастся, итальянцев, которых он оскорбил. Единственное, по его мнению, средство для достижения этого состояло в том, чтобы снова разорвать договор с папой и таким образом восстановить согласие тем изначальным обстоятельством, с которого произошел раздор. Удальрику Косгеймскому и другим, которых папа удалил из его свиты строжайшим церковным отлучением, он вернул свою прежнюю милость и расположение и вновь с исключительной предпочтительностью совещался с ними, как привык раньше, по частным, а также и по общественным делам. Затем в присутствии князей он обвинил и оклеветал папу в том, что он сам своими происками возбудил все то, что потрясло государство,— вихрь смятения и целую бурю неистовых волнений, что он сам был зачинателем и подстрекателем всех бед, какие случились в церкви божьей за последнее время. И он убеждал всех сообща, под его предводительством и руководством, добиваться отмщения папе за столь великое зло. Потом он пренебрежительно, как паутинную ткань, разорвал все условия и все узы церковных законов, которыми папа связал его силой апостольского полномочия ради его же спасения, и, опустив поводья божьего страха, ринулся с необузданной вольностью на все, что приходило ему на ум. Все это тотчас умерило недовольство итальянцев и погасило их ярость. Их расположение к нему снова ожило, так что они стали стекаться к нему изо дня в день во все большем количестве, обеспечивали его войску обильное содержание и охотно обещали впредь поддержку и помощь во всем, что бы он им ни приказал [32].

Петр Альфонси

Петр Альфонси — испанский еврей, принявший в 1106 г. крещение и получивший прозвище Альфонси (т. е. сын Альфонса) по имени своего крестного отца — короля Альфонса I, известен главным образом как автор двух произведений — «Диалога против иудеев» и «Учительной книги клирика» («Disciplina clericalis»). В первом из них он обличает своих бывших единоверцев, во втором — предлагает читателю назидание, используя сюжеты и мотивы восточного фольклора и впервые знакомя с ними западную публику. Его «Учительная книга» особенно ценна для нас как самый ранний сохранившийся от средневековья сборник новелл. Она открывается благочестивым прологом и завершается таким же эпилогом: после пролога и перед эпилогом в ней помещены рассуждения «о страхе божием», однако этим, в сущности, и ограничивается религиозная сторона книги. Основная часть ее — это новеллы и сентенции, обрамленные краткими формулами типа: «араб [философ] некий сказал своему сыну»; «один философ сказал... другой философ сказал...» Герой этих рассказов — маленький, средний человек, обыватель, чья жизнь полна опасностей и подвохов. Тут и ленивый слуга, обманывающий господина, и хозяин дома, к которому лезет вор, и калека, избитый стражником, и распутная жена, скрывающая свои проделки от мужа, и добрая жена, выручающая мужа из беды. Главная доблесть такого героя — смекалка и находчивость. «Не всему верь, что говорится» — вот мораль одной из новелл и всей книги в целом. В яркой пестроте занимательных приключений читателю преподносится круг житейских нравственных норм и советы, как вести себя в обществе (выбирать друзей, не лгать, не быть слишком доверчивым, как сидеть за столом и т. д.), и, в виде логического заключения жизненных рецептов,— разговоры о пределе жизни, о памяти смерти, о смерти и об ответе души на суде (примеры 28, 29, 31, 34). «Пекись о веке будущем так, словно ты умрешь ныне, а о веке сем так, словно всегда будешь жить... Век сей подобен мосту, иди по нему, не останавливайся»,— говорят философы в «Учительной книге» (пример 28). «Вчера ему мал был целый мир, сегодня достаточны четыре вершка»,— повторяют они на могиле Александра Македонского (пример 33).

Сочинение Петра Альфонси пользовалось огромной популярностью. Его новеллы вошли и в знаменитые «Деяния римлян» и во множество других подобных сборников XIII—XV вв. Уже к XV в., в том или ином отборе стихами или прозой, они были переведены на все западноевропейские языки.

УЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА КЛИРИКА

Пролог. Петр Альфонси, раб Иисуса Христа, составивший эту книгу, сказал так: «Благодарю Бога, единого безначального, всяких благ начальника, он же есть конец бесконечный, свершение всецелого блага, премудрый, дарующий человеку премудрость и разум, одухотворивший нас своею мудростью и просветивший дивной светлостью своего разума, ущедривший многовидной благодатью духа своего святого. Меня, грешного, Бог удостоил многообразной учености, и чтобы вверенный мне светильник не таился под спудом, тот же вразумляющий Дух подвиг меня составить эту малую книгу на пользу многим. Его молю, да подаст благой конец начатой мною книге и не попустит написать в ней несогласное его воле. Аминь...

Приметил я, что состав человека мало вынослив, и, чтобы не вызвать в нем отвращения, наставлять его надо очень помалу. Вспомнил я и о неподатливости его, о том, как его надо умягчать и услаждать, чтобы облегчить восприятие, и что из-за забывчивости своей нуждается он во многих напоминаниях о забытом. Вот и составил я книжку из притчей философов и их наказов, из арабских басен и стихов, из сравнений с животными и птицами. Старался я не писать больше нужного, да не будет написанное бременем вместо помощи, но да почерпнут в нем читатели и слушатели желание и возможность учиться. А кому это знакомо, пусть прочтут и вспомнять то, что́ в ней содержится, К книжке этой присовокуплено название; название дано по ее действию — «Учительная книга клирика», ведь она делает клирика ученым... Аминь.

Пример 4 (Семь наук, семь хороших дел, семь трудных дел). Ученик однажды такими словами вопрошал учителя: «Хочу, чтобы назвал ты мне по порядку, какие есть семь наук, семь хороших дел и семь трудных дел». И ответил учитель: «Назову тебе их. Семь наук, вот они: диалектика, арифметика, геометрия, физика, музыка, астрономия. О том же, какова седьмая наука, многие несогласно мыслят. Философы, не отвергающие прорицаний, зовут ее чернокнижием. Иным из них, кто верит в предсказания и философию, хочется, чтобы она была наукой о природе или мировых стихиях. А те, кто не причастны философии, говорят, что это грамматика. Хорошие же дела такие: верховая езда, плавание, стрельба из лука, борьба на ремнях, ловля птиц, игра в шашки, стихотворство. А трудные дела — это: не быть обжорой, пьяницей, щеголем, нахалом, лгуном, скупцом и злоречивым». Ученик ему: «Теперь не найти, думаю, такого человека».

(*О лжи*). Некий философ наставлял сына: «Опасайся лжи, ибо она слаще птичьего мяса». И другой: «Если легко произнести ложь, то почему кажется трудным сказать истину?» Еще один философ: «Если боишься кары за свои слова, лучше говори «нет», чем «да»!» ... Философ некий сказал сыну: «Назы-

вай лжецом всякого, кто скажет, будто зло надо побеждать злом. Ведь огонь не гаснет от огня, так и зло не уступает перед злом. И как водою тушится огонь, так и от добра рушится любое зло».

Пример 5 (О человеке и змее). Некто шел по лесу и набрел на змею, растянутую и привязанную пастухами к ветвям; он тотчас отвязал ее, согрел и вылечил. Согретая змея поползла по тому, кто за ней ухаживал, обвила его и сильно сдавила. Тогда человек тот воззвал: «Что творишь ты? Зачем воздаешь злом за добро?» Змея ответила: «Делаю свойственное мне от природы». А тот ей: «Я доброе тебе сделал, а ты за это злом мне платишь?» Так они пререкались, и призвали лису рассудить их. Рассказали ей все по порядку, как было. Тогда лиса: «Не могу я судить на слух об этом деле, пока не увижу своими глазами, как все было с самого начала. Пусть змея снова будет связана, как раньше. Только,— сказала лиса змее,— если можешь ускользнуть, уползай». Человеку же: «А ты не тщись спасать змей. Не читал разве, что подвешенное обрушится на того, кто отвяжет?»

Сказал один араб своему сыну: «Если ты в беде и можешь легко спастись, не медли, ибо, пока ждешь более легкого, дождешься более тяжкого. И да не приключится тебе то же, что горбуну от стихотворца». «А как это было?» — спросил сын. И отец поведал:

Пример 6 (О стихотворце и горбуне). «Некий стихотворец, сочинив стихи, поднес их царю: похвалил царь его умение и велел ему просить себе награды за труд. А награду он попросил себе такую: быть ему целый месяц сторожем у городских ворот и брать с каждого горбатого денарий, с каждого пархатого денарий, с каждого кривого денарий, с каждого лишайного денарий, с каждого, у кого грыжа, денарий. Царь на это согласился и скрепил согласие печатью. Стихотворец принял на себя эту службу и стал нести ее у ворот. Однажды в ворота вошел горбун, весь закутанный и с палкой. Стихотворец встал ему на пути и потребовал денарий. Тот не захотел дать. Тогда стихотворец напал на него, стянул с головы колпак и открыл, что у горбуна один глаз. Стал требовать два денария, с кого раньше требовал один. Тот противился и не давал и, беззащитный, хотел бежать. Но тут из-под колпака открылась голова его в парше, и тогда стихотворец запросил уже три денария. Видя, что помощи нет ниоткуда и в бегстве не найти ему спасения, горбун стал драться. Пока он отбивался, обнажились его руки с лишаями, и стихотворец потребовал теперь четыре денария. Но горбун все еще защищал себя. Стихотворец сорвал с него одежду, и когда тот упал на землю, увидал его грыжу, так что под конец отнял у него пять денариев.

Вот и случилось, что, не захотев вольной волей отдать один, горбун против воли отдал пять».

Пример 24 (Про вора с лунным лучом). Рассказывают, как один вор подошел к дому богача, думая его ограбить. Поднявшись на крышу, он приблизился к окну, через которое выходит

дым, и стал слушать, кто там бодрствует внутри. Хозяин дома почуял это и неслышно сказал жене: «Спроси меня громко, где взял я толикое имущество. Изо всех сил старайся узнать это». И тогда она громким голосом вопросила: «Скажи, господин мой, откуда пришло к тебе такое богатство, никогда ведь не был ты купцом?» Он ей на это: «Храни то, что бог послал, исполняй желания свои, но не испытывай, откуда у меня эти деньги». Она же, словно не могла стерпеть этого, никак не отступала от него. И вот, наконец, будто приневоленный мольбами жены своей, он вымолвил: «Не выдавай, смотри, никому нашей тайны, потому что был я вором». А она ему: «Дивлюсь я, как сумел ты воровством нажить столь огромное состояние, когда ни криков, ни наветов не слышали мы ни разу». И тут он ей поведал: «Один мой наставник обучил меня песне, которую я пел, когда поднимался на крышу. Подходя к трубе, я брал в руки лунный луч, семь раз произносил «саулем» и с этой песней без вреда спускался вниз. Все, что находил в доме, я загребал и захватывал, шел потом снова к лунному лучу, семь раз повторял ту же песню, поднимался вверх со всем взятым в этом доме и уносил забранное в гостиницу. Такой уловкой нажил я то, чем владею». Жена на это: «Хорошо сделал, что рассказал мне. Когда буду иметь сына, обучу его такой песне, чтобы не был он нищим». Тут хозяин стал ее просить: «Теперь не тревожь меня, меня клонит в сон, и хочу отдохнуть». Чтобы обман был еще больше, он захрапел, как во сне. Подслушав эти речи, вор обрадовался, повторил семь раз припев, взялся рукой за лунный луч, расставил руки и ноги и прыгнул через отверстие в дом. С шумом упал он и, сломав себе колено и плечо, застонал. А хозяин, словно недоумевая, стал спрашивать: «Кто ты таков, что упал так?» Вор ему ответил: «Я тот несчастный грабитель, который поверил твоей лживой речи». На это сын: «Да будешь благословен ты за то, что научил меня избегать хитрых советований».

Пример 26 (О том, как следует вкушать пищу). Сын: «Отче, почему забыл ты поведать, как подобает вкушать пищу пред лицом царя?» Отец: «Нет, не забыл я, ибо при царе пищу вкушать надо так же, как и в ином месте». Сын: «Ну так скажи, как должен я есть, где бы я ни был». Отец: «Омыв руки перед едой, не прикасайся ни к чему, разве лишь к закуске, пока не начнешь есть. Не ешь хлеба, пока не подадут на стол другого кушанья, чтобы не прослыть тебе нетерпеливым, и в рот клади кусок так, чтобы крошки не сыпались отовсюду, да не назовут тебя обжорой. И не проглатывай куска, не разжевав его во рту, чтобы не подавиться. И не берись за чашу, пока рот не станет пуст, чтобы не звали тебя винопийцей. И не беседуй, когда рот твой полон, чтобы из горла не попало что-нибудь во внутреннюю артерию и не послужило бы тебе к смерти. И если на блюде пред сотрапезником твоим увидишь кусок, который тебе понравится, не бери его, чтобы не прослыть тебе грубым невежей. После еды

вымои руки, это нужно и для здоровья, и для приличия. Ведь у многих повреждаются глаза оттого, что они трут их неумытыми после еды руками».

Сын: «Если пригласит меня кто на трапезу, как мне отвечать ему? Сразу ли давать согласие или нет?» Отец: «Делай, как предписано иудеям. Сказано ведь у них: если позовет тебя кто, смотри на лицо позвавшего, и если то будет высокое лицо — тотчас дай согласие, а если низкое, то лишь на второй и третий раз. Так и об Аврааме рассказывают: когда стоял он однажды у своих дверей, то узрел, как шли мимо три ангела в облике человеческом. С почтением просил он их сам войти к нему в дом, омыть ноги, подкрепить себя пищей и успокоить сном истомленные члены. Он был лицо высокое, и они сами уступили его просьбе. Когда же пришли к Лоту, то и раз и другой зазаставили себя просить войти под его кров и согласились как бы поневоле, потому что Лот был человек незнатный». Отрок спросил старца: «Если позван буду на трапезу, как мне быть? Много ли вкушать или мало?» Ему на это старец: «Много! Если пригласил тебя друг, ты радость великую ему доставишь, а если недруг — опечалишь его». Услыхав это, рассмеялся мальчик. Старец ему: «Чему смеешься?» Мальчик: «Вспомнил я рассказ о негре Маймунде. Его спрашивал один старец, сколько он может съесть. А тот ему: «Чьей еды, моей или твоей?» Старец сказал: «Твоей». Тогда Маймунд ответил: «Очень мало». Старец спросил: «А если чужой?» И Маймунд сказал: «Очень много». На это сказал старец отроку: «Ты вспомнил сейчас обжору, лентяя, дурня, болтуна, пустомелю, о нем всегда говорят такое и даже еще больше измышляют». А отрок ему: «Приятно мне слушать о нем, потому что всегда бывает смешно. Если приходят тебе на ум слова его и поступки, расскажи, это будет мне вместо подарка». Старец:

Пример 27 (О слуге Маймунде). «Как-то ночью хозяин велел ему запереть дверь. От лени Маймунд не мог подняться и ответил, что дверь уже заперта. Утром хозяин сказал слуге: «Маймунд, отопри дверь!» А слуга ему: «Господин, я знал твое желание отпереть ее сегодня и потому давеча не захотел запирать ее». Тут только понял господин, что слуга отказывался по лени, и приказал ему: «Вставай, берись за работу, уже день и солнце высоко». На это Маймунд: «Если солнце уже высоко, то дай мне поесть, господин!» А хозяин ему: «Дрянной слуга, ночью ли просишь есть?» Слуга в ответ: «Если сейчас ночь, то позволь мне спать!» В другой раз хозяин ночью сказал слуге: «Маймунд, встань и посмотри, идет ли дождь!» Тот позвал собаку, которая лежала за дверью, и, когда собака пришла, ощупал ее лапы. Они были сухи, и Маймунд сказал хозяину: «Дождя нет». Еще в другой раз ночью хозяин спросил слугу, горит ли в доме огонь. А тот позвал кошку, потрогал ее, теплая ли она. И когда почувствовал, что она холодная, ответил: «Нет, господин, не горит».

Религиозная поэзия X–XI вв.

В XI в. господствующий облик латинского церковного гимна резко меняется. На место суровой лапидарности приходит говорливое красноречие, метрика обретает невиданную упорядоченность, рифма становится одним из определяющих стиховых факторов. Как звонко отчеканены начальные слова анонимного гимна Деве Марии, славословящее то «аве» («радуйся»), которое ей сказано архангелом Гавриилом!

Слово сладкого привета
Воспоем затем, что это
Слово вняв, чертогом Света
Стала Благодатная...

Более поздних средневековых пародистов, для которых не было ничего святого, элоквенция этих слов спровоцировала на такую перелицовку:

Вина сладкого букета
Воспием затем, что это
Делают мужи совета
И святая братия...

Еще более избыточная звонкость отмечает другой анонимный гимн Богоматери — секвенцию «О, святая Лилия». Этот тон уже предвосхищает игры гимнографов XII в. В нем куда как много «духовного веселия» и усердного желания как можно ярче, изящней, необычней прославить святыню; но другой христианской добродетели — смирения — в них явно недостает.

Замечательная авторская личность этой эпохи — Германн Расслабленный (1013—1054). Этот монах обители в Рейхенау, скованный тяжелым параличом и почти неспособный не только к движению, но и к речи, стал одним из самых ученых людей своего времени и продиктовал приставленным к нему людям фундаментальные труды по математике, астрономии, истории, музыке. Его гимн Деве Марии «Радуйся, Царица», выполненный ритмической прозой, приобрел необычайную популярность.

Еще более незаурядный человек — Петр Дамиани (1007—1072), один из убежденнейших возвестителей аскетического духа, обладавший немалой ученостью, но высмеивавший науки за их неспособность постичь тайну ничем не

определяемой суверенности бога. Тем более характерно, что этот ненавистник всего мирского с таким блеском владеет античными формами стиха и придает своей речи весомость и четкость классической риторики. «Ренессанс» XI в. распространял свое влияние и на людей, которые, казалось бы, должны были его чуждаться.

Туотилон Санкт-Галленский

ТРОП НА РОЖДЕСТВО

Ныне должен воспет быть отрок,
которого прежде всех век породил родитель,
и оного же в теченье времен матерь.

Вопрошают:
Кто же оный отрок,
которого дивными словесами
вы ныне именуете?
Скорее молвите,
дабы и мы
помогли вам славить!

Отвечают:
Он есть Тот, о Ком
вещий и избранный
тайноведец божий,
грядущее созерцая,
некогда глаголал
и так проповедал:
«Отроча рожден есть нам, и сын дарован есть нам».

ДЕЙСТВО О ПОСЕЩЕНИИ ГРОБА

Во время третьего чтения да переоблачатся четыре брата, из каковых один, облаченный в белый стихарь, пусть выйдет, словно бы по какому делу, и тайно приступит к месту Гроба, где и воссядет в покое и с пальмовой ветвью в руке. К концу же третьего респонсория да последуют ему остальные трое с кукулями на головах, с возженными кадильницами в руках, в задумчивости проходя перед Гробом, наподобие людей, нечто ищущих. Ибо делается это, дабы представить Ангела, сидящего у Гроба, и Жен Мироносиц, приходящих с благовониями умастить тело Иисусово. Когда же сидящий увидит, как трое приближаются к нему в блуждании и как бы ища нечто, пусть начнет он сладкогласно воспевать, умеряя силу своего голоса:

Что ищете вы во Гробе,
Христоревнители?

Когда допоет он это до конца, сии трое пусть ответствуют едиными устами:

Иисуса Назарянина распятого,
о, Небожителю!

Он же на сие:

Несть здесь,
но воскрес, как прорек вам:
пойдите, возвестите,
что воскрес Он из мертвых.

По слову повеления этого да обратятся они к хору, возглашая:

Аллилуйя,
Христос воскресе,
днесь воскресе Лев крепкий,
Христос, Сын Божий.

Когда это будет сказано, сидящий, словно бы призывая тех назад к себе, да возгласит такие антифоны:

Приидите,
посмотрите место, где лежал Господь,
аллилуйя.

Возгласив так, он да восстанет, поднимет покров и покажет им место, откуда Крест удален, остались же одни пелены, каковыми повит был Крест. Увидев сие, те трое да поставят кадильницы, что были у них в руках, в оный Гроб, да возьмут пелены и развернут их перед сослужащими, как бы показуя, что воскрес Христос и уже в них не завернут; и да пропоют такой антифон:

Христос воскресе во славе,
что нас ради распялся на древе,
аллилуйя.

Затем да возложат пелены на алтарь. Когда окончат они петь антифон, приор да возликует о торжестве Господа нашего, смерть поправшего воскресением Своим, и да начнет песнословие:

Тебя Бога хвалим,
Тебя Господа исповедуем,
Тебя Отца вечного
вся земля величает:

Тебе все ангелы,
Тебе небеса и все Силы,
Тебе Херувимы и Серафимы
непрестанными взывают гласами:

Свят, свят, свят
Господь Бог Саваоф,
полны суть небеса и земля
величием славы Твоей!

Тебя славный апостолов хор,
Тебя пророков достославный сонм,
Тебя хвалит победное
мучеников воинство;

Тебя во всей вселенной
святая исповедует Церковь:
Отца безмерного величия,
почтенного Твоего истинного и единородного Сына,
и святого Утешителя Духа.

Ты, Царь Славы, Христе,
Ты присносущный Сын Отчий;
Ты ко избавлению принял человека
и девическим чревом не возгнушался;
Ты, одолев смерти жало,
отверз верным Твоим
Царство Небесное;
Ты сидишь одесную Отца
во славе Отчей;
Ты, как веруем,
грядешь Судиею.

Тебя ныне просим:
помоги рабам Твоим,
их же драгоценною кровию искупил Ты!

Сподоби их со святыми Твоими
в вечной славе воцариться!

Спаси народ Твой, Господи,
и благослови достояние Твое,
и правь людей Твоих,
и вознеси их вовеки!

Во все дни благословим Тебя,
и восхвалим имя Твое вовеки
и во веки веков.

Сподоби, Господи,
в день сей без греха сохраниться нам!
Помилуй нас, Господи,
помилуй нас!
Да будет милость Твоя на нас,
ибо уповали мы на Тебя;
на Тебя, Господи, уповал я,
да не постыжусь вовеки, аминь!

Когда же он начинает петь так, ударяют во все колокола сразу.

Випон

ПАСХАЛЬНАЯ СЕКВЕНЦИЯ

Жертву пасхальную звучно
христиане да восславят!

Заклан Агнец за паству;
Христос неповинный
с Богом погрешивших
примиряет.

С жизнью смерть сразилась
в борении дивном;
мертв Живый, но мертвым
жизнь дарует.

Промолви, Мария,
слова такие:
что зрела ты на Гробе
и земли в утробе?

«Был там плат лежавший,
Ангел вещавший,
Воскресшего могила,
и Святого сила.

Воскресла Христова
сила святая,

ныне в Галилее
братий сретая».

Примем реченье
Марии, развеяв
злые словеса
иудеев.

Христос воскресе
воистину ныне;
поверим святой
благостыне.

ГИМН ДЕВЕ МАРИИ

Слово сладкого привета
Воспоем затем, что это
Слово внявши, Домом Света
Стала Благодатная.

Восприяв привет священный,
Восприяла Плод нетленный
Дева, Храм одушевленный,
Между терний Лилия.

Ты и матерь Соломона,
И руно Ты Гедеона,
Пред Тобой во время оно
Три волхва склонилися;

Солнце Правды Ты родила,
Бога миру Ты явила,
Рай Адаму возвратила,
Души просветилися.

Ей, Царица! Ты вторая
Купина, что, не сгорая,
Нам являешь светы Рая,
О, Благоуханная;

Вознеси о нас моленья,
Темным даруй просветленье,
Просветленным дай спасенье,
Славою венчанная.

СЕКВЕНЦИЯ ДЕВЕ МАРИИ

О, святая Лилия,
осиянный Цвет веселия! —

Рождества Таинница,
Божества Кормилица,
Пестунья Всевышнего:
Из Тебя спасение,
чрез Тебя свершение
замысла предвечного!

Матерь Света,
Храм Завета,
Ты хвалима,
как Солима
Скиния чудесная:
Ты для грешных
безутешных
сладость Рая,
Ты святая
Лествица небесная!

Сокровенно,
потаенно
источаешь неизменно
Ты дары духовные:
Их отрада,
как лампада,
светит нам и мраки Ада
гонит прочь греховные.

Горе, Ева
Божья гнева
навлекла пылание;

но Мария
злобе Змия
зиждет посрамление.

Ты явила,
Ты взрастила,
Ты вскормила
Искупителя;

Ад смиряешь,
нам внимаешь,
спобораешь
на Губителя.

Ветвь, преславный
Грозд державный
дивно произведшая.

О, Благая,
в радость Рая
праотцев возведшая,

Матерь Бога,
у чертога,
у порога
вечного Селения,

Воздыхаем,
воззываем,
воссылаем
мы к Тебе моления!

Сколь утешно
и безгрешно
Агнца млеком
питаешь Ты!

Сколь приветный
свет заветный
человекам
являешь Ты!

Хочет Сын, чтоб Мать молила,
чтоб Его для нас явила
кротким и прощающим;

Хочет нас во тьме греховной
озарить зарей духовной,
светом немерцающим;

Явить в Себе спасение,
Отцу усыновление
и в Духе ликование.

Германн Расслабленный

МОЛИТВА ДЕВЕ МАРИИ

О, Спасителя Матерь! Врата отверстые Рая
Ты являешь собой, и Звезду Морей; так помилуй
Падших людей, хотящих восстать, о Ты, что родила,
Преодолев естество, Твоего Родителя дивно!
О, присносущная Дева, из уст Гаврииловых слово
«Радуйся!» внявшая встарь, умились о грешниках темных.

РАДУЙСЯ, ЦАРИЦА

Радуйся, Царица,
Матерь милосердия,
жизнь, и веселие,
и упование наше, радуйся!
к Тебе прибегаем мы, горькие чада Евы,
к Тебе воздыхаем, изливая слезы
в сей плачевной юдоли.
Ей, Заступница наша!
на нас милосердия
склони взоры,
и Христа, благословенный
плод оный чрева Твоего,
яви нам по скончании сроков
земного нашего странствия,
златая, благая
Мария святая!

СЕКВЕНЦИЯ О СВЯТЕЙШЕЙ ТРОИЦЕ

Троичной Единости,
единосущной Божественности
Хвала многовидная —

Владыке,
что в безначальном
самотождестве покоится,
как Вечность,
Иатриилу дивному;

и Слову,
собезначальной
Отчей Мудрости зиждительной,
от века
просиявшей Истине;

и Тебе, сих обоих
Благоволение,
Параклите сладостный,
о, Блаженство святое
и Святость всесветлая!

Ибо тройственен образ
всесовершеннейшей
целокупной благости:
образ Жизни, Любови,
Софии-Премудрости.

Истинная и благая
Вечность,
вечная же и благая
Истина,
истинная и вечная
Благость!

Злоба, Смерть и Ложь да сгинут
купно;
зрак Твой да ознаменуют
тройческий
светы — ΟΥΣΙΑ, Веденье,
Милость!

О, Источник, кипящий
благ полнотою, которых
отблеск смертным сияет!
там неизменны:
радость, блаженство,
и услада, и слава,
и ΣΩΤΗΡΙΑ.

Дай и нам усладиться,
ныне молящим, Твоею
благостью, Триединый;
бесов извергни,
мир христианский,
о Альфа и Омега,
весь устроя.

Отче, Эл, Элион,
Элоэ, Элион,
Иа, Садаи,
Свет, Самаин,
Ты еси Эйэ, Бог
Саваоф, неизреченный
Адонаи;
от Тебя сотворенных
помилуй.

Сыне, Иммануил
дивно вседивностный,
Ангел Совета,

Боже крепкий,
Господи истинный,
Отче века грядущего,
миротворче,
Иисусе Мессия,
спаси нас.

Ты, Дух страха Божия,
благочестия,
и совета, и разума,
и силы,
и ведения,
и премудрости,
освяти нас,
возвышая таинственно.

Божественной Троицы
Единение,
Божества нераздельного
Троичность,
Ты нас исцели,
вины очисти,
узы расторгни,
умиряя немирное,

и взыскующих света
Твоего возрадуй
со всеми святыми
в горнем Иерусалиме.

Петр Дамиани

ГИМНЫ СВЯТОМУ АПОЛЛИНАРИЮ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ

На вечерне

Царствия небес благородный консул,
Мы к тебе взываем с мольбой, да явишь
Курию Олимпа для нас отверстой,
Аполлинарий!

Слуг твоих да примет Ключарь небесный,
Что утешен много питомца славой
И ликует, вняв, как тебя величит
Мерное пенье.

Ибо ты Равенне, в ночи косневшей,
Вверженной во мрак и обман кумиров,
Утренней Звездой возблистал с Востока
Пламеннозрачно.

Иренея отпрыск, незрячий прежде,
Зрит, дивясь, тебя, как светило мира;
Ты ж уму отца, как и взору сына,
Свет открываешь.

Не поможет Фекле врачей искусство,
Не помогут сонмы богов безбожных;
Но тобой она спасена и к небу
Очи подъемлет.

Радостно глаголют уста классийца,
Что разверсты мощью твоей молитвы,
И, слова слагать научившись, славят
Отчее Слово.

Деву, что двоякой подпала смерти,
Воздвигаешь ты от греха и тлена;
Се, дыханьем — плоть, благочестьем — сердце
Животворится.

Славу и хвалу мы Отцу приносим,
Что Своих святых возвеличил дивно,
С Ним же Сыну честь и Святому Духу
Буди вовеки.

На всенощной

Да славословят ангелы,
Да песнословят верные;
Страдальца преставление
Есть миру просветление!

Народам проповедавший,
О Боге им поведавший,
Аполлинарий казнями
Прославлен несказанными.

Святой твердит и в пламени
Христова славу имени;
Один, помыслишь, мучится,
Другим же слово молвится.

Разъяты члены дыбою,
Испытан правый пыткою;
Се рана раной ранима
И мука мукой мучима!

На плоть, в огне горящую,
Струю лиют кипящую:
Над жертвой всесожжения
Вершатся два заклания!

Сей ратоборец доблестный,
Антиохией взрощенный,
Воспринят в часть блаженную
Спасенною Равенною.

Славна святая Троица,
Кем все столь дивно строится,
Что нам и вины древности
К духовной служат радости!

На хвалениях

Се круг небес вращается,—
И день святой светлеется,
В который муж апостольский
Стяжал венец страдальческий.

Сколь славно преставление,
Что к жизни есть рождение!
Тот жизнь обрел нетленную,
Кто смерть приял священную.

Совлекшись тела бренности,
Облекшись в ризу радости,
Расторгнув узы дольние,
Он видит светы горние.

Ликуй, благословенная
Равенна осиянная:
Что Рим обрел в Наставнике,
Имеешь ты в Наперснике!

О, наш предстатель благостный,
Вонми молитве ревностной,
И в день Суда последнего
Моли за нас Предвечного!

Величим Безначального
И с Ним Собезначального,
И Духа дуновение,—
Сих Трех единосущие!

ГИМН СВЯТОМУ БЕНЕДИКТУ

На вечерне

Многосветлый перл Властодержца вышних,
Образ чистоты и зерцало братий,
От немирного, Бенедикте, мира
Ум возведи наш.

Дольний прах презрев, воспаряя к звездам,
Ты понудил к вере тебя родивших;
Ты ж сосуд разбитый, призвавши Бога,
Целым содеял.

В малом теле многую мощь являя,
Ты несешь труды, побеждаешь старость,
Всей душой ревнуешь о строгом долге
Жизни уставной.

Отрока, что был погребен обвалом,
Ты, возвысив глас, воскресил молитвой,
Чувства во плоти, как и плоть во здравье
Восстановляя.

В образе святом голубицы мирной
Сестрину ты зреть удостоен душу,
Возлетевшую до верховных высей
Звездного круга.

Так и сам, победу стяжав над миром
И окончив брань, ты восходишь к небу,
По стезе, горящей огнем созвездий.
Шествуя дивно.

Песнию величим Отца и Сына;
Равная Им честь, и одно хваленье,
С Ними же и Духу, что круг вселенной
Весь исполняет.

ГИМН СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ИОАННУ

На вечерне

Девственник и дивный служитель Девы,
Что в словах святых славословил Слово,
Молим, да паденья изгладишь наши,
О, Иоанне!

Ты спешишь оставить отца по плоти,
Горнего Отца в небесах взыскуя;
Мрежи покидаешь, рыбарь; к ловитве
Душ ты отозван.

Как река лиясь от истоков вечных,
Ты течешь и мир напояешь целый,
Ибо сердце, к сердцу приблизясь, тайно
Мудрость впитало.

Похвала земли и светильник неба,
Испроси для нас от Владыки милость
И уму отверзни святые бездны
Богопознанья.

Созерцая свет сокровенный Слова,
Все усилья лжи ты разрушить властен.
Возведи ж и нас, Вождь умов прозревших,
К вечному Лику.

Песнию величим Отца и Сына;
Равная Им честь, и одно хваленье,
С Ними же и Духу, что круг вселенной
Весь исполняет.

ВЕЧЕРНИЙ ГИМН НА УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ

Радость мира ты и звезда, от коей
Солнца свет возник, родился Создатель,
Грешным руку дай, окажи нам помощь,
Дева Мария.

Ты ведь лествица, созданная Богом,
По какой с высот сходит вышний долу,
Даруй нам взойти от земли до самой
Неба вершины.

Сладкогласный хор ангелов блаженных,
Лик апостолов и святых пророков
Гимнами тебя, вечно славословя,
Чтят после Бога.

Ты чертог святой вышнего Владыки,
На семи столпах мудрости стоящий;
Ты, кого весь мир охватить не в силах,
В чреве вместила.

Ты грозу небес и погибель аду,
Господина рек и морей и вихрей,
В честь кого поют и восток и запад,
Держишь в объятьях.

Молоком своим ангельским питая,
В лоне девственном ты несешь того, кто
Властвуя над всем, в равновесье держит
Тяжесть земную.

Беспредельного мы Христа прославим,
Кто, рожден святой девою Марией,
Равный и Отцу и святому Духу,
Царствует вечно.

МОЛИТВА БОГУ СЫНУ

Воспомни, Господи Иисусе Христе, что не золотом или серебром, но ценою собственной крови ты меня искупил; и если ты — источник дома Давидова, открытый для омовения грешника и кровоточащей, ужели один только я, Господи, буду лишен такой милости и останусь вне пределов твоего искупления? Увы мне, всемилостивый Господи, предашь ли ты меня с одеждой твоего возрождения, которую дал мне со знамением святого Креста, начертанного тобою на челе моем, в руки диавола, и с самыми твоими

символами мучиться на вечном огне? Знаю, Господи, сколь велико милосердие твое: ты, коль я искренне обращусь к тебе, тотчас же примешь меня. Но поелику из-за полной моей бренности и невежества моего обращение мое не может совершиться достойно без твоей помощи, ты обрати меня, Боже, спаситель мой, ты просвети душу мою, ты направь меня, ты зажги во мне пламя любови твоей. Но, быть может, о всеправедный и всеблагой Господи, столь велики грехи мои, что никакого моего раскаяния недостанет для их сокрушения? Вот тело мое, через которое я, несчастный, тебя оскорбил: ты, врачеватель душ, бей, бичуй его; либо проказой, либо иными любыми тебе угодными страданьями жесточайше терзай. Я — всецело творение твое, создатель мой; опояшай меня плетьми твоими и не предавай меня в руки врага моего; или, если столь возрастет неправедность моя, что не будет ей искоренения в жизни сей, повели до самого дня суда твоего быть мне угнетаему карами и наказаниями, дабы по крайней мере тогда удостоился я оказаться последним из всех тобою избранных. Да минует меня жажда славы: довлеет мне лишь избегнуть казни.

Но поелику моления мои, возносимые столь нечистыми устами, недостойны восходить к тебе, молю я тебя, благодатная дева Мария, храм Бога живого, чертог царя вечного, святилище Духа святого, благословенная в женах; обоняю сердцем моим благоуханное поле чрева твоего, ибо на этом поле произросла единственная и несравненная лилия, из коей возник нераздельно с нею весь росток духовных доблестей, ибо ты — небесная почва, приносящая плод свой, ты — вещество небесной Премудрости, из коего создала она храм собственному телу. Ты исполнилась духа святого; тебя несказанно осенила благодать Высочайшего; ты отнеси мольбы мои Сыну, создателю твоему! Но нет: ты сама моли за меня, ты умоляй, ибо молитвы твои не могут быть презрены, просьбы твои в очах его не пребудут ничтожными. Вот, Владычица моя, меня, несчастного, застигнутого на месте преступления, ведут на виселицу, влекут на меч, тащат на казнь. Да взойдет Царица мира, да воспротивится, да приступит к Сыну и освободит обвиненного.

Явись и ты, о Михаил, архистратиг воинства небесного, грядущий при светопреставлении губитель Антихриста, дерзко восстающего на Бога, и низвергни его, хотящего царить в сердце моем. Избавь от искушения душу мою, доколе живет она в теле моем, дабы по кончине моей ты достойно представил ее Создателю. Помоги мне и ты, благословенный Гавриил, благовеститель божественного бракосочетания: спаси молитвами своими меня, жалкого грешника, ты, посланный возвестить пришествие в мир освободителя грешников и несчастных. Исцели скорбную душу мою и ты, святой Рафаил, ты, отогнавший злого духа от Сарры и вернувший Товиту утраченное им зрение; изгони злобного духа, тщащегося отстранить от души моей истинного Христа, и пролей

сияние света на темное сердце мое. Молите за меня, все святые ангелы, все святые архангелы, все святые силы, все святые власти, все святые начала. Моли за меня, святой хор престолов, моли за меня, святой хор херувимов, моли за меня, святой хор серафимов. Молите за меня, все святые патриархи, все святые пророки. Да молит за меня праведный собор апостолов. Да молит за меня белоснежный хор мучеников. Да молят за меня все святые исповедники и все святые девы. Молите за меня, несчастного и безмерно скорбного, владыки мои, все святые божии.

И есть ли столь ужасная многогрешность, которую столькие небесные соборы были бы не в силах сокрушить своим заступничеством? Ибо не можете вы быть лишены милосердия, будучи неразрывно соединены с самим источником милосердия. Знаю, Господи, что недостоин я достичь священных порогов церкви твоей, ни поднять несчастных очей к небу. Недостоин я благословенное и преславное имя твое произносить своими порочными и нечистыми устами; но да снидет, молю, Дух твой в душу мою и очистит всю эту скверну. Ибо даже если солнце, не принадлежащее к наивысшим твоим творениям, обладает такими силами, что уничтожает грязь, освещает земли, оплодотворяет пашни, то насколько же действеннее будет единовечный и единосущный тебе Дух, если удостоит озарить эту чахнущую и обнаженную от листвы тростинку и тотчас заставит ее зазеленеть! И не бессилен будет он одеть ее цветами добродетелей и красою зреющих плодов. Приди, Господи Иисусе, вселись, пресладостный, в меня. Благоухание твое побеждает все ароматы, сладость твоя превосходит все медовые соты. Приди, молю, и крепко огради меня судом твоим, дабы ни в чем, ни в единой части не счел меня своим достоянием мучитель, но яви меня всецело твоим храмом, ибо ты Господь и Бог мой, живой с Отцом и Святым Духом и властвующий во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Тебя молю, тебе поклоняюсь, тебя славлю, тебя восхваляю, благословенный, всемогущий Отец и Сын и Святой Дух, триипостасный и единый Боже. Помоги мне, Господи, оправдай меня, исправь меня, очисти меня, Царю и Боже мой. Дай мне кротость, крепость, воздержание и разумение. Дай мне совершенную веру, надежду и любовь. Надели меня духом мудрости и благомыслия, совета и крепости, знания и благочестия и страха пред тобою. Одожди и ноги мои и главу мою. Благослови меня и росою неба и туком земли. Умягчи, Господи, окаменелое сердце мое. Дай угрызение и сокрушение сердечное, дабы оплакивать мне неисчислимые грехи мои. Недостоин я, Господи, войти в церковь твою. Не смею поднять скорбные очи мои к небу, ни произнести имя твое устами моими; но ты, создавший меня по изволению и ведению твоему, помилуй меня, Господи Боже мой.

Альфан Салернский

Хотя Альфан и вошел в историю с прозвищем «Салернский», всей своей деятельностью он связан с другим южноиталийским культурным центром — Монтекассино. Монтекассинский монастырь, основанный в VI в. Бенедиктом Нурсийским и глубоко почитаемый как «матерь» всех бенедиктинских монастырей, переживал в XI в. пору второго расцвета. Дело в том, что южная Италия, дотоле поделенная между лангобардами и греками, во второй половине XI в. была быстро завоевана норманнами: в 1030—1047 гг. они захватили Беневент и северную Апулию, а потом перешли в наступление против греков на юге и арабов в Сицилии. Папский престол, почувствовав, что на месте разрозненных и буйных лангобардских княжеств к югу от Рима утверждается крепкая и прочная норманнская власть, стал склонять ее к союзу. Монтекассинский монастырь, оказавшийся в самом центре новых норманнских владений, стал как бы аванпостом Рима в этой борьбе за патронат над норманнами. Чтобы поразить воображение северных пришельцев величием и блеском, папа Григорий VII помог заново отстроить Монтекассино; для новой базилики мрамор был привезен из Рима, бронзовые двери — из Византии, над мозаиками работали греческие мастера. Освящение базилики произошло в 1071 г.; руководителем работ был энергичный монтекассинский аббат Дезидерий (1058—1087); стихотворный панегирик во славу аббатства, базилики и новой постройки написал лучший друг Дезидерия, Альфан Салернский.

Альфан родился в Салерно, был родственником лангобардских правителей Салерно, участвовал смолоду в политических интригах, был замешан в заговоре против салернского князяВаймара. Он получил отличное образование, особенно по части церковного пения и медицины, изучением которой славилось Салерно; впоследствии он даже перевел с греческого одно медицинское сочинение. В 1055 г. он познакомился с беневентскнм монахом Дезидерием, приехавшим в Салерно лечиться; они подружились, и Дезидерий уговорил своего друга пойти в монахи. Альфан был рад вырваться из Салерно, где у него было много врагов, но это было трудно; Дезидерий вывел его из города ночью, в монашеской одежде, и отвез в Беневент. Чтобы получить прощение для себя и своих родственников-заговорщиков, Альфан в сопровождении Дезидерия отправился к римскому папе с подношением набора лучших салернских лекарств; папа принял Альфана благосклонно, дал ему прощение, а потом, объезжая южную Италию, добился от салернского князя Гизульфа разрешения для Альфана вернуться в Салерно. Альфан вернулся и

стал настоятелем салернского монастыря, а в 1058 г.— архиепископом Салерно; в том же году его друг Дезидерий стал настоятелем Монтекассино.

Ренан назвал творчество Альфана «последним дуновением античности»: более прозаично настроенный немецкий историк назвал Альфана «Фортунатом Южной Италии XI в.» Действительно, Альфану на его беспокойном месте приходилось одинаково печься и о духовных и о мирских делах, одинаково усердно сочинять и гимны во славу небесных заступников, и панегирики во славу римских покровителей и норманнских соседей. Герои его гимнов — преимущественно местные италийские святые, в том числе св. Христина (житие которой он составил) и св. Матфей, мощи которого перенес в Салерно норманнский герцог Роберт Гискард. Герои его од и панегирических посланий — папы римские, в том числе Григорий VII, которого он прославил, еще когда тот был архидиаконом Гильдебрандом (это стихотворение переведено ниже), лангобардские герцоги, вроде Гизульфа салернского, сменившие их норманнские правители во главе с Робертом Гискардом. Наряду с этими славословиями он писал и поучительные, медитативные стихотворения, откликаясь на общий духовный толчок, данный Европе Ансельмом; одно из лучших, «Исповедь стихотворная», с ее замечательной выразительной силой, переведена в отрывках ниже. «Дуновение античности» и вправду чувствуется в стихах Альфана — прежде всего, в их стихотворной форме. Альфан — лучший в Европе своего времени мастер метрических стариных размеров пруденциевского и боэтиевского репертуара; он без нарушений выдерживает сложные метрические схемы и с отличным вкусом соблюдает выдержанный и строгий стиль этой поэзии. В некоторых из его стихотворений можно слышать последние отголоски забытой традиции горациевских од.

В борьбе между Генрихом IV и Григорием VII Альфан, разумеется, всеми доступными ему духовными средствами поддерживал папу. В 1085 г., когда Генрих IV взял и разгромил Рим и Григорий был вынужден бежать, Альфан дал ему приют в своем салернском архиепископстве. Григорий здесь и умер; Альфан похоронил его в церкви св. Матфея и в том же году скончался сам. Дезидерий Монтекассинский пережил его лишь на два года.

ГИМН СВЯТОЙ ХРИСТИНЕ

Дева, звездный престол в высях обретшая,
О Христина, пребудь с нами, склоненными,
Да возможем воспеть кроткими душами
О тебе славословие.

Ты, от блеска отцов славой блиставшая,
Чистой верой себя паче прославила,
В чистоте избежав мира скверняшего,
Устремляясь ко Господу,

Чьи веленья в тебе стали деяньями,
Чей завет пред лицом ты исповедовать
Смела злобных князей, сердцем бестрепетным
Казнь презревши ужасную.

О, какие тебе муки готовились!
Сквозь мечи, сквозь бичи, колесования,
Сквозь оковы, огни, дроты разящие
Ты прошла победительно.

Света горних высот ныне достигшая,
Путь открой и для нас к оным обителям
И в молитве твоей вспомни о помнящих,
Нами здесь поминаема.

Да поможет и нам царственность божия
Разногласную речь складною мерою
Оковать, чтоб и мы в мире незыблемом
При тебе пребывали бы.

ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРНАЯ

Древние мира грехи омывший священною кровью,
О Иисусе, услышь это моленье мое.
Ты единый мне можешь внушить слова убежденья,
Ибо единый ты нам всякое благо даришь.
Добрый плод от дурных корней родиться не может —
Лишь от твоей доброты сам он становится добр.
Ежели мой язык хорошее вымолвит слово —
Знаю и верю: сошло слово ко мне от тебя.
Я отверзаю уста, изливаю Давидовы речи —
Будь же в этих речах слышимо слово твое.
Ты — источник живой, светлейший светлейшего солнца;
Тот, кто испил от тебя — жажды не знает вовек.
Ты — сиянье зари, никакой не мрачимое ночью:
Вышедший в путь на заре благополучен в пути.
Ты напои меня, ты озари меня, будь мне залогом,
Что обрету я в тебе все, чего ищет душа.
Должен ли я, многогрешный, тебе исповедовать душу,
Душу, на коей лежит бремя толиких грехов?
Должен, о вышний мой царь, искупителем, жертвою, плотью
Ставший, чтоб павшей душе жизнь и свободу вернуть.
Смерть твоя — жизнь, и жизнь твоя — жизнь для всех человеков:
Все, что в мире ни есть, славит твое бытие.
Не по заслугам ты нашим пришел — по своей благодати:
Как же твою благодать не исповедовать нам?
Нет, покуда я жив, тебя исповедовать буду —
Кто исповедует, тот пышет любовью к тебе.
Пышет любовью рыбак, и мытарь пышет любовью,
Этот — оставив челнок, этот — презревши лихву.
Малой доли лишась, обрели высочайшую долю;

Этот — Господень закон, этот — ключи к небесам.
Пышет любовью к тебе припавший к тебе с упованьем
Гостеприимец и гость, пышет любовью к тебе.
Пышет любовью к тебе не обретший в Израиле веры —
Веру в тебе обретя, пышет любовью к тебе.
Пышет любовью к тебе жена, исшедшая горем,—
Сына здоровым узрев, пышет любовью к тебе.
Пышет любовью к тебе твоей окраием ризы
Крови сдержавший поток, пышет любовью к тебе.
Пышет любовью к тебе омывшая ноги Господни
Ливнем слез и волос, пышет любовью к тебе.
Но и они лишь по воле твоей воспылали любовью —
Будь же воля твоя — стану достоин и я.
Верой назвать, надеждой назвать, любовью назвать ли
То, что возвысило их,— все это есть благодать...
...К милости ныне твоей взываю, подобно Давиду,—
Правый для правых судья, равным ты внемлешь равно.
О Иисусе благой, безумно, я знаю, безумно
И в упованье себя равным Давиду почесть.
Но не могу я воззвать, не могу воззвать я к иному,
Чтобы очистить себя от нечестивых грехов.
Дни за днями грешу, по обманчивым тропам блуждаю,
Рвусь от греха ко греху — пес на блевоту свою.
Всем рожденным дано уповать и в смертном пороке
На утешительный дух — мне утешения нет.
Что мне делать, как быть, куда обратиться мне, отче?
В дрожь повергает меня близость последнего дня.
Что мне делать, как быть, от кого мне искать вспоможенья?
Пред высочайшим судьей грешнику грех не сокрыть.
Что мне делать, как быть в тот день Господнего гнева,
Гнева, который всех злых в вечные ввергнет огни?
Ты укажи мне, как быть, ты будь мне податель совета,
Ты, в котором для нас — весь милосердия путь.
Ты укажи мне, как быть, зиждитель всемирного зданья,
Властный вспять обратить время, творенье и жизнь.
Ты укажи мне, как быть, владыка земли и созвездий —
Воды потоков твоих наши омоют грехи!

— Праздный раб, вотще потерял ты многие годы,
С детских лет до поздних седин гонясь за соблазном
И безнаказанно льстясь на лживую сладость порока.
Было то время, когда зараза еще не глубоко
В душу внедрилась твою и была исторжима лекарством
Без применения сил — а ныне и силы потребны.
Язва снедает себя, никаким умащениям мягким
Не поддающаяся, от нее ты и чахнешь и сохнешь.
Губку к ране прижав, ты только поможешь болезни.
Ныне настала пора — взгляни на свое злополучье

И обуздай сладострастье свое. Ко греху устремляла
Резвая плоть доселе тебя; следи же, блюди же,
Чтобы она не могла понудить тебя к послабленью.
Будь неусыпен в ночи, неустанен в труде повседневном —
Всякий грех избудешь трудом. Дай жаждущим влаги,
Дай нагому покров, удели голодному пищи.
Слезы пролей, омойся в слезах, от пороков очисти
Свой тоскующий дух, да внидет в него добродетель.
Дух приучай ко смиренью постом и чтением многим,
Неукоснительным пеньем псалмов, прилежной молитвой;
Не помышляй свое бремя смягчить мечтой о награде,
Труд — надеждой на плату, боренье недолгое — видом
Вечных торжеств. Любые труды умаляются, если
Их вменять в заслугу себе. Какая заслуга
В том, что трудный твой пот оросит крутые уступы,
Коими ввысь ты бредешь, восходя к высочайшим вершинам?
В небе ли цель у тебя? Отрада твоя и награда —
Праведность жизни твоей; стремись лишь к тому, что по праву
Предназначалось тебе...

. . . .

...Ужели смущается дух твой
Видом обманчивых благ, какими владеют иные —
Те, что живут как во сне, всю жизнь сновиденьями тешась
Праздными, те, кого мир серебром украшает и златом
И слоновою костью? Ты мнишь, что это — счастливцы;
Глубже, однако, взгляни, проникни в то, что сокрыто
От незорких очей, и увидишь: срама и смрада
Жалкие души полны под этим блестящим обличьем.
Благополучие их кратковременно, призрачно, зыбко,
Хрупко, словно стекло. Величаясь присущим уделом,
Лишь до поры сияют они, пока не нагрянет
Срок, повергающий в прах и внезапно являющий миру,
Что за презренная грязь таилась под блеском заемным.
Добрым дается добро, чтоб они к добру устремлялись.
Вот потому-то и ты не верь сиянию ликов
Тех обладателей благ: их блага им не на благо.
Благополучия знак — не завидовать благу чужому,
Благополучие — в том, чтоб с улыбкой смотреть на имущих.
Ну, а можешь ли ты завидовать тем, у которых
Полные души коварств мятутся пагубным страхом,
Смертной разимы тоской из колчана сурового гнева?
Злого нрава рука, лук смерти, оружье несчастья —
Вот обличье, в каком приходит к ним горькая мука.
Рады они ненавидеть обидевших; подозревая
Вред, понуждают вредить; грозой нависают над слабым;
Но лишь подумай о том, как часто счастливцы лежали,
В ноги упав перед теми, кого в надменной гордыне
Сами от ног отревали своих? как часто счастливцев

Казнь поражала, меж тем, как, нетронуты ей, миновались
Те, кто завидовал им? как часто отвергший просящих
Сам о пощаде просил? По праву зовется счастливым
Тот, которого в зависти мучит счастливейший; будь им!
Пусть иные и счастливы, пусть; но где они ныне —
Те, кто с высоких престолов уставы гласили народам?
Хрупки они, как стекло, разбиты, вытекла влага,
Встал из воды и лопнул пузырь, рассеялись тени,
Дым отлетел, облака испарились. Вот общая участь
Тех, кто страшен тебе: не хочешь бороться — спасайся
Бегством; боишься в чужой стороне скитаться убогим?
Столько не будешь убог, сколь убог на свет ты родишься!
Вырвись, вырвись из здешних услад, из здешнего мира —
Каждый шаг твой прочь от мира ко мне приближает.

Отче Христе, даровате ль святой и истинной жизни.
Отче Христе, творец блага, добра, красоты,
Отче Христе, в деснице твоей небытность и бытность,
Миру, которого нет, повелеваешь ты стать,
Отче Христе, не знающий зла, творящий творенья,
Чтобы не к худшему зло, а к наилучшему шло,
Отче Христе, сокрушение зла, прибежище блага,
Всем, кто истинно добр, добрый вещающий суд,
Отче Христе, в котором и тот, кто чужд совершенства,
Станет, избывши порок, добр и прекрасен и чист,
Отче Христе, которого всяк, наделенный любовью,
Любит, зная о том или не зная о том,
Отче Христе милосердый, тобой все чистые сердцем
Рады стремиться к добру, рады добро обретать.
Отче Христе, чрез тебя вся истина истиной стала,
Все, что ведомо нам, ведомо нам чрез тебя.
Отче Христе милосердый, предел жития и вершина,
Все, что в мире живет, только тобою живет,
Отче Христе, держава твоя — мирозданья громада,
Ты, незримый очам, в зримой вселенной царишь,
Отче Христе, из державы твоей в земные державы
Сходит царящий закон и правосудная власть,
Отче Христе, без тебя я ничто, а с тобой я возвышен;
О милосердый отец, я воззываю к тебе.
Отче Христе милосердый, в тебе пребыванье — спасенье,
Жизнь — обретенье тебя, гибель — лишенье тебя.
Отче Христе, покидает тебя лишь тот, кто обманут,
И обретает тебя тот, кто внимает тебе.
Отче Христе милосердый, лишь чистому сердцу открытый
Тех, кто скверну избыл,— боже, взываю к тебе.
Отче Христе милосердый, кто верит, кто ищет, кто любит,
Кто созерцает тебя, тот обладает тобой.
Отче Христе, нас вера зовет, возвышает надежда,

Соединяет любовь во одоление зла.
Отче Христе милосердый, ты милостью вышней Господней
Нас возвышаешь к себе — жизнь ты, и путь, и врата,
Боже Христе, снизошедший до нас из славы небесной,
С грешными нами делясь горним наследьем своим,
Свет мой, обет мой, предел мой, удел мой, хвала, упованье,
Благословляю тебя, чту, прославляю, люблю.
Жажду тебя, объемлю тебя, ищу тебя, чаю,—
Ты лишь отрада моя, ты лишь веселье мое.
Если бы в хор языков превратились огнистые звезды,
Или песчинки в морях, или в земле семена,
Или дождинки в дожде, или волны в прибрежном прибое,—
Все, чего счетом не счесть и не исчислить числом,—
Все же они не могли бы тебя, Иисусе, прославить,
От недостойных гремя к небу достойной хвалой.
Через Христа благочестье во мне благочестно глаголет —
Будь же этот глагол верным путем ко Христу.
Пусть не могу я увидеть тебя, но слова твои вижу —
И прозревать я могу божие Слово в словах.
В этих таится словах аромат небесного меда —
Тем, кто вкусил этих слов, сладостно все бытие.
В этих таится словах небесной дыхание жизни —
Жизни, которая в нем к мертвым нисходит телам.
Но без тебя никому не вкусить медвяной услады,
И без тебя никому этим дыханьем не жить.
Ты — медовый поток, духовным устам излиянный,
Ты — дыханье небес, сердце живящее нам.
Горечь из глубей души исторгает вкушение меда,
Дух зловонный людской тает в дыханье небес.
Се добродетель твоя пороки от нас отженила —
Да не вернутся они, Господи, с нами пребудь.
В храме твоем обитай, охраною будь и оградой
Нам и внутри и вовне: дом сей — обитель твоя.
Мне, кратковечному гостю земли, яви свою милость —
Дай причаститься тебе в жизни грядущей моей.
Ты — начало всего, благочестье тобою любимо,
И милосердье твое род осеняет людской —
Будь же им осенен и Григорий в высоком сиянье,
Правящий вслед за Петром первоапостольный Рим.
Меж соименников он — седьмой, так пусть семикратно
Будет он одарен бдящих дарами жрецов.
Пусть охраняет он мир меж верных царей и народов,
Пусть опекает покой, радостный церкви твоей.
Вспомни, боже, молю, и о кроткой Агнесе царице —
Той, что царю царей вверила царство и дух.
Отче, тобою в отцы нам дан Дезидерий желанный —
Будь благосклонен и впредь, отче, к желаньям его.
Рвеньем его возжены в Кассине несчетные светы —

Ты их, боже, узри светами звездных очей.
Сень Бенедикта узри, красоты средоточие многой,
Коей по воле его славится имя твое.
Сень Бенедикта узри, твоею хранимую властью,
Стройные сонмы узри чтущих святыню твою.
Благословенье даруй, излей на них влагу святую,
В коей и отчий и твой жив благодетельный Дух.
Ты иереев узри и диаконов с клиром и причтом,
Всех, кто в церкви твоей службу по чину несет,
Всех, кто соборно гласит твою высочайшую славу
В час дневной и ночной, сердце горе вознося.
Ты — их руки, ты — их очи, Господи правый,
Господи, ты — их уста, ты — их глубины души.
Меру мерой отмерь, заслугам воздай по заслугам,
Благодаренью же в нас нет и не будет конца.
Если процвел вертоград, насажденный тобой и любимый,—
Лучшие гроздия с лоз ты, Иисусе, сбери.
Горечи в них да не будет, чужой да не будет породы,
Чтобы чужая рука твой не похитила плод.
Господи боже, блюстителем будь и хранителем сада,
Будь отрадой ему вера, надежда, любовь.
Как херувимы твои — обетного стражи Эдема,
Так пусть пламенный меч нашу обитель хранит.

К МОНАХУ ВИЛЬГЕЛЬМУ, ГРАММАТИКУ

1. Дорогой Вильгельм, не смешно ли вспомнить,
Как передо мной, закусивши сытно,
Поносил ты то, что теперь ты хвалишь,—
Долю монаха?

4. Ты мне говорил: «Богачам — блаженство,
Ибо только им без труда и пота
Достается все, что на пользу людям
Создано в мире.

5. Ты и сам ведь был из числа богатых,
И пока твой дух изощрялся в знаньях,
Приносил тебе и казну и титул
Город Аверса.

6. Ради твоего и ума и нрава,
Ради всех друзей, что к тебе теснились,
Молви, отчего ты принять решился
Инока званье?

7. Ведь меня б ни честь, ни большие деньги
От мирской толпы не прогнали в келью,
Если бы не мысль, что в одном лишь в этом
Есть безопасность.

8. В сети ловит мир тех, кто предан миру,
Обольщает призраком лучшей доли
А потом, разя, отнимает разом
Все, что имеешь.

9. Это я читал и в старинных баснях;
Если склонишь слух к моему рассказу —
Согласишься сам, что в подобной притче
Истина скрыта.

10. Хитрая лиса, всех волков хитрее,
Убедила льва снарядить трирему,
Чтобы стать царем над морскою тварью,
Как над земною.

11. Вся толпа зверей, что при льве служила,
За своим царем поспешает следом
И, заполнив палубу, ждет, что скажет
Царственный кормчий.

12. Веет свежий ветр, надувая парус,
И плывет корабль по простору понта;
Но внезапно лев, окруженный зыбью,
Чувствует голод.

13. Первой жертвой льва пал медведь огромный,
За медведем вслед остальные звери,
День за днем собой утоляя муки
Львиной утробы.

14. Наконец, осталась одна лисица —
Биться ей со львом не под силу было,
И она уже о своем терзалась
Замысле горьком,

15. Как пришел на ум ей обман коварный,
И она кричит, что на ближнем бреге,
Ускользнув из свиты царя, пасется
Стадо оленей.

16. Лев, рассвирепев, приказал ей спрыгнуть
В море, плыть к земле и пригнать добычу
Прямо к кораблю; и спешит лисица,
Рада спасенью.

17. Выбравшись из волн на утес надводный,
«Нет,— кричит лиса,— не пойду я в море
С кормчим, для которого свой же спутник —
Лучшая пища!»

18. Грешный мир, как лев, погубляет присных;
Все его дары для людей опасны;
Кто вчера блистал в багрянице царской —
Ныне он нищий.

19. Я же налегке, не страшась разбоя,
С песней на устах прохожу по чащам;
Черный поворот колеса судьбины
Мне не опасен.

20. Ни к чему кошель, серебром набитый,
Ни к чему почет при застольях царских,—
Лучше скромный дар запивать Цереры
Соком Калена.

К АРХИДИАКОНУ ГИЛЬДЕБРАНДУ

1. Сколь великою славою
Государства блюстители
Облекались заслуженно,
От тебя, многознающий
Гильдебранд, не
укрылось,

2. Я уверен. О том твердит
И дорога Священная,
И утес Капитолия —
Самовластия тронного
И оплот и опора.

3. Но и подвигу трудному
Есть завистники злобные,
Во злонравье бесстыдные —
Даже самый достойный муж
Против них без защиты.

4. Яд язвительной зависти
Заразив злополучного
Безотрадною немощью,
Нас ввергает в несчастия
И к погибели близит.

5. Только ты не завидуешь
Ни единому смертному —
Нет, пусть люди завидуют
Твоему благоведенью,
Всякой меры безмерней!

6. Сколь полны справедливости
Приговоры высокие,
Без которых немыслимо
Нам добиться желанного
И достигнуть награды!

7. Сила духа могучая
И стремление к высшему,
Что нам в жизни даровано,—
Вот залог благотворности
Помышленья и дела.

8. Оттого-то по праву Рим
Над державами властвует,
Осеняя весь круг земной,
И свирепое варварство
В знатных землях
трепещет.

9. Ты, что меч принял
пламенный
От Петра первозванного,
Преломи их могущество
И надменность упорную
Вновь повергни под иго!

10. О, всесилье проклятия!
То, что некогда Марию
И державному Юлию
Доставалось оружием,—
Днесь покорствует слову!

11. Сципионы старинные
И квириты-воители
Неужели заслуженней
Перед римским могуществом,
Чем твоя непреклонность?

12. Многой славой покрытые
За служенье отечеству,
Эти мужи достойные
В светлом царстве вечного
Не обрящут покоя,

13. Гильдебранду сужденного
Там, где славой нетленною
Облечешься заслуженно,
Ибо равен апостолам
Ты для верного Рима.

Хильдеберт Лаварденский

Хильдеберт Лаварденский был тем из писателей рубежа XI и XII вв., в котором дух начинающегося средневекового гуманизма нашел наиболее чистое и ясное выражение. Он был моложе своих друзей Марбода и Бальдерика, но рано прославился как писатель и человек и пользовался среди них едва ли не наибольшим уважением в свою и последующую эпоху.

Хильдеберт родился в 1056 г. в Лавардене между Мансом и Блуа, в семье министериала. Учился он в Мансе и, может быть, в Туре; на смерть Беренгария Турского он потом сочинил большое и прочувствованное стихотворение. С 1085 г. он стал учителем в Мансской соборной школе, в 1901 г. получил сан архидиакона. К этим ранним годам относится большинство его стихотворений, изяществом стиля и возвышенностью мысли принесшее ему громкую славу среди современников. В 1096 г., «за ученость и досточестную жизнь» он был избран епископом Манса. Жизнь его сразу стала хлопотлива и тревожна. Графство Мэн, центром которого был Манс, являлось яблоком раздора между англо-нормандским домом и анжуйским домом. Не прошло и двух лет епископства Хильдеберта, как английский король, подозрительный Вильгельм II Рыжий, арестовал Хильдеберта по обвинению в сочувствии анжуйцам и увез его в Англию. Чувства, пережитые в этой поездке, нашли выражение в элегии Хильдеберта «О своем изгнании», дальним образцом которого был, конечно, Овидий, но дух и мысли которого поэт черпал в собственном опыте и в христианской философии. Английский плен был недолгим: Хильдеберту удалось выговорить себе отлучку во Францию; во время этой отлучки умер Вильгельм II (в 1100 г.), и Хильдеберт остался в Мансе. С новым английским королем Генрихом I Боклерком у Хильдеберта были неизменно добрые отношения. Его супругу, ученую Матильду Шотландскую, он наставлял, как Ансельм, и прославлял, как Марбод. Особенно же близок он был с двумя дочерьми Вильгельма Завоевателя, Аделью, графиней Блуаской, и Цецилией, аббатисой Канской. Все последующие годы жизни Хильдеберт был занят административными заботами, постройками, перепиской по богословским вопросам. В начале XII в. он ездил в Рим, еще лежавший в развалинах после битв 1084 г. между Генрихом IV и норманнами Роберта Гискара. Посещение Рима навеяло ему тему двух элегий, которые стали самыми знаменитыми его произведениями. Романтизм XIX в. почувствовал в них (особенно, конечно, в первой) подобие своей тоски по великому прошлому и не раз сравнивал их с «Римскими сонетами» Иоахима Дю Белле. В 1125 г.

70-летний Хильдеберт получил архиепископство в Туре — один из важнейших церковных постов во Франции. Здесь, в Туре, он и умер в 1133 г.

Хильдеберт не был великим мыслителем. Духовные вожди и старшего и младшего поколения, Ансельм Кентерберийский и Бернард Клервоский, относились к нему с уважением как к человеку и сановнику, но не как к богослову. Его философия проста: мир подвластен божьему закону, а стало быть, устроен справедливо и гармонично, и никакая игра судьбы не может нарушить душевный мир человека, преданного богу (основная мысль элегии «О своем изгнании»); первородный грех искуплен Христом, путь к богу для человека открыт, и от человека требуется только добрая воля следовать по этому пути (прославление божественной Троицы и небесного Иерусалима, ждущего праведных, содержится в знаменитом гимне Хильдеберта, начало которого переведено ниже); поэтому нет нужды в чрезмерном аскетизме, главное — выполнение своего человеческого долга и любовь к ближнему. Эта любовь к ближнему находит выражение в хильдебертовском культе дружбы и культе поэзии. Служение людям для него — служение богу, а поэзия — прежде всего выражение дружбы. Его общительность, «вежественность», куртуазность были еще мало привычны для современников и вызывали инотолкования: до Ивона Шартрского доходили слухи, будто Хильдеберт всегда окружен женщинами, даже в церкви, и имеет незаконных детей. Но это были наветы. Отношения Хильдеберта со знатными дамами англо-нормандского общества были отношениями того духовного наставничества, образцом которого для средневековья был Иероним. В его письмах к ним, прозаических и стихотворных, отсутствует даже тот переосмысленный эротизм, который мы найдем у Бальдерика Бургейльского. И все же для современников они были школой учтивости, и куртуазный XII век заучивал их наизусть.

В отношении к слову Хильдеберт был продолжателем гербертовского и цицероновского идеала. «Хорошая жизнь и хорошая речь неразрывны» — эта мысль повторяется им на разные лады много раз. Отсюда его забота о стиле: хорошо сказанное слово должно стать для читателя хорошо найденным жизненным путем, гармония слова должна научить человека гармонии духа. Хильдеберт — лучший стилист своего поколения; он ощущает разницу трех стилей — простого в деловой переписке, среднего в дружеской, пышного в почтительно-панегирической — и пользуется ими с большой гибкостью. Наиболее любит он средний стиль, в котором ему служит образцом Сенека, сравнительно малопопулярный в его время. Вслед за Сенекой он культивирует лаконизм, параллелизм, антитетичность, сентенциозность. Образцом этого стиля в поэзии может служить описание бури в элегии «О своем изгнании», в прозе — диалог «О невозмутимости» (диалог этот, по всей видимости, принадлежит не самому Хильдеберту, а кому-то из его многочисленных подражателей, но стиль Хильдеберта воспроизведен в нем безукоризненно). Произведения Хильдеберта были образцом для всего XII века: его называли «божественным», читали в школах, переписывали его письма вместе с письмами Сенеки, а стихи — с эпиграммами Марциала. Подражания ему были столь многочисленны, что выделить подлинные сочинения Хильдеберта из массы приписываемых ему — дело очень трудное и до сей поры окончательно не завершенное.

ПЕРВАЯ ЭЛЕГИЯ О РИМЕ

Нет тебе равного, Рим; хотя ты почти и разрушен —
Но о величье былом ты и в разрухе гласишь.
Долгие годы твою низринули спесь, и твердыни
Цезаря, храмы богов ныне в болоте лежат.
Рухнула мощь, эта мощь, приводившая некогда в трепет
Грозный Аракс, что теперь горько о ней же скорбит [1].
Рим мечами царей, неусыпной заботой сената,
Волею вышних богов мира владыкою был;
Рим, над коим мечтал быть Цезарь единым владыкой,
Властолюбиво поправ дружбу и узы родства;
Рим, усилясь втройне, вражду, преступления, дружбу
Завоевал и пресек и, одаряя, обрел;
Рим, создаваясь, храним был твердо заботами знати,
Силой соседей своих, морем и местом своим.
Дерево, и мастера, и деньги с севера, с юга
Шли, и служило стеной самое место ему.
Щедрыми были к нему и вожди, и счастливые судьбы,
Каждый художник, весь мир Риму дары свои нес.
Град сокрушился, но в честь ему и великую славу
Только одно я хочу вымолвить: это был Рим!
Но ни годов череда, ни меч, ни пламя пожара
Не были в силах дотла славу его сокрушить.
Рим стараньем людей воздвигнут был столь величаво,
Что и старанье богов не сокрушило его.
Мрамор опять собери, и богатства милостью вышней
Нового пусть мастера будут стараться достичь.
Но не удастся создать никогда им подобной твердыни,
Даже развалин ее не восстановят они.
Столько осталось еще и рухнуло столько такого,
Что не сравнимо ни с чем и не воскреснет опять.
Здесь даже боги богов изваяниям сами дивятся
И походить на свои изображенья хотят.
Не в состоянье была дать богам такой облик природа,
В коем их дал человек на удивление всем.
Лики живые у них и, взирая на них, почитают
Дело художника здесь больше, чем их божество.
Город счастливый, когда б у него были власти другие
И не стыдились познать истину веры они!

ВТОРАЯ ЭЛЕГИЯ О РИМЕ

В оное время, когда молился я идолам ложным,
То возвышали меня стены, мечи и мужи.
Ныне, когда я отверг алтари, суеверья, кумиры,
Властен один надо мной правый и истинный бог:

Рухнули стены твердынь, во прахе дворцы богатеев,
Рабствует низкий народ, и вырождается знать.
Стерто все, что прошло, нет памяти в Риме о Риме,
Сам я себя позабыл в этом упадке моем.
Но пораженье мое для меня драгоценней победы —
Пав, я славней, чем гордец, нищий, богаче, чем Крез.
Больше дала мне хоругвь, чем орлы, апостол, чем Цезарь,
И безоружный народ — чем победительный вождь.
Властвовал я, процветая, телами земных человеков,—
Ныне, поверженный в прах, душами властвую их.
Я подавляю не чернь, а черные адовы силы,
Не на земле — в небесах ныне держава моя.
Да не обманет меня обманчивый призрак величья —
Это не Цезаря дар и не добыча меча:
Сила иссякла в мечах, высокая слава сената
Стихла, во прахе лежат храмы, театры молчат,
Форум безлюден и пуст, законы безгласны, заслуги
Праздны, без власти — народ, и без земли — селянин.
Стойкий боец, суровый судья и чернь площадная
Ищет, хочет и ждет праздности, денег, ярма.
Все ничтожны — затем, чтоб надежды на них не питали
Люди: надежда одна людям — святыня креста.
Крест обещает иные чертоги, иные почеты,
Крест героям креста высшие царства сулит.
В прахе пред ним короли, пред законом свобода смирилась,
Стал венценосец рабом — царствуя, рабствовать рад.
Скряга именье раздаст, но станет, раздавши, богаче —
Ибо сторичной лихвой в небе оплатится вклад.
Цезарь ли мощным мечом, или консул разумной заботой
Или оратор, чья речь и высока и сильна,
Эту мне долю стяжал? Науки, законы и сила
Землю мне дали во власть; крест даровал небеса.

О СВОЕМ ИЗГНАНИИ

Некогда был я богат и многими счастлив друзьями,
И улыбалася мне долгое время Судьба.
Щедро Церера и Вакх и Аркадии бог наполняли
Житницу, погреб и хлев овцами, хлебом, вином.
Пчелы, служанки, сады плодами, коврами и медом
Обогащали мой стол, кубки мои и весь дом.
Перстнями пальцы мои отягчались, плодами — деревья,
Полны травою луга были, стада — молоком.
Горы припасов, покой нерушимый, друзей изобилье
Радость давали и сон, да и разумный совет.
Стоит ли мне вспоминать подробности жизни блаженной?
Счастье всегда и во всем было в руках у меня.

Ты бы поклялся, что я благосклонностью пользуюсь вышних,
Раз у меня никаких не было вовсе невзгод.
Я изумлялся, Судьба, что ты верным мне служишь оплотом,
Я изумлялся такой стойкости, чуждой тебе.
Часто я думал тогда, к чему же ведет это счастье,
Что означает успех, вечный и быстрый во всем?
Горе мне! Нет ничего неизменного в участи нашей:
Непостоянна она и ненадежна всегда.
Тщетны успехи: людей их жребий уносит по ветру
И низвергает он их в бездну с вершины высот.
Шатко ведь смертное все и от случая вечно зависит,
Движется все и всегда без остановки бежит.
То, что сегодня твое, у тебя может завтра исчезнуть,
Даже назвать ничего ты не успеешь своим.
Смены — игрушки Судьбы превратной: царей горделивых,
Как и ничтожных рабов,— всем досаждает Судьба.
Спутник коварный она, своему легкомыслию верный:
Вечно не благоволит и не гнетет без конца.
Долго, лаская меня, она льстила мне светлой улыбкой,
Но изменила потом, и помрачнел ее лик.
Будто готовя навек мне, несчастному, горькую гибель,
Радостной мне не дала вовсе надежды она:
Свой обнаружив обман, затопила, сожгла, загубила
Нивы, дома, виноград ливнями, снегом, огнем.
Все до конца извела, разорила дотла, сокрушила
Бурями, хворью, мечом жатву, плоды и стада.
Худшее в бедах моих — жестокий тиран и гонитель,
Всякий поправший закон здесь, в ценоманской земле [2].
Предкам — вечный позор, что родили такого потомка,
Чей изворотливый нрав злее Фортуны самой.
Отчую землю срамя, меня он, блюдущего строго
Верность законам святым, выгнал из отчей земли.

Вот я всхожу на корабль, судьбу доверяю теченьям,
Ветер надул паруса, весла ударили в лад.
Пристань уже далека; вдруг Австр, налетающий с юга,
Жарким дыханьем дохнул, взрыл бороздами валы,
Буря сильней, вихрь крутит ладью, разверзаются бездны,
Парус под ливнем намок, в ночь обращается день.
Ветер, море, скала — порывом, волненьем, ударом
В ужас ввергают пловца, небо огнями страшит.
Словно на утлый челнок обрушилось все мирозданье:
Всюду, куда ни помчит, злая стихия грозит.
И наконец, уже в самый разгар свирепеющей бури,
В миг, как был я готов рыбам добычею стать,
Хищный бурун, до самых небес взметнувшийся гребнем,
Судно, уже без кормы, выбросил вдруг на песок.
Так, счастливый в беде, без судна, без крова, без скарба

Вырвался я из пучин, ветра, утесов, громов.

Вот человечий удел, вот наша природная участь,
Вот чему человек даже в несчастии рад.
Отроду велено нам скользить по течению века,
И неизвестно, когда гибель кого стережет.
Велено нам нагими родиться, нагими вернуться
К матери нашей земле, не сохранив ни гроша;
Велено голод терпеть и велено мучиться жаждой,
С каждым шагом слабеть, в прах обращаясь и тлен.
Вот достоянье людей, вот наше наследье земное,
Вот что будет при нас дольше и крепче всего.
Все остальное добро нам служит от срока до срока:
Утром был ты богач, вечером будешь бедняк.
Люди не могут вещам повелеть: «пребудь!» или «следуй!» —
Нет над миром земным власти такой у людей.
Властен единый Господь, он ставит устав мирозданья
И указует вещам должное место и путь.
Мыслью одной и волей одной он провидит и движет
Все, чем движется мир: мысль в нем и дело — одно.
Все, что творимо, творя, царит он не силой, а волей,
Вид назначает всему, место, и время, и цель.
Все на свете растет, и все отживает, и мера
Всем переменам — закон, а неизменен — творец.
Он неизменен один, всё движущий; в горьких недугах
Он земнородным один — всех упований залог.
Можно ли верить в судьбу? Фортуна, что ты такое?
В чем, скажи, твоя власть? В том, что дозволит Господь!
Что мне теперь до тебя, о Фортуна? Грозясь или ластясь,
Ты не заставишь меня ни ликовать, ни скорбеть.
Он весь — мощь, весь — мягкость и лад, весь — строй и согласье,
Пусть, что хочет, вершит: я покоряюсь ему.

СЛАВОСЛОВИЕ ТРОИЦЕ

Элои, предивный Боже,
С кем ничто нисколь не схоже,
Все создавший изволеньем,
Все объявший разуменьем,
Чье творенье безупречно,
Чье явленье бесконечно
Над вселенной, под вселенной,
Вне вселенной, во вселенной:
И вовнутрь не заключимо,
И вовне не отлучимо,
В высоту не удалимо,
В глубину не уловимо;
Выше горних возвышаясь,
Глубже дольних сокрываясь,
Все отвсюду обнимая,
Все повсюду исполняя,
Ты внутри вещей не сдержан
И вовне их не извержен,
Ничему ты не подвержен,
И ничем ты не поддержан!

Движешь все — и неподвижен,
Мыслишь все — и непостижен,
В беге времени предвечен,
И в конечном бесконечен,
И пространством не уловлен,
И ничем не обусловлен,
И ничем не ограничен,
И от всех вещей отличен,
Не подвластен дольней мере
И открыт единой вере;
Самосущий Ум верховный,
Ты даруешь строй духовный,

По предвечным изволеньям,
Вещества круговращеньям...
. . . .

ХРИСТОС О СЕБЕ САМОМ

Море, земля, небеса подвластны мне; царь я единый.
Всё я от века творю, единый творением правлю.
Путь я добра, бытия надежда, ворота спасенья;
К родине жизни стремясь всей душою, ко мне приходите.

ИЗРЕЧЕНИЯ МУДРЕЦОВ

Что есть вершина добра? Постоянная чистая совесть.
Гибельно что для людей? Одни только люди другие.
Кто же богат? Кто отнюдь не жаден. Кто беден? Скупые.
Лучшим приданым жене что служит? Ее непорочность.
Кто целомудренна? Та, какую молва не порочит.
Что обличает глупца? Что он хочет вредить, но не может.
Кто осмотрителен? Тот, кто может вредить, но не хочет.

ТРИ ОБИТЕЛИ

Три обители наши суть дом, могила и небо.
В дом ворота ведут, в могилу — лопата, молитва —
К небу; смерть сторожит нас в дому, а черви — в могиле,
Ангел — в небе; юдоль — в дому, покой нам в могиле
И ликование — в небе: таков удел их троякий.
Первые две — от греха, а третья — дар благодати.

ГЕРМАФРОДИТ

В месяцы те, когда меня мать носила во чреве,
Боги сошлись на совет: судят, кого ей родить.
«Мальчика!» — Феб говорит; Марс — «Деву!»; «Ни то, ни другое!» —

Спорит Юнона; и я — гермафродитом рожден.
Время пришло умирать. «На кресте!» — «От меча!» — «От потока!» —
Вновь трояко гласят Марс, и Юнона, и Феб.
Дерева сук нависал над водой; на сук залезаю;
Выскользнул меч из ножон; падаю горлом на меч.
Тело — в ветвях, голова — в потоке; вот так и пронзен я,
И утонул, и распят — женщина, муж и никто.

НА МИЛОНА

Перец, плащи, фимиам, серебро, драгоценные камни —
Все продаешь ты, Милон, все выпускаешь из рук.
Только не знаешь того, что жена твоя лучше товаров:
Сколько ее ни продай, всё не убудет добра.

БАРИН И СЛУГА

Барину молвил слуга: «Служить тебе буду бесплатно,
Если за это мне дашь спать со служанкой любой».
Вот договор заключен; чтоб исполнить свое обещанье,
Барин служанку зовет на ночь как будто к себе.
Вместо себя кладет он слугу; но она подсылает
Вместо себя госпожу. Вскрылся двойной их обман.
Барин в суд подает; смеется народ и решает:
«Женщинам хитрым — хвала, жадному мужу — урок».

О НЕВОЗМУТИМОСТИ

Невозмутимость должна облегчать тягости судьбы. В соответствии с этим говорит Гораций:

И в беде большой, ко всему готовый,
Жив надеждой, но средь удач опаслив;
Зиму лютую, приведя, сживает
Тот же Юпитер.
Плохо пусть сейчас — ведь не все ж так будет...

И приятен придет к себе час совершенно нежданный [2].

На это достоинство так возражает Страх:

Разговор Невозмутимости со Страхом

Страх говорит: Умрешь.

Невозмутимость: Такова природа людей, а не кара. Мы пришли и должны уйти.

С. Умрешь.
Н. По всенародному праву надо возвращать взятое.
С. Умрешь.
Н. Жизнь человека — странствие: после долгого пути тебе приходится вернуться.
С. Умрешь.
Н. Глупо бояться того, чего избежать невозможно.
С. Умрешь.
Н. Можно было подумать, что ты сообщишь какую-нибудь новость; на это мы пришли, это наше дело, к этому ведет нас каждый день. При нашем рождении в этот мир такой предел положила нам природа. На что же нам досадовать?
С. Умрешь.
Н. Лукан говорит:

...последняя кара —
Смерть не пугает мужей [3].

С. Умрешь.
Н. Смерти не избежать и не отсрочить.
С. Умрешь.
Н. Не мы первые, не мы последние; многие были до нас, многие последуют за нами.
С. Умрешь.
Н. Таков удел человека.
С. Умрешь.
Н. Мне известно, что я существо разумное и смертное.
С. Умрешь.
Н. Однажды это не тяжко.
С. Умрешь.
Н. Такова участь всего рождаемого: всякому началу бывает конец.
С. Умрешь.
Н. Никто из смертных нас этим не запугает.
С. Умрешь, тебе отрубят голову.
Н. Зарубят или заколют — это безразлично.
С. Тебя забьют и пронзят мечами.
Н. Сколько бы ни было ран, лишь одна смертельна.
С. Умрешь на чужбине.
Н. Дорога на небеса для всех едина.
С. Умрешь на чужбине.
Н. Мы готовы уплатить долг, где бы ни потребовал его заимодавец.
С. Умрешь на чужбине.
Н. Ни одна страна не чужда смерти.
С. Умрешь молодым.
Н. Это одно равняет молодого со стариком.
С. Умрешь молодым.
Н. Гораздо лучше умереть, чем радоваться жизни.

С. Умрешь молодым.

Н. Гораздо лучше умереть раньше, чем захочешь; как говорит Ювенал:

Вот наказание долго живущим: влачить свою старость
При непрестанных семейных потерях, во многих печалях,
Средь постоянного горя и в траурных черных одеждах [4].

И Лукан:

Если день смертный с концом благоденствия слиться не может
И не спешит отвратить печалей ранняя гибель,—
Прежнее счастье нам стыд. И кто благосклонному року
Смело доверит себя, не будучи к смерти готовым? [5]

С. Умрешь молодым.

Н. Может быть, судьба избавит меня если не от какого-нибудь другого зла, то вот хотя бы от старости.

Надо бояться не ранней могилы, не горькой кончины,
Нет: страшнее, чем смерть, для роскоши — нищая старость [6].

С. Умрешь молодым.

Н. Дело не в том, сколько мне лет, а в том, сколько для меня приемлемо. Если я не в состоянии продолжать жизнь — это и есть наша старость. Всякий достигший сужденного ему предела умирает стариком.

С. Тебя не похоронят.

Н.

... не страшно могилы лишиться [7].

... Не все ли едино — истлеют
Или сгорят мертвецы? В объятиях кротких природа
Все успокоит тела, а погибнет ведь каждое тело...
Смерть непокорна судьбе: и всё, что земля породила,
В землю уйдет: небеса не имеющих урны укроют [8].

С. Тебя не похоронят.

Н. Если я ничего не буду чувствовать, то до лишения могилы для тела мне дела нет. Если же я буду чувствовать, то всякая могила — мучение.

С. Тебя не похоронят.

Н. Безразлично, поглотит ли меня огонь, дикий зверь или земля. Смерть — конец всему.

С. Тебя не похоронят.

Н. К чему бояться самого несомненного?

С. Тебя не похоронят.

Н. Похороны придуманы не ради покойников, а ради живых, дабы, щадя наши глаза, удалить от них трупы, отвратительные по виду и запаху.

С. Заболеешь.

Н. Придет время это испытать. Храбреца увидишь не только в море или в сражении. Доблесть обнаруживается и в постели.

С. Заболеешь.

Н. Либо я расстанусь с лихорадкой, либо она со мною. Дело у меня с болезнью: она либо победит, либо будет побеждена. Существовать вечно я не могу.

С. Люди будут тебя злословить.

Н. Я бы огорчался, если бы это делалось по справедливости, но делается это по злобе. Не способные к доброму слову поступают так не потому, что я этого заслуживаю, а по привычке. Ругань невежд надо выслушивать невозмутимо, и идущему честными путями следует презирать человека презренного.

С. Будешь изгнан.

Н. Ошибаешься: что бы я ни делал, меня нельзя лишить родины. Родина у всех одна, покинуть ее никому невозможно.

С. Будешь изгнан.

Н. В какую бы землю мне ни прийти, я прихожу в свою. Никакая земля не место изгнания, но вторая родина.

С. Ты не будешь на родине.

Н. Я всюду на родине там, где мне хорошо. А причина, почему хорошо, зависит от человека, а не от места.

С. Тебе грозит горе.

Н. Если оно невелико, мы его перенесем; если тяжело, перенесем потому, что нелегко честолюбие.

С. Горе жестоко.

Н. Оно бессильно при терпении.

С. Немногие способны сносить горе.

Н. Будем же в числе этих немногих.

С. Мы слабой природы.

Н. Я не хочу винить природу. Она родила нас стойкими.

С. Мне угодна бедность.

Н. Нет ты угоден бедности. Порок не в бедности, а в бедняке.

С. Я бедняк.

Н. Ты не бедняк, но это тебе кажется. У птиц нет ни в чем недостатка, овцы живут настоящим днем. Большие деньги, большое чванство.

С. Я немощен.

Н. Радуйся, не будешь немощным.

С. У него большие деньги.

Н. Ты признаешь его человеком? Сундук полон, а тот, кого считаешь владельцем денег,— гроб.

С. Он очень богат.

Н. Если он скуп, он неимущ, если он расточитель, он разорится. Тот, кого ты считаешь счастливым, часто горюет, часто вздыхает.

С. У него большая свита.

Н. Мухи идут на мед, волки — на трупы, муравьи — на зерно. Эта свита идет за добычей, не за человеком.

С. Я загубил деньги.

Н. Может быть, они бы тебя загубили.

С. Я загубил деньги.

Н. Это будет твоей жертвой.

С. Я загубил деньги.

Н. О счастливец! Если с ними ты загубил и скупость... Но если она у тебя осталась, ты все-таки счастлив, раз исчезла пища для твоего недуга.

С. Я загубил деньги.

Н. Их для тебя загубил другой.

С. Я загубил деньги.

Н. Тебе будет легче в дороге, дома безопаснее.

С. Я потерял глаза.

Н. Но у него они есть, а радостей нет.

С. Я потерял глаза.

Н. Ум имеет свои глаза, для многих страстей путь очень дорог. Многого ты будешь лишен, но, чтобы не видеть этого, стоило вырвать глаза. Слепота — часть невинности. Одному глаза показывают прелюбодеяние, другому дом, которым он страстно желает владеть, третьему город.

С. Я потерял детей.

Н. Глуп оплакивающий смерть смертных, погибли обреченные на гибель, их не отверг, а принял Бог.

Таким образом, Страх, никогда не способный подать верного совета, окончил войну с Доблестью.

Справедливо то, что мы читаем у Горация:

> Кто прав и к цели твердо идет, того
> Ни граждан гнев, что рушить закон велят,
> Ни взор жестокого тирана
> Ввек не откинут с пути...[9].

Лукан:

> ... Многих людей кидает часто в опасность
> Страх пред грядущей бедой; и самым храбрым бывает
> Тот, кто способен терпеть вблизи угрожающий ужас[10].

«Свойство бодрого и непоколебимого духа состоит в том, чтобы не приходить в замешательство в трудных и сомнительных делах, чтобы при таких случаях не лишиться разума, но всегда применять здравое рассуждение и не отступать от благоразумия»[11]. Есть еще сверх того многое, что нас пугает, что нас гнетет, и мы страдаем больше от вымыслов, чем на деле; поэтому не печалься раньше времени, раз то, чего ты испугался как грядущего, может быть, никогда и не случится.

Марбод Реннский

Марбод Реннский был самым старшим из трех луарских поэтов XI в. Это чувствуется и в его пристрастии к традиционной религиозной тематике (от которой он отступал лишь с угрызениями совести), и в его верности дидактическому духу поэзии X—XI вв., и в его привязанности к леонинской рифме — звонкой средневековой потехе, от которой классицисты Хильдеберт и Бальдерик уже отказывались. В творчестве своем Марбод однообразнее, важнее, ученее и строже своих современнников; отсюда, конечно, проистекало то чрезвычайное почтение, с которым они всегда отзывались о нем и обращали к нему свои послания

Марбод родился около 1035 г. в Анжере и прожил там бóльшую часть своей жизни. Он учился в анжерской соборной школе, а потом сам был там учителем; с 1069 г. он занимал пост канцлера анжуйского графства. Здесь, в годы ученичества и учительства, была написана большая часть его стихотворений. Среди них — гимны метрическими и ритмическими размерами, представленные здесь тремя сапфическими стихотворениями в честь святых иереев, на три способа варьирующими один и тот же набор мотивов; среди них — послания, эпиграммы, эпитафии, стихотворения на случай и прочие жанры, практиковавшиеся в школах. Несколько из них переведено ниже; правда, принадлежность Марбоду одного из них — басни об овчаре и волке — сомнительна. Наконец, Марбод сочинил несколько стихотворных житий (блаженного Маврилия, покровителя Анжерской церкви; св. Таисии, обращенной египетской блудницы; Теофила, продавшего душу дьяволу, о чем до Марбода писала Хротсвита, а после Марбода — Рютбёф; мучеников Лаврентия, Маврикия и др.) и переложил в небольшие поэмы несколько эпизодов Ветхого Завета — книгу Руфь, историю пророка Ионы, похищение Дины, дочери Иакова, мученичество Маккавеев.

Для школьных же нужд Марбод сочинил две дидактические поэмы: во-первых, небольшой стихотворный трактат «О словесных украшениях» (определения стилистических фигур, заимствованные из древнеримской «Риторики к Гереннию», и стихотворные иллюстрации на каждую фигуру и, во-вторых, большую «Книгу о камнях» — сочинение, которым он снискал наибольшую славу. Это — описание 60 драгоценных камней (включая и магнит, и коралл), о каждом из которых сообщается, как он выглядит, где и как добывается и какую имеет целебную или магическую силу. Основными источниками Марбода здесь служили Исидор Севильский и эпитоматор Плиния Старшего Солин.

Поэма Марбода пользовалась широчайшим распространением как научно-популярное сочинение и в последующие века была переведена на французский, английский, датский и итальянский языки. В 1096 г. 60-летний Марбод должен был покинуть анжерскую школу и отправиться — с большой неохотой — епископом в Ренн, в Бретань. Среди административных забот и переписки по догматическим вопросам он нашел здесь время, чтобы вернуться к поэзии, и написал свое самое «личное» произведение — «Книгу десяти глав». Десять глав — это медитации на различные темы: «О должном образе сочинительства», «О времени и возрасте», «О блуднице», «О матроне», «О старости», «О роке и бытии», «О наслаждении», «Об истинной дружбе», «О благе смерти» и «О воскресении плоти» — весь набор вопросов, возникающих в старческих мыслях о смысле жизни и истинном благе. Образцом сурового пафоса, проникающего это сочинение, может служить приведенная ниже глава «О блуднице». Характерно начало «Десяти глав», в котором он отрекается от легкомысленных стихов своей молодости во имя простоты и пользы:

То, что писал я юнцом, перечитывать в старости стал я.
Стыд меня обуял, пожалел я об этих писаньях:
Как потому, что предмет легкомыслен и суетен слишком,
Так потому, что искусство писца могло быть и выше.
Нет достоинства в них — ни в выдумке, ни в исполненье,
Лучше погибнуть бы им иль вовсе на свет не родиться!
Но не воротит никто из уст излетевшее слово,
И человеку нельзя поправить былую ошибку.
Что ж, остается тогда мне быть осторожней в дальнейшем,
Чтоб ничего не сказать без искусства, не молвить без пользы,
Ибо теперь для меня и прежнего нет оправданья,
В юности глупой моей, легкомысленной и неумелой,
Коей прощалась вина за то, что опыта мало...

Только в глубокой старости удалость Марбоду избавиться от епископства, вернуться в родной Анжер и уйти от забот в монастырь св. Обэна. Он умер в 1123 г.

ТРИ ГИМНА О СВЯЩЕННИКАХ [1]

I

В оный день, когда торжеством уставным
Верные святят иереев память.
Вся отходит почесть к Тебе, Великий
Первосвященник [2]:

Лишь тобой одним возмогли святые
Обратить в ничто все лукавства века,
И осилить ложь, и расторгнуть сети
Сладких соблазнов;

Но была и скорбь отвратить бессильна
От прямой стези совершенной веры
Тех, чей светлый дух возгорался дивно
Светлой надеждой.

Через то, скончав все труды, по праву
Обретя в селенье небесном домы,
Ныне пребывают святые души
В мире всецелом.

Славу, и хвалу, и почет верховный
Горнему Царю и святому Богу
В хоре всех вещей да возносят стройно
Время и вечность.

II

Это хор святых иереев Божьих,
Хор священников, не солгавших Духу,
Хор благоразумных рабов, по правде
Церкви служивших:

Ибо, восприяв благодать, неложно
Дар блюли они, для духовной брани
Препоясав чресла, неся в лампадах
Ясное пламя [3].

Через то, что сами себя смиренно
Лишь за малых слуг клиентелы Божьей
Почитать дерзали они, свершилось
Дело служенья;

Бодрственны душой, неусыпны сердцем,
Дождались они, как Хозяин в полночь
Постучался в дверь, и тотчас по зову
Вышли навстречу.

Славу, и хвалу, и почет верховный
Горнему Царю и святому Богу
В хоре всех вещей да возносят стройно
Время и вечность.

III

К тем, кто столь благой возблистал заслугой,
Вышнего Царя всеблагая милость,
Полною за все воздавая мерой,
Молвит приветно:

«Ей, возлюбленные, войдите в радость
Вы мою навек, усладитесь дивно;
Тот, кто верность в малом явил, над многим
Будет поставлен» [4].

Вас прияли ныне селенья Рая,
Вам сияет ныне спасенья благо,
Но спасите нас, изнемогших духом
В плотских оковах!

Славу, и хвалу, и почет верховный
Горнему царю и святому Богу
В хоре всех вещей да возносят стройно
Время и вечность.

МОЛИТВА К БОГУ

Лишь помыслю, сколь прилежно
Сердцем я лелею нежно
То, что сгинет неизбежно,
Ибо Смерть царит безбрежно;

Лишь представлю гроб и тленье,
Тела бедного истленье,
Духа грешного растленье,
Срока судного явленье [5],—

В самой глубине душевной,
На свои же скверны гневный,
Отлагаю лад напевный,
Воздымаю стон плачевный.

Стон плачевный воздымаю,
Глас прискорбный возвышаю,
Огнь сердечный возжигаю,
Ужасаясь, воздыхаю.

Сколь томится дух скорбящий,
Видя близость кары вящей,
Образ Смерти предстоящей,
Зрак Геенны, нам грозящей!

Сыне Божий, звезд Зиждитель,
В ком Себя явил Родитель,
Неба и земли Правитель,
Будь погибшему Спаситель!

Ибо помню, Иисусе,
О запрете, об искусе,
О плода греховном вкусе,
О праматери укусе;

Но чрез Ту, что вслед за нею
Мы узрели, как лилею [6].
Мне, злонравному злодею,
Дух очисти и психею [7].

Воздаем Христу хваленья,
И Марии псалмопенья,
Чьи да сохранят моленья
Грешных нас от осужденья.

КРАСОТЫ ВЕСНЫ

Нрав мой смягчает весна: она мне мила и чудесна.
Не позволяя уму погружаться во мрачную думу,
Я за природой иду и рад ее светлому виду:
Вся зеленеет земля, ее зову весеннему внемля,
Всюду пестреют цветы, листвою деревья одеты,
И созревают плоды, повинуясь веленьям природы.
Слышны уже голоса из чащи ожившего леса;
И соловей прилетел, и дрозд, и синица, и дятел;
Гнезда пернатые вьют и бесперых птенцов укрывают,
Пряча в укромных кустах и в густо разросшихся травах.
Полны цветами сады, и люди их прелести рады;
Льется тепло на поля, колосья хлебные холя,
А винограда лоза краснеет, что яркая роза.
У родниковой воды резвятся девиц хороводы
И, презирая тоску, заводят юноши пляску.
Все веселятся кругом, встречаясь с подругой и с другом,
Только угрюмый молчит и сам себя злобою мучит,
Видя земли красоту, но свою не оставив заботу.
Злобствует тот на Творца, у кого нет веселого сердца:
Бог ведь и лето нам дал и зиму с весной этой создал.

О ПРИСВОЕНИИ АББАТОМ ЕПИСКОПСКИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ

Ежели носит аббат все знаки епископской власти,
То есть с печатью кольцо, перчатки, сандалии, митру,
Он не аббат, но ведь он в то же время еще не епископ,
Как величают его, хоть он ни то, ни другое.
Словно кентавр, для меня он урод двоякого вида:
Изображая себя епископом, все же аббат он.

Попросту это осел, напяливший львиную шкуру,
Или же он лицедей, надевший чужую личину.

КРАЖА ПЕТУХА, ДОКАЗАННАЯ ПЕТУХОМ

Был у вдовицы петух, петух этот съеден был вором.
Вора корила вдова; тот говорил, что не крал,
Да и поклялся. Но вот у клятвопреступника в брюхе
Закукарекал петух и доказал воровство.

ЛЕОПАРД

Я и не лев и не пард, но зовусь я по ним леопардом.

СТИХОТВОРНЫЕ БЕЗДЕЛКИ

Скопище туч, солнца луч, с горных круч ниспадает, кипуч, ключ.
Свет рассевает бред, стынет след, и минующих лет нет.
Белый снег, быстрый бег, дальний брег и недолгий людской век.
Новь и старь, полный ларь, гордый царь, грубый псарь — всё одна тварь.
Черная топится смоль, вьется моль, бьется боль, солона соль.
Тяжек вьюк; гнется лук, слишком туг, вырываясь из рук вдруг.
Тверд под пилою дуб, крепок сруб, и становится туп зуб.
Мерзостен сброд; но знатный род хороший несет плод.
В поздний час дремлет глаз, но доносится сказ, и гласит глас.
Мягок мох, тяжек вздох, но блюдет в нашем доме порог бог.
Тянется шест, и рушится пест, и под сонмами звезд — крест.
Враг лукав, дух же здрав, крепок нрав, и превыше всех прав — прав!

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ВОЛК ОБМАНУЛ ОВЧАРА

Некий повадился волк по просторам пастбищ обширных
Вольно бродивших овец у овчара похищать.
Не было сил пастуху с разбойником справиться дерзким,
И наконец он решил хитростью вора поймать.
Вот и замыслил тогда он верхушку гибкого дуба
Так изогнуть, чтоб она к самой приникла земле.
Петлю затем привязав к вершине изогнутой книзу,
Палочкой легкой на ней он прикрепил западню.
Палочка эта была пристроена так, чтобы сразу
Тот, кто бы сдвинул ее, тотчас же в петле застрял.
К петле же он подвязал ягненка голову, чтобы
Палка упала, когда голову станут тянуть.
После овчар отошел, а польстился на выдумку эту
Волк и сейчас же схватил голову в хищную пасть.

Палочка сдвинулась тут, и хищника петля зажала,
Дуб разогнулся, и вверх вздернулся с волком силок.
Только заметил овчар, что в петлю попался разбойник,
Стал в него камни бросать, чтобы скорее добить.
Множество ран получил, чуть не до смерти был искалечен
Волк, задыхаясь в силке, крепко стянувшем его.
Чтобы замучить вконец, пастух стащил его наземь,
Поднял дубину и так волку он стал говорить:
«Камни тебе нипочем, но я мозг тебе выбью дубиной,
Тризну свершив наконец в честь моих бедных овец».
«Смилуйся,— волк завопил,— надо мною, пастух благочестный,
Выслушай то, что тебе в кратких скажу я словах:
Коль соизволишь теперь ты жизни меня удостоить,
То я сторицей тебе все, что украл, возмещу.
Нет здесь при мне ничего, но если меня ты отпустишь,
Я не надую тебя, дам тебе верный залог.
Этим залогом пускай мой собственный будет волчонок,
В том, что к тебе я вернусь в точно назначенный день.
Если ж к тебе не вернусь, никакого не будет ущерба,
Ежели вместо меня, старого, сгибнет юнец.
Больший бы вред он принес, чем я, коль в живых я останусь.
В том же, что я поплачусь, выгоды нет никакой:
Что тебе шкура моя? на обувь она не годится,
Что тебе мясо мое? есть ты не станешь его.
Вот и не знаю, зачем меня, бедного, хочешь прикончить,
Раз никакой от меня пользы не будет тебе».
Словом, как только в залог он взял молодого волчонка,
Волку назад убежать дал легковерный овчар.
Тот же надуть овчара задумав уловкою хитрой,
Скоро монаха нашел вместе со служкой его.
«Здравствуй, отец мой,— сказал,— моей не презри ты просьбы
И не отвергни меня за прегрешенья мои.
Искренне каюсь я в них, мне мерзостны блага мирские,
Мучаюсь тем, что всегда резал невинный я скот.
Пользы в том нет никакой, чтобы тело соблазнами тешить,
Если надежды на то, что я спасен буду, нет.
Розгой меня ты секи иль бичом хлещи ты нещадно,
Только, молю я, мою душу ты Богу верни.
Волосы мне остриги, на макушке мне выбрей гуменце,
После ж обритого так в рясу меня облеки.
Ты не подумай, что я получить это даром желаю,
Нет, за все это вперед дам тебе в дар я овцу.
Коль не по нраву тебе из овечьего мяса трапезы,
Мясо ты служке отдай, сам же возьми себе шерсть».
И не успел получить монах этот ценный подарок,
Как он, сейчас же, схватив ножницы, волка постриг;
Голову всю окорнал, и такое он выбрил гуменце,
Что от ушка до ушка стало все голо кругом,

Он наставление дал, как должно вести себя, волку,
Куколь напялил ему и повелел уходить.
День наконец наступил для возврата заложника данный;
Волк в этот день обещал снова прийти к пастуху.
Он и пришел, но пастух едва опознать мог пришельца,
Ибо из черного волк стал уже бурым теперь.
«Что с тобой сталось,— спросил,— почему ты с тех пор изменился,
Как был похищен силком ты, похититель овец?»
Голову тот наклонил, промолвил «благословите»,
Морду слезами залил и таковой дал ответ:
«В изнеможенье от ран, какие нанес ты камнями,
Я тяжело захворал и обратился к врачу.
Он же, взяв лапу мою и пощупав мне пульс ослабевший,
«Выживешь ты,— говорит,— вряд ли, скорее помрешь».
Тут появился монах навестить страдавшего тяжко,
И в злодеяньях моих он мне покаяться дал,
Но освятил он меня надеждой, что тот не погибнет,
Кто, греховодником быв, все же достойно умрет,
И, наконец, убедил отказаться от грешного мира,
Голову выбрил мою и в эту рясу облек.
Только оставил я свой злобный норов и прежнюю пищу,
Мне полегчало, и вот сразу поправился я.
Ныне же, раз присужден заложник мой с жизнью расстаться,
То, чтоб мой сын не погиб, жизнь отдаю я свою.
Но возвращаясь сюда, как и должен был я возвратиться,
Все же я нищ: ничего нет у меня своего.
Я не надул, пощади, коли ты пощадить меня хочешь,
Если же хочешь казнить, то поскорее казни».
«Эта десница тебя,— ответил пастух,— не ударит,
А те удары мои прежние ты мне прости.
Если монаха убью, вдвойне душегубцем я буду.
Сын твой свободен, и ты с ним возвращайся домой».
Весело оба пошли и, спокойно по полю идя,
Вот что волчонку сказал изголодавшийся волк:
«Право, сынок, ничего нет слаще овечьего мяса,
Грубая пища, поверь,— кислый творог и бобы.
Бремени я не снесу, какого поднять я не в силах».
Рек и, как прежде, опять начал хватать он овец.
Но, только стал пожирать молодого ягненка разбойник,
Ошеломлен был овчар и закричал ему вслед:
«Эй ты, здоровый монах, нельзя тебе мясом кормиться!
Разве Василия чин это позволил святой?»
«Не однороден устав,— волк ответил,— служителей церкви:
Был я монахом, а вот я уж каноником стал».
И со всех ног убежал с добычей он в чащу лесную.
Тут догадался бедняк, что одурачен он был.

ИЗ «КНИГИ О КАМНЯХ»

Пролог

Царь арабский Эвакс, преданье гласит, при Нероне,
Том, что по Августе был вторым правителем в Риме,
Книгу составил о том, какие камни бывают,
Где обретаются, в чем их сила, их цвет и названье.
Книга понравилась мне, и вот решил изложить я
То, что в ней прочитал, как можно доступней и кратче.
Я изложенье мое писал для себя и для близких —
Ибо величие тайн умаляется дальней оглаской;
Став уделом толпы, становится важное пошлым.
Самое большее — трем друзьям я дарю эту книгу:
Три — святое число, а я ведь пишу о священном
И обращаюсь лишь к тем, кто к таинствам божьим допущен,
Строгие нравы хранит и праведной жизнью известен.
Ежели разум людской познает свойства каменьев,
Силу их, коей причина сокрыта, а следствие явно,—
Это кажется нам сугубо достойно и важно.
Ведомо всем, что искусству врачей пособляют каменья
Из человеческих тел изгонять зловредные хвори;
Ведомо также и то, что каменья бывают причиной
Всяческих благ, дающихся тем, кто должно их носит.
Пусть никого не дивит — сомнение здесь неуместно,—
Что в драгоценных камнях волшебная кроется сила:
В травах сила ведь есть, а в камнях она только мощнее.

1. Алмаз

Самый лучший алмаз добывается в Индии дальней.
Это — горный хрусталь, прошедший утробу металлов.
Он сохранил металлический цвет, однако такое
Есть сияние в нем, с которым хрусталь не сравнится.
Твердость его такова, что ничем одолеть невозможно —
Перед алмазом бессилен огонь и ничтожно железо.
Он размягчиться способен лишь козьей горячею кровью.
Только с трудом, наковальню дробя, отобьешь ты осколок,
Коего острая грань послужит резцом камнерезу.
Этот алмаз не бывает крупней авелланских орехов.
Рода иного алмаз производят арабские земли.
Он не настолько тверд: размягчить его можно без крови.
Блеск в нем, однако, не тот, потому и цена ему меньше,
Хоть и размером велик и весом бывает тяжел он.
Третьего рода алмаз на морском добывается Кипре;
Род четвертый хранят под Филиппами рудные жилы.
Общее свойство у всех: к себе они тянут железо,—

Так, как делает это магнит вдали от алмаза:
Рядом с алмазом магнит ему уступает добычу.
Этот камень всегда полезен в магических тайнах:
Неукротимого он смиряет и делает добрым,
Он отгоняет дурные сны, отвращает лемуров,
Черному яду он враг, мирит он раздоры и ссоры,
Тех, кто безумен, наводит на ум, а недругам вреден.
Носят камень алмаз, в серебро или в золото вправив,
Так, чтоб на левой руке он сиял в драгоценном запястье.

3. Аллекторий

Если отнять петуху его петушиную силу
И холощеным его держать до четвертого года,
То в животе у него удивительный камень родится
И продолжает расти в течение четырехлетья,
Чтобы достичь, наконец, размера фасолины крупной.
Камень похож на хрусталь и похож на прозрачную воду;
Имя ему — аллекторий, что значит: «камень петуший».
Он человеку в любой борьбе приносит победу,
Он, положенный в рот, утоляет жгучую жажду.
Сам кротонский Милон побеждал, нося аллекторий;
Много царей, сей камень храня, врагов сокрушали.
Тем, кто в изгнанье живет, сей камень поможет вернуться,
В прежнюю честь попасть и новую славу изведать.
Тем, кто речь говорит, он слова в изобилье подскажет,
Сильными сделает их и угодными внемлющим людям.
В чреслах мужских он умеет возжечь Венерино пламя
И нелюбимой жене вернуть супружнюю милость.
Чтобы достичь этих благ, носить за щекой его надо.

19. Магнит

Камень, чье имя магнит, залегает в земле троглодитов;
Впрочем, не меньше того им богаты индийские страны.
Он узнается легко по бурому ржавому цвету
И по тому, как он тянет к себе железные вещи.
Первым его применил колдун Деэндор, по преданью,
Ибо в делах колдовских ничто не сильнее магнита.
Вслед за этим волхвом Цирцея, владычица ядов,
В тайных своих волшебствах прибегала и к силе магнита.
Камня этого мощь потом испытали мидяне,
И оказалось, что он способен на дивное дело:
Муж, желая узнать, верна ли жена ему, нет ли,
Этот камень во сне подложит ей под подушку;
Если супруга верна, она потянется к мужу

Даже сквозь сон; а ежели нет, то свалится с ложа,
Словно столкнули ее,— такой одуряющий запах
В ноздри вдохнет ей магнит, выдавая грех ее блудный.
Если догадливый вор проникнет в нужное зданье
И, разбросав по углам его комнат горящие угли,
Сверху посыплет на них порошком толченым магнита,—
Скоро все, кто ни есть, разбегутся из этого дома,
Ибо из всех углов потянет удушливым дымом,
Дух займет у людей, померещится: рушатся стены,
Все побегут, никто не останется в гибнущем доме,
И в безопасности вор унесет любую добычу.

Этот камень и мужу с женой помириться поможет,
Он и жене поможет вернуть загулявшего мужа;
Он придает красоту, привлекает любовь и вниманье,
Делает пышною речь и вескими доводы в споре.
Принятый с медом, вином, молоком, он лечит водянку
И в порошке помогает зажить ожогам на теле.

ИЗ «КНИГИ ДЕСЯТИ ГЛАВ»

О блуднице

Средь бесконечных сетей, которые людям лукавый
Всюду по мира холмам и везде по долинам расставил,
Самый опасный силок, в какой вряд ли нельзя не попасться,—
Женщина, корень беды, ствол порока, зловредный отросток.
В мире повсюду она без числа порождает соблазны;
Всякие свары, вражду и междоусобные распри
Будит и старых друзей до кровавых доводит раздоров,
Губит она и любовь, сыновей разлучает с отцами.
Этого мало: царей и властителей гонит с престолов,
Войны заводит, крушит города, разрушает столицы,
Множит убийства и яд смертельный в кубки вливает;
Села, поместья огнем пожаров она истребляет.
Словом, такого нет зла на всем белом свете, в котором
Женщина быть не могла хотя бы отчасти виновной.
Этот завистливый пол, легкомысленный, яростный, жадный,
И до вина непомерно охоч, да и крайне прожорлив;
Радостно мстит и во всем других одолеть он стремится,
Правдой и кривдой достичь своего неуемно желая;
Что ему сладко, на том никакого не знает запрета.
Вечно приветлив на вид, а способен на всякую низость,
Лжив и бесстыден всегда и готов на любые обманы;
То его к деньгам влечет, то жжет его похоти пламя,
Он суетлив и болтлив, а к тому же еще и заносчив.
Полная всех этих зол, всем миром женщина вертит;

Женщина — сладкое зло, одновре́менно мед и отрава,
В сотах скрывая свой меч, она им пронзает и мудрых.
Кто ведь запретным плодом соблазнил впервые супруга?
Женщина. Кто отца побудил дочерей обесчестить?
Женщина. Кто погубил силача, ему волосы срезав?
Женщина. Кто же главу отсек святому пророку?
Женщина, матери грех умножая́ своими грехами
Да и себя заклеймив еще более мерзким убийством.
Кто же Давида с пути совратил, мудреца Соломона
Сладкой приманкой завлек, так что первый стал любодеем
И нечестивым другой? Только женщина, нежно ласкаясь.
Многих я жен обхожу, известных по книгам священным:
Жуткую Иезавель, преступную с ней Гофоли́ю
И еще больше других, каких здесь и незачем числить.
Множество жен обхожу, о которых обычно поэты
Да и сказанья гласят — Эрифилу, за ней Клитемнестру,
Прокну, жестоких Белид, блудницу, рожденную Ледой,
Из-за какой десять лет сражались с троянцами греки,
Как и других, о каких говорят нам трагики часто.
Этому страшному злу, которого надо беречься,
Древняя мудрость нашла обличье ужасной химеры,
Правильно давши ему тройного чудовища образ,
Львицею сделав с лица, со спины же — хвостатым драконом,
Ну а внутри у него одно лишь свирепое пламя.
В образе этом видна коварная сущность блудницы:
Хищность свою выдает она зверскою львиною пастью,
Хоть и старается быть на вид непорочною девой;
Ловко пленяя мужей, их огнем распаляет любовным,
Но совершенно в ней нет ни верности, ни постоянства;
Жуткая похоть ее и пуста и бессмысленна вовсе,
И, наконец, она вся змеиным наполнена ядом,
А наслаждения с ней кончаются гибельной смертью.
Женская внешность дана мятущейся вечно Харибде;
Все поглощает она, что к ней приближается, насмерть.
Так и Сирена глупцов своей соблазнительной песней
Манит к себе, а сманив, соблазненных в глубокой пучине
Топит, и только Улисс избежал ее козней, придумав
Спутникам уши заткнуть, чтоб не слышать им сладкого пенья,
Сам же заставил себя привязать крепко-накрепко к мачте,
Чтобы корабль не сошел с пути по его приказанью.
Поостерегся Улисс и коварного кубка Цирцеи,
Те же, кто пил из него, получили обличья животных
И обратились в собак и в свиней, измазанных грязью,
Неблагородными быв и лишенными стойкости нрава,
Ибо они, как скоты, подчинялись похоти грязной.
О человеческий род! Берегись подслащенной отравы,
Сладкого пенья беги и влеченья в погибельный омут,
Да не прельщает тебя лицо с его лживой красою,

Жгучего бойся огня, опасайся злого дракона.
Коль зазывает тебя красавица в жажде обмана,
Ты же уверен в себе и спешишь с ней вступить в поединок,
Самонадеянно все презирая враждебные стрелы,
Будешь обманут, глупец: не в такое вступаешь сраженье,
Чтоб в рукопашном бою ты способен был выиграть битву.
Лучше скорее бежать со всех ног: только в этом спасенье.
Коль убежишь, ты спасён, коль сразишься, ты в плен попадешься.
Но не смотри свысока, поверь мне: при виде Горгоны
Камнем становятся все; столбенеет от похоти каждый.
Всякий, в церковной ладье по житейскому морю плывущий
В твердой надежде достичь желанной пристани отчей,
Пусть сладкозвучных бежит и песен, и лживых соблазнов,
Уши свои защитит заветами истинной веры,
К мачте себя привязав бечевою божьего страха.
Так же, как мачта ладьи, спасает нас крестное древо,
Словно бы реи на ней, простирает оно свои руки.

Бальдерик Бургейльский

Из трех поэтов «овидианского предвозрождения» на Луаре Бальдерик Бургейльский, пожалуй, самый «овидианский». У него нет глубины и ясности Хильдеберта, у него нет учености и достоинства Марбода, он легкомыслен, словообилен и хлопотлив, но в нем привлекательно само непосредственное простодушие, с которым он упивается новым миром, раскрывшимся перед его поколением. Он риторичнее всех своих современников, но риторика его искренна, потому что он не мыслит себе иной формы восторга перед божьим миром, ученым светом и изящным словом.

Бальдерик родился в 1046 г. в Мёнге близ Орлеана, учился в Анжере, был монахом в Бургейльском монастыре неподалеку от Тура, в 1089 г. стал аббатом этого монастыря. В переведенной ниже элегии он живописует бургейльские места в духе горацианской мечты об уюте на лоне природы и осуждает поэтов, которые рвутся отсюда в города и в княжеские замки. Однако самого Бальдерика все-таки тянуло и к городам, и к замкам: Бургейль был глухим местом, а поэт любил хорошее общество. Он пытался получить епископство в Орлеане, но у него не хватило денег на взятку, и его обошли. Вместо этого он в 60 с лишним лет, в 1107 г., получил назначение епископом в Доль, на берег Ламанша, «к диким бретонцам, чью грубость нравов ему невмочь было переносить», по выражению его друга, историка Ордерика Виталиса. Отводить душу поэт ездил в аббатства и епископства Нормандии и Англии, побывал и в Риме. Умер он в 1130 г.

Собрание стихотворений Бальдерика насчитывает 255 произведений, и многое еще до нас не дошло. Он писал легко и обильно, развлекаясь сочинением в дороге или в часы бессонницы. Само владение стилем доставляло ему удовольствие. Ради изящества стиля он по доброй воле даже переработал чью-то большую «Иерусалимскую историю» в прозе о первом крестовом походе, слог которой показался ему слишком грубым. У него много стихов о стихах, о писчих табличках, о грифеле (сломав грифель за работой, он оплакивал его стихами трагического пафоса). При всем этом своем графоманстве, он, однако, не страдал самовлюбленностью: в элегии «О пределе своих желаний» (конечно, подражание Горацию) он мечтает иметь домик, садик, поле, слугу, книги, вино и немного побольше таланта — как у Марбода, Готфрида Реймсского или Хильдеберта.

Бо́льшая часть его многочисленных стихотворений — это дружеские послания, посвящения, увещания, приветствия, комплименты, эпитафии. Когда умер

Готфрид Реймсский, самый изящный из ученых поэтов старшего поколения, Бальдерик от полноты чувств сочинил ему целых пять эпитафий. Стихотворная переписка связывает его со всеми сколько-нибудь заметными современниками, и о каждом он говорит хорошее слово; упреки и колкости появляются у него лишь редко, когда кто-нибудь из друзей замешкает с ответом или присвоит посланный ему экземпляр Овидия. Радости светской жизни для него столь же достохвальны, сколь и ученые труды, он умеет любоваться красивыми вещами (читатель увидит, как любовно он пишет о писчих табличках художественной работы). Самое большое его стихотворение обращено к графине Адели, дочери Вильгельма Завоевателя, и представляет собой восторженное описание ее спальни в Блуа, где на четырех стенах четыре гобелена изображают ветхозаветную историю до потопа, ветхозаветную историю после потопа, античную мифологию и битву при Гастингсе (очень сходно с знаменитым гобеленом из Байё), пол представляет собой карту мира с городами и реками, а статуи вокруг постели — семь благородных наук, философию и медицину; все это он описывает с тем, чтобы выпросить у Адели для себя ризу (ризу он получил не сразу, и ему пришлось напоминать об этом Адели в другом послании).

Особым поклонением Бальдерика пользуется античность. Даже во сне (описанном им в особом стихотворении), где он падает с моста в пенную реку, спасается он тем, что хватается за торчащую из реки старинную мраморную колонну прекрасной отделки. Если на смерть Готфрида Реймсского он написал пять эпитафий, то на смерть Цицерона он написал их шесть. Античную мифологию он подробнейше пересказывает (по Фульгенцию) в длиннейшем стихотворении, от которого не сохранилось ни начала, ни конца. В подражание «Героидам» Овидия он сочиняет обмен посланиями между Парисом и Еленой (почему-то не дистихами, а гексаметром), в подражание «Понтийским посланиям» сочиняет обмен посланиями между самим Овидием и его другом Флором (эти первые образцы обильной средневековой «псевдоовидианы» переведены ниже). При этом Овидия он ценит не только как учителя мифологии и источник поучительных сентенций, но и как учителя «страсти нежной», и сам старается брать с него пример. Самые любопытные его послания обращены к знакомым монахиням — Муриэли, Агнесе, Эмме; он ободряет их в ученых и поэтических занятиях, изливает свою нежную приязнь к ним, но заверяет, что эта приязнь христиански чиста и возвышенна:

Верь, я хочу, чтоб ты верила мне и верил читатель, —
　　В сердце питаю к тебе я не порочную страсть.
Девственность чту я твою, да живет она долгие годы,
　　Чту целомудренный стыд и не нарушу его.
Я — мужчина, а ты — девица, мы молоды оба, —
　　Но поклянусь: не хочу стать я мужчиной твоим,
Я — мужчиной твоим, а ты — моею девицей:
　　Нет, да будет свята дружба в устах и сердцах.
Будьте едины, тела, но будьте раздельны, постели;
　　Будь шутливо, перо, но целомудренна, жизнь.

Это стихи из послания Констанции, девушке, живущей в монастыре. Констанция отвечала на них посланием ровно такой же длины и полным точно таких

же чувств (впрочем, может быть, оба послания сочинены самим Бальдериком в виде риторического упражнения?); получается настоящее подобие монастырских «Героид». Современникам такие стихи казались непозволительной вольностью, но молодежи они нравились, и Бальдерик был доволен. Лишь на старости лет он стал молить бога простить ему его легкомыслие и в длинном покаянном стихотворении называл себя душегубом, безбожником, лжецом, содомитом, блудодеем и т. д., и все это на протяжении нескольких строк. Так, и в его покаянии мы чувствуем того же гиперболического ритора, каким он был в своих любовных излияниях.

К ЭММЕ, ПРИ ПОСЫЛКЕ СТИХОВ

...Книгу мою получив, будь, Эмма, моей Сивиллой —
Перечитай, оцени, выправь, дополни, укрась.
Есть у евреев закон: шесть дней трудиться в неделю,
А на седьмой обретать сладкий покой от трудов.
Эти мои стихи не стоят трудов шестидневных —
Чтобы такие сложить, было б довольно и дня.
Ты никаких не отыщешь цветов в стихотворном рассказе
(Я говорю о цветах, нам украшающих слог).
Просто пишу, как мужик, потому что и вправду мужик я —
В Мёнге был я рожден, ныне в Бургейле живу.
Ну, а Бургейль — приют не из тех, где цветут Цицероны:
Больше здесь любят чеснок, нежели грифель и воск.
Впрочем, и в этих местах охотно бы жили поэты,
Зная, что зелень дубрав нежным Каменам мила.
Здесь зеленеют луга, напоенные влагой речною,
Травы на них и цветы радуют взоры людей.
Рядом раскинута сень прохладной и сладостной рощи,
И оглашает ее птичий щебечущий хор.
Камбия, наша река, здесь катит прозрачные волны;
Только на них посмотрю — станет легко на душе.
Ах, но поэты давно покинули сени лесные —
Их отвлек и увлек города пагубный блеск.
Пагубный, ибо в душе угасает огонь вдохновенья,
Если вступает певец в пышные домы князей.
Пагубен города зов, и скорблю я о славе поэтов:
Ради корысти служа, славы никто не стяжал.
Равен богам человек, философского знанья вкусивший,—
Богу не следует жить так, как живет человек.
Консул, князь или царь, прелат, патриарх, император,
Если невежды они — это не люди, а скот.
Хлебы пекут, собирают плоды, копаются в грядках
Те, кто учен ремеслу, те, кто до денег охоч.
Если бы даже мудрец не просил почета и чести,
Люди сами должны честь воздавать мудрецу.
Что же? Вместо того и царь, и священник, и нищий,

Все мудрецом небрегут, ставя его ни во что.
Где знаменитый Марбод, сиявший в созвездье поэтов,
Блеском затмивший своим лунный и солнечный блеск?
К Господу он отошел, и мы о нем горько рыдаем:
Светоч утратили мы, мрак озарявший для нас.
Благо, что я не гонюсь за почетом и предан занятьям —
Лишь бы коснулась меня Муза дыханьем своим!
Муза, увы, далека, и песня моя неискусна;
Эмма, для этих стихов ты моей Музою стань.

О ПИСЧИХ ТАБЛИЧКАХ

Может быть, есть у иных таблички побольше, поменьше,
Но совершенно таких ни у единого нет.
Их размер невелик, зато велика красота их,—
Мастеру их красота стоила многих трудов.
Верно, был одарен большим дарованием резчик,
Смогший в малую вещь столько искусства вложить.
Восемь дощечек так плотно лежат, прижавшись друг к другу,
Что мудрено не принять их за единый брусок.
Эти таблички в длину имеют полфута, не боле —
Щепка от малой доски вдвое была бы длинней.
Дивная вещь! небывалая вещь! пигмейской породы
Крошки-таблички лежат здесь, на ладонях моих.
Некогда, басни гласят, земля порождала гигантов;
Ростом и силой они даже страшили богов.
Был исполинский их род истреблен ударами молний,
И появился на свет крошка, пигмей — человек.
Люди были тогда, пожалуй, нынешних мельче:
Памятен был небесам буйственный в битвах гигант.
Вот и теперь божество искусной рукой древодела
К небу стремившийся ствол сделало крошкой-доской.
Был он велик и могуч, служил сатирам и фавнам,—
Ныне, изящен и мал, служит для наших забав.
Шесть гексаметров вдоль восковой умещу я страницы,
Целых восемь вмещу, если писать поперек.
А ведь табличек таких не одна предо мною, а восемь —
Ровно четырнадцать в них, как посчитаешь, страниц.
Дважды восемь — шестнадцать, но верхней и нижней страницы
Писчий воск не покрыл — значит, четырнадцать их.
Можно и шесть написать, и двенадцать можно, и сотню
Стихотворений на них, переписав и стерев.
Многая лета тому, кто выточил эти таблички,
Многая лета и вам, милым табличкам моим!
Воск зеленый на вас да будет утехою взору;
Шнур, скрепляющий вас, пусть не порвется вовек!
Грифель, скользящий по вам, да будет искусной работы,

Коей в анжуйском краю славится мастер Ламберт.
Крепкий мягкий чехол, с шитьем, достойным Арахны,
Да охраняет всегда вас от опасных толчков!
Словно мальчишку в слезах утешают, даря ему птичку,
Так Сагиенский аббат вас мне в подарок прислал.
Пусть же утеха моя продлится долгие годы,—
Я не хочу покидать писчей отрады моей.
С вами буду я жить, а вы живите со мною:
Вместе мы жизнь проживем, вместе и ляжем во гроб.

ХРОМОМУ ГИРАРДУ, ПЕРЕПИСЧИКУ

Пусть бы дал тебе бог такие же ровные ноги,
Как эти строки стихов, что переписывал ты!
Слушай, Гирард: у меня уже столько стихов написалось,
Что на табличках моих негде их больше чертить.
Ты ленился, а я усердно царапал по воску —
Брось, чтобы мне не пришлось строчки по строчкам писать!
Буду прилежным писцом: с табличек стряхнув на пергамент
Все, что написано в них, чистым мне воск вороти!

ФЛОР — ОВИДИЮ

Шлю, Назон, я тебе привет мой, слезами омытый;
Коль он к тебе не дойдет — и твоего я лишусь.
Ты, изгнанник, живешь, привета лишенный, близ Понта;
Так же, привета лишен, в Риме скорблю я, один.
Кто, от отчизны вдали, постоянно к отчизне не рвется?
Кто в родную страну жадно возврата не ждет?
Разве что жалкий бедняк, не имея ни дома, ни крова,
Может в себе не хранить память о крае родном.
Ты ж, гражданин и потомок семей благороднейших Рима [1],
Роду Цезарей был равен по крови своей.
Изгнан ты в дальний парфянский предел [2] и к тем, кто в изгнанье
Кару несет за вину, ты без вины сопричтен.
Цезарь во гневе тебя, не по праву, подверг наказанью;
Слезы же лить о тебе — мне это право дано.
Ныне из Рима ты изгнан, отправлен на Истр ледовитый —
Ровно полгода царит там ледяная зима.
Рим наш — вселенной глава, к нему весь мир притекает,
Образ его для тебя — дом твой прелестный, родной.
Наши театры знакомы тебе, каждый портик известен,
И в переулке любом знаешь ты выход и вход.
Где толпится народ, где девушки в страсти клянутся,—
Знал ты все эти места, был там известен и ты.

Вряд ли в охоте любовной ты мог поддаться обману,
Если бы женщину в сеть ты уловить пожелал [3].
Да и какую из женщин не мог сразить ты стрелами,
И пред оружьем твоим кто бы сумел устоять?
Был для мужей ты опасен, но даже для них ненавистным
Не был ты никогда, ты даже их покорял.
Не был врагом никому, все были к тебе благосклонны,—
Цезарь один среди всех косо смотрел на тебя.
Верно, недобрые слухи ушей государя коснулись,
Будто с женою его связано имя твое.
Не удалось никому из друзей его гнев успокоить,
Муза тебя не спасла, ни красноречия дар.
Тем упорнее Цезарь с тобой не желал примириться,
Что эту злую молву ты пустяками считал.
Но что может быть мужу обидней, чем слух о супруге,
Если насмешкой молва брачный порочит покой?
Не был ты осужден священным решеньем сената,
Общей молвы приговор «песней любви» утвержден [4].
Общей молвой прикрываясь, тебя уничтожила зависть,
Но говорят, что тебя книга сгубила твоя.
Нет, не Муза твоя тебя обрекла на изгнанье,
И не стих твой тебя — Цезаря гнев погубил.
Знали все люди любовь, стихов твоих не читая,
Мужи и жены в веках; ты лишь поведал о ней.
Ты ли века научил или ты у веков научился?
Ведь не поэмой твоей Аргус в обман был введен [5],
И не поэма твоя разрушила стены троянцев,
И без поэмы твоей знала Венера любовь.
Нашу природу издревле сам бог преисполнил любовью,
Нас она учит тому, что он ей сам преподал.
Если преступна любовь, то преступен ее зачинатель:
Тот, кто нас научил, тот и виновен во всем.
Если любить — преступленье, то жизнь сама — преступленье;
Бог повелел нам жить, бог повелел и любить.
Бог нам любовь сотворил, вражду сотворять не желая,
Ибо родится вражда там, где господствует зло.
Ты любовь воспевал, но не ты изобрел это чувство;
Ты огня не зажег, не был учителем ты.
Пусть же комедии сгинут и трагиков голос умолкнет,
Если умрет хоть один звук твоих легких страниц.
То, что изгнанником стал ты, что ты отчизны лишился,
Это властитель решил, в том неповинно перо.
Но это слово опять мои воскрешает рыданья,
И, чуть высохши, вновь слезы текут из очей.
Слезы текут, только вспомню Назона несчастную участь —
О, как страдаю, что я помощи дать не могу.
Помощи дать не могу, и это — причина страданья;
Чем я страдаю сильней, тем тебя больше люблю.

Как я хотел бы с тобой разделить твои горькие стоны,
Чтобы с тобою вдвоем сетовать нам на судьбу.
Если бы слезы могли проливать мы вместе с тобою,
То не казалось бы нам, что мы с тобой далеки.
Телом я в Риме живу, но душой я с тобою в изгнанье:
Нет у меня никого, кто мне дороже тебя.
В Риме живу, ты у Понта, пускай же станет отныне
Понтом Рим для меня, Понт же Римом тебе.
Горе, увы! нас с тобой разлучила судьба роковая,
Но и в разлуке с тобой дух нас единый живит.
И не найти мне покоя, покуда и землю и море
Я не пройду, чтоб с тобой участь твою разделить.
Цезарь Назона изгнал, пойду я в изгнанье к Назону;
Властью изгнан Назон, я же — изгнанник любви.
Надпись пускай начертают на нашей общей могиле:
«Изгнан с Назоном он был, лег здесь по воле своей».
Это мне радостью будет, мои успокоятся кости,
Если такие слова будут на камне моем.
Пусть чужие цари покорствуют Цезаря власти —
Волей своей покорюсь ныне я власти любви.
Пусть пугают других владыки громовые речи,
Душу мою не страшит даже заморская даль.
Я одного лишь боюсь, что пути морские закроет
Цезарь и мне запретит по морю ехать к тебе.
Это — двойная беда, мы снова будем в разлуке,
Вновь с тобой разлучит нас нечестивый приказ.
Пусть бы укрылись с тобой мы где-то в убежище скромном,
Вместе бы прожили мы, сколько прожить суждено.
Если бы умер один, другой бы умер тотчас же,
Нас бы единый двоих принял могильный курган.
Жизни б дыханье, от нас отлетев, неразрывным осталось
И, покинув тела, в дух бы единый слилось.
Ты уже, Цезарь, тогда царить над нами не будешь:
Тело подвластно тебе, но неподвластна душа.
Долгие речи к чему? Не должен время я тратить:
Цезарь в походе теперь, должен пускаться я в путь.
Он свои молнии мечет в пределах дальних моринов [6],
Но уже ходит молва — скоро вернется он в Рим.
Вскоре отправлюсь я в путь и старого друга увижу,
Чтобы нежданно с тобой не разлучила нас смерть.
Впрочем, заранее я тебе известье отправлю,
Сам ты узнаешь тогда: друг твой уж близок к тебе.
Слезы твои удержи, пока он к тебе не приедет,
Чтоб не растратил ты слез раньше, чем примешь его.
Но не узнаешь примет того, что в путь я пустился:
Цезарь разведает все, где бы он ни был теперь.
Имя так же мое с письмом пусть исчезнет скорее —
Цезарь так повелел, и покорилось письмо.

Даже боится оно, что его подвергнут сожженью
    Или жестокой рукой в клочья его разорвут.
Все ж не прибегнет к обману, не скажет «прости» безымянно,
    Нет, скажет смело оно: «Милый Назон мой, прости»!

ОВИДИЙ — ФЛОРУ

Счастья желаю тебе, хотя его сам не имею,
    Я, изгнанник Назон, я, твой любимый поэт.
Изгнан из града родного,— нет, больше,— я изгнан из мира:
    Ныне варварский край служит жилищем моим.
Здесь непогода всегда небеса облекает туманом —
    Все здесь чужое для нас, даже чужой небосвод.
Здесь и природа иная, закована в льды и сугробы;
    Глыбы почвы гнилой лед прошлогодний хранят.
Цезаря гнев в этот край меня из отчизны направил,
    Здесь я, изгнанник, живу, Цезаря гнев испытав.
Не заслужил я, чтоб Рим своего отвергнул питомца,
    Римский я гражданин, кару несу без вины.
Если бы Цезарь меня судил судом справедливым,
    Я добровольно тогда снес бы любой приговор;
Но не судом осужден я, а Цезаря волей суровой;
    Царская воля всегда выше, чем довод и смысл [7].
Ты ж попытайся узнать: его ярость, быть может, остыла?
    Так узнаю и я, в чем его воля теперь.
Если ж он гневом горит и меня воротить не согласен,
    Пусть разрешит хоть одно — с этой проститься землей.
Легче мне будет изгнанье, когда расстанусь я с Истром,
    В месте другом я себя буду свободным считать.
Ты мне недавно писал, что хочешь ко мне ты приехать —
    Но ведь для помощи мне твой бесполезен приезд.
Надо, чтоб Цезаря слух непрерывно ты в Риме тревожил,
    Чтобы мое повторял имя не раз и не два.
Знаешь ты сам, что вода проникает в утесы не силой —
    Нет, их дождик долбит, тихо, упорно струясь.
Я не хочу, чтобы ты в этот путь тяжелый пускался —
    Слишком многих на нем ждет непредвиденно смерть.
Часто, путь преграждая, до звезд возвышаются горы,
    Часто ущелий отвес в глубь Ахеронта манит.
Если ты сгинешь в дороге, мои не удвоятся ль муки?
    Сам я погибну тотчас, если не станет тебя.
Ныне страдаю один, тогда бы страдал за тебя я,
    Ты — полжизни моей, я без тебя не живу.
Жилы и члены бессильны, и мозг в костях иссыхает;
    Только любовью к тебе жизнь я могу поддержать.
Эта любовь искони нам в сердце глубоко проникла,
    Дружбы этой не раз был наш испытан союз.

Не сомневаюсь в тебе, ты во мне сомневаться не должен:
Пусть надеждой всегда наша пребудет любовь.
Верь мне: в Риме останься, держись и к Цезарю ближе,
Пусть остается всегда Рим благосклонным к тебе.
С Цезаря глаз не спускай, особенно после пирушки:
В эту пору владык разогревает вино.
Слушай рассказы его, внимай победным известьям,
Толки людские лови в ходе веселых бесед.
Вот тогда осторожно, шутя, обо мне упомянешь:
Не упускай ничего, я умоляю тебя.
С тем, кто близок, веди разговор, и с тем, кто у власти,
Все разузнай — иль проси, или награду сули.
Если ты можешь — его самого побуждай к разговору:
Сам из беседы поймешь, помнит ли он обо мне.
Верь, он женою своей меня попрекает напрасно:
Я о женах забыл — да и с рожденья таков.
Только песни мои говорят о девических чувствах,
Но меня самого страсть не тревожит ничуть.
Чувство любви, если живо, оно рождает желанье,
Но к любовным делам, видно, не тянет меня.
Правда, язык мой болтлив, но нравы мои беспорочны —
С самого детства всегда чист, как ребенок, я был.
Строки песен моих были девушек сердцу угодны.
Их учили они, кто чего ищет в любви.
Цезарь за это меня порицал, но того не заметил,
Что я учил и тому, как нам любви избежать.
Юношей я любви не учил, но если полюбят,
Я указывал им, как им любить и кого.
Граждан я римских учил красиво любить и учтиво,
Чтоб от простецкой любви город избавился мой.
Если ты с Цезарем будешь, то будь мне заступником верным —
Тем, каков был ты вчера, будь ты и завтра и впредь.
Другом будь мне таким, каким в письме ты явился,
И доброту прояви больше, чем я заслужил.
Другом будь мне таким, каким бы хотел меня видеть,
Если б постигла тебя тяжкая участь моя.
Другом будь мне таким, каким я стал бы для друга,
Если б ему довелось беды лихие узнать.
Счастье балует тебя, пускай же балует и дальше,
Хоть на меня и глядит взглядом враждебным оно.
Пусть удел мой при мне, ты со мною поделишься счастьем:
Ибо судьбины моей ты половину несешь.
Ты мой товарищ и спутник, ты верный мой друг и надежный,
И со мною всегда делишь ты слезы мои.
Только прошу — о печалях моих вспоминай ты не часто,
Но зато вспоминай чаще о помощи мне.
К Цезарю близок ты будь, держись за него постоянно,
Кравчим будь за столом, в спальне — постельничим будь.

Слово в беседу вверни обо мне, коль покажется нужным:
Многие хитрым путем цели достигли своей.
Только супруга его обо мне пусть ни слова не скажет,
Имени пусть моего не назовет никогда,
Но тебе передаст, если муж ее что-нибудь молвит,
Ты же мне передай все, что он скажет, сполна.
Если задумает Цезарь смягчить мою жалкую участь,
Пусть приказы его вестник ко мне принесет.
Цезарь не в силах уже мою долю сделать суровей —
Пусть же меня он казнит: смерть не труднее, чем жизнь.
Три мне исхода желанны: чтоб он вернул мне свободу,
Иль разрешил переезд, или на смерть осудил.
Пусть он из трех выбирает одно: он суровей не может
Кары найти для меня, чем надо мной он свершил.
Пусть отягчит мой удел — он его же мне сделает легче:
Можно его облегчить, но отягчить — никогда.
Он ненадежным меня и лживым, быть может, считает,—
Но ни в том, ни в другом я неповинен ничуть.
Клятву верности дам, договор заключу я священный;
Будешь в клятве моей верным заложником ты.
Песни мои ненавистны ему — я от них отрекаюсь:
Ведь из-за Музы моей ныне в изгнании я.
Если Цезарь велит мне его победы прославить,
Их вознесу я до звезд лирой искусной моей.
Я обещаю немало, но должен быть щедр в обещаньях
Тот, кто в изгнанье, томясь, хочет его избежать.
Но называют меня, Назона, поэтом неложно —
Был прирожденный мой дар всюду известен всегда.
Этот дар мне открыл могучих властителей уши,
Выше, чем сам я хотел, дар мой прославил меня.
О, если б этот мой дар укрылся от Цезаря слуха!
Он на меня и навлек тяжкий изгнанья удел.
Дар мой меня научил в размер укладывать строки:
Все, что я захочу, высказать Муза могла.
Эта способность моя, быть может, на пользу мне будет,
Если бы ты и другим мог про нее рассказать.
Если б ты всем объяснил, насколько мой стих был полезен,
Цезарь, может быть, сам эти стихи полюбил:
Ведь никогда и ничей ему не был стих ненавистен,
Только на песни мои он со враждою взирал.
Впрочем, терзают меня теперь иные заботы,
Не до стихов мне уже — слишком тяжел мой удел.
Ах, если б Цезарь поэта любил, лишь стихи осуждая!
Но не могу позабыть я о страданьях моих.
Горе мне! Мучат меня грызущие жизни невзгоды,
Тяжко тело мое острые боли томят.
Варварский здешний народ, их язык, для нас непонятный,
Эта страна без весны — все это мучит меня.

О, сколько прелестей жизнь здесь теряет! Цветов мы не видим,
Даже весной лишены нежного щебета птиц.
Птицы здесь не поют, луга цветов не рождают,
И покрывает поля иней своей белизной.
О, злосчастная жизнь, о, жизнь, злосчастнее смерти,
Сколь нескончаема в ней неотвратимая скорбь!
Столько смертей я терплю, сколько дней мне в жизни осталось,
И, в несчастье живя, я умираю живой.
О, как печально в мучениях жить и быть долговечным!
Но предсмертную скорбь можно предвидеть легко.
Я в ненастье и в холод до самых костей застываю:
Горе мне! друг твой Назон гибнет в краю ледяном.
Я не боюсь никого, и посланье мое не боится,—
Имя свое потому я называю не раз.
Пусть сам Цезарь узнает, чего скрывать я не в силах,—
Как я страстно стремлюсь снова свободу стяжать.
О, мой Рим! Суждено ль в твои мне стены вернуться
И, прильнувши к тебе, новую жизнь обрести?
Если б священный сенат мне дозволено было увидеть,
Образ почтенных отцов, твой незабвенный мне лик!
Я бы с мольбою припал к ногам отцов с поцелуем
И поцелуев дождем я бы осыпал тебя!
Душат рыданья меня, хоть заплакать я должен был раньше,
Но не могу устоять — горе сильнее меня!
Вздохи и стоны мои непрерывно в груди возникают,
Днем я и ночью всегда время в слезах провожу.
Флор, умоляю тебя, прошу, надо мною ты сжалься,
Вспомни о друге своем, время найди для него.
Ты — вся надежда моя, ты один спасти меня можешь,
Тяжкие стоны мои я обращаю к тебе.
Легче бы в дерево мне обратиться, как оной Филлиде [8],
Чем, оставаясь живым, муки изгнанья нести.
И Лаодамии участь смягчили ведь боги благие,
К Фисбе с Пирамом судьба более кроткой была.
И о воробушке мертвом пролить слезу я согласен [9],
Но росой моих слез я орошаю себя.
Кончил письмо я мое, ни стиха я к стихам не прибавлю,
Только и в силах с трудом вымолвить: «Флор мой, прости!»

Ансельм Кентерберийский

В истории европейской культуры Ансельму принадлежит особое место: это первый великий философ схоластической эпохи. Правда, и до него Европа знала такого гениального отщепенца, как Иоанн Скот Эриугена. Но Эриугена всей сутью своего мироотношения принадлежит иному культурному циклу, связанному с позднеантичными и византийскими традициями. Он — поздний собрат эллинских неоплатоников, родившийся на полудиком Северо-Западе и живший среди людей, которые оценили его как драгоценную диковинку, но не продолжили его дела. На Эриугене окончилась одна великая эпоха истории мысли; на Ансельме — началась другая.

Будущий епископ Кентербери родился в 1033 г. в североитальянском городе Аосте. О добронравной матери и беспутном отце Ансельма, о его детских переживаниях и религиозном кризисе, о том, как недоброжелательство отца побудило юношу бежать из дома, читатель узнает из прилагаемых отрывков жития Ансельма, составленного его верным другом монахом Эадмером. Отправившись странствовать, юноша переходит Альпы и оказывается во Франции. На него производит сильное впечатление личность незаурядного церковного деятеля и ученого Ланфранка, приора в нормандском монастыре Бек. Ланфранк становится духовным отцом Ансельма и заменяет ему родного отца, Бек становится его обителью и заменяет ему родной дом. В этом монастыре Ансельм вскоре становится приором, затем аббатом. По Нормандии, как и по другую сторону Ламанша, распространяется слава о его учености и благочестии. «В те времена не было никого, — замечает биограф Ансельма, — кто превосходил бы Ланфранка почтенностью и многознанием, Ансельма же — святостью и богословской ученостью». Открытое дружелюбие и ясное понимание чужой жизни, уравновешивавшие мистическую самоуглубленность, привлекают к нему множество друзей духовного и светского звания из монастырей и замков по обе стороны Ламанша. Это время было для Ансельма самым счастливым и творчески плодотворным: он пишет диалог «О том, чтó есть грамматик», посвященный логическим проблемам, затем трактаты «Монологион» и «Прослогион», богословски исследующие диалектику бытия и навсегда обессмертившие имя Ансельма в истории философии; следует упомянуть также «Книгу размышлений и молитвословий» — такой прочувствованной, подвижной, гибкой латинской прозы не было со времен Августина. Куда менее мирно складывается жизнь Ансельма после 1093 г., когда он против воли был принужден заступить место умершего Ланфранка на архиепископской кафедре города Кентербери. Ему

приходится вступать в конфликты с английскими королями (Вильгельмом Рыжнм, затем Генрихом I), терпеть обиды, идти в изгнание, снова возвращаться... Как искренне верующий сын католической церкви Ансельм с полной убежденностью боролся за дело папы Григория VII — утверждение верховенства духовной иерархии над светской властью; но переход от созерцательного покоя к страстям большой политики дался ему нелегко. Скончался Ансельм 21 апреля 1109 г.; умирая, он горько сожалел о том, что не имел досуга довести до конца свои размышления о природе души. В 1163 г. Ансельм был канонизирован по инициативе другого кентерберийского архиепископа, впоследствии тоже причисленного к лику святых,— того самого Томаса Бекета, который продолжил борьбу Ансельма против королевских притязаний и отдал в этой борьбе свою жизнь.

Уроженец ломбардского города, монах нормандского монастыря, иерарх английской церкви, Ансельм жил в сферах бытия, вознесенных над всякой национальной партикулярностью, как то было характерно для его космополитического века. Его подлинная родина — не Италия, не Франция и не Англия, но мир монашеской аскезы и мир августиновской философии. Августин впервые за шесть с лишним веков обрел в лице Ансельма достойного продолжателя, способного продумывать его мысли заново и идти дальше. Отношение, в котором Ансельм стоит к Августину, можно назвать настоящей конгениальностью. Если внутренний мир Ансельма не столь избыточно богат и многосложен, как внутренний мир Августина, то общие для обоих основные линии выступают с тем большей ясностью и чистотой. «Онтологическое» доказательство бытия божия, впервые разработанное Ансельмом и сыгравшее важную роль в истории философии, воспринятое Декартом, обстоятельно опровергнутое Кантом и переосмысленное Гегелем, коренится в платоновско-августиновском отождествлении бытия и совершенства: если мы определяем бога как то, более или выше чего ничего нельзя помыслить, то эта дефиниция уже включает в себя наряду с прочими совершенствами также свойство «быть», и предположение о небытии бога самопротиворечиво. Наследник Августина в философии, Ансельм был его наследником и как стилист; проникновенная проза «Прослогиона», перемежающая абстрактные рассуждения с окликаниями бога и своей души, так близко подходит к стилю «Исповеди», как ничто другое.

Куда менее органичны попытки говорить языком Августина у верного ученика Ансельма, англосаксонского клирика Эадмера, написавшего очень привлекательное и человечное жизнеописание своего учителя. Эадмер время от времени пытается прибегнуть к красотам августиновской риторики, но необходимость высоко парить вскоре утомляет его, длинные периоды сменяются короткими, односложными фразами. Поэтому стиль простодушного рассказчика очень неровен (перевод по возможности передает эту черту). Как бы то ни было, уравновешенность, ясность и сдержанная серьезность, отличавшие духовный склад мыслителя, переданы Эадмером очень достоверно, и за это ему нетрудно простить все стилистические шероховатости.

КНИГА РАЗМЫШЛЕНИЙ И МОЛИТВОСЛОВИЙ

ПРЕДВАРЕНИЕ

Поскольку нижеследующие размышления, или молитвословия, предлагаются ради того, чтобы возбуждать дух читающего к любви Божией, или ко страху Божию, либо же к испытанию самого себя, читать их должно не в тревоге, но в тиши, не поспешно, но помалу, с раздумием прилежным и неукоснительным. Притом читатель не должен понуждать себя читать каждое из них до конца, но лишь покуда он с Божьею помощью ощущает от него пользу для возжигания молитвенного своего усердия или покуда утешается им. Равным образом нет ему нужды и начинать каждое из них всякий раз от начала, но пусть он начинает с того места, откуда ему покажется предпочтительнее. Разбиение их на разделы произведено с этою самою целью, а именно дабы читатель начинал и кончал по выбору, так, чтобы пространность и частое повторение одного и того же не порождали в нем досады, но, напротив, он почерпал из них благочестивое усердие, ради чего они и составлены.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
О ДОСТОИНСТВЕ И БЕДСТВЕННОСТИ
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

1. *О том, что мы сотворены по образу и подобию Божьему*

Пробудись, душа моя, пробудись; напряги дух твой, подвигни чувство, извергни леность губительного твоего забытья, приложи усердие о спасении твоем! Да устранится блуждание бесполезных помыслов! да отыдет праздность! да блюдется усердие! Прилежи к размышлениям священным и к божественным прилепляйся благам; озаботься вечным, оставь бренное. Но что будет для тебя полезнее, что целительнее помыслить в столь божественных трудах духа, нежели сладостнейшей думою возвращаться к безмерным благотворениям Создателя? Уразумей же, каким величием, каким достоинством почтил он тебя при самом начале творения; и взвесь, какою любовью, каким почтением должны мы воздать ему! Воистину, когда он, созидая и устрояя целокупность вещей видимых и невидимых, положил сотворить человеческое естество, он верховной мыслью предначертал достоинство состояния твоего, а именно решил прославить тебя выше всех творений, которые только ни обретаются в мире. Усмотри же, сколь высоко твое сотворение, и поразмысли, какой долг любви лежит на тебе. «Сотворим,—говорит Господь,— человека по образу и подобию нашему» (Быт., 1, 26). Если такое речение Создателя твоего не понудит тебя пробудиться, если столь неизреченное благоволение, с кото-

рым тебе воздана почесть, не подвигнет тебя всецело возгореться любовью к нему, если все недра твои не воспылают томлением по нему,— что сказать мне? Назвать ли тебя спящей? Или, может статься, мертвой?

Внимай же с тщанием, что это означает: быть сотворенной по образу и подобию Божию. В этом тебе дан сладостный залог благочестивого размышления, дабы упражнять на нем свои мысли. Познай, что одно есть подобие, другое образ: примера ради, некое подобие человека может являть в себе конь или бык и другие подобные творения, между тем как образ человека не являет никто, кроме человека. Ест человек, ест и конь; вот некое подобие и общность между различными естествами. Образа же человеческого не воспроизведет никто, кроме как другой человек той же природы, какую являет и образ. Потому образ выше, нежели подобие. Подобие Богу можем мы иметь в себе, если, усматривая, сколь он добр, потщимся быть добрыми; если, познавая, сколь он сраведлив, усилимся быть справедливыми; если, созерцая, сколь он милосерд, приложим силы наши к делам милосердия. Но как обстоит дело с образом его? Поразмысли. Бог вечно памятует о себе, разумеет себя, любит себя. Следовательно, и ты будешь причастен его образу, если по мере скудных сил твоих станешь неустанно памятовать о Боге, разуметь Бога, любить Бога; ибо в таком случае ты будешь усиливаться делать то самое, что вечно делает Бог. Целокупную жизнь свою должен человек обратить на то, чтобы памятовать о высшем Благе, разуметь его, любить его; каждое помышление, каждое биение сердечное да будет устремлено, изощрено, подвигнуто к тому, чтобы в неустанном чувствовании памятовала ты о Боге, разумела Бога, любила Бога и через это спасительно изъявляла, что сотворена ты по образу Божию. Но к чему называю я тебя сотворенной по образу Божию, если, по свидетельству апостола, ты еси сам образ Божий? «Муж,— глаголет апостол,— не должен покрывать главу, ибо он есть образ и слава Божия» (I Коринф., 11, 7).

3. О том, что где бы мы ни были, мы в нем живем, движемся и есмы, его же самого имеем внутри себя

Тот, кто в небесах обитает и в ангелах царствует, пред кем преклоняются небо и земля со всем сущим в них, сам предложил тебе себя как обитель, сам уготовал тебе свое присутствие; ибо Павел апостол научает нас, что «в Нем живем мы, движемся и есмы» (Деяния апостолов, 17, 28). Сладостная жизнь, отрадное движение, вожделенное бытие! Ибо что сладостнее, нежели иметь жизнь в Том, кто есть сама жизнь блаженная? Что отраднее, нежели устремлять каждое движение пожелания и действия нашего к Тому и в Том, кто утверждает нас в вечном постоянстве? Что вожделеннее, нежели намерением и поведением неизменно быть в

Том, в ком только и есть, или лучше сказать, кто только и есть истинное бытие, помимо которого ничто не может должным образом быть? «Я,— молвит он,— есмь Тот, кто есть» (Исход, 3, 14). Как прекрасно! Ведь воистину есть лишь Тот, кто обладает неизменяемым бытием. И вот он, чье бытие столь превосходно, столь несравненно, что он один воистину есть, и в сравнении с ним все сущее есть ничто; он, кто сотворил тебя для удела столь возвышенного, чтобы ты даже не в силах была уразуметь славу достоинства твоего,— где назначил он тебе пребывать? Выслушай со вниманием, как сам он говорит людям своим в Евангелии: «Пребудьте во мне, и я в вас» (От Иоанна, 15, 4). О, неоцененная милость! О, блаженная обитель! О, достославный обмен! Сколь велика милость Творца, возжелавшего, чтобы творение его в нем обитало! Сколь непостижимо блаженство творения, пребывающего в своем Творце! Сколь безмерна слава разумного творения, соединенного с Творцом своим в обмене столь блаженном, что он в творении, творение же в нем устрояет обитель! Сотворив нас так дивно, он милосердно пожелал, чтобы мы в нем пребывали,— в Том, кто, будучи превыше всего, правя над всем, бытийствует без тревог; кто, давая как бы общее основание всему, все поддерживает без усилия; кто, превышая все вещи, все превосходит без гордости; кто, держа мировую целокупность, объемлет ее без распространения; кто, являя собою полноту всего, все исполняет без утеснения, он-то, сущий повсюду, пожелал устроить усладительное свое Царство внутри нас, по свидетельству Евангелия, глаголющего: «Царствие Божие внутри вас есть» (от Луки, 17, 21).

ПРОСЛОГИОН

Глава 1

Ныне пробудись, о человече! уйди хоть немного от попечений твоих, сокройся хоть малость от беспокойных твоих помыслов. Ныне отбрось прочь тягостные заботы, отложи многотрудные твои занятия. Хоть ненадолго обрети досуг для Бога, хоть ненадолго стяжай в нем успокоение. Войди в клеть ума твоего, изгони все, кроме Бога и тех вещей, что помогают тебе искать его, и, затворив дверь, взыскуй его. Скажи ныне, все существо сердца моего, скажи Богу так: «Лика Твоего взыскую; буду искать лица Твоего, Господи» (Пс. 26, 8).

Господи, Боже мой! ныне Ты научи сердце мое: где и как ему искать Тебя? где и как ему обрести Тебя? Господи, если нет Тебя здесь, где искать мне Тебя как отсутствующего? Если же Ты повсюду, почему не могу я зреть Тебя как присутствующего? Так, Ты обитаешь во свете неприступном (I Тимоф., 6, 16). Но где он, этот свет неприступный? и как приступить мне к свету

неприступному? кто приведет меня к нему и введет в него, дабы лицезреть мне Тебя в нем? Под какими знаками, под каким образом искать мне Тебя? Никогда не зрел я Тебя, Господи, Боже мой; лика Твоего не ведаю. Что же делать, Всевышний Господи, что же делать тому, кто столь отдален от Тебя изгнанием? Что делать рабу Твоему, что изнемогает от любви к Тебе и далеко отринут от лика Твоего (ср. Пс. 50, 13)? Жаждет он лицезреть Тебя, но слишком удален от него лик Твой; приступить к Тебе хочет, но неприступна обитель Твоя; обрести Тебя желает, но не знает местопребывания Твоего; искать Тебя вожделеет, но не ведает лика Твоего. Господи, Ты еси Бог мой, и Ты Господь мой — но никогда не зрел я Тебя. Ты сотворил меня, и Ты претворил меня, и все мои блага дал мне Ты — но доселе еще не познал я Тебя! Наконец, сотворен я для того, чтобы созерцать Тебя — но доселе не мог делать то, для чего сотворен!

О, горестный удел человека, утратившего то, для чего он сотворен! О, падение печальное и плачевное! Увы, что утратил человек и что он обрел? что отошло и что осталось? Утратил он блаженство, для которого предназначен, обрел же бедствие, для которого не предназначен; отошло то, что одно делает блаженным, осталось то, что в себе самом всецело бедственно. Некогда вкушал человек от хлеба ангельского, которого ныне алчет; ныне вкушает он от хлеба скорбного, которого некогда не знал. Увы! общее рыдание человеков! всемирный плач сынов Адамовых! Прародитель наш пресыщался яствами, мы терзаемся гладом; он изобиловал, мы нищенствуем; он счастливо обладал и плачевно утратил, мы несчастливо нуждаемся и плачевно желаем, но, увы, остаемся ни с чем. Зачем не сберег он для нас то, что ему было некогда легко сберечь, нам же столь тяжко не иметь? Зачем изринул из света и заключил во тьму? Зачем лишил нас жизни и причинил нам смерть! О, мы несчастные! Откуда мы извергнуты и куда ввергнуты? Откуда ниспали и куда устремились? Из отчизны в изгнание, от лицезрения Бога в слепоту нашу, от сладости бессмертия в горечь и терзание смерти. О, бедственная перемена: от такого блага и к такому злу! Тягостна здесь утрата, тягостна скорбь, и все тягостно.

Но увы и мне, несчастному, одному из несчастных сынов Евиных, отторгнутых от Бога? Что я замышлял и что совершил? К чему стремился и куда пришел? По чему томился и от чего терзаюсь? Благо искал я, и вот смятение (Иеремия, 14, 19). К Богу поспешал я и преткнулся о самого себя. Покоя искал я в сокровенностях моих, и смуту обрел я в глубинах моих. Уповал я ликовать от радости духа моего и принужден кричать от горести сердца моего (Пс. 37, 9). Манило веселие, и вот усугубляется воздыхание!

Ты же, Господи, доколе? (Пс. 6, 4) Доколе, Господи, будешь забывать нас, доколе будешь скрывать лицо Твое от нас? (Пс. 12, 2) Когда воззришь Ты на нас и услышишь нас? Когда

просветишь очи наши и явишь нам лик Твой? Когда возвратишь нам себя? Воззри, Господи! услышь! просвети нас! яви себя нам! Возврати нам себя, и будет нам хорошо; без Тебя же сколь нам худо! Умилосердись над трудами и порываниями нашими к Тебе, ибо ничего не можем без Тебя. Ты призвал нас к себе; помоги нам. Молю Тебя, Господи, да не пребуду безутешен в отчаянии, но утешен в чаянии. Молю Тебя, Господи! горько сердце мое через богооставленность; услади его через посещение свое! Молю Тебя, Господи! в алкании начал я искать Тебя, да не отойду от Тебя голодным; в скудости приступил, да не отступлю ненасыщенным! Нищий пришел я к Богатому, страждущий к Милосердому; да не возвращусь неутешен и презрен! И если я воздыхаю прежде яств (Иов, 3, 24), удели мне яства после воздыханий! Господи, согбен я и могу смотреть лишь долу; воздвигни меня, да возмогу смотреть горé. Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне (Пс. 37, 5). Освободи меня, сними с меня бремя мое, да не затворит надо мною пропасть зева своего (Пс. 68, 16). Даруй мне узреть свет Твой, хоть издали, хоть из глубины. Научи меня искать Тебя и яви себя ищущему; ибо я не могу ни искать Тебя, если Ты не научишь, ни обрести Тебя, если Ты не явишь. Взыщу Тебя, воздыхая о Тебе, и воздохну о Тебе, взыскуя Тебя; обрету, возлюбив, и возлюблю, обретая.

Исповедую, Господи, и благодарю Тебя, что сотворил Ты во мне этот Твой образ, дабы я памятовал о Тебе, мыслил Тебя, любил Тебя; но он настолько стерся от гнета пороков, настолько помрачился от дыма прегрешений, что не сможет творить то, для чего сотворен, если Ты не обновишь и не преобразуешь его. Не силюсь, Господи, проникнуть в глубины Твои, непосильные для моего разумения; но желаю хоть отчасти разуметь истину Твою, в которую верует и которую любит сердце мое. Не ищу разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь; ибо верую и в то, что если не уверую, не уразумею.

Глава 2. О том, что Бог поистине есть, хотя и сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»

Итак, Господи, Ты, что даруешь вере разумение! даруй мне, насколько признаешь полезным для меня, уразуметь, что Ты еси, как мы веруем; и что Ты еси то именно, во что мы веруем. Веруем же мы, что Ты нечто, более чего нельзя ничего помыслить. Или, может быть, сущности такой нет, коль скоро сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 13, 1)? Но даже и сам этот безумец разумеет, что я говорю, когда слышит: «нечто, более чего нельзя ничего помыслить»; и то, что он разумеет, есть в его разуме, хотя он и не разумеет, что оно есть. Ибо одно дело, если вещь есть в разуме, а другое, если разум мыслит ее как ту, кото-

рая есть. Так, когда живописец замышляет то, что ему предстоит делать, он имеет в своем разуме нечто; однако он не мыслит того, что он еще не делал, как то, что есть. Когда же он все написал, он и в разуме имеет уже им сделанное, и мыслит его как то, что есть. Итак, даже и означенный безумец принужден признать, что хотя бы в разуме есть нечто, более чего нельзя ничего помыслить; ведь слыша эти слова, он их разумеет, а то, что разумеют, есть в разуме. Но то, более чего нельзя ничего помыслить, никак не может иметь бытие в одном только разуме. Ведь если оно имеет бытие в одном только разуме, можно помыслить, что оно имеет бытие также и на деле; а это уже больше, чем иметь бытие только в разуме. Итак, если то, более чего нельзя ничего помыслить, имеет бытие в одном только разуме, значит, то самое, более чего нельзя ничего помыслить, есть одновременно то, более чего возможно нечто помыслить; чего явным образом быть не может. Следовательно, вне всякого сомнения, нечто, более чего нельзя ничего помыслить, существует как в разуме, так и на деле.

Глава 3. О том, что небытие Бога помыслить невозможно. То, небытие чего возможно помыслить, не есть Бог

Вышесказанное справедливо в такой степени, что небытие этой сущности невозможно и помыслить. Ибо мыслимо нечто, о чем нельзя даже помыслить, что его нет, и это больше, чем если о чем-либо можно помыслить, что его нет. Ведь если то, более чего нельзя ничего помыслить, может быть помыслено как то, чего нет, из этого следует, будто бы то самое, более чего нельзя ничего помыслить, не есть то, более чего нельзя ничего помыслить; а это явное противоречие. Итак, воистину есть то, более чего нельзя ничего помыслить, и притом так, что его небытия и помыслить невозможно. И это Ты, Господи, Боже наш! Итак, столь воистину обладаешь Ты бытием, Господи, Боже мой, что небытия Твоего нельзя помыслить. Так и быть должно: ведь если бы некий ум возмог помыслить нечто совершеннее Тебя, творение вознеслось бы превыше Творца и судило его. что весьма противно рассудку. Притом все иное, кроме Тебя одного, можно помыслить как несуществующее; итак, лишь Ты один обладаешь бытием в истиннейшем смысле и постольку в наибольшей степени, коль скоро любая иная вещь пребывает не столь истинно, а значит, имеет в себе меньше бытия.

Так почему же сказал безумец в сердце своем: «нет Бога», если для каждого разумного духа так самопонятно, что Ты сравнительно со всем в наибольшей степени обладаешь бытием? Почему, если не потому, что он глупец и безумец?

Глава 4. О том, что безумец сказал в сердце своем нечто, чего невозможно помыслить.— Вещь может быть помыслена двояким способом: 1. Когда бывает помыслено обозначающее ее речение; 2. Когда бывает помыслена сама вещь. Первым способом небытие Божие может быть помыслено, вторым — не может

В самом деле, каким образом сказал безумец в сердце своем то, чего невозможно помыслить? Или каким образом он не мог помыслить того, что сказал в сердце своем? Ведь сказать в сердце своем и помыслить есть одно и то же. Здесь противоречие: он действительно помыслил, коль скоро сказал в сердце своем; и он не сказал в сердце своем, коль скоро не помыслил. Но сказать в сердце своем, или помыслить, можно разными способами. Одно дело помыслить вещь, мысля обозначающее ее речение; другое дело — уразумевая самое вещь как таковую. Первым способом возможно помыслить, что Бога нет, но вторым никак невозможно. Никто, разумеющий, что суть огонь и вода, не может помыслить: «огонь есть вода»,— держа в мысли вещи, хотя может это сделать, держа в мысли речения. Равным образом никто, разумеющий, что такое Бог, не может помыслить, что Бога нет, хотя бы он говорил эти слова в сердце своем, прибегая ли к внешнему изъявлению или обходясь без него. Ведь Бог есть то, более чего нельзя ничего помыслить. Тот, кто хорошо разумеет это, во всяком случае разумеет, что по свойствам бытия Бога его небытие нельзя даже помыслить, Благодарю Тебя, благий Господи, благодарю Тебя; ибо чему я прежде веровал, получив от Тебя веру, то ныне разумею, получив от Тебя озарение. И теперь если бы даже я не пожелал веровать, что Ты еси, я не смог бы не разуметь, что это так.

Глава 14. Как и почему Бог и видим, и невидим для взыскующих Его

Нашла ли ты, душа моя, что искала? Ты искала Бога, и ты нашла, что Он есть высочайший предел всех вещей, совершеннее которого ничего нельзя помыслить; и что Он есть сама Жизнь, сам Свет, сама Премудрость, сама Благость, сами вечное Блаженство и блаженная Вечность; и что пребывает Он повсюду и всегда. Так вот: если не нашла ты Бога твоего, как же возможно, что ты нашла все вышесказанное и уразумела это с такой непреложной подлинностью и с такой подлинной непреложностью? Если же нашла,— в чем причина, что ты не ощущаешь Того, кого нашла? Почему не ощущает Тебя, Господи Боже, душа моя, если нашла она Тебя? Или она не нашла Того, о ком, однако, нашла, что он есть свет и истина? Как же уразумела она это иначе, нежели увидав свет и истину? Да и могла ли она вообще ура-

зуметь о Тебе нечто, кроме как через Твой свет и через Твою истину (Пс. 42, 3)? Но если она видела свет и истину, она видела Тебя; если же не видела Тебя, не видела ни света, ни истины. Или увиденное ею было и светом, и истиной, и все же она не увидела Тебя, поскольку видела Тебя лишь немного, но не узрела Тебя, как Ты еси (I посл. Иоанна, 3, 2)? Господи, Боже мой, сотворивший и претворивший меня, скажи взыскующей душе моей, что же Ты еси сверх того, что она видела, дабы она ясно видела, чего взыскует. Усиливается она увидеть больше и не видит ничего помимо уже увиденного, разве что мрак; вернее же, она не тьму видит, ибо нет в Тебе тьмы, но видит, что не может более видеть по причине собственной омраченности. Почему так, Господи, почему так? Омрачено ли око ее слабостью своей или ослеплено Твоим блистанием? Точно, оно и в себе омрачено, и от Тебя ослеплено; потемнено оно своею малостью, и подавлено Твоею безмерностью; несомнительно, оно утесняется узостью своею и одолевается пространностью Твоею! Ибо каков этот Свет, из которого просиявает духу разумному всяческая истина? Сколь пространна эта Истина, вмещающая внутри себя все, что только ни есть истинного и вне которой обретаются только ничто и лживость? Сколь безмерна она, что единым взглядом озирает все сотворенное, она, которой, и через которую, и по действию которой все было сотворено из ничего? Сколько в ней чистоты? сколько простоты? сколько непреложности и блистательности? О, без сомнения, больше, чем творение способно уразуметь.

Глава 16. *О «свете неприступном» (I Тимоф., 6, 16), в котором обитает Бог*

Воистину, Господи, свет этот неприступен, в котором Ты обитаешь; воистину, нет ничего, что могло бы проникнуть в него и рассмотреть Тебя в нем. Воистину, его я не вижу, ибо слишком ярок он для меня; и все же все, что я вижу, я вижу в нем, как слабое око видит все им видимое в свете солнца, хотя взирать на само солнце и не может. Не в силах ум мой приступить к нему, слишком блистающему, не в силах уловить его, не выносит око души моей продолжительного всматривания в него; оно слепимо блистанием, одолеваемо пространностью, подавляемо безмерностью, постыжаемо полнотою. О свете высочайший и неприступный! О полная, о блаженная Истина! Как далеко Ты от меня, который так близок к Тебе! Как отрешена Ты от моего взгляда, между тем как я так подставлен Твоему! Без сомнения, Ты всецело здесь, я же не вижу Тебя. В Тебе «движусь я и есмь» (Деяния апостолов, 17, 28), и к Тебе не могу приступить. Ты во мне и вокруг меня, а я Тебя не ощущаю.

Глава 17. О том, что благозвучие, благоухание, сладость, мягкость и красота обретаются в Боге некоторым неизъяснимым образом

Доселе сокрываешься Ты, Господи, от души моей во свете и блаженстве Твоем; оттого и пребывает она доселе во мраке и убожестве своем. Озирается она, и не видит красоты Твоей; прислушивается, и не слышит благозвучия Твоего; обоняет, и не чувствует благоухания Твоего; вкушает, и не распознает сладости Твоей; осязает, и не распознает мягкости Твоей. Ибо все это есть в Тебе, Господи Боже, приличным для Тебя неизъяснимым образом, Ты же вложил это в сотворенные Тобою вещи приличным для них чувственным образом; но огрубели, но омертвели, но притупились чувствования души моей от застарелого недуга греховного.

Глава 18. О том, что Бог есть жизнь, премудрость, вечность и всякое истинное благо.— Все, что составлено из частей не являет собою полного единства и может быть разъято действием или мыслью. Премудрость, вечность и т. п. не суть в Боге его части, но единое, и сама целокупность, которая есть Бог, или само единство, не могущее быть разъято даже в мысли

Вот вновь смятение; вот вновь взыскующий радости и веселия встречен горестию и печалию! Уже чаяла душа моя насытиться, и вот вновь обрекается алкать. Уже мнил я, что вкусил яств, и вот глад мой сильнее, нежели прежде. Усиливался я взойти к свету Божию, и ниспал вспять, во тьму мою. Вернее же сказать, не теперь ниспал я в нее, но лишь восчувствовал свое в нее погружение; ниспал же я прежде, нежели зачала меня матерь моя. Воистину, во тьме я зачат (Пс. 50, 7) и погруженным во тьму родился. Воистину, все мы пали в лице того, «в ком все согрешили» (К римл., 6, 12). В нем все мы утратили то, что он имел без труда, утратил же на горе себе и нам; ныне, когда мы хотим искать утраченное, мы его не ведаем, когда ищем, не обретаем, а когда обретаем, это не то, что мы искали. «Господи, взыскал я лица Твоего; буду искать лица Твоего, Господи; не скрой от меня лица Твоего!» (Пс. 26, 8—9). Подними меня от меня к Тебе. Очисти, исцели, изощри, просвети око ума моего, да возможет оно воззреть на Тебя. Пусть соберет расточенные свои силы душа моя, и всем разумением своим пусть сызнова вперится она в Тебя, Господи. Что Ты еси, Господи, что Ты еси, как должно сердце мое разуметь о Тебе? Истинно, Ты еси жизнь, и премудрость, и правда, и благость, и блаженство, и вечность, и всякое истинное благо. Блага эти множественны, и бедный ум мой бессилен узреть их все единым взглядом, дабы усладиться ими всеми одновременно. Как же, Господи, Ты еси все это? Быть

может, это части Твои? или, вернее, каждое из них есть Ты во всей Твоей целокупности? Все, что составлено из частей, не являет собою безусловного единства, но до некоторой степени множество, не тождественное самому себе и могущее быть разъятым либо в действии, либо в мысли; но Тебе, совершеннее которого нельзя ничего помыслить, это чуждо. Итак, нет в Тебе частей, Господи, нет в Тебе и множественности, но Ты столь целокупен и самотождественен, что ни в чем не являешь неподобия самому себе; Ты — само Единство, не делимое ни для какой мысли. Следственно, и жизнь, и премудрость, и прочие совершенства — не части Твои, но все они суть едино, и каждое из них есть вся Твоя целокупность, объемлющая все остальные. Но коль скоро ни Ты не имеешь частей, ни вечность Твоя, которая есть Ты же сам, их не имеет, следственно, нигде в пространстве и никогда во времени ни Ты, ни вечность Твоя не даны как часть; но Ты целокупно присутствуешь во всяком месте, и вечность Твоя целокупно присутствует во всяком мгновении.

Глава 24. Умозаключение о том, каково свойство и какова великость названного Блага.— Если жизнь сотворенная есть благо, то какое благо жизнь творящая?

Ныне, о душа моя! пробуди и напряги все силы ума твоего, и поразмысли, насколько можешь, о том, каково свойство и какова великость названного Блага. Ибо коль скоро и обособленные блага усладительны, поразмысли с прилежанием, как усладительно то Благо, что содержит в себе приятность всех благ; однако не ту приятность, какую знаем по опыту из сотворенных вещей, но столь же отличную от нее, сколь Творец отличен от творения. Ибо коль скоро и жизнь сотворенная есть благо, то какое благо — жизнь творящая? Коль скоро зиждимое спасение сладостно, то как сладостно то Спасение, которым зиждимо всяческое спасение? Коль скоро мудрость, состоящая в познании вещей созданных, любезна, то сколь любезна Премудрость, создавшая из ничего все вещи? Наконец, коль скоро много великих услаждений обретается в вещах усладительных, то сколь дивное и сколь великое услаждение обретается в Том, кто сообщил им усладительность?

Глава 26. Есть ли это радость совершенная, которую обещал Господь.— Блаженные столько возрадуются, сколько возлюбят; столько возлюбят, сколько познают

Боже мой, и Господи мой, упование мое, и радость сердца моего, скажи душе моей, есть ли это радость, о которой Ты глаголешь нам через Сына Твоего: «просите, и получите, чтобы ра-

дость ваша была совершенна» (От Иоанна, 16, 24)? Ибо нашел я некую радость совершенную, и более нежели совершенную. Если все сердце, и весь дух, и вся душа, и весь человек во всем своем составе исполнится радостью этой, и тогда перельется через край радость. Итак, не радость эта всецело войдет в радующихся, но радующиеся всецело войдут в радость. Скажи, Господи, скажи рабу Твоему в глубине сердца его, та ли это радость, в которую войдут рабы Твои, что войдут в радость Господина своего (От Матфея, 25, 21)? Но радость эту, которою возрадуются избранные Твои, воистину «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (Исайя, 64, 4; I Коринф., 2, 9). Еще не сказал я, Господи, и не помыслил, сколько возрадуются эти блаженные Твои. Верно, столько возрадуются, сколько возлюбят; столько возлюбят, сколько познают. О, сколь много познают они Тебя, Господи, в оное время, и сколь крепко возлюбят Тебя! Воистину, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,— сколько познают они и возлюбят Тебя в жизни той!

Молю Тебя, Господи! даруй мне познать Тебя, даруй мне возлюбить Тебя, дабы возрадоваться о Тебе. И если не смогу в жизни сей познать, и возлюбить, и возрадоваться в меру совершенства, пусть буду я хотя бы преуспевать в этом делании, покуда радость не станет совершенна. Пусть мое познание Тебя здесь преуспевает, а там будет совершенно; пусть любовь моя к Тебе здесь возрастает, а там будет совершенна; пусть радость моя будет здесь велика упованием, а там совершенна исполнением. Господи! через Сына Твоего Ты нам повелеваешь, вернее же, советуешь, просить, и обещаешь, что мы получим просимое, чтобы радость наша была совершенна. Вот я прошу, Господи, как советуешь Ты нам через дивного Подаятеля советов; так да получу я то, что обещал Ты через Истину Твою, чтобы радость моя была совершенна. Правдивый Боже, я прошу! так да получу я, чтобы радость моя была совершенна. Меж тем пусть размышляет о ней ум мой; пусть говорит о ней язык мой; пусть любит ее сердце мое; пусть проповедуют ее уста мои. Да взалкает ее душа моя, да возжаждет плоть моя, да возгорится все существо мое, доколе не вниду в радость Господина моего, который еси Ты, Боже Троичный и Единый, благословенный вовеки. Аминь.

Приложение

ЖИТИЕ СВЯТОГО АНСЕЛЬМА, СОСТАВЛЕННОЕ ЭАДМЕРОМ, МОНАХОМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИМ, АНСЕЛЬМОВЫМ УЧЕНИКОМ И НЕРАЗЛУЧНЫМ СПУТНИКОМ

КНИГА 1

Деяния святого Ансельма прежде поставления его в епископы

1. Происхождение св. Ансельма, обучение его, отшествие в Галльские земли, размышления о выборе образа жизни

Вознамерясь предать записи чин жития и жительства Ансельма, архиепископа Кентерберийского, наперед же всего призвав себе в помощь верховное милосердие Божие и величие, вкратце скажу нечто о происхождении и нравах родителей его, дабы читатель рассмотрел, от какого корня возросло то, что со временем возблистало в трудах имевшего родиться дитяти. Итак, отец его звался Гондольф, мать же Эрмемберга. Оба они, что касается мирской чести, благородно были рождены и благородно жили в городе Аосте. Город этот, сопредельный с Бургундией и Ломбарией, явил на свет в своих стенах Эрмембергу; Гондольф, родившись в Ломбардии, сделался его гражданином из пришельца. Сочетавшись уставом брака, оба они избыточествовали богатствами, однако в некоторой степени разнствовали нравами: ибо Гондольф, преданный мирскому житию, не довольно пекся о своем состоянии, но часто тратил его, так что почитался иными не только за щедрого и благотворителя, но за неумеренного и расточителя, между тем как Эрмемберга, занимаясь благими трудами, достодолжно заботясь о доме, с осмотрительностью устрояя и сберегая свое добро, исполняла должность хорошей матери семейства. Нравы ее были честны и безупречны, и сообразованы с правомысленною рассудительностью. Таково было ее житие, в котором она пребывала, покуда жила, и в котором сподобилась принять кончину живота. Гондольф же, незадолго до смертного дня своего отвергшись мира и став монахом, монахом преставился.

Что до сына их Ансельма, то он в бытность свою малым ребенком охотно прилежал душою, покуда то еще дозволял его возраст, к материнским беседам; и вот услыхав, что есть единый Бог горé в небесах, который всем правит и обладает, он представил, как отрок, выросший среди гор, что на них и покоятся небеса, так что к небесной обители Божией возможно подняться через горы. Когда он особенно часто обращал в душе эту мысль, ему случилось ночью увидеть в сновидении, что он должен взойти на вершину горы и поспешить к обители Бога, великого Царя.

Притом еще прежде, чем начать восходить на гору, он узрел на равнине, простиравшейся до подножия горы, женщин, которые были служанки Царя; они жали ниву, но делали это весьма небрежно и леностно; отрок же, скорбя об их небрежении и негодуя на него, положил в душе своей обвинить их перед Господином и Царем. Пройдя засим гору, он вступил под кров Царя. Господина он застал с одним только хлебодаром, прочих же своих слуг, как представилось дитяти, он послал собирать урожай, ибо тогда стояла осень. Итак, отрок входит, слышит зов Господина, подходит к нему, садится у его ног, слышит обращенный к нему со сладостною приветностию вопрос, кто он, откуда, зачем пришел, и ответствует на вопрос сообразно своему разумению. Тогда властью Господина предлагается ему через хлебодара белейший хлебец, каковой он и вкушает пред лицом предложившего. Восстановляя поутру в памяти увиденное, он поверил, как отрок, простой и невинный, что и вправду был в небесах и вкушал от хлеба Господнего, и в присутствии других людей утверждал, что все так и было.

Итак, отрок возрастал и был всеми любим; то было действие честных его нравов, побуждавших прилепляться к нему с чрезвычайною любовью. Отдают его в обучение, он учится, и в малое время делает великие успехи. Еще не достигнув пятнадцатого года, он уже начал раздумывать, как лучше устроить ему свою жизнь перед Богом, и порешил сам с собою, что нет в жительстве людей ничего предпочтительнее монашеского жития. В желании стяжать таковое приходит он к некоему знакомому аббату и просит сделать его монахом; однако аббат, узнав его намерение, но также и то, что просил он без ведома своего отца, из боязни оскорбить последнего отказал. Ансельм же, блюдя верность раз принятому решению, стал молить Бога, чтобы сподобиться ему занедужить и хоть через это войти в столь желанный ему иноческий чин. Дивное дело! Бог, возвестивший, сколь скоропослушна благость его даже в иных обстоятельствах, внял его молитвам и тотчас ниспослал ему великую телесную немощь. Он же, тяжко изнемогая, посылает за аббатом, объявляет, что опасается смерти, просит, чтобы сделали его монахом. По причине вышеназванного препятствия желание его не было исполнено, однако лишь в той мере, в какой разумение человеческое может судить об этом. Впрочем, Бог, от которого и будущее не сокрыто, не пожелал, чтобы раб его оказался связан с этим местом; ибо в лоне его милосердия уже сокрывались те, которым со временем предстояло ради вящей его славы прийти к согласию с его волей через наставление от этого мужа.

После этого к юноше вернулось здравие; а то, чего он не достиг тогда, он положил с помощью Божьей совершить в будущем.

4. Между тем, однако, ему улыбалось телесное здравие, юношеское веселие, мирское благоденствие; и вот духовная его ревность о благочестивом намерении начала мало-помалу ослабевать,

так что он более вступал на мирские стези, нежели порывался их оставить и стать монахом. Притом и к ученым занятиям, особливо для него привычным, он начал охладевать и прилежать к юношеским забавам. Все же почтительная нежность и нежная почтительность, каковые питал он к матери своей, несколько удерживали его от такого поведения; когда же она скончалась, тут уже корабль сердца его как бы утратил якорь и почти унесен был волнением моря житейского. Однако Бог всемогущий, наперед ведая, что́ сотворит из него, не попустил душе его погибнуть через пользование мирским благополучием, но воздвиг на него горестную семейную брань, сиречь воспламенил душу отца столь яростной ненавистью против него, что его добрые дела озлобляли отца не менее, если не более, нежели дурные. Сын нимало не мог смягчить отца смирением, но чем более смиренным являл себя, тем более ожесточившимся видел его. Усматривая, сколь это непереносимо, и страшась, как бы не воспоследовало еще горшее, он предпочел скорее отказаться от родительского дома и родного края, чем навлечь на отца или же на самого себя от такого оборота дел бесчестие.

Итак, приготовив все, что потребно в дорогу страннику, он оставляет родной край, сопровождаемый одним услужавшим ему человеком духовного звания. Когда случилось ему во время перехода через перевал Мон-Сени утомиться, изнемогши от непривычки к таким трудам, он попытался восстановить силы, жуя снег; ничего съедобного под рукой не было. Когда служитель его приметил это, он опечалился и принялся искать с тщанием, нет ли чего съестного в котомке, что нес их осел, и тотчас же в противность ожиданию нашел в ней белейший хлебец. Насытясь им, Ансельм восстановил свои силы и был здравым возвращен к жизни.

5. Проведя затем около трех лет частью в Бургундии, частью же во Франции, он отправляется в Нормандию, устремляет путь к Авраншу, одному из городов этой провинции, и некоторое время остается там, но затем приходит в Бек, желая увидать, услыхать и воспользоваться обществом некоего магистра по имени Ланфранк; как известно, то был муж весьма добродетельных нравов, высокого благочестия и достославной мудрости, так что необычная его слава распространялась повсюду и приводила к нему достойнейших людей духовного звания со всех частей земли. Итак, Ансельм, приступив к означенному мужу и усмотрев несравненную его мудрость, подчиняет себя его учительству и через малое время становится к нему близок предпочтительно перед прочими учениками. Днем и ночью занимается он науками, притом не только получая уроки Ланфранка по своему желанию, но и с тщанием обучая других по их просьбам. Меж тем как тело его среди таковых занятий изнуряемо было бдением, гладом и хладом, пришло ему на ум, что если когда станет он монахом, как положил в свое время, тяжелее того, что он терпит, ему терпеть не придется; но в монашестве он не утратит плоды своих трудов, а будет ли

сохранен таковой плод и в миру, усмотреть невозможно. Поразмыслив обо всем этом, он начал устремлять все свои намерения к тому, как угодить Богу, и, презрев мир с соблазнами его, доподлинно возжелал стать монахом.

6. Что же дальше? Он раздумывает, где сможет принести больше пользы, в чем было его желание, и рассуждает сам с собой вот каким образом. «Так,— говорит он,— буду я монах. Но где? Если в Клюни или в Беке, тогда потеряно все время, что потратил я на ученье: ибо как в Клюни строгость устава, так в Беке умственное превосходство обретающегося в нем Ланфранка обрекут меня на то, чтобы оказаться там бесполезным, а здесь излишним. Итак, намерение мое я осуществлю в такой обители, где и познания мои смогу показать, и пользу многим принести». Все это сам он частенько рассказывал, подтрунивая над собой, а затем, задумавшись, добавлял: «Еще не был я укрощен, еще не возросло во мне презрение к миру; и вот я воображал, будто увлекаем любовью к людям, и не примечал, сколь пагубны мои помыслы».

Но затем он сказал, углубясь в самого себя: «Что же? Это ли значит быть монахом: желать, чтобы тебе предпочтительно перед всеми принадлежали первенство, почет, важность? Нет. Так отложи строптивость и становись монахом там, где в согласии с правдой ты ради Бога поставишь себя после всех, перед всеми умалишься, перед всеми лишишься важности; и где же это может быть? Где же, как не в Беке? Там я не буду ничего значить тем вернее, что там обретается он, кто, просиявая светом чрезвычайных познаний, для всех достаточен, для всех почтенен, для всех любезен. Итак, там успокоение мое; там единственно Бог будет заботой моею, там одна любовь к нему будет размышлением моим, там блаженное и непрестанное памятование о нем будет счастливым утешением и насыщением моим». Так он думал, так желал, так надеялся...

Глава 2

8. ...Итак, Ансельм, оставив все и покинув мир, стал в Беке монахом на двадцать седьмом году своей жизни. Киновией этой правил тогда владыка, аббат по имени Херлуин, муж дряхлолетний и пользовавшийся весьма хорошей славой; был он в той обители первым аббатом и сам выстроил монастырь от основания на свои родовые средства. Ланфранк, уже многократно нами поименованный, исполнял должность приора. Что до Ансельма, едва ставшего монахом, то он ревностно подражал житию тех, кто являл особливое благочестие; или скажем так: он настолько сообразовался во всем с велениями благочестия, что собственное его житие могло дать довольно образцов для подражания любому ревнителю благочестивой жизни во всей обители. Так в продолжение трех лет он день ото дня продвигался в духовном преуспеянии все далее, будучи для всех велик и почтенен.

9. Когда же достойнейший Ланфранк приял бразды правления киновией, что в Каэне, Ансельм был облечен саном приора. Обретя через это бо́льшую возможность послужить Богу, он отныне отдавал этому всего себя, все свое время, а мир и всякое попечение о мирском всецело исключал из своих помыслов. Притом совершилось, что будучи непрестанно погружен в раздумия о Боге и о священных науках, он достиг таких высот божественного умозрения, что сумел самые темные и дотоле не решенные вопросы о сущности Бога и о вере нашей постичь, постигнув же изъяснить и очевидными доводами доказать, что сказанное им здраво и католично. К Священному писанию являл он великое доверие и в несокрушимой твердости сердца веровал, что в нем нет ничего, каким-либо образом отклоняющегося от стези надежной истины. Потому он чрезвычайно ревностно устремлял свой дух в то, что там преподано, так что по вере своей сподобился постичь умственным рассуждением сокрывавшееся под покровом обильного мрака.

И вот случилось в некую ночь, что перед уставным бдением был он углублен в подобные предметы и бодрствовал на ложе своем, размышляя сам с собою и силясь уяснить себе, как это пророки во время оно прозревали прошедшее и будущее, словно бы настоящее, и с твердой уверенностью возвещали, будь то в слове изустном или записанном. И вот, когда он весь погрузился в эти мысли и чрезвычайно желал уразумения, вперяя во тьму лучи глаз своих, узрел он сквозь толщу стен спального покоя и церковного покоя, как монахи, на обязанности которых это лежало, обходили алтарь и прочие части церкви, приготовляя все к утреннему богослужению и возжигая лампады, и как, наконец, один из них взял в руки прут и для пробуждения братий ударил по билу, на каковой звон сонм братий начал вставать с лож своих. Ансельм же дивился случившемуся и через это уразумел в себе самом, что для Бога бесконечно легко в духе явить будущее пророкам, коль скоро и ему было даровано узреть происходящее телесными очами сквозь столько препятствий.

10. Осиянный с тех пор извнутри прозорливейшим светом премудрости, он настолько проник по вразумлению тонкостного ума в нравы каждого пола и возраста, что когда беседовал он с людьми всенародно, можно было приметить, как открывает он каждому тайны его сердца. Притом он снимал покров с истоков и самых, если можно так сказать, семян и корней, а равно и с возрастания всех добродетелей и пороков, и словами яснее солнца вразумлял, как одно стяжать, другое же избегнуть или одолеть. В нем видна была такая сила благого совета, что вне сомнения Дух совета основал престол в его груди. Сколь ревностен и терпелив был он в святых увещаниях, и рассказывать излишне, коль скоро все знают, как он оставался неутомимым и тогда, когда почти все слушатели ощущали утомление. Если о святом Мартине говорится, что на устах его всегда в изобилии обретались и Христос,

и справедливость, и все, что относится к нуждам истинной жизни, то мы нимало не поколеблемся в согласии с правдой повторить слова эти об Ансельме.

По сему случаю читатель и сам вспомнит, как Ансельм некогда не без откровения о будущих временах утешен был в видении белым хлебом с трапезы Господней.

11. О телесных же его трудах, сиречь постах, молитвах и бдениях, мне представляется разумнее умолчать, нежели говорить. Ибо к чему буду я рассказывать о его постах, если он от начала приората своего настолько утоньшил свое тело воздержанием от еды, что в нем не только всесовершенно отмерли какие-либо соблазны чревоугодия, но он перестал, по собственным его неоднократным признаниям, сколько-нибудь ощущать страдания от голода или удовольствие от вкушения? Вкушал же он то, что и другие, но до чрезвычайности скудно, ведая, что вовсе без пищи тело его не сможет жить. В молитвах же, которые сам он по желанию и просьбе друзей своих записал, сколь ревностно, сколь благоговейно, с какой надеждой, с какой любовью взывал он к Богу и святым его, притом и других научая взывать, узнает тот, кто прочтет их, не требуя от меня слов. Только бы читал он с благочестивым тщанием; уповаю, что будет ему в радость ощутить в них и через них сердца Ансельмова горение, свое же духовное преуспеяние. К чему говорить о бдениях? Целого дня по большей части недоставало ему для бесед со взыскующими совета, и к дню прибавлялась бо́льшая часть ночи. Притом же ночью исправлял он книги, которые дотоле обращались повсюду в чрезвычайно искаженном виде, прилежал к святым размышлениям, изливал безмерные дожди слез, подвигаемый созерцанием верховного блаженства и памятованием о жизни вечной. Горчайшими слезами оплакивал он бедствия жизни сей, грехи свои, если были у него грехи, и вины других, засыпал же совсем незадолго до уставных бдений, а зачастую не вкушал сна во всю ночь. Таковыми трудами украшалась жизнь его.

Глава 3

19. ... Нравы и слабости всех людей переносил он невозмутимо, и каждому, кому мог помочь, доставлял облегчение. О, сколь часто братья, отчаявшиеся уже в немощах своих, любящей его заботой возвращены бывали к первоначальному здравию! Какие услуги принял ты, Геревальд, дряхлый старец, отягченный не только летами, но и недугом столь жестоким, что во всем теле не владел ты ничем, кроме языка! Из рук его кормясь, пия же из самой его ладони сок, выдавленный из виноградных ягод, получил ты облегчение и был восстановлен в прежнем здравии. Другого же пития и из другой чаши дотоле упорно не принимала душа твоя, как сам ты рассказывал. Что до Ансельма, то он

вообще имел обыкновение весьма часто посещать монастырскую больницу, с тщанием расспрашивать о немощах каждого из братий и любому без промедления и досады оказывать ту услугу, которой требовала его немощь. Так был он отец для здравых, и матерь для недужных, вернее же сказать, равно для здравых и недужных как отец, так и матерь. По таковой причине, если кто из братий имел какую-либо невысказанную тайну, он открывал ее Ансельму не иначе, как сладчайшей матери. В особенности добивалась того проницательная благожелательность Ансельма в обращении с молодыми людьми ...

25. В эти времена написал он три трактата, а именно: «Об истине», «О свободе воли» и «О падении диавола». Из них явственно обнаруживается, на каких высотах пребывал дух его, между тем как он, однако, никоим образом не дозволял умственным занятиям подобного рода оторвать его от попечения о ближних. Написал он и четвертый трактат, озаглавленный им «О том, что́ есть грамматик». Там он выводит воображаемого ученика, в диспуте с которым предлагает и разрешает множество диалектических тонкостей, а равно излагает и преподает способы, каковыми должны быть разграничиваемы качественные определения.

Составил он и еще одну книжицу, которую назвал «Монологион», ибо ведет в ней одинокое собеседование с самим собою, и, совершенно оставив в стороне авторитет Священного писания, одним только разумом отыскивает и уясняет, что́ есть Бог. Так непобедимым рассуждением доказывает он, что дело обстоит не иначе, нежели исповедует о Боге истинная вера.

После того пришло ему на ум рассмотреть, не может ли быть одним-единственным и притом сжатым доводом доказано все возвещаемое в проповеди и принимаемое в вере учение о Боге, как то, что он вечен, неизменяем, всемогущ, на всяком месте целокупен, непостижим, справедлив, благ, милосерд, нелжив, что он есть Истина, Благость, Справедливость и прочее; и что все это в нем едино есть (От Иоанна, 17, 21). Замысел этот, как сам он рассказывал, доставил ему великое затруднение: ибо мысли часто отнимали у него еду, питье и сон, иногда же, что огорчало его существеннее, нарушали молитвенную сосредоточенность, которую должен был он хранить в себе во время утренних и прочих церковных служб. Приметив это и еще неотчетливо видя перед собою самое цель свою, он заключил, что подобные мысли суть диавольское искушение, и вознамерился всецело изгнать их из ума своего. Чем больше, однако, силился он это сделать, тем упорнее с каждым днем беспокоили его все те же мысли. И вот, в некую ночь между одним уставным бдением и другим благодать Божия воссияла в нем, и вожделенное раскрылось его разумению, исполнив все глубины сердца его радостию и веселием. Рассудив же сам с собою, что если раскрывшееся ему станет ведомо и другим, оно, быть может, будет им в утешение, сей чуждый зависти муж записал все на восковых табличках, каковые предал

на сохранение одному из братьев обители. Через несколько дней он просит их у хранителя назад; их ищут на том месте, где они были положены, но отыскать не могут. Все братья опрошены, не взял ли таблички по случайности кто из них, однако безуспешно. Даже доселе не отыскался человек, который признал бы, что ему ведомо, куда они пропали. Ансельм сызнова делает записи о том же предмете на других табличках и передает их все тому же брату с наказом беречь повнимательнее. Последний прячет таблички в свою постель, а на следующий день, не ожидая ничего худого, находит их на полу рядом с ложем, причем куски воска отломились и были рассыпаны в разрозненном виде. Таблички поднимаются с полу, куски воска собираются, и все опять вручается Ансельму; тот сам подбирает разрозненное и с большим трудом восстанавливает записи. Страшась, однако, как бы сочинение не погибло по какой небрежности окончательно, он приказывает во имя Господне перенести его на пергамент. Так написал он книгу, малую величиной, но великую по силе мыслей и тонкости умозрения, каковую назвал «Прослогион», ибо непрестанно обращается в ней то к себе самому, то к Богу.

Когда сочинение это попало в руки некоего читателя, тот весьма вооружился противу доводов одной из частей труда, найдя их неубедительными; с немалой резвостью пустившись опровергать их, он составил некое порицание, каковое приложил к труду Ансельма. Когда порицание это, пересланное одним другом, дошло до Ансельма, тот возрадовался, воздал порицателю своему благодарность и обнародовал свой ему ответ, присовокупив его к книге и отослав обратно другу. Желая, чтобы все это читаемо было как означенным его другом, так и всеми, кто ни пожелал бы иметь у себя его труд, он, таким образом, приложил к сочинению и порицание своих доводов, и свой ответ на порицание.

Глава 4

30. В некое время один аббат, почитавшийся за мужа весьма набожного, беседовал с ним о делах монастырского благочиния, и в числе другого упомянул воспитывавшихся в обители школяров, присовокупив: «Что, вопрошаю, выйдет из оных? Злонравны они и неисправимы; днем и ночью мы непрестанно их бьем, а они по-прежнему делаются самих себя хуже». На это Ансельм с изумлением молвил: «Непрестанно их бьете? Каковы же они становятся с возрастом?» — «Тупы и звероподобны»,— был ответ. Ансельм продолжал: «Что же побуждает вас устроять воспитание ваше так, что из человеков творите вы зверей?» — «А что,— вопросил аббат,— можем мы сделать? Всеми способами утесняем мы их, дабы они исправились; они же нисколько не исправляются».— «Утесняете? Скажи мне Бога ради, авва; если насадишь ты в саду твоем древо и тотчас отовсюду сдавишь его оградой, так что оно ни в одну сторону не сможет протянуть ветвей, а по

прошествии нескольких лет уберешь ограду, какое вырастет дерево?» — «Совершенно негодное, с ветвями искривленными и спутанными».— «А кто будет в этом повинен, если не ты же сам, столь неистово его сдавивший? Воистину, так поступаете вы с вашими школярами! Они насаждены в саду церкви, да возрастут и принесут плод свой Богу; вы же отовсюду стесняете их угрозами, застращиваниями и ударами, ни в чем не давая воли. От такого неразумного стеснения в них умножаются, прививаются, разрастаются помыслы порочные и наподобие плевелов спутанные, овладевая ими настолько, что они в закоснелости духа гнушаются всем могущим послужить к их исправлению. По этой причине они, не видя от вас к себе ни любви, ни милосердия, ни благорасположения или кротости, не хотят верить, что и в будущем получат от вас что-либо доброе, но во всех действиях ваших усматривают одну злобу и недоброжелательство к себе. Происходит вещь весьма прискорбная: чем более возрастают их тела, тем более растет в них ненависть и склонность подозревать дурное, в каждый миг устремляя их к порокам. Поскольку ничто не преподается им в истинной любви, и они ничего не могут встречать иначе, как глядя исподлобья и искоса. 31. Но скажите мне, ради Бога, как возможно, что вы являете такое недружелюбие? Разве вы не человеки? разве не то же у вас естество, что у них? Хотели бы вы, чтобы с вами поступали таким образом? Ведь вы были то, что они суть ныне. Но оставим это. Неужели одними заушениями и розгами надеетесь вы образовать в них добрые нравы? Приходилось ли вам видеть ремесленника, который силился бы одними только ударами образовать из золотого или серебряного листа изящное изваяние? Не думаю. А как это бывает? Ваяя потребный образ, мастер то своим орудием легко сжимает и ударяет лист, то искусной лаской разглаживает и круглит его. Так должно поступать и вам, если вы хотите, чтобы школяры ваши просияли изяществом нравов; грозя им розгами, облегчайте им бремя лаской и подкреплением отеческой доброты и приветливости». На это аббат вскричал: «Какое облегчение? Какая ласка? Мы хотим строгостью приготовить их к приятию тяжкого и мужеского бремени». Ансельм же возразил: «Так, так. И хлеб, и всякая основательная пища хороша и здорова для того, кто может ее принимать. Дай, однако, загустевшее в творог молоко грудному младенцу, и ты увидишь, как он скорее давится им, нежели насыщается. Почему, объяснять излишне: дело ясно само собой. Так помните же, что как хрупкому и сильному телу определена разная пища в соответствии с силами их, так и хрупкой и сильной душе определено разное кормление по мере их. Сильная душа утешается и насыщается пищей основательной, сиречь тем, чтобы являть терпение в скорбях, не желать чужого, ударившему в одну ланиту подставлять другую, молиться за врагов, любить ненавидящих, и прочее в том же роде. Но душа хрупкая и только учащаяся служить Богу нуждается во млеке,

сиречь в том, чтобы другие выказывали ей кротость, благожелательность, снисхождение, приветливое обращение, готовность с любовию помочь, и тому подобное. Если будете вы таким образом примечать, кто из ваших силен, а кто немощен, всех с Божиею помощью приобретете для Бога (I Коринф., 9, 20), насколько это от вас зависит». Услыхав это, аббат возрыдал и молвил: «Так, отклонились мы от истины, и свет разумения не воссиял нам!» — и, пав на землю у ног Ансельмовых, исповедал себя грешником и преступником, просил прощения за прошлое и обещал исправление в будущем.

Мы рассказали это для того, чтобы изъяснить, сколь много рассудительной доброты и доброй рассудительности было в Ансельме для всех и каждого.

Из речений достопочтенного Ансельма

Достопочтенный отец Ансельм в бытность свою аббатом Бека однажды сверх меры углубил свой ум в размышления и раздумия, и вид его являл, что раздумия его омрачают. И вот некто из его монахов, по случайности при этом присутствовавший, сказал ему: «Господине, отче, Богом вас заклинаю, скажите, о чем вы размышляете; ибо вижу, что размышления ваши вас омрачают».— «Скажу,— отвечал тот.— Вот о чем я думал: положим, некий богатый человек имеет стадо овец, и призывает он отрока столь немощного и малолетнего, что волку легче его унести, нежели любую из овец, и поручает отроку пасти своих овец, но с условием, что за душу любой погибшей овцы отрок отдает свою душу; разве он не должен был бы весьма устрашиться? Или если бы хозяин поручил пасти стадо одной из тех же овец, быть может, слабейшей и неразумнейшей среди них, и сказал так: «Овца, пекись об этих овцах, и ведай, что если погубишь одну из них, кровь ее взыщу от руки твоей, и будет душа твоя платой за душу ее»; разве не страшно было бы овце той? Как обрести ей уверенность? Так обстоит дело со мною. Я, я есмь малый отрок, я есмь овца слабая и немощная, я доступен козням врага более, нежели любой другой; и мне Бог поручил заботу об овцах своих, дабы я их вел, хранил, питал, притом с условием, что если по небрежности моей одна из них погибнет, душа моя будет платой за душу ее, и кровь ее от руки моей взыщет Бог. Потому страшусь, потому омрачаюсь, ведая, что страшно впасть в руки Бога живаго» (К евреям, 10, 31). Брат же заботливо сказал: «Господине, Бог с вами, зачем вы такое думаете и говорите? Никто не думает о том, о чем вы думаете; посмотрите-ка, другие аббаты веселятся и горя не знают». Ансельм возразил: «Быть может, Бог дал им уверенность, и потому они радуются и благодушествуют; мне же не дал, и потому я не без причин страшусь, ведая, что он с лихвой взыскивает талант свой с того, кому доверил» (От Матфея, 25, 25).

ВРЕМЯ РАСЦВЕТА
(XII в.)

Термин «возрождение» в применении к XII веку не является общепринятым и общепризнанным, но в последнее время он все больше распространяется в зарубежном литературоведении и в работах по истории литературы средних веков. Имеется много доводов в его пользу, но в то же время он является и несколько спорным. Чтобы определить, может ли он быть закономерно обоснован, следует наметить кратко те основные черты, которые дают повод говорить о «возрождении»: что именно «возрождается» в XII в. настолько явно, чтобы этот термин можно было признать правильным?

Если начать рассмотрение этого вопроса с той сравнительно узкой области культуры, какой можно считать «изящную литературу» на латинском языке, которой и посвящены, главным образом, собранные далее образцы памятников и обзор их, то, по сравнению с послекаролингскими веками, действительно, можно наблюдать «возрождение» более широкого интереса к античному наследию и некоторое бескорыстное, не руководящееся ни практикой, ни необходимостью непосредственно морального поучения, любование красотой самой по себе, первые примеры которого мы видели в сочинениях Марбода, Бальдерика Бургейльского, Хильдеберта; это литературное движение, начинаясь уже в последней четверти XI в., действительно, разрастается в XII в., и его можно считать, после полуторавекового перерыва, «возрождением» интересов каролингской эпохи, причем, несомненно, более органическим, не идущим «свыше», от императорского двора, а захватывающим более широкие круги грамотных людей из духовенства и даже мирян; растет также забота об изяществе литературной формы и самого латинского языка, отсутствовавшая или принимавшая очень искаженные формы в IX—X вв.

Однако самые характерные явления культуры XII в. не умещаются в рамки выросшего в эту пору интереса и уважения к античному наследию и к культивированию более изящного литературного языка. Рука об руку с этим интересом зарождаются и расцветают другие явления, по своему культурному весу более

важные: во-первых, интерес к наукам квадривия — математике и астрономии, сопровождаемый переводами греческих и арабских сочинений по этим отраслям науки; во-вторых, утверждается признание важности диалектики и силы логического метода доказательства и одновременно — противоположное этому учение о мистическом познании божественных истин, опирающееся уже не только на цитаты из Священного писания и отцов церкви, но и на собственный непосредственный опыт религиозных переживаний (в этой противоположности заложен корень всех будущих столкновений между «разумом и верой»); в-третьих, развитие и расцвет «светских» областей науки — истории с теорией исторического процесса, и права с его подразделениями (право войны и мирных договоров) и историей права,— как история, так и право, широко использовались в полемических произведениях, порождаемых современными политическими конфликтами; в-четвертых, наконец, это появление многочисленных литературных произведений на национальных языках, произведений рыцарских и светских, параллельно которым и в пределах самой латинской литературы появляется совершенно новый жанр светской лирики, любовной и сатирической,— поэзия вагантов. Ко всем этим разнообразным и многочисленным культурным явлениям термин «возрождение» уже мало подходит: мы можем в данном случае говорить либо о «зарождении» совершенно новых литературных явлений, либо об их «рождении и расцвете». И именно в этом отношении XII век является действительно замечательным литературным периодом в культурной истории Европы, когда зарождаются и намечаются многие важнейшие противоречия и конфликты будущих веков, но еще не дозревают до яростных вспышек, свидетелями которых мы будем в XIII в., когда все новое выступает еще в живой и непосредственной свежести, не затвердевшей в догмах схоластики и в нормах куртуазной поэтики. Именно XII век являет картину рождения, а кое-где уже и расцвета совершенно новых культурных явлений. И если искать термин, выражающий его сущность, то этим термином скорее будет не «возрождение» чего-то прежнего, а «рождение» подлинно новых, дотоле неведомых тенденций.

Основным событием европейской истории XII в. оставалось столкновение императорской и папской власти по вопросу, носившему, казалось бы, чисто практический характер,— спор об инвеституре. Конечно, имелась у этого спора и экономическая основа — император получал от назначаемого епископа крупный денежный подарок, что считалось вполне законным явлением и лишь в XI в. было заклеймено названием «симонии». Однако от обязательности этого материального вознаграждения за предоставление епископской должности отказался уже Генрих III, так что знаменитый конфликт между Генрихом IV и Григорием VII в последней трети XI в. был уже спором не о наживе, а о приоритете власти и о духовном авторитете. Пришлось теоретически обосновывать компетенцию «двух мечей». И в результате этих

столкновений, несмотря на достигнутый в 1125 г. компромисс, получивший наименование «Вормсского конкордата», весы истории начали заметно клониться в пользу папского авторитета. Сперва этот процесс происходил довольно незаметно, потом стал выявляться все более определенно. Этому способствовала и внутренняя перегруппировка движущих центробежных и центростремительных сил, и возникновение новых мощных общественных движений, которые развивались тоже в направлении усиления влияния папы. Это были крестовые походы.

На протяжении XII в. состоялись три крестовых похода: 1096—1099, 1147—1149 и 1189—1190 гг. Первый окончился победой над мусульманами (турками и арабами), завоеванием Иерусалима и основанием христианских королевств и княжеств в Палестине и Сирии, т. е. фактически покорением почти всего средиземноморского Востока. Но этот успех был недолговечен — уже через пятьдесят лет крестоносные завоеватели лишились Эдессы, своего восточного аванпоста, а после третьего похода была окончательно утрачена и общая цель всего крестоносного движения — Иерусалим, хотя походы для его освобождения снаряжались в течение почти всего XIII в. (до 1270 г.). В связи с крестовыми походами в XII в. произошло коренное перераспределение соотношения и функций основных движущих сил общества, экономических и социальных. Соотношения эти становятся сложнее, во многом — и притом в разных странах по-разному — меняют свой характер и ориентацию, наряду с прежними общественными группами выдвигаются новые, быстро набирающие силу.

Главная централизующая сила и власть, объединяющая соответственные стремления разных слоев населения, переходят в XII в. от императоров к папам. Императорская власть была ведущей, пока нужно было защищать среднюю Европу от нападения извне, от венгров и норманнов. Только император имел силы и возможность созывать и содержать сильное и достаточно организованное войско, чтобы отражать их набеги, ибо у папы собственного войска не было, а Франция и Англия сами в значительной части были завоеваны норманнами. Но когда от оборонительных войн Европа перешла к наступательным, тогда положение изменилось. На свою роль в завоевательных походах и на свою долю в ожидаемой добыче предъявили притязания, наряду с императором, и короли Франции и Англии с подвластными им феодалами. Так, в первом крестовом походе ведущую роль играла отнюдь не империя, раздираемая в это время распрей между Генрихом IV и его мятежным сыном Генрихом V, а Франция, на земле которой был созван Клермонский собор и проповедовал Петр Пустынник. В организации второго крестового похода важную роль играл Бернард Клервоский. Ведущая роль Франции нашла выражение даже в заголовке первого исторического сочинения о крестовых походах — Гвиберт Ножанский озаглавил свою книгу «Деяния Бога через франков». А в третьем крестовом походе английский король

Ричард Львиное Сердце на собственный страх и риск оккупировал Кипр и основал там самостоятельное герцогство.

Что для отправления в крестовый поход, т. е. на «святое дело», требовалось папское благословение, было ясно каждому. Уже этим самым приоритет папы был обеспечен на все время, пока длились крестовые походы. Но одного духовного авторитета было мало для организации таких грандиозных предприятий — нужна была военная сила, а также материальные средства. И эта военная сила в течение XI в. уже создалась в виде прочно организованного среднего рыцарства, уже с половины X в. владевшего наследственными феодами. Феодальные владения, некогда находившиеся в неограниченном ведении императора, вручавшиеся им по его усмотрению тому или иному представителю «благородного» сословия, стали постепенно закрепляться за отдельными родами, отпрыски которых уже смотрели на эти владения как на свою собственность. Рыцарские хозяйства разрастались, потребности их владельцев становились шире, а их быт и нравы теряли первоначальную грубость. Но с разрастанием рыцарских семейств феоды начинали дробиться, их хозяева чувствовали бедность, младшие сыновья в больших семьях покидали дома и отправлялись искать счастья и дохода. Из этого среднего рыцарского сословия и вербовались армии крестоносцев, больше зависящие от своих военачальников и от своего духовного вдохновителя и руководителя, папы, чем от императора. В этой же массе среднего рыцарства возникли специфически рыцарские организации — ордена, уже непосредственно подчиненные только папе, исполнявшие его планы и поручения: тамплиеры, иоанниты, меченосцы и др. Постепенно, смотря по области деятельности, эти организации приобретали национальный характер и направлялись папой на разрешение тех или иных национальных задач, но всегда с папского благословения, а не по распоряжению императора. Таким образом, централизующую силу, хотя и не в строго политическом смысле, представляли собой папская курия (папа, кардиналы и высшие духовные сановники) и массы среднего рыцарства.

К этому все более консолидирующемуся организму противоположностью являлись крупные феодалы, все более стремившиеся превратить свои большие феоды в самостоятельные [illegible] государства. Они одновременно оказывали сопротивление и императору и папе. Нередко такую же позицию занимали и крупные богатые монастыри, особенно если во главе их оказывались люди талантливые и властолюбивые, вполне обходившиеся без всякого руководства свыше. Весьма двойственную позицию занимали и епископы — двойной порядок их инвеституры, отчасти освободив их от тесной связи с императорами, тем теснее привязывал их к папе, и они в этой двойной зависимости постепенно все крепче примыкали к своему непосредственному духовному повелителю, тем более что у него в руках находилось наиболее страшное в ту пору оружие — отлучение от церкви, не раз сокрушавшее даже импе-

раторов и тем более грозное для духовного лица, если бы это лицо осмелилось возвысить голос против какого-либо распоряжения свыше. Таким образом, и эти колеблющиеся элементы постепенно становились все более зависимыми от папской власти.

И тем не менее рядом с этими элементами, все более подчиняющимися централизующим стремлениям папы и его сателлитов, зарождался, рос и укоренялся новый, независимый, самостоятельный элемент, пока еще не вошедший в силу, но обещавший со временем занять прочную непоколебимую позицию, и притом противоположную тенденции усиления папского господства. Этим элементом, подготовлявшим в далеком будущем полный подрыв всех централизующих тенденций, исходивших от римского престола, были в сфере экономической — бюргерство, а в сфере интеллектуальной — светская наука: эти две стороны новых, неведомых дотоле тенденций олицетворялись в XII в. итальянскими городами-республиками (Венецией, Генуей, Пизой) и соборными школами, из которых медленно, но верно создавались университеты (Болонский, Парижский, Орлеанский, Турский и др.). И здесь и там выковывался новый тип людей: во-первых, предприниматели, купцы, путешественники, авантюристы; во-вторых, трезвые ученые, переводчики, юристы, литераторы — сатирики и лирики. Им всем было не по пути с основными задачами и стараниями папского Рима, и они, полагаясь на свои силы и используя ту относительную свободу, которая умещалась, так сказать, в промежутках и щелях между уже прочно установленными и еще консолидирующимися организациями, закладывали основы светских исследований, наук и художественного творчества, которые, временно задушенные победами духовной власти в XIII в., расцвели в последующие века итальянским Ренессансом, гуманизмом и реформацией. Именно это и дает ученым право говорить о «возрождении XII века».

Уже первые крестовые походы оказали значительное влияние на разные стороны общественной жизни Европы и имели важные последствия. В экономике многих европейских государств, особенно в Италии и южной Франции, начинает играть большую роль торговый капитал. Венеция, Генуя и Пиза организуют перевозку крестоносцев на своих кораблях, для чего требуется постройка судов, множество рабочих рук для этого дела, немало персонала для обслуживания средств передвижения и большие запасы продуктов для питания «пассажиров» в течение переезда, длившегося иногда несколько недель, если не месяцев. На обратный путь эти же суда нагружались различными товарами, либо приобретаемыми на Востоке, либо получаемыми в виде военной добычи от крестоносцев: круг товаров постепенно расширялся — оружие, ткани, художественные восточные изделия из металла и кости, пряности. И между тем как в северной Европе еще господствовала в феодах система натурального хозяйства, на юге Италии и Франции уже начинали свои операции первые банкирские дома.

Не менее значительны были и политические последствия крестовых походов: это были первые совместные выступления различных европейских народностей, начинающих складываться в национальные государства под руководством своих национальных правителей и полководцев, облеченных властью и военными полномочиями. Между участниками походов, принадлежавшими к разным народностям и говорившими на разных языках, впервые, быть может, стали устанавливаться личные отношения. Они отрывались от своих феодов, от их узких местных интересов, и включались в некое большое целое, преследовали общую цель. Но у этой общности была и обратная сторона — в общем деле зарождалось и росло соперничество, порой выливавшееся в ярко выраженную вражду. Здесь именно отношения между воинами французскими, английскими и германскими впервые стали обостряться, принимая уже не характер столкновений между феодальными властителями за имущественные интересы, а характер национальной вражды: длительные распри между Фридрихом Барбароссой и итальянскими городами в Ломбардии носили, несомненно, именно этот оттенок. Во многих случаях это соперничество и вело к неудачному завершению военных предприятий, требовавших единых планомерных действий.

Неизмеримо больше и безусловно положительней были последствия походов и ознакомления с новыми чужими странами и обычаями в культурном отношении. На первом месте здесь можно поставить совершенно новое, принадлежащее впервые XII в. явление — большое число переводов на латинский язык произведений греческих и арабских, а также греческих через арабский. Это были произведения не художественной, а научной литературы. Именно они в первую очередь безмерно расширили кругозор грамотных людей XII в. и придали ему уникальную ценность, которая не принадлежит ни предшествующему, ни последующему веку: XI век только пробуждал и подготовлял, XIII век будет закреплять, систематизировать и подчас замораживать, XII же век ищет и находит. В течение многих веков научные знания черпались даже самыми в ту пору учеными представителями духовенства — о мирянах и говорить нечего — из энциклопедических трудов Исидора Севильского и Беды Достопочтенного, т. е. оставались на уровне VII—VIII вв. Замкнутость в пределах латинского языка, полная потеря знаний языка греческого и тем более языков восточных, враждебная отгороженность от стран арабской культуры — все это содействовало полному застою в научной области и утрате интереса к конкретным знаниям.

Уже в конце XI в. в связи с первым натиском христианства на ислам — испанской реконкистой, начинается появление в христианской Испании первых переводчиков, которые либо сами овладевают арабским языком, либо прибегают к помощи испанских евреев, которые переводили арабские тексты на еврейский или на испанский народный язык, предоставляя дальнейший перевод на

латинский христианским переводчикам. Биографические сведения об этих первых подвижниках перевода весьма скудны. Наиболее известны имена Аделара Батского (первая половина XII в.), англичанина, лично побывавшего в Сирии, переводчика Евклида и «Вопросов об изучении природы», уже знакомого, по-видимому, с некоторыми естественнонаучными сочинениями Аристотеля; Герарда Кремонского (1134—1187), изучившего в Испании арабский язык, чтобы перевести главное географическое сочинение Клавдия Птолемея «Великое обозрение» (по-арабски называвшееся «Алмагест»). Его ученики насчитали 71 переведенное им сочинение. Характерно для этой эпохи то, что переводчики происходят из самых различных областей Европы — их зовут Платон Тиволийский, Роберт Честерский, Герман Каринтийский. Наиболее крупным переводческим центром являлось Толедо, в котором работали и еврейские переводчики Петр Альфонси и Авраам Бен-Эзра. Многие переводы остались анонимными.

Другой центр переводческой деятельности в том же XII в. образовался в Сицилии, которая до конца XI в. находилась под властью арабов, потом перешла во владение норманнов и где бо́льшая часть населения — наследники древней «Великой Греции» — владела греческим языком, а при господстве арабов соприкоснулась и с арабской наукой. Из переводчиков этой группы известны имена грека Аристиппа, архидиакона в Катании (ум. 1162), переводчика платоновских диалогов «Федон» и «Менон»; Евгения Палермского, посвятившего себя математическим и астрономическим сочинениям; и пизанца Бургундиона (1110—1193), переводившего греческих отцов церкви, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, а также греческих медиков.

В результате деятельности этих переводчиков, многие из которых были не профессиональными учеными, а дипломатами на службе у королей и пап, научный кругозор всех лиц, связанных с соборными школами, и преподавателей, и слушателей, в течение всего XII в. непрерывно расширялся и обогащался. К началу XIII в. были переведены почти все сочинения Аристотеля, причем многие из них вместе с греческими и арабскими комментариями, и главные географические, математические, астрономические и медицинские труды греческой и арабской науки; и ученым XIII в. предстояло решить вопрос, как согласовать эти новые сведения, происходившие из языческих сочинений, с общепризнанными и непоколебимыми истинами Священного писания. Проникновение новых тенденций на юг Франции (в Тулузу, Марсель) и в Италию привело к ряду столкновений между ортодоксальным учением церкви и последователями «ересей» (вальденцев и катаров) и в конечном счете к их кровавому подавлению в альбигойских войнах начала XIII в.

Однако приход роковых для науки сопоставлений с вероучением, период преследований и запретов еще не наступил, и в относительно свободной атмосфере зародились и даже успели до-

статочно развиться, в расширение тривиума, еще три гуманитарные науки. Первая из них — юриспруденция — расцвела пышно, оказалась практически совершенно необходимой и прочно закрепила свое положение на все последующее время. Вторая — история — сделала большой шаг вперед от хроник, начинавшихся от сотворения мира и мало интересовавшихся современной жизнью, и от сухих анналов, отмечавших только неурожаи, войны и явления комет; в XII в. появляются исторические сочинения обзорного характера на современные темы — истории крестовых походов, войн Фридриха Барбароссы, германского завоевания славянских земель и т. п. Наконец, третьей областью, в которой впервые высказываются критические и самостоятельные суждения, не подкрепляемые исключительно библейскими и святоотеческими цитатами, является философия, которая на столетие перестает быть «служанкой теологии», и лишь в XIII в. впадает в прежнее унижение. Именно этим наукам и надо посвятить несколько слов.

Интерес к юриспруденции зародился еще в последние десятилетия XI в. Средоточием занятий правом стала Болонья, где преподавал итальянец Ирнерий (1060—1140), политический советник императора Генриха V и графини Матильды Тосканской, сподвижницы и покровительницы папы Григория VII. Ирнерий впервые стал в своих лекциях разъяснять «Дигесты», ту почти забытую часть кодекса Юстиниана, которая сохраняла основные положения римского права и его метод строго логического юридического доказательства. Его толкования каждого юридического положения («глоссы») были углублены и распространены его четырьмя прославленными учениками — «глоссаторами». Болонская школа уже в 1088 г. стала считаться университетом, студенты стекались в нее из разных концов Европы, и образованные юристы немедленно находили применение своим знаниям при дворах королей, в их канцеляриях, в папской курии и в дипломатических посольствах. Одни из них были сторонниками папы, другие — императора и нередко выступали со своими полемическими сочинениями по поводу какого-либо спорного вопроса, но главным для них была все же их практическая деятельность, привлекавшая столько адептов, что в конце XII в. папа был вынужден наложить запрет на преподавание юриспруденции в парижской школе, отвлекавшее учащихся от занятий теологией.

Составление исторических сочинений, очень многочисленных в XII в., оставалось, главным образом, делом ученых монахов и епископов. Из них особо заслуживают упоминания англичанин Вильям Мальмсберийский (1080—1142), написавший «Историю английских королей» и «Историю английских церковных деятелей», систематизированную по епископствам; французский аббат монастыря Сен-Дени Сугерий (1081—1151), составивший биографию короля Людовика VI и «Отчет о своем управлении монастырем» с интереснейшими подробностями своей строительной деятельности (за которую его осуждал Бернард Клервоский); наиболее вы-

дающимся историком этого века можно считать Оттона Фрейзингенского, родного дядю Фридриха Барбароссы, его советника и сподвижника, участника второго крестового похода. Его труд «История о двух государствах» написан под влиянием Августина (под двумя государствами подразумеваются государства земное и небесное, а VIII книга посвящена будущим судьбам мира), но это — одно из первых исторических сочинений, соединяющее в себе живое изображение современных событий с точки зрения их очевидца и участника — с попыткой общего осмысления их и единой продуманной концепцией.

Несколько особняком стоят анонимные истории крестовых походов, объединяемые под заглавием «Деяния франков и других воителей иерусалимских» и написанные, по-видимому, не представителями ученого духовенства, а непосредственными участниками военных действий: они дают пеструю фактическую картину удач и неудач, выпавших на долю крестоносцев.

Характерной чертой и упомянутых сочинений и ряда других, менее известных (например, «Хроники славян» монаха Гельмольда), является их чутье реальности, интерес к конкретной жизни и умение ее изображать. Этим объясняется и выход в свет первых автобиографий, обычно под заглавием «О делах своих» (таковы отчет Сугерия и сочинение валлийца Гиральда Камбрийского), и наиболее знаменитая автобиография Петра Абеляра под названием «История бедствий Абеляровых». Но это сочинение относится скорее уже к области философии, чем истории как таковой, и с ним мы вступаем в новую, очень важную область — философию.

В этой области уже в XII в. намечается резкое противоречие между двумя направлениями философской теологии. Представителем рационализма, допускающим, вернее даже требующим, доверия к человеческому разуму и критического исследования положений церковного вероучения является Петр Абеляр. Он знаменит не столько своими богословскими сочинениями, наделавшими много шума в его время и навлекшими на него осуждение церкви, сколько своей оригинальной автобиографией и приписанной ему перепиской с монахиней Элоизой, его бывшей женой. Прославленный в свое время лектор, отвлекавший толпы учеников от других лекторов, он ценен и в литературном отношении как мастер латинской литературной речи, придавший ей индивидуальный характер и полемический задор. Однако во владении чисто риторическими приемами он уступает своему ярому противнику Бернарду Клервоскому, который облекает и свои проповеди о мистическом восприятии религиозных откровений, и чрезвычайно острые нападки на разложение нравов современного духовенства, и инвективы против своих противников, и даже поучения, смело обращенные к папе, в столь отточенную, безукоризненно разработанную литературную форму, что порой кажется, будто благочестивая тематика была для него лишь благодарным литературным материалом: слишком звучит в его высказываниях искусный и честолюбивый

властолюбец. Своего противника-рационалиста ему удалось осудить теоретически и сломить его карьеру и его жизнь. Относительно другого рационалиста-богослова, Гильберта Порретанского (1080—1154), превосходившего Бернарда ученостью и остроумием, это не удалось. Рационализм, опираясь на многочисленные новооткрытые сочинения Аристотеля, в следующем столетии все же победил, создав рационально-схоластическую систему философской теологии. Впрочем, эта победа была уже намечена «Сентенциями» («положениями») Петра Ломбарда (ум. 1160), изложившего в четырех книгах систематически, методом доказательств, примыкающим к Абеляру, основное богословское учение христианской церкви.

Между тем в недрах самой церкви два ее представителя, Бернард Сильвестр, учивший в середине XII в. в турской школе, и Алан Лилльский, один из знаменитейших ученых своего времени, в аллегорических сочинениях, составленных частью прозой, частью стихами, излагали учение о природе и о человеческой жизни, гораздо более угрожавшее церковной догме, чем рационализм Абеляра. И творение Бернарда Сильвестра «О целокупности вселенной», и сочинения Алана «Антиклавдиан» и «Плач Природы» развивают космогонические и космологические теории в платоновском и даже неоплатоническом духе, в корне подрывавшем церковное учение о сотворении мира. По-видимому, эти сочинения, на взгляд руководителей церкви, были менее опасны для верующих: их относили к области чисто литературной и считали доступными только людям, искушенным в чтении античных поэтов и понимающих их темный и загадочный язык. И действительно, если Алан испытал на себе решающее влияние литературной формы «Утешения философией» Боэтия, то Бернард Сильвестр вошел в ряды знатоков античной поэзии, прокомментировав детально шесть первых песен «Энеиды». Это дает и нам повод перейти к писателям XII в., не задававшимся глубокомысленными целями, а посвятившим себя более легкой деятельности «сложения стихов».

Как было сказано выше, термин «возрождение» применительно к литературе XII в. наиболее оправдан тогда, когда дело идет о поэтических произведениях. В этой области действительно можно проследить повышение интереса к античным образцам. Оно идет в двух направлениях — это подражание изяществу языка и стиля, и это использование античных сюжетов. Первое направление ведет к увлечению Овидием, пришедшему в конце XI и первой трети XII в. на смену преклонению перед Вергилием, в котором долго видели языческого пророка, предсказавшего в IV эклоге рождение Христа. Овидианству отдали дань на пороге XII в. поэты луарской школы — Марбод, Хильдеберт и особенно Бальдерик, сочинявший даже прямые подражания понтийским посланиям Овидия. Произведения этих поэтов, превосходные по отделке стиля, оказали благотворное влияние на латинский язык XII в. Это обновление языка по классическим образцам распространи-

лось так широко, что даже анонимный панегирик в память императора Генриха IV, написанный вскоре после его смерти в 1106 г., отличается прекрасной богатой лексикой и классической ясностью грамматического строя.

Второе направление использует излюбленные античные сюжеты, частично из «Метаморфоз» того же автора. Так, ученик Бернарда Сильвестра, Матвей Вандомский, изложил заново историю Пирама и Фисбы, потом применил свое стихотворное искусство к библейской повести о Товии и составил трактат по науке стихосложения, а также любопытный стихотворный письмовник, применяющий образцы «Героид» к тематике современного быта. Вообще, и в XII, и впоследствии в XIII в. теория словесности излагалась не раз и в прозе, и в стихах.

Значительно больше, чем сюжеты Овидиевых поэм, подвергались обработке в латинском эпосе XII в. основные циклы греческой мифологии — троянский и фиванский. Правда, уже от предыдущих веков до нас дошли небольшие латинские поэмы, анонимные, написанные леонинским рифмованным стихом. Они посвящены печальной судьбе Трои, носят морализующий характер и жестоко порицают Елену, называя ее «блудницей» и «развратницей». Столь же трагичен «Плач Эдипа» над телами его сыновей.

Гибели Трои посвящены в XII в. три латинские поэмы поэтов-монахов Иосифа Исканского, Петра Санктонского и Симона по прозвищу «Золотая коза». С Гомером и даже с поздними греческими разработками темы Троянской войны они не имеют почти ничего общего, а перелагают в стихи поздние прозаические повести Диктиса и Дареса, дошедшие и до нас только в латинских переводах с несохранившихся греческих оригиналов.

Именно на этом этапе мы встречаемся с совершенно новым литературным явлением — с изобильным поэтическим творчеством на новых национальных языках, вступающих теперь в успешную конкуренцию с латинским языком и обращающихся к тем же исконным античным сюжетам, но разрабатывающих их в новом «рыцарском» духе и стиле. Троянская война стала в том же XII в. (1150—1160) темой огромной поэмы на французском языке придворного поэта Бенуа де Сент-Мора (30 000 стихов), который сделал введением к ней изложение похода аргонавтов, осаду Трои разукрасил множеством турнирных эпизодов и создал свой собственный новый «роман» — между младшим сыном Приама Троилом (этот образ был развит уже у Дареса) и Брисеидой, здесь уже не пленницей Ахилла, а дочерью Калханта. За Бенуа последовал немецкий поэт Герберт Фрицларский, создавший тоже объемистую поэму «Песнь о Трое».

В использовании сюжета фиванского цикла и основания римского государства Энеем новые национальные поэты были в это время монополистами — латинских поэм на эти темы мы не имеем (по-видимому, никто из латиноязычных поэтов не решался состязаться с Вергилием и Стацием, которые были у всех в руках),

зато анонимный французский «Роман о Фивах», лишь немного уступающий по размерам роману Бенуа, французский же «Роман об Энее» и немецкая поэма Генриха фон Фельдеке «Энеида» успешно перерабатывают эти античные сюжеты в рыцарские романы, богатые бесчисленными приключениями и любовными объяснениями.

Пока продолжаются крестовые походы, пышно развертывается разработка еще одного сюжета, ставшего романом еще в античности — сюжета о восточном походе Александра Македонского, о его рождении, победах, открытиях и ранней смерти. На латинском языке этой теме посвящает большую поэму «Александреида» (в 10 песнях) поэт Вальтер Шатильонский. Здесь он обращается к поздним версиям романа псевдо-Каллисфена, уже в X в. переведенного на латинский язык под названием «История о битвах», и вводит эпизоды, известные из талмудических добавлений к нему о полете Александра, о его планах покорения западных стран. При описании смерти Александра выступает величественный образ Природы, блюдущей меру всего земного и перекликающийся с соответственным образом у земляка Вальтера, Алана Лилльского. Однако и этот сюжет не остался в исключительном владении латинского поэта. Почти параллельно с ним возникли: французская поэма Обри Безансонского (дошедшая до нас только в фрагментах), которую воспроизвел с расширением в немецких стихах так называемый «клирик Лампрехт» (1130—1140-е годы) и колоссальная французская поэма двух авторов, Ламбера ли Торту и Александра Бернэ, в которой был впервые выработан французский силлабический размер — «александрийский стих», получивший от нее свое имя.

Помимо этих поэм на античные сюжеты, латинская поэзия в XII в. породила еще несколько произведений на сюжеты иного характера. Это поэма «Пилат» по материалам апокрифических сказаний; «Об Иуде», в которой слит библейский эпизод о нахождении Моисея, подкинутого матерью в реку Нил, с эдиповским мифом о его женитьбе на матери и с евангельским рассказом о его самоубийстве; и, наконец, поэма о Мерлине, примыкающая к еще не использованному латинскими писателями кельтскому циклу сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. На латинском языке имеется только прозаическое изложение этих кельтских сказаний в «Истории бриттских царей» (1132—1137) Гальфреда Монмаутского, по происхождению кельта, архидиакона, а потом епископа в Сент-Асафе в Уэльсе.

Последний, наиболее бедный раздел эпической латинской поэзии в XII в. составляют поэмы о современных событиях: это «Деяния Фридриха I», довольно скудное изложение походов Барбароссы; поэма «Лигурин», описывающая его борьбу с ломбардскими городскими общинами (по прозаическому сочинению Оттона Фрейзингенского) и дошедшая не полностью поэма «Солимарий» о первом крестовом походе. Автором двух последних поэм предположи-

тельно считается Гунтер из эльзасского монастыря Пэрис, доживший до 1220 г. Почти исключительно современная тематика господствовала в сочинениях итальянских поэтов этого времени, впрочем, немногочисленных и высокими поэтическими достоинствами не отличавшихся.

Три признака характерны для начинающегося к концу XII в. кризиса овидианского гуманизма. Во-первых, это нарастание эротики в овидианской поэзии, достигающее крайней формы в стихах Серлона Вильтонского или в анонимной «элегической комедии» о трех девушках. Это означает, что первоначальная привлекательность овидианского жизнелюбия уже перестала ощущаться писателями и читателями, и поэты в стремлении к успеху уже стараются быть «больше Овидиями, чем сам Овидий». Во-вторых, это географический сдвиг духовных центров овидианского гуманизма: из Франции он перемещается в Англию, сдвигается на периферию Европы, где опыт духовной культуры сравнительно меньше. Это значит, что в центральной Европе уже ощущается, пока бессознательно, неудовлетворенность гуманистическими идеалами прежнего периода, и приближается наступление какой-то реакции. Наконец, в-третьих, это социальный сдвиг овидианского гуманизма: появление вагантской поэзии. До сих пор овидианская поэзия была достоянием «элиты», ученых клириков, занятых богословием и «благородными науками», а поэзии отдававших свой досуг. Теперь она становится достоянием широких масс духовного сословия, люда неимущего, необеспеченного и озабоченного гораздо более мирскими делами, чем религиозными. Это и есть ваганты — прослойка европейского культурного общества, какой дотоле не было на Западе. Опускание овидианской поэзии в социальные низы — важнейший шаг в истории эмансипации светской литературы от религиозной. Появление вагантства — важнейший этап в социальной истории европейской культуры. Поэтому на вагантской литературе следует остановиться подробнее: она была последней и самой яркой стадией развития гуманизма XII в.

Слово «вагант» значит «бродячий». Это был почти термин, применяемый к тем священникам, которые не имели своих приходов, и к тем монахам, которые покидали свои монастыри (clerici, monachi gyrovagi). Такие безместные духовные лица, вынужденные скитаться из города в город и из монастыря в монастырь, существовали, конечно, во все времена. «Вагантом» мог быть назван Годескальк, еретический проповедник IX в., о своей неуживчивости во многих монастырях откровенно повествует историк XI в. Радульф Глабр, вагантская тоска по вольной жизни слышится в поэме «Бегство узника». Нравственность и дисциплина этих бродячих клириков, конечно. была весьма невысока, и церковь издавна старалась осуждать и пресекать эти дезорганизующие явления в своей системе. Еще в VII в. Шалонский собор осуждал бродячих клириков, распевающих «низкие и бесстыдные песни» — характерное свидетельство, указывающее, что уже в ту

раннюю пору этот бродячий духовный люд естественно сталкивался в быту с бродячим светским людом — жонглерами и мимами — и перенимал их отношение к искусству.

Однако до XII в. ни в социальной, ни в культурной жизни Европы вагантство не играло значительной роли. Сколько-нибудь образованных клириков было мало, общественный спрос на их знания был очень велик, и всякий грамотный монах или священник мог быть уверен, что при желании найдет себе место в жизни — в приходе, в монастырской или соборной школе, в скриптории, в канцелярии какого-нибудь светского феодала.

В XII в. положение изменилось. Эпоха крестовых походов и коммунальных революций всколыхнула всю общественную жизнь Европы, оживилась хозяйственная, политическая и культурная жизнь, резко повысился спрос на грамотных людей. Соборные школы разом ответили на это расширением своей просветительной деятельности. Их аудитории становились все многолюднее, привлекая молодых людей всякого звания со всей Европы и выпуская в свет все больше и больше образованных клириков. И скоро критическая точка была перейдена: потребности общества в грамотных людях уже были удовлетворены, а производство грамотных людей продолжалось с прежней расширяющейся инерцией. Не надо забывать, что образованным клирикам пришлось столкнуться с конкуренцией образованных мирян. Несколько поколений назад грамотный мирянин был в Европе чем-то почти неслыханным, а теперь и грамотный рыцарь и грамотный купец постепенно становились если не частым, то и не редким явлением. Так совершилось в Европе первое перепроизводство интеллигенции. В буржуазной науке слово «интеллигенция» употребляется в несколько ином значении, чем у нас: там оно означает не всех лиц умственного труда, обслуживающих господствующий класс, а прежде всего тех, кто при этом обслуживании не получает своей доли общественных благ, чувствует себя изгоем, выпавшим из общественной системы, не нашедшим себе места в жизни. В этом смысле ваганты XII в. могут быть названы первой европейской интеллигенцией.

Окончив образование в соборной школе и не найдя для себя ни прихода, ни учительства, ни места в канцелярии, молодые клирики могли только скитаться с места на место и жить подаяниями аббатов, епископов и светских сеньеров, платя за это латинскими славословиями. Общая обстановка XII в. содействовала развитию такой скитальческой жизни: после крестовых походов и оживления торговых связей дороги Европы впервые стали относительно свободны от разбоев и доступны для передвижения. В то же время и развитие знаний побуждало учащихся клириков время от времени перебираться из одной школы в другую, потому что школы разных городов славились отличным преподаванием разных наук. Поговорка гласила: «Школяры учатся благородным наукам — в Париже, древним авторам — в Орлеане, судебным

кодексам — в Болонье, медицинским припаркам — в Салерно, демонологии — в Толедо, а добрым нравам — нигде». Нравы этой опасно умножившейся умствующей бродячей толпы, растекшейся по всем европейским дорогам и городам, серьезно беспокоили духовные власти. Ваганты своей жизнью подрывали у народа уважение к духовному сану, а при случае оказывались и участниками общественных беспорядков. Кроме того, из их среды исходили стихи не только льстивого и панегирического содержания: Матвей Парижский под 1229 годом упоминает стихи парижских школяров, написанные по случаю блуда королевы Бланки Кастильской с папским легатом. Поэтому к XIII в. все более учащаются суровые постановления провинциальных соборов, осуждающие вагантов. Осуждению подвергается «клирик, поющий песни в застолье»; «клирик, занимающийся постыдным шутовством»; «клирик, посещающий кружала»; «клирик, который пьянствует, играет в зернь, одевается в зеленое и желтое и носит оружие»; «клирики, которые ночью бродят по улицам с шумом, дудками, бубнами и пляской» и т. п. Осуждение прибегает к самым решительным мерам: виновные лишаются духовного звания (которое одно защищало их от побоев, налогов и прочих невыгод мирской жизни) и выдаются светским властям.

Здесь, в этих соборных постановлениях, появляется термин, получивший очень широкое распространение: «бродячие школяры, сиречь голиарды», «буйные клирики, особливо же именующие себя голиардами» и пр. Происхождение слова «голиард» неясно: может быть, оно происходило из вульгарного «gula» — «глотка», может быть — от имени библейского великана Голиафа (имя это было в средние века ходовым ругательством, его применяли и к Абеляру и к Арнольду Брешианскому), во всяком случае, оно скоро контаминировало ассоциации, связанные и с той и с другой этимологией, и из бранного слова стало гордым самоназванием вагантов. Чаще всего оно встречается в английских и северофранцузских рукописях; немецкие, например «Carmina Burana», термина «голиард» не знают. Зато на англо-нормандской окраине Европы из этого прозвища вырос целый миф о прародителе и покровителе вагантов — гуляке и стихотворце Голиафе. Историк Гиральд Камбрийский около 1220 г. пишет: «И в наши дни некий парасит, именем Голиаф, прославленный гульбою и прожорством, и за то по справедливости могший бы именоваться Гулиафом, муж, в словесности одаренный, хотя добрыми нравами и не наделенный и в достойных науках не искушенный, изблевал обильные и многохульные вирши против папы и римской курии, как в метрах, так и в ритмах, сколь бесстыдные, столь и безрассудные». Этому Голиафу приписывались в английских рукописях многие стихи (в том числе стихи таких известных поэтов, как Примас Орлеанский и Вальтер Шатильонский), а его последователи, голиарды, изображались как организованный бродяжий орден со своим уставом, членством, порядками и празднествами. Это — поэтический

вымысел: такого ордена никогда не существовало в действительности (как не существовало, например, «судов любви», которые тоже изображались в куртуазной литературе как нечто реально существующее). Но как художественное обобщение и типизация он представляет собой образ, превосходно синтезирующий всю суть вагантской идеологии.

Вагантская поэзия XII—XIII вв. крайне обширна. В подавляющем большинстве она анонимна. Лишь с трудом удается историкам выделить в ней стихотворения, принадлежащие отдельным авторам, да и то эти авторы известны нам не столько по именам, сколько по гордым титулам: Примас (т. е. старейшина) Орлеанский, Архипиита Кельнский. Конечно, эта анонимность не означает, что вагантские стихи — продукт «коллективного творчества» безвестных бродяг. Авторами их были индивидуальные поэты, и далеко не всегда эти поэты сами вели бродячий образ жизни: ни ученый каноник Вальтер Шатильонский, ни парижский канцлер Филипп Гревский никоим образом не были «голиардами». Но когда их стихи попадали в тон идеям и эмоциям вагантской массы, они быстро ею усваивались, индивидуальное авторство забывалось, и стихи становились общим достоянием: их дописывали, перерабатывали, варьировали, сочиняли по их образцу новые. Все приметы конкретности быстро утрачивались, и в стихотворение Архипииты с обращением к Кельнскому архиепископу «Ставленник Колонии...» английский переписчик подставлял слова «Ковентрийский ставленник...», а какой-нибудь другой переписчик — безликое «Добрый покровитель мой...» Эта массовая безымянность вагантской поэзии представляет собой любопытный контраст своей наследнице, поэзии трубадуров и труверов, где стихи прочно закреплены за именами авторов, и об этих авторах складываются легенды.

Три истока питали вагантскую поэзию: во-первых, опыт религиозной лирики XI—XII вв.; во-вторых, античная традиция, переработанная учеными поэтами овидианского гуманизма; и в-третьих, народная поэтическая традиция, пришедшая из французских, немецких, итальянских, провансальских песен, слышанных вагантами в их скитаниях. Религиозная лирика с ее мастерством звонкого ритма и отточенных словесных формул подсказывала им поэтические приемы, учила их пафосу и нежности. Античная традиция подсказывала им круг образов, мотивов и копируемых образцов. Народные песни обогащали их изобилием ритмов, складывавшихся в причудливые строфы, столь любимые вагантскими поэтами. Иногда взаимодействие с народной поэзией шло еще дальше, и появлялись двуязычные стихотворения, в которых чередовались стихи или полустишия на латинском и на французском или немецком языках.

На первый взгляд, вагантская лирика кажется совершенно новым явлением в средневековой литературе — свежим, живым, индивидуальным, эмоциональным, чуждым книжности, близким жиз-

ни. Это не совсем так. Едва ли не все отдельные мотивы вагантской поэзии могут быть прослежены до их образцов в ученой латинской поэзии XI—XII вв. и до античной поэзии. Многие любовные стихотворения вагантов, если их переложить из прихотливых ритмов в плавные дистихи, окажутся близким подражанием Овидию (преимущественно в самых сладострастных его элегиях); многие обличительно-сатирические стихотворения вагантов, если их переложить в прозу, окажутся обычной вариацией средневековой проповеди против порчи нравов, уснащенной вдобавок реминисценциями из античных сатириков, столь популярных у средневековых моралистов. Язык и стиль вагантов на каждом шагу играет заимствованиями из Библии или из античных поэтов. Когда Вальтер Шатильонский кончает стихотворение о любовном свидании словами: «Что любовью велено — выше описанья!» — то перед нами переиначенная концовка элегии Овидия о свидании с Коринной, а когда в анонимном стихотворении «Филлида и Флора» развертывается длинный дебат, кто более достоин любви, клирик или рыцарь, то зерно этого дебата следует искать в тех же элегиях Овидия, где поэт сетует, что жадная красавица предпочитает влюбленному поэту разбогатевшего воина. Свежесть и живость вагантской поэзии не в ее образах и мотивах; она — в том, что уже выработанный арсенал топики и стилистики впервые применяется не к возвышенным, а к земным и подчас даже прозаическим предметам, приобретает гибкость и легкость, граничащую с разговорной естественностью и простотой.

Поэтому никоим образом не следует искать в вагантской лирике непосредственное отражение жизни и душевных переживаний, обольщаясь ее кажущейся «искренностью». И жизнь и душевные переживания входят в эту поэзию только будучи сложно опосредованы литературными условностями. Не случайно, например, у вагантов почти полностью отсутствуют описания школьной жизни и отклики на ее события, хотя школа была главным элементом их быта. Редчайшим исключением является, например, стихотворение Гилария с оправданием перед учителем — вероятно, Абеляром. Не случайно и то, что вакхическая тема у вагантов никогда не смешивается с любовной. Никогда, например, лирический герой не ищет забвения в вине от несчастной любви как это станет обычным в позднейшей европейской поэзии. Это две совершенно изолированные темы, потому что восходят они к двум раздельным литературным традициям. Зато тем многообразнее воспевается вино и пьянство само по себе — здесь мы находим и «всепьянейшую литургию», эффектную пародию на богослужение, и несколько вариантов дебата — «прение вина с водой», «прение вина с пивом». Вместо темы любви с темой вина обычно соединяется тема игры — в кости или даже в шахматы («бог Бахус и бог Шахус» иногда упоминаются рядом); впоследствии, как известно, она выпала из основного тематического круга новоевропейской поэзии. «Бог Амур», «бог Бахус» и «бог Деций»,

новосозданное олицетворение игры в кости («в зернь») — это как бы три лица вагантской троицы, три греха, в которых исповедуется Архипиита в своем самом знаменитом стихотворении.

Любовь — центральная тема вагантской лирики, любовной теме посвящена почти половина всей вагантской стихотворной продукции. Такого расцвета любовная лирика еще никогда не достигала в средневековье. Однако и здесь реальность просеивается через сетку условностей. Не случайно, например, здесь почти начисто отсутствует городской фон и тема публичного дома — только Примас Орлеанский позволяет себе набросать яркими красками малопривлекательный портрет городской блудницы. Когда же за эту тему берется позднейший вагант в одном из самых талантливых стихотворений «Carmina Burana», он считает возможным изобразить публичный дом только в виде аллегорического храма Венеры. Вместо этого большинство любовных сюжетов вагантской лирики разыгрывается на сельском фоне, и обычным зачином любовного стихотворения служит описание природы: уход зимы, приход весны, пробуждение природы и любви, цветы, аромат, птичье пение, древесная сень, ветерок, ручей. Эта тема вошла в вагантскую поэзию из «веснянок» народного творчества на новоевропейских языках. Разрабатывается она довольно однообразно, и лишь изредка (в «Вечерней песне») прорывается в ней более непосредственное и нетрадиционное чувство. Собственно любовная тема тоже разрабатывается по нескольким довольно строгим стандартам: описание всевластия и мучительности любви, описание внешности красавицы (сравниваемой с цветком, звездой, перлом, огнем, магнитом, зарей, солнцем и т. д.), описание борьбы и овладения. Культ ожидания и долготерпения, характерный для трубадурской лирики, иногда появляется и у вагантов, но редко, их любовь чувственнее, и эмоциональная окраска ее мажорнее: вагант-клирик животнее в любви, чем трубадур-мирянин. Образ героини тоже своеобразен: это не замужняя дама, как у трубадуров, а молоденькая девушка, часто крестьянка-пастушка; в одном программном стихотворении вагант заявляет, что он брезгает замужними женщинами так же, как и блудницами. Свидание героя с девушкой-крестьянкой на фоне цветущей природы и его домогательства, иногда с успехом, иногда без успеха,— это сюжетная схема пасторального жанра, зарождающегося в это время в европейской литературе на всех языках. Какие традиции были определяющими в его формировании, традиции античной эклоги или народной песни, до сих пор является спорным вопросом. Мотив брака в поэзии клириков-вагантов, понятным образом, развития не получает, а когда и возникает, то преимущественно в мрачном свете: большое стихотворение английского происхождения «О том, что не нужно жениться» является одним из первых памятников женоненавистнической традиции в европейской светской литературе. Лишь изредка в этом тематическом репертуаре возникают необычные стихотворения — жалобы покинутой девушки, явный

отголосок народной песни, или добродушное стихотворение Вальтера Шатильонского на неожиданное рождение у него дочери.

Сатирическая поэзия вагантов, как и любовная, развивается в нешироком и твердо определенном тематическом диапазоне. Предметом обличения служат исключительно нравы духовенства, особенно высшего духовенства. Это тема, ближе всего касающаяся клирика-ваганта: при существующей организации церковных дел он чувствует себя обделенным и отстраненным и обрушивается на все, что заграждает ему путь к заслуженному (по его мнению) месту в обществе. Это, во-первых, симония, «святокупство»,— раздача церковных должностей за взятки, и во-вторых, непотизм — кумовство, раздача церковных должностей по родственным чувствам. И то и другое больше всего процветает в высших, «власть имущих» церковных инстанциях; туда и обращается прежде всего гнев обличителей-вагантов, достигая предела, когда речь заходит о папской курии (знаменитая инвектива «Обличить намерен я...»). Отчасти эта острота вопроса о римском взяточничестве была связана с конкретными историческими событиями: в конце XII в. победоносное папство реорганизовывало свой мощный фискальный аппарат, и это естественным образом сопровождалось такими злоупотреблениями, с которыми не в силах был бороться даже Иннокентий III. Обличению подвергается именно действующая система и господствующие нравы, а не отдельные лица — этим вагантская сатира отличается от памфлетов эпохи борьбы империи с папством, нападавших, главным образом, не на порядки, а на лица. Сатира охватывает все высшие духовные саны: в «Голиардовом апокалипсисе» четыре аллегорических зверя расшифровываются как папа (лев), епископ (телец, который не пасет, а сам пасется за счет паствы), архидиакон (орел-хищник) и декан (человек). Низшее духовенство вагантской сатирой почти не затрагивается. С ним ваганты чувствуют себя заодно, хотя нравы низшего духовенства, по свидетельству многократных осудительных постановлений церковных соборов, оставляли желать много лучшего. Великая борьба папской курии за водворение безбрачия среди духовенства всех рангов встречает со стороны вагантов (как и всего низшего духовенства) бурное противодействие. Одно из самых забавных вагантских стихотворений живописует фантастический собор десяти тысяч английских клириков, которые один за другим, аргументируя со всех точек зрения, подают голоса за право духовенства иметь наложниц, и не по одной, а по нескольку, сообразно с саном. Вообще, по сравнению с темой алчности и тщеславия тема распущенности и разврата в вагантских обличениях почти не звучит. Аскетизм — не их идеал; к монашеству они относятся недоброжелательно, видя в монахах своих конкурентов и настаивая на том, что церковные должности следует давать в награду не за аскетизм, а за ученые знания.

Ученость — главный предмет гордости бродячих клириков. Они щеголяют реминисценциями из Библии и античных поэтов,

сравнивают своих возлюбленных с красавицами мифов, дают им имена Глицерии и Филлиды, ссылаются на древних мудрецов, перелагают в причудливые латинские арии жалобу Дидоны или историю Аполлона Тирского. Архипиита называет себя «поэтом поэтов», утверждает, что во хмелю он пишет лучше, чем Назон, и сулит городу Новаре бессмертие в своих стихах. Вальтер Шатильонский усваивает громовую интонацию ветхозаветных пророков и обращает свои стихи ко всему свету, как «окружные послания» церковных иерархов. Бичуя нравы духовенства, ваганты ни на секунду не перестают чувствовать себя самих членами этого сословия — единственного ученого сословия средневековой Европы. Ко всем остальным сословиям вагант относится с высокомерным презрением. В дебате «Прение Филлиды и Флоры» идет спор, рыцарь или клирик достойнее любви, и клирик, конечно, одерживает победу. Интересно, что изображенный здесь клирик — никоим образом не нищий голиард, это иерей с богатыми доходами, а то и королевский канцлер, рассылающий приказы самим рыцарям: чувство сословного единения оказывается в вагантском поэте сильнее, чем чувство зависти к именитым прелатам. Крестьянин еще менее заслуживает уважения, чем рыцарь, и вагант чувствует за собой полное право жить за его счет. «Всемогущий предвечный Господи, ты, который посеял великую рознь между клириками и мужиками, дай нам жить трудами рук их и услаждаться женами их и дочерями их и смертью их»,— говорится в пародической «игрецкой мессе». Горожанин для ваганта вообще не существует: как это ни парадоксально, несмотря на то, что жизнь вагантов протекала главным образом в епископских городах, и светская идеология вагантов во многом перекликается с идеологией нарождающейся городской литературы, никаких отголосков городской жизни в вагантской поэзии нет, а если они и прорываются, то они неизменно враждебные (как в поэме «О скудости клириков»): вражда между школярами и бюргерами, как известно, была в Европе повсеместной и многовековой. И хотя жизнь ваганта мало чем отличалась от жизни нищего, а песни ваганта — от песен жонглера, Архипиита с негодованием говорит, что нищенство ниже его достоинства, и с возмущением клеймит прелатов за то, что они принимают на пирах не вагантов, а скоморохов. Нет ничего ошибочнее, чем представлять себе голиарда носителем социального протеста угнетенных сословий, обличающим и осмеивающим церковную знать перед городской и сельской беднотой. Вагант — это клирик, слагающий свои стихи для клириков, это аристократ духа, обращающийся только к просвещенным ценителям, это человек, который может много горьких слов обратить к своему сословию, но который принадлежит этому сословию плотью и кровью.

В этом была ограниченность и бесперспективность вагантской оппозиции современному обществу. Более лютых нападок на церковь не звучало в течение многих веков, но все они не имели

решительно никаких последствий. У вагантов не было социальной опоры, не было положительной программы, двигателем их протеста была лишь обида интеллигента, которого общество воспитало, но не вознаградило. Поэтому расцвет вагантства был пышен, но кратковремен. К концу XIII в. вагантское творчество сходит на нет. С одной стороны, возымели действие суровые репрессии церковных соборов против бродячих клириков, с другой — постепенно сам собой рассосался тот кризис «перепроизводства интеллигенции», о котором мы говорили выше. Наиболее буйные из вагантов были истреблены светскими властями, более мирные получили приходы, школы или места в канцеляриях и успокоились. XIII и затем XIV—XV вв. были потрясаемы очень сильными волнами социального и идеологического протеста низов против церковного гнета, но этот протест находил выражение не в вагантском «либертинаже», а в аскетических ересях, и это было гораздо опаснее для церкви. К эпохе Возрождения вагантская поэзия была прочно забыта. В последний раз о сатирических стихах вагантов вспоминают в эпоху реформации, когда, собирая всякое оружие, пригодное для борьбы против Рима, хорват Матвей Влачич, писавший под псевдонимом «Флаций Иллирик», издал в 1556 г. сборник «Разные стихотворения ученых и благочестивых мужей о растленном состоянии церкви», куда вошли многие вагантские сатиры. Затем о них забыли до эпохи романтизма.

Сказанное относится к сатирической линии в поэзии вагантов. Любовная линия в поэзии вагантов угасла по другой причине. Она передала свой опыт владения стихом и стилем, свой запас античной топики и эмоционального пафоса любовной лирике на новых языках — провансальским трубадурам, французским труверам, немецким миннезингерам. Здесь, в рыцарской среде, любовная поэзия открыла для себя такой широкий круг потребителей, какого у нее никогда не было в ту пору, когда она жила в среде клириков и пользовалась латинским языком. Взаимовлияние поэзии вагантов и поэзии трубадуров, труверов, миннезингеров совершалось сложно, здесь нельзя говорить о простой преемственности. Не только латинские поэты влияли на новоязычных, но и новоязычные на латинских. Но общее направление этой эволюции ясно: учителями здесь были клирики, учениками рыцари. Это сознавали сами современники. В «Прении Филлиды и Флоры» Флора говорит Филлиде:

Силу ков Венериных   и любви законы
Первый знал и высказал   клирик мой ученый
Рыцарь лишь за клириком   стал певцом Дионы,
И в твоей же лире есть   клириковы звоны

Переход светской тематики из латинской поэзии в поэзию на новых языках симптоматичен для всей эпохи. С XIII веком наступает новое размежевание социальных и культурных сил в европейском мире, новая сакрализация латинской литературы. Начинается следующий, заключительный период латинского средневековья.

10 Заказ № 550

Петр Абеляр

Петр Абеляр — центральная фигура духовной жизни Европы первых десятилетий XII в., главный деятель борьбы между номинализмом и реализмом — двумя направлениями ранней схоластики. Это был спор об «универсалиях» — общих понятиях. Реалисты утверждали, что общие понятия существуют независимо от конкретных предметов и до них, как платоновские идеи; номиналисты полагали, что реально существуют лишь конкретные предметы, а общие понятия суть лишь слова, имена. Абеляр выступил поборником номинализма (хотя и в смягченной его форме). Рационалистический пафос его выступлений был так силен, что навлек на него преследование как со стороны приверженцев традиционного авторитарного богословия, так и со стороны приверженцев новых мистических устремлений. Борьба эта дорого стоила Абеляру: недаром написанную им автобиографию он озаглавил «История бедствий Абеляровых».

Абеляр родился в 1079 г. в семье небогатого бретонского рыцаря. С раннего возраста он обнаружил незаурядные способности к науке и в 13 лет уже стал странствующим школяром. Его привлекли уроки Росцеллина, основателя номинализма, преподававшего в Компьене. Здесь Абеляр сразу окунулся в кипучую интеллектуальную жизнь своей эпохи. После осуждения Росцеллина на соборе 1092 г. Абеляр перебрался в Париж, в соборную школу при храме Парижской богоматери. Здесь с конфликта и соперничества с известным мистиком Гийомом из Шампо началась ученая карьера Абеляра. После ряда блестящих побед на диспутах он основал собственную школу — сперва в Мелене, потом в Корбейле, а потом в предместье Парижа, на горе св. Женевьевы (нынешний Латинский квартал). Свое богословское образование он закончил в Лане и после этого занял место преподавателя благородных наук (прежде всего, диалектики) в парижской соборной школе. Слушатели и ученики стекались к нему толпами.

Здесь, в Париже, развертывается самая яркая страница биографии Абеляра — его любовь к Элоизе, племяннице каноника Фулберта, ставшая знаменитой на много веков. Историю этой любви Абеляр описывает в том отрывке своей автобиографии, перевод которого помещен ниже. Эти события относятся к 1117—1119 гг. В 1119 г. и Элоиза и изувеченный Абеляр уже принимают монашеский постриг. Но уединение Абеляра длится недолго. Поддавшись многочисленным просьбам, он вновь начинает читать лекции по философии и богословию, и с прежним успехом. Тогда на него обрушиваются его идейные

противники, обвиняя его в нарушении монашеского устава и в проповеди еретических взглядов.

В 1121 г. на Суассонском соборе Абеляр осужден и вынужден собственноручно бросить в огонь свой трактат «О божественном единстве и троичности». Это испытание надломило его. Он проводит некоторое время в монастыре св. Медарда, известном строгостью дисциплины, потом в монастыре Сен-Дени, и наконец получает разрешение жить вне стен монастыря, но соблюдая монашеский образ жизни. Он поселяется в Шампани, правитель которой покровительствовал ему, и строит себе невдалеке от Труа небольшую молельню — «Параклет» («утешитель» — греческое наименование св. Духа).

Но уединение не давалось Абеляру. В Параклет стали стекаться новые ученики, они селились в хижинах, обрабатывали землю, кормили Абеляра и слушали его лекции. Это новое оживление «еретической» проповеди вызвало новую тревогу в церкви. На этот раз кампанию против Абеляра возглавил сам Бернард Клервоский, который стал рассылать по всей Европе грозные письма с увещеваниями пресечь деятельность еретика. «В оцепенении, как бы перед ударами надвигающейся грозы», по собственным своим словам, ждал Абеляр новых репрессий. Он помышлял в отчаянии даже о бегстве к мусульманам в Италию. Выручило его обращение бретонского монастыря св. Гильдазия с просьбой принять в нем сан аббата. Абеляр распустил свою школу, передал Параклет Аржантейльской обители, где настоятельницей была Элоиза (переписку с нею и ее монахинями он продолжал на протяжении многих лет), и удалился в глухую Бретань (1126).

Жизнь Абеляра в Бретани была недолгой. Братии св. Гильдазия не пришелся по нраву крутой характер нового аббата. Преследуемый ненавистью монахов, он бежит из монастыря и несколько лет скрывается где-то в Бретани. В эти самые тяжелые свои годы, оглядываясь на свою жизнь, он и пишет «Историю бедствий Абеляровых». Широко распространившись в рукописях, она вновь привлекла внимание ученой Франции к знаменитому философу. Абеляр получает возможность вернуться в Париж и вновь читать лекции по диалектике на холме св. Женевьевы (1136).

В ответ на это Бернард Клервоский собирает все силы антирационалистического богословия и дает Абеляру решительный бой. В 1140 г. противники встретились на Сансском соборе, в присутствии короля Людовика VII и виднейших прелатов Франции. Осуждение Абеляра было предрешено. Почувствовав это, он отказался от выступления на соборе и апеллировал к последней инстанции — к папскому суду. Папский рескрипт подтвердил приговор собора. Это вконец сокрушило Абеляра. Больной и надломленный, он отрекается в письме к Элоизе от всех своих прежних взглядов и удаляется в монастырь Клюни. Настоятель его, Петр Достопочтенный, противник Бернарда, дал ему приют на последние два года его жизни. В 1142 г. Абеляр умер. Элоиза похоронила его в Параклите, а через двадцать лет сама была погребена рядом с ним.

Литературное наследие Абеляра, несмотря на неполную его сохранность, значительно и разнообразно: это учебные пособия по диалектике, философские трактаты и диалоги, проповеди, письма, гимны, дидактическая поэма. Он пользовался славой не только необыкновенного эрудита, но и блестящего стилиста, античные авторы цитируются им на каждом шагу. Наибольший успех имели

его основные философские сочинения, где он излагал свое учение: «Да и нет» (большой свод взаимопротиворечащих суждений церковных авторитетов, призванный убедить в необходимости диалектики для решения вопросов богословия) и «Диалог между философом, иудеем и христианином». Но самая прочная слава осталась за «Историей бедствий Абеляровых». По жанру это произведение продолжает традицию утешительной и исповедной литературы (Августин, Боэтий), но по духу больше напоминает автобиографические элегии сосланного Овидия. Начало бедствий для Абеляра тождественно началу его известности, его возвышения. Причина того и другого — его незаурядные дарования, о которых он говорит без всякого смирения. Поэтому движущей силой для всех его врагов является зависть. Вся эта система понятий проникнута возрожденным духом античного индивидуализма. Автобиография Абеляра — один из самых характерных памятников «возрождения XII века».

Несмотря на все гонения, слава Абеляровой учености была непререкаема. Эпитафия его, приписываемая Петру Достопочтенному, гласит:

Галльский Сократ и западных стран Платон величайший,
Наш Аристотель, средь всех мудрецов иль равный иль высший,
Светоч познанья, всесветно прославленный, разносторонний
Ум, и тонкий и острый, усилием мысли и слова
Все побеждавший,— таков был сей Абеляр несравненный.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Желая удовлетворить, по мере наших сил, желание наших учеников, мы здесь изложим некий итог священной науки, служащий как бы введением к божественному Писанию. Ибо ученики наши, внимательно читав уже многое, что написано нами и в философских трудах, и в сочинениях светских, и будучи довольны доселе прочитанным, почли за возможное, что наше дарование намного легче постигнет смысл божественных страниц и проникнет в обоснование нашей веры, чем исчерпает, как говорится, бездонные кладези философии. Они даже добавляли, что нельзя мне иначе завершить философское ристание, ни достичь его цели, ни пожать от него плодов, если не приведу я предмет философии к Богу, ибо к Богу надлежит возводить все.

Именно поэтому и позволено людям православным читать и сочинения о светских науках, и книги язычников, что с их помощью мы можем легко усвоить и виды слов, и виды красноречия, и способы изъяснения, и предварительные знания о природе вещей, и методы доказательств,— касается ли это понимания смысла и красот Священного писания или защиты и утверждения его истинности. Ведь чем более трудными вопросами, как

говорят об этом, кажется наполненной наша христианская вера и чем дальше она от человеческого разума, тем более надежными подпорами разума следует ее укреплять,— в особенности же против того, кто объявляет себя философом. Чем изощреннее их исследование, тем труднее представляется оно для опровержения и тем легче может оно смутить ясность нашей веры.

Поскольку ученики полагали, что для меня доступно разрешение этих спорных вопросов, ибо они знали и, по их словам, убедились на опыте, что я чуть ли не с самой колыбели был причастен к изучению философии, и прежде всего диалектики, бесспорной наставницы во всех рассуждениях, постольку они единодушно требуют, чтобы я не разменивал на многое вверенный мне Господом талант. Ибо неизвестно, когда оный строгий и страшный судия взыщет его у нас с лихвою.

И еще говорят они, что при нашем возрасте и призвании подобает переменить род занятий, как переменили мы нрав и обычай, и предпочесть написанию книг светских написание книг божественных, коль скоро я решил в остаток века моего всецело посвятить себя Богу. И если я раньше занимался наукой для приобретения денег, то теперь я обращу это в средство для приобретения душ.

О ЧУДЕСАХ

(Из 33-й проповеди «Об Иоанне Крестителе»)

Что скажут на это те, которые в наше время, на глазах у нас, дерзают выходить из келий к толпе, чтобы кичиться мнимой славой религиозного рвения и лживо тщеславиться чудом чудотворства своего?

Я не говорю о смешивании и благословении напитков, которые они вливали в сосуды для расслабленных, будто бы для исцеления, не говорю о прикосновениях к членам и начертываемых на них знаках, будто бы для облегчения страданий немощных, о наговорах над хлебами, предназначенными для обессилевших.

Я перехожу к большему — к величайшим чудесам воскрешения мертвых, предпринятых столь нелепо. Ибо ведь и на это решились недавно Норберт и его соапостол Фарзит [1] — на удивление и на посмеяние нам. Простершись перед народом, они долго молились, однако в осуществлении дела своего обманулись. В смущении отказались они от своих намерений и тогда начали бесстыдно обвинять народ, что, мол, их молению и нерушимой вере мешает безверие окружающих.

О, хитрость неосмотрительных! О, легкомысленное оправдание неоправдываемого!

Кого-нибудь когда-нибудь они и могут так одурачить, но ведь согласно Истине, «нет ничего тайного, что бы не стало явным» (От Луки, 8,17) и, по слову Иеронима, ложный слух быстро глохнет. Не остались в тайне и обманные действия этих людей.

Когда они начинают лечить от легкой лихорадки, они многим что-то подмешивают в пищу или в питье, или же дают благословение и читают молитвы. Это замышляют они с таким расчетом, что, если последует какое-либо улучшение, это вменится в заслугу их святости, если же действие будет незначительно, то это будет приписано неверию и отчаянию больных.

ИСТОРИЯ БЕДСТВИЙ АБЕЛЯРОВЫХ, ОПИСАННАЯ ИМ В ПИСЬМЕ К ДРУГУ

[Лекция Абеляра в школе Ансельма Ланского]

3. ...Однажды случилось так, что после сличения каких-то сентенций [2], мы, ученики, стали перебрасываться шутками. Один из учеников коварно спросил меня, что я думаю насчет чтения Священного писания, так как до того времени я изучал только сочинения о предметах естественных. Я отвечал, что нахожу изучение Священного писания весьма полезным, ибо оно учит нас спасению души; но что при этом я крайне удивляюсь людям образованным, которым, чтобы усвоить изложение священных истин, недостаточно самих текстов или толкований к ним, а нужны еще и посторонние объяснения.

Большинство присутствующих засмеялись и стали у меня выспрашивать, хватило ли бы у меня на подобное занятие силы и дерзости. Я отвечал, что готов попробовать, если они того пожелают. Тогда все закричали, смеясь еще больше: «Разумеется, хотим! Возьмите толкование на какой-нибудь необычный текст, и посмотрим, как-то вы исполните свое обещание!» Всеми были избраны очень темные пророчества Иезекииля. Я выбрал место для толкования [3] и тотчас же пригласил их назавтра на свою лекцию. Они же стали давать мне непрошенные советы и говорили, что с таким важным делом спешить не следует и что мне, человеку неопытному, необходимо долго и основательно обдумать свое объяснение.

С досадой отвечал я, что мне свойственно полагаться не на принятый обычай, а на свои способности, и прибавил, что или я совсем откажусь от своего намерения, или же они, как я решил, непременно должны быть на моей лекции. Ну, конечно, на эту первую мою лекцию собралось тогда мало слушателей: всем казалось смешным, что я, до сих пор еще почти совсем не изучавший Священного писания, взялся так быстро освоить его. Однако всем присутствовавшим эта лекция так понравилась, что они стали отзываться о ней с большими похвалами и просили меня продолжать толкования по предложенному в этой лекции способу. Услыхав об этом, отсутствовавшие на первой лекции целой толпой явились на вторую и третью, и все они в равной мере были озабочены, чтобы переписать все с самого начала данные мною объяснения.

[Абеляр и Элоиза]

5. ... Я хочу, чтобы ты знал обе эти истории[4] так, как они произошли в действительности, а не по слухам, и расскажу их в том порядке, в каком они одна за другой следовали. Ведь так как я всегда гнушался прелюбодеянием и от знакомства с женщинами из благородного общества меня постоянно удерживали научные занятия, да и среди мирянок я имел очень немного знакомств, изменчивая, как говорится, фортуна воспользовалась удобнейшим случаем, чтобы низвергнуть меня с вершины моего величия, ибо божественная справедливость требовала унижения человека, в величайшей гордости своей забывшего о воспринятой им благодати.

6. ...Итак, в самом же городе Париже жила одна молодая девица, по имени Элоиза, племянница некоего каноника, по имени Фулберт, который не только очень ее любил, но и усердно заботился о том, чтобы, насколько он мог, дать ей познания во всех науках. Собой она была очень недурна, а знаниями своими превосходила всех. А чем реже это достоинство обретается у женщин, тем больше придавало оно чести этой девице, и оттого она была весьма известна по всей стране.

С этой-то девицей, обладавшей всеми качествами для людей влюбчивых, я задумал сблизиться, причем полагал, что удастся это весьма легко: ведь я обладал такою известностью и настолько превосходил других молодостью и красотой, что меня не отвергла бы ни единая женщина, пожелай я удостоить ее своей любви. Я был убежден, что эта девица тем легче даст мне согласие, что мне известны были ее познания в науках и любовь к ним. Таким образом, мы, даже находясь в разлуке, могли бы переписываться, а ведь о многом писать можно гораздо смелее, чем говорить,— стало быть, мы всегда могли бы проводить время в приятной беседе.

Итак, воспламененный любовью к названной девице, я стал искать случая сблизиться с нею путем домашнего знакомства и повседневных бесед, чтобы тем легче привлечь ее к себе. С этой целью я при содействии нескольких друзей упомянутого дяди стал испрашивать позволения за известную плату жить у него в доме, находившемся совсем близко от нашей школы. В качестве предлога я, конечно, представил, что заботы о домашнем хозяйстве мешают моим ученым занятиям и что я к тому же чрезмерно обременен хозяйственными расходами. А дядя ее был скуп необычайно; притом же ему очень хотелось доставить своей племяннице возможность и дальше совершенствоваться в науках.

Благодаря этим двум обстоятельствам я легко получил его согласие и добился желаемого, ибо его привлекала и денежная выгода, и надежда, что племянница чему-нибудь научится от меня. Он даже сам меня уговаривал и был со мною любезен сверх ожидания, и сам стал пособником моей любви, потому что он

всецело поручил племянницу моим учительским заботам и просил меня во всякое время, когда только я буду свободен от школьных лекций,— ночью ли, днем ли — заниматься с ней науками, а если я замечу ее нерадивость, строго ее наказывать.

Очень удивляясь такому простодушию в этом деле, я особенно был поражен тем, как доверил он нежную овечку голодному волку. Поручая ее мне с просьбой не только учить, но и строго наказывать, разве не давал он этим полную свободу моим желаниям и разве не допускал меня пользоваться моим положением, даже если бы и не было у меня такого намерения? Ведь в самом деле, если бы я не подчинил себе Элоизу ласками, я мог бы достигнуть этого угрозами и побоями. Две вещи, однако, его отдаляли от дурных подозрений: его любовь к племяннице и слава прежнего моего целомудрия.

Что же дальше? Сначала совместная жизнь, а потом и взаимное влечение соединили нас друг с другом. Под предлогом научных занятий мы всецело предались нашему чувству. Уроки наши благоприятствовали уединению, которое надобно любви. И над раскрытыми книгами больше слов было сказано о любви, чем о науке, больше было поцелуев, чем мудрых изречений, руки чаще тянулись к груди, чем к страницам, в глазах наших чаще отражалось наше чувство, чем изложенное в книгах.

Чтобы возбуждать меньше подозрений, я иногда бил даже девушку, но с любовью, а не с гневом, с нежностью, а не с раздражением, и эти удары были приятнее всяких целебных умащений. Что говорить? Ни одно из удовольствий любви не было нами упущено, а то, что любовь еще может придумать необычного, было прибавлено. Чем меньше опытности было у нас в подобных наслаждениях, тем пламеннее мы им предавались и тем менее они нас утомляли. И чем больше овладевала мной эта страсть, тем меньше времени оставалось у меня для философии и чтения лекций. Мне очень тягостно стало ходить в школу и там находиться. Это было к тому же и утомительно, потому что все мои ночи были отданы страсти, а дни поглощали ученые занятия.

К своим лекциям я стал относиться так небрежно и вяло, что полагаться приходилось уже не на вдохновение, а только на привычку. Я лишь повторял прежние лекции, а если мне и удавалось придумать что-нибудь новое, то это были любовные стихи, а не философские глубины. Многие из этих стихов, как ты сам знаешь, получили немалую известность и поются по сей день во многих странах, преимущественно людьми, которых жизнь обольщала такими же соблазнами, как и меня.

Но трудно и вообразить, как были недовольны мои ученики, как стали они роптать, как жаловались, когда заметили такое состояние, или, вернее, такое помрачение моего духа.

Лишь от немногих могла укрыться столь явная страсть, даже, пожалуй, ни от кого. Скрыта она была разве лишь от того, кому она причиняла наивеличайшее оскорбление, а именно, от дяди моей

возлюбленной. Правда, кое-кто иногда позволял себе делать ему намеки; но он не мог им поверить, как из-за своей безграничной любви к племяннице, так и потому, что ему была ведома прежняя моя целомудренная жизнь. Ведь нам вовсе нелегко заподозрить в гнусности людей, которых мы любим больше всего. Сильная любовь несовместна с дурными предчувствиями. Поэтому и у блаженного Иеронима в послании к Сабиниану сказано: «О беде в нашем собственном доме мы узнаем позже всех; а о пороках детей и жен наших не знаем и тогда, когда все соседи кричат о них» [5].

Но хоть и позже всех, а приходится узнать. То, что известно всем, трудно скрыть от одного. Так по прошествии нескольких месяцев случилось и с нами.

О, как горько было дяде узнать об этом! Как велика была скорбь влюбленных, когда им пришлось расстаться! Как краснел я от стыда! Какой тоской я терзался оттого, что страдала возлюбленная! Какая печаль мучила ее из-за моего позора! Каждый из нас жалел не о себе, а о горе, постигшем другого. Но разлука телесная только еще больше усугубила нашу близость духовную, и неудовлетворенная любовь разгоралась в нас сильнее. А пережитый позор делал нас равнодушными к дальнейшему бесчестию. И чем меньше оставалось у нас стыда, тем больше было уверенности в своей правоте. С нами произошло то же самое, что рассказано у поэтов в басне о Венере и Марсе [6], застигнутых на месте преступления.

Однако вскоре девушка почувствовала, что станет матерью, и с величайшей радостью написала мне об этом, спрашивая, как ей поступить. И тогда однажды ночью, в отсутствие дяди, как это было заранее между нами условлено, я тайно похитил ее из дома и немедленно перевез к себе на родину. Там она жила у моей сестры до рождения сына, которого она назвала Астролябием. После ее бегства дядя чуть не сошел с ума. Не испытавшему подобного не постичь всей меры его стыда и отчаяния. Но что сделать со мною, как мне отомстить, он не знал. Он боялся, что если он меня убьет или хотя бы ранит, от этого пострадает его любимая племянница у меня на родине. А схватить меня и насильно подвергнуть заточению было никак невозможно: ведь я держал себя очень осмотрительно, так как не сомневался, что, если бы он только мог или посмел, он непременно напал бы на меня.

Наконец, сострадая его безмерной скорби и виня себя в коварстве, которое вызвала любовь, словно в величайшем вероломстве, я сам пришел к этому человеку, просил у него прощения и обещал искупить свой поступок, чем он только пожелает. Я уверял его, что мое поведение не должно возмущать никого, кто изведал могущество любви и кто только памятует, как от первых времен существования человечества неудержимо попадали под власть женщины даже и самые величайшие мужи. А чтобы еще более его успокоить, я предложил ему такое удовлетворение, на

которое он даже не мог и надеяться,— обещал жениться на соблазненной мною девушке, лишь бы только это оставалось в тайне, чтобы не было ущерба для моего имени. Он согласился и примирился со мной, что мне и было нужно, и он клялся в том своей честью и честью своих друзей, и целовал меня, чтобы тем легче меня сгубить впоследствии.

Я тотчас же отправился на родину и привез свою подругу, намереваясь вступить с ней в брак. Она же едва соглашалась и даже старалась отговорить меня, указывая на два препятствия: на опасность и на бесчестье для меня. Она клялась, что никакое удовлетворение не смягчит дядю, как и обнаружилось впоследствии. Она спрашивала: как может она гордиться этим браком, которым она меня обесславит, а себя вместе с тем унизит? Каким только пыткам не обречет ее весь мир за то, что она лишит его столь великого светоча? Сколько проклятий, сколько ущерба для церкви, сколько слез среди философов вызовет этот брак! Как непристойно, как прискорбно было бы, если бы я, человек, созданный природой для общего блага, посвятил себя одной-единственной женщине и надел на себя такое позорное ярмо. Она решительно отказывалась от этого брака и утверждала, что он будет для меня во всех отношениях постыдным и тягостным. Прежде всего она указывала и на мой позор, и на те трудности брачной жизни, избегать которых апостол учит нас такими словами: «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль» (Коринф., 7, 27—28). И далее: «А я хочу, чтобы вы были без забот» (там же, 32). Если же я не последую ни этому совету апостола, ни убеждениям святых отцов, говорила она, мне следует обратиться к философам и внимательно прочесть, что написано по поводу брачного ига о них самих или в их сочинениях. К такому приему, чтобы вразумить нас, охотно прибегают даже и святые отцы.

Вот, например, свидетельство блаженного Иеронима в первой книге «Против Иовиниана», где он вспоминает [7], как Феофраст, подробно описав невыносимые тяготы и постоянные тревоги, доставляемые браком, приводит очень убедительные доводы, чтобы мудрец не женился, заключая так эти наставления: «Кого из христиан не смутило бы такое рассуждение Феофраста?» В том же сочинении Иероним говорит: «Когда Гирций спросил Цицерона, женится ли тот на его сестре после развода с Теренцией, Цицерон от этого решительно отказался, говоря, что он не может одинаково заботиться и о жене, и о философии. Он ведь не сказал просто «заботиться», а прибавил «одинаково», не желая заниматься тем, что потребует забот наравне с философией. Не говоря уже о том, что это помеха для философских занятий, следует рассмотреть самый образ жизни в законном браке.

Что общего между учениками и челядью, налоем для письма

и люлькой, между книгами или таблицами и прялкой, грифелем или пером и веретеном? Кто, наконец, погрузившись в богословские или философские размышления, может вытерпеть детский плач, колыбельные песни кормилиц, суетливую толпу домашних слуг и служанок? Кто в состоянии переносить эту постоянную нечистоплотность младенцев?

Ты скажешь, что это возможно для людей богатых: в их дворцах или домах есть различные покои, при их состоятельности расходы неощутимы, ежедневные заботы их не мучают. Но ведь условия жизни для философов совсем не такие, как для людей богатых; также и те, кто занимается приобретением богатств и предается мирским заботам, не занимаются ни богословием, ни философией. А поэтому некогда и знаменитые философы древности, презиравшие и не просто покидавшие мирскую жизнь, но прямо бежавшие от нее, отказывали себе во всех удовольствиях и лишь в объятиях философии отдыхали. Один из них, и притом величайший, Сенека[8], поучая Луцилия, говорит так: «Нельзя заниматься философией лишь на досуге. Для того чтобы посвятить себя этой науке, надо все оставить, потому что для нее всякого времени мало. Для философских занятий небольшая разница — прервешь ли ты их на время или прекратишь навсегда. Покинутая тобой философия подле тебя не останется». Делам надо противоборствовать, и не улаживать их, а удалять от себя. Что у нас теперь принимают на себя ради любви к Богу те, кого по праву называют монахами, то у язычников ради любви к философии принимали на себя благородные философы. Ведь поистине у всех народов, и у язычников, и у иудеев, и у христиан, были люди, превосходящие прочих либо верой, либо высокой нравственностью, отличавшиеся от толпы воздержностью или строгим образом жизни. У иудеев такими были в древние времена назареи, которые согласно закону посвящали себя Господу, или сыны пророков, ученики Илии или Елисея, которые в Ветхом Завете, как толкует блаженный Иероним[9], изображены монахами. Таковы же были три совсем недавние секты, которые Иосиф в 18-й книге «Древностей»[10] определяет как «фарисеев», «саддукеев», «ессеев». А у нас это те монахи, которые подражают или совместной жизни апостолов или, еще более ранней, отшельнической жизни Иоанна Крестителя. А у язычников, как уже сказано, таковы философы. Название «мудрость», или «философия» применялось ими не столько к усвоению познаний, сколько к святости образа жизни, как это видно из самого происхождения этого названия и из свидетельств святых отцов.

Таково известное место у блаженного Августина, когда в 8-й главе «Града Божьего» он говорит о философских школах: «Италийская школа была основана Пифагором Самосским, которому и приписывают изобретение самого названия «философия». Ведь до него всех, кто хоть как-то возвысился над прочими похвальным образом жизни, называли мудрецами, он же на вопрос, кто

он такой, ответил, что он — философ, то есть стремящийся к мудрости или друг мудрости, а имя «мудреца» он считал очень хвастливым» [11].

В этом месте слова «кто хоть как-то возвысился над прочими своим похвальным образом жизни» ясно указывают, что языческие мудрецы, то есть философы, назывались так больше за свой прекрасный образ жизни, чем за свои познания. Что же касается их воздержности и рассудительности,— то я даже и примеров приводить не буду, иначе покажется, что я хочу поучать саму Минерву.

Однако если такую жизнь вели миряне и язычники, то есть люди, никакими религиозными обетами не связанные, тебе, лицу духовному и канонику, не следует предпочитать гнусные удовольствия обязанностям духовным, чтобы тебя не поглотила стремительно эта бездна Харибды, чтобы безрассудно и безвозвратно ты не погрузился в эту нечисть. Если же ты не заботишься о чести духовного звания, то защити хоть достоинство философа. Если для тебя не имеет значения благочестие, то любовь к благопристойности пусть сдержит это бесстыдство. Вспомни, что Сократ, женившись, должен был, подвергаясь позору, искупить это падение философии, чтобы это служило впредь примером предостерегающим. Этого не пропустил и сам Иероним, который в первой книге «Против Иовиниана» пишет о Сократе вот что: «Однажды, когда он равнодушно выслушивал бесконечные упреки стоявшей наверху Ксантиппы и был облит помоями, он только и ответил, обтерев голову: «Я так и знал, что за громом последует дождь!» [12]

Наконец, Элоиза и от себя прибавила, как опасно было бы для меня ее возвращение и насколько было бы для нее приятнее, а для меня почетнее, если бы она оставалась для меня подругой, а не женой: я был бы тогда к ней привязан только любовью, а не какой-то силой брачных тенет. Разлучаясь время от времени, мы тем более радовались бы нашим свиданиям, чем больше длилась разлука. Стараясь убедить и отговорить меня этими и подобными речами, видя, однако, что ей не сломить моей глупости, но и не желая меня обижать, в глубокой печали и со слезами закончила она свою речь так: «Остается единственное и последнее: чтобы погибели нашей сопутствовала столь же великая скорбь, сколь велика была перед этим любовь». И в этом у нее, как признали все решительно, обнаружился дар пророчества.

И вот, оставив младенца нашего на попечении моей сестры, мы тайно вернулись в Париж и через несколько дней, проведя ночь за молитвами в какой-то церкви, там же рано утром обвенчались в присутствии дяди Элоизы и нескольких его и наших друзей. Тотчас же после этого мы разошлись в разные стороны и виделись только тайком и редко, всеми силами стараясь скрывать совершившееся. Но дядя Элоизы и его домашние, желая загладить свой прежний позор, нарушили данное мне слово и стали разглашать о нашем браке, Элоиза же всеми силами опровергала эти

слухи и уверяла в совершенной их ложности. Дядя был крайне возмущен этим и начал с ней часто ссориться. А когда я узнал об этом, я перевез ее в некое аббатство недалеко от Парижа, в так называемый Аржантейль, где она еще в детстве воспитывалась и училась. Я велел сшить ей монашеское платье, подобающее монашеской жизни, и облачил ее им, не надев лишь на нее покрывала.

Услыхав об этом, дядя и родные или близкие Элоизе люди решили, что теперь их обманул я и постриг ее в монахини, чтобы мне легче было от нее избавиться. Сильно негодуя, они составили заговор против меня и однажды ночью, когда я спокойно спал в отдаленной комнате моего жилища, подкупив моего слугу, совершили надо мной жесточайшую и позорнейшую месть, весть о которой потрясла всех: они удалили как раз те части моего тела, которыми я совершал то, что их оскорбляло. Мои палачи бежали, но двоих поймали, ослепили и оскопили. Одним из этих наказанных оказался упомянутый ранее мой слуга, который прежде всегда был мне верен, но из-за алчности решился на предательство.

Наутро ко мне сбежался весь город. Трудно, и более того, невозможно описать, как были все ошеломлены, как жалели меня, как удручали своими восклицаниями и причитаниями. Всего же больше мучили меня клирики, то есть мои ученики, так что я гораздо больше страдал от их сожаления, чем от своей раны, сильнее чувствовал стыд, чем физическую боль. Я думал о том, какой славой я еще совсем недавно пользовался и как легко слепой случай унизил и даже уничтожил ее. И как же праведен был суд Божий, поразивший ту часть моего тела, которой я согрешил! Какой справедливой изменой отплатил мне человек, которому раньше изменил я сам! Как будут прославлять мои противники эту справедливую месть! Какая неутешная печаль постигнет моих друзей и родных! Как заговорит весь свет о позоре одного человека! Куда же идти мне после этого? Как выйти на люди? Ведь все станут указывать на меня пальцами! Для всех я буду чудовищным зрелищем!

[Абеляр в монастыре св. Гильдаса]

15. ... Но сатана теперь так меня преследует, что я не нахожу места, где бы мог успокоиться или просто жить, а блуждаю повсюду, подобно проклятому Каину: меня, как я уже говорил, беспрестанно мучат «отвне — нападения, внутри — страхи», постоянно терзают и внешний, и внутренний страх и борьба. От моих духовных детей мне приходится переносить гонения более частые и более жестокие, чем от моих врагов, потому что дети мои всегда находятся при мне, и их нападения мне приходится встречать лицом к лицу.

Телесное насилие от врагов грозит мне, когда я выхожу из монастыря. В самом же монастыре мне постоянно приходится иметь дело с жестокими и коварными замыслами моих духовных детей,— а ведь это монахи, порученные мне как настоятелю, то есть как отцу. Сколько же раз они пытались извести меня отравой! Совсем так же, как это было со святым Бенедиктом. О, если бы та же самая причина, по которой он покинул своих развращенных детей духовных, могла бы заставить и меня последовать примеру столь великого отца церкви! В противном случае, подвергая себя явной опасности, я докажу этим не любовь свою к Богу, а лишь желание искушать его.

Так как я, стараясь уберечься от этих ежедневных покушений, стал, насколько возможно, внимательно относиться к своей пище и питью, они пытались отравить меня даже святыми дарами, бросив яд в потир! А когда я однажды отправился в Нант навестить больного графа и там остановился у одного из моих братьев по плоти, они замыслили отравить меня с помощью сопровождавшего меня слуги, полагая, что там я менее всего могу предвидеть подобное. Но по промыслу Божьему, я не коснулся приготовленной для меня пищи, а один из прибывших со мною монахов воспользовался ею по неведению и тотчас же умер; слуга же, бывший виновником этого, испугавшись улик и мучимый совестью, бежал.

Когда преступность моих духовных детей стала для всех совершенно очевидной, я начал, по мере возможности, открыто выступать против их злодейских замыслов, перестал ходить в собрание аббатства и пребывал в кельях лишь с немногими близкими людьми. Если бы монахи узнали, что я намерен куда-нибудь поехать, они выставили бы на дороге подкупленных разбойников, чтобы меня убить.

ИЗ «ВОПРОСОВ ЭЛОИЗЫ»

XII вопрос Элоизы

Заслуживает некоторого рассмотрения также и то, что мы читаем у Матфея о работниках, посланных в виноградник, из которых первые все же — и это очевидно — завидовали пришедшим позднее, на что хозяин возразил им таким ответом, которого они и заслужили: «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» (От Матфея, 20, 15).

Ведь в грядущей жизни для каждого из блаженных награда будет достаточной, так что никто не станет стремиться иметь больше, чем он получит, и такая там пребудет любовь меж всеми, что достояние другого каждый возлюбит, как свое собственное, и не сможет противиться воле Божьей, и глаз иметь завистливый, тем

более что зависть удручает и мучает тех, в ком она есть, как сказал поэт:

Пытки другой не нашли сицилийские даже тиранны
Хуже, чем зависть.

И в другом месте:

Сохнет завистник, когда у другого он видит обилье.

Ответ Абеляра

Следует иметь непременно в виду, что во всякой притче выражен не столько истинный предмет, сколько представлено частичное его подобие, и часто к действительной истине уподобление прибавляется как свершившееся событие.

Ведь, например, когда притча о богаче и Лазаре истолковывается применительно к двум, а чаще ко многим лицам, что, дескать, душа этого человека будет спасена, а душа того будет осуждена, то слова богача, обращенные к Аврааму, никоим образом нельзя понимать буквально: «Пошли Лазаря, чтобы смочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой» (От Луки 16, 24). Душа, конечно, не может обладать пальцем или языком, может только тело. Значит то, что говорится о них, относится не к истинности происшедшего в буквальном смысле, а к ее частичному подобию.

Так и в указанном месте, когда говорится, что работники ропщут и даже негодуют оттого, что к ним приравняли других, этот ропот надо понимать не как ропот негодования, а как шепот восхищения. Ведь люди ропщут от удивления, когда происходит то, во что они не верили. Потому-то ропот этот теперь толкуется как восторг многих верных перед тем, что работавшие заведомо меньшее время будут вознаграждены с ними наравне.

Таким же образом и завистливый глаз назван по уподоблению,— им обладают люди, против других раздраженные, которые удивляются, когда, словно вопреки их разумению, происходит нечто, во что они не верили. Значит и слова: «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» имеют такой смысл: «Неужели оттого, что ты видишь содеянное добротой моей, ты по-мирскому злишься на неравенство и обращаешься к ненависти?» Это все равно, что он сказал бы: «Не пристало сие! Из того, что господин сказал каждому и тем сделал каждому, следует уразуметь, что здесь не пристало негодование, а надо больше воздавать хвалы Господу».

Бернард Клервоский

Бернард Клервоский (1091—1153) — цистерцианский монах, проповедник-мистик, религиозный писатель.

Происходил из знатной и богатой семьи в Бургундии, в юности сочинял стихи вполне светского содержания, двадцати двух лет (1113) вступил в цистерцианский монастырь аббатства Сито, через два года (1115) основал аббатство Клерво, в аббаты которого при его основании был посвящен знаменитым мистиком, основателем монастыря св. Виктора, цитадели французского мистицизма, Вильгельмом из Шампо. В звании аббата Клерво оставался до конца жизни, намеренно не поднимаясь по ступеням церковной иерархической лестницы, но был другом пап (Иннокентий II обязан ему престолом, Евгений II — его ученик), советником государей, посредником между папством и светской властью при дворах Европы, постоянным третейским судьей. Аскет, мистик-созерцатель, фанатик и вместе энергичный, расчетливый практик, он много сделал для усиления влияния цистерцианского ордена в частности, католической церкви в целом, и был ею канонизирован (1174).

Проникнутый теократической идеей единства человечества, царствующего над миром во Христе, пытался реализовать ее путем создания всемирного теократического государства с римской церковью во главе. На практике это осуществлялось в утверждении приоритета власти папы над властью светского государя (конфликт между папой Иннокентием II и французским королем Людовиком VII по поводу епископской инвеституры); в проповеди и организации крестовых походов: в Сирию и Палестину (II крестовый поход —1147 г.), инициатором которого был Бернард, и против полабских славян (вендов — 1147 г.), который он поощрял, а также в призыве (1136) к крестовому походу против норманнского королевства Рожера Сицилийского, сторонника Анаклета II; в искоренении религиозных ересей, объективно, несомненно, имевших социальную окраску, направленных и против папского престола и против феодальной системы в целом (петробрюзийцы, или генрициане: полурелигиозное братство ткачей, изобличенное Бернардом на Реймсском соборе 1174 г.); в подавлении научных поисков в области богословия, центральной области средневековой науки, как привносящих рациональный диалектический элемент в истолкование религиозной догмы (преследование Абеляра, Жильбера из Пуатье, Арнольда Брешианского); в стремлении к реформе церкви (неустанная проповедь аскетизма, покаяния, добрых дел, обличение недостойного духовенства с целью возвысить авторитет церкви и отрешением от мира поставить ее во

главе мира); в упрочении и поддержке церковных конгрегаций; в поощрении духовно-рыцарских орденов, подчиняющихся непосредственно папе (участие в выработке устава ордена храмовников и в утверждении этого устава на соборе в Труа — 1128 г.).

Вместе с монахами обители св. Виктора явился основоположником французской мистической школы богословия, а впоследствии мистического течения, охватившего всю Европу. Под влиянием идей Августина и неоплатоников создал мистическую теорию любви к богу и ближнему, возведенную впоследствии в систему, сжато переданную францисканцем Бонавентурой (1221—1274) и воспринятую затем почти всеми мистиками католичества.

Великий стилист, крупнейший оратор, он силой своего проповеднического красноречия заставил германского императора Конрада III вопреки здравому смыслу и желанию возложить на себя крест, миланских горожан примириться с папой, родителей трепетать за участь своих детей, которых призывал идти в монастырь.

Выработал особый, изысканно-сложный, возвышенно-чувствительный стиль проповедей, который затем на многие годы стал признанным стилем европейской мистики. Ввел в оборот и утвердил стилистически образцовое построение фразы, покоящейся на ассоциативных связях, плотно насыщенной реминисценциями, перифразами, цитатами из Священного писания, а подчас и целиком составленной из них, уснащенной фигурами и тропами, оканчивающейся благозвучным кадансом, одинаково близкой, как показал его же собственный опыт, строго логическому изложению трактата, инвективе письма, экстазу проповеди.

Более половины жизни провел в разъездах, улаживая дела большой европейской политики. По его имени названы швейцарские альпийские перевалы (Большой и Малый Сен-Бернар).

Вызвал восхищенное преклонение и ожесточенную ненависть современников, почтительное удивление Лютера, негодующую насмешку Шиллера. Семь столетий спустя вынес ему суровый приговор Маркс.

Оставил многочисленные сочинения: трактаты, письма, проповеди; среди последних — знаменитые проповеди на мистически понятый библейский текст Песни Песней.

ПОСЛАНИЕ 331

СТЕФАНУ, КАРДИНАЛУ И ЕПИСКОПУ ПРЕНЕСТИНСКОМУ[1]

Досточтимому господину и епископу, святому отцу, Божьей милостью Пренестинскому епископу брат Бернард, аббат Клерво, желает быть стойким и крепить силы во Господе.

Утеснения и стенания невесты Христовой с особенной доверительностью я пересказываю вам, ибо познал я в вас друга Жениха и что радостию радуетесь вы гласу Жениха (От Иоанна, 3, 29). И я полагаюсь на вас во Господе, если истинно постиг внутреннего вашего человека (Римл., 8, 22): потому что вы не ищете, что ваше, но что Иисусово (II Коринф., 4, 16).

Петра Абеляра, веры католической гонителя, Христова креста неприятеля, с очевидностью обличает и жизнь его, и обхождение, и книги, из потемок в свет исходящие. Он монах снаружи, еретик внутри, ничего в нем нет от монаха, кроме имени и обличия. Он раскрывает старые колодцы и водоемы обтоптанные еретиков, дабы пал туда и бык и осел (Пс. 7, 16).

Многие дни он хранил безмолвие; но безмолвствуя в Бретани, он зачал боль, а ныне во Франции зачал смуту [2]. Выползла на свет из расселины своей извивающаяся змея и, как оная гидра, вместо одной, прежде отрубленной, семь голов за одну выставила. Одна голова была отрублена, одна ересь его в Суассоне была подрублена [3], но уже на месте ее произросли семь и того более ересей, образчик коих у нас был и мы его отослали вам.

Невежественных и неискушенных слушателей, отъятых от сосцов диалектики, и тех, кто, я сказал бы, азбуку веры едва в состоянии постигнуть, к таинству святой Троицы, к святая святых, к опочивальне Царя он подводит и к тому, кто «мраком покрыл себя» (II Царств, 22, 12).

Наконец, вкупе с Арием теолог наш степени и ступени в Троице устанавливает, вкупе с Пелагием свободную волю благодати предпочитает, вкупе с Несторием Христа на части разделяя, воспринятого в тройческую общность человека из нее исключает [4].

Так рыщет он едва ли не по всем святыням, так от предела до предела доходит дерзостно, так все он устрояет предосудительно. И к тому же величается, что напитал римскую курию ядом своего новшества, в руки и груди римлян книги и мысли свои заключил и к покровительству своего заблуждения привлекает тех, от коих должен быть судим и осужден [5].

Да возымеет Господь попечение о Церкви своей, за кою он смерть приял, дабы «представить ее себе не имеющую пятна или порока» (К эфес., 5, 25—27), доколе не будет вменено вечное молчание человеку, «уста коего полны проклятья, коварства и лжи» (Пс. 9, 28).

ПОСЛАНИЕ 332

КАРДИНАЛУ Г...

Досточтимому господину и любезнейшему отцу святой римской церкви кардиналу Г... Бернард, аббат Клерво, желает духовного разумения и крепости.

Не могу промолчать об обидах Христовых, об утеснениях и скорбях Церкви, о горести убогих, о стоне обездоленных (Пс. 11, 6). Вступаем мы во времена опаснейшие.

Наставники есть у нас, охочие до слушателей: ученики от истины слух свой отвращают, к басням обращают. Есть у нас во Франции монах без уста́ва, без попечения прелат, без послушания аб-

бат, Петр Абеляр, умствующий с мальчиками, рассуждающий с женщинами [6]. Потаенную воду и сокровенный хлеб предлагает он ближним своим в книгах, и в проповедях своих являет он нечестивые новшества речей и мыслей. И приступает он не воедине, как Моисей ко облаку, в коем был Господь [7], но с великим толпищем и со учениками своими. По улицам и переулкам умствуют о вере католической, о рождестве от Девы, о святыне алтаря, о непостижимом таинстве святой Троицы.

Мы спаслись от рыканья Петра Льва [8] — нас встречает шипение Петра Змия. Но ты, Господи Иисусе, ты преклонишь долу взоры гордых, ты попрешь и Льва и Змия (Пс. 90, 13). Тот зловредствовал, пока жил, и един был и жизни его конец и злобы. А этот уже предрасполагает, как он в потомков перельет отраву свою, как вредоносен будет всему порождению, какое придет.

Проказу измышлений своих чернилами запечатлел он и пером. Книги его у нас были и мы отослали их вам. Познайте творца труда по труду его. Вглядитесь, как теолог наш вкупе с Арием степени и ступени в Троице устанавливает, вкупе с Пелагием свободную волю благодати предпочитает, вкупе с Несторием Христа на части разделяя, воспринятого человека из тройческой общности исключает. И сие есть лишь немногое о многом.

Ужели не будет среди вас никого, кто возболел бы за Христа, кто возлюбил бы правду, кто возненавидел бы беззаконие (Пс. 44, 8)?

Если уста извергающего хулу не будут заключены, да будет сему свидетелем и судиею тот, кто один «взирает на обиды и притеснения» (Пс. 9, 35).

О РАЗМЫШЛЕНИИ

К ПАПЕ ЕВГЕНИЮ III

II.8. О превосходстве первосвященнического сана и власти

...Так всмотримся же теперь внимательнее: кто ты есть? иначе же говоря, какое лицо представляешь ты ныне в Божией церкви?

Кто ты есть? Иерей великий, первосвященник высочайший, первый меж епископов, наследник апостолов; предпочтением Авель, кормчим правлением Ной, патриаршеством Авраам, положением Мельхиседек, достоинством Аарон, значением Моисей, судейством Самуил, властию Петр, помазанием Христос.

Ты — тот, кому ключи вверены, кому овцы доверены; есть и иные небес ключари и паств пастыри; но ты настолько превосходишь их славою, насколько иное унаследовано тобою звание. Они пасут стада распределенные, каждому каждое,— тебе доверено стадо целокупное, единому единое. И не только над овцами, но и над пастырями ты надо всеми единый пастырь. Из чего я сие заклю-

чаю, спросишь ты? Из слова Господнего. Ибо кому иному из епископов — более того, кому из апостолов! — столь совершенно и столь безраздельно доверены были все овцы Господни? «Если любишь меня, Петр, паси овец моих» (От Иоанна, 21, 16). Каких овец? народы ли такого-то и такого-то края, или страны, или царства? Нет: овец *моих*, сказано. Кому же из этого не ясно, что Господь этими словами не раздельные стада распределил, но единое стадо определил? Где нет различения, там нет и исключения. И разве не были при этом прочие ученики Господни, когда, избрав своим доверием единого, пред всеми явил он единство единого стада и единого пастыря, по ведомому слову: «Единственная она, голубица моя, чистая моя, совершенная моя» (Песнь Песней, 6,9). Где единство, там и совершенство. Остальные же числа совершенства не имеют, а имеют раздельность и отступают от единства. Вот почему остальные ученики Господни получили в удел народы раздельные, каждому каждый, выполняя завет; даже Иаков, заведомый столп церкви Господней, единым удовольствовался Иерусалимом, Петру уступив целокупность. Прекрасно, что положен он в Иерусалиме, где и умерщвлен был, дабы взошло семя усопшего брата,— ибо прозвание ему было брат Господень (К. Галатам, 1, 19). Если же и брат Господень уступил — кто иной посмеет посягнуть на первопреимущества Петровы?

Стало быть, согласно с установлением твоим, другие — к доле в заботах, ты же — к полноте во власти призван есть. Других власть предназначенными скована пределами; твоя власть простирается и на тех, кто над прочими властвует. И разве не властен ты, имея к тому причину, епископу преградить вход в царствие небесное, епископа отрешить от епископства и предать диаволу? Истинно, незыблемо полновластие твое как над ключами, ключарю вверенными, так и над овцами, овчару доверенными...

II.9. Рассмотрение собственной природы первосвященника

Вот — *кто* ты есть! Но не забывай и о том — *что* ты есть! Ибо памятую и я, что обещал об этом напомнить тебе при случае. А не удобный ли случай — сопоставить то, *кто* ты есть, с тем, *что́* ты был раньше? И разве только был? И ныне есть! Зачем, не перестав быть тем, что́ ты есть, перестаешь ты мыслить о том, что́ ты есть? Едино размышление о том, что́ ты был и что́ ты есть, и совсем иное размышление — о том, кто ты стал. Не следует второму размышлению вытеснять первое из рассмотрения твоего.

Я сказал: ты есть то же, что и доселе был; и разве меньше в тебе того, чем ты был, нежели того, кем ты стал? Быть может, и больше! То у тебя рожденное, это у тебя приобретенное, и ничто у тебя не измененное. Не прежнего ты в себе убавил, а нового прибавил. Так посмотрим же на то и на другое сразу: ибо, как

помнится мне, я говорил уже, оба сии предмета в сопоставлении сугубую пользу являют.

Я сказал: когда ты размышляешь, что́ ты есть, ответ ты находишь в природе, создавшей тебя человеком, ибо человеком ты рожден. Когда же ты размышляешь, кто ты есть, ответ ты находишь в звании твоем, которое гласит, что ты — епископ; епископом же ты не рожден, а сделан. Что же, ты мнишь, из этих двух предметов в чистейшем виде являет тебя и в большей мере прикосновенно к тебе? то, чем ты рожден, или то, чем ты сделан? Всеконечно, то, чем ты рожден. Так вот, именно то и должен ты рассмотреть, чем ты наибольше являешься,— иначе же говоря, человека, ибо человеком ты рожден.

И не только в то, *чем* ты рожден, но и в то, *каким* ты рожден, надлежит тебе всмотреться со вниманием, если не хочешь ты, чтобы размышление твое было бесплодным и бесполезным. Так отбрось же все наследственные твои покровения, ибо на них — первоначальное проклятие; так сорви же лиственное опоясание, ибо оно позор лишь сокрывает, но язву не исцеляет; так сотри же румяна сей скоропреходящей почести, угаси блеск дурно наведенной славы, — воззри на себя нагого в наготе своей, ибо наг ты вышел из чрева матери твоей (Иов, 1, 21).

Что тебе в венце твоем? что тебе в блеске каменьев твоих, и в пышности шелков твоих, и в перьях диадимы твоей, и в обременении золота и серебра? Рассей все это, отвей все это от лика твоего размышления, как утренние облачка, быстро проплывающие и легко истаивающие,— и явится пред тобой человек нагой, человек нищий, человек жалкий и жалости достойный; человек, страдающий, что он человек есть, стыдящийся, что он наг есть, стенающий, что он рожден есть, ропщущий, что он есть; человек, рожденный на страдание (Иов, 5, 7), а не на блистание; рожденный от женщины, и посему во грехе; живущий краткодневно, и оттого в страхе; пресыщенный печалями многими (Иов, 14, 1), и потому в плаче. Поистине, печали его многи, ибо они и душевные суть и телесные: каким не подвержен бедам во грехе рожденный, телом слабый, умом праздный? Поистине, печалями пресыщен, ибо и тело его бессильно, и дух неразумен, и сев его — смрад, и конец его — смерть.

Единственная есть связь мыслей, для тебя спасительная: мысля, что ты — высочайший первосвященник, не забывай, что ты же — и ничтожнейший прах, и не только был, но и есть. Пусть твоя мысль берет пример с природы, но пусть она берет пример и с достойнейшего — с творца природы, сочетая в себе высочайшее и низшее. Разве не природа сопрягла в человеческом лице с мерзкой грязью дыханье жизни? Разве не творец природы сочетал в своем лице смертную грязь и Божье слово? Прими же образ свой как от начала нашего сотворения, так и от таинства искупления; возносись троном своим, но не возносись разумом своим; низкое в себе чувствуй и низким в мире сочувствуй.

ПРОПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ НА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ[9]

О лобзании стопы, длани и уст Господних и пр.

1. Сегодня читаем мы в книге опыта[10]. Оборотитесь на себя самих (Пс. 79, 15), и всякий да напряжет сознание свое к тому, чему предстоит быть сказанным.

Я хотел бы узнать, было ли когда-нибудь кому-либо из вас дано сказать по слову: «Да лобзает меня лобзанием уст своих» (Песнь Песней, 1, 1)? Ибо нельзя сказать такое по страсти к кому-либо из людей, но если кто из духовных уст Христовых лобзание хоть единожды приял, того, конечно, сей собственный опыт возбуждает, и он всем сердцем стремится к тому вновь и вновь. Я полагаю, что никто, кроме приемлющего, не может даже знать, каково это, ибо сие есть манна сокровенная, и лишь тот кто вкусил, возалкает вновь. Сие есть источник запечатленный, к коему не приникает чужой, но лишь тот, кто испил, возжаждет вновь (Апок., 2, 17; 5, 1—5; 7, 3—8). Услышь изведавшего, как взыскует он: «Возврати мне,— просит,— радость спасения твоего» (Пс. 50, 14).

Менее всего, конечно, да отнесет это к себе душа, подобная моей, обремененная грехами, доныне подвластная страстям тела своего, доселе не восчувствовавшая еще услады духа, вовсе несведущая и неискушенная в радостях внутренних.

2. И все же я указую душе, которая такова, место во спасении, ей подобающее. Да не воздвигнется она опрометчиво до уст пресветлого Жениха, но к стопам престрогого владыки[11] со мною, робкая, да припадет и со мытарем, трепетная, в землю, не на небо взирает (От Луки, 18, 13), дабы лик, привычный ко мраку и смятенный во светочах небес, не был подавлен славою, и отраженный небывалым блистанием величия, не окутался вновь слепотою непроницаемой тьмы.

Пусть же, о душа, чья бы ты таковая ни была, пусть тебе не представляется жалким и презренным то место, где святая грешница грехов совлеклась и в святость облеклась. Там эфиопянка сменила кожу и, восставленная в новом сиянии, теперь уже истинно и правдиво ответствовала укоряющим ее словам: «Черна я, но красива, дщери Иерусалимские» (Песнь Песней, 1, 4)[12].

Ты дивишься, как возмогла она сие или, скорее, какими достигла заслугами? Услышь в немногих словах. Она слезно возмолила о любви[13] и, от внутренних глубин долгие воздыхания изводя, в спасительных рыданиях содрогаясь, желчную влагу изрыгнула.

Небесный врачеватель — скорый помощник, ибо быстро течет слово его (Пс. 147, 4). Что же иное, как не целебное питие, есть слово Божие? Оно везде и всегда, и могуче и паляще, и испытующе сердца и утробы (Пс. 7, 10). Ибо слово Божие — живо и действенно и пронзительнее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, а равно составов и мозгов, и судит помышления (К евреям, 4,12).

И вот, по примеру той блаженной кающейся, прострись и ты, о несчастная, дабы перестала быть несчастной; повергнись и ты на землю, обымай стопы, умилостивляй поцелуями, орошай слезами, коими, однако, не Того омываешь, но себя (I Коринф., 6,11), да станешь ты одной из стада выстриженных овец, выходящих из купальни (Песнь Песней, 4, 2). И тогда ты залитый стыдом и скорбью лик свой да не прежде подъять дерзнешь, как услышишь и сама: «Прощаются тебе грехи твои» (От Луки, 7, 37—48), как услышишь: «Восстань, восстань, плененная дщерь Сиона; восстань, отряси с себя прах» (Исайя, 52, 1—2).

3. Когда же принято будет первое лобзание стопы, то и тогда ты не возомнишь тотчас до лобзания уст воздвигнуться, но будет тебе к оному ступенью иное посредствующее лобзание — лобзание длани, второе, коего ты будешь удостоена; и о нем такое услышь толкование.

Когда сказал бы мне Иисус: «Прощаются тебе грехи твои», ужели не отступился бы я от греха, как он положил? Сбросил я одежду мою, но если вновь надену ее, во многом ли я преуспел? Если сызнова стопы мои, кои омыл, загрязню, разве что иное омыть их возможет? Омаранный всяческими пороками, долго лежал я в куче нечистот, но будет без сомнения хуже вновь упадающему, чем лежащему. И, наконец, Тот, кто сделал меня здоровым, сам, как я памятую, сказал мне: «...Вот, ты выздоровел; иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (От Иоанна, 5,14).

Но кто вложил стремление покаяться, необходимо да придаст и силы оберечь достигнутое, дабы не соделал я вновь подлежащее покаянию и не сотворил бы новое мое хуже прежнего. Ибо горе мне и приносящему покаяние, если вдруг отстранит от меня руку свою Тот, без коего ничего не могу содеять! Ничего, говорю я, ибо ни покаяться, ни оберечь. Также слышу я, что советует Мудрый: «Никогда,— говорит,— не повторяй слова» (Сирах., 19, 7). Трепещу и того, что Судия вменил древу, не приносящему доброго плода (От Матфея, 3, 10).

Посему признаюсь, что уже не удовольствован я вполне той прежней благодатью, которая дала мне каяться в грехах, если не восприму теперь второй, дабы зримо явить достойные плоды моего покаяния, да не обращусь я более на блевотину свою.

4. Стало быть, предстоит мне прежде сие испросить и обрести, нежели уповать высочайшего и святейшего коснуться. Не вдруг хочу я стать высшим, постепенно возвыситься хочу. Сколь неугодно Богу бесстыдство грешника, столь радостно смирение кающегося. Скорее снищешь милость его, если соблюдешь меру свою и не взыскуешь высшего, чем надлежит тебе.

Длинен скачок и тяжек от стопы к устам, да и не сообразен подступ. Ибо что это? Еще свежим прахом покрытый, уст святых коснешься? Вчера из грязи извлеченный, сегодня пред ликом славы предстанешь?

Да будет тебе восхождение через длань Господню. Она прежде

да очистит тебя, она да восставит тебя. Как да восставит? Даянием, отколе уповал. Каково оно? Краса воздержания и достойные плоды покаяния, ибо таковы суть труды благочестия. Они восставят тебя от нечистот к надежде отважиться на большее.

Воистину приявши дар, облобызай руку,— и тем не себе, но имени Его славу воздай. Воздай единожды и воздай вдругорядь, сперва за отпущенные прегрешения, потом за обретенные добродетели. А не то вглядись, как укроешь ты чело свое от упреков сих: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (I Коринф., 4, 7).

5. И вот, наконец, обретя в двух лобзаниях двойной опыт божественного достоинства,— ты, верно, не смутишься уповать и на более священное. Ибо, сколь ты возрастаешь в благодати, столь и в уповании ширишься. А посему, да будет любовь твоя пламеннее, и да постучишься ты увереннее за тем, чего тебе, по чувству твоему, недостает. Стучащему же отверзется (От Матфея, 7, 7).

И уже в том высшем лобзании, в коем высочайшее достоинство и дивная сладость, верую, не будет отказано столь любящему. Вот путь, вот следование. Сначала к стопам припадаем и горько оплакиваем пред очами Господа, нас сотворившего, нами сотворенное. Затем взыскуем руки возвышающего и укрепляющего колена расслабленные. И наконец, когда того многими мольбами и слезами достигнем, тогда только, пожалуй, дерзаем поднять голову к самым устам славы, дабы, в трепете к робости не только воссозерцать, но и облобызать; ибо Господь Христос есть дух пред лицом нашим, к коему припадаем в священном лобзании, дух един по снисхождению его становимся [14].

6. Тебе, Господи Иисусе, Тебе заслуженно рекло сердце мое: «Изыскало Тебя лицо мое, лик Твой, Господи, да обрету». Ибо воутрие дал Ты мне услыхать милосердие Твое, когда мне, по началу во прахе лежащему и следы твои досточтимые лобызающему, что дурное содеял я в жизни, отпустил. Далее, по восходе дня Ты возрадовал душу раба твоего, когда затем в лобзании длани твоей уже явил благодать жития во благе. И теперь что остается, о благий Господи, кроме как в полноте света (Пс. 22,1—2), в пылании духа к лобзанию уст твоих меня достойно допуская, преисполнить меня радости от лика Твоего? Укажи мне, о сладчайший, о пресветлый, укажи мне, где пасешь, где покоишь в полдень.

Братия, «хорошо нам здесь быть» (От Матфея, 17,4), но вот отзывают нас заботы дня. Ибо те, кои, как сообщают, сейчас к нам прибыли, заставляют скорее прервать, чем окончить усладительную проповедь.

Я изыду к чужестранцам, дабы ни в чем не пренебречь обязательствами того благоволения, о коем ведем речь, чтобы, пожалуй, и о нас не довелось услыхать: «Ибо они говорят и не делают» (От Матфея, 23, 3).

А вы, между тем, молите, дабы добровольное благоречение уст моих содеял Господь к назиданию вашему и ко хвале и славе имени его.

Религиозная поэзия XII в.

Настроение, господствующее в большинстве текстов этого раздела, не так легко осмыслить. Едва ли не загадочнее всего оно для русского читателя, который знает родную старину и пытается отыскивать в ее опыте опору для постижения чужой старины. Мы привыкли к суровой простоте или слезной умиленности древнерусского религиозного искусства. Но как понять благочестивое рвение, которое неразрывно слито с вызовом, с дерзостью, с игрой рассудка, которое может выразить себя в интонациях задорных и горделивых, как звуки рыцарского рога? Когда стрельчатая готическая башенка, поднимаясь превыше всякого вероятия, в последнем усилии восходит в небо,— что это: религиозный порыв, или гордый вызов, или неразличимое единство того и другого?

Таков внутренний склад западноевропейского высокого средневековья.

Сказанное в наибольшей степени относится к секвенциям Адама Сен-Викторского (ум. в 1192 г.), переводы которых составляют основу раздела. В его победоносно-звонких, безупречно отделанных, уверенных и самоуверенных стихах этот род поэзии празднует доподлинный праздник. Адаму дана была долгая творческая жизнь: уже в 1139 г. знаменитый мистик Гуго Сен-Викторский назвал его «отменным стихотворцем», и затем он мог полвека оправдывать эту похвалу. Он был способен на передачу серьезного и проникновенного содержания — в конце концов, недаром же он был питомцем такого центра самоуглубленной религиозно-философской культуры, как Сен-Виктор. Пусть читатель прочтет секвенцию Адама о подвиге первомученика Стефана, и для него будет очевидным, что поэт умел говорить о страдании, о смерти, о презрении к страданию и к смерти. Нет, его никак нельзя без дальнейших слов назвать «кимвалом бряцающим». И все же — как много в поэзии Адама этого «кимвального» шума! Его строки звучат отчетливо и пронзительно, как средневековые музыкальные инструменты (пронзительность эта, к сожалению, в переводе пропадает, ибо звуки русской речи куда глуше латинских); рифмы поднимают пронзительный праздничный шум, подчас слишком утомительный для нашего уха. Эти стихи похожи на предмет, слишком ярко раскрашенный, чтобы принадлежать миру взрослых,— у нас так раскрашивают только детские игрушки. Поэтическая позиция Адама имеет в себе очень много от наивной профессиональной похвальбы средневекового ремесленника, который спешит доказать нам, что владеет мастерством лучше, чем его соперники. Добротность здесь выставлена напоказ — но, по счастью, это доподлинная, неподдельная,

честно оправдывающая себя добротность: умение Адама действительно поразительно. Его секвенция на праздник св. Троицы написана так, чтобы продемонстрировать, до чего гладко, четко, без сучка и задоринки догматические и философские формулы влезают в нужный стихотворный размер, чтобы перезваниваться рифмами; мы живо ощущаем школярский задор диспута. И здесь же Адам может с совершенно обезоруживающей искренностью сознаться, что сам он, к сожалению, не понимает своим рассудком разницы между рождением Сына и исхождением св. Духа, и напоследок призвать всех к простодушной вере без умствований. Поистине, в стихах Адама всё есть — и всё рядом.

Текст совсем иного рода — мистические «Стихи об имени Иисусовом». Эти воздыхания, в которых каждая строка рассчитана на замедленное, углубленное восприятие, как-то связаны с мистикой Бернарда Клервоского.

Зато отрывок из поэмы Бернарда Морланского (середина XII в.) «О презрении к миру» снова возвращает нас к тем же поэтическим установкам, которые мы видели в секвенциях Адама Сен-Викторского. Поэма, посвященная около 1140 г. аббату Петру Достопочтенному, состоит из трех книг общим объемом около трех тысяч стихов и являет собой типичный образец средневековой проповеди: она открывается пронзительным видением Страшного суда и Небесного Иерусалима, затем переходит к темам бренности плоти и порчи нравов, обличает неверие мира и властолюбие Рима, черную магию и противоестественные пороки, чтобы в конце призвать читателя к совместной молитве о просветлении умов и умягчении сердец. Сюжет, как мы видим, очень серьезный, и Бернард относится к нему со всей возможной прочувствованностью; но литературному щегольству это отнюдь не мешает. Размер поэмы, выбранный сознательно и обдуманно, как явствует из ученого прозаического посвящения, должен воздействовать на читателя своей звучностью: это — леонинский гексаметр особого рода, в котором каждая строка делится не на две, а на три части, причем первые две рифмуются друг с другом, а последняя — с последней же частью соседней строки двустишия. Русскому читателю такой ритм может напомнить размер стихов Жуковского:

> Будь нам заступником,   верным сопутником,   нас провожай!
> Светлопрелестная   жизнь наднебесная,   сердцу сияй!

Сам Бернард называет такой размер чрезвычайно трудным и редким, не без гордости обращаясь к адресату посвящения: «Если бы только Дух премудрости и разумения не пребывал со мною и не споборал мне, я не смог бы соткать столь протяженный труд столь трудным метром; ибо этот род метра, блюдущий как непрерывность дактилического течения... так и леонинскую звучность, по причине трудности своей едва ли не всесовершенно всеми заброшен». Современному читателю эта нарочитая ювелирная выделка покажется едва ли соответствующей монументальным размерам оэмы: звон рифм в скором времени приедается, группировка стихов по двое обнаруживает несовместимость с эпическим течением интонации, наконец, взятая в самых первых стихах предельно высокая нота не оставляет места для нарастания, для градации пафоса. Но средневековый любитель назидательной словесности судил иначе; поэма клюнийского монаха удостоилась чести быть приписанной его великому

тезке Бернарду Клервоскому и послужила образцом для подражаний. Впрочем, описание Рая принадлежит к тем немногим строкам всемирной литературы, которые всегда останутся живыми.

Адам Сен-Викторский

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Ныне зрится радостно
мира обновление,
и Христово явлено
персти воскресение;
совоскреснув Господу,
песнь творит согласную
всех стихий течение.

Вьется огнь проворнее,
воздух стал прозрачнее,
и вода привольнее,
и земля пространнее;
к высям реет легкое,
книзу тянет тяжкое,
все повсюду новое.

Небо просветляется,
море укрощается,
ветер унимается;
и луга процветшими,
и поля ожившими,
и леса одетыми
взору вновь являются.

Лед растоплен мертвенный,
ков разрушен гибельный,
мира князь властительный
зримо низлагается;
посягнуть желающий,
досягнуть не могущий,
власти он лишается [1].

О, преодоление
смертного истления!
Рая ликование
грешным возвращается;
древний меч пылающий,
путь нам заграждающий,
по обетованию
ныне отлагается [2].

НА ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Образ Тройцы трисиянной,
Нераздельной, неслиянной,
    Возвещаем в радости;
Возвещаем правогласно,
Что различье ипостасно
    При единой сущности.

Бог Отец, и Сын, и Духа
Дуновенье — три для слуха;
    Но соотносительно
Сих имен обозначенье;
Ты же дивное ученье
    Рассмотри внимательно.

Сущность и существованье,
Пожеланье и познанье
    В Сих Троих единое;
Совокупно и всецело
Сих Троих творится дело,
    Вечно нераздельное.

Сын Родившему соравен,
Той же славой столь же славен,
    Равночестен Вышнему;
Равен и Отцу, и Сыну,
Дух Святой от Них по чину
    Происходит дивному.

Не постигнет разуменье
Ипостасей единенье,
Как и то, в чем разнствуют;
Не под силу мысли бремя:
Ни пространство и ни время
В Боге не присутствуют.

Ипостаси суть едины:
Нет иной Первопричины,
Кроме Сих, существенной;
Бог — причины вид «финальной»,
«Эффективной» и «формальной»,—
Только не «вещественной» [3].

Слабым разумом не емлю,
Крепкой верою приемлю
Истины свидетельство;
Чем отлично от рожденья
Совершенье «исхожденья»?
Чту молчаньем таинство.

Все пред таинством склонимся,
Да вовек не отклонимся
От пути надежного;
Верой нашу жизнь поверим,
Лжеученьям не доверим
Слуха благосклонного.

Исповедуем всечасно,
Проповедуем согласно
Божество всечтимое:
Славу Трех единосущных
Ипостасей соприсущных,
Существо единое.

О СВЯТЫХ АПОСТОЛАХ

Браноносная когорта,
Коей Змия злоба стерта,—
О, Сенат апостольский!
Не трубой ты славим шумной;
В тишине молитвы умной [4]
Глас гласится ангельский.

Ты возвышен, ты прославлен,
Персть и плоть судить поставлен,
Дивный сонм избрания;
Взор в тебе утешен Отчий,
Твой в тебе являет Зодчий
Честь святого Здания [5].

Ты даешь о Назорее,
О бореньи, о трофее
Верное свидетельство [6],
Отверзаешь душам очи,
День чтоб дню, и ночь чтоб ночи
Возвещали таинство [7].

Изошел в концы вселенной [8]
Глас вещанья, глас блаженный,
Глас о легком бремени [9];
Изнесли превыше меры
Земли плод неложной веры
От святого семени.

Слуги Нового Завета,
Други вечного Обета,
Вы в ложницу брачную,
Чада брачного чертога,
Возвели Невесту Бога,
Церковь непорочную.

Сколь та Дева всеблаженна,
Сколь смиренна, сколь почтенна,
Древняя и юная!
Оной ложе — дух правдивый,
Оной вено — свет нелживый,
Плод же — вера дивная.

О, блаженного Строенья
Утвержденья, и каменья
Вы краеугольные! [10]
Вы Израиль и народы
Под одни собрали своды,
Своды Храма вечные.

Патриархам соименный
Ряд Колен благословенный [11],
Хлебы Предложения [12]
И наперсной вид святыни [13],—
Это новой благостыни
Древние знамения.

О, Вожди святые верных,
Огнь в сердцах нелицемерных
Возжигайте рдеющий,
Возжигайте неустанно,
Да возможем невозбранно
В Рай войти сияющий.

О СВЯТОМ СТЕФАНЕ ПЕРВОМУЧЕНИКЕ

Мир вчера лишь праздник правил,
Празднуя, вчера лишь славил
Рождество Спасителя;
Лишь вчера звучали клики,
Лишь вчера Небесных лики
Пели Вседержителя [14].

Днесь Левит богоизбранный [15],
К жертве званный и венчанный,
Доблестно воинствует;
Явлен блеск его победы,
И себе в том видя беды,
Злобой ложь ответствует.

Что они за взоры мещут,
Как трепещут, как скрежещут,
Истины противники!
Ставят лжесвидетелей,
Кличут и карателей
Света ненавистники.

Ратуй, ратник Божья Града!
В небесах верна награда
Для святых ревнителей!
Возвести вещания,
Расплети плетения,
Посрами свидетелей!

Свят на небе твой Свидетель,
Неба и земли Содетель,
Споборатель скорбного;
Именован ты «Венчанным»; [16]
Будь же в муках неустанным
Для венца победного!

Для венца, что не увянет,
Презри муку, что престанет,
Слава же останется;
Через смертное мученье
Жизни вечной обрученье
Стойкому откроется.

Исполняясь веденьем,
Укрепляясь виденьем
Горнего селения,
Зрит он славу Божию,
И для брани с ложию
Мощь сбирает рвения.

О, Стефане! Се кончина;
Видишь ныне, видишь Сына
Одесную Вышнего? [17]
Возвести неустрашимо,
Как тобой величье зримо
Исполненья горнего.

Богу дух препоручает
И колена преклоняет
Он в молитве ревностной;
Савл одежды охраняет

И казнящих возбуждает,
Злобе служит яростной [18].

Да не вменит прегрешенья
Тем Господь, кто слал каменья;
Эти Богу шлет моленья,
Умирая, праведник [19].
Во Христе почиет верно,
Кто Христу служил примерно
И любил Христа безмерно,
Славный Первомученик.

Бернард Морланский

О ПРЕЗРЕНИИ К МИРУ

Тягости слезные, горести грозные все безысходней.
Братья, терпение: близко решение воли Господней!
Дивное близится: гордый унизится, скорбный воспрянет,
Перед Создателем и Воздаятелем каждый предстанет.
Вера проверится, мера отмерится, мера возмездья;
В искусе верного, нелицемерного примут созвездья.

Здесь лишь конечное и скоротечное нам испытанье,
Но бесконечное и вековечное ждет воздаянье.
О, воздаяние! Рая сияние персти сияет.
О, воздаяние! Правый страдание позабывает.
Здесь уязвляется дух, и свершается час Вавилона; [20]
Здесь уязвление; там исцеление, слава Сиона.
Там успокоится скорбь, и откроется родина света,
Град уготованный, Богом дарованный чадам Завета.
Всё там исправится, всё переплавится в дивном горниле,
Правда исправленной, святость прославленной явится в силе,
Явится, явится, въяве объявится, просиявая,
Неисследимого, Непостижимого тайна святая.

Град мой единственный, Град мой таинственный, зыблющий светы!
Он примерещится, и вострепещется сердце: «о, где ты?»
Ты воздыхающим, изнемогающим успокоенье,
Душам ревнующим, света взыскующим вечное рвенье.
Там не кончается, полною чается, полною зрима
Невозмутимая, неизъяснимая радость Солима!
Лавры отрадами, кедры прохладами благостно веют,
Стены топазами и хризопразами сладостно рдеют.

Яшмы сияние, лалов пылание, свет сердолика —
Свет милосердного и благосердного Божьего Лика.
Нет там ни времени, нет там ни бремени, ни воздыханья,
Но в бесконечности плещущей вечности преизлиянья.
Светочи брачные, пламеннозрачные, ярко блистают;
Гости избранные, к трапезе званные, все припевают;
Вено предносится, и произносится слово обета
Той, что венчается и обручается Агнцу Завета [21].

Светы блаженные и неизменные ясного Рая!
Речь пресекается, переполняется сердце, пылая.
Я не поведаю, ведать не ведаю, ведать не вправе,
Как осиянные хоры венчанные разнствуют в славе.
Светлы обители, светлы и жители горнего Града,
Правды свершители, мира презрители, цвет вертограда,
Свято искавшие, свято снискавшие в недрах чертога
Славу желанного, праведно жданного, вышнего Бога!
О безгреховная светлость духовная, вечная сладость!
Гостеприимная милость взаимная, братская радость!
Нам же, взывающим и уповающим, горнее зрится,
Лишь упованием, лишь ожиданием сердце живится.
Где ты, о чаемый, преизливаемый свет Эмпирея?
И в изумлении, и в уязвлении никну, немея.

СТИХИ ОБ ИМЕНИ ИИСУСОВОМ [22]

Об Иисусе сладостно
Помыслить в сердце благостно,
Но свыше меры счастие
Дарит Его присутствие.

О, воздыхание милое,
О, псалмопенье тихое,
О, помышленье дивное,
О, имя Иисусово!

Иисусе, свет блуждающих,
Ты благо для взывающих,
Ты дар для вопрошающих,
Но что — для обретающих?

Ни разум не изведает,
Ни слово не поведает,
Но испытавший ведает
И радость исповедает.

О Иисусе, вечное
Дай о Тебе веселие,
Открой любовь нелoжную,
Во веки непреложную.

Хильдегарда Бингенская

Когда читатель переходит от других средневековых текстов к сочинениям монахини Хильдегарды, он должен пережить потрясение, подобное тому, которое каждый испытывает, покончив с первой частью «Фауста» Гёте и взявшись за вторую. Его глаза должны привыкнуть к новому освещению, которое поначалу кажется непроглядным мраком. Вместо веселого звона рифм, наполняющего поэзию позднего средневековья, его встречает некое подобие современного верлибра, вместо наивно-рассудительных назиданий, рассудочных аллегорий, упорядоченной словесной игры — темные и многозначительные символы, соединямые по ассоциативному принципу с такой бесконечной свободой, какую он привык встречать разве что у самых дерзновенных поэтов новейшей эпохи.

Эти необычные сочинения принадлежат необычному человеку. Для того чтобы в XII в. женщина могла заговорить перед всем миром, да еще возвещая не школьную премудрость, а некую тайну, открытую ей и только ей, она должна была соединить в себе общепризнанную святость, визионерский дар, гениальные способности и сильную волю. Эпоха женской монашеской мистики, существенно повлиявшая на пути развития немецкой культуры, наступит не раньше, чем через столетие (Мехтхильда Магдебургская, 1210—1282; Мехтхильда Хакеборнская, 1241—1299; Гертруда Великая, 1256—1302). В средневековой Германии именно Хильдегарда была той, которая «научила женщин говорить», и как всегда бывает в подобных случаях, сама достигла такого духовного уровня, который оказался недостижим даже для самых замечательных ее последовательниц. Ее творчество в лучшем смысле этого слова мужественно; в нем совершенно отсутствуют черты расслабленной чувствительности, ребяческой умильности, невзыскательного духовного провинциализма; общий тон остается чистым и строгим даже в описаниях самых невообразимых экстатических и визионерских переживаний. Читательское впечатление от текстов Хильдегарды — впечатление от альпийского пейзажа: горный воздух и захватывающая дух крутизна. Этот почти жесткий аристократизм духа достоин великой рыцарской культуры XII в.

Хильдегарда и в самом деле была отпрыском рыцарского рода. Она родилась в 1098 г. С пяти лет она имела видения, что побудило родителей рано вверить девочку духовной опеке монахинь бенедиктинского монастыря в Дизибоденберге. В 1136 г. Хильдегарда сама стала аббатисой этого монастыря, в 1147 г. перенесенного на холм св. Руперта близ рейнского города Бингена (по которому Хильдегарда получила свое прозвище). В 1141 г. с ней случилось то, что сделало ее писательницей — что именно, мы никогда не узнаем

иначе, как с ее слов. Сама же она повествует об этом так: «Се, на сорок третьем году земного моего странствия, когда с великим страхом и трепетным прилежанием вникала я в небесное видение, случилось так, что я узрела величайший свет, из которого был глас небесный, провещавший мне: «О, бренный человече, и прах праха, и тление тления! Расскажи и запиши, что ты увидишь и услышишь. Поелику же ты слишком робка, чтобы говорить, и слишком проста, чтобы толковать, и слишком неучена, чтобы писать, расскажи и запиши это, сообразуясь не с разумом измышления человеческого, и не с произволом сочинительства человеческого, но с тем, как ты видишь сие на небесах в вышних и в дивности Божией, повторяя преподанное, как слушатель, ловя слова наставника своего, обнародует их сообразно тому, как они были сказаны, следуя воле, и мысли, и речи наставника. Так и ты, о человече, скажи то, что ты видишь и слышишь, и запиши виденное и слышанное, сообразуясь не с собою и не с каким бы то ни было другим человеком, но с волею Того, кто все ведает, и зрит, и устрояет в сокровенности тайн своих».

И дальше она повествует об этом же событии: «Совершилось... что огнистый свет с величайшим блистанием сошел из разверстых небес, затопил весь мой мозг и воспламенил все мое сердце и всю мою грудь как бы пламенем, притом не только сияющим, но и согревающим, как согревает солнце ту вещь, на которую изливает лучи свои; и я немедля уразумела изъяснение смысла книг, то есть Псалтири, евангелий и прочих кафолических писаний, как Ветхого, так и Нового Завета».

Этим рассказом открывается книга под несколько диковинным названием «Scivias» («Путеведение»). Хильдегарде было вовсе не так просто исполнить полученный приказ, она была женщиной и поэтому никогда не училась латыни систематически. Конечно она затвердила наизусть латинский текст псалмов и других богослужебных текстов, как это само собой разумелось для всякой монахини, но смысл этих текстов она прояснял для себя скорее догадками и озарениями, нежели каким-либо иным способом. Когда она взялась за перо, ей пришлось не раз обращаться к знакомым клирикам за консультацией относительно склонений и спряжений слов. Латынь сочинений Хильдегарды — это удивительный языковый феномен, граничащий с глоссолалией: полузнакомый язык лежит перед писательницей, как неторные лесные заросли, сквозь которые ее ведет уверенность лунатика, причем каждое слово обладает такой весомостью и многозначительностью, которых оно уже не имело для более привычного глаза. Но и такая поистине визионерская латынь казалась Хильдегарде все еще слишком обычной и стертой для передачи ее экстазов — и вот она углубляется в конструирование некоего несуществующего сверхъязыка, на много столетий предвосхищая словотворческие эксперименты новейшей эпохи. Ею был составлен лексикон из 920 заново изобретенных вокабул с переводом на латинский и немецкий языки под заглавием «Язык незнаемый» — и в придачу она выдумывала новые начертания для букв! Более деловой и все же достаточно необычайный характер имели ее естественнонаучные и медицинские штудии: в ее трактатах «Физика» и «Причины и врачевания» странно соединяются ясновидческая женская интуиция по части тайн живой природы, практические познания в области народных навыков и мистическое влечение к сокровенному смыслу каждого цветка и червя. Она очень точно и толково описывает 230 видов растений, но каждый из них имеет для нее свое соответствие во

внутреннем мире человека. Почтенная аббатиса во время своих путешествий сама занималась врачеваниями как душ, так и немощных тел, и притом не только молитвами, но и конкретными советами. Как это обычно бывает с такого рода святыми исцелительницами, сама она страдала тяжелой болезнью и не была избавлена от нее никаким чудом. Современники обращались к ней за советами отнюдь не только медицинского характера; государи и князья церкви засыпали ее письмами, излагая ей свои затруднения и терзания совести, приглашая ее рассудить спор, жалуясь на противников. Она отвечала кратким и простым напоминанием о нравственном долге, как она его понимала.

Двадцать девять религиозных стихотворений Хильдегарды — не совсем стихотворения с точки зрения теоретико-литературных критериев ее эпохи. Сколько-нибудь обязательная метрическая структура в них отсутствует; особенно поразительно то, что в секвенциях нельзя отыскать симметрии полустрофий; нет, конечно, и рифмы. Целое держится на очень свободном ритме и на тонко организованных синтаксических связях, позволяющих словам сохранять как бы дистанцию между собой и пребывать каждому в своем собственном излучении. Такая поэтика отвечает необычному содержанию этих гимнов, предназначенных не для богослужебного, а для приватного исполнения. В них почти полностью отсутствует наивно-повествовательный момент: например, из того, как Хильдегарда говорит о святом Руперте, читатель не узнает никаких подробностей из жития этого герцога Бингенского. Не дело Хильдегарды — рассказывать истории и разрисовывать картинки. Не найти у нее и рассудочного формулирования догматов (пусть читатель сравнит для контраста гимны в честь св. Троицы, содержащиеся в разделах «Религиозная поэзия XI века» и «Религиозная поэзия XII века»). Все гимны говорят об одном, давая как бы бесконечные вариации темы: эта тема — внутреннее преображение человека, таинство бракосочетания души с богом. К своим стихам Хильдегарда сама писала музыку.

Поскольку Хильдегарда при всей своеобычности своего творчества была все же средневековым человеком, а не модернистом XX столетия, она внутренне нуждалась в том, чтобы исходить из некоей уже наличной системы символов, подвергая ее трансформациям. Таким источником для нее стала библейская Песнь Песней в аллегоризирующей интерпретации. Ассоциативные ходы, на которых построены стихотворения Хильдегарды, подчас невероятно сложны и глубоки, но никогда не произвольны; они неизменно укоренены в традиции. Предлагаемые в этой книге комментарии к текстам Хильдегарды стремятся хотя бы отчасти выявить эту укорененность.

Скончалась Хильдегарда 17 ноября 1179 г.

ГИМН О СВЯТОМ ДУХЕ

1. О Дух огнезрачный,
хвала Тебе,
что тимпанами движешь и кифарами [1].

2. Сердца людей горят по Тебе,
и домы душ их [2]
собирают силы свои.

3. Через это воля восстала,
и вкус душе сообщила [3],
и лампада ее воздыхание.

4. Ум призывает Тебя сладчайшими гласами,
и строения Тебе с разумностию готовит,
те, что каплют золотыми делами.

5. Ты же всегда имеешь при себе меч,
дабы отсекать,
что предлагается губительным яблоком [4]
через чернейшее человекоубийство,

6. Когда морок затмевает волю и воздыхания,
в которых душа возлетает
и повсюду кружится.

7. Но ум есть устой
для воли и воздыхания.

8. Когда же так дух движется,
что ищет узреть зеницу зла и челюсть мерзости [5],
скоро сжигаешь Ты его в огне,
если соизволишь.

9. Когда же, однако, разумность
через злые дела отходит к падению,
Ты, по соизволению,
касаешься, и поражаешь, и возвращаешь ее,
вливая в нее излияние опыта [6].

10. Когда же зло устремляет на Тебя меч свой,
Ты обращаешь меч оный ему в сердце,
как сотворил Ты над первым отпавшим ангелом,
когда башню гордыни его низвергнул в геенну.

11. Здесь же иную башню
воздвигнул Ты из мытарей и грешников,
которые исповедуют Тебе грехи свои
и дела свои [7].

12. Через то все творения, Тобою живущие,
хвалят Тебя;
ибо в Тебе благороднейший бальзам для ран зловонных,
что обращаешь Ты в драгоценнейшие жемчужины.

13. Ныне же соизволь всех нас собрать к Тебе
и на правые пути наставить.
Аминь.

ГИМН СВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ

Радуйся, благородная,
славная и непорочная Девица —
око целомудрия,
вещество освящения,
Господу угодное.

Ибо столь верховное
в тебя излилось наитие,
что Слово верховное
в тебе облачилось плотию.

О Белая Лилия,
ее же призрел Господь
превыше всего творения.

О прекраснейшая и сладчайшая,
сколь дивно Бог о тебе умилился,
если ласкание жара Своего
так в тебе положил, что Божий Сын
от сосцов твоих кормился.

Ибо чрево твое имело радование,
когда все созвучия хоров небесных
о тебе ликовали,
что девственно зачала ты Сына Божия;
через то чистота твоя
просияла во Господе.

Утроба твоя имела радование,
как трава, росой прохлажденная,
с небес нисходящею [8];
как то и в тебе совершилось,
о Матерь всякого радования.

Ныне же Церковь
совокупно алеет в радовании [9],
и ликует в созвучиях хоров,
сладчайшей ради Девы
и достохвальной Марии,
Божией Матери.
Аминь.

СЕКВЕНЦИЯ О СВЯТОМ РУПЕРТЕ

О, Иерусалим,
град златоблещущий [10],
украшенная Царя багряница,
О, строение верховной благости,
которое есть свет неомрачаемый!
Ибо ты украшено в зорях,
как и в рдении солнца.
О, блаженное младенчество,
что багряно в зорях;
о, хвалимое отрочество,
что рдеет в солнце!
Ибо в них, благородный Руперт,
ты возблистал, как жемчужина;
через это не укрылся от малоумных,
но явлен, как холм среди долины [11].
Окна твои, Иерусалим,
топазами убраны и сапфирами [12],
дивно;
Когда в них, Руперт, просиял ты,
не укрылся ты от ленивых духом,
как бы холм, розами венчанный и лилиями,
словно багряница явленная.
О, нежный цветок полей [13],
О, сладкая свежесть плода,
О, бремя необременяющее,
не устремляющее сердца к виновности;
О, сосуд избрания [14],
что не осквернен и не пожран
средь плясания древнего вертепа,
и не уязвлен ранами
от древнего губителя!
Дух Святой песнословит в тебе,
ибо к ангельским сопричтен ты хорам,
и в Сына Божия облекся [15],
не имея в себе порока.
Сколь украшенный сосуд ты, Руперт,
ибо в младенчестве твоем и в отрочестве
твоем
устремлялся ты к Богу в страхе Божьем,
и в лобызании любови,
и в сладостном благоухании дел благих.
О, Иерусалим.
основание твое положено на камнях из потока [16],
каковые суть мытари и грешники;
овцами потерянными были они,
но, Сыном Божьим обретенные,
к тебе пришли и в тебе упокоились;

Стены же твои блистают
живыми каменьями [17],
что через усерднейшее рвение
благой своей воли
воспарили в небесах, облакам подобясь.

И через то башни твои, Иерусалим,
краснеют и белеют
багряностию и белизною святых,
и всяким украшением Божьим,
в котором нет тебе недостатка,
О Иерусалим!

Так и вы, избранные и увенчанные,
обитание которых в Иерусалиме,
и ты, о, Руперт,
сотоварищ их в оной обители,

Подайте нам помощь,
молящим
и в изгнании страждущим.

СЕКВЕНЦИЯ ОБ ОДИННАДЦАТИ ТЫСЯЧАХ ДЕВ [18]

О, Церковь,
очи твои подобны сапфиру,
и горе Вефиль — уши твои,
и нос твой, как гора мирры и ладана,
и уста твои,
как шум вод многих [19].

В видении веры неложной
Урсула Сына Божия возлюбила,
и мужа совместно с миром сим оставила,
и на солнце воззрела,
и прекраснейшего юношу призвала, глаголя:

Многим желанием,
возжелала я прийти к тебе,
и в небесном браке воссесть с тобою,
через чуждую жизнь к тебе устремляясь,
как бы облако,
что в чистейшем воздухе проплывает,
подобясь сапфиру.

И когда Урсула молвила так,
Слух прошел по вселенной,

И сказали: «Невинность девическая
не ведает, что говорит».

И начали играть с ней
Во многих хорах,
покуда не возлегло ей на плечи
пламенеющее бремя.

Через то все
познали,
что презрение к миру,
как гора Вефиль.

И притом изведали
сладчайшее мирры и ладана благоухание,
ибо презрение к миру
превыше вещей подъемлется.

Тогда Диавол
вселился в члены буйственные,
что убили благороднейшие нравы
в сих телах [20].

И се, громогласно
все стихии вняли
и пред лицом Бога возгласили:

О, вот и алая кровь
Агнца неповинного
пролита во обручение его [21].

Это да услышат все небеса
и великими хорами да восславят
Агнца Божия,
что заградил гортань древнего Змия
веществом Слова Божия
в сих жемчужинах.

СЕКВЕНЦИЯ О СВЯТОМ МАКСИМИНЕ

1. Взирала голубица чрез оконные створы [22],
и пред оком взиравшим
струился бальзам, источаясь
от Максимина осиянного.

Солнечный жар разогрелся,
во мраках возблиставши;
через то и жемчужина явлена
в освященном строении [23]
любовью обильного сердца.

2. Сия башня созиждена
из кипарисов и кедров Ливанских [24],
гиацинтом и сардониксом убрана [25],
как град, художество зодчих превысивший,

Сей олень легконогий
прянул к источнику струй чистейших,
источенных из крепкого Камня [26],
сладкое благоухание восчувствовав.

3. О торговцы благовониями,
что утешаетесь в зелени садов царских,
к вершинам поднявшись,
когда уже заклан овен
и свершено приношение,
меж вас просиял сей художник,
подпора Храма,
воздыхавший о крыльях орлиных,
лобызая Премудрость-кормилицу
в благодатной плодоносности Церкви.
4. О Максимине, ты явлен как холм и дол,
но меж обоих как строенье чертога,
где Единорог и Слон выступают [27]
и Премудрость к усладам причислена.
Ты дивен и кроток в священнодействиях
и в алтарном пылании жертвы,
подъемлясь, как дым благовонный,
до столпов хваления выспренних;
там молись о людях твоих,
что восходят к дозорам Света,
Коему слава приносится в вышних.

ПЕСНОПЕНИЕ ХОРА ДЕВСТВЕННИЦ

1. О, сладчайший Жених,
сладчайший Лобызатель,
охрани, огради девство наше [28].
2. Рождены мы во прахе,
увы, увы! и во грехе Адамовом,
и тяжко бремя противоречить
имеющему вкус яблока; [29]
но отторгни нас от земли,
Христе Спаситель.
3. Желанием горим мы
Тебе последовать;
о, сколь трудно нам, бедным,
подражать Тебе,
непорочному и невинному
Владыке ангелов!
4. Все же уповаем на Тебя,
возжелавшего взыскать
жемчужину из тления [30].
5. Ныне призываем Тебя,
Жениха нашего и Утешителя,
ибо на кресте искупил Ты нас

6. Во кровях Твоих
обручением сочетались мы с Тобою [31],
отвергнув мужа,
избрав же Тебя, Сына Божия о прекраснейшем лике,
сладчайшее благоухание услад вожделенных;
всегда воздыхаем мы по Тебе в слезной юдоли:
о, когда Тебя узрим,
и с Тобою пребудем?

7. Ты в мире,
и Ты в уме нашем,
и обнимаем Тебя в сердце,
как бы имея Тебя с собою.

8. Ты, о Лев, сильный во бранях,
расторг неба пределы,
прянув в ограду Девы; [32]
и разрушил смерть,
жизнь устрояя в златом Иерусалиме;

9. Даруй нам в оный вселиться,
И пребыть в Тебе,
о сладчайший Жених,
исторгший
нас из пасти Диавола,

10. Что ложью уловил
прародителя нашего.

Алан Лилльский

Алан Лилльский — одно из самых громких имен в европейской философии и поэзии второй половины XII в. Его называли «Doctor universalis» и рассказывали о нем цветистые легенды. Говорили, что однажды он в Париже сочинял проповедь о Троице, как вдруг увидел мальчика, собиравшегося вычерпать Сену раковинкой. Алан сказал ему, что это — безнадежное дело. Мальчик ответил, что изъяснить таинство святой Троицы — дело еще более безнадежное. Алан устыдился своей дерзости. В день проповеди он взошел на кафедру перед собравшейся толпой, сказал только: «Довольно с вас и посмотреть на Алана», сошел с кафедры и скрылся. Безымянным иноком он поступил в цистерцианское аббатство, пас там свиней, потом служкой сопровождал аббата в Рим на диспут с еретиками. Когда на диспуте победа колебалась между спорящими, Алан не удержался, вступил в спор и повел его так, что еретики в ужасе вскрикнули: «Это или дьявол, или Алан!» После этого он с почетом вернулся в Сито, и там два писца до самой его смерти записывали за ним все, что он говорил. Когда он умер, над могилой его написали:

Малый миг в малый гроб скрыл все смертное в славном Алане.
Знал он два, знал он семь, знал он все, что доступно познанью.

(Имеются в виду два источника мудрости — откровение и разум — и семь благородных наук).

Это легенда; достоверные факты о жизни Алана, напротив, очень скудны. Он родился в Лилле около 1128 г., учился, по-видимому, а Шартре, преподавал в Париже, много лет провел на юге Франции — по-видимому, отправленный туда для борьбы с ересью катаров,— и умер в Сито в 1202 г. От него осталось — если не считать сочинений незначительных и сомнительных — два сборника проповедей, два трактата: «О католической вере против еретиков» и «Правила теологии», словарь библейских понятий «Словоразличия» (с особым вниманием к аллегорическим значениям слов), два гимна и две поэмы: «Плач Природы», в котором чередуются стихи и проза, и «Антиклавдиан», самое знаменитое из его сочинений.

Обстановка борьбы с поднимающимися ересями катаров (на юге Франции) и вальденцев (в Лионе), а также с еврейской и мусульманской религиями, тоже находившими отклик на юге Франции, наложила отпечаток на весь облик философии Алана. Схоластике в его лице пришлось вести борьбу с противни-

ками, которые отрицали доводы от откровения и уступали только доводам разума; поэтому Алан попытался строить богословие как рациональную науку. В трактате «О католической вере» встречается знаменитая фраза: «у авторитета нос из воску, и его можно повернуть в любом смысле, а поэтому следует подкрепить его разумными доводами»; а трактат «Правила богословии» построен как цепь аксиом, апеллирующих не к авторитетам, а к непосредственной душевной очевидности, — это «богословие на геометрический лад», как у Спинозы впоследствии была «философия на геометрический лад»: «1) Единица есть нечто единое; 2) В наднебесной области существует единство, в небесной двойственность, в поднебесной множественность; 3) Единица порождает единицу и отражает в себе свое горение; 4) В Отце — единство, в Сыне — равенство, в Святом Духе — связь единства и равенства» и т. д., свыше 120 аксиом, каждая с комментарием; среди них и та, которую впоследствии сделал знаменитой Паскаль: «Бог есть сфера мысленная, чей центр везде, а окружность нигде». Последующая схоластика пошла по другому пути рационализации богословия, но почетное место в истории средневековой философии за Аланом осталось.

Ереси второй половины XII в. ополчались против обмирщения и развратной жизни духовенства, требовали от своих последователей аскетической чистоты, а плоть и плотское отвергали как порождение дьявола. Споря против них, Алан и его современники должны были, во-первых, сами отмежеваться от обмирщения и разврата, и во-вторых, доказать, что плоть и плотское не от дьявола, а от бога, и снисхождение к потребностям плоти не есть отступничество от бога. Это была та же традиция гуманизма XII в., которую мы прослеживали и раньше. Как строил свои доказательства Алан, видно из первых же его аксиом, начинающихся с понятия «Единицы»: это — платоническая и неоплатоническая традиция, культивировавшаяся в шартрской школе и сосредоточивавшая внимание на переходе от единичности бога к множественности мира. Бог порождает «чистые субстанции» — платоновские идеи, «образцы», «чеканы», которыми чеканятся «нечистые субстанции», идеи, облекшиеся в материю. Вся эта иерархия переходных ступеней между единичностью творца н множественностью творения воплощается для Алана в образе Природы — некоего подобия платоновского демиурга. Именно Природа является героиней обеих его поэм; именно тезис «блюсти законы Природы — значит блюсти божьи законы» является основной их идеей; а обличение развратников, нарушающих и извращающих законы природы своим развратом, — их эмоциональным пафосом.

«Плач Природы» написан чередованием стихов и прозы в подражание «Утешению философией» Боэтия. Как и Боэтию, Алану является в сновидении царственная жена (описание ее внешности и одежды составляет почти четверть сочинения), называет себя Природой и отвечает на его почтительные вопросы (этот отрывок переведен ниже). Из вопросов выясняется, что Природа — «наместница» бога в деле творения, а Венера — «заместительница» Природы на земле; муж Венеры — Гименей (Брак), от которого она родила Купидона, «законную любовь»; а любовник Венеры — Антигам (Противобрак), от которого она родила Посмех (Jocus), извращенную любовь, мужеложество. Такая любовь есть преступление против Природы, как и другие смертные грехи (следует яркое описание пьянства, чревоугодия, гордыни и других пороков). Для борьбы с этой заразой и низошла Природа на землю. Вслед за Природой Алану являются и подробно описываются ее спутники — Гименей, Чистота, Умеренность,

Щедрость и Смирение; посылают за Гением, священнослужителем Природы, Гений прибывает в сопровождении Истины, своей дочери, и оглашает интердикт — отлучение от Природы и божественной Любви всех, кто погряз в смертных пороках. По оглашении этого по всей форме составленного декрета все Добродетели гасят свои лампады, и Алан пробуждается.

«Плач Природы» изображал осуждение пороков, «Антиклавдиан» изображает торжество победы над пороками. Это — аллегорическая поэма в гексаметрах; полное заглавие ее — «Антиклавдиан об Антируфине». У латинского поэта IV в. Клавдиана была стихотворная инвектива против враждебного ему министра Руфина, изображенного как вместилище всех пороков. Алан в своей поэме описывает сотворение идеального человека, изображенного как вместилище всех добродетелей. Природа, недовольная своими творениями, созывает в свой дворец (подробнейше описанный) 15 сестер Добродетелей (Согласие, Обилие, Милость, Юность, Стыд, Меру, Разум и т. д.). Они держат совет и решают сотворить тело совершенного человека, а бога просить о том, чтобы он вдохнул в это тело душу. С этой просьбой к богу отправляется Разумение. Колесницу для него делают семь благородных наук (Грамматика делает деревянное дышло, Диалектика — железную ось, Риторика их украшает, Арифметика, Музыка, Геометрия и Астрономия делают четыре колеса из мрамора, бронзы, свинца и золота), везут колесницу пять коней — пять чувств, а правит ими возница Рассудок. Посольство проходит все небесные сферы до порога рая, дивясь величию мироздания. Дальше Рассудок не может везти Разумение, и путеводителем Разумения становится Богословие, а опорой — Вера. Так Разумение достигает престола Троицы и приносит богу моление Природы. Бог снисходит к нему, божественный Ум (Noys) творит совершенную идею человека — синтез добродетелей всех библейских героев — и с этой идеи творится душа совершенного человека. Разумение доставляет ее во дворец Природы, Природа творит тело человека, Согласие соединяет тело с душой, Добродетели одаряют новосозданного, Науки следуют их примеру. Человек создан, но фурия Алекто поднимает против него воинство пороков (следует подробное описание этой рати), начинается война, описанная по образцу Пруденциевой «Психомахии»; каждая Добродетель борется с противоположным ей пороком, одерживает победу, и в мире воцаряется новый «золотой век».

«Антиклавдиан» Алана стал образцом аллегорической поэмы для всего позднего средневековья. Отголоски его мы встречаем и в «Романе о Розе», и в «Божественной комедии». Но не менее интересно творчество Алана Лилльского и стилем его произведений. Стиль его — вершина изысканной вычурности, традиция которой одним концом восходит к античному азианству (и в частности, к Апулею), а другим нисходит к пышному стилю позднейшего барокко. Нагромождение антитез, параллелизмов, созвучных окончаний, оксиморонов (на сплошных оксиморонах — «грех благодати, греха благодать...» — построено описание Любви), катахрез («дабы смрад таких нечистот не достиг многолюдного слуха...»), перифрастических плеоназмов («одно сомнение моего колебания, своим биением смущавшее приют моего ума»), этимологических фигур («в простоте простых слов упрощать излагаемое»), изысканных метафор, превращающихся в игру слов (смелое описание содомии в терминах грамматики и логики) — вот стиль Алана Лилльского, величайшего поэта-ритора XII в.

О БРЕННОМ И НЕПРОЧНОМ ЕСТЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА

1. В мире нашем все творенья
Нам дают отображенье.
Как стекло зеркальное,
Нашей жизни и кончины,
Нашей участи, судьбины,
Верное, печальное.

2. Мы по розе видим ясно
Нашу участь, и прекрасно
Понимаем жизни ход:
Роза утром зацветает,
А под вечер увядает.
Чуя старости приход.

3. Дышит роза благовонно,
Но с рожденья неуклонно
Умирает, побледнев;
И в назначенную пору
Смерть уносит без разбору
Стариков и юных дев.

4. Вешним утром, на рассвете
Жизни нашей, все в расцвете
Розы, нам желанные.
Но, веселый день сменяя,
Сходит вечер, нагоняя
Сумерки туманные.

5. Все красоты неизменны
Быть не могут, ибо тленны
И не тешат долго нас.
Травы сеном, роза дрянью,
Люди прахом станут, данью
Смерти в свой последний час.

6. Наша жизнь есть непременно
Хворь и муки неизменно
И кончина смертная.
Жизнь на смерть и смерть на горе,
День на ночь заменит вскоре
Темень беспросветная.

7. Первой хворь удар наносит
И личину смерти вносит
В наше представление.
Нас к терпенью побуждает
И страданьем приучает
К смерти в заключение.

8. Все законы в этой правде,
Человек, прочти, по правде
Изучив внимательно;
И тогда ты не забудешь,
Чем, рождаясь, стал и будешь,
Рассудив старательно.

9. Плачь о казни, грех преследуй,
Спесь круши, страстям не следуй
Скромно очи опускай.
Кормчий разума и строгий
Вождь ума, с прямой дороги
Сбиться мысли не давай.

ПЛАЧ ПРИРОДЫ

Речь Природы к Алану

...Я та, кто образовала естество человеческое по образу всемирного механизма, дабы в нем, как в зерцале, явилось запечатленным естество всего мироздания. Как четырех стихий разногласное согласие, множественное единство, нескладный склад, противоречивое единодушие связует строение мирового чертога, так и

четырех телесных влаг[1] сходное несходство, равное неравенство, несоответственное соответствие, разобщенное тождество скрепляет постройку человеческого тела. И какие качества между стихиями природы стоят посредниками, такие же и между четырьмя влагами упрочивают мир. И как против рассчитанного кругообращения тверди противодейственным движением воинствует ополчение планет, так и в человеке вечно длится вражда между разумным и чувственным.

Разум в своем движении, преходящем от небесного восхода к земному закату, все небесное в себя вбирает и кругообразно возносит к небу. Чувственность же, напротив того, в планетном своем блуждании не держится тверди разума и порой ниспадает в земной закат. Чувственность заводит человеческий дух на погибель в пропасть пороков; разум же призывает его к восхождению на выси добродетелей. Первая заставляет человека выродиться в зверя, второй указует человеку преобразиться в подобие бога. Первая мраком вожделений рассвет души омрачает; второй светом созерцания потемки души расточает. Первая понуждает человека буйствовать с животными лесными; второй побуждает человека мудрствовать с ангелами небесными. Первая гонит человека из родных его мест в чуждые; второй из чужбины кажет человеку путь на родину...

Внемли еще, как в сем мире, словно в именитом городе, устрояется разумным порядком некая государственная державность. В небесах. как в твердыне града, державно восседает присновечные Державец, от коего на веки вечные издан эдикт[2], да запечатлеваются в книге его провидения ведомости о всех земных единичностях. В воздухе, как в стенах града, услужает ему заместительными услугами небесное ангельское воинство, опекая человека бдительным своим попечением. Человек же, как пришлый жилец, обитает на окраине мира, оказывая ангельскому воинству всяческое повиновение. В этом государстве Богу принадлежит повеление, ангелу совершение, человеку подчинение. Бог человека повелением установляет, ангел человека совершением наставляет, человек себя подчинением восставляет[3]. Бог своею властию все предрасполагает, ангел своим действием сополагает, человек себя к воле действующего ниспoлагает. Бог повелевает властию утверждения, ангел печется действием услужения, человек повинуется в таинстве возрождения. Но полно! слишком далеко забрела уже череда нашего рассуждения, если оно дерзает досягать до неизрекаемой тайны божественности, при постижении коей истощаются вздохи смертной мысли.

Итак, в человеке воссоздано истинное подобие оного благоустроеннейшего государства. В твердыне головы его покоится державная Мудрость, и ей, как богине, повинуются, как полубогини, прочие человеческие способности. Из них та, которая составляет дарование человека и которая объемлет умение логически мыслить и свойство запоминать минувшее, располагается в различных покоях головы человеческой, пылая рвением услужать Мудрости.

В сердце же, как бы в средоточии человека-города, Веледушие воздвигло обитель свою и вершит здесь свою воинственную службу, покорная велениям Мудрости. Чресла же, словно слободы, уделяют окрайную часть тела вожделениям Похоти, которые, не смея противустать велениям Веледушия, повинуются его воле. В таком-то государстве Мудрость приемлет полномочие повелевающего, Веледушие — заботу действующего, Похоть — повадку повинующегося.

Подобно сему являют образ мира и иные части человеческого тела. Как в мироздании благо солнечного тепла целительно для недужных, так и в человеке тепло, исходящее от основания сердца, всем частям человеческого тела сообщает животворящую бодрость. Как в мироздании луна являет собой матерь многих влаг, так и в человеке печень разливает по членам сообразную каждому влагу. И как луна, обманувшись в солнечном свете, меркнет, так и сила печени, обездоленная в живительном содействии сердца, оцепеневает. И как воздух в отсутствие солнца облекается сумраком, так и жизненная сила без благодеяний сердца испускает свое праздное дыхание.

Мало того: всмотрись еще, как протействует [4] мир в пестрой череде времен. Вот резвится весеннее детство, вот наступает летняя юность, вот она доспевает в осенней зрелости, вот седеет в старости зимы. Как в смене времен, так и в возрасте человеческом зрится та же череда. Когда занимается заря человеческой жизни, то весна становится для человека утром; когда возраст мерит жизненное поприще более размашистыми перегонами, тогда человек полуднюет в своем лете; но едва достигает жизнь, катясь по уклону, своего девятого часа [5], человек впадает в зрелую осень; а когда жизнь, клонясь на закат, засветит свою вечернюю звезду, тогда зимний мороз старости убелит человека своими инеями.

Во всем этом несказанным образом сказывается действие моего могущества; но лик этой мощи я предпочла скрыть под покрывалом многих обличий, дабы оборонить таинство от пошлости, дабы сохранить при мне мое знание: неведомое людям, было оно драгоценно, ведомое — стало бы пошлым. О том и простонародная поговорка гласит: «Разглашение — мать презрения»; о том и Аристотелева мудрость трубным гласом вещает: «Кто открывает таинства недостойным, тот величие их умаляет».

Но да не помыслит кто, будто в этом первенстве моего могущества я покушаюсь посягать на могущество Божие! нет, со всею решительностью объявляю, что я лишь низшая ученица высочайшего учителя. В действии своем не в силах я даже след в след ступать действию Божиему, а только взираю на него издали и словно вздыхая. Его действие просто, мое многовидно; его творение совершенно, мое недостаточно; его — нетленно, мое — переменно. Он — нерожденный, я — рождена; он — творящий, я — сотворена; он — создатель, меня создавший, я — создание моего создателя; он созидает из ничего, я побираюсь то от одного, то от другого;

он действует своим именем, я — от его имени; он единым манием повелевает вещи быть, мое же действие есть лишь знак Божеского действия. И как при взгляде на Божескую мощь моя мощь оборачивается немощью, так достаток мой оказывается недостатком, сила моя — убожеством.

Обратись к опоре богословия, ибо крепче ее вера, нежели моих доводов мера. По ее достовернейшему свидетельству, человек моим деянием рождается, Божиим благодеянием возрождается; через меня он от небытия призван к бытию, через него — от бытия к пакибытию; через меня человек рождается к смерти, через него возрождается к жизни. Но от таинства сего второго рождения отрешено достоинство моего служения — таким родам не такая повивательница потребна. Я есмь Природа, но природа оного рождества мне неведома — пред таким понятием понимание мое тупеет, разум мой не разумеет: ибо понимание пониманием переменяется и чувство сверхчувственным смущается.

И поелику в таких предметах природный разум бессилеет, единая твердость веры способна чтить толикое таинство. Дивно ли, что в этом едином богословие родственность свою ко мне не являет, хотя во всем остальном между нами есть разночувствие, но нет противочувствия? Я размеряю разумом веру, она верою разум; я знаю, чтобы веровать, она верует, чтобы знать; я, зная, сочувствую, она, сочувствуя, чувствует; я и зримое еле зрю, она и непостижное постигает в отражении; я и малейшее пониманием еле охватываю, она и безмерное разумом мерит; я животно пресмыкаюсь по земле, она же воинствует в таинницах неба.

И поелику о сказанном рассуждать недоступно моему правомочию, то я затем лишь дозволила воспарить моей речи, чтобы взгляд на превосходнейшее могущество Господа не оставил в тебе сомнений, что мое могущество много менее. Однако хотя в сравнении с Божеским могуществом мое ничтожно, все же в сопоставлении с человеческим оно многосильно. И как в некоем триклинии сравнения [6], мы здесь можем найти три степени мощи, и Божеское могущество назвать превосходным, природное — сравнительным, человеческое — положительным.

Пусть же все мною сказанное, не будучи рассмотрением вопроса, распространит твое обо мне понятие. Проще же говоря, я — Природа, по снисхождению своему сделавшая тебя соучастником моего присутствия и одарившая тебя благом моего собеседования.

Как Алан обратился к Природе

Когда таковыми словами Природа открыла предо мною лик свой, и увещанием своим, словно привратница ключом, отверзла мне двери уразумения, — тогда от пределов моего ума отлетели туманы оцепенения, и тогда под действием увещания сего, как от некоего целебного пития, изрыгнула утроба ума моего, словно в

тошноте, все остатки былых лжевидений. И воротясь из умственного блуждания вновь к самому себе, я вновь повергся перед Природою и на стопах ее приветственно бесчисленные поцелуи напечатлел. Засим, восстав и выпрямясь, но с почтительным наклонением головы, какое подобает перед Божественным величием, я ожившим голосом воздал ей чин здравствования.

Далее же, прибегнув за подмогою к извинениям, стал я просить ее о снисхождении — да не вменит она простоте моего невежества, да не почтет она за негодование моей надменности, да не припишет яду моей неблагодарности то, что при ее явлении не радостную веселость я выказал, но лишь потрясенный, словно при неурочном видении чудовищного призрака, в исступлении, мнимой смерти подобном, оцепенел. Я говорил, что не диво, если пред лицом толикого достоинства тень моей смертности побледнела, если в полудне такого величия лучик моей отдельности склонился и померк в закате, если в лицезрении такого счастия мое ничтожество сгорело от стыда,— ведь и темный мрак невежества, и праздное бессилие восхищения, и нередко сражающее нас оцепенение, все сии сопутники человеческой бренности связаны между собою как бы братственным союзом, и из этого-то дружеского сожительства бренность человеческого естества изымается как бы в учение у некоего Учителя, преобразующего нравы ее общников; но и в постижении нового, и в служении великому ее все еще помрачает невежество, поражает оцепенение, уязвляет восхищение.

И когда таковыми извинениями достиг я, что близость повелительницы стала ко мне благосклонна, а милость ее еще благосклоннее, возникла во мне надежда услышать и нечто большее; и вот поверг я на ее рассмотрение одно сомнение моего колебания, беспокойным своим биением давно смущавшее приют моего ума. Вопрос мой излил я такими словами:

Речь Алана к Природе

Богом рождена, чтоб родить земное.
Ты, о связь всего и устой вселенной,
Перл земных красот, озаренье мира,
Смертных зерцало,

Доблесть, мир, любовь, справедливость, властность,
Строй, закон, предел, вождь, стезя, начало,
Жизнь, сиянье, свет, род, и вид, и образ,
И распорядок!

Ты, взнуздав уздой непокорство мира,
Всей вселенной вязь заплетаешь в крепкий
Узел, сочетав миротворным клеем
Небо и землю;

Ты, как высший ум, породив идеи,
Им кладешь чекан по родам и видам,
В форму вещество облекаешь, формы
Пальцем формуя;

Чтит тебя земля, услужает воздух,
Молится волна, благосклонно небо;
Все к твоей казне притекает с данью,
Мира царица!

День и ночь связав очерёдной цепью,
Дню даришь ты свет, возжигая солнце,
А ночной туман усыпляешь бледным
Лунным зерцалом;

Облекая твердь разнозвездьем светлым,
Ты ведешь в эфир золотые сонмы
Блещущих светил, наполняя небо
Воинством пестрым;

Ты, как бог Протей, изменяешь облик,
Вечно новый вид придавая небу,
Сушь и влагу шлешь по земным просторам
Мерно и строго;

Под твоим кивком молодеет почва,
И кудрявит лес завитки листочков,
И земля горда расписной одеждой,
Шитой цветами;

Ты кладешь предел посяганьям понта,
Гнев морских пучин укрощаешь властно,
Да не возмутят протяженной суши
Буйные воды.

Молви же, молю, и открой причину:
Что тебя с небес привело на землю,
Для каких даров низошла ты к людям,
Странница неба?

Молви: отчего проливаешь слезы,
Что вещает плач, из очей струимый?
Ведомо: слеза есть душевной скорби
Верный глашатай.

Ответ Природы

В ответ на такое обращение дева тотчас показала, что решение моих сомнений у нее наготове и настороже. Она сказала:

— Или ты не ведаешь, что земного пути беспутство, мирского строя неустройство, мирового порядка беспорядок, к справедливости несправедливость понудили меня низвести мои стопы от глубин небесных таинств к низменным блудилищам земли? Если хочешь ты слова мои уловить страстной сетью ума и сохранить в хранилище слуха, то я распутаю лабиринт твоих сомнений.

На сие, притишив голос, воздал я воздаянием такого ответа:

— О владычица небесная, нет у меня страстнейшего желания, нежели голод по разрешению сказанного вопроса.

Разрешение первого вопроса Алана

Тогда она начала:

— Всё в мире по закону своего происхождения подвластно моим уставам, всё мне обязано справедливо установленной данью, и по объявлении податных уложений всё моим указам правомерно подчиняется. Один из всех только человек неурочным исключением изымает себя из этого вселенского распорядка: сбросив покров целомудрия, в продажном своем бесстыдстве блудодействуя в блудилищах, он один не только против госпожи своей дерзает восставать посягательным мятежом, но даже против матери своей пылать яростью внутрисемейного раздора. Все прочие, кому я раздала меньшие дары моей благодати, сообразно с положением и состоянием своим в добровольном повиновении предают себя святости моих уз; и только человек, один исчерпавший едва ли не все казнохранилище моих богатств, естественное естество в противоестественное обратить пытаясь, обрушивает на меня оскорбление в преступной своей Венере.

Внимай же, как по вещанию моего устава все в мире следует предписаниям моих законов, повинуясь врожденному своему разумению. Вся твердь небесная, обращаясь каждодневным обращением, лишь по учению моей науки, а не по пустому однообразию поворотов движется из прежнего своего положения в новое и из нового в прежнее. Звезды, блистающие во славу оной тверди, одевающие ее своим убранством, отмеривают малые меры путей своих и по различным кругам пересекают ее просторы, все о моем же ратуя величии. Планеты, получив от меня указ о расположении, противодействуют своим движением напору тверди и то в своем противотечении странствуют к восходу, то возвращаются к пределам своего заката. Воздух, обученный моей наукой, то привечает смертных ласковым ветерком, то словно сострадает им, проливая из облаков слезы, то прогневится вихрей излишками, то озарится молний вспышками, то сотрясется грома грозным ударом, то воспа-

лится огненным жаром, то оцепенится холодными оковами мороза. Птицы, носящие печать различных пород, правимы моею властию, на веслах крыльев переплывают воздушные струи, сердце свое изливая по моим наставлениям. Влага и суша по вмешательстве моего замысла прилепились друг к другу теснейшими узами приязни, и вода, не смея нарушить клятву сестринской верности, страшится выступить за пределы, отведенные ее разливам, и хлынуть на обители суши. По воле единого моего усмотрения море то буйствует в гневной непогоде, то вновь обращается к мирному покою, то горами возносится в гордыне надмения, то распластывается ровною гладью. Рыбы, обузданные заветом моего предвидения, страшатся посягать на уставы моих правил. Властию моих указаний почва бракосочетается с дождем, соединяясь супружеским объятием, и в неотступных трудах своих о порождении потомства не устает производить многообразные виды сыновних и дочерних пород. И все земнородные, по строгому моему разбору, каждый по-своему служит службу, властью моею от других обязанностей отделенную. Сама земля то седеет зимним инеем, то курчавится кудрями цветов. Лес то покрывается шапкою листвы, то вновь обнажается под стригущим зимним морозом. Зима внедряет в лоно матери-земли семена, погребенные в ней, весна изводит их к свету из заточения, лето спéлит колосья, и осень разверзает изобилие плодов своих.

Но к чему блуждать по мелочам стремлению моего рассказа? Человек, один лишь человек гнушается моей умиротворяющей кифары и безумствует над лирой безумного Орфея. Ибо род человеческий из своей родовитости выродился, в смешении родов одичал, Венериным уставам изменил, в противоестественный сплав переплавился; недолжная любовь сделала его тиресическим[7], и прямую преднаправленность он непорядочно превратил в ее противоположность. Отклонясь невежественно от правописания Венеры, он впадает в софистическое лжеписание; покинув едино-оборачивает. Горько мне, что превосходствами стольких изяществ посягая на меня в своих пытаниях, он буйство свое в кощунство оборачивает. Горько мне, что превосходствами стольких изяществ наградила я людские натуры, а они теперь красу красы своей злоупотреблением обескрашивают, благообразие образа безобразием любви обезображивают, цвет красоты румянами лживой похоти обесцвечивают, чистоту девственности нечистотами порока оскверняют.

К чему было мне украшать боготворной красою лицо Тиндариды, если ее светлую сладость обратила она в блудную гадость, если лежа на царском ложе, обольстилась она Парисовой ложью? Пасифая, обуянная неистовством гиперболической Венеры, в бычьем обличии справила с животным животную свадьбу, и заключив свои желания постыднейшим для себя паралогизмом[8], заключила себя в пленивший быка софизм. Мирра, подстрекаемая стрекалами страсти к отчей усладе, отстав от дочерней любви,

заняла место матери при отце [9]. Медея, родному сыну став мачехой, в поисках недостойной любви расточила плод достойной любви. Нарцисс, почитая отражение свое за второго Нарцисса, призраком пленил свой зрак, в себе второго себя увидел, и несчастья любви его были несчастьями любви к себе.

А теперь и многие другие юноши, по милости моей облаченные в честную красоту, опьяняются влечением к золоту и свои Венерины молоты обращают в Венерины наковальни. Таковое чудовищное падение мужеского пола происходит по всему пространству земного круга, и заразным его прикосновением отравляется самая чистота. Люди эти, изучая Венерину грамматику, иные на себя принимают только мужеский род, иные женский, иные же совмещают в себе обоюдный или смешанный род; есть и такие, род которых переменный, и зимою они склоняются по женскому роду, летом по мужскому, и по обоим склонениям неправильно. Другие из этих людей, споря о Венериной логике, в выводах своих взаиморасположение подлежащего и сказуемого определяют единственно своим усмотрением: иные, заняв место подлежащего, вместо сказуемого познают одно несказуемое; иные, будучи сказуемыми, не желают ведать, законным ли образом подлежит им подлежащее; иные же, гнушаясь вступать в Дионины чертоги, лишь у порога их играют свою достослезную игру.

Против всех этих посягателей восстает справедливость, вооружаются законы, в жажде мечом отомстить свои обиды. Не удивляйся же, что в речах моих звучит неслыханное нечестие, ибо дела этих нечестивцев еще нечестивее в дерзком их буйстве. Речи сии я изрыгаю с отвращением, и для того лишь, чтобы стыдливые люди напоминанием о стыде пристыдились, а бесстыдные люди от блудилищ бесстыдства отвратились. Ибо познание зла есть полезное предостережение, постыдным клеймом греха клеймящее предостереженных и честь воздающее чистым. Что ж? Не сгладил ли напильник моего разъяснения задорины твоего вопроса?

Разрешение второго вопроса Алана

Для того-то и покинула я сокровенные покои горних небесных чертогов, для того и низошла к сей бренности земной, чтобы обо всех предосудительных людских излишествах тебе, как ближнему и доверенному моему, излить мою скорбную жалобу и с тобою порешить, какими карами противустать натиску таких преступлений? ибо разъедающей силе названных прегрешений должна равняться острота воздаяния, дабы возмездие возместилось зуб за зуб.

На сие я произнес:

— О посредница творения! если бы только я не страшился обилием моих вопросов наскучить твоей благосклонности, я хотел бы и другого моего сомнения сумрак повергнуть под луч твоего разъяснения.

Она же на сие:

— Будь так! все, все твои вопросы, и не только созревающие, но и в давней нерешенности заржавевшие, сообщи моему вниманию, дабы порыв твоих сомнений обрел покой в твердости наших разрешений.

Третий вопрос Алана

Я на сие:

— Дивлюсь я, почему, касаясь измышлений поэтов, вооружилась ты стрекалом высказанных тобой обличений против язвы, свирепствующей только в людском роде, между тем как мы читаем, что и боги, сбиваясь со своих путей, хромали тою же стопою? Ведь и Юпитер, перенося ввысь отрока Ганимеда, собственный смысл любви обратил в переносный — кто днем в застолье был пред ним предстоящим, тот ночью на ложе был при нем подлежащим; равно и Вакх с Аполлоном, сонаследники отчей похоти, не по добродетельному божественному велению, но по Венериному цепенящему обольщению обращались в женщин, притворяясь отроками!

Ответ Природы

На сие вещала она, исказив возмущением истинную ясность своего лика:

— Не облекаешь ли ты в обличье вопроса словесное любопытство, недостойное даже казаться мысленным сомнением? Или ты пытаешься верить в темные выдумки поэтов, расписанные усердием их стихотворного ремесла?.. Разве не ведомо тебе, как поэты выставляют пред своими слушателями голую ложь без всякого целительного покрова, чтобы одурманивать медовой сластью завороженные уши внемлющих?..

...Когда поэты вымышляют своих бесчисленных богов, и боги эти у них подставляют ладони под удары Венериной линейки, то в этом лишь блистает их сумрачная ложь и поэты лишь оказываются истинными отродьями своего рода. Бредни Эпикура развеются, безумие Манихея образумится, опровержения Аристотеля опровергнутся, обманы Ария обманутся, между тем как единственность единого Бога и разумом утверждается, и миром возвещается, и в вере открывается, и Писанием свидетельствуется; и Бог сей никакой слабости не доступен, никакого порока заразой не заражаем, никакого искушения волнением не затрагиваем. Он есть свет неугасимый, жизнь неистощимая, смерти не подвластная, источник неиссякаемый, семя, жизненной рассадою мудрое, начало первоначальное, истинного блага истина. И хотя поэты свидетели, что многие злоупотребляют буквальностью таких Венериных понятий, однако ложь и то, что боги существуют, ложь и то, что они скрывались в сени Венерина училища,— на всем этом почиет закатный свет непомерных вымыслов. Вот почему я окутала это сум-

раком моего молчания, а сияние моего истинного повествования устремила на иное.

На сие сказал я:

— Ныне сам я вижу, что от вопроса моего пахло прахом сугубого невежества; но если другой мой убогий вопрос посмеет встретить снисхождение твоего внимания, то попытаю я еще одну попытку.

На сие она:

— Разве я с самого начала не отпустила повода всем твоим вопросам, отбросив сдержку всякой узды?.. [10]

. . . .

Пятый вопрос Алана

— Какое вразумительное разумение, какой нерасчетливый расчет, какой прихотливый произвол так усыпил в человеке искру разума, что он, опьянясь летейскою чашею чувственности, стал апостатом [11] твоих законов? ибо не на твои ли законы он беззаконно восстал?

Разрешение пятого вопроса

Она ответствовала:

— Если воля твоя — познать корень этой постыдной заразы, то выше взметни пламенник ума своего, пусть жадной станет жажда познания твоя, пусть тонкость мысли превозможет над тупостью, пусть поток раздумий застынет, окован вниманием. Ибо высоко лежит начало моей речи, и не обычное русло направляет ее течение. Не стану я, как прежде, в простоте простых слов упрощать излагаемое и новинками доступных речей способствовать доступности доступного,— нет, мне придется бесстыдные предметы скрывать позолотой слов стыдливых и облекать в пестротканность слов пристойных. Ибо должно мне будет золотить словесным пурпуром выгарки означенных пороков, заглушать медоточивым бальзамом зловоние злонравия, дабы смрад таких нечистот, достигая многолюдного слуха, не вызвал бы в слушающих утробное неистовство и рвотную тошноту. И хотя мы некогда уже предвкусили, что как речь наша должна быть родственна предмету, о коем речь, то и безобразие предметов требует сообразного неблагообразия речений,— тем не менее, в последующем моем рассмотрении намерена я чудовищность означенных пороков приосенить мантией витийственного сладкозвучия, да не уязвят слуха читающих катефатические [12] словеса и да не угнездится позорное на сих девических устах.

Я на сие:

— О, сколь рассудка моего голодание, ума моего пылающего изострение, духа моего воспламененного пылание и твердая стойкость моего внимания взывают ко всему, тобой обещанному!

И она вещала:

— Когда Господь восхотел из ложницы идеального своего предпонятия всю рукодельню мирового чертога извести и духовный тот глагол о сотворении мира, от века им в себе носимый, реальным бытием, словно материальным словом, очертить,— тогда, как отменный архитектор мироздания, как златокузнец дивной златокузницы, как дельный издельщик изумительного изделия, как трудотворец великолепного труда, не усильной помощью стороннего орудия, не способствованием предлежащей материи, не понуждением какой-либо недостаточности, но единым повелением произволяющей воли воздвиг Господь дивный образ мирового чертога; и по тому вселенскому чертогу распределив многовидные образы предметов, разрозненные словно некою родовою рознью, он привел их в согласие закономерного порядка, облек законами, связал установлениями и таким-то образом самые взаимопротивные роды предметов, единственно по взаимной противоположности себе места полагавшие, он совокупил в родственном лобызании приязненной совместности, враждебный спор в дружественный мир претворив. Вселенная оковалась тонкими узами незримых связей, и миротворный союз сплотил множественность в единство, разнообразие в тождество, разноголосицу в согласие и в единодушие раздор.

Но после того, как вселенский искусник облек все предметы обличьями их естества и бракосочетал все предметы супружествами законных соответствий, он возжелал, дабы круговоротом рождений и гибелей была дарована бренным вещам в их изменчивости неизменность, в их конечности бесконечность, в их временности вечность, и дабы преемственная преемственность ткала сплошную ткань череды рождений; и посему постановил он, чтобы все, что запечатлено чеканом особенности, порождало подобное от подобного в предустановленной стезе плодительного размножения.

А меня, свою наместницу, определил он чеканить род по роду, дабы я, налагая на все вещи свойственный им чекан, не дозволяла отчеканенному уклоняться от чекана, дабы предуказанный образец оставался образцом для всего, что с него образовано, благодаря мастерскому моему умению, никакого естества дарами не обманываемому. И я, повелению повелевающего повинуясь, стала запечатлевать родственность различнейших вещей, по образу образца образуя образцовое, от производящего производя производное, каждому предмету отчеканивая его облик. Так служила я эту службу по повелению Божественной власти, и длани моего внимания были направляемы десницей вышнего величия, ибо не правь ими перст верховного распорядителя, тотчас бы сбилось со строки перо моего рукописания.

Но так как не под силу мне было отладить такое множество разного рода предметов без помощи услужающего помощника, и так как угодно мне было пребывать в усладительном чертоге тех эфирных пределов, где распри вихрей не нарушают ясного покоя, где нападение ночи не погребает во мраке незакатный эфир-

ный день, где никакие бури не грозятся свирепостью, где никакой гром не нависает в неистовстве,— вот и поставила я моей собственной наместницей в сей нижней окраине мира славную Венеру, несказуемого искусства искусницу, чтобы по указу моих наставлений она с помощным старанием супруга своего Гименея и сына своего Купидона трудилась над многовидными обликами земных пород, чтобы молоты своей кузни чередой прибивала к их наковальням, чтобы преемство рода человеческого вилось неутомимою нитью, возмещая все ущербы от режущих лезвий Парки.

Шестой вопрос Алана

Здесь, когда в этой вязи повествования возникла речь о Купидоне, я рассек незавершенное повествование парентезою [13], перебив его перебоем такого моего вопроса:

— Ха, ха! если бы я не страшился гончими своих вопросов и уроном, наносимым твоей оборванной речи, прогневить твою благосклонность, то хотелось бы мне в картине твоего описания познать естество Купидона, о коем речь твоя пригубила мимолетное упоминание. Ибо хоть и многие сочинители живописали его естество сквозь энигматический [14] покров оного, однако никаких надежных следов они нам по себе не оставили; а между тем в опыте своем мы читаем, что власть его могущества над родом человеческим такова, что никто, будь он запечатлен печатью знатности, будь он облечен изящным преимуществом мудрости, будь он укреплен доспехами мужества, будь он окутан плащом красоты, будь он осенен благодатью любых иных достоинств, но от всеобщности Купидонова господства ничто его не изымет.

Разрешение вопроса

Тогда она с легким движением головы обратила ко мне такие слова, чреватые упреками:

— Знаю, знаю, что ты воинствуешь в лагере Купидона, и некое родственное братство связует вас; оттого ты и стремишься так страстно исследовать его неисследимые лабиринты вместо того, чтобы внимательно внимать моему повествованию, богатствами мыслей обогащающему. И все же, прежде чем взойти моей речи на следующую ступень, снизойду я к твоему человеческому скудоумию и выкорчую сумерки твоего невежества всею малостью моих сил. Ведь узами моего обещания обязана я к разрешению твоих вопросов; поэтому дам тебе описание без описания и определение без определения, покажу пред тобою непоказумое, развяжу неразвязуемое, хотя предмет сей никакими связями природе не крепок, ни к какому посягательству разума не предрасположен и никаких описаний знаками означен быть не может. Это будет описанного

предмета написание, неизъяснимого естества изъяснение, о неведомом уведомление, познаваемого познание, горнилом высокого стиля переплавленное.

Описание Любви

Гнев и покой, надежда и страх, измена и верность,
Ум и безумье в смеси — вот что такое Любовь.
Радость крушения, легкость под бременем, прелесть Харибды,
Несокрушимая лень, всепресыщающий глад,
Трезвая жажда, питательный голод, утеха обмана,
Скорбь с веселым лицом, радость с тоской на душе,
Сладкое зло и злейшая сласть, злосладкая горечь,
Что есть приятней на вид? что есть отвратней на вкус?
Буря прекрасная, ночь лучезарная, свет-омрачитель,
Смерть, которая — жизнь, жизнь, которая — смерть,
Грех благодати, греха благодать, наказанье в веселье,
И благочестье кощунств, и сладострастье злодейств,
Зыбкая твердь и твердая зыбь, бессильная сила,
Взгляду забава на миг, сердцу растрава на век,
Разум без разума, ум без ума, блаженство без счастья,
Смех под потоками слез, в пышущем здравье — недуг,
Ласковый ад, отуманенный рай, отрадный застенок,
В холоде зимнем весна, в зелени вешней зима,
Вгрызшийся в сердце червец, равно обагряющий в пурпур
Царственный гордый наряд и побродяги тряпье.
Не словеса умножать, чудеса умножать чудесами
Хочет и может Любовь: всяк перед нею Протей.
В бешенстве бешеной страсти смиряется бешенство Сциллы,
Благочестивый Эней буен, как оный Нерон,
Блещет клинком Приамид, Тидей трепещет любовью,
Нестор станет юнцом и стариком Меликерт [15],
Краше Париса Терсит, прекраснее Дав Адониса,
Давом стал Адонис и оборванцем Парис,
Крез богатейший в нужде, а Кодр и в нужде изобилен,
Бавий песни поет, муза Марона молчит,
Энний оратором стал, онемел Цицерон, Одиссея
Разум покинул, Аякс в самом безумье умен.
Кто разрешал любых мудрецов любые софизмы,
Попран чудовищем в прах, прочих чудовищ поправ,
Если безумье любви обуяет женскую душу,—
Нет преступлений таких. чтобы ее устрашить!
Дочь — отца, и брата — сестра, и замужняя — мужа
Губит коварной рукой, предупреждая судьбу.
Та в восходящей чреде усекает тело супруга —
Меч похищенный жнет колос его головы.
В страсти родитель забыл, что значит слово родитель,

Мать забыла, родив, муки потуг родовых.
Мачехой сделалась мать для недоуменного сына,
Скрыта любовью вражда, скрыт за приязнью обман.
Как Медею назвать? о ней два имени спорят:
Хочет и матерью быть, хочет и мачехой быть.
Так и Библида, любя, не братской любила любовью,
И не сестрою она Кавну была своему.
Так и Мирра к отцу не под отческой лаской склонилась:
Матерью стала с отцом, предком себе же самой.
Должен ли я продолжать? под всевластным ярмом Купидона
Всякий голову гнет, всякий приносит оброк.
Всем грозит он войной, ни единому нет избавленья,
Всё поражает Любовь гневом и громом своим.
Против нее бессильны и честь, и разум, и ласка,
И многозлатный доход, и многодоблестный род;
Гнев, боль, бред, страх, скорбь, измена, коварство, обманы,
Злоба, насилие, ложь — вот она, свита Любви.
Суд без суда, и мера без меры, и вера без веры —
Вот уставы Любви, высшая слава Любви.
Сладость сулит и горечь дарит и отравою травит —
Лучшим началом начав, худшим кончает концом.
Манит и ранит, смешит и страшит, и жмется и жжется,
Страстью-желаньем томя, страстью-страданьем казнит.
Хочешь покинуть Венеру — покинь пространство и время,
Все времена и места — пастбище жадной Любви.
Гонишь ее? будь гоним! Уловляешь ее? будь уловлен!
Но отойди — отойдет; но убеги — убежит.

Иоанн Сольсберийский

Иоанн Сольсберийский, английский богослов и писатель, родился между 1115 и 1120 г. в южной Англии, в Сольсбери (лат. Saresberia или Severia). В 1136 г., по его собственным словам, «еще совсем молодым» он приезжает в Париж, чтобы учиться. В Париже, этих Афинах средневековой схоластики, и в Шартре, также крупном культурном центре Европы того времени, Иоанн в течение двенадцати лет настойчиво и самозабвенно учится у самых знаменитых ученых: у прославленного Петра Абеляра, преподававшего ему первоосновы логики, Роберта Меленского — ученика Абеляра и учителя будущего канцлера и архиепископа Томаса Бекета, у учеников Бернарда Шартрского — грамматика Вильяма Коншского и теолога Ричарда Епископа, прививших ему любовь к латинским классикам и учению Платона, у английского теолога Роберта Пулла, Альберика Реймсского, Симона из Пуасси др. О годах учения и учителях Иоанн сам обстоятельно рассказывает в «Металогике» (I,5; II,10). Завершив курс учения, он принимает духовный сан и некоторое время служит при папском дворе. Этот период жизни Иоанна нашел отражение в его «Церковной истории».

К себе на родину, в Англию, Иоанн возвращается в 1154 г., чтобы занять должность секретаря главы английской церкви — архиепископа Кентерберийского Теобальда. В назначении Иоанна на этот почетный для него пост известную роль сыграла, по-видимому, протекция Бернарда Клервоского, представившего Иоанна Теобальду на Реймсском соборе в 1148 г. и позднее написавшего для него рекомендательное письмо Теобальду. Как секретарь архиепископа Иоанн участвует в различных дипломатических миссиях и часто бывает во Франции и Италии. После смерти Теобальда в 1161 г., Иоанн продолжает свою деятельность в качестве секретаря нового архиепископа Томаса Бекета, близким другом и советником которого он становится. Он поддерживает Бекета в его борьбе с Генрихом II Плантагенетом, который, проводя политику централизации, пытался ограничить церковные свободы и привилегии. Письма Иоанна тех лет проливают свет на эту борьбу, волновавшую тогда английский мир. Деятельность Иоанна и его сочинения, в том числе «Поликратик», где оправдывалось убийство тирана-правителя, и «Жизнеописание святого Ансельма Кентерберийского», где Иоанн воздает хвалу защитнику церковных привилегий от посягательств английской монархии, вызвали неудовольствие короля, и Иоанн вынужден был покинуть Англию и поселиться во Франции. Его товарищем по ссылке стал Бекет, осужденный как изменник за выступление против королевской судебной реформы. Оба вернулись в Англию в 1170 г. во время

недолгого примирения короля и примаса. В декабре 1170 г. Иоанн стал свидетелем убийства Бекета рыцарями короля в Кентерберийском соборе, после чего король под угрозой отлучения вынужден был отказаться от реформ. Шестью годами позже Иоанн, поддержанный французским королем Людовиком VII, был назначен епископом в Шартр, где и провел оставшиеся четыре года своей жизни.

Из произведений Иоанна наиболее важны «Поликратик» (в восьми книгах) — классический памятник средневековой политической литературы и «Металогик» (в четырех книгах) — не менее знаменитый образец средневековой педагогической литературы. Оба сочинения написаны в 1159 г. («Поликратик» раньше, «Металогик» — позже, о чем свидетельствует пролог к «Металогику» и кн. IV, 12) и посвящены Томасу Бекету.

Тема главной книги Иоанна, «Поликратика», имеющей подзаголовок «О легкомыслии придворных и изысканиях философов»,— искусство управления государством и искусство управления вообще. В соответствии с духом гуманизма XII в. Иоанн Сольсберийский — выразитель теории управления, краеугольным камнем которой является личность правителя, соответствие его характера и морали «божественному закону». Его представление об идеальном государстве, схема его устройства обнаруживает влияние Платона. По этой схеме душой государства является духовенство; головой — король, слуга церкви, сердцем — парламент, глазами, ушами и языком — правители провинций; ногами — земледельцы. Король получает власть от церкви, но если он ослушается закона или перестанет управлять народом, он должен быть низложен.

«Поликратик» состоит из двух частей. В первой (кн. I—IV), где описаны пороки правителей и их окружения, Иоанн выступает как моралист и сатирик; во второй (V—VIII), где даны различные типы философских идей и точек зрения, которыми могут руководить или мудрость или безумие,— как проповедник. Главы, в которых критикуются пороки и безрассудства двора, рассказывают об охоте, играх, музыке, театральных представлениях, магии, снах, предрассудках и т. п.; впрочем, живых примет времени здесь мало, преобладает абстрактное обличение в духе римских сатириков и ранних христианских писателей. Возмущение придворной жизнью Лондона, Парижа и Рима подкрепляется обильными цитатами из Ювенала, Персия, Горация, Марциала, Тертуллиана, Иеронима, Августина и т. д. Но хотя тон Иоанна и не вызывает сомнений в искренности, но не так уж безапелляционно непреклонен в своей оценке описываемых им развлечений. Так, например, осудив главное развлечение знати в средние века — охоту как занятие, порождающее и развивающее жестокость, и подкрепив это осуждение далекими экскурсами в мифологию, Иоанн говорит, что он готов допустить это занятие, но лишь в том случае, если оно не переступает границу умеренности и если при нем чрезмерно не возбуждается дух и не сокрушается разум. Только неумеренность превращает это развлечение, равно как и другие, в грех. Дух умеренности и рассудительности отличает рассуждения Иоанна и по более глубоким философским вопросам, его критику различных философских школ, приходящуюся на вторую часть книги. Обсуждая такие вечные темы философских споров, как всеобщее и частное, предназначение и свободную волю, законы науки и чудеса и т. п., он всегда старается найти средний путь для стремящихся к крайностям. Конечно, во всех этих рассуждениях он выступает скорее просто как эрудит, чем как самостоятельный

мыслитель. Тем не менее заслуживают внимания его попытки применить философию к решению практических задач, выдвигаемых временем.

Второе по значительности произведение Иоанна — «Металогик», один из самых ранних западноевропейских трактатов по педагогике. XII век называют веком рождения этой науки. Именно тогда была расширена и углублена программа изучения грамматики, в которую включалась и словесность и история, а также логика, которая с успехом стала прилагаться к различным областям человеческого знания. Использование логических методов значительно обогатило изучение гуманитарных и естественных наук. «Металогик» Иоанна, который в переводах на новые языки обычно снабжается подзаголовком «Защита тривиума», суммирует и обосновывает содержание курса изучения грамматики, риторики и диалектики, как его тогда преподавали в высших школах Северной Франции. Исследуя ход познания и предостерегая против различных педагогических заблуждений, он защищает применение здоровых психологических методов. В «Металогике» слились воедино аристотелевская и августиновская философия, а доктрина необходимости вечного разума как залога устойчивости сплелась с реальными, современными Иоанну проблемами.

Кроме упомянутых выше сочинений, Иоанн написал «Церковную историю», которая продолжает «Хронографию» Сигеберта и дает историю церкви от Реймсского собора в 1148 г. до 1152 г. Перу Иоанна принадлежат также две философские поэмы в стихах: одна из них, более короткая, представляет собой поэтическое вступление к «Поликратику»; другая излагает историю философии в 1852-х стихах. Кроме того, Иоанн — автор жизнеописаний св. Ансельма Кентерберийского и св. Томаса Кентерберийского. Он оставил также обширное эпистолярное наследие, состоящее из 329 писем и представляющее несомненный интерес для историка. Чистота языка и стиля Иоанна, бравшего, по-видимому, за образец Цицерона, считается образцовой в средневековой европейской литературе.

МЕТАЛОГИК

II,10. О тех, на чьем авторитете держится предыдущее и последующее

Когда я, еще очень молодым, впервые приехал в Галлию учиться — а это было на следующий год после того, как знаменитый король Англии Генрих [1], лев правосудия, отошел от дел мирских,— я прежде всего отправился к перипатетику из Палле [2], всеми обожаемому прославленному ученому, который тогда царил на Холме св. Женевьевы. Там, у его ног, я узнал первоосновы этой науки [3], поглощая с жадностью в полную меру своих ограниченных способностей каждое слово, исходящее из его уст.

Затем, после его отъезда, показавшегося мне слишком скорым, я стал учеником магистра Альберика, который выделялся своей блестящей репутацией среди других диалектиков и был, действительно, самым острым полемистом в школе номиналистов. Так, за почти два полных года, проведенных на Холме, я имел на-

ставниками в этой науке Альберика, а также магистра Роберта из Мелена [4]; последний носил прозвище, полученное им в школе, тогда как по рождению принадлежал к английской нации.

Один из них отличался чрезвычайной дотошностью и всюду находил повод для вопроса. У него даже самая отглаженная поверхность не была полностью свободна от предосудительных неровностей, и, как говорят, даже камыш, по его мнению, не должен был иметь утолщений,— даже у камыша он обнаруживал наросты, нуждающиеся в сглаживании. Второй же, напротив, всегда был готов ответить на любой вопрос. Он никогда не уклонялся уловками от прения по предложенному вопросу и завершал его не раньше, чем доказывал противоположное мнение в споре, или показывал с умышленным риторическим разнообразием, что здесь есть больше, чем один ответ. Таким образом, первый был неутомим и дотошен в вопросах, а второй — проницателен, краток и гибок в ответах. Если бы существовал человек, в котором достоинства того и другого сочетались бы в той мере, в какой каждый из них обладал ими в отдельности, невозможно было бы найти ему равного в споре. В самом деле, оба имели проницательный ум и были настойчивы в науке; и я уверен, что каждый из них выдвинулся бы как великий и знаменитый исследователь натуры, если бы опирался на широкое научное основание и не только радовался собственным открытиям, но и помнил о сделанном предшественниками. Так обстояло дело, когда я был их учеником. Затем один из них уехал в Бононию [5], где и позабыл то, чему когда-то учил: вернувшись, он скорее отучал, чем обучал. Но пусть лучше судят о нем те, кто слушал его до отъезда и после возвращения. Второй же стал знатоком Священного писания, но еще большей славы и громкого имени достиг в философии.

После двух полных лет работы я настолько привык к определенным темам, правилам и другим первоначалам науки, которыми педагоги пичкают обычно юные души — а упомянутые выше учителя были в этом деле искуснейшими мастерами,— что мне уже казалось, будто я знал все это, как свои пять пальцев. Ибо я изучил предмет настолько основательно, что с юношеским легкомыслием преувеличивал свои знания. Я мнил себя маленьким мудрецом, потому что знал ответы на все, чему меня учили.

Наконец, придя в себя и взвесив свои силы, я, с одобрения своих наставников, перешел к грамматику из Конша [6], у которого учился в течение трех лет. Тогда я много прочел и никогда не буду жалеть об этом времяпрепровождении. Вслед за тем я стал учеником Ричарда по прозванию «Епископ», человека, сведущего почти во всех науках. Но, к сожалению, на уме у него было больше, чем на языке, а знания превосходили умение их подать, честность его была сильней его тщеславия, а истинных достоинств больше, чем показных. С Ричардом я повторил все, что учил с другими, а также выучил кое-что новое из квадривия, к которому в известной мере был уже подготовлен Хардевином Германцем.

Я повторил также риторику, которую немного слушал раньше вместе с некоторыми другими предметами у магистра Теодорика [7], но в которой, как и в них, разбирался слабо; позднее я изучил ее более полно с Петром Гелием.

Тем временем я принял к себе учеников из детей знати, которые в уплату за уроки обеспечивали мое пропитание, ибо я был лишен помощи родных и друзей, и Бог, при моей бедности, доставлял мне это утешение. Обязанности учителя и настойчивые вопросы юношей все чаще понуждали меня вызывать в памяти то, что я когда-то учил. В результате я прибегнул к помощи магистра Адама [8], с которым у меня завязалась добрая близость. Адам был человеком острого ума и, что бы там ни думали другие, широкой образованности, особенно преданный изучению Аристотеля. Несмотря на то, что я не был его учеником, он милостиво делился со мной своими знаниями и очень ясно излагал их мне, хотя обычно для чужих учеников он либо вообще не делал этого, либо делал очень редко. Полагали, что он страдает болезненной ревностью.

Тем временем я изучил начальные правила логики у Вильгельма Суассонского, который позднее, по словам его последователей, изобрел прием, опрокинувший старую логику, так как позволил строить неожиданные заключения и разрушать устоявшиеся положения древних. После занятий с Вильгельмом я направил его к упомянутому выше учителю. По-видимому, там он и узнал, что из двух противоречащих друг другу положений можно сделать один и тот же вывод, хотя Аристотель и учил иначе, говоря, что если есть противоречие, то нет необходимости, чтобы за ним было единство, а если есть единство, то нет необходимости, чтобы было противоречие,— ибо ни из противоречия ничто не возникает, ни противоречие не может возникнуть из чего-либо.

Стесненность в средствах, просьбы коллег и советы друзей вынудили меня взять на себя обязанности учителя, и я подчинился. Лишь к концу третьего года, вернувшись в Париж, я разыскал магистра Гильберта [9] и стал его учеником в диалектике и теологии. Но очень скоро он нас покинул и его сменил Роберт Пулл [10], равно прославленный и своим добродетельным образом жизни, и своими знаниями; а затем меня взял к себе в ученики Симон из Пуасси, хороший лектор, но плохой полемист [11]. Двое последних были моими наставниками только в теологии.

Так, в занятиях различными науками промелькнули у меня почти двенадцать лет [12]. И тогда мне показалось, что было бы приятно повидать старых товарищей, с которыми я давно расстался и которых диалектика все еще удерживала на Холме св. Женевьевы. Я хотел встретиться с ними, чтобы обсудить те вопросы, которые прежде казались нам неясными, и оценить наши успехи обоюдным сравнением. И вот я нашел их точно такими же и на том же самом месте, где они и были, когда я их оставил. Оказалось, что они ни на пядь не продвинулись вперед и не добавили ни одного даже самого малого довода к разъяснению прежних вопросов. Они

по-прежнему сидели над теми же темами, которыми они пользовались, чтобы расшевелить своих учеников, и преуспели лишь в одном: разучились соблюдать меру и забыли о сдержанности. И это до такой степени, что мысль о возмещении утраченного ими могла вызвать только отчаяние. Таким образом, я на опыте убедился в том, что и без того можно было предполагать: если диалектика облегчает изучение других наук, то, оставшись наедине с собой, она становится бессильной и бесплодной. Ибо если нужно оплодотворить душу для того, чтобы принести плоды философии, она должна зачать извне.

ПОЛИКРАТИК

О ЗАБАВАХ ПРИДВОРНЫХ И ПУТЯХ, УКАЗЫВАЕМЫХ ФИЛОСОФАМИ

I.4. Об охоте, ее происхождении, ее видах и практике, допустимой и недопустимой

Фиванцы первые, если верить истории, решили, что о ней нужно сообщить всем. В частности, это они составили правила этого промысла или, вернее, этого зла, отчего все стали смотреть на них с подозрением как на народ, опозоренный отцеубийствами, оскверненный кровосмешением, отмеченный печатью лжи и вероломства. Свои правила они передали затем народу изнеженному и слабосильному, ветреному и нескромному — я говорю о фригийцах. Фиванцы не были в чести у афинян и спартанцев, народов достойных, у которых тайны природы и таинства обычаев облачены были в нарядный покров исторических и баснословных деяний; эти сказки к тому же служили полезной цели, предостерегая от пороков и доставляя наслаждение своей поэтической прелестью.

Так, они рассказывают об охотнике-дарданце, который был похищен орлом на небо [1], где сначала служил Юпитеру как виночерпий, а потом для недозволенных и неестественных любовных ласк. И это совершенно естественно, поскольку крылатым созданиям присуща ветренность, а наслаждение, не знающее умеренности, не краснеет, предаваясь похоти с кем попало.

Фиванский вождь, увидев обнаженной ту, которую привык почитать в лесах, стал исправлять ошибку, вызванную страстью, и остолбенел, найдя себя превращенным в животное, хотя и сохранившим человеческие ощущения. Когда, уже в облике оленя, он попытался голосом и взглядом прогнать прочь своих собственных собак, то был разорван на куски их клыками — печальный итог той порочной выучки, которую он же им дал! Может быть, народ предпочел сделать покровительницей охоты саму богиню, чтобы

даже богов своих запятнать причастностью к этой слабости или даже пороку? Венера, сама отважная охотница, оплакивает Адониса, погибшего от клыков вепря. Пока Марон рассказывал с улыбкой о гостеприимстве старого Карфагена, он не знал, как соединить влюбленных; только после гибели спутников Одиссея на охоте, он открыл им тайны лесной пещеры [2],— не потому ли, что подобное занятие из-за его греховности должно избегать света, тогда как радость законного брака, напротив, освещается огнем факелов Гименея?

Назовите мне имя выдающегося человека, который был бы любителем этого вида удовольствия? Героический сын Алкея, когда «медноногую лань преследовал он, Эриманфа рощи умиротворил» [3], то искал не собственного удовольствия, а всеобщего блага. Мелеагр убил вепря, опустошавшего Калидон, не для того, чтобы усладить себе душу удовольствием, но чтобы освободить родину от врага. Основатель рода римского повалил наземь семь огромных оленей не ради пустого удовольствия, но чтобы сохранить жизнь себе и своим спутникам. Каждому действию придает окраску его цель и результат: ведь дело почетно, если причина уважительна.

Однако кто из великих собирал целое войско из людей и собак, чтобы с помощью не столько своей, сколько чужой доблести сразиться с животными? А почему бы и нет? А вдруг он, так мощно снаряженный, убьет несчастного робкого маленького зайчонка? Если же его охотничий труд увенчается вдруг более славной добычей — оленем или, может быть, вепрем,— то раздается взрыв рукоплесканий, охотники вне себя от радости, голову жертвы и другие трофеи несут перед торжествующим победителем, и можно подумать. что в плен захвачен по крайней мере царь каппадокийцев, с такой силой горнисты и флейтисты славят победу. Мрачное же молчание возвещает, что убито животное женского рода или что добыча взята скорее хитростью охотников и капканами, чем их доблестью. Если же жертвой падет дикий козел или заяц, то это событие считается недостойным триумфа. Кроме того, ликующие звуки рога и флейты молчат все время от 8-го градуса Козерога до самых Близнецов [4]. Исключение составляет лишь тот случай, когда добычей станет волк или более страшный враг — например, лев, тигр или барс. Но такое событие, благодарение Богу, редко у нас.

Несмотря на это, большая часть года занята различными интересами охоты. У албанцев же в Азии есть собаки, которые сильнее львов; благодаря храбрости собак и своему охотничьему умению албанцы боятся львов не больше, чем самых робких зверьков. Ибо ни одно из диких животных не сравнится в силе и отваге с этими собаками. Их завез из Италии в Азию после победы над трехголовым чудовищем Герионом Геркулес, передав им силу, одолевавшую львов. К тому же эта бойня требует искусства и творит искусство; она имеет и своего творца, который «прыгает

как акробат, и ножом работает спешно»[5]. Он чудодействует то узким кинжалом, то притупившимся охотничьим ножом, и нельзя не поражаться ему, если выпадет случай присутствовать при этом священном обряде. Однако будь осторожен, не ошибись как-нибудь, разговаривая с ними на их охотничьем языке; так как тебя или будут порицать, или объявят полным невеждой, если ты не будешь знать всех их выдумок.

В наше время знание образуется из занятий благородными науками; это оно закладывает основы нравственности, указывает кратчайшие пути к высшему блаженству, которого, как учили наши предки, можно достичь лишь восхождением по трудному пути добродетели.

Галлы смеются над жителями Иллирии и Лигурии, утверждая, будто они составляют завещания, созывают соседей, умоляют о вооруженной защите, если их границам угрожает черепаха, которую нужно отогнать. Это мнение о них составилось из признания того, что никогда никакое нападение не застигнет их неподготовленными. Каким же образом наш народ до сих пор избежал осмеяния, если он с еще бо́льшим шумом, более мучительными волнениями и не считаясь с крупными расходами время от времени объявляет настоящую войну диким животным?! При этом с меньшей жестокостью преследуются те животные, которых человеческий род справедливо считает злейшими своими врагами. Волк, лиса, медведь и другие дикие животные оставлены в покое, в то время как прочих безжалостно убивают, не боясь, на глазах у ловчих. Ганнибал, говорят, убил римлянина, который по его приказанию в единоборстве умертвил слона. При этом он утверждал, что тот был недостоин жизни, раз его можно было заставить убить животное. Но, вернее всего, он сделал это из зависти, не желая, чтобы пленник воспользовался славой редкого триумфа и опозорил животных, с помощью которых он, Ганнибал, внушал страх народам. Почему же тогда достоин жизни тот, кто не знает в жизни ничего другого, кроме суетного занятия свирепствовать против животных?!

Любители другого вида охоты, в котором птицы преследуют птиц,— если только считать, что этот род птицеловства тоже нужно включить в понятие охоты,— страдают умеренным безумием, но не меньшим легкомыслием. Вообще же охота, как на земле, так и на небе, вызывает тем больше доверия, чем больше она приносит пользы. По древним басням, сокольники называют чиноначальником своих охот Улисса, который после гибели Трои привез в Грецию птиц, вооруженных бронзовыми шпорами. Он учил их нападать на близких им по роду пернатых к удивлению и удовольствию зрителей. Эти птицы, конечно, были выбраны знатоком, который «многих людей, города и обычаи в странствиях видел»[6]. Его предусмотрительности не могли помешать никакие козни, никто из врагов не выскользнул невредимым из его ловушки и, наконец, он, безоружный, поднял славу Греции выше, чем вооружен-

ный люд с тысячи кораблей. Но и сам он хвалит изобретательницу этого искусства Кирку, которая, как говорят, заклинаниями и питьем воздействовала на человеческие умы; искусными словами и приятным обращением она завлекала мужчин с тем, чтобы потом, подчинив их своей воле, использовать для своих целей. Таким образом, ядовитая чаша запретного удовольствия перешла к грекам. Но благоразумный житель Итаки, пригубив ее, пить не стал, боясь, как бы ему не пришлось потом вести неразумную и позорную жизнь под властью блудницы. И так как он был умудрен опытом во всяких делах, то уже предусмотрел, каким образом он, после тягостных своих скитаний, узнанный верной Пенелопой и милым Телемахом, возместит Греции потерю своих спутников, которых она лишилась из-за их долгого изгнания. Достойна восхищения верность собаки, так как из всех домочадцев только у нее бег времени в двадцать лет не унес память о хозяине, и она радостно приветствовала его по возвращении. Но недаром Улисс распорядился, чтобы сын его Телемах не участвовал в новом виде развлечений, говоря, что он привез его только в утешение тем, кто, потеряв отцов, чувствовал тяготы Троянской войны. Отсюда я заключаю, что наука охоты бесполезна, если человек такого мужества не захотел передать ее своему единственному сыну. Кроме того, ты можешь вместе со мной заключить, что низший род сильнее в охоте на птиц; ты мог бы вследствие этого порицать природу, если бы не знал, что низшие существа вообще более склонны к разбою.

В самом деле, охота — это пустое и тяжкое занятие. Убытки от затрат на нее никогда не восполняются прибылью от ее успеха,— хотя, может быть, большинство мужчин занимается охотой затем, чтобы под ее прикрытием сократить расходы, реже обедая дома и чаще — за чужим столом. Они держатся вдали от людных мест, блуждают по лесам, полянам, вокруг озер, одетые в жалкое тряпье, довольствуясь подножным кормом, лишь бы этим пустым удовольствием, вернее видимостью удовольствия, доставить единственное утешение родственникам и приближенным, которых истощает постоянный голод, унижают муки бедности, изнуряет бесконечный труд.

Первое грехопадение Афин произошло в тот момент, когда они вынесли решение о том, что закон, запрещающий охоту, отменяется и что искусство охоты на птиц и зверей признается государством и вводится в практику. Говорят, пророк из Мантуи [7] спросил Марцелла, когда последний со страстью предавался опустошительной игре с птицами, предпочитает ли он, чтобы птица была обучена для охоты на птиц, или чтобы она была научена истреблять мух? Марцелл обратился с этим вопросом к Августу и, по совету последнего, выбрал птицу, которая бы изгнала мух из Неаполя и освободила бы государство от неизлечимой заразы; и желание это было исполнено. Отсюда явствует, что общественное благо должно брать верх над личным удовольствием.

Если верить грекам, в пещере кентавра Хирона Ахилл выучился играть на лире и кифаре. А затем он был взят в лес и среди избиения диких животных, привыкнув к убийству и потреблению омерзительной пищи, потерял естественный трепет и страх перед смертью. Разве мы не говорили, что Вакх имеет того же наставника? В самом деле, те, кто имеет подобные склонности и желания, — полуживотные. Они потеряли свои лучшие качества, свою человечность и в поведении уподобили себя чудовищам. От легкомыслия — к непристойности, от непристойности — к похоти и, наконец, когда чувства у них притупились, они оказались втянутыми во все виды бесчестия и беззакония. Отдых желанен после труда. Развлечения более приятны, если им предшествуют лишения. Истощившиеся тела восстанавливают себя с величайшей жадностью. По сей день от охотников разит выучкой Кентавра. Редко среди них можно найти человека скромного или достойного, не теряющего самообладания и никогда нельзя найти воздержанного. Этими чертами их с избытком наделили в доме Хирона. Отсюда совет — избегать празднеств Кентавра, с которых никто не уходит невредимым.

Но если можно не верить историям, которые поэты извращают своими вымыслами, то нельзя не верить историям, написанным рукою Господней и неоспоримым в доверии всех народов. Первым должен быть назван Нимрод, отважный зверолов перед Господом Богом (Бытие, 10,9). Мы не сомневаемся, что он имел дурную славу и все знающие порицали его. Установлено, что он достиг такой гордыни, что не боялся презирать законы природы, ибо он поработил те из ее установлений и видов, которые она создала свободными и равноправными. Поэтому тирания, утвержденная охотником наперекор создателю, находит свой единственный источник в тех, кто среди избиения животных, барахтаясь в крови, учится чувствовать презрение к Господу. Нимрод начал быть силен на земле, потому и было написано, что он не ждал получить силу от Господа. Началом его правления был Вавилон, и простерлось оно в земле Сеннаар, где, когда вся земля была один язык и одно наречие, он воздвиг башню Вавилонскую до небес. Она была построена не из камня, а из кирпича, скрепленного земляною смолой, и не на каменном основании, на каком у Господа стоит всякое здание. Постыдное неблагоразумие, нарушив гармонию, разрушило единый язык и вызвало тот беспорядок, который затем последовал, ибо Нимрод предпочел славить себя больше, чем Господа. Отсюда изречение: словно Нимрод, сильный зверолов перед Господом. Не потому ли, что был он так надут спесью, урок недавнего потопа не научил его умерять высокомерие в глазах Господа и не требовать вызывающе, чтобы ему покорствовали, как подобает покорствовать только Богу; так как известно, что потоп предшествовал смешению языков. Вавилон, действительно, опьянил всю землю своей золотой чашей. Он разбил свой стан, обреченный на неизбежное разрушение, рядом с Иерусали-

мом, который находится выше, и те, которые служили там, были осуждены вечным проклятием святых.

Исав[8] тоже занимался охотой так, что даже лишился из-за нее отцовского благословения. В лесу он проголодался настолько, что, не справившись с голодом, продал свое право первородства за ничтожную цену — кушанье из чечевицы. Он передал своим потомкам ярмо добровольного рабства, и они гнули свои шеи перед его младшим братом, который оставался дома. Руки Исавовы были густо покрыты волосами; был он неотесан и груб, а так как он непрерывно был занят охотой, то он оставлял дома дорогую одежду, а вместе с нею — и видимость добродетели. Он жаждал крови своего брата, однако, задобренный подарками, не стыдился лести того, кому, как он знал, Божеской милостью было отдано предпочтение в отцовском благословении.

Охотники хвастают, что изобретателем соколиной ловли был Маккавей, хотя вообще следует полагать, что, занятый более серьезными делами, он прожил свою жизнь без этого развлечения. Он успешно вел войны, возвращал своим братьям свободу, улучшал законы, обновлял обряды, очищал святые места, украшал золотыми венками те храмы, откуда, как он верил, пришла к нему победа. И ни в одно из его действий «не проникло вовек, чтобы тешить себя, сластолюбие» [9]. Наконец он пал в битве, защищая своих братьев и завещав им в наследство справедливую войну. Вы, кому природа с ранних лет предписала разумное правление, вглядитесь в патриархов, затем перейдите к вождям, исследуйте судей, ступайте дальше вплоть до царей, внимательно прочтите длинный ряд книг пророков Ветхого Завета, изучите обязанности и занятия благочестивого народа; читали ли вы в древних свидетельствах о ком-нибудь, кто был бы по призванию своему охотником? Без сомнения, охотой занимались идумеи, исмаилиты и другие народы, которые не знали Господа. «Где князья народов... забавлявшиеся птицами небесными?» [10] — спрашивает пророк, или, если ты так предпочитаешь думать, писец пророка. Здесь пророк словно подумал, но не сказал, что те, чья жизнь только забава, исчезают вместе со своими птицами; но добавил много слов о том, что они уже давно исчезли в аду.

Спроси своих родителей, и они ответят тебе, твои предки, что они никогда не слышали о святом — охотнике. И не слишком обольщайся тем, что Плацида, или иначе Евстахия, славного мученика, Бог посетил во время охоты, как ты уверяешь, ссылаясь на сочинение благочестивое, но не каноническое. Это было бы так же глупо, как славословить безумства преследователей церкви по той причине, что бывший среди них Павел, призванный затем к апостольству, наряду с другими стал одним из выдающихся проповедников Евангелия. И даже если были знаменитые люди, любившие охоту,— Александр, может быть, или Цезарь,— то вы никогда не найдете философа или просто мудрого человека среди этого народа. Разве были охотниками Сократ, Платон, Аристотель,

Сенека, Соран или тот Архит[11] из Тарента, который прославился чудесами не только в собственном городе, но и во всем мире, приковав к себе восхищенное внимание всех? Равным образом и обратившись к тем из наших отцов церкви, кто выделяется и истиною учения, и примером добродетели, и весом веры, мы не можем сказать, чтобы Августин, Иероним, Лаврентий, Винцент или еще кто-нибудь из этих людей был одержим безумной манией охоты.

Печальные примеры нашего времени также научили нас остерегаться этого рода беспокойной деятельности, так как Божеский гнев не раз настигал нашу знать во время охоты. Ибо тот, кто жил, пока мог, как зверь, часто и умирает, как зверь. Рука Господа не пощадила и самих королей, нанеся им за их дурные наклонности заслуженный удар и достойнее наказание. Мы обходим молчанием имена и обстоятельства не из-за того, что их недостает,— скорее, их слишком много,— но для того, чтобы не причинять чрезмерной боли израненным сердцам оплакивающих, бередя еще свежие раны. И впрямь, перед нами множество таких примеров.

Некоторые, охваченные этой суетной страстью, дошли до такого крайнего безумия, что стали врагами природы. Забыв свое человеческое призвание и презрев суд Божий, они совершают насилие над дикими животными, подвергая образ Божий изощренным пыткам. Для защиты животного они не побоялись погубить и человека, искупленного кровью единородного сына Господня. Диких животных, которые суть часть природы и становятся законной собственностью тех, кто их добыл, дерзкий человек осмеливается присваивать себе даже под неусыпным Господним оком. И он отстаивает свое право над всеми, где бы они ни существовали, так, словно вся вселенная была бы у него в ловушке. И это особенно удивительно, так как их же указы часто называют преступлением устройство силков для птиц, использование арканов, заманивание их звуками или свистом и применение каких бы то ни было ловушек. А наказание за это — отобрание имущества, лишение члена или даже жизни. Ты ведь сам слышал, как было сказано, что птицы небесные и рыбы морские принадлежат всем, но те, которые требуются для охоты, где бы они ни летали, принадлежат королевской казне.

Земледельцы опасаются идти на свои поля, пока там на свободе бродят дикие животные. Чтобы расширить для них выгон, земледельцев лишили их посевных земель, у съемщиков отняли участки, у овец и рогатого скота — пастбища. Пчелиные ульи были выброшены с цветущих лугов, самих же пчел пустили летать на свободе. Ты прав, говоря, что хотя овод и другие летучие твари изводят не диких зверей, а любимцев власти, те со всей своей властью не могут от них избавиться: даже комар, вооруженный против человека, направляет свое острое жало и против зверей. Так что, если бы ты был здесь, ты был бы вынужден платить выкуп за посевы, или терять их год за годом. Попробуй выбрать, ка-

кое из справедливейших прав гражданина тебе предпочесть — имущество или жизнь, и ты рискуешь потерять и то, и другое. Если какой-нибудь охотник поскачет через твои владения, то незамедлительно и с полным уважением предложи ему все, что у тебя есть дома, и купи ему то, чего у тебя нет, но есть у соседа, не то он отнимет у тебя это сам по собственному указу с твоего позволения или без него, да еще без всякого уважения и почтительности привлечет тебя к ответу за государственную измену перед судом сотни, перед шерифом, перед наместником или даже перед королевским судьей. Ибо казна обогащается, в то время как семья вынуждена брать в долг, чтобы выполнить свои обязательства как можно лучше.

Но не думайте, что я преследую своим пером охоту и другие развлечения придворных не столько из здравомыслия, сколько из ненависти; я охотно бы согласился считать ее среди вещей безразличных, если бы неумеренное увлечение ею не расшатывало так человеческий ум, не подрывало основы разума. Однако не следует по этой причине вообще осуждать охоту. Вино опьяняет, но опьянение это — ошибка того, кто пьет. И старик часто выказывает младенческий разум, причиной которого не возраст, а недостатки характера. Итак, охота может быть полезным и почетным занятием. Все зависит от места, времени, чувства меры, личности охотника и его цели, потому что именно человек придает делу красоту, когда он следует стезею, ему назначенной, и не нарушает права других. Каждому человеку больше всего подобает то дело, которое находится в полном согласии с его долгом. Прекрасно сказал об этом философ, определяя приличествующее каждому поведение: «Самое подходящее для каждого то, что больше всего соответствует его нраву»[12]. Но как же в таком случае мне или тебе отнестись к занятию охотой? Ведь пренебречь своим делом и увлечься чужим есть величайший позор. И зачем же мужу, который столь блистает способностями на общественной службе, посвящать себя частному и даже, можно сказать, грубому занятию?!

Народ должен следовать за своим вождем, учитель — сеять знания, судья — наказывать провинившихся, власть — оделять своей милостью усердных тружеников. Простые люди должны заниматься своим скромным делом; у знатных людей должна быть более дорогая, а у рабов — более дешевая цена. «То, что позорно для честных — для Тития, Сея,— Криспину будет как будто к лицу»[13]. В самом деле, тело имеет много членов, но у каждого из них — разное применение. Каждый выполняет только то, что ему предназначено. И почему, не уступая охотнику своих прав, притязаешь ты на его права? В самом деле, почему бы охотнику не пристало домогаться королевского или папского трона? Ведь право же, гораздо позорнее соскользнуть с одной из этих вершин к кровавому и грязному ремеслу охотника. Врожденная любовь к добродетели всегда способствует возвышению, тогда как порочные склонности по природе своей тянут вниз. Намерение

может оправдать поступок, если он основывается на необходимости, совершается для пользы дела и отличается честностью, так как именно намерение придает окраску всему делу. «Ибо дело твое,— говорит мудрец,— отличается от других твоим к нему отношением». Нет греха в том, что Исав по поручению отца своего отправился на охоту; он сделал это, чтоб утолить отцовский голод и получить обещанное благословение в награду за послушание. Ибо если это дело могло быть сделано без греха, такой патриарх не послал бы на него своего сына, которого он своим благословением хотел поставить во главе народов. Погубило Исава, конечно, промедление, поскольку, занявшись дозволенным делом, он медлил дольше дозволенного из-за дурной привычки и неумеренной любви к охоте. Однако нисколько не виновен тот, кто, вынуждаемый острой необходимостью, должен поддерживать свою жизнь, не нарушая законного порядка.

Тот, кто избегает бездействия и готовит себя для деятельной жизни, приучая свое тело к лишениям и избегая порочной расслабленности, кто сохраняет свое достоинство во всех положениях, неуязвим для укоров. В самом деле, действие становится преступным не само по себе, но по своему намерению. Славна не показная добродетель, начало которой — в наслаждении, ибо наслаждение — мачеха добродетели. Я не говорю о наслаждении, которое доставляет нам мир, долготерпение, благость, воздержание, радость во Духе Святом,— я говорю о наслаждении, которое дружит с застольем, пирами, возлияниями, пением и танцами, излишествами роскоши и разными видами разврата, которое расслабляет даже сильные души и как бы в насмешку над природой делает мужчин развращеннее и слабее женщин. Так же и обстоятельства смягчают вину охоты или даже вовсе оправдывают это занятие. И если такие обстоятельсгва имеются, а в большинстве случаев они имеются, тогда и охота становится приемлемой. Неуместною же становится охота лишь тогда, когда она несогласна с религиозной службой, с естественным порядком вещей, обязанностями долга или предпочтена перед другими занятиями. Но достаточно об этом! Мы ведь не ставили себе цель писать трактат об охоте, а хотели лишь порассуждать о развлечениях придворных.

Но и размышлению здесь должно быть место. Ибо охота, где бы она ни происходила, на своей ли, на общественной или на государственной земле, не должна наносить ущерба обществу. Нужно следить, чтобы место охоты не было бы освобождено от подобных беспокойств по причине его святости или известности. Тот же, кто дерзко нарушает границы, попадает в сети закона и наказывается. Занятие это, однако, похвально, когда охотник действует разумно и умеренно, и, даже если это возможно, с пользой, согласно совету комика: «ничего сверх меры». Ведь в самом деле:

Имя безумца — мудрец и неправого — правый получит,
Если уже чересчур добродетели будет искать он [14].

Ведь нет ничего нелепее, чем публично выставить себя на посмешище, с завидным упорством предаваясь занятию, в котором ничего не смыслишь; это все равно, что пытаться шутить на языке, которого совсем не знаешь.

Есть, правда, люди, которые навсегда отказались не только от охоты, но и от некоторых других, еще более несерьезных и легкомысленных занятий; это, например, те, кто принадлежит к святым орденам или занимает высокие судебные должности. Ибо то, что для одних будет лишь незначительной ошибкой, для этих последних обратится в непростительный грех. Конечно, всегда более весомы соображения, которые нарушают согласие изнутри, чем те, которые препятствуют его заключению. К тому же, занятие охотой не только препятствует церковнослужителю достичь высокой должности в святом ордене, но и отнимает ее у того, кто ее уже достиг. Прекрасно, как и о многом другом, сказал об этом Фемистокл: «Должностным лицам должны быть запрещены публичные игры и другие легкомысленные поступки, чтобы государство не выглядело пустым и не выставляло напоказ свои недостатки с ущербом для своего достоинства». Если, однако, это случалось с нашими предками — ведь и они, хоть и редко, занимались охотою в молодые годы,— то допускали они это отступление от привычного достойного поведения по снисхождению к юности и были к себе терпимы, потому что, достигнув зрелого возраста, они своей службой отплачивали свой долг государству. Таковы эти слова. Пусть услышат их наши государственные мужи,— и тогда, достигнув зрелого возраста, они предпочтут важные государственные дела своим развлечениям. Государство всем строем своим почувствует свежий прилив сил, вид совершенной гармонии придаст ему особое очарование, и оно достигнет совершенства высочайшей красоты, если «каждая вещь займет природой ей данное место» [15] и если будет не смешение обязанностей, а их разумное распределение. Этого результата можно достичь, если мы последуем за наилучшим нашим вожатым — природой. Но теперь, так как «дело врачей — врачевание, ремеслом — ремесленник только и занят» [16], то и государственная служба пусть отделит себя от охоты и от других низких и греховных занятий. А человек, опрометчивый в личных делах и несведущий в науках, пусть остережется вмешиваться в управление государством.

Гвиберт Ножанский

Гвиберт Ножанский интересен и как историограф первого крестового похода, отличающийся наиболее критическим отношением к источникам и рационалистической оценкой событий, и как автор сочинения мемуарного характера, представляющего весьма любопытный образец средневековой автобиографии.

Биографические сведения о нем почерпнуты из его же сочинения «О своей жизни». Родился Гвиберт в 1053 г. в знатной и богатой семье в Клермонте (Северная Франция). С самого детства обучался грамматике, в 12 лет был отдан в монастырь, в библиотеке которого познакомился с классической, исторической и поэтической литературой, увлекся Овидием и Вергилием и подражал им, сочиняя поэмы эротического содержания. Позднее он обучался у Ансельма, комментировал Священное писание, читал Григория и Августина, чья «Исповедь» и послужила ему образцом для составления собственных мемуаров. В 1104 г. он занял должность аббата в монастыре св. Марии в Ножане, близ города Лана. Умер он в 1121 г.

Из сочинений Гвиберта главные: «Деяния Бога через франков» в семи книгах («Gesta Dei per Francos), посвященное первому крестовому походу на Иерусалим в 1095—1100 гг., «О своей жизни» («De vita sua») в трех книгах, составленное в 1114—1117 г., мемуарного характера. Сохранилось несколько грамматических и теологических сочинений, из поэтических — одна секвенция.

В «Деяниях Бога через франков» Гвиберт излагает историю первого крестового похода, начиная повествование с Клермонтского собора (в 1095 г.) и кончая его взятием крестоносцами Иерусалима и началом царствования Балдуина I (1099—1100 г.). Уже в самом названии сочинения выражена сущность церковно-феодального мировоззрения Гвиберта: оно должно было служить прославлению франкского народа, чьими силами преимущественно и был осуществлен этот первый поход на Восток. В сочинении явственно проступает патриотизм Гвиберта: сравнивая франков с прославленными воинами древности, он отдает предпочтение своим современникам; не сравнимы франки ни с грубыми немцами, ни с хитрыми греками. «Деяния» задуманы и выполнены как панегирик «освободителям гроба Господня». Подобно другим хронистам первого крестового похода, Гвиберт рассматривает историю похода с провиденциалистских позиций — в реальных событиях он видит направляющую волю всевышнего. Однако в отличие от них он не просто описывает события, но проявляет интерес к их причинной связи, анализирует предпосылки и мотивы действий крестоносцев, считая необходимым «прежде всего изложить причины и обстоятельст-

ва, вынудившие к такому походу» (пролог), рассказывает о социально-экономическом положении Франции накануне крестового похода (II, 6—7). Заслугой его как историка является и острокритическое отношение к источникам. При подборе материала он проверяет сведения, почерпнутые из ранее писавших авторов, сопоставляя их с сообщениями участников похода. Из источников первого крестового похода Гвиберт использовал сочинения Анонима, которого он дополнил, и Фульхерия Шартрского, с кем полемизирует. Сведения сомнительной достоверности он приводит с осторожностью, с оговоркой. В критических суждениях Гвиберта обнаруживается здравый смысл — это уже попытка исторической критики, наметки поворота к реалистическому восприятию действительности. Разумеется, Гвиберт, наделенный той мерой оценки вещей, которая могла быть свойственна писателю конца XI в., так понимал значение похода, как понимали его современники. И его рационалистические оценки, ограниченные к тому же социальным положением церковнослужителя, совмещаются с некритическим отношением к легендам, видениям, предсказаниям. Рассказывая, например, о «чуде св. копья», будто бы найденного в Антиохии и сыгравшего решающую роль в победе крестоносцев, он считает его «истинным» чудом, хотя скептически относится к другим известням о чудесах «ложных», которые стремится разоблачить, так как они, по его мнению, снижают авторитет церкви своей грубой фальшью (см. рассказы об инсценировках чудес в V, 7; VIII, 9, а также в трактакте «О реликвиях святых»). В «Деяниях» перемежаются рассказы исторические, анекдотические, описания, рассуждения, нередки стихотворные вставки различных поэтических метров, особенно гексаметры и дистихи. Стиль сочинения полон аффектации, местами темен. Гвиберт сам говорит в прологе, что намерен написать о событиях крестового похода не простым и однообразным слогом, но высоким и изящным, строгим и выдержанным, соответственно описываемому предмету.

Если «Деяния Бога через франков» ценны как документ эпохи с выраженным в нем духом исторического критицизма, то сочинение «О своей жизни» интересно в литературном отношении, как образец средневековой автобиографии, в чем-то уже близкой мемуарной литературе позднейших времен. Содержание этого сочинения распределено по трем книгам следующим образом: в первой книге, автобиографической, содержатся воспоминания Гвиберта о своей семье, о своем детстве, домашнем воспитании и обучении в монастыре до времени получения духовного сана; во второй изложена история ножанского монастыря; третья книга посвящена истории борьбы граждан Лана против епископа Годри в 1111 г. за коммуну. Сочинение написано, по-видимому, под влиянием Августина, схему и мотивы «Исповеди» которого Гвиберт использовал в первой книге, где речь идет о первых детских впечатлениях, переживаниях и раздумьях, о «греховном» увлечении молодого монаха классической светской поэзией и сочинением стихов в подражание Овидию, о преодолении этого искушения. Как и в «Исповеди», здесь применена форма непосредственного обращения автора к богу, рассказ ведется от первого лица, большое место отведено роли матери в формировании личности сына и в определении его судьбы. Без труда обнаруживается в этой книге идущая от Августина попытка психологического анализа становления человеческой личности. В трех книгах сочинения найдется немало любопытных реалистических картин и деталей семейного быта, школьного обучения, монастырской и городской жизни, порт-

ретных зарисовок, философских рассуждений, рассказов о феодальных раздорах и грабежах, а также о чудесах и видениях, легенд о монахах. Язык сочинения выразителен и живописен.

В обоих сочинениях Гвиберт стремится показать независимость своих суждений: он с критикой относится к действиям королей, упрекает Людовика VI за симонию, осуждает женатое духовенство, борется за чистоту нравов; в то же время, в соответствии со своим классовым положением защитника феодальных интересов, он с явным пренебрежением относится к народным движениям, к борьбе ланской коммуны против епископата.

ДЕЯНИЯ БОГА ЧЕРЕЗ ФРАНКОВ

[Сборы к крестовому походу]

(Книга II)

По закрытии Клермонтского собора — а собор был созван в месяце ноябре [1], в восьмой день после праздника св. Мартина,— по всем провинциям пронеслась молва о нем, и едва только куда-нибудь достигали повеления папы [2], люди сами шли к своим соседям и родственникам, убеждая предпринять «путь Господень», как называли тогда ожидаемый поход. Высшие графы были заняты тою же мыслью; желание выступить овладело и низшим рыцарством; даже бедные были до того воспламенены рвением, что никто не обращал внимания на скудость своих доходов и не спрашивал себя, может ли он оставить свой дом, виноградники и поля. Всякий считал долгом продать лучшую часть имущества за ничтожную цену, как будто бы он находился в жестоком рабстве, или был заключен в темницу и дело шло о скорейшем выкупе. В ту эпоху был всеобщий голод; даже богатые испытывали крайнюю нужду в хлебе, и некоторые из них, имея надобность приобрести многое, не имели ничего, или почти ничего, чтобы удовлетворить свои потребности. Большое число бедных пыталось кормиться корнями диких растений, и так как хлеб был очень редок, то они искали повсюду новых средств к пропитанию, чтобы заменить испытываемое ими лишение. Самые важные люди подвергались угрозам бедности, на которую все жаловались, и каждый, видя, как терзается голодом бедный народ, осуждал себя на крайнюю бережливость, в страхе расточить свои богатства излишней роскошью. Вечно ненасытные скупцы радовались времени, благоприятному для их бесчеловечной жестокости, и, бросая взгляды на старые запасы накопленного хлеба, делали каждый день новые расчеты той суммы, которую они присоединят к прежним кускам золота по продаже своего хлеба. Таким образом, когда одни испытывали тяжкие страдания, а другие предавались расчетам корысти, которая подобно «бурному дуновению сокрушает на море корабли» [3],

Христос занимал сильно умы всех, и Тот, кто освобождает скованных цепями из драгоценных камней, разрушил и ковы жадности, спутывавшие людей в этом отчаянном положении. Как я сказал, каждый уменьшил, как можно более, свое потребление в такое голодное время; но едва Христос внушил этим бесчисленным массам людей намерение пойти в добровольное изгнание, немедленно обнаружились богатства большей части из них, и то, что казалось дорого в спокойное время, продавалось по самой низкой цене, когда все тронулись с места для предприятия того пути. Так как многие торопились окончить свои дела, то произошло удивительное явление, которое послужит образчиком внезапного и неожиданного падения всех цен: за денарий можно было купить семь овец. Недостаток хлеба превратился в изобилие, и каждый, заботясь всеми средствами собрать более или менее денег, продавал все, что имел, не по его стоимости, а за все, что давали, лишь бы не остаться последним в предпринятом пути Божьем. Таким образом, в то время произошло изумительное явление: все покупали дорого и продавали дешево; при всеобщем стремлении, дорого покупалось все, что было необходимо для дороги, а то, чем следовало покрыть издержки, продавалось весьма дешево. В прежнее время темницы и пытки не могли бы вырвать силою того, что теперь отдавалось за безделицу. Но вот еще одно обстоятельство, не менее забавное: многие из тех, которые не имели ни малейшего намерения отправиться, шутили и смеялись над теми, которые продавали свои вещи так дешево, и утверждали, что им предстоит жалкий путь и что еще более жалкими они вернутся домой; а на другой день эти же самые люди, одержимые внезапно тем же желанием, отдавали все свое имущество за ничтожные деньги и шли вместе с теми, над кем только что смеялись...

8. Пока князья, нуждавшиеся в службе людей, составлявших их свиту, продолжительно и мешкотно собирались в дорогу, чернь, бедная средствами, но богатая числом, собралась около одного человека, называвшегося Петром Пустынником, и изъявила ему повиновение как своему вождю, по крайней мере на то время, пока все это происходило в нашей стране. Я разузнал о нем, что он был, если не ошибаюсь, из города Амьена и вел сначала жизнь пустынника под одеждою монаха, не знаю, в какой именно части верхней Галлии. Выйдя оттуда, не знаю с каким намерением, он, как мы видели, ходил по городам и селам и повсюду проповедовал. Народ окружал его толпами, приносил ему дары и прославлял его святость с таким усердием, что я не помню, чтобы когда-нибудь и кому-нибудь были оказаны такие почести. Петр обнаружил большое великодушие при раздаче имущества, которым наделяли его. Он возвращал мужьям их жен, потерявших честь, присоединяя к этому дары; и восстанавливал мир и согласие между людьми, поссорившимися с изумительной властью. Все, что он ни делал, ни говорил, обнаруживало в нем Божественную благодать; так что многие выдергивали шерсть из его мула, чтобы

хранить то, как святые останки: я рассказываю это не потому, что считаю истиной, но больше для простых людей, которые любят все новенькое. Он носил на голом теле шерстяную тунику, на голове капюшон, и сверх всего грубую мантию до пят; руки и ноги оставались голыми; хлеба он не ел, или почти не ел, а питался вином и рыбою. Этот-то человек, собрав многочисленную армию, увлеченную отчасти общим потоком, а отчасти его проповедями, решился направить свой путь чрез землю венгров.

О СВОЕЙ ЖИЗНИ

(Отрывки из первой книги)

4.... С того времени [1] я начал обучаться грамоте; едва я успел усвоить себе первые начала, как моя мать, в своей жажде образовать меня, решилась поручить то учителю грамматики... Мой же учитель, которому мать поручила меня, сам учился грамматике в позднем возрасте и был тем менее знаком с этой наукою, что обучался ей слишком поздно; но он был столь скромен, что эта добродетель вознаграждала ему слабые познания...

5. С той минуты, как я был отдан ему на руки, он назидал меня с такою чистотою, так искусно ограждал меня от всех пороков, которыми обыкновенно сопровождается младший возраст, что я был тем избавлен от беспрерывных опасностей. Он меня не пускал никуда от себя; я не мог отдыхать нигде, как только подле матери, ни получать подарков без его позволения. Он требовал от меня, чтобы я действовал с осторожностью, точностью, вниманием, тщанием, так что, казалось, он желал, чтобы я вел себя не только как клирик, но как монах. Действительно, в то время, когда мои сверстники бегали там и сям в свое удовольствие и имели позволение время от времени пользоваться своей свободой, я, оставаясь вечно на привязи, закутанный, подобно клирику, смотрел на толпу играющих, как существо, поставленное выше их. Даже по воскресеньям и по праздникам меня принуждали следовать такому жесткому правилу; редко давалось мне несколько минут отдохновения, и никогда я не имел целого дня, всегда одинаково подавленный тяжестью труда; мой учитель обязался учить только меня и не имел права заниматься ни с кем другим.

Каждый, видя, как он побуждает меня к труду, надеялся сначала, что такие чрезвычайные упражнения изощрят мой ум; но эта надежда скоро уменьшилась, ибо мой учитель был очень неискусен в чтении стихов и сочинении их по всем правилам. Между тем он осыпал меня почти каждый день градом пощечин и пинков, чтобы заставить силою понять то, что он никак не мог растолковать сам.

Я мучился в этих бесплодных усилиях почти 6 лет, не достигнув никаких результатов своего учения; но зато в отношении правил морали не было минуты, которой бы мой наставник не об-

ращал в мою пользу. По части скромности, стыдливости, хороших манер он употребил весь труд, всю нежность, чтобы я проникся этими добродетелями. Только дальнейший опыт уяснил мне, в какой степени он превышал всякую меру, стараясь для моего обучения держать меня в постоянной работе. Я не буду говорить об уме ребенка, но и взрослый человек, чем его долее лишают отдыха, тем он более тупеет; чем он с большим упорством предается какому-нибудь труду, тем силы его более ослабевают от излишка работы, и чем сильнее принуждение, тем жар его скорее остывает...

Мой учитель питал ко мне гибельную дружбу, и чрезмерная его строгость достаточно обнаруживалась в несправедливых побоях, которыми он меня наделял. С другой стороны, точность, с которой он наблюдал за каждой минутой работы, превышала всякое описание. Он бил меня тем несправедливее, что, если бы у него был действительно талант к обучению, как он полагал, то я, как и всякий другой ребенок, понял бы легко каждое толковое объяснение. Но так как он выражался с трудом, то часто и сам не понимал того, что силился объяснить; вращаясь в кругу тесных и простых понятий, он не отдавал себе ясного отчета и даже не понимал, что говорил, почему совершенно напрасно вдавался в рассуждения. Действительно, его ум был до того ограничен, что, если он что дурно понял, учась в позднем возрасте, как я выше сказал, то ни за что не решался отказаться от своих прежних понятий, и если ему случалось высказать какую-нибудь глупость, то, считая себя непогрешимым, он поддерживал ее и в случае надобности защищал кулаками; но я думаю, он мог бы легко не впадать в такую ошибку...[2] ибо, как выразился один ученый, для ума, не довольно еще укрепленного наукой, нет большей славы, как говорить только о том, что знаешь, и молчать о том, чего не знаешь.

Обращаясь со мной столь жестоко только потому, что я не знал того, что было ему самому неизвестно, он должен был бы понять, как несправедливо требовать от слабого ума ребенка того, что не было в него вложено. Как умный человек с трудом может понять, а иногда и совсем не понимает, слов дурака, так и те, которые, не зная науки, утверждают, что они знают ее, и хотят еще учить других, запутывают свою речь по мере того, как они стараются сделать себя более понятными. Нет ничего труднее, как рассуждать о том, чего не знаешь: темно и для себя, темно и для того, кто слушает, так что оба остолбенеют. Все это, Господи, я говорю не для того, чтобы запятнать имя друга, столь дорогого для меня, но чтобы каждый, читая наш труд, понял, что мы не должны выдавать другим за верное то, что существует в нашем воображении, и не должны покрывать сомнительного мраком своих догадок.

17. Между тем и в монастыре[3], принявшись с такой необузданностью страсти писать стихи, что я предпочитал эту достойную осмеяния суету всем книгам божественного Писания, я дошел наконец до того, что, увлекаемый своим легкомыслием, имел притязание подражать поэтическим трудам Овидия и буколикам[4] и хотел воспро-

изводить всю нежность любви в созданиях собственного воображения и в сочинениях, которые писал. Мой дух, забыв всю строгость, которой он должен подчиняться, и отбросив всякий стыд религиозной профессии монаха, так много питался обольщениями отравляющей распущенности, что я занялся только тем, чтобы в поэзии воспроизвести все то, что говорилось в наших собраниях, не обращая внимания на то, как оскорбительны были для устава нашего священного ордена все подобные упражнения. Таким образом, я был весь проникнут той страстью и так помрачен обольстительными выражениями поэтов, что многое придумывал собственным воображением; иногда эти выражения производили во мне такое волнение, что я чувствовал дрожь по всему телу. А так как мой дух был постоянно возбужден и забывал всякое воздержание, то в моих произведениях раздавались только такие звуки, какие могли быть вызваны подобным душевным настроением.

Кончилось тем, что моя страсть до того возмутила всю мою внутренность, что я иногда позволял себе непристойные слова и писал небольшие сочинения, в которых не было ни ума, ни сдержанности, ни благородных чувств... Втайне я сочинял стихи того же рода, хотя и не осмеливался показывать их всем, или показывал только людям, подобным мне. Очень часто, скрывая имя автора, я прочитывал их встречным и радовался выслушивать похвалу от тех, которые разделяли мои чувства, что препятствовало мне еще более назвать свое имя. Так как похвала не относилась к автору, то мне приходилось втайне наслаждаться плодами или скорее стыдом греха. Но, мой Отец, Ты наказал такие дела, когда того восхотел. Действительно, на меня воздвиглись несчастья по поводу этих произведений; Ты препоясал мою душу, преданную тем заблуждениям, поясом бедствий и удручил мое тело болезнями плоти. Тогда наконец меч дошел до самой души, ибо несчастие поражает самый рассудок человека.

Таким образом, с тех пор как муки греха надоумили меня, тогда я бросил свои пустые занятия; не будучи в силах оставаться праздным и покинув игру воображения, я предался духовным предметам и перешел к занятиям более полезным. Так я начал, хотя и поздно, с ревностью работать над тем, на что мне часто указывали многочисленные и превосходные писатели, а именно я обратился к комментариям Святого писания, и особенно изучал беспрестанно произведения Григория [5], в которых более нежели где-нибудь заключен ключ науки; потом я начал, по методе древних писателей, объяснять слова пророков и евангельских книг, толкуя сначала их аллегорический или нравственный смысл, а потом мистический. Более всех меня поощрял к подобным работам Ансельм [6], аббат в Беке, сделавшийся впоследствии архиепископом в Кентербери и бывший уроженцем заальпийской страны, из города Аосты; это был несравненный человек и по познаниям, и по великой святости своей жизни.

Одон Дейльский

Одон Дейльский, франкский историограф XII в., представляет ценность в качестве главного источника информации о втором крестовом походе, сохранившего для потомков множество интересных сведений социально-исторического и бытового характера, записанных по личным воспоминаниям и рассказам современников и участников похода.

О жизни Одона Дейльского известно то немногое, что сообщает он сам в прологе к своему сочинению «О странствовании Людовика VII, франкского короля, на Восток». Год его рождения неизвестен. Родился он в начале XII в. в Дейле, в окрестностях Сен-Дени, в простой семье, был монахом монастыря св. Дионисия в Сен-Дени, а позднее стал капелланом и секретарем Людовика VII и сопровождал его во втором крестовом походе в 1147 г. Оттуда он послал Сугерию, аббату Сен-Дени, приближенному и советнику короля, записки, содержащие фактический материал похода. По возвращении из окончившегося провалом похода в 1149 г. он оставался в милости у Людовика VII, а в 1152 г. занял место умершего Сугерия в Сен-Дени. Умер он уже в 1162 г., 8 апреля.

Сочинение Одона («De Ludovici VII Francorum regis profectione in orientem») состоит из семи книг и пролога в форме письма к Сугерию. В нем изложены события похода франкской армии во главе с Людовиком VII на Восток, с его начала до прибытия в Антиохию: в первой книге содержится рассказ о подготовке к крестовому походу, во второй описан путь крестоносцев в Венгрию, на Белград и через Болгарию, в третьей и четвертой — прибытие в Константинополь, встреча и переговоры с византийским императором, торговля с греками, переправа через Босфор, в пятой рассказывается о походе в Малую Азию, о трудностях пути, о встрече Людовика и Конрада III в Никее, о поражении немцев, в шестой — о поражении франков, в седьмой — о прибытии их в Атталию, бедственном положении и отъезде Людовика в Антиохию. Изложение обрывается на 1148 г., экспедиция в Дамаск в сочинении не отражена. Возможно, что была и заключительная часть, но это остается лишь предположением.

Главный предмет повествования Одона Дейльского — Людовик VII. Сочинение его — панегирик, составленный в самом благоприятном для Людовика свете, в котором обойдены теневые стороны характера и поведения Людовика как короля и предводителя крестоносцев. По-видимому, целью сочинения было защитить Людовика VII от упреков современников и потомков за неудав-

шийся поход. Но кроме этого, Одон преследовал и другие цели пропагандистского характера: раскрыть соотечественникам причины неудач, постигших крестоносцев, и тем предостеречь их от ошибок в новом крестовом походе против иноверцев, вдохновить их на этот поход и возбудить ненависть к византийским грекам, призвать к отмщению им за гибель крестоносцев второго похода. Как и сочинения других историков крестовых походов, сочинение Одона окрашено в провиденциалистские тона. Но, с другой стороны, в нем видна попытка автора постичь реальные причины и связи описываемых событий, объяснить их как результат действий человека (см., например, рассказ о реальных обстоятельствах поражения немецких крестоносцев в Малой Азии). Как очевидец событий Одон сообщает разнообразные и весьма любопытные подробности быта и нравов крестоносцев и других народов. В его сочинении много сведений, касающихся социальной, военной, дипломатической, бытовой истории похода. Интересны посольские обычаи греков, их дипломатический церемониал, тактика боя сельджуков. Следует отметить внимание Одона к описаниям разного рода (описание местностей, городов, сражений, костюмов и т. д.), к портретным и речевым характеристикам военных и политических деятелей.

Материал в сочинении Одона расположен не в традиционном строго хронологическом порядке, но тематически, так что каждая из семи книг представляет собой как бы вполне законченное повествование. В изложении материала Одон предпочитает быть кратким, о чем неоднократно говорит в своем сочинении. Язык его выразителен, в описаниях встречаются поэтические слова. Стиль сочинения красочный, в меру насыщенный риторикой. Умелое применение стилистических фигур (особенно сравнений, метафор, анафор, персонификаций) разнообразит и оживляет изложение.

О СТРАНСТВОВАНИИ ЛЮДОВИКА VII, ФРАНКСКОГО КОРОЛЯ, НА ВОСТОК

(Отрывки из третьей, четвертой, пятой книг)

[Константинополь]

Книга III... И вот мы отправились дальше [1], и когда приблизились к городу [2], все его знатные и богатые люди, как духовного звания, так и миряне, толпой высыпали навстречу королю [3], чтобы принять его с должной почестью, смиренно просить посетить императора [4] и удовлетворить его желание увидеться с королем и поговорить с ним. Король же, сочувствуя опасениям [5] императора и уступая его просьбе, вошел в город в сопровождении нескольких своих людей и был принят императором вполне по-королевски в портике дворца. Оба государя были почти одного возраста и роста, различались они только одеждой и манерами. После взаимных объятий и поцелуев они вошли во дворец [6], где сели на приготовленные им одинаковые кресла. Здесь в присутствии своих приближен-

ных они беседовали с помощью переводчика. Император справился о здоровье короля и его намерениях, желая ему всего, что Богу будет угодно, и обещая со своей стороны то, что только будет в его силах. О, когда б это было столь же искренне, сколь и благопристойно! Если бы его движения, если бы приветливость лица, если бы слова выражали то, что таит сердце, присутствующие могли бы заключить, что император очень любит короля; однако подобная очевидность лишь вероятна, но вовсе не бесспорно истинна. После этой беседы они расстались друг с другом, как братья, и имперские вельможи проводили короля во дворец, предназначенный ему для жилья [7].

Книга IV. Константинополь, слава греков, известный своими богатствами и еще более богатый, чем говорят о нем, построен треугольником, наподобие паруса корабля. В его переднем углу расположена святая София и дворец Константина [8] с капеллой, прославленной святейшими реликвиями. С двух сторон город омывается морем [9]. Когда мы прибыли в город, справа от нас был Рукав св. Георгия [10] и слева какой-то впадающий в него поток [11], который разливается почти на 4 мили. Там стоит дворец, называемый Влахернским, и хотя возведен он в низине, но, построенный с роскошью и изяществом, поднимается довольно высоко и благодаря тройному соседству — моря, полей и города — доставляет своим обитателям тройное удовольствие взирать на все это попеременно. Его внешняя красота почти несравненна, но красота внутренняя превосходит все, что я только мог бы сказать о ней. Со всех сторон он расписан золотом и разноцветными красками, двор выстлан мрамором с изысканным мастерством, и я не знаю, что придает дворцу бо́льшую ценность и красоту — совершенство ли искусства или богатство материала. Третья сторона треугольника примыкает к полям, но защищена двойной стеной с башнями, протяженностью от моря до дворца около двух миль. Стена эта не достаточно укреплена, и ее башни не очень высоки, но население города полагается, как мне кажется, на свою многочисленность и на мир, которым оно наслаждается с давних времен. Внизу под стенами лежат пустые земли, которые возделываются плугом и мотыгой, на них разбиты огороды, снабжающие горожан всякого рода овощами. Извне прорыты сюда подземные каналы, доставляющие городу в изобилии пресную воду.

Сам же город грязен и зловонен, и многие его места осуждены на вечный мрак; ведь богачи затемняют своими постройками улицы и оставляют эти грязные и мрачные места беднякам и чужеземцам; здесь совершаются убийства и грабежи и другие преступления, которые любят темноту. Более того, в этом городе люди живут без закона, в нем столько же хозяев, сколько богатых людей, и почти столько же воров, сколько людей бедных; ни один преступник не знает здесь ни страха, ни совести, ибо преступление не карается законом и никогда не совершается средь бела дня. Этот город во всем превышает меру — ведь он превосходит другие

города как богатством, так и пороком. Много в нем также церквей, не сравнимых со святой Софией по величине, но равных ей по красоте и замечательных не только красотой, но и многочисленными священными реликвиями. Все, кто может, приходят в церкви: одни из любопытства, другие по набожности.

Король также в сопровождении императора посетил святые места и по возвращении отобедал с ним, уступив его настойчивым просьбам. Это пиршество, на котором присутствовали знатные гости, удивительное по своей пышности и по изысканности яств и по приятным развлечениям, услаждало одновременно и слух, и уста, и глаза [12]. Многие из свиты короля опасались за него, но он, вверивший себя Богу, ничего не страшился, исполненный веры и мужества; ибо тот, кто не склонен причинять вред, с трудом верит, что кто-то станет вредить ему. И хотя греки не выказали никакого признака вероломства, я думаю все же, что, имей они добрые намерения, не проявляли бы они столь усердной услужливости. Они просто скрывали свою обиду, за которую собирались отомстить после нашей переправы через Рукав. Тем не менее нельзя ставить в вину грекам то, что они заперли городские ворота перед многочисленными толпами, после того как были сожжены многие их дома и оливковые рощи, то ли из-за нехватки дров, то ли по дерзости и пьяному безумию. Король обычно приказывал обрубать таким уши, ноги и руки, но даже и этим не мог обуздать их неистовство. Действительно, было необходимо или погубить несколько тысяч человек одновременно или сносить их многочисленные злодеяния...

Между тем, пока король ждал идущих из Апулии и переплывших море между Брундизием [13] и Диррахием [14], наступил праздник св. Дионисия [15], и король отправздновал его с должным благоговением. Император знал об этом (ведь и греки чтут этот праздник) и послал к королю большую группу избранных из своего духовенства, дав каждому священнику по большой свече, расписанной разными красками и золотом, и этим увеличил великолепие празднества. Эти священники, конечно, отличались от наших не только словами, которые они произносили, но и качеством их голосов, сладкая мелодичность которых была весьма приятна; слияние голосов низких с высокими, т. е. голосов евнухов с мужскими голосами услаждало слух франков. Да и глазам эти священники доставляли удовольствие своей изящной манерой держаться, скромным рукоплесканием и гибкостью движений. Я рассказываю об услужливости со стороны императора, чтобы можно было ясно показать вероломство того, кто, прикрываясь дружелюбием, обычно проявляемым лишь к самым близким друзьям, питал к нам такое чувство, которое мы могли бы удовлетворить разве что нашей смертью. Положительно никто не может познать греков, если он не испытал их или не был наделен даром провидца.

Епископ Лангра [16], не доверяя их честности, презирая их угодливость и предсказывая беды, которые мы и претерпели позднее,

советовал захватить город. Он утверждал, что стены города, бо́льшая часть которых разрушилась на наших глазах, ветхи, что народ бездеятелен, что жителей без труда можно лишить пресной воды немедленным отведением каналов. Этот человек большого ума и святого благочестия говорил, что по взятии этого города отпадет надобность завоевывать другие, ибо они добровольно сдадутся тому, кто овладел их столицей... Я думаю все же [17], что епископ добился бы своего, если бы греки не одержали верх скорее хитростью, чем силой. Подозрительно глядя на наше промедление, они не осмеливались настаивать на нашем отплытии, но постепенно сокращая подвозы на рынок, они вынуждали наших переправиться через море различными слухами о немцах [18]. Сначала они говорили, что турки собрали огромное войско и что немцы уничтожили 14 тысяч человек, не потеряв ни одного из своих. Спустя два дня они убедили нас к скорейшей злосчастной переправе, рассказав о еще более счастливом событии: якобы немцы прибыли в Иконий [19] и напуганное население этого города разбежалось еще до их прибытия, и так как они спешили вперед, один император написал другому [20], прося его прибыть туда, взять под защиту и владеть тем, что было завоевано безо всяких усилий. Армия была взбудоражена этими вестями, и все стали роптать на промедление короля, потому что одни завидовали добыче немцев, другие их славе. И вот король, побежденный известиями греков и жалобами своих, переправился через Босфор раньше, чем прибыли те, кого он ждал; а император приготовил флот столь скоро, сколь горячо было его желание сделать это.

Король же провел на этой стороне Рукава 15 дней в ожидании части своего войска, да еще 15 на другой стороне [21], терпя вероломство греков. У них был теперь удобный момент, которого они ждали, и они осмелились бы раскрыть свои планы, однако неразумные поступки наших давали им предлог для прикрытия своей злобы, вот почему многие говорили, что они причиняют нам зло не из ненависти, а скорее из мести. Но кто рассматривает дело лишь с одной стороны, высказывает одностороннее суждение; кто не знает всего дела, не может высказать правильного суждения. Действительно они, может быть, и были оскорблены, но не умиротворены.

И вот мы переправились через море, и за нами следовали корабли с продовольствием и менялами. Они разложили свои сокровища на берегу: столы сверкали золотом и были заставлены серебряными вазами, которые скупались у наших. Из армии приходили те, что брали на обмен необходимое, а к ним присоединялись и такие, которые любят поживиться чужим. И вот однажды какой-то фландр, достойный бича или костра, видя огромные богатства и ослепленный безмерной жадностью, издал вопль: havo! havo! [22] и стал тащить, что ему пришлось по душе. Он возбудил себе подобных к такому же преступлению как своей дерзостью, так и ценностью добычи. И так как везде были глупцы (ведь в обмене сколько бездельников, столько глупцов), все, у кого были деньги, кину-

лись в разные стороны; гвалт и смятение усиливались, столы были опрокинуты, золото растоптано и расхищено. В смертельном страхе ограбленные менялы пустились наутек, а корабли приняли беглецов на борт, и, тотчас отплыв от берега, перевезли их в город со многими из наших, которые были отправлены за съестными припасами. Эти люди были избиты там и ограблены. Даже и те, что оставались в городе как гости, были ограблены, словно враги.

Все это стало известно королю и он, пылая гневом, потребовал к себе преступника; его, выданного графом Фландрии, и повесили тут же в виду всего города. Затем он приказал разыскать все утраченные вещи и простить вернувших их, а утаившим что-либо грозить подобным же наказанием; а чтобы они не боялись его и не краснели от стыда перед ним, он велел возвращать все епископу Лангра. На следующий день призвали всех, кто бежал накануне, и вернули им в целости все, что они могли клятвенно подтвердить как похищенное у них. Многие из них требовали больше, чем следовало; но король предпочел лучше сам заплатить недостающее, чем тревожить свою армию...

[Поражение при Иконии]

Книга V... Немцев расспрашивали[23] об обстоятельствах и причинах столь великого несчастья — как, каким образом и почему оно случилось,— но, пожалуй, все эти вопросы были заданы неудачно, ибо в сущности в неразберихе нет порядка, в заблуждении — системы, в неблагоразумии — причины. Тем не менее всякое зло имеет начало и конец, как говорили нам те, кому удалось спастись от этого бедствия. Они, во-первых, винили самих себя, и не без справедливости, ибо, слишком полагаясь на собственные силы[24], гневили Бога чаще и в большей мере, чем обычно. Во-вторых, они кляли константинопольского «идола»[25], который, дав им в проводники предателя, сделал все, что было в его силах, чтобы унизить христианскую веру, укрепить языческую, воодушевить робких язычников, охладить пыл наших. Ведь приведенные его проводником в Никею[26] немцы распорядились запастись провиантом на 8 дней, рассчитывая на таком запасе достичь Икония. Когда же прошли дни и истощились запасы, решили они, что подобным же образом должен окончиться и их путь; но окруженные горами и скалами, они могли только догадываться о бесконечной длине их пути. Введенные, однако, в заблуждение их проводником (или скорее их предателем), они страдали и другой день, и следующий, и третий и углубились еще дальше в бездорожные горы. Наконец предатель, полагая, что армия здесь уже погребена заживо, бежал ночью известным ему кратчайшим путем и призвал великое множество турок на добычу. И вот на рассвете следующего дня, когда знаменосцы, как обычно, стали искать своего проводника, уже в гневе на него, и не нашли, увидели

они вдруг, что турки заняли горную вершину[27]; и было им очень досадно, что тот, кого они искали, бежал, не получив справедливой кары за свое преступление.

Это стало известно императору как по возвращении его людей, так и по солнцу[28]. И вот в этот критический момент он обратился к своим советникам, но поздно, ибо выбирать предстояло не между добром и злом, а меньшее из [двух] зол. Нужно было идти вперед или отступать. Но голод и враг и неизведанный лабиринт гор препятствовали продвижению вперед, равно как голод и боязнь бесчестья — отступлению. В этом все же была некоторая надежда на спасение, хоть и с позором. В другом[29] — верная смерть без пользы или славы. Что же станет делать доблесть голодная? Бежать, ради служения Богу, если ради себя не привыкла? Если пойдет вперед — тотчас напрасно погибнет, если спасется — может еще служить Богу. Они предпочли бы, конечно, славную смерть жизни позорной, но раз одинаково то и другое пятнает позором, лучше уж быть постыдно спасенным решительным действием, чем умереть постыдно, хотя и без упрека. Поддаваясь такому рассуждению, немцы поступили тогда так, как не привыкли поступать. Осуждая отступление, но соглашаясь с ним, в надежде, что время исправит[30] несчастье, они поступили так, как могли, пожелали то, что были должны.

Гийом Тирский

О жизни Гийома Тирского, одного из лучших историков эпохи крестовых походов XII в., нет никаких свидетельств современников. Имеются лишь отдельные сведения, сообщаемые им самим на страницах своего сочинения «История деяний в заморских землях». Предположения о происхождении Гийома противоречивы: одни считают его франком, другие немцем. Сам же он называет своей родиной Палестину. Год его рождения неизвестен. Можно весьма приблизительно считать временем его рождения 30-е годы XII в., потому что в 1162 г., как явствует из его же слов в прологе к шестнадцатой книге, он проходил курс обучения в Европе, по-видимому, в Париже. По возвращении в Иерусалим в 1167 г. он по протекции короля Амори I был назначен архидиаконом Тирской церкви. Будучи приближенным короля Амори, Гийом выполнял его дипломатические поручения: ездил послом в Константинополь для заключения союза с Мануилом Комнином против Египта; в 1168 г. улаживал церковные дела в Риме. В 1170 г. Амори поручил ему воспитание своего девятилетнего сына Балдуина IV. После смерти Амори в 1173 г. Гийом оставался близким лицом при дворе, был канцлером иерусалимского королевства, в 1174 г. получил сан архиепископа г. Тира. В политической жизни он принимал самое непосредственное участие: в 1177 г. был послан в Рим делегатом на третий Латеранский собор, после чего пробыл по государственным делам в Константинополе 7 месяцев. После смерти Балдуина IV Гийом снова уехал в Рим. Умер он ок. 1186 г. Этим ограничиваются достоверные сведения о Гийоме Тирском.

Гийом написал два сочинения: 1) «Историю арабов» со времени Магомета до 1184 г.— она не сохранилась, 2) «Историю деяний в заморских землях» («Historia rerum im partibus transmarinis gestarum»), или «Иерусалимскую историю» («Historia Hierosolymitana») в 23 книгах. Это самое полное из всех сочинений по истории крестовых походов, особенно первого и второго, охватывающее события почтн за столетие, с 1095 по 1184 г. Гийом начал писать его по прнказу Амори в 1169 г. и закончил в 1184 г. Сочинению предшествует пролог, в котором Гийом излагает свои принципы историка: писать о минувшем только правду; затем начинается хронологически последовательное повествование о событиях крестовых походов. В первой книге дается исторический очерк Палестины от VII до середины XI в., обзор обстановки на Западе накануне крестовых походов; со второй книги следует рассказ о начале похода, о движении крестоносцев через Малую Азию и Сирию на Иерусалим, с восьмой

по пятнадцатую рассказывается о взятии Иерусалима и образовании иерусалимского королевства и первых его правителях; в шестнадцатой — семнадцатой книгах речь идет о втором крестовом походе и его провале под Дамаском, в восемнадцатой — двадцать второй — о правлении Амори I и Балдуина IV, о внутренних противоречиях, ведущих к гибели иерусалимское государство, о победах Саладина. На этом Гийом собирался закончить свой рассказ, не желая писать о падении своего государства, но все же по настоянию друзей продолжил его. Написал он, однако, лишь пролог к двадцать третьей книге и одну главу о событиях 1184 г. Книга осталась незаконченной.

Первые пятнадцать книг Гийом составил по материалам исторической традиции, широко использовав хроники Альберта Ахенского, Раймунда Ангильерского, Фульхерия Шартрского, а также устные предания. Но, опираясь на традицию, он критически отбирал материал, исправляя или отбрасывая недостоверное, иногда сопоставлял сведения разных источников и давал им свою оценку. Последующие восемь книг, посвященные истории современного франкского Востока, Гийом писал по личным впечатлениям, по сообщениям очевидцев событий и по документам архивов, к которым имел доступ благодаря своему высокому социальному положению. Это наиболее оригинальная часть хроники и сведения, сообщаемые здесь Гийомом, по-видимому, вполне достоверные, представляют важный источник для внутренней и внешней истории иерусалимского королевства с 1144 по 1184 г. и для истории второго крестового похода.

Идейная основа исторической концепции Гийома, как и других хронистов крестового похода — провиденциализм, вера в божественное предопределение исторических событий, объяснение их как результат действия божественного промысла. Но у него, несомненно, есть тенденция к рационалистическому освещению событий, к стремлению осмыслить действительные причины и связи событий и дать им свою оценку. Это нетрудно увидеть в нарисованной им картине фактического положения на Востоке и на Западе накануне крестового похода (18) или в его рассуждении о причинах неудач крестоносцев и характеристике обстоятельств, обеспечивших победу Саладина (XXI, 7).

Главной политической задачей сочинения Гийома было прославление крестоносцев, подвигов их вождей. «История деяний в заморских землях» — это своего рода практическое руководство по организации новых крестовых походов. Гийом отчетливо высказывается о двойственном предназначении историков: с одной стороны, они должны воодушевлять потомков рассказом о счастливо свершившихся деяниях, с другой — примером испытавших несчастную судьбу делать их более осмотрительными в подобных же обстоятельствах (XXI, 7). Идеализируя крестоносцев конца XI в., Гийом противопоставляет их порочным крестоносцам-современникам, нравы которых, вернее «чудовищные пороки, если бы кто попытался описать, то он написал бы сатиру, а не историю» (там же).

В сочинении Гийома немало интересных экскурсов этнографического и географического содержания, характеристик народов и их обычаев, описаний городов (Тира, Иерусалима, Александрии и др.) и мест сражений. Привлекают внимание портретные зарисовки современных ему исторических деятелей, примечательно стремление дать не только физический, но и психологический портрет в сложной противоречивости человеческого характера. Отлич-

ный знаток классической литературы, Гийом часто иллюстрирует излагаемый материал цитатами из Вергилия, Овидия, Светония, Цицерона, Ливия, Теренция и др. Он с большим мастерством вставляет в историческое повествование диалоги, речи, отступления мемуарного характера, размышления и оценочные замечания. Все это разнообразит и оживляет рассказ.

Выделяясь среди других историографов крестовых походов критичностью подхода к источникам, рационалистичностью в освещении событий и достаточной объективностью суждений по различным социальным и религиозным вопросам, широтой эрудиции, наконец мастерством живого и обстоятельного изложения, Гийом Тирский завоевал славу лучшего историографа первых крестовых походов и оказал большое влияние на позднейших историков. Его сочинение сохранилось во многих рукописях. В 1194 г. оно было продолжено Эрнулем, описавшим третий и четвертый походы; это латинское продолжение, с позднейшими добавлениями, охватывает события с 1192 по 1220 г.

ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ В ЗАМОРСКИХ ЗЕМЛЯХ

Пролог

... Кто из людей благоразумных усомнится в том, что описывать деяния королей и опасно и весьма рискованно. Помимо трудов, усилий, бессонных ночей, с которыми бывает сопряжено занятие подобного рода, историку угрожают еще пропасти с обеих сторон, и едва ли кому удастся избегнуть одной, не попав в другую: избегая Харибды, он встретится со Сциллой, которая, будучи опоясана собачьими головами, не менее первой способствует кораблекрушению. Ибо он или стремится исследовать истину свершенного и тогда разжигает ненависть к себе во многих людях, или, желая избегнуть гнева, умалчивает о ряде событий, в чем, очевидно, его большой недостаток, потому что стараться обойти истину и иметь намерение скрыть ее считается противным долгу историка. Отступить же от долга — это, вне всякого сомнения, вина, если только справедливо разумеют под долгом деятельность какого бы то ни было лица, согласуемую с обычаями и законами его отечества. Но исследовать деяния, не искажая их и не отступая от правил истины, значит всего чаще вызывать негодование, согласно этой старинной поговорке: «Друзей — угодливость, а истина врагов родит» [1]. Итак, предстоит или отступить от долга своей профессии, выказывая недостойную угодливость, или, преследуя истину, вызвать ненависть, матерью которой и бывает истина. Вот те опасности, которым обычно подвергаются историки и которые поочередно преследуют их. Ведь, по словам нашего Цицерона, «тяжела истина, ибо из нее рождается ненависть, эта отрава дружбы, но тяжелее угодливость, снисходительная к пороку, ибо она ввергает друзей в пропасть» [2]; эти слова,

очевидно, относится к тому, кто из угодливости, против долга и обязанности, скрывает истину. Ибо, если льстя другому, он бесстыдно примешивает к случившемуся ложь, то такой поступок считается столь унизительным, что подобный историк не заслуживает звания писателя. Утаивать истину о событиях непозволительно и противно долгу писателя; тем более грешно пятнать истину ложью и выдавать за истину легковерному потомству то, что заведомо ложно. Есть еще одна и даже более страшная опасность, которой следует избегать всеми силами тому, кто пишет историю; а именно, они обязаны не допускать, чтобы скудость речи и вялость красноречия унизили достоинство событий. Слова должны соответствовать деяниям, о которых идет речь, и язык писателя не должен снижать возвышенность предмета. Поэтому следует всегда опасаться, чтобы величие содержания не утратило чего-либо от скудости изложения и чтобы неумение рассказчика не сделало ничтожным и вялым того, что само по себе было ценно и важно. По словам нашего славного оратора в его первой книге «Тускуланских бесед» [3], «взять на себя облечение в литературную форму своих размышлений и не уметь ни расположить их, ни отделать, ни обставить интересно для читателя может лишь человек, невоздержанный на досуг и писательство».

Мне кажется, и нам в настоящем труде предстоят те же многообразные опасности. Ведь в труде, что у нас теперь лежит под руками, мы сказали многое о нравах королей [4], об их жизни и о привычках; что-то к их похвале, что-то к порицанию, но мы вели рассказ в соответствии с положением дел. Быть может, их преемники прочтут это с неудовольствием и незаслуженно нападут на бытописателя, обвиняя его в зависти или во лжи, но, видит Бог, мы старались избежать и того и другого, как чумы. Что до прочего, мы не станем спорить, что мы дерзко приняли на себя труд не по своим силам и что наша речь не вполне достигла достоинства предмета; тем не менее мы сделали кое-что. В самом деле, ведь и люди малоопытные в живописи, которые еще не приобщились к таинствам искусства, обычно сначала наводят грубыми красками общие очертания и обозначают первые контуры, которым потом более опытная рука благородными красками придает изящество и совершенство. Так и мы с большим трудом и по правилам истины, от которой ни в чем не отступили, заложили основание, дабы более сведущий зодчий смог искусно возвести на нем прекрасное и величественное сооружение. Конечно, среди стольких затруднений и двойных опасностей было бы безопаснее успокоиться, смолчать, и положить перо на отдых; но тут является горячая любовь к отечеству, за которое честный человек, если того требует необходимость, обязан отдать жизнь. Эта самая любовь, повторяю, со свойственной ей властью повелевает нам не допустить, чтобы забвение овладело тем, что у нас свершилось за последние сто лет и что оставалось под спудом молчания, мы обязаны все это, тщательно обработав, предать памяти потомства...

[Взятие Иерусалима]

(Книга VIII)

13. С наступлением дня[5] все войско[6] в полном вооружении, согласно полученному приказу, подступило к городу, чтобы начать его атаку. У всех было одно-единственное намерение: или отдать жизнь за Христа, или возвратить городу[7] христианскую свободу. В целом войске нельзя было найти старика или больного, или какого-то совсем еще незрелого юношу, которые не горели бы священным пылом битвы; даже женщины, забыв свой пол и обычную слабость, брались за оружие, принимая на себя непосильный мужской труд. Вступив с таким единодушием в битву, они старались изо всех сил приблизить к стенам приготовленные осадные орудия, чтобы можно было легче атаковать тех, кто оказывал им мужественное сопротивление, стоя на крепостных стенах и башнях. Но осажденные, решив сопротивляться врагу до конца, пускали копья и бесчисленное множество стрел, метали камни руками и из метательных орудий, прилагая все силы к тому, чтобы отогнать наших от их стены. Наши, в свою очередь, еще более рьяно бросались вперед и, прикрывшись щитами и плетенками, непрерывно пускали стрелы из лука и баллисты[8], метали камни величиной с кулак и бесстрашно пытались продвинуться к стене, чтобы тех, кто стоял на башнях, лишить мужества и спокойствия. Другие же, стоявшие в осадных башнях, то старались при помощи шестов придвинуть подвижную башню к укреплениям, то пускали из метательных орудий огромные камни в стену и пытались непрерывными ударами и частыми сотрясениями ослабить ее так, чтобы она рухнула. Некоторые при помощи малых метательных орудий, называемых манганами, из которых стреляли камнем меньшего веса, сбивали тех, кто охранял от наших внешние укрепления стен.

Но ни те, которые пытались протолкнуть осадные башни к стенам, не могли должным образом выполнить их намерение, ибо продвижению препятствовал огромный и глубокий ров, прорытый перед стенами, ни те, которые пытались метательными орудиями пробить в стене брешь, не достигли удовлетворительных результатов. Ибо осажденные спускали со стен мешки с соломой и отрубями, а также канаты и ковры, громадные балки и тюфяки, набитые ватой, чтобы этими мягкими и упругими вещами ослабить удары камней и свести на нет все усилия наших. Более того, они и сами поставили у себя орудия, притом в гораздо большем количестве, чем у нас, из которых забрасывали наших стрелами и камнями, чтобы препятствовать их действиям.

И вот, когда обе стороны, предельно напрягая свои силы, сражались со всей ожесточенностью, разгорелся такой беспощадный бой, длившийся с раннего утра до вечера, что стрелы и дротики сыпались на людей с обеих сторон, подобно граду; пущенные камни сталкивались в воздухе, и сражающиеся умирали во множе-

стве и самой разной смертью. Напряжение и опасность были совершенно одинаковы на полях сражений и герцога[9], и Танкреда[10], и графа Тулузского[11], и других князей, ибо город, как упоминалось выше[12], был атакован с одинаковым рвением и пылом с трех сторон. Наши были более всего озабочены тем, чтобы, забросав ров щебнем, камнями и землей, можно было выровнять дорогу для продвижения осадных машин; напротив, усилия осажденных были направлены к тому, чтобы воспрепятствовать нашим в этом намерении. Тем, кто намеревался исполнить сие, они оказывали упорное сопротивление и наперебой бросали на орудия атаки горящие головни, огненные стрелы, вымазанные серой, маслом, смолой, и все то, что обычно служит горючим, чтобы поджечь их. Кроме того, они направляли на наши машины из своих громадных орудий, стоявших позади укреплений, такие ловкие удары, что у наших осадных башен едва не разбили основание, пробили бока, и одним сотрясением чуть не сбросили на землю тех, кто стоял наверху, чтобы сражаться оттуда. Но наши бросались на падающие головни и заливали их потоками воды, пытаясь укротить беспощадный пожар.

18. Итак, как мы уже сказали[13], полки герцога и графов[14], атаковавшие город с севера, с Божьей помощью добились того, что утомленные враги уже не осмеливались сопротивляться долее, а после того как глубокий ров был засыпан и укрепления перед стенами разрушены, они[15] могли беспрепятственно приблизиться к стене; и лишь изредка неприятель осмеливался предпринять против них что-либо через бойницы стен. Те же, которые находились в подвижной башне, по команде герцога бросали в матрацы, набитые ватой, и в мешки с соломой огонь; и тотчас дуновение северного ветра раздуло его в яркое пламя и погнало в город такой густой дым, надвигавшийся все беспощаднее, что защитники стен не были в состоянии открыть ни рот, ни глаза, и ошеломленные и приведенные в замешательство потоком густого дыма, оставили стены без защиты. Узнав об этом, герцог приказал тотчас же принести те балки, которые были отняты у неприятеля, положить их одним концом на осадную башню, а другим на стену и опустить откидную сторону башни, которая и легла на них, образовав нечто наподобие моста с весьма крепкой подпорой. Таким образом, то, что враги придумали для своей защиты, обернулось им на гибель... Как только они увидели, что наши овладели стеной и герцог со своим войском уже ворвался в город, то покинули они свои башни и укрепления и бросились бежать в узкие улицы.

19. Между тем герцог и те, кто были с ним, объединив свои силы, пробегали туда и сюда по улицам и площадям города с обнаженными мечами и разили безо всякого различия всех врагов, каких только могли найти, не взирая ни на возраст, ни на чин. И такое повсюду было страшное кровопролитие, такая груда отрубленных голов лежала повсюду, что уже невозможно было найти никакой дороги или прохода, кроме как через тела убитых.

Уже наши вожди различными путями достигли почти середины города, совершая бесчисленные убийства, и огромная толпа народа, и без того склонная к убийству, да еще возбужденная жаждой крови неверных, следовала за ними, а граф Тулузский и другие вожди, которые сражались с ним в окрестностях горы Сион [16], еще ничего не знали о том, что город захвачен и победа в руках наших.

Но громкие крики наших, вступивших в город, и ужасные вопли, которые доносились с места избиения неверных, возбудили удивление в тех [17], кто оставался еще в той стороне города; они спрашивали себя, что́ бы значили эти необычные крики и смятение кричавшего народа? Наконец они узнали, что город захвачен и наши войска вступили в него. Тотчас покинули они башни и укрепления и бежали по разным направлениям, заботясь только о собственном спасении. Большинство из них бросились в крепость [18], так как она была поблизости, и там укрылись. И вот воины через мост, который без всякого труда был положен на стену, и по приставленным к стене лестницам наперебой бросились в город, не встретив ни малейшего препятствия. Как только они оказались в городе, они тотчас открыли южные ворота, которые находились поблизости с ними, чтобы остальные без труда могли войти сюда. Так вошел в город знаменитый и храбрый граф Тулузский, Исоадр — граф Дийский, Раймунд Пеле, Вильям из Сабраны, епископ Альберийский и многие другие знатные люди, чьи имена история для нас не сохранила, как и число их. Все они, собравшись в единое войско, вооруженное до зубов, ринулись через середину города, творя ужасное кровопролитие. Ведь те, которые, избежав герцога и его людей, думали, что смогут избежать и смерти, если побегут в другие части города, попали теперь в еще бо́льшую опасность, встретив этих [19]; избежав Сциллы, они натолкнулись на Харибду. Такая страшная резня врагов была учинена во всем городе, столько было пролито крови, что даже сами победители, должно быть, испытывали чувство отвращения и ужаса.

20. Большая часть народа бежала под портики храма [20], потому что он был расположен в отдаленной части города и еще потому, что был огражден стеною, башнями и крепкими воротами. Однако это не принесло спасения людям, ибо Танкред отправился туда немедленно с значительной частью всего войска. Он силой ворвался в храм и, уничтожив там бесчисленное множество народа, унес, говорят, оттуда несметное количество золота, серебра и драгоценных камней; правда, позже, когда улеглось смятение, возвратил все, как полагают, в целости. Потом и прочие предводители, перебив всех, кто встречался им в различных частях города, отправились в храм, в ограде которого, как они слышали, укрылось много людей. Они вступили туда с толпой всадников и пеших воинов и, не щадя никого, перекололи мечами всех, кого нашли там, и залили все кровью. Произошло же это по справедливому указанию Господню, чтобы те, кто оскверняли святыню своими суеверными обря-

дами и сделали ее чужой верному народу, собственной кровью очистили ее и искупили свое преступление смертью. Невозможно было смотреть без ужаса, как валялись всюду тела убитых и разбросанные части тела и как вся земля была залита кровью. И не только обезображенные трупы и отрубленные головы представляли страшное зрелище, но еще более приводило в содрогание то, что сами победители с головы до пят были в крови и наводили ужас на всякого встречного. В черте храма, говорят, погибло около 10 тысяч врагов, не считая тех, что были убиты там и сям в городе и устилали улицы и площади; число их, говорят, было не меньше. Остальные части войска разбежались по городу и, выволакивая, как скот, из узких и отдаленных переулков несчастных, которые хотели укрыться там от смерти, убивали их. Другие, разделившись на отряды, врывались в дома и хватали отцов семейств с женами, детьми и всеми домочадцами и закалывали их мечами или сбрасывали с каких-либо возвышенных мест на землю, так что они погибали, разбившись. При этом каждый, ворвавшись в дом, обращал его в свою собственность со всем, что находилось в нем, ибо еще до взятия города было согласовано между крестоносцами, что по завоевании его каждый сможет владеть на вечные времена по праву собственности, без смущения, всем, что ему удастся захватить. Потому они особенно тщательно осматривали город и более дерзко убивали граждан. Они проникали в самые уединенные и тайные убежища, вламывались в дома жителей, и каждый вешал на дверях дома щит или какое-либо другое оружие, как знак для приближающегося — не останавливаться здесь, а проходить мимо, ибо место это уже занято другими.

[Король Амори I]

(Книга XIX)

1. ...Государю Амори[21] при вступлении на престол было 27 лет и правил он 11 лет и 5 месяцев.

2. Это был человек большой опытности в государственных делах, весьма мудрый и осмотрительный. Его речь была несколько затрудненной, не настолько, однако, чтобы это можно было считать недостатком, но достаточно, чтобы лишить его изящества и легкости изъяснения. Он чувствовал себя гораздо лучше, давая совет, чем произнося пышную или украшенную речь. В обычном праве, которым управлялось государство, он был весьма искусен и никем не был превзойден в этом отношении; проницательностью ума и справедливостью своих приговоров он выделялся среди всех знатных людей королевства. В опасных и трудных обстоятельствах, с которыми он часто сталкивался в своей мужественной и беспрерывной борьбе за расширение королевства, он всегда был полон сил, предусмотрителен, всегда сохранял бесстрашие и коро-

левскую твердость. Был он не слишком образован, гораздо меньше брата[22]; но благодаря живому уму и хорошей памяти, любознательности (привычке постоянно задавать вопросы) и ревностному чтению в минуты отдыха от государственных дел, он был все же достаточно хорошо осведомленным в том, что обычно входило в обязанности короля. Он задавал замысловатые вопросы и сам испытывал удовольствие при разрешении их. Любил слушать исторические рассказы, предпочитая их всякому другому роду чтения, сохранял их в памяти и пересказывал потом легко и весьма точно. Он был поглощен серьезными делами, и никогда ни театром, ни игрой в кости. Его главным развлечением было направлять полет соколов и ястребов в преследовании добычи. Усталость он переносил терпеливо. И хотя был тучным и слишком толстым, не испытывал особенных неудобств от жары или холода. Десятину платил церкви сполна и без всякого затруднения, проявляя себя в этом отношении человеком благочестивым. Обедню слушал ежедневно с благоговением, разве что болезнь или какие-нибудь другие крайние обстоятельства мешали ему в этом. Брань и упреки, часто высказываемые против него втайне, а чаще публично, даже самыми ничтожными и презренными людьми, он переносил весьма терпеливо и так искусно скрывал свои чувства, что казалось будто он и не слыхал того, что услышал. В пище и питье был умерен и не выносил излишеств в том и другом. К своим наместникам выказывал такое доверие, что во время их управления не требовал от них никакого отчета и не выслушивал наговоров на их неверность; одни упрекали его в этом, другие почитали за добродетель и доказательство истинного доверия.

Но все эти дарования и качества характера умалял между тем один заметный недостаток, который как бы затуманивал только что описанные достоинства. Он был молчалив сверх всякого приличия и ему не хватало учтивости в обхождении. Дар любезного обращения, которым государь более всего привлекает к себе сердца подчиненных, был ему совершенно чужд. Редко случалось, чтобы он заговаривал с кем бы то ни было, если не был к тому вынужден необходимостью или если кто-то не докучал ему, обращаясь к нему первым. Этот недостаток был в нем особенно заметен, потому что брат его, напротив, был щедро награжден даром приятной речи и благожелательной приветливостью. Говорят, был он еще слишком чувствен и, да простит ему милостиво Господь, часто склонял к нарушению верности чужих жен. Кроме того, он сильно угнетал свободу церкви и истощил ее имущество частыми и несправедливыми поборами, так что в его управление она опустела, и вынуждал ее обременять себе непосильными долгами. Его страсть к деньгам была больше, чем то приличествует королевскому достоинству Он часто допускал соблазнять себя дарами, еще чаще удерживал их, вопреки строгим требованиям справедливости и права. В дружеской беседе со мной он пытался, впрочем, извинить свою корысть, говоря: «Каждый князь, и особенно король, всегда должен забо-

титься о том, чтобы не растратить своих денег, по двум основным причинам: во-первых потому, что имущество подданных всегда в сохранности, когда правитель не испытывает нужды; во-вторых. он должен иметь в своем распоряжении средства, которые могут доставить необходимое его королевству, если оно вдруг впадет в крайность. В таком случае предусмотрительный король должен быть особенно щедрым и совсем не экономить в своих расходах, чтобы всякий мог видеть, что не для себя, а для пользы государства берег он богатство». Даже его недоброжелатели не станут отрицать, что он выполнял эту свою обязанность в этих обстоятельствах. Ибо в момент большой опасности он не щадил ни расходов, ни собственных сил и трудов. Но богатство его подданных не было в полной безопасности, потому что он слишком часто пользовался любым незначительным предлогом для посягательства на их наследство.

3. Он был так пропорционально сложен, что был выше людей среднего роста и ниже чересчур высоких. Его красивое лицо и манера держаться обличали достоинство князя даже тем, кто его не знал. Глаза, полные блеска, были средней величины. Нос, как у брата, орлиный; волосы светлые и слегка закинутые назад. Превосходная и густая борода покрывала его щеки и подбородок. Однако смех его был так неумерен, что когда он смеялся, все его тело тряслось. Он охотно беседовал с мудрыми и благоразумными людьми, повидавшими чужие страны и знавшими чужеземные обычаи.

Я помню, как он однажды, страдая в Тире от затяжной, хотя и не опасной лихорадки, призвал меня, чтобы в часы отдыха и в промежутки между приступами дружески поговорить со мной о многом, и я ответил на ряд его вопросов, насколько позволяло время. Беседа наша[23] очень ободряла его. Среди заданных мне вопросов был один, который глубоко взволновал меня, во-первых, потому, что был он необычен и касался того, что едва ли подобает ставить под вопрос: чему нас учила всеобщая вера и во что должны мы твердо верить; и во-вторых, потому, что душа моя была тяжело ранена тем, что православный князь и сын православного питает сомнение в деле столь несомненном и колеблется в глубине своего сознания. В самом деле, он спросил, можно ли найти, кроме учения Спасителя и святых, последователей Христа (учения, в котором он не сомневается), другие способы доказательства доводами ясными и неоспоримыми необходимость грядущего воскресения? Потрясенный новизной вопроса, я ответил: «Довольно учения нашего Господа и Спасителя, в котором вполне ясно, на многих страницах Евангелия, указано на грядущее воскресение плоти; он заверяет, что придет как судья, чтобы судить живых и мертвых и мир огнем; избранным он дарует царство, приуготованное от сотворения мира, нечестивых же предаст вечному огню, который уготован дьяволу и ангелам его. Да и благочестивых уверений святых апостолов и отцов Ветхого Завета дос-

таточно». На это он сказал: «Во все это я верую твердо, но ищу объяснения, которое могло бы доказать необходимость грядущего воскресения и другой жизни тем, кто это отрицает и не приемлет учения Христа». Я ему: «Возьмите на себя роль человека, мыслящего таким образом, и мы попробуем найти что-либо относительно этого». «Охотно»,— ответил он. Тогда я спросил: «Веришь ли, что Бог справедлив?» Он: «Ничего нет более истинного, признаю это». Я: «Справедливо ли воздать добром за добро и злом за зло?» Он: «Истинно». Я: «Но ведь в этой жизни так не бывает, ибо некоторые добрые люди в этом мире терпят одни лишь несчастья и неудачи, а некоторые злые, напротив, наслаждаются неизменным благополучием, как показывают примеры каждодневной жизни. «Верно»,— ответил он. Тогда я продолжал: «Значит это [24] произойдет в другой жизни, ибо не может Бог не быть справедливым в своих воздаяниях; следовательно будет другая жизнь и воскресение этой плоти, и тогда тот, кто заслужил добро или зло в этой жизни, должен будет получить награду или возмездие». Тут он сказал: «Я вполне удовлетворен, ты удалил из сердца моего всякое сомнение». Такие и подобные беседы очень укрепляли его.

Вильям Мальмсберийский

О жизни и деятельности крупнейшего английского историка первой половины XII в. Вильяма Мальмсберийского известно немного и главным образом то, что сообщает он сам в своих сочинениях. Год и место его рождения точно не установлены; предположительно родился он между 1090 и 1096 гг. в графстве Сомерсет или Уилтшир (в прологе к комментариям на «Плач Иеремии», составленном после смерти Генриха I в 1135 г., Вильям говорит, что ему уже сорок лет и что он давно занимается историей). Из его же слов в прологе к третьей книге «Истории английских королей» известно, что по происхождению он наполовину нормандец, наполовину сакс. Очень рано, в 1105 г., он был отдан в монастырь Мальмсбери (в юго-западном графстве Уилтшир), где получил прекрасное разностороннее образование. В прологе ко второй книге указанного сочинения он пишет о своих занятиях логикой, медициной, особенно же этикой, и более всего историей, «которая через показ событий прошлого учит читателя следовать добрым примерам и остерегаться дурных»; вскоре увлеченное чтение древних авторов переросло в желание писать самому. В монастыре Вильям в течение нескольких лет был библиотекарем и тщательно собирал материалы о жизни замечательных людей Англии. В 1125 г. он уже написал «Историю английских королей» (в первой редакции) и «Деяния английских епископов». По-видимому, он никогда не выезжал из Англии, но жил всю жизнь в Мальмсбери и лишь некоторое время в монастыре Гластонбери, об истории которого написал в 1139 г. книгу «О древностях гластонберийской церкви». Умер он после 1142 г., вскоре после того как «закончил писать историю Англии», по свидетельству Матвея Парижского («Великая история Англии», г. 1142), а точнее — третью книгу «Новой истории».

Вильяму принадлежит около двадцати сочинений исторического, агиографического, теологического характера. Самые значительные и интересные из них — сочинения исторические, благодаря которым он и приобрел славу первого, после Беды, настоящего английского историка. Главный его труд «История английских королей» в пяти книгах, являя собой оригинальный образец смешения анналистической и биографической формы сочинения, отличается систематичностью изложения событий и разнообразием материала. В нем охвачена вся история Англии с 449 г. до середины XII в. Посвящена «История» сыну Генриха I Роберту Глостерскому, которого Вильям в заключительном письме к сочинению называет своим другом и патроном. В прологе к первой книге Вильям говорит, что он первый после Беды написал историю англов без

пробелов, в то время как его современник Эадмер допустил в своей «Истории нового времени» разрыв в 223 г. между временем Беды и началом своего труда (с короля Эдгара), «так что последовательное изложение времен, не поддерживаемое связными отношениями, остановилось на середине». Это обстоятельство и побудило Вильяма взяться за историю и возместить разрыв. При этом, предупреждает он читателя, «истинность сообщения о временах минувших остается на совести их авторов, но то, что я рассказываю о поздних временах, я или сам видел, или слышал от лиц, достойных доверия». Первая книга «Истории английских королей» излагает события с прибытия англо-саксов на остров до объединения островов при короле Эгберте. Вторая книга содержит хронологический рассказ о королях англо-саксонской династии; в книге есть материалы по истории Франции, Италии, Германии, в ней много народных сказаний, баллад, рассказов о чудесах. Третья книга посвящена Вильгельму Завоевателю; четвертая — Вильгельму II Рыжему, во второй ее части излагается история первого крестового похода по Фульхерию Шартрскому и по рассказам очевидцев; наконец, пятая книга, самая оригинальная, касается современных событий, сообщая важный фактический материал о правлении Генриха I. При составлении «Истории» Вильям использовал множество источников, как английских, так и иностранных: Беду, Нення, Ассерия, Иордана, Сидония Аполлинария, Мариана Скотта, Фульхерия Шартрского, Эадмера и др. Аббатства Мальмсбери и Гластонбери давали Вильяму богатейший документальный и традиционный материал для ранней истории Англии. Ценную информацию о политической истории Генриха I он получал от Роберта Глостерского и других высокопоставленных лиц. Обращает на себя внимание критичность и осторожность Вильяма в отборе интересных сведений из источников, его умение отбросить сведения ненадежные и сомнительные и расположить заимствованный материал в связном логическом порядке согласно собственному намерению. В прологах к книгам Вильям говорит о своих принципах изложения материала, подчеркивая свое стремление к объективности и правдивости; просит о снисхождении за отступления и за опущение некоторых фактов из жизни королей и т. д. О тех королях, чья судьба была связана с историей страны, он пишет по определенной схеме, взяв за литературный образец «Жизнь двенадцати цезарей» Светония. Так написаны очерки о нормандских королях Вильгельме II и Генрихе I, которые представлены не как некие абстрактные, идеализированные типы христианских королей, а как живые люди, наделенные индивидуальными чертами, выявляющими их внутреннюю сущность. Вильям не дает портрет одной зарисовкой; черты характера персонажа, прямо обозначенные или выражаемые через действия и отношения, проявляются постепенно в ходе рассказа, и в результате вырисовывается физический и духовный облик человека во всем его многообразии и противоречивости. Необычайно жизненное и богатое деталями изображение персонажей, счастливое умение выделить наиболее существенные их свойства и показать их в действии, а часто в развитии и изменении, выгодно отличают Вильяма от других средневековых историков и дают его исследователям основание говорить о нем как о мастере проникновения в характер. Несомненной заслугой Вильяма является его попытка излагать события в систематической связности и без пробелов, а также его сравнительно трезвый рационалистический подход к оценке событий и выяснению их причин. Главный фактор истории у него — человек,

хотя немалая роль отводится и провидению. Так, например, после описания битвы при Гастингсе в 1066 г. Вильям пытается разобраться в реальных причинах гибели англо-саксонского государства, видя их в общем упадке нравов: в безграмотности клириков, в распутстве, чревоугодии и пьянстве знати, в нарушении монахами уставов ордена (III, 245), но в то же время считает, что падение Британии явилось результатом божьей кары за грехи нации. Так у него уживаются рационалистические тенденции с традиционным для средневековых историографов провиденциализмом. «История английских королей» интересна и в композиционном отношении. Мастерски владея материалом, Вильям соединяет в ней рассказы, написанные в различной манере: строгий, детальный исторический рассказ, часто сопровождаемый авторской ремаркой или раздумьем, оживляется забавным эпизодом или анекдотом, старой балладой или народным сказанием, разнообразится отступлением или идущими от античной историографии описанием и синкрисисом. Сочинение иллюстрировано цитатами из античных и средневековых авторов (Вергилия, Ювенала, Лукана, Цицерона, Ливия, Цезаря, Сенеки Старшего, Боэтия, Иеронима, Исидора, Петра Дамиани и др.). Знаток классической литературы, Вильям интересовался и литературой современной (в IV, 2 он, например, цитирует стихотворение о Риме Хильдеберта). Написана «История» хорошим стилем, соответствующим предмету изложения, с использованием речей, писем, пословиц, риторических украшений. Все книги ее разделены на главы, часто с обозначением названия, что говорит о внимании автора к построению своего труда, имеющего в общем-то эпидейктический характер.

К «Истории английских королей» примыкают три книги «Новой истории», охватывающие события с 1135 по 1142 г. Ценное как свидетельство современника о беспокойной эпохе правления Стефана и Матильды, это сочинение чисто хроникального характера в литературном отношении менее интересно.

Среди современников и более поздних писателей авторитет Вильяма Мальмсберийского был достаточно велик, о чем свидетельствует обилие списков и цитат из его «Истории», которой пользовались Гальфред Монмаутский, Матвей Парижский, Ральф Дикетский, Гервазий Кентерберийский, Симеон Дургемский и др.

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКИХ КОРОЛЕЙ

[О Герберте Орильякском]

(Книга II)

167. Сильвестр [1], он же Герберт,— о ком, мне думается, не будет нелепым написать то, что передается из уст в уста,— происходил из Галлии, с детских лет воспитывался в монастыре Флёри; позже, когда он достиг пифагорейского распутья, то из отвращения ли к монастырской жизни, или одержимый жаждой славы, он бежал ночью в Испанию, намереваясь выучиться у сарацин главным образом астрологии и другим наукам подобного рода... Итак, пре-

бывая у них, как я сказал, Герберт удовлетворил свое желание... Там он узнал, что́ предвещает пение и полет птиц; там постиг искусство вызывания теней умерших; там, короче говоря, овладел всем тем, что, вредное оно или полезное, может возбуждать человеческое любопытство; ибо о законных науках — арифметике, музыке, астрономии, геометрии и говорить незачем; он усвоил их настолько, чтобы показать, что они ниже его таланта, и возобновить с большим усердием в Галлии, где они давно уже потеряли всякое значение. Несомненно, он первый, кто, принимая от сарацин абаку [2], составил правила, которые едва были поняты даже попотевшими над ними абацистами. Он поселился у одного философа этой секты, чье расположение стремился снискать сначала щедрой платой, потом обещаниями. Сарацин не отказывался продать свои знания; часто занимался с ним, беседовал то о серьезных вещах, то о пустяках, давал ему переписывать книги. Однако была одна книга, содержащая в себе все его знания, которой Герберту не удавалось добиться никакими средствами. И он воспылал желанием овладеть этой книгой во что бы то ни стало, ибо «все, что запретно, влечет; того, что не велено, жаждем» [3]. И вот он принялся умолять сарацина именем Бога, упрашивать ради дружбы, предлагал ему много денег, обещал еще больше. И когда у него ничего не вышло, подстроил ночную ловушку. Напоив его вином, с помощью его дочери, с которой завязал дружественные отношения, он выкрал лежащую под подушкой книгу и бежал. Прогнав сон, сарацин бросился вслед за беглецом по знакам звезд, в знании которых был искушен. Беглец, оглядываясь, обнаружил опасность с помощью того же самого знания, и спрятался под деревянным мостом, который был поблизости. Ухватившись за брус, он повис так, что не касался ни воды, ни земли [4]. Таким образом, рвение преследователя было напрасным, и он возвратился домой. Тогда Герберт, прибавив шагу, вышел к морю. Там, заклинаниями призвав дьявола, он поклялся, что будет всегда в его власти, если он защитит его от того, кто снова гнался за ним, и переправит через море. Это и было сделано.

Кто-нибудь, быть может, сочтет, это просто выдумкой, потому что люди имеют обыкновение подрывать славу ученых, обвиняя человека, выдающегося в каком-либо искусстве, в сговоре с дьяволом...

168. ... При содействии дьявола Герберт жадно ловил свою фортуну, так что ничего, что однажды замыслил, не оставлял невыполненным. Предметом его алчности стали даже сокровища, некогда спрятанные евреями, которые он открыл в груде развалин с помощью некромантии...

169. Как Герберт открыл сокровища Октавиана

На Марсовом поле близ Рима стояла статуя, из бронзы или железа не ведаю, указательный палец правой руки которой был

вытянут и на голове написано: «Бей здесь». Люди минувших времен, полагая, что эти слова следует понимать так, будто там можно найти сокровища, терзали злосчастную статую бесчисленными ударами секир. Но Герберт развеял их заблуждение, разрешив загадку совсем иным образом: в полдень, когда солнце стоит в зените, он приметил, куда падает тень от пальца, и вбил там кол; с наступлением ночи, он отправился туда с одним слугой, который нес фонарь. Земля, разверзтая с помощью [его] обычного искусства, раскрыла пришельцам широкий вход; они увидели огромный дворец с золотыми стенами и золотыми потолками, все кругом было из золота: золотые воины как бы забавлялись игрой в золотые кости, король с королевой из того же металла восседали за столом, перед ними — лакомства, слуги в ожидании, массивные вазы, в которых искусство было драгоценнее золота. Во внутренней части дома мрак ночи рассеивал карбункул, камень дивный и редкостный. В противоположном углу стоял мальчик, держа лук с натянутой тетивой и стрелой наготове. Но хотя изысканное искусство всего этого восхищало взор зрителей, не было там ничего, до чего можно было бы дотронуться — только смотреть; ибо стоило кому-нибудь протянуть руку, чтобы коснуться чего-либо, все эти изображения, казалось, ринутся вперед и нападут на злоумышленника. Встревоженный этим Герберт подавил свое желание, но слуга, заметив на столе изумительной работы нож, не удержался, чтобы не схватить его; он считал, несомненно, что среди такого богатства мелкая кража может быть скрыта. Но тут все фигуры с ропотом повскакали с мест, мальчик пустил стрелу в карбункул — в миг все погрузилось в мрак; и не поспеши слуга по предостережению своего господина отбросить нож, оба были бы жестоко наказаны. Так беспредельная алчность осталась неутоленной, и они ушли прочь, фонарем освещая дорогу.

170. Как разыскивали сокровища Октавиана

... Я расскажу, что, помнится мне, в детстве услышал от одного монаха нашей обители, родом из Аквитании, человека в летах и лекаря по ремеслу. «Когда мне было семь лет,— говорил он,— я, невзирая на скудный достаток моего отца, бедного горожанина Барселоннета [5], перешел снежные Альпы и оказался в Италии. Там, как и положено мальчику такого возраста, испытывая крайнюю нужду в хлебе насущном, я больше заботился о пище для ума, чем для тела. В пору возмужалости я повидал немало чудес этой земли и запечатлел их в своей памяти. Среди прочих я видел пробитую гору, за которой издревле, по предположению местных жителей, были спрятаны сокровища Октавиана. Рассказывали даже, что многие проникали в нее через пролом, чтобы отыскать их, и поплатились жизнью, погубленные запутанностью троп. Но поскольку вряд ли какой-то страх может отвратить алчущие умы

от их намерения, то я и человек двенадцать моих товарищей решили пуститься в этот путь, то ли ради добычи, то ли из любопытства. И вот, следуя выдумке Дедала, который вывел Тезея из лабиринта с помощью клубка ниток, мы, принеся с собой большой клубок, закрепили его на колышке у входа; привязав к нему конец нити и засветив фонари, чтобы кроме темноты не были нам помехой еще и боковые дороги, мы стали разматывать клубок, и, ставя на каждой миле колышек, как бы там ни было, держали путь в глубь горной пещеры. Кругом царил мрак и все внушало ужас; летучие мыши, выпархивающие из щелей, терзали наши глаза и лица; узкая тропа слева грозила пропастью с бурлящим внизу потоком. Мы видели путь, усеянный голыми костями; оплакивали еще не разложившиеся трупы людей, которые, как и мы, увлеченные той же надеждой, войдя в недра горы, не смогли найти выход оттуда. Спустя некоторое время все же, после бесчисленных страхов, добрались мы до самого дальнего выхода, и увидели тихое озеро, подернутое зыбью, волны которого мягко плескались о берег. Бронзовый мост соединял оба берега. За мостом были видны небывалой величины золотые кони, с такими же золотыми всадниками, и прочие вещи, названные в рассказе о Герберте; полуденные лучи Феба, пролитые на них, удвоенным блеском слепили глаза зрителей. Видя все это издали, мы горели желанием насладиться всем с более близкого расстояния, помышляя, если выпадет случай, унести хоть самую малость сверкающего металла; воодушевленные взаимным подбадриванием, мы приготовились перейти озеро, но тщетно. Лишь только кто-то из наших раньше других ступил на ближний край моста, мгновенно — продолжаю, ведь дивно слушать — он стал опускаться, а дальний край поднялся, выставляя грубую бронзу с бронзовым молотом, которым, разбрызгивая воду, он так затуманил воздух, что затемнил день и небо. Как только нога была снята — наступило спокойствие. Это испытали многие из нас с тем же результатом. Итак, отчаявшись в переходе, мы пробыли там совсем недолго, и, сколько могли, насытили золотом, по крайней мере, хоть свои взоры. Вскоре после нашего возвращения с помощью нити, мы нашли серебряное блюдо, которое, напрасно разбитое и поделенное на части, только возбуждало зуд нашей алчности, не утоляя ее ничуть. На другой день, посоветовавшись друг с другом, мы пришли к некоему магистру того времени, который, как говорили, знал невыразимое имя Бога; спрошенный об этом, он не стал отпираться от своего знания, добавив, что сила этого имени столь велика, что никакая магия, никакое колдовство не в состоянии противостоять ему. И вот, нанятый за большие деньги, после поста и исповедания, он привел нас, подготовленных таким же образом, к источнику. Зачерпнув из него воды в серебряный сосуд, он молча стал чертить пальцами буквы, пока, наконец, мы глазами не поняли то, что устами высказать не могли бы. Затем мы доверчиво направились к горе, но дальний выход неожиданно нашли заваленным,

думается мне, демонами, поистине ненавидящими имя Бога, ибо оно могло изобличить их выдумки. Поутру пришел ко мне еврей-чернокнижник, привлеченный слухами о нашей попытке; и когда, расспросив о случившемся, узнал о нашем недомыслии, проговорил, трясясь от безудержного смеха: «Почему бы не увидеть тебе, чего стоит сила моего искусства.» И немедленно проникнув в гору, скоро вернулся, неся в подтверждение своего прохода многое из того, что я заметил за озером: в действительности же ту драгоценнейшую пыль, которая чего бы ни коснулась, все превращала в золото — не то, чтобы это и вправду было так, но потому что так казалось, пока не было смыто водой. Ведь ничто, сотворенное некромантией, не может в воде обмануть зрение смотрящих. Истину моего утверждения подтверждает событие, которое случилось в это же время.

171. О старухах, которые юношу обратили в осла

На людной улице, ведущей в Рим, жили две старухи; никого не было их пьянее, никого противнее. Обе жили в одной лачуге, обе были искушены в колдовстве. Если случалось одинокому путнику забрести к ним, они обращали его в лошадь или свинью, или в какое-нибудь другое животное, и выставляли купцам на продажу, а вырученные деньги пропивали. И вот однажды ночью случись им приютить какого-то юношу, который зарабатывал свой хлеб танцами, они и обратили его в осла; им было выгодно иметь осла, который привлекал бы взоры прохожих потешными движениями; ведь когда бы ему ни приказали, осел начинал танцевать, потому что он не утратил способности все понимать, хотя и потерял дар речи. Таким образом старухи добывали много денег, и со всех сторон к ним стекалось множество народа, желая посмотреть на осла. Слух об этом побудил соседнего богача купить четвероногое за немалые деньги для своей пользы; он был предупрежден, что, если он хочет иметь постоянного плясуна, пусть бережет его от воды. Сторож, приставленный к ослу, строго выполнял приказание. Прошло много времени; осел то тешил хозяина шатающейся своей походкой, то развлекал гостей своими трюками. Но поскольку все на свете со временем приедается, за ним стали следить менее зорко; в результате беспечности охраны он, разорвав веревку, сбежал, бросился в ближайший пруд и, пробарахтавшись в воде довольно долго, обрел свой человеческий облик. Сторож, идя по его следам и расспрашивая встречных, спросил и у него, не видел ли он осла? А он ответил, что сам и был ослом, но теперь человек; и рассказал все как было. Изумленный слуга доложил обо всем хозяину, а хозяин папе Льву [6], наисвятейшему мужу нашего века; изобличенные старухи во всем призналась...

207. О женщине с двумя телами

В это же время [7] на границе между Британией и Нормандией видели чудо: у одной, или, собственно говоря, у двух женщин, было две головы, четыре руки, и каждой другой части тела по две вплоть до его середины; ниже — две ноги, две ступни, а все прочее было общее. Смеялась, ела, говорила одна — плакала, постилась, молчала другая. И хоть пища принималась двумя ртами, но выводилась через один проход. Наконец, когда одна скончалась, другая еще жила, и живая носила мертвую почти три года, пока и сама не умерла, изнуренная бременем и зловонием трупа. Некоторые полагали, и даже написали об этом, что эти женщины означают Англию и Нормандию, которые, пусть разделенные земным пространством, подвластны, однако, одному правителю. Какие бы богатства они ни поглотили прожорливыми глотками, все стекает в один провал, будь это алчность принцев или жестокость окружающих народов. Еще сильная Англия будет поддерживать своим богатством безжизненную и почти разложившуюся Нормандию, пока и сама, быть может, не падет от жестокости мытарей. Счастлива будет, если когда-нибудь она сможет вздохнуть с той свободой, за бесплотной тенью которой уже так давно неустанно гонится! Ныне же она изнывает, подавленная бедствиями и угнетенная вымогательствами...

[Битва при Гастингсе]

(Книга III)

238... Раздавшийся радостный крик [8] призвал всех к кораблям. Сам герцог [9] первым с материка отплыл в море, и ожидал остальных, став на якоре почти посредине пролива [10]. И вот все подплыли к пурпурному парусу флагманского судна; и после того как поели, благоприятным курсом прибыли в Гастингс [11]. Сходя с корабля, Вильгельм оступился, но обратил это в доброе предзнаменование, когда воин, стоявший рядом, воскликнул: «Вы обнимаете Англию, герцог, будущий ее король!» [12] Все войско он удержал от грабежей, предупредив, что следует беречь все, чем вскоре будут они владеть; и в течение следующих пятнадцати дней оставался таким спокойным, что казалось, ни о чем он не думает меньше, чем о войне.

239. Тем временем Гарольд [13] возвращался с битвы с норвежцами; он считал себя счастливым, потому что победил, мне же он кажется несчастным, потому что добыл победу предательством [14]. И когда новость о высадке нормандцев дошла до него, он, как был раненый в бою, тронулся в путь к Гастингсу с весьма незначительным войском. Нет сомнения, что судьба безвременно похищала его, потому что он не захотел призвать вспомогательные

войска, да если бы и захотел, то не смог бы найти многих добровольцев; ибо, как я уже сказал выше[15], все были ему враждебны, потому что один присвоил он северные трофеи. Все же он выслал вперед людей разведать о численности и силе врага; их, захваченных в лагере, Вильгельм приказал провести по палаткам и после щедрого угощения невредимыми отпустить к их господину. По возвращении их, Гарольд спросил, какие они принесли новости; они же, восхвалив возвышенными словами благородную доверчивость полководца, серьезно добавили, что почти все в его войске похожи на священников, потому что лица у них вокруг губ выбриты. (Англы ведь оставляют над губами волосы нестриженными, отпуская их на всю длину, что даже и Юлий Цезарь в книге о Галльской войне[16] называет национальным обычаем древних жителей Британии.) Король улыбнулся простоте рассказчиков, заметив с легким смехом, что то были не священники, а воины, решительные в бою и непобедимые духом. И тут вступил в разговор его брат Гурт, юноша на грани зрелости, не по возрасту мужественный и рассудительный. «Если,— сказал он,— ты наперед превозносишь доблесть нормандцев, мне кажется безрассудным сражаться с тем, кому ты уступаешь и в силе и в заслугах. Ведь не станешь ты отрицать, что добровольно или по принуждению дал ему[17] клятву. Поэтому ты поступил бы благоразумнее, если бы, отказавшись от грозной необходимости, позволил нам испытать исход боя: мы, свободные от всяких обязательств, по праву обнажим мечи за отечество. Если ты сам вступишь в бой, смотри, как бы не пришлось тебе бежать или умереть; но если вступим в бой одни мы, это в любом случае будет на пользу твоему делу; потому что ты сможешь и возвратить бежавших, и отомстить за мертвых».

240. Гарольд в своей безрассудной опрометчивости не захотел благосклонно выслушать советчика, считая низким и недостойным его прошлой жизни обращаться в бегство при какой бы то ни было опасности; и с подобным бесстыдством, или, выражаясь мягче, неблагоразумием, он отпустил монаха, посла Вильгельма, не удостоив его в возбуждении и доброго взгляда, моля только о том, чтобы бог рассудил между ним и Вильгельмом. А предложено ему было одно из трех: или он отказывается от королевства, согласно с условием, или будет владеть им на правах вассала или, по крайней мере, пусть дело решит поединком на виду у того и другого войска...

241. Итак, храбрые вожди той и другой стороны готовились к бою, каждый по обычаю своей отчизны. Англы, как мы узнали, ночь напролет провели без сна, пьянствуя и распевая песни, а утром без промедления двинулись на врага. Все пехотинцы, вооруженные обоюдоострыми топорами, сомкнув перед собой соединенные щиты, образовали непроницаемый клин. Это и обеспечило бы им в тот день безопасность, если бы нормандцы, по своему обыкновению, притворным бегством не внесли расстройства в

плотно сомкнутые их ряды. Сам король, пеший, стоял с братьями возле знамени, чтобы при общей, равной для всех, опасности никто и подумать не мог о бегстве. Знамя это Вильгельм послал после победы папе[18]; на нем было роскошно вышито золотом и драгоценными камнями изображение сражающегося воина.

242. Напротив, нормандцы, посвятившие всю ночь исповеди в своих грехах, утром укрепили душу принятием тела Господня[19]. Пехота с луками и стрелами составила авангард, конница, разделившаяся по флангам, расположилась в арьергарде. Герцог с безмятежным лицом, громко возгласив, что Бог будет милостив к нему, ибо дело его правое, потребовал оружие. И когда в спешке слуги надели на него доспехи задом наперед, он исправил оплошность смехом, молвя: «Так храбрость обратит мое герцогство в королевство». Потом он запел песнь о Роланде, дабы примером воинственного мужа вдохновить бойцов, и, по воззвании к помощи Божьей, с обеих сторон началось сражение. Бились ожесточенно бóльшую часть дня, и ни одна из сторон не уступала. Убедившись в этом, Вильгельм дал сигнал к мнимому бегству с поля брани. В результате этой хитрости боевые ряды англов расстроились, стремясь истреблять беспорядочно отступающего врага, и тем была ускорена собственная их гибель; ибо нормандцы, круто повернувшись, атаковали разъединенных врагов, и обратили их в бегство. Так, обманутые хитростью, они приняли славную смерть, мстя за свою отчизну. Но все же они и за себя отомстили с лихвой, и, упорно сопротивляясь, оставляли от своих преследователей груды убитых. Завладев холмом, они сбрасывали в котловину нормандцев, когда те, объятые пламенем [борьбы], упорно взбирались на высоту, и истребили всех до единого, без труда пуская в подступающих снизу стрелы и скатывая на них камни. Кроме того, выйдя каким-то коротким, известным им, переходом к крутому упорно сопротивляясь, оставляли от своих преследователей груды трупов, он сравнялся с полем. Борьба шла с переменным успехом, победа склонялась то к тем, то к другим, пока Гарольд был жив. Когда же он пал, сраженный стрелой в голову, отступление англов не прекращалось уже до самой ночи.

243. Доблесть обоих вождей была в этом бою замечательна. Гарольд, не довольствуясь даром полководца воодушевлять других, ревностно выполнял службу рядового воина. Часто он разил врага в упор, так что никто не мог безнаказанно приблизиться к нему, чтобы тотчас от одного удара не пали и конь и всадник. Вот почему, как я сказал, пораженный роковой стрелой с расстояния, он сдался смерти. Какой-то воин мечом пронзил бедро простертого на земле [короля]; за этот гнусный и постыдный поступок Вильгельм заклеймил его позором и изгнал со службы.

244. Вильгельм также ободрял воинов своим голосом и присутствием; сам первый устремлялся в гущу врага. Так что всюду он неистовствовал, всюду скрежетал зубами; трех превосходных коней, которые были ранены под ним, потерял в этот день. Сила

и дух бесстрашного вождя между тем не ослабевали, хотя телохранители тихонько и по дружески сдерживали его. Он оставался таким до тех пор, пока наступившая ночь не увенчала его полной победой. И нет сомнения, что рука Божья покровительствовала ему, потому что врагам не удалось пролить ни капли его крови хотя в него метали множество копий.

[Характер Вильгельма Рыжего]

(Книга IV)

312. Он[20] отличался великодушием, которое сам с течением времени омрачил безмерным высокомерием; так незаметно вползали в его душу пороки, что он уже не мог отличить их от добродетели. Долгое время люди гадали, к чему он склонится, во что в конце концов выльется его врожденное свойство? В начале своего правления, еще при жизни архиепископа Ланфранка[21], он воздерживался от всяких проступков, и можно было надеяться, что он будет единственным образцом королей. Однако по смерти [Ланфранка], спустя немного времени, он стал проявлять себя по-разному, так что пороки уравновешивались добродетелями. А уже в последние годы остывающее стремление к добродетели распалило в нем пристрастие к пороку. И его щедрость обернулась расточительством, великодушие высокомерием, строгость жестокостью. Да позволено будет мне милостью королевского величества не утаить истину: он недостаточно почитал Бога, людей и вовсе никак. Если кто назовет это тесно связанным, он не ошибется; ибо мудрым следует держаться правила, что Бог должен быть почитаем во веки веков, человек в зависимости от обстоятельств. Вне дома и на людях он держался надменно, окидывая грозным взглядом присутствующих; и, преисполненный суровости, свирепым голосом отталкивал собеседника. Из страха перед обеднением и перед вероломством других, насколько это можно предположить, он больше чем следует был предан корыстолюбию и жестокости. Дома и за столом в частном обществе он давал волю всяческому легкомыслию и много шутил; остроумнейший насмешник, он даже иной раз и свой промах обращал в шутку, лишь бы ослабить злословие по этому поводу...

313. ...Когда в самом начале своей власти, опасаясь смуты, он собрал солдат, то считал, что ни в чем не стоит отказывать им, и обещал еще большее вознаграждение в будущем. А в результате, поскольку он непрерывно расточал отцовское состояние, а доходы ему начислялись тогда умеренные, богатство его стало убывать; но склонность к щедротам осталась, ибо привычка даяния стала почти второй натурой. Это был человек, который не умел ни определять стоимость какой-либо вещи, ни судить о ценности товаров; торговец мог по своей прихоти вытянуть у него за товар

любые деньги, а солдат просить любое жалование. Он предпочитал, чтобы цена его одежды была непомерно высокой, и сердился, если кто уменьшал ее. Как-то раз утром, обуваясь в свои новые башмаки, он спросил слугу, что́ они стоят. И когда услыхал в ответ: «Три шиллинга», то, полный негодования, в ярости вскричал: «Ты, сын шлюхи! пристало ли королю носить такие дешевые башмаки? ступай и принеси мне другие, купленные за серебряные марки». Тот вышел и принес ему башмаки гораздо дешевле, соврав, что они за столько и куплены, как он приказал. «Вот эти,— молвил король,— достойны королевского величия». Подобным же образом слуга назначал цену его одежды, какая была ему угодна, извлекая из этого немалую пользу для себя.

314. Слух о его щедрости между тем разошелся по всему Западу, и достиг даже Востока. К нему приходили воины со всех областей, лежащих по эту сторону гор, которых он сам награждал самыми неумеренными выплатами; и вот, когда ему уже нечего было давать, он, издержавшийся и обедневший, обратил свои помыслы к вымогательствам. Намерение короля поощрял священник Ранульф, подстрекатель его алчности, человек низкого рода, возвысившийся лишь благодаря своему острословию и ловкости. Всякий раз как издавался королевский указ об уплате Англией определенного налога, он удваивал его, этот разоритель богатых, губитель бедных, присвоитель чужих наследств. Неодолимый стряпчий, не знающий меры ни в словах, ни в действиях, одинаково неистовый как против смиренных, так и против строптивых; не раз люди с усмешкой говорили, что он единственный из людей, кто знает, как употребить свои способности, чтобы, не тяготясь ненавистью других, ублаготворять лишь своего господина. По его наущению священные церковные должности по смерти пасторов выставлялись на продажу; ибо, как только приходило известие о кончине какого-либо епископа или аббата, тотчас туда посылался королевский чиновник, который описывал все имущество, и весь доход на будущее, таким образом, отходил в королевскую казну. Тем временем подыскивалось подходящее лицо, которое могло заступить место умершего, не по его моральным достоинствам, а за деньги; и в конце концов, как бы мне выразиться, незанятая должность присуждалась, купленная, однако, за большие деньги. Это казалось тем недостойнее, что во времена его отца по смерти епископа или аббата все доходы сохранялись в целости для передачи их следующему пастору; и избирались лица истинно достойного благочестия. Но минуло всего несколько лет, и все переменилось. Не было человека богатого, кроме как мытаря, не было чиновника, кроме стряпчего, не было священника, разве только (я воспользуюсь словом не совсем латинским) обслуживатель церкви [22]. Любой ничтожный человечишко, любой преступник немедленно выслушивался, стоило ему только заикнуться о выгоде для короля: петля освобождала шею грабителя, посули он королю прибыток. Воинская дисциплина ослабла, придворные расхищали собствен-

ность народа, потребляли их добро, чуть ли не вырывая кусок хлеба изо рта несчастных. В то время носили длинные волосы, роскошные одежды, тогда же выдумали туфли с загнутыми носками. Образ поведения юношей был в том, чтобы изнеженностью соперничать с женщинами, походку иметь расслабленную и небрежную и щеголять обнаженным телом. Выхоленные, они против воли оставались тем, чем создала их природа, эти развратители чужого целомудрия, расточители своего собственного. Шайка женоподобных юнцов и стаи блудниц наводняли двор; так что не случайно сказано кем-то мудрым, что счастлива была бы Англия, если бы править ею мог Генрих [23].

321. ...О характере [Вильгельма] читатель может составить себе представление из того, о чем мы рассказали. Если все же кто-нибудь пожелал бы узнать о его физическом облике, пусть знает, что телосложения он был коренастого, румяный, с чуть рыжеватыми влосами; лицо открытое, глаза разные, с какими-то блестящими крапинками; поразительно сильный, хотя и невысок ростом, с животом чуть выдающимся. Красноречием не обладал вовсе, но страдал заиканием, особенно в раздражении...

[Генрих I]

(Книга V)

390. Генрих, младший сын Вильгельма Великого, родился в Англии в третий год после прибытия туда его отца. Мальчик уже тогда по всеобщему желанию был отменно воспитан, потому что один из всех сынов Вильгельма был рожден для царствования, и, казалось, ему именно и должно принадлежать королевство. Итак, первые годы обучения в школе он провел в изучении свободных искусств и так впитал жаждущим сердцем сладостность книг, что впоследствии никакие военные потрясения, никакие государственные заботы не могли изгладить их из его замечательной памяти. Впрочем, он не читал много публично и не напевал, разве что потихоньку. Его образование, хотя и приобретенное, сказать по правде, урывками, служило ему большим подспорьем в искусстве управления, соответственно с тем изречением Платона, которое гласит: «Счастливо было бы государство, если бы в нем властвовали философы или властители философствовали» [24]. Наставленный в философии не так уж слабо, он мало-помалу с течением времени учился, как усмирять жителей провинций миролюбием; никогда не позволял своим солдатам начинать военных действий, кроме как в случае крайней необходимости. Итак, с детства лелея надежду на королевство, он укреплял ее науками. И нередко, даже в присутствии отца, вспоминал пословицу: «Невежда на троне есть осел в короне». Рассказывают также, что родитель его, прекрасно зная его нрав, всячески взращивал в нем непреклон-

ную рассудительность: его, обиженного одним из братьев[25] и льющего слезы, он ободрял словами: «Не плачь, сын, и ты будешь королем»...

393. После смерти короля Вильгельма, как сказано выше[26] и торжественной церемонии королевских похорон [Генрих] был избран королем, правда, после некоторых разногласий[27] среди дворян, которые возникли вначале и стихли [вскоре]... Итак, немедля издав указ по всей Англии, он отменил несправедливые установления своего брата и Ранульфа; умерил налоги, освободил узников; изгнал со двора прощелыг, восстановил во дворце пользование в ночное время светильниками, что было прервано при его брате; сполна восстановил умеренность старых законов[28], и, дабы они не могли быть нарушены, утвердил их клятвой своей и клятвой всей знати. Поэтому, казалось, радостный день засветлел для народа, когда после непроглядного мрака тревог засиял свет ясных обещаний. И уж поистине вызвало всеобщее ликование известие о том, что Ранульф, этот подонок из подонков, брошен в темницу, а за Ансельмом[29] поспешно отправлены послы. Вот почему при громких возгласах и рукоплесканиях народа [Генрих] был коронован в Лондоне в августовские ноны, в четвертый день[30] после смерти брата...

411. Он был деятелен и предусмотрителен в делах своего государства, непоколебим в его защите; удерживал от войн, насколько мог, с честью; когда же полагал нужным не проявлять терпения, суровый блюститель справедливости отражал встречную опасность щитом своей доблести. Постоянный в неприязни или дружелюбии к кому-либо, он воздавал страшным гневом одним, королевским великодушием другим, врагов доводя до отчаяния, друзей и подчиненных возвышая до завидного положения. Ведь и философия признает первой и величайшей заботой хорошего правителя «ниспроверженных щадить и ниспровергать горделивых»[31]. Непреклонный в отправлении правосудия, он управлял народом спокойно, знатью учтиво. Отыскивал с величайшим тщанием скрывшихся воров и мошенников, и, когда находил, наказывал; не пренебрегал и менее важными делами[32]...

412. Он был выше людей низкорослых, но уступал высоким; волосы черные, поредевшие ото лба, глаза с мягким блеском, мускулистая грудь, полное тело. Он любил шутить в подходящее к тому время, и многообразие дел не мешало ему быть приятным в обществе. Не стремясь к воинской славе, он говорил, подражая словам Сципиона Африканского: «Моя мать родила меня правителем, не солдатом». Вот почему мудростью он не уступал никому из современных королей, и даже можно сказать, что из всех предшествующих королей Англии он, бесспорно, был первый, кто охотнее сражался благоразумием, нежели мечом: если мог, добывал победу без кровопролития, если не мог иначе — то малой кровью. В течение всей своей жизни он был совершенно свободен от непристойных влечений, потому что, как мы слышали от сведущих лю-

дей, он вступал в связь с женщинами не для удовлетворения страсти, но ради продолжения рода, не считая достойным снисходить до случайных сношений, разве что в случае, когда королевское семя могло произвести этот эффект. Он был хозяином над своей плотью и не подчинялся страсти, как раб. В еде не капризный, он скорее удовлетворял голод, чем пресыщался различной снедью; никогда не пил, но только утолял жажду, порицая малейшее уклонение от воздержанности как в себе самом, так и в других. Сон его был тяжелым и часто прерывался всхрапыванием. Красноречием он обладал скорее случайным, нежели выработанным, не стремительным, но достаточно развитым.

Оттон Фрейзингенский

Оттон Фрейзингенский — один из наиболее значительных представителей немецкой историографии XII в., отразивший в своих сочинениях важнейшие события современной ему эпохи и попытавшийся, впервые после Августина и под его влиянием, охватить в «Хронике, или Истории о двух царствах» весь ход мировой истории цельной, единой концепцией. Эта его всемирно-историческая концепция, тесно связанная с основными политическими и идеологическими веяниями времени, интересна как философская трактовка исторического материала, как своего рода «философия истории», хотя и теологического характера.

Оттон (род. ок. 1114 г.) принадлежал к высшему кругу феодальной знати и состоял в близких родственных отношениях с правящими династиями. Он был сыном Агнесы, дочери императора Генриха IV, и таким образом приходился ему внуком и племянником Генриху V, был сводным братом Конрада III и дядей Фридриха I Барбароссы. Столь знатное происхождение и высокий духовный сан епископа Фрейзингенского естественным образом формировали и определяли мировоззрение Оттона и ставили его в центр общественно-политических и религиозных вопросов времени.

Сведения о жизни Оттона почерпнуты из его же собственных сочинений, из Австрийских анналов и из главы о нем Рахвина, продолжателя его труда «Деяния императора Фридриха I» (IV, 14). Известно, что Оттон получил прекрасное философско-схоластическое образование в Париже, где, по-видимому, учился у Гуго Сен-Викторского, известного мистика и противника Абеляра. Этот богослов и в некоторой мере Гильберт Порретанский оказали влияние на формирование его теологических взглядов. По окончании курса в 1132 г. Оттон вступил в монастырь цистерцианского ордена в Моримунде (в Бургундии) и был там 5 лет сначала монахом, потом аббатом. В 1138 г. он занял должность епископа во Фрейзингене (в Баварии) и оставался им в течение 20 лет. В 1145 г. Оттон ездил в Италию с визитом к папе Евгению III. В 1147 г. вместе с Конрадом III принимал участие во втором крестовом походе. По возвращении из похода и смерти Конрада выполнял ряд дипломатических поручений нового императора Фридриха I. Умер он в 1158 г. в Моримунде, куда вернулся незадолго до смерти.

Оттону принадлежат два сочинения, сохранившиеся полностью: «Хроника, или История о двух царствах» («Chronica sive Historia de duabus civitatibus»), написанная в 1143—1146 гг., и «Деяния императора Фридриха I»

(«Gesta Friderici I imperatoris»). Это сочинение, начатое в самом конце жизни, в 1157 г., осталось незаконченным и было продолжено клириком фрейзингенской церкви, воспитанником и секретарем Оттона, Рахвином, дописавшим третью и четвертую книги.

«Хроника, или История о двух царствах» была позднее переработана Оттоном, и во второй ее редакции, посланной Фридриху в 1157 г. с сопроводительным письмом, названа дополнительно «Книгой об изменчивости вещей» («Liber de mutatione rerum»). В «Хронике», состоящей из восьми книг, рассказ ведется от «сотворения мира»: первые шесть книг изложены по Беде и Орозию (до 413 г.), современным событиям посвящена седьмая книга, которая, начинаясь с истории первого крестового похода, кончается девятым годом правления Конрада III, т. е. 1146 г. Последняя книга, мистического содержания, рисует будущее судеб человечества. Каждая книга снабжена философско-теологическим прологом. Два царства, о которых гласит заглавие «Хроники»,— это земное, символом которого является Вавилон, и небесное, символ которого — Иерусалим: одно временное и преходящее, другое вечное и неизменное. Civitates постоянно проявляются в реальной истории: например, история Рима — это проявление civitas terrena, а монашество — civitas Dei; светское государство — проявление первого царства, римско-католическая церковь — второго. Вся история земного царства рассматривается Оттоном в духе августиновского провиденциализма, как непрерывная борьба противоположных начал: земного и божественного, доброго и злого. Противоположность и борьбу двух «царств» он признает основной движущей силой исторического процесса, идущего к благу по предначертанному богом пути. Представления Оттона о ходе исторического процесса, порожденные острой проблемой взаимоотношений империи и папства, светской и духовной власти, выражены им в принципе христианско-религиозного дуализма: оба царства он считает необходимыми частями единого христианского мира, так называемого «смешанного царства» (civitas permixta). История земного царства делится Оттоном на традиционные четыре монархии (ассиро-вавилонскую, мидо-персидскую, греко-македонскую, римскую). Римская империя — последний период в развитии человечества перед концом света, после чего наступит для праведников блаженство в вечном «божьем» царстве. При этом историческое развитие мира к благу совершается через «перенесение» империи (translatio imperii), а также земной власти и культуры, от Рима к грекам, затем к франкам, от них к лангобардам, наконец к «немецким» франкам. Поддерживая идею перенесения империи, выдвинутую еще в XI в. в связи с политическими притязаниями германских королей и римского папства для утверждения идеи «вечности» Римской империи, Оттон недвусмысленно выступает как идеолог «священной Римской империи» германских королей. Однако в «Хронике» отчетливо проступает идея постепенного ослабления империи и неуклонного возвышения церкви. Германская империя, преемница Римской, превратилась, по словам Оттона, в ее тень и олицетворяет собой ветхость мира. Пессимизм Оттона, которым проникнута вся «Хроника», был связан, по-видимому, с тяжелым внутренним и внешним положением Германии того времени, с раздорами и распрями между феодальными партиями, с борьбой империи и папства. Лишь аскетический идеал клюнийского монашеского движения, возглавляемого Бернардом Клервоским, служил утешением Оттону. «Хроника» — сочинение политически тенденциоз-

ное; хотя Оттон и подчеркивает свою объективность при изложении событий («Я ставлю своей целью только описывать происходившее, но не давать ему оценку» — VI, 23), он сплошь да рядом оценивает и комментирует события с позиции защитника интересов феодальной знати, с точки зрения своей богословской концепции и аскетической морали, и, напротив, замалчивает события ему неприятные или говорит о них вскользь. Изложение событий перемежается в «Хронике» с размышлениями ее автора о бренности всего земного.

При написании «Хроники» Оттон использовал множество источников разного характера. Некоторые из них он называет и сам. Из исторических источников важнейшие: Евсевий, Саллюстий, Орозий, Иордан, Павел Дьякон; из философских — Цицерон, Аристотель, Августин, Боэтий, Сенека, Гильберт Порретанский, Гуго Сен-Викторский, Бернард Клервоский; из поэтических — Гораций, Вергилий, Овидий, Лукан и др. Широко использована Библия. В основу сочинения положена «Хроника» Фретульфа — Эккехарда из Ауры (до 1106 г.), «Хроника» была весьма популярна в XII—XIII вв., о чем свидетельствуют более чем 50 ее манускриптов.

Второе сочинение Оттона, «Деяния императора Фридриха I», было написано вскоре после его возвращения из второго крестового похода по заданию и материалам самого Фридриха и в прославление его. Состоит оно из двух книг: в первой излагается история Германии с 1080 г. до провала второго крестового похода под Дамаском, во-второй — описывается деятельность Фридриха в первые четыре года его правления. Сочинение тщательно документировано, в нем приводятся речи, использована дипломатическая переписка. Оттон здесь часто говорит о событиях как их очевидец и человек, хорошо осведомленный в государственных делах своего времени. Поэтому рассказ «Деяний» более живой, чем в «Хронике», и в тоне его нет прежнего пессимизма. По-видимому, на Оттона повлияла перемена политической обстановки в Германии, подъем могущества империи при Фридрихе, который покончил с внутренними распрями; с его деятельностью Оттон связывал свои надежды на обновление империи, на установление гармонического единства христианского мира — ведь согласие между церковью и государством всегда было политическим идеалом Оттона. Он всячески восхваляет Фридриха, стремясь показать его идеальным государем Германии и признанным владыкой мира. Особенное внимание в этом сочинении уделено вопросам внешней политики Германии, ее отношениям с Византией. Кратко изложена история первого и второго крестовых походов, интересны описание Венгрии, через которую шли крестоносцы, картина состояния Италии. Любопытна попытка Оттона объяснить причины провала второго крестового похода путем отвлеченных логических построений (I, 68). История крестового похода описана в традиционном для историков крестовых походов провиденциалистском духе: бог руководит всеми событиями и карает участников похода за их грехи и пороки — в этом Оттон видит причину его краха. Впрочем, он отмечает и другие, реальные факторы, обусловившие неудачи крестоносцев. В «Деяниях» много места уделено экскурсам философско-теологического характера. Например, в I, 49—60 рассказывается о борьбе между Бернардом Клервоским (представителем реакционно-мистической ортодоксии) с еретиками Гильбертом Порретанским и Петром Абеляром (представителями «новой логики» и рационалистического учения). «Деяния Фридриха» имеют большую познавательную ценность как источник для политической истории Германии первой половины XII в.,

хотя в нем отчетливо выражена официально-придворная настроенность автора.

Оттон Фрейзингенский признается одним из лучших стилистов средневековья. Оба его сочинения написаны хорошим литературным стилем — ясным и лаконичным в изложении событий, в меру насыщенным риторикой в рассуждениях.

ХРОНИКА, ИЛИ ИСТОРИЯ О ДВУХ ЦАРСТВАХ

Пролог

Я часто и подолгу размышлял о переменчивости и превратности дел земных, об их разнообразном и беспорядочном развитии; и так как я думаю, что мудрый человек никоим образом не должен быть к ним привязан, то прихожу к заключению, рассудив здраво, что следует от них удаляться и освобождаться. Ибо долг мудрого человека не крутиться наподобие вертящегося колеса, но укрепиться в постоянстве добродетели, наподобие четырехгранного тела. Итак, поскольку изменчивость земных дел не может прекратиться, кто из здравомыслящих станет отрицать, что мудрый человек должен, как я сказал, от них отвернуться и [обратиться] к постоянному и неизменному царству вечности? Это — Божье царство небесного Иерусалима, по которому тоскуют, находясь в странствии, дети Господни, подавленные запутанностью дел земных, словно вавилонским пленом. Потому что существует ведь два царства: одно временное, другое вечное, одно — земное, другое небесное, одно царство дьявола, другое — Христа, первое — Вавилон, второе — Иерусалим, как сообщают католические писатели [1].

Но так как многие из язычников писали больше об одном из них, с тем, чтобы поведать потомкам о деяниях своих предшественников, то оставили они нам множество свидетельств их доблестных дел, как считали они сами, по суждению же наших [писателей] нескончаемых несчастий. Сохранились превосходные сочинения об этом Помпея Трога, Юстина, Корнелия [2], Варрона, Евсевия, Иеронима, Орозия, Иордана и многих других, как наших, так и их [3] писателей, перечислять которых было бы долго, где проницательный читатель сможет найти не столько историю, сколько мрачную картину человеческих бедствий. Это происходит, как мы думаем, в соответствии с разумным и предусмотрительным распределением творца, чтобы суетные люди, желающие предаваться бренным земным делам, могли бы быть по крайней мере устрашены превратностями их судеб и через тяготы быстротекущей жизни направлены от творения к познанию творца. Но мы, помещенные как бы в конце времен, не столько читаем о несчастиях смертных в их книгах, сколько находим их в нас самих из опытов нашего времени. Ибо, чтобы мне не говорить о другом, Римская империя, которая у Даниила [4] сравнивается с железом за свое единовластие в целом,

покоренном войной, мире — у греков это называется монархией,— превратилась в результате многочисленных перемен, особенно в наши дни, из самой знаменитой в чуть ли не в наихудшую; так что, по словам поэта [5], едва остался «великого имени призрак». Ведь перенесенная из Рима к грекам [6], от греков к франкам, от франков к лангобардам, от лангобардов снова к немецким франкам, эта империя не только одряхлела и состарилась, но из-за своей переменчивости, подобно легким камешкам, перебрасываемым водой туда и сюда, собрала на себя множество грязи и получила различные повреждения. Таким образом, земные несчастия проявляются даже в самой главе мира и его [7] падение предвещает гибель всему телу.

Но удивительно ли, что изменчива человеческая власть, когда даже мудрость смертных слабеет? Ведь, читаем мы, в Египте была такая мудрость, что, по словам Платона [8], греческих философов назвали бы там детьми несмышлеными. Даже Моисей [9], законодатель, когда Бог с ним говорил «как бы кто говорил с другом своим» и наполнил его божественной мудростью, не постыдился быть наученным всей мудрости египетской [10]. Не великий ли тот патриарх, Богом поставленный отец народов, Авраам, сведущий в халдейской науке и одаренный мудростью, по предписанию Бога [11] оставил свой образ жизни [12], но не отрекся от мудрости? И все же этот Вавилон, не только известный своей мудростью, но «краса царства, гордость халдеев», согласно пророчеству Исайи, сделался без надежды на возрождение убежищем сирен, домом драконов и страусов, логовищем змей [13]. Да и Египет, как рассказывают, в большей своей части «необитаем и непроходим» [14]. Добросовестный исследователь истории узнает, что наука была перенесена оттуда [15] к грекам, затем к римлянам, наконец к галлам и испанцам. И следует заметить, что вся земная власть и наука зародились на Востоке и идут к концу на Западе [16], и в этом проявляется непостоянство и бренность всего земного. Более обстоятельно мы покажем это, с благоволенья Божия, в следующих главах [17].

Итак, поскольку этой и подобной очевидностью доказывается изменчивость мира, я счел необходимым, дорогой брат Изенгрим [18], в ответ на твою просьбу написать историю, чтобы с Божией помощью показать нищету граждан Вавилона, а также великолепие царства Христа, на которое уповают жители Иерусалима после этой жизни и которое должны они ждать и предвкушать уже в этой жизни. Я задумал описать потрясения и бедствия первого, если Бог даст, до нашего времени, и не умолчать о надеждах на будущее [царство], насколько я смогу собрать материал из Священного писания, вспомнив и о его гражданах, странствующих в этой жизни. Следую же я в этом сочинении чаще всего известным светилам церкви Августину и Орозию, и из этих источников намерен черпать то, что относится к делу и замыслу. Из них первый рассуждает весьма увлекательно и красноречиво о становлении, развитии и предопределенном конце славного царства Божьего, о

том, как оно постоянно распространялось среди граждан мира и какие его граждане и правители выдавались в различные эпохи над какими правителями и гражданами мира. Второй в ответ тем, кто попусту молол вздор, предпочитая прежние времена христианскому времени, составил ценнейшую историю о разных делах человеческих и печальнейших событиях, о войнах и опасностях, связанных с ними, о смене царской власти от основания мира до его собственного времени. Следуя по их стопам, я решил говорить о двух царствах, так чтобы не упустить нити истории и чтобы благочестивый читатель мог обратить внимание на то, чего следует страшиться в мирских делах, переменчивость которых причиняет неисчислимые беды, а пытливый и любознательный исследователь смог найти последовательный рассказ о минувших событиях.

И я не думаю, чтобы меня справедливо можно было упрекнуть в том, что я, несмотря на свою неопытность, отважился писать после людей столь высокой мудрости и красноречия, поскольку я лишь сократил то, что они сами описали обстоятельно и пространно, а то, что было совершено после их времени гражданами этого мира на благо или во вред Божьей церкви, изложил подробно, хотя и безыскусственным стилем. Мне также не хотелось бы думать, что ко мне может относиться этот вот стих сатирического поэта:

Все, кто учен, не учен, без разбора мы
пишем поэмы [19],

потому что я не из нескромности или легкомыслия, но из привязанности, которая всегда может оправдать неопытность, отважился взять на себя столь тяжелый труд, хоть я и неопытен. И никто не смог бы по справедливости уличить меня во лживом изложении событий, которые сравнительно с обычаями нашего времени возможно покажутся невероятными, так как я до самого недавнего времени ничего не поместил [здесь] другого, кроме того, что отыскал в сочинениях надежных авторов, и то лишь немногие из многих. Если некоторые из них в своих описаниях сохраняли апостольскую простоту, я не считал, что по этой причине следует пренебрегать ими. Ведь как чрезмерная искусность порою чревата ошибками, так святая простота всегда подруга истины.

Итак, намереваясь говорить о гибельной изменчивости этого мира и о счастливой неизменности того, взовем к Богу, который терпеливо перенес тревожную запутанность этого мира и явлением своим возвысил и прославил радостную безмятежность другого, чтобы с его помощью мы могли бы сказать то, что ему угодно.

Первая книга доходит до Арбата [20] и переноса Вавилонской империи в Мидию, и до начала Римской власти.

Вторая продолжается до гражданской войны римлян, борьбы между вождями Юлием [21] и Помпеем, до убийства Цезаря и до Рождества Христова.

Третья до Константина [22] и времени христианской империи, и перехода империи к грекам.

Четвертая до Одоакра [23] и вторжения в империю ругиев [24].

Пятая до Карла [25] и перенесения империи к франкам, и до разделения империи и власти при его внуках.

Шестая до Генриха IV [26] и схизмы между империей и папством, до обнародования анафемы императора, изгнания папы Григория VII [27] из Рима и смерти его в Салерно.

Седьмая до восстания римского народа и до девятого года правления короля Конрада [28].

В восьмой речь идет об Антихристе, о воскрешении мертвых и о конце двух царств.

[1066 год]

(Книга V)

35. В год 1066 от воплощения Христа была видна звезда, которую называют кометой, и недостатка в ее воздействии не было. Ибо в тот же самый год Вильгельм [29], граф нормандский, завоевал Великобританию, которая теперь называется Англией и, убив короля ее Геральда, всю страну подчинил своей власти, поселил там норманнов, а сам правил как король. В следующем году король [30] взял в жены Берту, дочь итальянского маркграфа Оттона, и отпраздновал свадьбу в Трибуре. Но папа римский [31] предал короля анафеме [32] после того как неоднократно призывал его к покаянию, и по его, как говорят, совету и предписанию Радульф [33], герцог Швабский, был избран королем некоторыми князьями. Однако он спустя немного времени был убит в открытом бою, а Германн [34], граф Лотарингский, занял его место, но и сам вскоре был убит приверженцами короля. Я читаю и перечитываю историю римских королей и императоров, но до Генриха никого не нашел среди них, кто был бы отлучен от церкви римским папой или лишен власти, разве что, кто сочтет за анафему то, что Филипп [35] на короткое время был помещен римским папой среди кающихся, а Феодосий [36] за кровопролитие был отвергнут святым Амвросием от врат церкви.

ДЕЯНИЯ ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА I

(Книга I)

47. И вот когда миновала суровость холодной зимы и благодатной влажностью весны были порождены из земли цветы и травы, когда свежая зелень полей, покрыв лик земли, улыбнулась небу, король Конрад [1], выйдя со своими из лагеря Норика [2] в полной готовности, чтобы спуститься по Дунаю, прибыл на судах в Ре-

генсбург и в день Вознесения, расположившись лагерем в восточной марке близ города Ардакер[3], ждал здесь своих, которые уже два или три дня прибывали к нему. Оттуда направляясь к крайним пределам своего государства, он расположился на привал, неподалеку от речки Вискаге; отпраздновав там день святой Троицы, он, перейдя почти со всем войском реку Литаге, разбил палатки в Паннонии[4]. Одни спускались по Дунаю, другие шли берегом. За ними следовало такое множество людей, что, казалось, едва хватало реки для плавания и ширины полей для продвижения. Немного позднее к нему присоединился король франков Людовик[5] со своими людьми, ведя за собой наших лотарингцев, вождями и старейшинами которых были епископы Стефан из Меца и Генрих из Туля, графы Регинальд Мунцунский и Гуго Вермандуа, и из Италии шли Амедей Туринский и его брат Вильгельм, маркграф Монтеферрато, дяди короля и многие другие. Но всем известно, какой конец имел этот поход[6] по нашим грехам; я же, имея намерение писать не трагедию, но скорее приятную историю, должен предоставить рассказ об этом другим или опишу в другом месте.

65. Поскольку некоторые из малодушных церковных братьев, досадуя, удивляются и в удивлении досадуют по поводу тех тягот, которые были вынесены в нашем походе, потому что, имея столь замечательное и доброе начало, он получил столь унизительный и дурной исход, мне кажется, нужно ответить им следующим образом.

66. Ничто не может быть названо истинно добрым, кроме одного того, что не из чего-либо другого, но из себя самого имеет начало и что в истинном смысле существует и в истинном смысле называется добрым, согласно этому стиху: «Никто не благ, как только один Бог»[7].

Но все прочее называется благом по нему, не по своей сущности, но по его благости. Что же по естеству называется благим, то это делается или безусловно, или относительно чего-либо; если безусловно — то называется тогда даром природы, как бы пожалованным милостью, согласно стиху: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше»[8].

...По положению логиков[9], метод от родового понятия ведет к анализу, а от видового к синтезу[10]. Если я, таким образом, что-либо называю добрым безусловно, то при этом подразумеваю его сущность, подобное же может быть сказано обо всех его видах; если же я, напротив, что-либо считаю добрым относительно чего-то [условно], то имею в виду более полезность вещи, чем ее сущность. При подобном допущении понятие добра может применяться к бесчисленному множеству вещей. Так, мы называем лошадь хорошей по пригодности ее для езды, одежду — по полезности для одевания, пища хороша по ее пользе для питания. На этом же самом основании что хорошо для одного вида — признается плохим для другого. Например, белена кормит воробья, но убивает человека. Даже одна и та же вещь и для одного и того же вида

при рассмотрении ее с разных точек зрения может быть доброй и может быть недоброй. И поэтому мы говорим обыкновенно: тому, кто чувствует лихорадочный жар, хорошо пить воду, а тому, кто, по словам апостола [11], слаб желудком, хорошо пить немного вина. Но отсюда не следует, что если что-либо хорошо относительно того или другого, то это хорошо и по своей сущности. Из того, что у эфиопа белые зубы, не следует, что он весь белый; не все, у кого зубы не черны, не черны и сами. Это же самое можно обнаружить и в Священном писании. Например, когда мы говорим: нехорошо было иудеям или Иуде предать и распять Христа, — хотя это для нас было благом. Как в человеческой философии белые зубы не мешают эфиопу быть черным, так и в Писании зло иудеев не снимает того, что страдания Христа были для всех благом. Отсюда следует, что подобное можно сказать и об упомянутом походе нашем, который, если его и нельзя считать хорошим со стороны расширения границ или материальных удобств, все же послужил добром для спасения многих душ. При этом под добром понимается не сущность дела, но его польза... Хотя мы говорим, что тот святой аббат [12] был вдохновлен духом Божьим для возбуждения нас, но мы за нашу гордыню, за распущенность нравов и пренебрежение спасительными заповедями понесли заслуженный ущерб имуществом и лично, что не противоречит разуму и примерам древних.

Но каким образом этот доблестный муж выразил оправдание [в неудаче похода], любознательный читатель может найти сам в книге «De consideratione», написанной им по этому случаю для папы Евгения [13].

«Действо об Антихристе»

В XII в. европейская драма далеко ушла вперед от той зачаточной простоты, образец которой мы видели в «Действе о посещении Гроба». Выработался обширный репертуар, насчитывавший несколько десятков вариантов литургических пьес. Подавляющая часть их разрабатывала два сюжета — пасхальный (как «Действо о посещении Гроба») и рождественский. Менее распространены были другие новозаветные сюжеты (воскрешение Лазаря, обращение Павла), сюжеты богородичного цикла (введение во храм, благовещение и др., обычно с малой драматической разработкой), ветхозаветные сюжеты (Исаак и Ревекка, Иосиф и его братья, Даниил) и некоторые другие (притча о мудрых и неразумных девах, действо о святом Николае). К числу самых редких и самых интересных принадлежит помещаемое здесь действо об Антихристе. Интерес его в том, что здесь действие уже вполне отделилось от литургического обрамления, оформилось в замкнутое художественное целое и проникнулось важными элементами не церковной, а светской идеологии — имперской идеологии времен Фридриха Барбароссы.

Представление об Антихристе имеет очень древние корни. Оно восходит к дуалистическим идеям Востока о борьбе за власть над миром между дьяволом и богом, причем в предпоследний момент одолевает дьявол, а в последний — бог. Оно получило разработку у иудейских пророков, учивших, что за предельным унижением праведных последует предельное их торжество; отголоски этих представлений имеются в Новом Завете. Дохристианская традиция подчеркивала в лжемессии воинственность и жестокость, христианская стала подчеркивать в нем коварство и соблазн, представляя его как антипода истинного мессии, Христа. В IV в. к легенде об Антихристе добавилась деталь из сивиллиного пророчества: последний римский император перед Антихристом должен овладеть всем миром, а потом сложить с себя венец в Иерусалиме. В таком виде и была изложена легенда об Антихристе в основном источнике эсхатологических сведений западного средневековья — в небольшой книжке Адсона «Об Антихристе», посвященной королеве Герберге французской (X в.). По Адсону, Антихрист будет из евреев, родится в Вавилоне, волхвы обучат его волхвованию; тотчас после отречения последнего императора он придет в Иерусалим, нетвердых в вере соблазнит, твердых сокрушит и займет престол в храме. Его гонцы разойдутся по всему миру, страхом, дарами и ложными чудесами обращая к

вере в Антихриста христиан, иудеев и язычников и ставя им знак на лбу. Срок его власти будет три с половиной года; потом его станут изобличать пророки Енох и Илия, их и поверивших им побьют камнями, но на третий день они воскреснут; потом господь поразит Антихриста и установит царствие свое.

Именно этот сюжет и инсценируется в «Действе об Антихристе». Соответственно его членению и пьеса членится на три части: покорение мира императором и низложение венца; покорение мира Антихристом и его торжество; появление пророков и падение Антихриста. Две первые части симметрично начинаются доксологией: Христианство, Иудейство и Язычество поют песни, излагая каждое свое вероисповедание (в рукописи эти песни сохранены неполностью). Появление Антихриста искусно подготовлено: все остальные действующие лица занимают места на сцене с самого начала, один Антихрист является в середине действия. Очень умело построен конец пьесы: Антихрист, одержав полную победу, поет о своей власти слова «Мир и безопасность!», между тем как эти слова — роковые для него (I Фессал., 5, 3: «Ибо когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут»): таким образом, он сам — причина своего смертного часа, как Фауст в позднейшей легенде. Пьеса написана стихами, тяжеловатыми, но ясными и сильными; 13-сложные, 14-сложные и 15-сложные стихи сменяются по репликам и сценам, придавая им выразительное своеобразие; в переводе эта игра стиха передана с совершенной точностью. Не случайно «Действо об Антихристе» ставилось на сцене и перекладывалось на музыку уже в XX в.

Своеобразие, внесенное в разработку этого сюжета неизвестным автором пьесы, — прежде всего, политического свойства. Пьеса проникнута немецким националистическим пафосом (насколько можно говорить о национализме применительно к феодальной эпохе). Прежде всего «император» представлен не отвлеченным «римским императором», как в адсоновской легенде, а отождествлен с германским королем, как это было политической реальностью в XII в. В первой части пьесы прославляется победа императора над французским королем, потом иерусалимский король жалуется, что с отречением императора ему стало трудно держаться на своем престоле, потом император более стойко, чем кто бы то ни было, сопротивляется водворению Антихриста, покоряясь только при виде совершаемых чудес. Все это заставляет предполагать, что пьеса — немецкого происхождения и относится к первому десятилетию правления Фридриха Барбароссы (1152—1189). Его натянутые отношения с Францией сказались на изображении отношений «императора» с «французским королем» в пьесе; его натянутые отношения с папой объясняют, по-видимому, почему в пьесе о судьбах христианской веры папе отведена лишь немая роль. Скорее всего, пьеса датируется временем около 1160 г.: около 1162—1164 гг. рейхерсбергский аббат Герхох, бурный обличитель пагубных нравов современности, написал трактат о приближении Антихристова времени, в котором, между прочим, упоминает, что клирики, разыгрывающие в лицах пришествие Антихриста, таким неподобающим поведением сами способствуют этому пришествию. Так как других пьес об Антихристе мы не знаем (наша пьеса тоже большого распространения не получила и сохранилась только в одной рукописи), то можно предположить, что до Герхоха дошли слухи о постановке именно этого «Действа».

Таким образом, «Действо об Антихристе» принадлежит к тому культурному кругу, центром которого был во второй половине XII в. императорский двор Фридриха Барбароссы и к которому принадлежали, например, историк Оттон Фрейзингенский и поэт Архипиита Кельнский.

ДЕЙСТВО ОБ АНТИХРИСТЕ

Прежде всего храм Господень и семь царских престолов располагаются следующим образом: на восток храм Господень; у него ставятся престол короля Иерусалимского и престол Синагоги. На запад престол императора Римского; у него ставятся престол короля тевтонского и престол короля франков. На юг престол короля греков; на полдень престол короля Вавилонии и Язычества[1]. После этой расстановки прежде всего должно выступать Язычество с королем Вавилонии и петь:

Богов бессмертье вечное
Для всех должно быть свято,
Число их бесконечное
Все тайною объято.
Единого лишь безумные
Ведь Бога почитают,
А древние все, разумные
Заветы нарушают.
Коль в одного хранителя
Мы веруем вселенной,
То этого зиждителя
Позорим непременно,
Который иль появляется
Благим для всех и милым,
Иль злобою исполняется
И жесточайшим пылом.
Различны обязательства
У всяческого бога,
И это доказательство,
Что их над нами много.
Когда же столь многосложные
Работы Бога мают,
То ведь противоположные
Заботы допекают.
И допустить нельзя никак,
Чтоб Бог единый правил
И этим бы природу так
Он исказить заставил.
И говорим мы поэтому,
Что боги разнородны,
А доказательств ведь этому
Есть сколько нам угодно.

Это должны петь язычники время от времени в течение всего действа [2]; после этого они и король Вавилонии поднимаются на свой престол. Затем следует Синагога с иудеями и поет:

Благо наше лишь в тебе, Господь [3],
Нет надежды на людскую плоть,
И не в силах Бога побороть
Смертью будто смерть поправший.
Кто был смертью побежден и пал,
Чудо, если жизнь другим он дал,
А себя спасти бессилен стал.
Те, кто верит так, неправы.
Твой, Израиль, Бог — Еммануил,
Он владыка всех небесных сил.
Иисуса ж и кого чтит Измаил [4]
Ты отвергни с их державой.

Это будет петь время от времени Синагога и затем пусть поднимется на свой престол. Тогда выступает Церковь в женской одежде, облаченная в панцирь и венец, в сопровождении справа Милосердия, держащего елей, а слева — Правосудия, держащего весы и меч. Они тоже в женской одежде. За Церковью следуют справа папа с духовенством, а слева — император римлян с воинством. Церковь будет петь вступительную песнь высокому совету, на что следующие за ней отвечают на отдельные стихи:

Веруй в то, что утверждает,
Жизнь и смерть ниспровергает.
Кто же этому не верует,
Гибель вечную наследует.

И Церковь всходит на тот же престол с папою и духовенством, императором и своим войском. Затем проходят и другие короли со своим войском с пением поодиночке того, что представляется подходящим; и так каждый со своим войском должен взойти на свой престол, а храм и один престол остаются незанятыми. Тогда император отправляет своих вестников к отдельным королям и прежде всего к королю франков, говоря:

Нам книги говорят и древних сочиненья,
Что весь мир был у римлян в полном подчиненьи,
Но что доблесть предков для них завоевала,
Нерадивость потомков ныне потеряла.
Державу римскую постигли все напасти,
Но мы хотим опять добиться прежней власти.
Чтоб Рима укрепить старинные основы,
Должны ему платить все дань, как прежде, снова.
А так как франков мощь в их войске неизменна,
На страже их король быть должен непременно:
Поступит он тогда, как верный клятве ленник,
И не покроется позором, как изменник.

Тут посланцы, подойдя к королю франков, пусть поют ему:

Привет свой император римского народа
Шлет франков королю достойнейшего рода.
Ты знаешь: власти высшей надо подчиняться
И воле римского закона покоряться.
Все его веления, помни, непреложны,
И со страхом все всегда соблюдать их должны.
Призываем следовать мы его указам
И повиноваться впредь всем его приказам.

На это он отвечает:

Коль правильно сказанья книг древних разуметь,
Властью над империей надобно нам владеть.
Галлы стародавние ею обладали
И своим потомкам — нам ее завещали [5].
А теперь грабители нас ее лишают,
Но напрасно думают, что нас покоряют.

Тогда посланцы, возвращаясь к императору, поют ему:

Посмотри, как франки все нагло возгордились
И величество твое унижать пустились.
Власть твоей империи вовсе отвергают,
Раз твое владычество за грабеж считают.
Пусть они поплатятся за свое нахальство,
И в пример всем прочим накажет их начальство.

Тогда поет император:

Перед поражением любят величаться,
А дурацкой гордости вам не удивляться.
Гордецов, уверен я, всех мы уничтожим
И самих под ноги нам мы повергнуть сможем.
А коль быть послушными они не желают,
То потом наверное рабство испытают.

И тотчас выступает с войском на сокрушение короля франков. Тот, пойдя ему навстречу, сражается с ним и, побежденный, приводится к престолу императора. И перед воссевшим императором поет ему:

Слава императора — милость к побежденным.
Побежденный, следую я его законам.
Я, поверь, всю власть мою, не жалея жизни,
Отдаю теперь тебе и твоей отчизне.
Коль мне, побежденному, честь хранишь, воитель,
Честь себе ты бо́льшую взял как победитель.

Тут император, принимая его как ленника и уступая ему его королевство, поет:

Если императором признаешь меня ты,
Ты входи с почетом к нам в царские палаты.

И он, с почетом отпущенный, возвращается в свое королевство и поет:

Римского имени мы славу почитаем,
Августу Цезарю служить за честь считаем.
Власти императорской все должны страшиться,
Слава и почет ее должны вечно длиться.
Только одного тебя мы владыкой знаем
И всем сердцем искренне все мы уважаем.

Тогда император, направляя своих вестников к королю греков, поет:

Нам книги говорят и древних сочиненья,
Что мир весь составляет римское владенье,
Но что доблесть предков для них завоевала,
Нерадивость потомков ныне потеряла.
Державу римскую постигли все напасти,
Но мы хотим опять добиться прежней власти.
Чтоб Рима укрепить старинные основы,
Должны ему все дань платить, как прежде, снова.
Это повеление грекам объявите
И у них всю должную дань вы соберите.

Вестники, придя к королю, поют ему:

110а Привет свой император римского народа
110б Шлет греков королю достойнейшего рода

и т. д. с таким изменением:

Призываем следовать мы его приказам
И платить ему же дань по его наказам.

Король, приняв их с честью, поет:

Римского имени мы славу почитаем
И платить дань Цезарю все за честь считаем

и т. д. Отпустив их с честью, император восходит на свой престол и поет:

114а Римского имени...

и т. д. Принимая его ленником и возвращая ему государство, он поет:

114б Если императором...

и т. д. Он, приняв власть, возвращается и поет

114в Римского имени...

14 Заказ № 550

и т. д. Тогда опять император направляет вестников к королю Иерусалима и поет:

114г Нам книги говорят...

и т. д. Они возвращаются к королю и поют ему:

Привет свой император всей державы Рима
С любовью королю шлет Иерусалима

и т. д. Приняв их с почетом, он поет:

116а Римского имени...

и т. д. И, восходя к императорскому престолу, повторно поет то же самое:

116б Римского имени...

и т. д. Император, приняв его, жалует его ленником. После того как он вернулся на свой престол, а Церковь принята в подданство Римской империи, встает король Вавилона со своими людьми и поет:

Новые явились к нам, вижу, суеверы,
Вздорные зачинщики христианской веры.
Древние обычаи все они отвергли
И богов божественность вовсе ниспровергли.
Поруганья их никак мы терпеть не можем
И все христианство их на земле низложим.
Должно истребить его в месте зарожденья,
Где мы обнаружили его появленье.

И, построив свои войска, идет на осаду Иерусалима. Тогда король Иерусалима направляет своих вестников в империю и поет:

О беде, грозящей ей, Церковь известите
И для нас о помощи у нее просите.
Коль узнает о беде Рима повелитель,
Сам он тотчас будет нам от врага спаситель.

Придя к императорскому престолу, вестники поют:

Защитник Церкви верный, ты пожалей о нас,
Кого враги Господни губят в сей грозный час.
Напали язычники на Божье наследство
И в осаде держат там все святое место.
Город, где святые искони пребывают,
Мерзкой службой идолам осквернить желают.

Император отвечает им:

Поскорей ступайте вы, братьев утешая,
Чтоб они, о помощи радостно взывая,
Были все уверены, что мы к ним поспеем
И врагов наверное гордых одолеем.

Они, вернувшись, становятся перед королем и поют:

Стойким будь! Избавишься ты от зла лихого.
Ожидай его: он здесь, и спасешься снова.
Будет победителем он, недолго жданный,
И освободит тебя он, тебе желанный.

Между тем пока император собирает войско, внезапно появившийся ангел Господень поет:

Иуда, Иерусалим, вы не трепещите [6],
Ибо помощь Божию завтра вы узрите.
Братья здесь твои, тебя они освободят
И врагов твоих, поверь, всесильно победят.

Тут хор:

146a Иуда, Иерусалим...

Между тем император со своим войском отправляется на сражение, и, окончив спор, бьется с королем Вавилонии; победив его и обратив в бегство, император со своими войдет в храм и, помолившись там, он, снимая с головы венец и, держа его со скипетром и державой перед алтарем, запоет:

Прийми мой дар, его смиренно предлагаю
И тебе, царю царей, власть свою вручаю:
Ты ведь власть царям даешь, ты один властитель,
Ты зовешься и еси мира управитель.

И, возложив на алтарь эти знаки власти, сам он возвращается на престол своего древнего царства, а Церковь, сходившая с ним в Иерусалим, остается в храме. Тогда, пока Церковь, Язычество и Синагога поют, как раньше, по очереди, должны выступить лицемеры молча и с поклонами на все стороны, заискивая перед мирянами. Наконец все должны собраться перед Церковью и престолом короля Иерусалима, который, принимая их с почетом, вполне покоряется их совету.

Тотчас вступает Антихрист в панцире под своей одеждой, сопровождаемый справа Лицемерием и слева Расколом, который поет:

Власть моя явилась скоро,
Ибо вы моя опора.
Стоит на престоле царском мне воссесть,
Властелины мира воздадут мне честь.
Вы нужны для этой цели,
Вас лелеял я доселе,
Ваш и труд, и помощь, и старание
Оправдают ваше прилежание.
Христа люди обожают,
Чтят везде и уважают.
О нем память искорените всюду,
Пусть я вместо него прославлен буду.

Лицемерию: На тебе моя основа.
Расколу: Ты ее усилишь снова.
Лицемерию: Дай скорее счастье ты для всех мирян.
Расколу: Ты же всем духовным нанеси изъян.
Лицемерие и Раскол вместе: Мир в тебя чрез нас поверит,
Во Христа не станет верить.
Лицемерие: За меня наверно постоит весь мир.
Раскол: И Христа отвергнет сам церковный клир.

Тут они должны идти перед ним, а он за ними медленно следует. И, придя перед престол короля Иерусалима, Лицемерие нашептывает лицемерам, возвещая им пришествие Антихриста. Они тотчас встречают его с пением:

В мире благочестие издавна шаталось:
Суетою отчая церковь заполнялась.
Гибельною роскошью были все объяты,
Но не любы Господу пышные прелаты.
Воцарись, взойди скорей на вершину трона
И сотрешь ты все следы ветхого закона.

Антихрист:

Как же это сбудется? [7] Я никем не знаем.

Тут они:

Мы тебе признание всеми обещаем.
Для тебя добьемся мы одобренья мира,
И вконец разрушишь ты все ученья клира.
Царство с нашей помощью ты займешь земное
И с успехом завершишь и все остальное.

Тогда Антихрист, подойдя к престолу короля Иерусалима, поет лицемерам:

На мое зачатье вы Церковь соблазнили
И в потугах тягостных наконец родили.
Одолею все теперь к царству я препоны,
Вместо ветхих новые предпишу законы.

Тут лицемеры снимают с него верхнюю одежду, восходят с обнаженными мечами и, низлагая короля Иерусалима, венчают Антихриста, воспевая:

186a Сильна рука твоя, высока десница твоя [8].

Тогда король Иерусалима подходит один к королю тевтонов и поет:

Ввели меня в соблазн коварные неверы
И овладели мной лихие лицемеры.
Царское достоинство я считал за счастье,

Коль оно устроено все по ихней власти.
Когда был блюстителем римской я державы,
Церковь процветала в ней и достигла славы.
Но теперь открылось зло твоего неверья,
А законным стало чумное суеверье.

Между тем лицемеры ведут Антихриста в храм Господень, ставя там его престол. Но Церковь, остававшаяся там, подвергшись многим поношениям и ударам, вернется к папскому престолу. Тут Антихрист направляет вестников к отдельным королям и прежде всего к королю греков, говоря:

Дан я вам, вы знаете, Божьим изволеньем,
Чтобы стал главою я всем земным владеньям.
Выбрал я для этого вас себе рабами:
Дайте миру вы закон, учрежденный нами.
Первым делом землю всю греков вы займите,
Греков же войною иль страхом сокрушите.

Вестники, подойдя к королю греков, поют ему:

Да спасет тебя, король, общий наш спаситель:
Царь царей он и всего мира управитель.
Он уже в Писании миру был объявлен,
А с твердынь небесных к нам был Отцом направлен.
И в божественности он вечно пребывает,
Нас же в благости своей к жизни призывает.
Хочет он, чтоб все его богом почитали,
Поклонялись и везде в мире умоляли.
Коль велениям его ты внимать не будешь,
То себя и всех своих от меча погубишь.

Он им отвечает:

Охотно отдаюсь я царю во служенье,
Кто достиг такой чести, по вашему мненью.
Славно и почетно ему повиноваться,
И ему хочу я всецело подчиняться.

И, повторяя это, приходит перед лицо Антихриста и, став перед ним, поет:

Саном императора я тебя венчаю,
А дабы служить тебе, царской власти чаю.

И, склонив колени, подает ему венец. Тогда Антихрист, начертав первую букву своего имени на челе царя и его людей и вновь возлагая венец ему на голову, поет:

Коль всего создателем признаешь меня ты,
Приходи с почетом ты в царские палаты.

Тогда тот возвращается на свой престол. Затем Антихрист направляет лицемеров к королю франков с дарами и говорит:

Франков королю дары эти вы вручите,
Ими франков вместе с ним к нам вы обратите.
Обряды наши близки этому народу,
И уж приготовлен путь к нашему приходу.
Их уловки вам дадут помощь в этом деле[9],
И взойдем мы на престол, коим овладели.

Тут лицемеры, взяв дары, идут к королю франков и, стоя перед ним, поют:

244a Да спасет тебя, король...

и т. д., меняя заключение так:

А теперь, уверенный в твоей доброй воле,
Он вознаградит тебя ныне еще боле.

Тогда король, приняв дары, поет:

226а Охотно отдаюсь я...

и т. д. И, повторяя это, приходит пред лицо Антихриста, коленопреклоненно подает ему венец и поет:

226б Саном императора...

и т. д. Антихрист, приняв его и поцеловав, кладет знак на него и его людей и, возложив на него венец, поет:

266в Коль всего создателем...

и т. д. Засим снова направляет лицемеров к королю тевтонов и поет:

Мощь тевтонов велика и грозна их сила,
Как свидетельствуют те, с кем сраженье было.
Их царя нам одарить надо попытаться,
Биться же с тевтонами надо опасаться:
Худшая чума они тем, кто с ними бьется,
И дарами покорить, верно, их придется.

Тогда лицемеры, взяв дары, переходят к королю и поют перед ним:

232а Да спасет тебя, король...

и т. д., снова меняя конечные стихи так:

И, хотя тебя и нет здесь перед дарами,
Заклинаем мы тебя подружиться с нами.

Тогда король тевтонов поет:

Испытать мне следует хитрости обмана
И развеять козни все вашего дурмана.
Под личиной доблести кривду вы сокрыли,

Но всегда лжецами вы будете, как были.
Исказили сущность всю христианской веры,
Но разрушу царство я ваше, лицемеры.
Весь обман коварный ваш с вашими дарами
Рухнет и исчезнет под мстителя мечами.
Сгинет злой владыка ваш с деньгами без чести,
И да ожидает он справедливой мести.

Тогда лицемеры уходят смущенными и, став перед Антихристом, поют:

Слава ты державы всей, всей глава вселенной,
Оскорбляем чернью ты, буйной и презренной.
Но тебе предречено во священных книгах,
Что склонятся пред тобой выи горделивых.
Коль по доблести своей миром ты владеешь,
Как тевтонской ярости ты не одолеешь?[10]
А Германия, смотри, власть твою ругает
И против религии рога устремляет.
Так взгляни же ты, в каком мы теперь смущенье,
И подумай о своем жалком поношенье.
Это оскорбление мощь твою да явит,
А ее владычество до конца подавит.

Тогда Антихрист:

Этот гибельный народ истреблю я, право,
За их покушение на святые нравы.
И самонадеянность в их людской гордыне
Божие величие уничтожит ныне.

Тогда направляет он вестников отдельным королям, говоря им:

Идите, надо вместе силы царей собрать,
Дабы общим натиском ярость гордых унять.

Вестники, подходя к королям, поют:

Вот уже наш властелин и Господь, бог богов[11],
С нами и своим войском выйти в поход готов,
Дабы тевтонов ярость проклятию предать
И мучеников, павших в бою, благословлять.

Тогда короли собираются перед престолом Антихриста, а он им говорит:

266a Это гибельный народ...

и т. д.

На земли Германии все вы нападите
И с царем их гордое племя истребите.

Тут все поют:

С нами Бог Господь и нас мощно опекает,
И хранить религию нам он помогает.

И, располагая свои войска навстречу тевтонским, сходятся с ними, и войско Антихриста побеждается. Тогда король тевтонов возвращается и, сидя на престоле, поет:

Кровию отеческой честь мы защищаем,
Доблестью отеческой врага изгоняем.
Право оскверненное кровью искупили,
Славу императора верно сохранили.

Тут лицемеры приводят к Антихристу хромого; когда он будет исцелен, король тевтонов поколеблется в вере. Затем приводят еще прокаженного, после исцеления которого король еще больше засомневается. Наконец, вносят носилки с человеком, будто бы убитым в сражении. И тут Антихрист приказывает ему встать, говоря:

Нам с вопросами глупцы не дают покоя.
Поднимайся и скорей покажи им, кто я.

Тогда он с носилок поет:

Ты премудрость, правды ты высший провозвестник,
Доблести, величия Божеского вестник.

И лицемеры поют вместе с ним:

278а Ты премудрость...

и т. д. Тогда король тевтонов, увидя знамение, удаляется, со словами:

При нашем натиске в опасности мы вечно:
Против владыки мы сражаемся беспечно.
При имени его мертвец вновь оживает,
Хромой опять идет, проказа исчезает.
Благоговейно честь его мы все прославим.

Тогда король подходит к Антихристу с пением тех же слов. Когда он подойдет к нему, коленопреклоненно подносит ему венец и поет:

284а Саном императора...

и т. д. Тогда Антихрист ставит знак на челе ему и его людям и, венчая его, поет:

284б Коль всего создателем...

и т. д. Тогда он идет в поход к язычникам, говоря:

Перейдем к язычникам, раз вы тверды в вере.

И, дав королю меч, поет:

Чрез тебя, наверное, и они поверят.

Тогда король, подходя к престолу Язычества и, отправив посла к королю Вавилона, поет перед ним:

Могущество Божие да пребудет вечно,
Его надо почитать: божество предвечно.
Поклоненье идолам оно проклинает,
Идолослужение вовсе отвергает.

Тогда Язычество говорит послу:

Ученье о единстве зависть породила,
Верить многобожию людям запретила.
Справедливо алчным Бог должен оказаться,
Раз ему единому надо поклоняться.
Мы же верно следуем древности заветам
И разнообразие чтим богов при этом.

Тогда посол:

Он единый наш Господь, его почитаем,
Он единственный наш Бог.

И, сбрасывая истукана, поет:

Идола свергаем!

Тотчас сбегаются язычники и сражаются с войском Антихриста; и побежденный король Вавилона ведется пленным к Антихристу. Король Вавилона тогда коленопреклоненно подает венец Антихристу, говоря:

298а Саном императора...

и т. д. Тогда Антихрист ставит знак на него и его людей, на челе их и, возлагая на него венец, поет:

298б Коль всего создателем...

и т. д. Тотчас все возвращаются на свои престолы и поют:

Единым правителем мы тебя считаем
И от всего сердца все вечно почитаем.

Тогда Антихрист, направляя лицемеров к Синагоге, поет:

Скажите иудеям, что пришел Мессия,
Дань ему несите вы, преклоните выи.
Скажите иудеям: вот я вам Мессия,
Как и обещали вам пророки святые.

Тогда лицемеры говорят Синагоге:

Племени ты царского, избранный и верный,
Всюду ты прославишься, как народ примерный.
Хоть за свою веру был долго ты в изгнанье.
Ожидал Мессию ты и его признанье.
Принесло теперь свой плод ожиданье это,
В радость превратив слова Ветхого Завета.
Таинство перед тобой твоего спасенья:

Царь родился и принес веры обновленье.
Это сам Еммануил, как гласит Писанье,
При котором воплотишь ты свои мечтанья.
Он смиренных вознесет, гордецов низложит
И на всё свою пяту властно он наложит.
Иерусалим, восстань, восстань и святися! [12]
Синагога поднимись и возвеселися.

Тогда Синагога:

Это утешение милостью Господней
За мучения в плену нам дано сегодня.
Встречен должен быть, идем, нами наш спаситель:
Заслужил достойную славу искупитель.

Тогда Синагога, поднимаясь, идет к Антихристу и поет:

С нами ты, Еммануил, вечно нами чтимый
И во славе ты своей радостно хвалимый.

Тогда он принимает подходящую Синагогу, ставя на нее знак и говоря:

Выходи через меня, позабудь изгнанье:
Возвращаю я тебе край обетованья.
К свету твоему придут все народы мира,
В твоем мире облачит всех царей порфира.

Тогда, по возвращении Синагоги, входят пророки, говоря:

Отца слово божественно от века,
Но чрез Деву вошло и в человека.
Богом сущий сделался он и смертным,
Вечный Бог он, а тут стал не бессмертным.
Не природа верна своим веленьям,
Сделала так, но Божье изволенье.
Христос нашу воспринял беспомóщность,
Чтоб немощь в нас превратилася в мощность.
Иудеи смертным его считали,
А бессмертным отнюдь не признавали.
Знаменьям, словам совсем не доверяли,
При Пилате Христа они распяли.
Он смертию своею смерть победил,
От геенны христиан освободил.
Он из мертвых встал по Божьему слову,
Всегда царит и появится снова.
Вселенную Христос огнем рассудит
И повсюду все во плоти пробудит.
Он спасенных от грешных отграничит,
Злых осудит, а добрых возвеличит.
Известно вам, что в Писанье сказано:
Енох с Илией живы, там указано.

Тогда Синагога:

Где же они?

Илия:

Мы здесь, и по завету
Ныне конец наступил всему свету.
Это Енох, а я сам пророк Илия,
Мессия нас хранил вплоть до сего дня.
Он уже здесь и вновь должен он прибыть,
Дабы чрез нас Израиля искупить.
Вот явился нашего враг закона,
Возводящий вновь стены Вавилона.
Не Христос он [но коварный Антихрист].
. . . .

Тогда у Синагоги снимают покрывало [13]. Она тотчас обращается к словам пророков, говоря:

Соблазнена Антихристом вся Синагога,
Что узрела в нем Христа, иудеев бога.
А свободы нашей днесь указали сроки
Нам Илия и с ним Енох, истины пророки.
Возблагодарим тебя, бог Адонай, царь славы,
Троичность единая божественной державы.
Истинно наш Бог — Отец с единородным Сыном,
Богом воедино с ним и с Духом их единым.

Между тем лицемеры, подойдя к Антихристу, поют:

Властитель царственный Божия величества,
Лишают ведь тебя твоего владычества.
Появились старцы суетной учености,
И они поносят славу твоей мощности.
Из книг иудеям много дают примеров,
Чтоб назвать тебя, царь, главою лицемеров.

Тогда Антихрист лицемерам:

Когда весь мир меня обожествить стремится,
Кто божественность мою отрицать решится?
Синагогу, старцев вам надо мне представить
И за легкомыслие на суде наставить.

Тогда служители, подойдя к пророкам и Синагоге, поют:

Вы, лжеслужители, глашатаи обмана,
К суду за оскорбленье Божеского сана!

Тогда пророки:

Не соблазнит сей человек неверный
Рабов Христа, служители вы скверны.

Тогда вестники приводят пророков и Синагогу к Антихристу, и он им говорит:

Ведет к безумью вас обманное ученье,
Заманивая в сеть пустого заблужденья.
Я искуплю святых, исполнив обещанье,
Мессия истинный, как сказано в Писанье.
Примите от меня вы образ чистой веры,
Камнем преткновенья я буду для невера.

Тогда пророки:

Хулитель ты и веры возмутитель,
Ты корень зла и правды разрушитель,
Антихрист ты, любови развратитель,
Облыжный бог, коварный соблазнитель.

Тогда разгневанный Антихрист говорит служителям:

Всех вас, хулителей моего величества,
Покарает рука Божия владычества.
Тот, кто любовь мою хулит и проклинает,
Суровость Бога пусть на деле испытает.
И, как овец, я всех повергну на закланье
За оскорбление и веры поруганье.

Наконец, Синагога поет свою исповедь:

Каемся в своей вине, к вере обращаемся
И все то, что нам грозит, претерпеть решаемся.

Тогда служители выводят их и убивают. Между тем Церковь, пока их казнят, поет:

Как кисть кипера, возлюбленный мой [14].

По возвращении служителей Антихрист направляет своих вестников к отдельным королям и поет:

Пусть цари сойдутся с войсками их державы:
От всех царств желаю я почести и славы.
Всё уж укрепил я рукою Божьей силы,
И она кругом всех врагов моих сразила.
Все блюдут народы и право и законы,
Бог богов сзывает всех под свою корону.

Тогда все короли собираются отовсюду со своими пред лицом Антихриста, воспевая:

Всё уж укрепил я...

и т. д. К ним Антихрист:

Это предсказали мне предвозвестители,
Верные мне мужи, прав моих блюстители.
Всем моим величьем, что давно предсказано,

Люди насладятся, как им предуказано.
А по их гибели в злой суете и горе
Мир и безопасность всех ожидает вскоре.

Тотчас раздается гром над головой Антихриста и, по его низвержении и бегстве его приверженцев, Церковь поет:

Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою.
А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием[15].

Тогда, по возвращении всех к религии, Церковь принимает их и начинает:

Хвалите Бога нашего![16]

Светская поэзия XII в.

Светская поэзия XII в. представлена здесь тремя именами: творчество Петра Пиктора характерно для начальной поры этого периода расцвета, творчество Матвея Вандомского — для его апогея, творчество Серлона Вильтонского — для его кризиса.

Петр Пиктор, каноник из Северной Франции (монастырь Сент-Омер во Фландрии) жил в первой половине XII в. и был младшим современником Хильдеберта и Бальдерика. Но овидианский классицизм еще не доплеснулся до северной родины Петра, и поэтому Петр предпочитал писать не античными безрифменными гексаметрами, а средневековыми, украшенными звонкой рифмой — иногда леонинской, чаще концевой. Так написано его стихотворное рассуждение о таинстве причастия, два темпераментных обличительных стихотворения — против симонии и против пренебрежения к учености, небольшой стихотворный панегирик Фландрии и ее герцогам и, наконец, стихотворная новелла «О матери, нечистой любовью полюбившей сына» — любопытная вариация мифа о Федре и Ипполите с развязкой на христианский лад. Из стихов его мы узнаем, что он был не только поэтом, но и профессиональным живописцем и в дневное время расписывал божьи храмы, а по ночам сочинял стихи, по шести строчек в час (но к чему, если ни искусство, ни поэзия не пользуются более уважением людей? и т. д.). Эти сатирические мотивы с сильной личной окраской получат потом бурное развитие у Примаса Орлеанского, Вальтера Шатильонского и других поэтов. Что касается поэмы «Пилат», переведенной ниже, то она приписывается Петру Пиктору лишь предположительно — главным образом, на том основании, что она написана его излюбленным размером, рифмованным гексаметром. Поэма излагает фантастическую историю Понтия Пилата, казнившего Христа, начиная от его рождения от короля-звездочета из города Майнца (Могунции) и до его погребения в Альпах в недрах той горы, которая до сих пор называется Пилатусберг.

Матвей Вандомский принадлежит к тому поколению поэтов, расцвет которого приходится приблизительно на третью четверть XII в. Смолоду лишившись отца, он получил образование сперва в Туре, где, быть может, слышал знаменитого Бернарда Сильвестра; потом в Орлеане, центре овидианского классицизма, где он еще застал в живых легендарного Примаса Орлеанского; наконец, в Париже, где он в течение десяти лет изучал логику и благородные науки. В Орлеане Матвей уже занимался преподаванием грамматики; в качестве пособия он сочинил учебник стихотворства в стихах — правила и образцы

описаний лиц, мест, времен года, подробный разбор поэтических тропов и фигур, замечания о стихосложении, в которых, между прочим, с презрением осуждаются недавно еще модные леонинские рифмы. Дополнением к учебнику стихотворства, рассчитанному на узкий круг мастеров («много стихотворцев званых, но мало избранных», — перефразирует Матвей слова Евангелия), явился учебник эпистолярного искусства в стихах, предназначенный для более широкого круга потребителей; это сборник парных стихотворных посланий, в которых клирик просит у папы помощи от утеснений клира со стороны мирян, а папа отвечает, что клир сам заслужил это своими пороками; влюбленный клирик просит милости у девицы, а та отвечает ему отказом (эта пара посланий переведена ниже); друг сочувствует другу, потерявшему свои деньги при переезде через Альпы в Италию; студент просит отца прислать ему денег, потому что жизнь и книги в Париже дороги, а отец отвечает ему: «Знаем мы, на что у тебя идут эти деньги», и т. д. В предисловии к этому письмовнику Матвей перечисляет и другие уже написанные им стихи — элегическую «комедию» о Милоне (дошедшую до нас), много стихотворений на античные сюжеты (о Федре и Ипполите, о Пираме и Фисбе, о Юпитере и Каллисто и пр., главным образом на темы из «Метаморфоз» Овидия), эпиграммы; количество их было достаточно внушительно, чтобы он мог с гордостью заявить:

Логикой славен Париж, Орлеан — изучением древних,
А элегийским стихом ныне прославлен Вандом.

Матвей в это время находился едва на половине своей блестящей писательской карьеры. Многие произведения, не перечисленные им в этом списке, были, по-видимому, написаны им позднее, во время пребывания в Париже. А после Парижа он вернулся в Тур, где архиепископом был его родственник, а деканом другой родственник, посвятил им обоим стихотворный пересказ библейской книги о Товии (ок. 1185 г.), сделанный тем же эффектным риторическим стилем, полным антитез, неологизмов и семантических сдвигов, какой мы видели в его «письмовнике», прижился в Туре и, по-видимому, здесь и умер лет через десять.

Серлон Вильтонский совершил такой же поворот от светских тем к религиозным, но если у Матвея поворот этот был плавен и легок, то у Серлона — резок и драматичен. Серлон был англичанин, но смолоду жил в Париже, преподавая грамматику, риторику и диалектику; в молодости он тоже написал цикл стихотворений «на учебные темы», с великолепной изысканностью рассуждающих о пользе грамматики, демонстрирующих примеры слов, сходных по звучанию и различных по значению, — целый набор поэтических каламбуров, мотивированных дидактическим заданием, а заодно сводящих счеты с завистниками и льстящих королю Людовику VII и другим покровителям. В отличие от своего сверстника Матвея, он писал преимущественно рифмованным гекзаметром и пентаметром, доходя до неслыханной виртуозности в нанизывании длинных вереиц труднейших рифм. Но главной темой Серлона была не дидактика, а эротика, разрабатывающая до предельной остроты все мотивы, заданные средневековью Овидием. Еще сто лет назад издатель, впервые извлекший из рукописей образцы стихов Серлона, был так шокирован их изящной откровенностью, что не решился напечатать до конца его стихотворение «Где — неважно, неважно —когда...» и оборвал его на 26 стихе. В своей браваде

«либертинажем» на античный лад Серлон доходил до высказываний, редких для его эпохи:

Ежели дух в сокрушенье — я в вере ищу утешенья;
Если конец сокрушенью — «прощай» говорю утешенью!

Затем наступил перелом. У Серлона умер друг, тоже грамматик и диалектик; он явился Серлону во сне, одетый в пергаментную одежду с написанными на ней логическими «софизмами» и скорбным голосом сказал, что эта одежда давит его тяжелее, чем колокольня; он протянул к Серлону палец, с пальца упала капля пота, обожгла Серлону руку, поэт в ужасе проснулся, раскаялся в своей ветреной молодости и простился с миром стихами:

Квакать — лягушкам, каркать — воронам, звенеть — пустозвонам,
Мне же — учиться науке, от смертной спасающей муки.

Серлон поступил в клюнийский монастырь на Луаре, но остался недоволен его слишком свободным уставом и перешел в цистерцианский монастырь в Омоне. Стихи он продолжал писать и в монастыре, риторический блеск их был прежний, но говорилось в них теперь о ничтожестве мира и о презрении к миру. В 1171 г. он стал аббатом Омона и умер в этом сане в конце XII в. Гиральд Камбрийский, историк и поэт следующего поколения, в отрочестве видел знаменитого Серлона в гостях у архиепископа Балдуина; седой цистерцианец поднял глаза на Гиральда и произнес: «И подумать только, что такой красивый мальчик должен умереть!»

Петр Пиктор

ПИЛАТ

Если бы чтили, как встарь, поэтов и их сочиненья,
Много б писателей новых свои создавали творенья;
Ныне ж в сердцах у людей лишь к стяжанью любовь обитает,
Тех же, кто пишет стихи, безумцами все почитают.
Лишь богатых они превозносят честью и славой;
Разум, доблесть души нелепой считают забавой.
Коль незаметно живешь, то всякий тебя презирает,
Если ж похвалят тебя, то друга зависть снедает.
Древность он хвалит усердно, но все отвергает, что ново;
Сам немногого стоит, других же судит сурово.
Вот почему свое имя и родины имя скрываю:
Я не обидчив — пусть книгу похвалят, меня забывая.
Пользу найдет и усладу, кто повесть мою прочитает;
В ней расскажу о событьях, о коих немногие знают.
Вымысел это иль правда — не знаю: хранится преданье
На человечьих устах, и его сберегу я в писанье.
Если ж как ложь либо всё, либо часть ты, читатель, осудишь,
То упрекать не меня, а того сочинителя будешь,

Кто эту повесть сложил и поведал впервые на свете:
Пусть он не нас очернит, пред тобою пусть будет в ответе.
Ты ж, милосердный Господь, мне на помощь приди, как бывало;
В честь и во славу твою этот труд да получит начало.
Город некогда славный на двух реках основался;
Реку звали Моганом, а Сцией приток ее звался;
Город же имя свое получил от того и другого:
Был он Могунцией [1] назван,— гласит правдивое слово.
Здесь развалины стен крепостных старожилы покажут,
О королевском дворе, о дворце его много расскажут.
Имя царю было Ат, он огромною правил державой,
Был в ту пору везде вознесен он великою славой.
Вот однажды весь день он со свитой провел на охоте:
В дебрях выслеживал зверя — усерден был в этой работе.
Время прошло незаметно, и солнце свой свет угасило;
Тьма небосклон обняла, загорелись ночные светила.
Из леса вышли они, но до города путь был немалый.
В хижине сельской решил ночевать властитель усталый.
Там за трапезою жертву обильную Вакху возлили,
Поздно встав от стола, на звезды взор устремили.
Был ученым король, искушенным в светил толкованье:
Только на звезды взглянул, и такое прочел предсказанье:
«Если бы нынче,— сказал,— разделил я ложе с женою,
Стал бы великим мой сын, все б дивились рожденному мною.
В мире при жизни его чудеса бы такие свершились,
Что небеса и земля и все бы моря устрашились».
Только он это промолвил, ответ ему спутники дали:
«Нет, далеко королева, ты к ней не доскачешь,— сказали,—
Но столь великое благо, которое ждет исполненья,
Все же свершиться должно: прими же скорее решенье!
Тот, у кого ты в гостях,— поселянин скромный и честный,
Дочь его Пилой зовут, она красотою известна.
Не с королевой, а с ней сочетайся ночью счастливой:
Сына подарит тебе она, всему миру на диво».
Дал согласье король, и звезды решили судьбину:
Девушка в эту же ночь зачала королевского сына.
Месяцев девять прошло, и в срок, природой сужденный,
Мальчик на свет появился, прекрасною Пилой рожденный.
Шлют гонца к королю с известьем о сына рожденье;
Рад был король, что сбылось небесных светил предреченье.
Вестник спросил короля, как назвать он младенца желает;
«Имя,— сказал он,— я дам, какое ему подобает.
Мать его Пилой зовут, наречен я именем Ата;
Пусть же рожденный наш сын получит имя Пилата».
Год за годом катились. Пилат мужал, подрастая,
Силой, тела красой и разумом острым блистая.
Жил при дворе короля, гордясь родителем славным;
Сам король его почитал всем юношам равным.

Радостным было начало пути, но в конце было горе:
Так внезапная буря вздымает тихое море.
Сын был у Ата другой, от жены любимое чадо,
Он у родителей был у обоих единой отрадой.
Часто играл с ним Пилат, войдя в доверье к ребенку,
Но лишь притворно его ласкал он с коварностью тонкой.
Вспыхнула ссора меж ними, и тут-то с радостью злою
Юный Пилат умертвил ребенка жестокой рукою.
Скоро молва разнеслась; все о страшном деле узнали.
Плакал король, королева в тоске, и горько рыдали
Близкие все, и дворец наполнили слезы и стоны:
Всех гнетет преступленье, свершенное против закона.
Вот, придя, к королю обращаются с речью такою:
«Славный король, нас прости! Мы все страдаем с тобою.
Надо б убийцу казнить, но дитя вернуть невозможно;
Все ж преступление это нас учит быть осторожным.
То, что случилось теперь,— оно может еще повторяться,
И потому грядущей беды мы должны опасаться.
Смерти Пилат подлежал бы, но пусть он в живых остается,
Будет заложником в Риме, сюда ж никогда не вернется».
Выслушал просьбу король и, их уступив настоянью,
Он злодея Пилата навеки отправил в изгнанье.
В Риме заложником был он, и тяжкою жизнь его стала,
И вдалеке от отчизны изведал он бедствий немало.
Там сын англов вождя в заложниках с ним находился,
Выкупа данью он ждал — Пилат будто с ним подружился,
Но коварство таил — и англ не увидел возврата:
Друга Пилат умертвил, как раньше на родине — брата.
Вызвал поступок Пилата средь граждан скорбь и волненье:
Мог быть скоро казнен Пилат за свое преступленье.
Был, однако, декретом властей он взят под защиту:
Мог ведь от Рима отпасть отец его знаменитый,
Муж, известный повсюду, умом и оружьем богатый;
В гневе он мог отказаться от дани обычной уплаты.
Остров, названный Понтом, лежал на море великий:
Там обитал искони народ жестокий и дикий.
Жили они самовластно, суда и закона не знали,
Всех наместников там и своих же царей убивали.
Править ими Пилата послать был Цезарь намерен;
Скоро его там убьют,— был Цезарь в этом уверен.
Но обманулся: Пилат дикарями правил достойно,
Он не грозил им, а льстил, и всего добивался спокойно,
Многих к себе он привлек и, дотоле врагов беспримерных,
Он в друзей своих превратил и в союзников верных.
Всем он по сердцу был, ему честь оказывать стали,
Сами же чтили закон и пред карой суда трепетали.
Слава его все росла; он «Понтийским» от Понта назвался,
Славным наместником он на высоком посту оказался.

Цезарь, сенат изумились: как мог за недолгое время
Воле своей подчинить Пилат это дикое племя?
Правил в это же время Герод иудеев страною,
Лишь называясь царем; узнал он, как ловкой рукою
Власти своей покорил Пилат и привел к послушанью
Край, где дотоле царили всегда мятежи и восстанья.
Так же надеялся он в Иудее покончить волненья,
Если захочет Пилат разделить с ним труды управленья.
Шлет к нему он посла и ему возвестить поручает:
«Царь Иудеи, Герод, тебя к себе приглашает,
Просит скорее прибыть». Пилат согласился, и вскоре
Сел на корабль, Иудеи достиг по вспененному морю.
Сам царь Герод с приветом Пилату вышел навстречу,
Щедро его угостил и повел с ним любезные речи.
Наедине он ему сообщил свой замысел скрытый,
После ж, собравши народ, объявил о деле открыто:
Знатных старейшин призвал, народ собрал для решенья;
Став среди них, объявил он о новом виде правленья:
«Граждане, вот перед вами сей муж, почета достойный,
Крепкою дружбой он связан со мной, и вручаю спокойно
Я управленье народом ему; он в трудах мне поможет,
Но без меня принимать решений важных не может».
Всем была по сердцу речь, и правителя нового скоро
Воля стала законом: народ покорился без спора.
Власть получивши, Пилат пошел дорогой привычной.
Многих любовь заслужил и привлек к себе, как обычно;
Лести, даров не жалел; и врагов, дотоле упорных,
Он в друзей превратил, его желаньям покорных.
Только почуял Пилат, что в руках его мощь и держава,
Против Герода царя плести он стал козни лукаво,
Чести ему воздавать уже не хотел по заслугам,
Все получив от него, врагом ему стал, а не другом.
В Рим гонцов посылал и наград просил ежечасно;
Стать сильнее царя он хотел и царить самовластно.
Цезарь ему потакал, его просьбам не раз уступая:
В Риме ведь все продается,— была бы рука не скупая!
И с поощренья его, голоса подкупив на собраньях,
Властью Пилат завладел, искушенный в бесчестных деяньях.
Горе! О, злое богатство! Весь мир — твое лишь владенье.
Тот, кто неправ, процветает, а правый несет осужденье.
Что ни захочет богач, всего он с тобой достигает,
Нет ведь почти никого, кто в наживу души не влагает.
Ты искажаешь добро, изменяешь суды и уставы,
Ты с беззаконьем мешаешь закон, и с бесправием право,
Церкви, приходы даришь, даже папским играешь ты саном,
Ты, нарушая устав, священство вручаешь мирянам,
Ты над царями царишь, ты — князей и вождей покоритель,
Все они — слуги твои, а ты — их бог-покровитель.

Учишь разврату жену, в блудницу ее превращаешь,
Дружбы ты не щадишь, и верности клятвам не знаешь!
Власти лишился Герод с тех пор, как врагом оказался
Тот, кто сперва его другом, помощником верным считался.
Сетовал он, что грубо его нарушено право,
Что отнята у него без суда, без причины держава.
Но Пилат отвечал, что его обвинять невозможно,
Будто он власть захватил: он не враг, это мнение ложно,
Власть вручена ему Римом, согласно владыки приказу,
Пусть их судит народ; он на суд придет без отказу.
День был назначен уже для взаимных жалоб разбора:
Пусть разграничат права и правят оба без спора.
Этой порою Господь, нам, людям, принесший спасенье,
Он, чьею жертвою мы обрели грехов искупленье,
Предан Иудою был (своей волей пошел он на муки),
Был бичеванью подвергнут, мучителям отданный в руки.
После его, по врагов наущенью, к Пилату послали,—
Так, будто праздник свой чтя, преступленье они прикрывали.
Но, растерявшись, Пилат его отправил к Героду,
Пусть решает, казнить ли его иль вернуть на свободу.
И заподозрил Герод, что ему показать уваженье
Хочет, наверно, Пилат, ища до суда примиренья.
Был осторожен Герод и, казнить Иисуса не смея,
Снова к Пилату послал, чтоб не быть заодно с Иудеей.
И поддался Пилат настояньям злодеев упорным,
И казнил «иудеев царя» распятьем позорным!
О, сколь многих, владыка Христос, твоя жизнь просветила!
Скольким грешным сердцам твоя смерть покой подарила!
Ты умирал на кресте, и земля в этот миг задрожала,
Но иудеев страна все же богом Христа не признала.
О, погибели дочь! О, слепая страна иудеев!
Ты Спасителя мира распяла между злодеев.
Смерть вместо жизни избрав, исцеление ты отвергаешь,
И того, кто жаждой томим, желчью ты напояешь.
Так исполнилось все, что из книг священных известно;
Тот, кто правил вселенной, во гроб полагается тесный.
В третий день он воскрес и вознесся, и к нам, его ждущим,
Праведный суд свой творить вернется он в веке грядущем.
После кончины Христа во главе правления стали
Флавии — сын и отец [2] — и оба тяжко хворали.
Сын проказой болел; у отца, затрудняя дыханье,
Осы в носу свили гнезда; избавить их от страданья
Не были в силах врачи; и оба в жестоком мученье
Жизнь проводили свою, нигде не найдя излеченья.
Тит господствовал в Риме и в ближних пределах Востока,
Галльской страною отец и Западом правил далеко.
Весть до Рима дошла, что Христос, великий целитель,
Лечит любую болезнь; и, надежд преисполнен, правитель

Тотчас в край Иудеи своих посылает легатов,
Спешно прислать Иисуса-врача велит он Пилату.
Страх злодея объял, когда получил повеленье;
Просит он римских легатов иметь немного терпенья.
Он, конечно, исполнит, что надо, согласно приказу,
Но подумать он должен: Христос не отыщется сразу.
Тита хотел задобрить он посылкой богатого дара,
Чтоб миновала его за распятье тяжелая кара.
Дар он легатам вручил, но им и ему же на горе.
Буря корабль отнесла на Запад в далекое море.
В Рим не попали послы и, минувши брег италийский,
В гавани вышли они в чужой стране иберийской.
Долго в Рим они шли, неся подарки для Тита,
Но, отца его посетив, рассказали открыто,
Как их Тит провожал и какое им дал порученье,
Но был напрасен их путь, и напрасно он ждет исцеленья:
Был чудотворцем Христос, и всех исцелял без изъятья,
Но жестокий Пилат его осудил на распятье.
Эти слова услыхав, император взбешенный, бледнея,
Гневом и болью томим, покарать поклялся злодея:
Смерти тот подлежит и казни без всякой пощады,
Кто обездолил весь мир, лишив столь великой отрады!
Только он это промолвил,— утихли жестокие боли,
И возвратилось здоровье, которым владел он дотоле.
Весть о чуде нежданном везде восхищение сеет,
Славу возносят тому, кто землею и небом владеет;
И к императору все, что ни день, приносят прошенья,
Чтобы Пилата он казни предал за его преступленье.
Тот отвечает, что он принимать решенья не будет,
Раньше, чем с сыном своим это дело он не обсудит.
В Рим, чтоб увидеться с Титом, отец пустился в дорогу,
Кончив на месте дела; с ним поехало спутников много,
Между ними и те, кого послал с порученьем
К Титу Пилат, чтоб его обмануть и добиться прощенья.
В эту же пору, однако, чтобы все разведать, к Пилату
Тит отправил других, искушенных в деле, легатов.
Поняли скоро они, что Пилат ответ свой затянет,
Новые козни плести и уловки выдумывать станет;
Дело решили разведать и сами пустились в дорогу,
Стали бродить по стране и расспрашивать всех понемногу.
Женщину раз повстречав, рассказали, беседуя с нею,
Кто они, родом откуда, зачем пришли в Иудею.
«Поиски ваши напрасны,— она сказала легатам,—
Умер он на кресте, на казнь осужденный Пилатом.
Этот целитель небесный не только, как мыслят в народе,
Был человеком святым,— он божественным был по природе.
Он рожден от отца, что на небе царствует вечно,
Наш человеческий род он любовью любил бесконечной.

В этот мир снизошел он, прошел через смерти горнило,
Смерть же его нам, людям злосчастным, всем жизнь подарила.
Встал он из мертвых живым в третий день, великий, воскресный,
И на небо вознесся, достойный славы небесной.
Тем, кто был верен ему, оставил он дар исцеленья
И научил их обряд совершать святого крещенья.
Веря всем сердцем в него, я его хотела прославить,
И умолила его что-нибудь мне на память оставить.
Взяв покрывало мое,— его на лбу я носила,—
Он к лицу своему приложил: я в испуге застыла!
Только коснулся его этот лик чистейший и ясный,
С той поры покрывало хранит его образ прекрасный.
Видишь Христа ты на нем, и взор его светлый и кроткий,
И божественный лик, обрамленный темной бородкой.
С жаркой любовью храню этот образ, его почитая,
Боль уступает ему, и болезнь исчезает любая.
Дам я вам мой совет — вы примите его без презренья:
Чтобы вам в Рим не вернуться, с собой не неся утешенья,
С вами поеду я к Титу; но вы мне зато обещайте,
Что невредимой вернусь я сюда, и клятву мне дайте».
Без колебаний легаты ей клятву верную дали,
Что возвратится она, не терпя ни обид, ни печали;
После Пилату сказали — пришел их срок возвращенья —
И просили его на отъезд им дать разрешенье.
Низкий преступник пытался, насколько было возможным,
Зло, совершенное им, утаить в донесении ложном:
«Тот, кого ищете вы, был врагом иудеев упорным,
Но и римским законам слугою он был непокорным!
Титу о том расскажите: такой-то виной отягченный,
Распят он был на кресте, мной законно на казнь осужденный».
В путь пустились легаты, и скоро до Рима доплыли —
Женщина ехала с ними,— и Титу все доложили:
Как этот врач из врачей, даривший всем исцеленье,
Был Пилатом самим на смертные отдан мученья.
Вздрогнул, разгневавшись, Тит и, охвачен печалью глубокой,
Он поклялся подвергнуть Пилата казни жестокой.
«Царь, не сетуй напрасно, тебе я несу избавленье
Верой,— сказала жена,— ты сейчас обретешь исцеленье;
Только уверуй в Христа, рожденного девой святою,—
Он тебя исцелит, его образ здесь пред тобою».
Тит, на образ взглянув, «Я верю!» промолвил, и сразу
Только он это сказал, исчезла с тела проказа,
Он очистился весь, влилась в него прежняя сила,
И повеление Бога здоровье ему возвратило.
Весь ликует народ, и с ним исцеленный правитель;
Общую радость всех разделил и Тита родитель.
Всем он поведал, что так же, как Тит, получил исцеленье
В миг, когда помышлял он о казни Христа в сокрушенье.

Тит с отцом порешили — об этом не было спора,—
Суд учинив над Пилатом, законного ждать приговора.
Вновь в Иудею они своих послали легатов
И немедленно в Рим явиться велели Пилату.
Он без отказа приехал, к обманам новым готовый,—
Все уже знали его и его не поверили слову.
После прибытья его был созван сенат на собранье,
Чтобы решил он, какому Пилат подлежит наказанью.
Все обсудили они, и вышло решенье сената:
На растерзанье зверям отдать злодея Пилата.
Весть дошла до него — не дождавшись заслуженной кары,
Жизнь он покончил свою смертельным кинжала ударом.
Так злополучный погиб, со своей не смирившись судьбиной,
Ряд преступлений своих завершив преступной кончиной.

Мертвое тело его на земле не предали могиле,
Но далеко от отчизны в поток его труп опустили.
Время текло,— однако и здесь не нашел он покоя.
Грянули страшные бури на Родане[3] той же зимою.
Стали тонуть корабли,— ни один не дошел до причала,
Буря шквалом внезапным в пучину его увлекала.
Жителей Вьенны повергли нежданные беды в смятенье;
В путь пустились в Лугдун, совета ища и спасенья.
Там епископы, клир и миряне мольбы возносили,
Об указании свыше, о помощи Бога просили:
Чтобы причина несчастий была им Богом открыта,
И чтобы силой своей он в беде даровал им защиту.

Взяв останки святых, чья молитва их город хранила,
На воду их опустили в челне без гребцов и кормила;
Челн поплыл впереди, а клир и народ, по уставу,
Плыли следом за ним, воспевая Господу славу.
Челн до места доплыл, где преступника тело лежало,
Там неподвижен он стал и стоял, не колышась нимало.
Вышли на берег прелаты, неся ковчеги святые,
И повеление дали исследовать глуби речные.
Тело злодея нашли,— помогла им знаменья сила,
И всемогущество Божье себя пред народом явило.

Есть вершина в альпийских горах,— о ней ходят веками
Страшные слухи: из недр, говорят, извергается пламя.
В этот адский огонь Пилатово бросили тело,
Чтобы оно, как ему подобает, в геенне горело.
Часто слышали там ликующих демонов клики,—
Грешников смерть и мученья весельем им служат великим.
Это деянье свершив, все люди домой возвратились,
И с той поры наводненья и бедствия все прекратились.

Матвей Вандомский

ИЗ «ПИСЬМОВНИКА»

Клирик — девушке

Просит влюбленный любви, как древле Назон у Коринны,
И у Елены Парис благоуспешней просил.

Нет мне надежды на жизнь, и вот, как лебедь прибрежный [4],
Смерть почуяв свою, эту слагаю я песнь.
О, звезда между звезд, бриллиант девичьего круга,
Целого мира краса, светоч натуры, привет!
Ты — мой от века удел, отрада моя и услада,
Ты —исцеленье от мук, нет без тебя мне любви.
В горьком сомненье тебя умоляю, но лучше признаться
В смертных ранах моих, чем, умирая, молчать.
Мне упованье велит дерзать, а страх воспрещает,
И в колебанье моем страсть указует: «Пиши!»
Благоговейно склонясь пред тобою, тебе предаюсь я,—
Пусть же милость твоя даст мне желанный покой.
Ты озаряешь меня сияньем, живишь благодатью,
Лик твой — пища для глаз, сам же я — пища любви.
Бледность моя и вздохи мои выдают мою жажду,
Сохнет тело мое, изобличая любовь.
В каждом слове моем, в каждом взгляде, в движении каждом
Весть о страсти моей, глас о жестокой любви.
Ты мне смертная казнь и ты мне крестная мука,—
Лишь о твоей красоте целыми днями томлюсь.
Ночью на ложе моем испускаю стенанья и стоны;
Изголодавшись во сне, влажно блуждают глаза.
Ночью воочью стоишь предо мной,— любуюсь любимой
Шеей, лилеи белей, лбом, как слоновая кость.
Всем хороша ты, и статной походкой, и светлой улыбкой,
И остротою речей в юной твоей простоте.
Мнятся мечте поцелуи твои, объятия манят,
Праздной влекусь я мечтой к ложу стыда твоего.
Мнятся Венерины царства, еще не покрытые пухом,
Царства, таящие сласть в недрах медовых своих.
Это мечта; но если мечта поженится с былью,
Буду блаженнее я, чем громовержущий бог.
Божеской волей моей тебе назначаю я ложе,
Перед тобою излив ласки, моленья, слова,
Речи мои изливаю, Улиссовым мечу чеканом
Каждое слово мое — так обольщают богинь.
Слов подсказчик моих — искуснейший в мире petития:
Пламень жаркой любви, рвущейся к цели своей.

Видя тебя пред собой, я словно звезду свою вижу,
И, побелев, ослабев, я цепенею, любя.
Нем становлюсь, смеркается ум, безмолвствуют речи,
Дух витает вовне, робкое слово дрожит.
Заговорить решась, не решусь, и начавши, не кончу,
Слово со словом и мысль с мыслью утратили связь.
Ум похитила мой Венера жестокая, ибо
Перед тобою моя стала невеждой любовь.
Все пять чувств у меня единой Венере покорны,
Зренью вослед торопясь общую службу служить.
Горше всего для любви утратить дары осязанья —
Что не дано наяву — в воображенье придет.
Вид твой питает мой взор и дразнит мое осязанье —
Сладость вкушают глаза, голодом мучится ум.
Ежели дастся покой, и сон благодетельным гостем
Томные вежды сомкнет,— это во славу твою.
Мне в страданьях моих сострадают ночные виденья —
Сон благодетельный мне мнимую негу дарит.
Зло, которое въяве,— добром, которое мнимо,
Рану — бальзамом мечты лечит целительный сон.
Образы ночи меня ободряют, обманы ласкают,
Мнимости благотворят, зыбкие лики целят.
Я пробуждаюсь, встаю, вздыхаю, и внутренний враг мой
Вновь предо мною, и вновь гнет меня гневный Амур.
Припоминаю ночные утехи, о призрачных ласках
Вспомню, и сердце мне жжет память минувших услад.
Жалуюсь горько, что ночь коротка; мимолетная радость
Пленному сердцу милей, чем повседневная боль.
Вот мечта моя, вот мольба моя; ты мне причина
Муки, ты для меня стань исцелением днесь.
Страх терзает меня, отчаянье мучит мне душу,
В тщетном желанье моем скорбной кончиной грозя.
Знай, что твоя красота угрожает пороком себе же —
Омут злонравий людских топит людскую красу.
Только злонравье твое меня в отчаянье ввергло —
Мачеха добрых чувств, матерь жестоких и злых.
Горе несчастному мне! Я вижу: лилейная прелесть
Зимний скрывает мороз, злобный питает обман.
Тень омрачает лучи, червяк под розовым стеблем
Тлит цветущий цветок, роза без розы грустит.
Розу губят шипы, дуновение губит лилею,
Зеркалу гибель — туман, солнца сиянию — ночь.
Червь крадет цветок у цветка, затмевается мраком
Солнце, денницу темнит всеиссушающий Нот.
Лик пленителен твой, но твою красоту повреждает
Веред гордыни, увы, в розовых этих устах.
А ведь умеют они благосклонными быть, снисхожденье
Знать и покорную лесть в нежных словах изливать.

Если бы всех ты равно отвергала, поверь, я не стал бы
Твой добродетельный пост тщетной мольбой сокрушать.
Но ведь меня одного ты гонишь, а рыцаря любишь:
Страсть презираешь мою, страстью к другому горя.
Гнусь я — он горд; молю я — он царь; пригубил я — пьет он;
Я вдалеке — он вблизи; я потянусь — он берет.
Я позабыт — он в чести; я пылаю любовью — он тлеет;
Он избранник — я червь; он торжествует — я раб.
Он наслаждается — я терзаюсь; он властен — я предан;
Он наступает — я прочь; он попирает — я в прах.
Я засеваю — он жнет; я охочусь — ему вся добыча;
Требует он — я прошу; царствует он — я клонюсь.
Таю — он тверд; терплю — он гнетет; стенаю — смеется;
Я в нищете — он богат; я лишь люблю — он любим.
Вот чего я боюсь, и ты — причина боязни;
Страх — сородич любви, страх — и сообщник любви.
Страх разлучает друзей, страх женщину делает мерзкой,
Страх протечет, как река,— станет соперником друг.
Я уйду — он придет; я дам — он даст, соревнуясь;
Чувствую: в сердце моем ревностью вздута любовь.
Я страдаю, а действует он: страданье от действий
Отделено; переход — не для того, кто влюблен.
Да, спряженье любви в страдательном скрыто залоге,
И для меня «любить» — непереходный глагол.
Где же действию быть? На себя лишь оно обратимо:
Мучусь, томлюсь, бешусь — вот страданье мое.
Я люблю, но я не любим: глагол злополучный
Сам о спряженье своем, недоучась, позабыл.
«Я люблю» — плачевнейший звук! но сделай замену
«Лю» на плавное «им» — будет блаженнейший звук!
«Я любим» — и счастье со мной, и боюсь лишь отмены
Слога слогом, чтоб вновь не получилось «люблю».
Если расплавится плавное «им», то расплавится сердце:
С плавной согласною сам, плавясь согласно, сольюсь [5].
Вся надежда моя — на стойкость плавного слога;
Ах, надежда слаба: плавность скользит из-под рук.
О, какими цепями сковать мне флексию с корнем?
Горек корень любви, коль во взаимность не врос.
«Я любим» — есть мужеский род, а женский — «любима»;
В мужеском роде, увы, это словцо не в ходу.
Как же иначе? Слова «я любим» бескорыстием дышат,
В жизни же нашей царит своекорыстия тлен.
Может ли кто сказать «я любим»? Никого не полюбят,
Если подарка не дашь: любят не давших, а дань.
Если посредником в деле не выступят властные деньги,—
Не приведет ни одна к цели желанной тропа.
Просишь меня о подарке? Люби не меня, а подарок!
Что принесут, принимай; тех, кто принес, прогони.

Деньги всеми любимы, любовь безденежна страждет.
Всем, что имела любовь, ныне владеет кошель.
Даром должны дариться дары, велит нам Венера,
Ибо с торгов благодать блага не может нам дать [6].
Род мой смущает тебя? Поверь, я из знатного рода,
А добродетель во мне — знатность вторая моя.
Действовать дай мне залог! Откажись отказывать доле!
Вдоволь страдав за тебя, действие я заслужил.
Ведь никому не дано целомудренной быть и красивой:
Враг стыда, красота служит Венере одной.
То, о чем я молю, ты дашь или мне иль другому:
Более я отстрадал, большего я заслужил!
Твой я и буду твоим; склонись к молящему слезно,
Верности клятву прими, в муках его исцели!
Быть благосклонной спеши: промедление — враг обещанья,
Ибо мешает оно меру заслуг оценить.

Девушка — клирику

Та, кто любима, тому, кто любим, посвящает посланье,
Искрою дружбы стремясь пепел бесплодный возжечь.

Жатвы желанней тебе не собрать от сеемых севов,
Если стенанья твои честному браку во вред.
Знаешь, каких посягательств, каких домогательств, ласкательств
Окружена я кольцом,— всяк вожделеет меня.
Но не на блуд, а на брак мои стремятся желанья —
Брачного ищут венца толпы моих женихов.
Больше никто меня не склонял к порочным усладам —
Ты единый посмел о сладострастье молить.
Если бы кто обратился ко мне с таковыми словами —
Тотчас бы грянул над ним гнев мой жестокой грозой.
Ты говоришь: ты влюблен, и любовь влюбленного нудит
Любвеобильем речей девы испытывать слух.
Ты не влюблен, а вспален! не любовь, а кровь, закипая,
Горько безумит тебя — праздной ты пашешь сохой.
Ты обмануть меня мнишь — тебе ль называться влюбленным?
Свой утративши стыд, ныне ты льстишься на мой?
Нет! скорее умру, чем первины девической чести
Я пожелаю принесть в жертву нещадной молве.
Да, скорее умру, чем, торг совершая позорный,
Я позволю себе общею стать и ничьей.
Благоухание доброй молвы сильней сребролюбья —
Пусть же к моленьям твоим честь моя будет глуха!
Пусть не придется вовек мне постыдную взыскивать плату
И, как продажная тварь, в грязном доходе смердеть!
Брать ничего не хочу и давать ничего не хочу я,
Чтоб на посмешище всем девичий выставить стыд.

Ты бы должен мне быть примером добра и спасенья,—
Ныне же в грех и порок твой меня вводит пример.
Я не Таидою быть, Пенелопою быть я желаю,
Я не в блудилище рвусь, а в Гименеев чертог.
Лгать не хочу, скрывать не хочу лица под личиной:
Ты в Пенелопе не льстись сердце Таиды найти.

Даже если бы я склонилась пред волей Венеры,
То не к тебе, школяру, а к мирянину склонюсь.
Ваш удел — болтовня: вся грязь, что вошла в ваши уши,
Не задержавшись в уме, рвется, у вас с языка!
Вы ненавистны для всех надменностью вашею вредной,
Брюхом, торчащим вперед, жадно берущей рукой.
Ваша тонзура сулит обещания без исполнений,
И необузданный гнев, и ненадежную страсть.
В чем ты усерден, о том и на мельнице слух и в пекарне:
Все, кто о том говорят, дурно о том говорят.
В чем не усерден, причина тому — одно лишь притворство:
Хуже то, что ты скрыл, нежели то, что открыл.
С клириком жить — незавидный удел: народ попрекает,
Шут смеется в лицо, блудные девки язвят.
Всем я позорище, черни посмешище, людям потеха:
Чудище видят во мне, пальцами кажут мне вслед.
Клирику сына родишь — его и травят и мучат:
Кличут: «безмозглый дурак», кличут: «алтарный сынок».
Об иерее своем злословит толпа площадная:
«Ленится днем!» — говорят, «Трудится ночью!» — кричат.
«Гляньте,— кричат,— на попову жену: вот-вот разродится!
Не от святых ли даров вспухла утроба у ней?»
Клирик идет — перед ним идет его тучное брюхо,
Шея, как башня, стоит, жирные складки висят.
Коль тароват иерей, тароват он на сладкие яства:
Жиром полнится плоть, жаждою полнится дух.
Глотка его, разинувши зев, поглощает бездонно
Все, что способен вместить емкого тела сосуд.
Словно пиявка, он тянет вино из стеклянных бокалов,
Но святотатством почтет Вакха разбавить водой.
Буйство хмельное кипит, бушуют Вакховы силы,
И, возгорясь во хмелю, пагубно пышет любовь.
Далее сон подступает к нему и валит на ложе,
И устрашающий храп вмиг сотрясает весь дом.
Пучится бурно живот, в нем пища сражается с пищей,
Ветры проносятся вглубь, винные волны мутя,
Вот-вот грянет гроза,— но не стану описывать дале:
Стыдно девичьи уста мерзким рассказом пятнать
Ежели нищенка станет просить у него подаянья,—
Право, скорее подаст адский владыка Плутон.
Ежели вдруг и решится подать,— помрачится священник,

Тучей нахмурится бровь, молнией вспыхнут зрачки.
Ежели некогда медлить — подаст и раскается тут же,
Кликнет служанку с вином, будет браниться и пить.
Многое можно сказать о том, что относится к делу,
Только девический стыд мне говорить не велит.
Клирик неверен в любви, любовь у него быстролетна,
Мыслит он лишь об одном — розу девичества смять.
Лилии чистый цветок он рвет бесстыдной рукою,
В прах бросает и прочь к новым летит цветникам.
Всюду недолгий он гость, отовсюду беглец торопливый,
Злато девических ласк он расточает, глумясь.
Вот она, пагуба, вот почему подозрителен девам
Клирик, и разве у них безоснователен гнев?
Вот почему на твои не решаюсь склониться призывы,
Чтобы с торгов не пойти на посмеяние всем.

Мне ли стыдиться поста? Я служу целомудрия в храме,
Вход охраняю святой, грешная мзда мне претит.
Я отвергаю любовь, я на ласки скуплюсь не из чванства —
Нет, дороже мне честь, нежель любовная лесть.
Ты полагаешь, моя красота тебе обещает
Быстро достичь и легко цели желаний твоих?
Это безумье твое говорит в тебе! Облик пригожий
Есть не отмена стыда, а утвержденье любви.
Не во вражде красота с добродетелью: пусть хороша я
Телом моим и лицом — все-таки лучше душой.
Ты упрекаешь меня, что любовь меня к рыцарю клонит?
Зря упрекаешь, поверь: мной не заслужен упрек.
Рыцарь таков же, как ты, он так же кружит надо мною,
Так же сбиваясь с пути, так же теряя слова.
Гонится он — я бегу; он плачет — я радуюсь сердцем;
Я отвращаюсь — он льстит; я презираю — он льнет;
Рвется — гоню; стремится — бегу; умоляет — противлюсь;
Плачется — я веселюсь; царствую — он преклонен;
Требует — я не даю; вздыхает —я слух замыкаю;
Он наступает — я прочь; он пламенеет — я лед;
Взгляды его на меня — мои от него; он любезен —
Я надменна; скорбит — тешусь; стенает — нема;
Он говорит — я молчу; он хвалит меня — забавляюсь;
В двери стучит — я запрусь ; любит — а я не люблю.
Множит мольбами мольбы, посулами множит посулы —
Видно, привык достигать цели желаний своих.
Стыдно ему неудач — и притворному рад он успеху:
Коль не под силу грешить — рад он и виду греха.
Сеет, чтоб жатв не видать; плывет, чтобы ввергнуться в бурю;
Семя бросает в песок, судно бросает на риф.
Юности цвет, багрец добродетели, рода вершина —
К этому рвешься, бедняк? Многие молят о том!

Годы еще не пришли мне учиться в Венериной школе,
Шею склонять под любовь — слишком сурово ярмо.
Если Венере ты служишь и сеешь Венерины стрелы,
Должен ты знать, что любовь жжет беспощадней, чем Пирр[7].

Впрочем, ты ведь красив, и был бы любви ты достоин,
Если бы лишь пожелал к миру вернуться опять.
Что неприятно в тебе? Гуменце, пробритое сверху,
А на затылке торчит жесткая щетка волос;
Вечное пенье псалмов и шарканье сбитых сандалий,
Ряса — лоскут к лоскуту, с давних не мытая пор!
Знаю, что нравлюсь тебе, что любишь меня, что страдаешь;
Тронуто сердце мое; все же сильней неприязнь.
Тем, кто служит любви, иное обличье пристало —
С виду пригожи они, кроткое сердце у них.
Ты мне любезней других, и твоим я отвечу желаньям,
Если не станешь искать чести девичьей моей.
Неблагодарною быть не хочу, тебе отплатить я
Рада добром за добро; ежели хочешь — прими!
Сделай, что говорю,— иначе труды твои тщетны;
Сбрось свою рясу, женись — верною буду женой.
Пусть отрастут волоса на твоей обритой макушке,
Пусть, ниспадая до плеч, в мир мирянина вернут.
Или прими мой совет, или вовсе оставь упованья,
Ибо дурного просить — значит дурное таить.
Так обуздай же себя, поверь, что победа славнее
Там, где сильнее порок, попранный духом твоим.

Серлон Вильтонский

ЛЮБОВНЫЕ ЭЛЕГИИ

* * *

Хочешь от денег пропасть, но не хочешь, чтоб деньги пропали?
Что ж, за деньгами гонись — деньги поймают тебя.
Знай: Фортуна тебя затем лишь обходит дарами,
Чтоб не пришло тебе в мысль: «это — заслуга, не дар».
Цепких рук и зорких очей не любит Фортуна —
Вечно следящих очей, крепко хватающих рук.
Есть у Фортуны закон, хоть и мчится она без закона:
«Тем, кто ищет, не дам; тем, кто не ищет, даю».
Если с Фортуною ты незнаком, познакомься с Таидой —
Слезно зови — не придет, а отвернись — прибежит.
Стало быть, если тебе любовь от Таиды желанна —
Меньше люби ее сам — больше полюбит она.

* * *

Предан Венере Назон, но я еще более предан;
Предан Корнелий Галл — все-таки преданней я.
Галл воспел Ликориду, Назон пылал по Коринне —
Я же по каждой горю; хватит ли духа на всех?
Раз лишь — и я утомлен; а женщине тысячи мало;
Ежели трудно и раз — как же я тысячу раз?
Я ведь умею желать лишь покуда девица желанна:
Можно, не тронув, желать; тронешь — желанью конец.
Если надежда — желанья исток, то, насытив надежду,
Можно ль надежду питать? Нет и надежды на то.
Волк — овец, воитель — врагов, и ястреб — пернатых
Не утомляются гнать когтем, клыком и мечом;
Изголодавшийся волк не сыт единой овцою,
Воин — единым врагом, ястреб — единой из птиц.
Так и моя любовь за одной на другую стремится:
Лучше той, что имел,— та, что еще не имел.
Холод встречая, горю; огонь возбудив, холодею;
Любящих дев не любя, рвусь я к девичьей любви.

* * *

Где — неважно, неважно — когда, и неважно — с которой
Девушкой был я один; девушка строгой была.
Ночью, вдвоем, и строга! Ее увещал я стихами —
Страсть была на лице и убежденье в словах:
«Злая, зачем ты бежишь? Тебе я не враг, а влюбленный;
Я не Циклоп, я Ацис [8]; весь без остатка я твой.
Всех, кто были мои,— не ищу, не хочу, не желаю:
Жажду я только тебя, жажду я жажды твоей.
Все в тебе хорошо, одно только плохо: не любишь.
Тот не достоин любви, кто не желает любить!
Ты посмотри на меня, на себя — друг друга мы стоим;
Здесь мы одни, и темно; требует жертвы Амур.
Молви, зачем мужчинам их мощь и женщинам прелесть?
Силой желанны мужи, девы желанны красой.
Тот, кто меда не знал, тому и не хочется меда;
Кто хоть попробовал мед, снова запросит его.
Если ты знала любовь — любовь оттолкнуть ты не сможешь;
Если не знала — пригубь: это не горечь, а сласть.
То, что природой дано, грешно отвергать человеку:
Стало быть, выбор один — или любовь, или грех».
Дева не знает, как быть, страшась и того и другого:
Девство боится любви, а простодушье — греха.
Я приступаю тесней, обнимаю ее и целую;
Правой рукою обняв, левой касаюсь бедра.
Спорит и бьется она; но я уж нащупал рубашку,
Выше и выше тяну; вот уж открылся пушок.

Сжаты колени; разжал; и чувствую, как разымаю
Девичью нежную плоть с чувством, лишающим чувств.
Девушка дрожью дрожит, трепещут испуганно ляжки,
Замерло сердце в груди, тело идет ходуном.
Ищет в этом биенье она для себя вызволенья;
Я же все глубже люблю, все сладострастней любовь.
Ах, простота, простота! Зачем девичество деве?
Глупо и думать о том, будто в убытке она.

* * *

Как принять мне решенье? К двум женщинам чую влеченье.
Как же я предпочту: выбрать мне ту или ту?
Та прелестна, и эта прелестна; их прелесть чудесна;
К этой чувствую страсть, в этой предчувствую сласть.
Словно Венера с Фетидой — обе прекрасные с виду:
Эта речами вольней, эта любовью сильней.
Первая, знаю, обманет, вторая противиться станет —
Лучше я сам обману или же сам оттолкну!
Ту я люблю и другую — а может, ни ту, ни другую?
Две любви у меня, два в моем сердце огня.
К той и другой порываясь, меж той и другой разрываясь,
Как я спасусь от любви? Та и другая в крови.
Лучше лишиться победы, чем знать от победы лишь беды —
Хуже любовных бед в целой подсолнечной нет.
Кто средь моря сомнений своих же бежит наслаждений?
Я, один только я,— правя ладьей без руля.
Две надо мною напасти, у злых я Эринний во власти;
Чувствую, скоро мою море потопит ладью.
Что пожелать, я не знаю: немыслимо все, что желаю;
Знаю, что тщетно томлюсь,— но безответно молюсь.
Лучшая участь понятна, но худшая участь приятна —
Грешник я и судья, но снисходителен я.
Если одну изберу я, тогда потеряю другую;
Если обеих вдруг,— обе уйдут из-под рук.
Будь две подруги — единой! иль будь двойным я мужчиной,—
Я б исцелился тотчас — пламень тотчас бы погас.
Нет, он не гаснет, не гаснет, а только пылает ужасней —
Страсть, не сгорая, горит: что же меня исцелит?
Страсть мне силы приносит, обман косой меня косит —
Что же должно победить? Мне умереть или жить?
Нет! обеих в объятья — и буду с обеими спать я:
Вот спасения глас! Боги, надежда на вас!

Вальтер Шатильонский

Один из самых известных поэтов XII в., Вальтер одинаково известен и как Вальтер Лилльский — по месту своего рождения, и как Вальтер Шатильонский — по месту своего многолетнего преподавания. Он родился около 1135 г., учился в Париже и Реймсе, несколько лет служил в канцелярии Генриха II Английского, где сблизился с Томасом Бекетом и Иоанном Сольсберийским (сохранилась его переписка с Иоанном от 1166 г.). Когда между королем и Бекетом возник конфликт, Вальтер оставил службу у короля и стал преподавателем в Шатильоне. Кроме того, он изучал право в Болонье и бывал в Риме. Возможно, что там он познакомился с Вильгельмом, архиепископом Реймсским, и поступил к нему на службу в качестве нотария. Вильгельму он посвятил свое крупнейшее произведение — поэму «Александреида», которую он писал пять лет (ок. 1178—1182 гг.). В награду он получил место каноника в Амьене. Умер Вальтер в первые годы XIII в.; имеются недостоверные сведения, что он болел проказой и скончался от последствий слишком усиленных бдений и самобичеваний.

«Галлия вся звучит песен напевом моих», — гордо написал Вальтер в своей эпитафии. Под «песнями» он имел в виду прежде всего свои лирические стихотворения — как любовного содержания, так и морально-обличительные, направленные против Рима и безнравственности клира. Вызвавшие бесчисленное множество подражаний, эти песни стали достоянием певцов-вагантов и напечатаны в нашем сборнике в разделе «Поэзия вагантов». Но главным трудом Вальтера была «Александреида» — одно из высших достижений гуманизма XII в.

Александр Македонский давно, еще со времен поздней античности, стал поэтическим героем на равных правах с мифологическими фигурами. Отношение к нему в христианской литературе двоилось. С одной стороны, образ завоевателя всего мира, погибающего в 33 года, был удобным предметом для размышлений о суетности всего земного и для назиданий о наказуемости тщеславия и гордыни. С другой стороны, поэтическое обаяние образа юного героя-победителя было слишком сильно. Оно поддерживалось античной традицией преклонения перед сверхчеловеческим подвигом Александра и, конечно, свойственным всякому фольклору культом молодого героя. Вальтер Шатильонский самым решительным образом принимает эту вторую, светскую концепцию деяний Александра. Всякое моралистическое осуждение у Вальтера отсутствует; Александр у него — безупречный герой, носитель всех добродетелей; славолю-

бие его — не порок, а неотъемлемая часть героического «веледушия»; все эпизоды, пятнающие этот светлый облик Александра (убийство Каллисфена, сожжение Персеполя), сокращены в поэме до минимума. Более того, христианское представление о боге вообще почти исчезает из поэмы. Двигателем предприятий Александра и вершителем его участи оказывается безликая Судьба, в античном понимании этого образа. Смерть Александра — не кара за гордыню, а неизбежное восстановление мирового равновесия, поколебленного его завоеваниями. Определяют ему смерть не силы неба, а, в конечном счете, силы ада: адский владыка Левиафан (образ библейский), в тревоге за свои владения, обращается с просьбой к все размеряющей Природе (образ философский, родственный центральным образам поэм Бернарда Сильвестра и Алана Лилльского), и та, согласившись с ним, обращается, чтобы погубить Александра, за помощью к Предательству (аллегорическое олицетворение). Александр умирает, и после смерти должен взойти на Олимп, где ему суждено стать необходимым помощником Юпитера, уже старого и дряхлого (весь олимпийский мир у Вальтера — вполне языческий, непосредственно заимствованный из латинских классиков). Из всех откликов латинского гуманизма XII в. на античность поэма Вальтера Шатильонского — самый «античный» по своему духу.

Поэма состоит из десяти книг. Малые эпизоды деяний Александра опущены, в центре внимания — два основных этапа борьбы Александра с его антагонистами: Дарием Персидским и Пором Индийским. Основной источник Вальтера — Квинт Курций, в которого внесены некоторые дополнения по Юстину, Иосифу Флавию, Юлию Валерию (автору латинской версии «Романа об Александре», IV в.) и даже некоторым христианским и талмудическим источникам (так, в сновидении Александру является иудейский первосвященник и просит его в своем походе пощадить Иерусалим; и Александр выполняет эту просьбу). Описания битв и походов отлично выдержаны в стиле Вергилия и Стация. Любопытно авторское отступление в середине поэмы (конец V книги): Вальтер жалеет, что во Франции нет такого короля, как Александр, чтобы повести христиан на сарацинов и обновить Восток Христовым крещением. Тема Александра в пору подготовки третьего крестового похода обладала не только литературной, но и политической актуальностью.

Успех поэмы был огромен. Многочисленные ее рукописи часто снабжены глоссами, указывающими на то, что она изучалась в школах. «Александреида» послужила источником для целого ряда рыцарских романов XIII в. об Александре на национальных языках: немецком, испанском, голландском, исландском и чешском. Но тот пафос светской героики, которого достиг в своей поэме клирик Вальтер, не был достигнут ни в одном из этих рыцарских романов об Александре.

АЛЕКСАНДРЕИДА

Пролог

Так уж повелось меж людьми, что если до слуха толпы дойдет что-либо новое, то обычно мнения ее резко расходятся: одни встречают это новое рукоплесканиями и утверждают, что все, ими

услышанное, заслуживает хвалы, другие — то ли по невежеству то ли уязвленные жалом зависти, то ли разжигаемые враждой — не признают даже того, что выражено прекрасно и требуют, чтобы стихи, превосходно выкованные, были снова положены под молот [1]. Удивительно, что человеческий род так извратил свою изначальную природу,— ведь согласно ей, все, сотворенное Богом, создано им очень хорошо,— что он стал более склонен к осуждению, чем к снисходительности, и то, что можно было бы оценить так или иначе, он охотнее порицает, чем истолковывает с благосклонностью.

Вот этого-то я и опасался, моя «Александреида», и долго намеревался скрывать этот труд, над которым работал целых пять лет, и либо вовсе уничтожить его, либо хранить в тайне, по крайней мере, покуда я жив. Но наконец я все же решил выпустить тебя в свет, чтобы осмелилась ты включиться в число произведений, доступных для всех. Ведь не считаю же я себя лучше Мантуанского поэта [2], творения которого превосходят талант любого смертного; но и они были терзаемы языками его противников-поэтов, которые осмеливались уже после его смерти упрекать того, с кем при его жизни никто не мог сравниться. Да и Иероним, муж красноречивейший и благочестивейший, нередко в предисловиях к своим сочинениям возражает своим завистникам и дает ясно понять, что среди писателей никто не может считать себя в безопасности,— раз уж человека, пользующегося всеобщим признанием, уязвляют своим жалом завистники.

Поэтому я хочу попросить читателей этого небольшого труда — если кто-нибудь с любовью прочтет его и если он найдет в нем что-либо, заслуживающее осуждения или насмешки,— пусть примет во внимание и краткость срока работы, и возвышенность самой темы, к которой, как свидетельствует Сервий, никто из древних поэтов не решился приступить. Пусть, учтя все это, он научится снисходительно судить о многом таком, что, строго говоря, могло бы подвергнуться осуждению. Но об этом — довольно! Теперь приступим к делу неотложному: чтобы тот, кто захочет что-либо нужное разыскать, мог с легкостью это найти, разделим все произведение на главы.

[Александр и Аристотель]

(I, 27—115, 164—202)

В детские годы, когда еще были пухом покрыты
Мальчика щеки, когда на лице не курчавился волос,
С Марсом поспорить он не был готов, но всем своим сердцем
Рвался к оружью: слыхал он не раз, что должны быть подвластны
Земли Пеласгов отцу, но их, подчинив себе, Дарий [3]
Держит под игом; и мальчик, разгневан, вскричал, негодуя:

«О, как медлительно время течет! Когда же удастся
Мне, в смертельном бою, взмахнув мечом засверкавшим,
Сбросить персов ярмо? Когда мне удастся, тирану
Медленный бег колесницы пресечь нападением быстрым,
Войско повергнуть в смятенье? Когда же львенок поднимет
Знамя свое? И когда же, увенчанный шлемом, он сможет
С мощным сразиться врагом? И разве в своей колыбели
Не был младенцем Алкид [4], когда двух змей кровожадных
Он, задушив, умертвил? А разве бы я не решился
Подвиг такой же свершить, когда б до сих пор не внушало
Мне ребяческий страх Аристотеля славное имя?
В возраст двенадцатилетний — пусть тело еще не окрепло —
Доблесть души велика; возмещают цветущая юность,
Пылкий задор недостаток годов! И доколь меня будут
Сыном считать Нектанеба? Нет, выродком я не останусь!» [5]
Так он сам с собой говорил в негодующем сердце.
Если львенок увидит, в краю рожденный Гирканском,
Как олени пасутся, рога свои гордо раскинув,
Мигом забудет, что тело его еще не окрепло,
Что он на лапах нетверд, что не выросли острые зубы,
Весь задрожит и, беззубую пасть языком облизавши,
Крови еще не вкусив, он в мыслях крови напьется.
Слабы мышцы его, но созрела воля к победе.
Так же безудержно мальчик и жадно стремился к оружью.
Пусть не окрепла рука, но львиное мужество в сердце.
Храбрым духом своим обгоняет он возраст незрелый.
Но в это время учитель, худой, неубранный, бледный
(Мощная сила ума на лице его отражалась),
Свой покинул покой, где он днем и ночью трудился,
К смелому бою готовя логических цепь доказательств.
Тяжки усилья ума и не выдать их невозможно!
Часто светильник в ночи учителя лик исхудалый
Долго лучом освещал, истощая телесные силы.
Бледная кожа к костям, казалось, крепко прилипла,
Резко лицо очертив, и покровом сухим обтянула
Пальцы тонкой руки, и суставы, и слабые мышцы.
Да, к размышлениям страсть за собою ведет изнуренье,
Вес отнимает у тела; и все, что пища приносит,
Внутренний дух человека сжигает в труде непрерывном.
Тотчас увидел учитель, что сын Филиппа разгневан
(Облик, пылавший огнем, выдавал затаенную ярость),
Сел и спрашивать стал, почему он так распалился,
Что возмутило его, отчего эта гневная вспышка?
Мальчик с почтеньем взглянул своему учителю в очи,
Скромно глаза опустил и, к коленям его приникая,
Горько сетовать стал, что отца-старика угнетает
Дария чуждая власть, что лежит во прахе отчизна,
И залился слезами, рыданьями гнев распаляя,

Но со вниманием жадным впивал он учителя речи:
«В разуме сила твоя и твой меч, македонец мой юный!
Доблесть ты носишь в душе — показать ее надо на деле.
И советы мои пусть на́крепко ум твой запомнит.
Помни прежде всего — презирай рабов двуязычных;
И негодных людей, природой приученных ползать,
Слишком высоко не ставь: поток, от ливней разбухший,
Яро бурлит и бушует, сильней, чем глубокие реки.
Раб, стяжавший богатство, нежданно достигший почета,
Станет врагом господину, как аспид коварно ужалит,
Уши его для просящих закрыты, чужда ему жалость.
Это, однако, тебе пускай никогда не мешает
Тех наградами чтить, кто своею доблестью славен
И благородством души; пускай не богат он достатком.
Пусть и родом не знатен, и предков лишен именитых,
Если правду сказать, богатство не пользу приносит
Нравам, а вред: ведь оно — ночной чудовищный призрак;
Нет зловредней его и нет его развращенней.
Тот же, кто не богатством, а доблестью всех превосходит,
Тот лишь владеет именьем, которое злата дороже.
Этим искупит свой род незаметный и будет считаться
Он именитым и знатным: извне не дается лишь доблесть.
Внешних отличий не надо тому, чей дух в изобилье
Внутренней силой украшен — и в этом его родовитость.
Если распря возникнет, в суде своем будь независим!
Пусть ни пристрастье не склонит тебя, ни дары не подкупят;
Не угождай никому, будь в своих непреклонен решеньях,
Примет подарок судья,— обличит его цензор суровый.
Подкуп уводит судью с прямого пути, притупляя
Зренье, а разум и честь густым облекая туманом.
Если хоть раз допустит к себе он мать всех пороков,
Жадность, злую чуму, она наложит оковы
Разом на доблести все: презирая право и правду,
Ум к преступленьям влечет, закон из суда изгоняет.
Слабых щади, будь доступен мольбам и смиряй горделивых [6].
. . . .
Что еще мне сказать? Пускай тебя не расслабит
Роскоши жажда, пусть страсти любовной твой дух не поддастся,
Этой болезни ума, что пути затаенные любит.
Если, соблазнов других избежав, Венере и Вакху
Все же предашься — уже ты в ярме, и духа свобода
Гибнет, когда распален ты Венеры пламенным жаром.
Так же немеет рассудок, когда побуждает к раздорам
И размышленья ума в позорной скрывает могиле
Пьяный разгул: вот те двое врагов, что мощь подрывают!
С ними будь осторожен, желаниям их не потворствуй!
Ибо законом людей непокорны они и узде мирозданья.
Но деянья твои ведет по предков заветам

Пусть справедливость всегда — и вернешь ты деву Астрею [7–8],
Что из небесных божеств последней покинула землю.
Чти завет благочестья и к правде питай уваженье,
Волю богов изучай, молящим оказывай помощь,
Строго законы блюди, по праву карай виноватых,
Но наказание им назначай, когда гнев твой остынет,
И, наказав, о вражде позабудь. И если исполнишь
Все это в жизни своей, свое имя прославишь навеки».
Так неустанно мудрец питомцу давал поученья,
Жадный мальчика слух питал он дождем благодатным.
В самых сердца глубинах своих начертал он заветы.
Мальчик охотно внимал словам благочестным и мудрым.
Каждый совет сохранял, в тайниках души укрывая.
Дух, однако, его весь пылает жаждою славы
И разрастается в нем стремленье к войне и к господству.
Страх ему чужд; он возраст свой юный питает мечтами:
Вот он избран царем, вот уже он врагов поражает,
Вот он царит, вот уже весь мир ему покорился.
И наконец он дождался — окончились детские годы,
И по закону теперь в свои руки он принял оружье,
Не для себя, для отчизны: он станет царем-гражданином!
Видом подросток, душой исполин, а мужеством воин,
Опытный в битвах. Не так же ль безудержный отпрыск Ахилла [9],
Подвиг мечтал совершить, что отцу едва ль был по силам?
Ныне ж не персов одних, врагов вековых и исконных,
Жаждет сломить Александр — нет, теперь он клятву приносит
Стать, если судьбы позволят, единым властителем мира.

[Заговор Природы против Александра]

(X, 1—30, 74—167)

Шли при сиянии звезд корабли теченьем знакомым,
Путь им Зефир пролагал; но вот с остановки последней
Вдаль мореход, налегая на весла, судов вереницу
Стал вести, но куда — он не знал, и неведомо было,
Скоро ль его принесет к Океану поток неизвестный.
Этой порою Природе на память пришло, что жестоко
Ей оскорбленье властитель нанес и всему мирозданью:
Слишком тесными он назвал пределы земные;
Ныне готовиться стал он сокрытые области мира
Перед войсками своими раскрыть; и гневом внезапным
Вспыхнув, Природа седую главу подняла. Начинала
В это время она веществу различные формы
Вновь придавать и в их члены вливать душевные силы.
Но в тревоге она покинула труд свой, туманным
Облаком лик свой покрыла и путь направила к Стиксу.

Где ее шаг проходил, вещества расступались составы,
Руку художницы чтя; колебался воздух текучий
Пред мановеньем ее, цветами весенними щедро
Почва пред ней одевалась; и море утихнуть велело
Во́лнам, и бурный поток затих, погрузившись в молчанье.
Все поклонились Природе и к ней обратились с мольбою:
Чтобы всегда умножалось плодов и семян изобилье,
Чтоб изливалась на землю теплом согретая влага.
И повелела Природа блюсти заветы благие,
Не нарушать никогда границ, установленных ею.
«Нынче я к Стиксу [10] спущусь и себе, и всем, мне подвластным,
Там защиту найду. Пусть земля и море трепещут,—
Я ж Александра низвергну! Для всех нас он — бич ненавистный».
Эти слова изрекла и бездну земную разверзла,
В Та́ртара недра спустилась по склону крутою тропою.

. . . .

Левиафан там стоял в середине подземного мира;
Пламя он разжигал в кострах нескончаемой смерти.
Он, появленье Природы увидев, пошел ей навстречу,
Но, чтоб ей страх не внушить, свой образ ужасного змия
Образом тем заменил изначальным, который Природа
Некогда встарь даровала ему, его создавая,
В дни, когда солнца ясней он сиял, когда, возгордившись,
Он возмечтал свою долю на власть стяжать на Олимпе.
Видя его, сказала богиня: «Отец преступлений!
Ты ж — их каратель! Ты утренний блеск затмевал Люцифера,
Но твоя гордость тебя с твердыни эфира низвергла.
Ныне к тебе обращаюсь, несчастная, жду от тебя лишь
Помощи! да, от тебя — хотя ты давно уж утратил
Звездный престол, и должна я тебя посещать в этом мраке.
Я от людей и богов приношу их печальные пени.
Верно, ты знаешь, что землю своим непрестанным движеньем
Вождь Македонский терзает: своими смирил кораблями
Он Памфилийское море, сломил он Дария трижды,
Азию всю покорил, и Пор [11], не терпевший доселе
Ни одного пораженья, служить ему должен. Востока
Мало, как видно, ему. Безумец, как молния, мчится
Он к Океану теперь: и если су́дьбы позволят,
Ветер ему благосклонный послав, он далекого Нила
Тайный источник найдет, опояшет он райскую стену
Войском своим и осаде подвергнет. И если преграды
Ты не поставишь ему, то он и Хаос захватит.
Хочет увидеть он солнце иное, иную природу.
Всем нам он враг! отомсти, уничтожь чуму эту злую!
В чем будет слава твоя, о Змий? Похваляться ли станешь
Тем, что изгнал человека из рая? А сад этот дивный
Будет в руках Александра?» Сказав, удалилась Природа.
Он же, следом за нею идя, ей дал обещанье

Помощью быть ей во всем. Нет, он не отступит, доколе
Общий враг не исчезнет во тьме подземного мира.
Он немедля за дело берется, совет созывает,
Криком город теней разбудив. Над равниною древней
Холод жестокий царит. Ее снег и лед покрывают;
Солнце не греет ее, ни дыхание теплого ветра.
Здесь преступные души, лежащие ниц на равнине,
Смерть несказанную терпят — и худшее их наказанье
То, что не могут они умереть: если были преступны
В этой жизни земной, их вечная смерть ожидает
В многих мученьях; и тот, кто от зла не сумел отказаться,
Тот и смерти не знает, а знает одно умиранье.
Хлад ледяной испытав, он потом переходит к терзаньям
В жар раскаленных углей, но конца никогда не увидит,
Смерть вынося непрерывно, страдая в темнице Аверна[12].
Вот собрались уже из обителей Стикса и мрака
Все их вожди; троекратным ужасным хриплым шипеньем
Древний змий их смирил: и его подавлены волей,
Разом умолкли они, устрашенные новою карой.
Он велел прекратить их жалобы, пени и стоны.
Смолкло вдруг все, и владыка приказы богини Природы
Им передал и прибавил, от них ожидая совета:
«Что ж нам, соратники, делать? и как нам конец уготовать
Этой каре? Трепещет весь мир перед ним! мы ли стерпим,
Чтобы он волей своей сломал основы вселенной?
Вот он стремится уже, сорвав засовы земные,
В Тартара хаос проникнуть, сразить отважным ударом
Тех, кто царит над тенями, и пленные вывести души,
Судьбы, однако, решили — проклятье им! — время настанет
И на земле порожден будет неким новым рожденьем
Новый, неведомый мне человек: железные скрепы
Этой темницы низвергнет он в прах, столпы опрокинет,
В дребезги он разобьет оружие крепкое наше
Древом, победу несущим,— и наши дома опустеют.
Ныне же вы, владыки над смертью, пошлите скорее
Гибель царю македонян! Чтоб он не добился внезапно
Власти над царством подземным, замкните путь его жизни!»
Эти слова прошипел он: сейчас же с подлою лестью
Лик свой к нему подняло́ Предательство: «Труд этот легок!
Яд смертоноснейший есть у меня, всех ядов страшнее:
В глине его не хранят, ни в кованой чаше железной,
Ни в прозрачном стекле, ни в другом вместилище крепком:
Только в бычьем копыте; с вином Фалернским смешавши,
Яд пусть дадут Александру: в том поможет мне случай —
Выполнит все это мой Антипатр[13], префект македонян:
Он с колыбели научен любовь проявлять лицемерно,
Ненависть в сердце глубоко тая, скрывать свою злобу.
Он готовится в путь — в Вавилон его царь вызывает,

Чтоб свою старость при нем он провел и опять научился
Стойко терпеть и достойно все трудности лагерной службы.
Если богинею зла я теперь называюсь по праву,
Если сильнее меня никого нет из ваших питомцев,
Из порождений ночных, я ручаюсь, что яд смертоносный
Через помощника дам моего. Иду же на землю!»
Слыша эти слова, воздали призраки ночи
Славу за мудрый совет, за усердье в лукавой измене:
Тот, кто не сломлен в боях, будет сломлен напитком коварным.
Тотчас Предательство, вид изменив, вылетает из мрака.
В край Сицилийский несут ее напоенные ядом
Крылья, и вот вступает она в покои питомца.
Вскоре его, обучив коварным речам, покидает,
В Хаос извечный летит, к теням, издревле знакомым.

[Речь Александра к войску]

(X, 299—329)

Краткою речью, послов отпустив, Александр обратился
К тем, чьею доблестью славной всю землю себе покорил он.
«Вы — победители мира,— сказал он.— Трудом вашим тяжким
Мы достигли того, что пред нами земля умолкает.
Ждут вас награды. Любой мой соратник сильней Геркулеса,
Он достоин царя, но и царь такой рати достоин,
Рати, чей дух не сломила зима берегов ледовитых,
Чей не замедлился шаг в Ливийской знойной пустыне;
Сквозь индийские дебри прошли македонян отряды,
Ваша рука укротила чудовищ, живущих в трущобах.
Сто́ит ли мне вспоминать, как трижды был Дарий повержен,
Как Мемнон был разбит и войска Таксила[14] и Пора,
Или напомнить, как вы безобразных Гигантов сломили?
Ныне же в этом краю нам свершить ничего не осталось!
Но чтоб привыкшей к оружью руке от него не отвыкнуть,
Путь мы направим туда, где светит солнце иное,
Где иные народы; пусть слава нас не покинет!
Пусть мы изведаем все, что нашу доблесть умножит,
Пусть непрерывно растут деянья, достойные песен.
Нет для меня недоступных пределов; и все побеждает
Доблестный труд! Храбрецу любая дорога открыта.
Древняя мудрость гласит: есть много миров в мирозданье,
Мне же — увы! — до сих пор даже этот один не подвластен.
Знаете вы, что царскую мне поднес диадему
По́сланец Рима, Эмилий, меня «царем» называя.
Рим же, снова свой лоб увенчав крутыми рогами,
Наш союз разорвал, договор свой прежний нарушил.
Пусть же в списке ваших побед не будет пробела,

Пусть не лишусь я сана царя — и в новом походе
Рим мы первым разрушим!» Изрек Александр это слово
И распустил их совет, когда Феб склонялся к закату.

[Смерть Александра]

(X, 375—460)

Близился час роковой; державцу могучему гибель
Нес он с собою; и было решенье судеб непреложно —
Дать преступленью свершиться и мир обречь на крушенье.
Зал огнями сверкал и весенним дышал ароматом,
В нем собрался народ и цвет вождей именитых.
Часть немалая дня прошла в беседах спокойных.
Царь, прибывших послов осыпав щедро дарами,
Их велел угостить и кравчим дал приказанье
Вина кругом обнести. И тот, кто в стольких сраженьях
Был всегда невредим и врагов разил, торжествуя,
Он, отец и властитель, здесь пал и погиб меж друзьями.
Холод его охватил и тело вдруг омертвело,
Меркло сознанье, колени слабели, лежал без движенья
Он на ложе своем; и дворец наполнился страхом
И погребальным смятеньем; но свой испуг не решились
Войску вожди сообщить; еще надежду питали,
Что поможет искусство врачей: ведь многих спасало
В тяжких болезнях оно. Когда же яд смертоносный
В жилы проник и сердца удары явили приметы
Близкой смерти, велел сам царь свое смертное ложе,
Вынесши в зал, в середине поставить; и рать, обезумев,
Вкруг него собралась и кучка вождей знаменитых,
Все утопали в слезах, раздирая лица ногтями.
Он же их взором обвел и сказал: «Найдется ль достойный
Вождь для войска такого, когда я землю покину?
Этой вселенной довольно я правил; под твердью небесной
Всем походам моим послушен был жребий счастливый.
Может быть, в смертного тела границах вмещаться устала
Эта душа — бытия моего исполнились сроки.
Предан деяньям людским, довольно я жил среди смертных,
Кончено все. И отныне я править на кручах Олимпа
Призван высшей судьбой, и зовет меня бездна эфира.
Царский меня ожидает престол, и в звездных палатах
Буду с Юпитером я решать мироздания тайны,
Путь мимолетных свершений людских и деянья бессмертных.
Снова против эфирных твердынь и воителей высших
Дерзко Этнейские братья свое поднимают оружье.
Цепи ослабил Пелор, держащие мышцы Тифона [15].
Думают, видно, Юпитер уж дряхл и легко им удастся

Власть над светилами взять, богов победить и унизить.
Марс без меня избегает войны, с ними битвы страшится,
Так что Юпитер решил и высший совет, чтобы принял
Я против воли моей на себя заботу о царстве».
Это изрек он, и все, рыдая, его вопрошали,
Кто, по воле его, наследует царство над миром.
«Лучший,— он произнес,— достойнейший царства пусть будет
Вашим царем». Изменил ему голос слабевший; он перстень
С пальца снял золотой и вложил его в руки Пердикке [16].
И порешили вожди, что своею волею в царстве
Высшую власть он хотел Пердикке оставить в наследство.
Миг последний настал — и теплое жизни дыханье,
Хладное тело покинув, расстáлось с темницей земною.
Вырвался дух на свободу, рассеявшись в веянье ветра.
Вот когда общая скорбь излилась в горчайших рыданьях,
Вот когда жалобы, крики и стон все сильней раздавались
И росло с каждым мигом смятенье толпы легковерной.
Воплей громóвых таких в небесах не слышат светила
В час, когда звездную ось колеблют все четверо братьев.
О, человеческий род! Ты мог бы счастье изведать,
Если бы вечное благо хранил ты в уме и о смерти
Помнил всегда! Пред знатным она и пред низкорожденным
Встанет внезапно и душу в боренье великое ввергнет.
Если мы ищем богатств, если славы обманчивый облик
Смертных взор ослепляет, порхая на призрачных крыльях,
Если купить мы стремимся продажные почести мира,
Мы по пучинам плывем, опасностям жизнь подвергая,
Бурным вверяя волнам и себя и товар многоценный;
Льды альпийской зимы и грабителей шайки минуя,
К Ромула граду идем и твердыню алчного Рима
Мы увидеть спешим. И если дорогой надежной
В край родной возвратясь, мы отчизну снова увидим,
Там погибнем внезапно от легкой пустой лихорадки,
И рассыплется в прах, что копилось на долгие годы.
Вот великий пример! Казался мир ему тесен,
Ныне ж довольно ему и мраморной тесной гробницы,
В пять лишь пядей жилища! И в нем его славное тело
В скромной земле отдыхало, пока Птолемею [17] Египет
Не был назначен в удел; и, веленье судьбы выполняя,
Этот залог драгоценный, пред коим весь мир преклонялся,
В город он свой перенес, носивший властителя имя.
Сумрак густеет ночной, и Феб свой свет угашает,
Гонит усталых коней, свой путь склоняя к пучине.
Сложено много стихов, и пора со стихами проститься.
О Пиериды [18]! Пускай же отныне ваши напевы
Манят иные сердца! К роднику я приникну иному;
Раз лишь испив из него, мы найдем исцеленье от жажды!

Ниварð Гентский

Нивард Гентский вошел в историю литературы как автор первого «животного эпоса» в западноевропейской литературе — поэмы «Изенгрим». Поэма эта, написанная элегическими дистихами, была закончена ок. 1148 г. — в конце ее есть горькие отклики на неудачу второго крестового похода — и явилась первой попыткой поэтического свода разрозненных народных сказок о животных. Позднейшие «романы о Лисе» шли уже по проторенному пути. Об авторе поэмы известно очень мало. Он был родом из рейнской Германии (в поэме он с любовью упоминает о Кельне), но учился, по-видимому, во Франции, побывал в Париже, Реймсе, Бовэ и Туре; потом стал архидиаконом в Генте и учителем в гентском монастыре Бландиньи. Живя в Нидерландах, в области, где боролись французское и немецкое культурное влияние, Нивард был решительным приверженцем французской культуры: все положительные персонажи его животного эпоса имеют лоск французской куртуазности, а грубые волк и осел, напротив, именуются немцами. Живя в эпоху обостряющейся вражды между все более светской культурой епископств и все более аскетически-религиозной культурой монастырей, Нивард был решительным приверженцем первой, гуманистической тенденции: своего волка он изображает именно монахом и усиленно подчеркивает, что все монахи ему вполне подстать: грубые, глупые, жадные и прожорливые.

Поэма Ниварда озаглавлена «Изенгрим» — по имени героя-волка — и разделена на семь книг. По этим семи книгам распределяются двенадцать основных эпизодов поэмы. Начинается рассказ с того, что волк Изенгрим встречается с лисом Рейнардом в лесу, испуганный лис желает волку хорошей добычи, а волк отвечает: «Ты моей будешь добычей». Рейнарду удается спастись, предложив волку совместной хитростью ограбить мужика с окороками и поделить добычу. Хитрость удается, но волк забирает всю добычу себе, и лис остается ни с чем. Лис начинает мстить: сперва он соблазняет волка рыбной ловлей в проруби, где волк отмораживает хвост; потом он предлагает волку делить поле между четырьмя баранами, и они жестоко бодают жадного судью; наконец, лис предлагает больному льву-королю в качестве целебного средства завернуться в содранную волчью шкуру, и хотя Изенгрим усиленно предлагает вместо своей немецкой шкуры старую шкуру с французского волка гораздо лучшего качества, однако безуспешно: с него сдирают шкуру, и он убегает голый, преследуемый насмешками. Король лев выздоравливает; на пире по этому случаю рассказываются три новые истории из прежней жизни волка и лиса: о том, как волк неудачно

пытался поживиться, пристроившись к козьему паломничеству в святую землю, о том, как лис хотел перехитрить петуха, но петух ему не поддался, и о том, как лис уговорил волка пойти в монастырь Бландиньи, а сам в его отсутствие разорил его дом и обесчестил его волчицу; волк же прожил в монастыре недолго и был с позором изгнан оттуда за пьянство и буйство (этот эпизод переведен ниже). Тем временем у волка отрастает новая шкура, и он подвергается новым злоключениям. Конь, которого он хочет ободрать, предлагает ему взять ножик из-под заднего копыта и разбивает ему копытом голову; баран, которого он хочет проглотить, берется сам прыгнуть ему в пасть и поражает его своими рогами; на совместной охоте со львом и лисом волк недостаточно умело выделяет в добыче львиную долю, и за это с него вторично сдирают шкуру; волк пытается вместо своей содрать себе шкуру с осла, но попадает в ловушку и вынужден отгрызть себе лапу; наконец, он встречается со свиньей-аббатисой и намеревается ее сожрать, но та пением скликает на помощь все свое монашеское стадо, волк гибнет под его копытами, свинья сочиняет ему издевательскую эпитафию, а Рейнард произносит над ним надгробную речь.

Можно считать достоверным, что до Ниварда сюжеты этих сказок не обрабатывались как нечто целое ни на латыни, ни на новых языках: поэт пользовался непосредственно фольклорным материалом. Обработал он его с большим искусством, по возможности сгладив неизбежное однообразие нанизываемых эпизодов. Поэма начинается с торжества волка над лисом, а затем в три приема следует все более полное поражение волка: первая серия эпизодов кончается тем, что с волка сдирают шкуру, вторая — тем, что Рейнард бесчестит его семью, третья — гибелью волка под свиными копытами. Концовка эта не имеет самостоятельных параллелей в других версиях сказок о лисе и волке: по-видимому, поэт сочинил ее сам для вящего эффекта. Поэтическими образцами Ниварда были Овидий и Гораций, но к классической строгости он нисколько не стремился, твердо памятовал о комической и дидактической установке своей поэмы и широко пользовался в ней всеми богатствами разговорной средневековой латыни, вплоть до вычурных ругательств и комически изощренных метафор. Особенной живостью отличаются у него многочисленные диалогические части. Из-за комизма и из-за обилия моральных сентенций поэма пользовалась популярностью, переписывалась и перерабатывалась в полном и в сокращенном виде. Влияние ее на позднейшие городские версии «романов о Лисе» на новых языках было очень значительно.

ИЗЕНГРИМ

[Изенгрим поступает в монастырь]

(V, 313—454)

Мчался Рейнард без оглядки, забыв обо всем, кроме бегства,
Чем он дальше бежал, тем становился бодрей.
Ужас надежду гасил, но надеждою страх умерялся:
Даже на трудной тропе скорости лис не сбавлял.
Но сквозь трущобы лесные, по диким скалистым ущельям

Четверо суток уже несся усталый беглец.
Даже за весь этот срок ему в рот не попало ни крошки,
И передышки себе он не давал ни на миг.
Но изнемог, наконец, от голода силы утратив.
И отказались ему быстрые ноги служить.
Только тогда он поверил, что псы давно уж отстали,
Что безопасны пути, страх свой пора позабыть.
Тут он свободно вздохнул и с испугом своим распростился
И, оглянувшись вокруг, здесь захотел отдохнуть.
Вдруг навстречу ему приятель-повар: однажды
Лис от набега волков стадо его охранил.
Нынче ж за эту услугу воздал ему повар сторицей
(Раз хоть один, наконец, честность пошла ему впрок!)
Повар заметил что лис, как видно, бегством измучен,
Изголодался вконец, еле стоит на ногах.
Вспомнивши службу его, тотчас он ему в благодарность
Жирных мясных пирожков полную миску принес.
Но не сказал бы никто, врага ли Рейнард заприметил
Или встретиться с ним он рассчитал наперед,—
Только сберег пирожков целых восемь и, съев, что осталось,
Он попросил, чтоб ему сбрили на темени мех.
Взяв пирожки, он ушел обритый и сытый, чтоб дядю,
Коль повстречается с ним, мог он задобрить едой.
(Нрав у Рейнарда таков: если выгоду в будущем чует,
Он про обиду свою может как будто забыть.)
Верно, предвидел Рейнард, что судьба его не обманет,
Вскорости в дебрях лесных он повстречал старика.
Как был рад Изенгрим — ведь давно он с врагом не видался
В новой шкуре свой! — как он теперь ликовал!
Радостно стал завывать и уже приготовился прыгнуть;
Но охладил его пыл лакомый запах еды.
Крикнул: «Рейнард, сатана! По какой счастливой ошибке
Ты мне навстречу идешь? Это хотел бы я знать.
Ну, подойди-ка поближе! Зачем ожидать тебе казни?
Лучше внезапная смерть: будешь ты мигом убит».
Видя, что дядя не хочет напасть на него без задержки,
Речь такую повел, молвив с упреком, Рейнард:
«Дядюшка, зря ты кричишь! Ведь всей подобает молчанье
Братии нашей; тебе надо бы ведать устав.
Я — не Рейнард-сатана: у меня прозванье другое.
«Брат мой, Рейнард!» ты скажи; имя забудь сатаны!
Разве не видишь ты знак принесенных мною обетов?
Брат я; взгляни на главу! вот и еду я принес —
Всякий, увидев, поймет: это пища обители нашей,
Глянь!» — и бросает Рейнард волку горшок пирожков.
Но не успели они до земли долететь, как немедля
Волк их схватил налету, с мискою вместе сожрав.
Если женщина в пищу готовит ячменные зерна,

В острые зубы песта сыплет их раз и другой,
И наполняет сосуд мукою, размолотой мелко,—
Должен бы был Изенгрим именно так поступить.
Он же все проглотил, а что проглотил, не заметил:
Все угощенье спустил в жадную глотку свою.
Он в изумленье стоял, будто чудо над ним совершилось;
Но испытаньем таким был он доволен вполне.
Молвил: «Быть может, я сплю? Иль я сновиденьем обманут?
Правду скажи мне, Рейнард: было ли это иль нет?
Помнится мне, будто нечто превкусное мне перепало:
Ты ли мне что-то метнул? или иной кто-нибудь?»
Так говоря, Изенгрим озирался то вправо, то влево;
Но догадаться не мог, что у него в животе.
Он прибавил: «Я что-то увидел и, пасть раскрывая,
Разом хотел ухватить; было оно на губах;
Вдруг — исчезло опять! Куда же оно улетело?
Может быть, спал я? Но нет — что-то я все же схватил.
Лакомый тот аромат до сих пор я чувствую в пасти,
Но злополучным зубам нечего было жевать.
В бедные зубы мои лишь воздух пустой попадает,
Хоть раскрываю я пасть — кажется, шире нельзя!
Что ж это я проглотил? Быть может, дыхание ветра?
Иль померещилось мне? Ясно — я все потерял.
Ну, поищи же, в какую дыру это все провалилось,
Ближе ко мне подойди!» — Лис делал вид, что искал,
Сам же стоял вдалеке, не спеша, по уставу монахов:
Даже коль волк не сердит, все же грозна его пасть.
«Дядюшка, кухонный дым мне очи мои застилает,
И от горячих паров зренье мутится мое.
Да и к чему нам искать того, что найти не удастся?
Помнится мне, что в твою глотку влетело оно.
Разве же зубы твои не впивались могучим укусом
В твердый какой-то кусок и не разгрызли его?
Все, что пропавшим ты мнишь, не в зубах ли оно утаилось?
Старые зубы с дырой, видимо, есть у тебя.
Ну-ка, разинь свою пасть, языком свои зубы ощупай,
Их изнутри оближи — верно, ты крошку найдешь».—
«Нет!» — возражает старик.— «Пускай!что пропало, пропало:
Поздно искать, и теперь выход из брюха закрыт.
Пусть же потерю мою возместит грядущая прибыль!
Брат мой! хочу я туда, где эти блюда дают.
Только пугает меня запрет на твердую пищу:
Там ведь придется вкушать мягкую только еду!
Нечего делать зубам — только ляскнешь, и пища проходит:
Медленно входит она, ну, а выходит легко.
Вот потому-то всегда остается брюхо голодным,
А на желудок пустой и благочестье не впрок».
«Дядюшка! — молвит монах,— Забудь о своих опасеньях!

Пища легка, но зато мерят ее, не скупясь:
Досыта можешь наесться». Но тут Изенгрим возражает:
«Скажешь, Рейнард-сатана, будто там вдоволь едят?
Знаю! дают на двоих, что едва одному мне хватает!
Вряд ли на этой еде зубы себе повредишь».
Молвит на это монах, как будто сдержавши обиду:
«Дядюшка, ты не в уме! снова зовешь сатаной?
Братом себя ты считай, воспользуйся братским советом,
И не страшись, что тебе впроголодь жить суждено.
Все получают довольно, но тем, кто в пенье искусен,
Тем дается еда, как одному за троих.
Если согласен ты петь,— кто может с тобою сравниться?
Даст награду вдвойне дивное пенье твое.
Сдерживать голос не смей, умалять свою славу не надо:
Глоткой горластой своей песню до звезд возноси!»
С радостью молвит старик: «Ты правду сказал, я — свидетель:
Мне ты, ничуть не польстив, честно возносишь хвалу.
Эту должность певца мне, верно, Господь посылает!
Мог ли надеяться я? Славным я буду певцом!
Вряд ли отыщется мних с такою широкою глоткой,
Чтобы напев из нее громче и ярче звучал».
Молвит проворно Рейнард: «Давно хлопочу я об этом!
Вижу я, вижу: тебе по сердцу будет устав.
Лишь остается решить, в какой же поступишь ты орден,
И какую ты в нем должность возьмешь на себя?
Скромно потупив глаза, ему Изенгрим отвечает
И говорит, не таясь, что у него на душе:
«Брат, не гонюсь я за саном, приму невеликую должность
(Знаешь, ведь, сам Люцифер в царстве подземном живет).
Пусть же, покамест за доблесть мою меня не оценят,
Стану на кухне служить или овчарню хранить.
Ну же, скажи мне скорей, в какую обитель податься?
Мех на макушке побрей, чтоб не прогнали меня!»
Лис совет подает вступить в монастырь Бландинейский,
Волчью голову лис с уха до уха стрижет.
Весело волку входить, а выйти-то как доведется?
Вот он идет в монастырь, всем говорит: «Будь здоров!»
Так говорит потому, что других он не знает приветов,
Не научился еще «Благословите!» — сказать.
Он произносит обет, он включается в общину братьев,
И покрывает клобук нового брата главу.

[Изенгрим в монастырском погребе]

(V, 821—982)

Чтец, по счету десятый, закончил чтенье. и приор
Строго знак подает новому брату — запеть!

Но невежда-монах тишину нарушает святую:
«Что мне до знаков твоих? Толком что нужно скажи!»
Тут из монахов один или два, его вразумляя,
Дуют, шипят, чтоб он смолк; он же не хочет молчать.
«Понял я, братцы, уже ваши вздохи: кончайте шипенье!
Верно, велит этот знак к трапезе нам поспешить.
Если бы знак этот дать умели мы в должное время,
Дольше бы в десять раз надо нам дуть и шипеть!
Надо бы в этот час угостить нас едой предпоследней,
Только грузило в часах медленно слишком идет.
Ночь ведь почти на исходе, а нас приглашают шипеньем
К трапезе первой! Устав надо нам лучше блюсти!
Я хоть разгневан, но все же приду; Творца восхвалите!
Пусть на Господень призыв не опоздает никто.
Пищу нам освятит и питье тот, кто нам их дарует;
Пусть он щедрой рукой нам увеличит свой дар!»
Братию эти слова повергли в испуг и смятенье:
Сколько сил у кого, дуют они и шипят.
Скоро дутьем и шипеньем как будто наполнилась церковь,
Словно вселились в нее сотни летучих мышей.
Так, коль под шум жерновов окликнешь ты мукомола,
И до слуха его слово твое не дойдет,
Несколько пусть человек засвистят — и откликнется эхо
Громко, как будто от стен свист отразится тотчас;
Так же вздыхает тростник под напором южного ветра;
Струсил волк не шутя, этот заслышавши звук.
Вдруг показалось ему, что гусей, наверно, три сотни
В церковь проникли, шипя так, что дрожит монастырь.
Вспомнил он случай, когда одного только гуся шипенье
В ужас повергло его, силы лишило в ногах.
Здесь же, внезапно задуты, погасли светильники разом;
Многих страх охватил: мнилось им, кара небес.
«Богу хвала» не пропев, ударили в колокол главный,
С каждым мигом сильней шум становился и гром.
Пуще волк испугался,— привык он, что к трапезе малой
Лишь колокольчик зовет, ныне же сильный удар
Дважды со звонницы грянул: уж, верно, к трапезе великой
Всех призывал этот звон, коли ошибки здесь нет!
Братия вся, кто куда, врассыпную бежала по храму:
Валят скамью на скамью, книги хватают, кресты.
Служек семь молодых под коврами укрылись, двенадцать
Под балдахин заползли, спрятались восемь в ларях;
Кто под скамью за алтарь, а кто в аналой залезает,
Рясы подол иль кулак в рот затыкая себе.
Силится смех кое-кто удержать, но от смеха трясется;
Многих братьев уже хохот его заразил.
Чтоб поскорее они заткнули раскрытые глотки,
В дело вступился аббат — нравом он сущий был волк.

Сколько он мог поглотить пятилетней влаги Фалернской!
Мало другим уделив, много себе наливал.
Был он дороден, и шесть жерновов поднять без усилий
Мог бы; могильным червям жирный готовил он пир.
Сладкий шотландский пирог он на день ел по три раза,
В сале его разогрев (сух он казался ему,
И потому, чтоб пирог как будто бы в сале купался,
Щедрой рукою аббат сало туда подливал).
Вот потому-то рыгал он за утренней трапезой часто,
И со вчерашнего дня был и пресыщен и пьян.
Вряд ли хоть ночку одну аббат проводил без попойки,
Будь это даже в году самая длинная ночь.
Кто из братии всей мог столько вместить в свое чрево?
Кто так щедро умел перцем посыпать яйцо?
Знал он не больше козла, в беседе хрипел он, как коршун,
Голос звучал у него — словно проказой хворал.
Он, словами давясь, поминутно речь прерывая
(Голос его то свистел, то, как бессильный, дрожал),
«Пой же, брат Изенгрим, напев начинай по порядку!» —
Так он сказал бы ему, если бы мог говорить...
Братия, впрочем, его услыхав, шуметь перестала,
Волку сказала: «Напев, братец, в черед свой начни».
Только невежда лесной не знал ничего о напевах,
И рассердившись, он дал братии гневный ответ:
«Вот почему вы — я понял теперь — так долго шипели?
Что же такое «напев», мне ни один не сказал?
Вижу я, трапезу нашу уводят у нас из-под носа,
Мне ж приказали сейчас лишь за напевом бежать.
Впрочем, если «напев» означает «напиться», то можно
Ужин простить; коли так — пить я скорей побегу.
Голод печально поет, но жажда терзает сильнее:
Полная чара вина душу несет к небесам».
В погреб его проводить приказал монах добродушный,
Двери велел охранять, после — народ привести.
В погреб войдя, Изенгрим стал из бочек вытаскивать пробки.
Чтоб хорошенько узнать, что эти бочки хранят.
Пробует разные вина, но, жадному сердцу послушен,
Он, чтобы лучше сравнить, пробок не хочет вставлять.
Сам с собой говорит: «Ведь так нас Писание учит:
Лучшее чтобы избрать, все испытать мы должны.
Ежели блага к тебе притекают — воздержен лишь скряга.
Вина хранить — для кого? Лучше уж выпей их сам!»
Братии, ждущей запева, казалось, что слишком уж долго
Жажду волк утолял; вновь провожатый идет;
Видит — плавает волк, в вино погруженный по горло.
«Брат,— он молвит ему,— славно купаешься ты!
Верь мне, твоя голова назавтра будет в темнице,
Ну, а шкуре твоей славную баню дадут.

Больно уж с первого раза явился ты кравчим отменным!
Должность эту другой выполнит вместо тебя.
Жажду неужто не мог утолить ты более скромно?
Пить помаленьку не раз лучше, чем враз чересчур».
Пьяный волк говорит: «К чему, клобук бестолковый,
В этот погреб входить, не закусивши овцой?
Только ради овец я сюда войти удостоил.
Мог бы я в брюхо мое вчетверо больше вместить.
Разве моя голова и спина так малы по размерам?
Что ж разделяешь ты их? Целым остаться хочу!
Братьям не по сердцу, видно, что я повинуюсь уставу,
Все они против меня, я лишь за правду стою!
Хочешь меня ты прогнать, по приказу ли или за подкуп,
Чтобы себя оправдать в нашей совместной вине.
Равен преступнику тот, кто учил меня преступленью;
Ум зловредный всегда злобную руку найдет.
Всем внушай ты, прошу, что их обманули — живу я
Так же, как сами они,— право, не так уж я глуп.
Так указует устав — горе тем, кто его нарушает! —
Бахус велит превышать среднюю меру питья.
Этим заветам верны клобуки и разные рясы:
Много братия пьет, пьет втрое больше аббат.
Иль не по вкусу аббату, что я ему подражаю,
Следую только за ним, верно иду по стопам?
Разве жалуюсь я, что в мой он орден вступает?
Что ж он препятствует мне делать, что делает он?
Можно ль подлей поступать? Толпа его льстивая хвалит,
Мне ж поступки его всякий вменяет в вину.
Можно ль того презирать, кто жребий твой разделяет?
Все мы друг другу сродни, общая вера у нас.
Ибо аббат наш — обжора, пропойца, и братьев он выше
Разве что саном своим и поклоненьем жратве.
Мало этого мне, подражателем быть не хочу я —
Первым стать я стремлюсь и перед всеми идти.
Доблестью я превзойду и аббата и всех моих братьев:
Тот, кто всех больше сожрет, будет и самым святым.
Ты совет мне даешь умеренней пить? Ты не знаешь,
Ежели всласть я напьюсь, кто же меня превзойдет?
Слишком ты поспешил! Когда я скажу «мне довольно»,
Вот тогда погляди, кто будет выше меня.
Ты стерпел бы, бедняк, чтоб вина без смысла пропали?
Вот они все налицо — что же ругаешься ты?
С братией всей пировал я б охотно, мы пили бы вволю,
Столько бы ели овец, сколько захочется нам.
Здесь же, покуда вина хоть каплю слизнуть мне удастся,
Буду я ночь проводить, здесь оставаться и днем».
Посланный все передал и братьям своим и аббату,
Но не нашлось никого, кто б Изенгрима хвалил.

Все, как один, поклялись изгнать злополучного брата,
Каждый оружье схватил, что под рукою нашлось.
Все, ни минуты не медля, берут, что кому попадется:
Черепом конским один вооружился монах,
Сеном набитую чашку хватает другой, что стояла
Возле аббата всегда — часто в нее он плевал.
Третий в руки берет колокольчик разбитый, которым
В пятую стражу звонят; старого часть колеса
Быстро хватает четвертый; и терку для зерен горчичных
Мощным оружьем своим сам избирает аббат.
Взломана в погребе дверь; за нею, ничуть не смущаясь,
Брат Изенгрим продолжал чинно попойку свою.
Думал, наверное, он от всех получить брагодарность,
Но из враждебной толпы сыпались сотни угроз:
«Вон убирайся, болван! Пропади, сатана ненасытный!
Выпить мы ни глотка больше тебе не дадим!..»

Нигелл Вирекер

«Зерцало глупцов» Нигелла Вирекера, как и «Изенгрим» Ниварда Гентского, имеет главным своим героем животное и использует многие мотивы животного эпоса. Но если поэма Ниварда была прежде всего юмористическая и сатира на монашество прослеживалась в ней лишь подспудно, то поэма Нигелла Вирекера — прежде всего сатирическая, и сатира против духовенства является в ней самым главным. Герой ее — осел Бурнелл, но живет он не среди животных, а среди людей, как человек, движимый вполне человеческими побуждениями — преимущественно, самого низменного порядка. У него короткий хвост, а ему хочется иметь длинный хвост подстать его ушам; чтобы читатель не сомневался в аллегорическом значении этого сказочного мотива, Нигелл торопится раскрыть его смысл сразу, в прозаическом прологе, обращенном к Вильяму Лоншанскому, епископу Элийскому: осел — это клирик, недовольный своей судьбой, а длинный хвост — это доходный пост настоятеля или епископа, который ему хочется приобрести.

Поэма «Зерцало глупцов», написанная элегическими дистихами и разделенная на короткие главки с особыми названиями, начинается беседой между ослом Бурнеллом и лекарем Галиеном; Галиен убеждает пациента не стремиться к тому, что ему не дано, а когда тот остается глух, прописывает ему разные редкие средства для удлинения хвоста — мраморный жир, гусиное молоко, волчий страх — и посылает его за ними в медицинскую столицу Европы, в Салерно. Там Бурнелл добывает у шарлатана пузырьки с нужными снадобьями и пускается в обратный путь; но под Лионом, проходя через имение цистерцианского монастыря, становится добычей сторожевых монастырских собак, теряет половину и того короткого хвоста, какой у него был, и едва не погибает, хотя и выдает себя за папского посланца. Потерю хвоста он желает возместить успехами в науках, отправляется в Париж изучать семь благородных искусств, живет там в английской студенческой колонии, ест, пьет и развратничает вволю. За семь лет он научился только говорить «и-а», но зато преисполнился безмерным честолюбием. Сперва он мечтает стать епископом, потом — основателем нового монашеского ордена. Все существующие ордена его не удовлетворяют, и он собирается составить новый устав, выбрав из всех существующих уставов правила, обеспечивающие наиболее привольную жизнь (это — самая язвительная часть сатирической поэмы Нигелла; отрывки из нее переведены ниже). За одобрением нового устава он направляется в Рим, по дороге еще раз встречает Галиена и произносит перед ним пространную филиппику о

разгульной жизни духовенства; но не успел он закончить свою речь, как появляется прежний хозяин Бурнелла, от которого он сбежал, хватает своего осла, колотит и навьючивает поклажей. Следует еще одно приключение, на этот раз с хозяином, при котором Бурнелл остается сторонним зрителем; и на этом поэма кончается.

Это лишь основная сюжетная линия. Она перебивается многими вставными эпизодами (например, рассказом о петушке, которому подбил ногу поповский сын и который отомстил за это тем, что не прокукарекал на заре в тот день, когда его обидчик должен был посвящаться в священнический сан, и лишил его посвящения). Написана поэма очень легким языком и стихом, со многими разговорными вульгаризмами и с неослабевающей сатирической едкостью, которая направляется то против салернских медиков, то против монахов, то против белого духовенства.

Не следует, однако, думать, что сатира Нигелла Вирекера направлена против духовенства и церкви как таковой. Он обличает лишь ту распущенность и вольность нравов, которая водворилась среди духовенства вследствие вульгаризации гуманистического духа XII в. и подрывала уважение к духовенству среди мирян. Это не столько критика, сколько самокритика. Сам Нигелл был монахом, а потом пресвитером в Кентербери, дружил с кентерберийским архиепископом Томасом Бекетом, убитым в 1179 г. («мученика Томаса мы видели своими глазами, ели и пили с ним...»,— писал Нигелл), входил в кентерберийский кружок любителей науки, душой которого был Иоанн Сольсберийский. По живости некоторых описаний в «Зерцале глупцов» можно заключить, что он бывал и на континенте, во всяком случае — в Париже. Жил он приблизительно между 1130 и 1200 гг. Кроме своей сатирической поэмы, он оставил прозаический трактат, тоже обличительного содержания, «Против придворных клириков» (со стихотворным введением), стихотворное послание к епископу Элийскому, много монастырских стихов на разные предметы и случаи, два стихотворных жития и большой сборник легенд о деве Марии, изложенных элегическими дистихами. Так мы видим, что этот талантливый сатирик-гуманист был в некотором отношении предвестником того религиозного обновления, которое принесет с собою XIII век.

ЗЕРЦАЛО ГЛУПЦОВ

Угрызения Бурнелла

Вот и решил я: теперь к религии я обращаюсь,
    Чтоб невредимый мой дух был и силен и здоров.
И, чтобы старостью я искупил времена молодые,
    Надо о жизни своей мне бы подумать теперь.
Жизни оставшийся срок чтобы не был истрачен впустую
    Весь, хочу я его славным концом завершить.
Лучше покаяться поздно, чем вовсе не знать покаянья:
    Кто стыдится греха, должен раскаяться в нем.
Если утро иль день целиком туманными были,
    Ясным вечером пусть мрачный искупится день.

То, что посеяла плохо моя неразумная младость,
Расточая себя в буйном цветенье своем,
Дряхлая старость пускай, искупая грехи молодые,
Зрелым плодом соберет там, где соцветья цвели.
Цвет надежду таил, но отцвел, истощилась надежда
На надежду, когда плод был еще не хорош.
Нет надежды на цвет, но на плод остается надежда
Все же покуда, что он пользу собой принесет.
В деле столь явном нет ничего загадочней смерти:
Смерть открывается всем, в смерти скрываются все.
Средь человеческих дел смерть — самое общее дело,
В смерти у каждого есть свой особливый удел.
В частных и общих людских делах, по сравненью со смертью,
Более частного нет, более общего нет.
Что же мне делать? Коль миру служить я усердно не стану,
Завтра скажет мне смерть: «Вот я! восстань и приди!»
Нет мне иного пути, обращаюсь к служению вере
И умоляю, пускай будет конец мой далек!

Мнение Бурнелла о различных существующих орденах

Но существует на свете различное вере служенье:
Вот и не знаю пока, что же из них предпочесть.
Если под красным крестом в святые места я отправлюсь,
Богу исполнить обет за море тут же пошлют.
Вдруг окажусь я в плену и рабом я останусь навеки,
Может случиться, рабом ставши в Тирийском краю.
Все ж я пустился бы в путь не пешком, а на лошади быстрой,
Вскормленной тучным овсом, пяткам послушной моим.
Но похваляет устав того лишь, кто шествует пешим,
Шаткой ступает стопой, с вялою ленью бредет;
И запрещает устав гарцевать на лошади рысью,—
Я не желаю устав строгостей этих лишать!
Воином стать я хотел бы, плащами разжиться в избытке,
Но чтоб вернувшись с войны, больше не шел воевать.
Иначе кожу мою на ремни башмачные пустит
Царь Саладин, а зверье кости обгложет мои.
Чей-нибудь острый меч мое бренное тело разрубит,
Кожу сдерет и предаст то, что осталось, земле.
Если ж я буду под белым крестом Иоанна святого,—
Тотчас погонят в Ливан древо святое добыть.
Я со слезами пойду, подгоняемый плетью треххвостой,
Будет желудок мой пуст, точно скоблили его.
Много будет забот, а прав никаких, разве только
Хитрую ложь измышлять, славя мой орден и храм.
Если же раз и другой оступлюсь я, обеты нарушив, —
Вмиг меня выгонят прочь, крест с меня тут же сорвут.

О цистерцианских монахах

Ежели буду я белым монахом, они мне два блюда,
Хоть и простых, но зато славно сготовив, дадут.
То ненавидят они, что и я ненавижу всем сердцем:
Видеть, как поле свое пашет крестьянин вблизи.
Алчность к акрам растя, ей класть не желают предела,
И для соседей своих чистая язва они.
Шерсть овец, молоко пастухи доставляют им вдоволь,
Но полагают они, что недостаточно все.
Нужно немногое им, а они ко многому рвутся,
Вдоволь имея добра, терпят все время нужду.
Праздности там они не позволят мне ни малейшей,
Но в послушничий срок будут отменно кормить.
Дело находят они для каждого, чтобы в безделье
Без трудов и забот не оставался никто.
Праздники редко у них из-за скудной их кухни бывают,
Розги же часты, и жизнь там вообще тяжела.
Мясо они едят, когда настоятель дозволит
Или когда снизойдет приор в своей доброте.
Так как устав не велит им мясо есть четвероногих
(Слишком оно тяжело — этим запрет объяснен),
Мясо двуногих едят, кто бегает или летает,
Не потому, что вкусней,— реже гораздо оно.
Если готовят мясное — округа дымка не увидит,
И не узнает о том тоже никто никогда.
Только лишь съедено мясо — следов никаких не заметишь,
Не закричишь, что лежат кости зарытые здесь!
Три дают им туники и два им дают капюшона,
И получают они очень коротенький плащ.
Здесь никакие штаны не будут чинить неудобства:
Ночью в постели, далек будет пускай этот страх!
Не стесненный штанами, орган мой детородный
Будет свободен тогда ночью, равно как и днем.
Только как же мне быть, если ветер неистовый южный,
Дунув, совсем оголит мне неожиданно зад?
Кто и с каким лицом позор сей выдержать смог бы,
Смог бы потом в монастырь снова направить стопы?
Если бы сталось со мной, что мой срам обнаженным видали,
Я бы не смог никогда в белых монахах ходить.
Впрямь, они бы могли для меня исключение сделать,
Чтоб не показывал я пестик, который ношу.
Пестики юношей надо беречь от любых повреждений,
Также и мой: ведь и я отрок еще и юнец.
Части срамные чем больше, тем больше должны быть закрыты —
Менее славным вещам должен быть больший почет.

Нужно ли срам прикрывать, или лучше открытым оставить,
Сам решит каждый брат: кто прикрывает — умен.
Только не делай другим, чего ты себе не желаешь,—
Делай другому лишь то, что от него бы хотел.
Братом должен быть брат не только по званью — на деле,
Иначе имя его звуком пребудет пустым.
Многих братьев зовем понапрасну мы именем братьев,
Ибо ведомо всем — недругов стоят они.
Так как от братьев неверных премногие бедствия Павел
Вытерпел, повесть о том он и в Посланья включил.
Многие беды, что есть, происходят от братьев неверных,
Братья неверные — вот повод для всякого зла.
Каждый будь осторожен с братом, ему ты не вздумай
Помыслы доверять и упованья свои.
Верность средь братьев редка: хоть каждый в отдельности верен,
Верность скрывая свою, станет коварным и сам.
Будет обманут равно и по крови брат и по духу —
Каждый из них норовит брату обман учинить.
Если ж тебе повезет найти настоящего брата,
Станет он частью души, частью тебя самого.
Столько ведь есть лжецов, столько хитрых, столько коварных,
Что уж и миру всему их перечислить невмочь.
Все они в монастырях, как дьявол в раю, обитают
(Дьявол, известно, в раю права бывать не имел).
Это меня и страшит, когда к пристанищу церкви
Я стремлюсь, не поняв толком, куда я спешу.
Может быть, ложен мой страх, охотно я этому верю,
Но и напрасный ведь страх мучает сердце людей.

Новый орден

Сам с собой про себя размышляя об этом, не знаю,
Жизнь какую смогу впредь я избрать для себя.
Но полагаю, однако, что было б мудрей и спокойней
Мне самому учредить нового братства устав.
Сделаю так, чтобы взять у каждого ордена то лишь,
Что будет лучше всего, будет удобней всего.
Имя свое в честь меня пусть орден новый получит
С тем, чтобы имя мое ведомо было в веках.
В меру резвых коней возьмем мы у рыцарей Храма,
Чтобы и в этом устав был благосклонен ко мне.
А чтоб на каждом шагу мне обманывать было сподручней,
Из уставов других разное взять я хочу.
Если хочу я вкушать по пятницам жирное мясо —
Братья-клюнийцы для нас лучший покажут пример.
А из уставов других мне вполне достаточно будет,
Чтобы на ночь штаны мне дозволялось снимать.

Грандимонтанов за то, что очень много болтают,
Всею душою хвалю и принимаю для нас.
Картезианцам же в том надо следовать, я полагаю,
Что им за месяц одной мессы довольно вполне.
А у каноников черных возьмем обычай есть мясо,
Чтоб лицемерным не стал чин, учреждаемый мной.
Премонстратам, считаю, мы следовать будем в привычке
В мягких туниках ходить, в теплый закутавшись плащ.
Орден первый таков, и он в раю был основан,
Бог его создал, и сам благословил он его.
Мы порешили, что тот навсегда сохранен будет орден,
Где когда-то отец с матерью были моей.
Весь мой род искони в этом ордене был, от него же
Род пошел и людской (коль разделились они).
А от святого союза тех жен, что себя посвятили
Богу, я взял бы закон — пояса вовсе не знать.
Пояс широкий и узкий равно для меня неудобны:
Слишком плотно теснят жирное брюхо мое.
Да из уставов других еще кое-что переймем мы
В нашем уставе — для нас это удобно вполне.
Только не знаю пока, что взять у симплингов и сколько,—
Эта новая вещь будит сомненья во мне.
Но ни за что не приму одного в размышлении здравом,
Ибо считаю, для всей братии важно оно —
Не соглашусь, что нельзя встречаться братьям и сестрам,
Кроме как тайно, тишком и никому не сказав.
Есть и еще кое-что, чего я пока не касаюсь:
После для этого мы лучшее время найдем.
Вот и все! Теперь нужна конфирмация папы —
Только. И нам он ее выдаст с готовностью сам.
Ибо тому, кто хлопочет о деле благочестивом,
Папа отказ никогда и ни за что не пришлет.
Стало быть, прежде всего я должен римского папу
И кардиналов его просьбой смиренной склонить.

Элегическая «комедия»

«Амфитрионеида» Виталия из Блуа, перевод которой печатается ниже, представляет собой образец одного из самых любопытных жанров XII в.— элегической «комедии». Интерес этого жанра в том, что он находится на перепутье между двумя, казалось бы, ничего общего не имеющими литературными явлениями: античной сценической комедией и новоевропейской новеллой.

Слово «комедия» сохранилось в средневековой латыни, но представление о том, чтó это такое, утратилось после того, как оборвалась традиция античной театральной культуры. Уже Исидор Севильский, при всей своей близости к античной традиции, пишет в «Этимологиях» (VIII, 7), что поэтами древней комедии были Плавт, Акций и Теренций, а поэтами новой комедии — Гораций, Персий и Ювенал. Это означало, что понятие «комедия» потеряло всякие ассоциации со сценой и связывалось только с определенным кругом образов и мотивов; и, действительно, в словоупотреблении позднейших средневековых теоретиков литературы «комедия» означает просто стихотворный рассказ о простых событиях (ложная этимология; comedia от communis) простым стилем и со счастливым концом. От теории был один шаг к практике: в школах второй половины XII в. стали упражняться в сочинении таких стихотворных рассказов, обычно в элегических дистихах, всегда украшенных цветами школьной риторики; образцом для их авторов был, разумеется, самый популярный из античных писателей — Овидий. Таких элегических «комедий» сохранилось около полутора десятков; родиной их, по-видимому, была северная Франция и вслед за нею Англия.

В числе самых ранних произведений этого жанра находятся «комедии» некоего Виталия из Блуа: «Амфитрионеида» и «Горшок» (1150—1170-е годы). Оба сюжета его «комедий» восходят к Плавту — однако никоим образом не непосредственно. Передаточный пункт между «Горшком» Плавта и «Горшком» Виталия нам известен — это латинская пьеса IV в. «Кверол, или Горшок», написанная очень расшатанными стихами и предназначенная, по-видимому, для домашней постановки при дворе какого-то галльского магната; автор ее вдохновлялся Плавтом, но только вдохновлялся, сюжет же его пьесы выдуман почти совершенно заново. Виталий в своем «Горшке» очень близко пересказывает «Кверола», лишь переводя драматическую форму своего оригинала в повествовательную форму элегии. Очень вероятно, что какая-то аналогичная «Кверолу» переработка существовала в IV в. и для плавтовского «Амфитриона» и могла послужить источником второй «комедии» Виталия. Однако не приходится сомневаться в том, что Виталий переработал свой оригинал до-

вольно существенно. Во-первых, Амфитрион превратился у него из полководца в школяра, который возвращается к жене не из похода, а из школы в Афинах, где он набрался всякой учености, а заодно с ним и его раб Гета; в диалоге Геты с Биррией (ст. 173—184) некоторые исследователи видят даже намеки на Абеларово «Да и нет». Во-вторых, центр внимания поэта решительно сдвигается с Амфитриона именно на Гету, потому что этот «низкий» персонаж более комичен; тенденция к увеличению роли раба была уже у Плавта, здесь она усиливается. В-третьих, устраняется сверхъестественный элемент, в развязке не появляется deus ex machina; Юпитер, сделав свое дело, исчезает из действия, и Алкмена с мужем улаживают свои отношения обычными земными средствами. Таким образом, два направления, в которых идет переработка античного сюжета,— это осовременивание и отчетливый уклон к бытовой топике и развлекательности.

Эти тенденции развиваются в позднейших элегических «комедиях» XII в. Ближе всего к Виталию стоит одна из самых популярных «комедий» — «Альда» Вильгельма Блуаского. Здесь источник тоже восходит к античной комедии — в прологе автор называет пьесу Менандра «Мужедева» — и, конечно, тоже через посредство какой-то позднеантичной переработки вроде «Кверола». Но здесь автор идет дальше и по пути осовременивания — героиня Альда и ее отец Ульф носят уже средневековые имена, — и по пути развлекательства — очень много места уделяется гробиански-натуралистическому описанию раба Спурия и его подруги, а разговор Альды с ее обольстителем, переодетым девушкой, так широко обыгрывает эротические перефразы, что трудно не вспомнить Боккаччо. К античным источникам восходят — или являются стилизацией под античные источники — и другие комедии: «Хвастливый воин», «Лидия», «Бавкида и Тразон»; к восточной «Повести о семи мудрецах» восходит комедия Матвея Вандомского «Милон»; анонимная комедия «Купец» пересказывает в овидианском стиле уже знакомый нам по «Кембриджским песням» сюжет «Снежного ребенка»; среди «комедий» имеется даже одна «трагедия», «Афра и Флавий»,—кровавая история с мнимым прелюбодеянием и людоедством, у истока которой, быть может, лежала какая-то школьная контроверсия. Некоторые из этих «комедий» выдержаны в почти сплошном диалоге, некоторые, напротив, представляют собой бездейственное и почти бессвязное повествование («Комедия о трех девушках»).

В переложении на новоевропейские языки эти «комедии» стали одними из первых стихотворных фаблио. Так, типично школьный латинский жанр и здесь оказался предком мирского жанра с большим историческим будущим.

Виталий

АМФИТРИОНЕИДА

Вступление I

Греков науки познать чрезмерно долго стараясь,
  Не возвращался домой с Гетою Амфитрион.
В облике ложном идет сын Сатурна в жилище Алкмены.
  С ним и Меркурий. Она верит, что это супруг.

Гета пришел наконец, отпущенный Амфитрионом.
Счел он себя за ничто, с толку Меркурием сбит.
С горя, что стал он ничем, убежал от Меркурия Гета,
Все рассказал, и супруг в гневе оружье берет.
Радостно вместе с отцом исчезает Меркурий. Любовник
Сгинул по счастью. Раздор кончен. Утихнул и гнев.

Вступление II

Стихотворенья поэт сочинял, как он думал, на радость,
Но обманулся: никто стихотвореньям не рад.
Стихотворенья совсем не по вкусу: все важного ищут,
И непомерная страсть всякого к деньгам влечет;
Все наживаться хотят, и деньгам стихи уступают:
Коль ты умен, но бедняк, вечно ты будешь никто.
Если ты любишь писать, то в другом возбуждаешь ты зависть;
Старых любя, никогда новых не будут хвалить.
Было бы лучше молчать, чем писаньем стихов заниматься:
Ведь ни писателю нет денег, ни славы стихам.
Тот, кому мил этот труд, пусть себе одному он и пишет
Да и красуется сам, самодовольство любя.

КНИГА О ГЕТЕ И БИРРИИ, ИЛИ АМФИТРИОНЕИДА

Сын Сатурна влюблен в Алкмену. Блаженным считая
Амфитриона, свою долю Юпитер клянет.
«Боги, пожалуй,— сказал,— пред Юпитером станут кичиться,
Если всевышних отца Амфитрион превзошел».
Тут жезлоносец отцу попался навстречу: «Желанный
Вестник,— Юпитер ему молвил,— ты кстати пришел.
Страстью к Алкмене горю, но она-то ко мне не пылает.
Милый в отлучке теперь — я заменю его ей!
Жаждет с Алкменой сойтись Юпитер. Пускай же в Афинах
Мудрость супруг познает, я же, Юпитер, любовь.
Спорит пусть Амфитрион, а Юпитер обманет; наукой
Пусть занимается муж, я же любовью займусь.
Скоро вернется супруг. Обернись ты, пожалуйста, Гетой,
В Амфитриона же твой преобразится отец».
Не постыдились в людей обратиться бессмертные боги:
Амфитрионом отец, Гетою сделался сын.
Слухи к Алкмене идут отовсюду, молва возвещает
Скорый супруга приезд, радует это ее.
Ждет господина она, и все домочадцы ликуют;
Блещет слоновая кость, пурпуром кроют кровать,
Убран брачный покой и золотом ярко сияет:
Праздновать славно хотят Амфитриона приезд.

Радостно встретить должна господина Алкмена, одеждой
Пышной отметив возврат милого мужа домой.
В хитрой прическе жена, в золотых украшениях руки,
Ловко подкрасив лицо, великолепна она.
Всех превзошла она жен и себя самое превосходит,
Так что Юпитер теперь в новый приходит восторг,
«Ну поскорее, сынок! — сын Сатурна кричит.— Ты же видишь
Прелесть Алкмены и все чудо ее красоты?
Разве Юноне моей сравняться с ней? Затмевает
Звезды она и пред ней меркнет и солнечный день.
Так она мне по душе; пусть так она нас и встречает:
Амфитриону взамен выйдет к Юпитеру пусть».

Небо покинуто. Вся земля благовонием нежным
Дышит весенним, приход чуя бессмертных богов.
Радость Алкмене: супруг возвратился; она выбегает
Встретить его и молве вторит: «Причалил корабль!
Прибыл мой муж дорогой! Подымайся же, Биррия, живо!»
Громко Алкмена зовет Биррию, тот же молчит
И говорит он себе: «Пусть она и кричит, но молчи ты;
Пусть сторожит, а ты спи; пусть побежала, лежи.
Ей-то веселье, нам — труд. Ты, Биррия, сном занимайся,
Что бы ни делал другой, это пусть будет твой труд».
Снова Алкмена кричит: «Подымайся же, Биррия, живо!»
Тщетны все просьбы, но вот стала она угрожать.
Тут на угрозы он встал, она ж ему: «На берег выйди.
Виден ли парус, корабль — все мне скорей доложи:
Правда ль (о если бы так!) или вздор все, что мне говорили,
Будто мой Амфитрион скоро вернется домой?»
Так госпожа говорит, а Биррия: «Нечего делать,
Но и самих смельчаков моря пучина страшит.
На берег выйду, а вдруг тут волна на меня и нахлынет?
Поберегусь я, а то не потонуть бы мне там.
Ведь не заплачет никто, если Биррия в море погибнет:
Амфитриону-то что! Биррия — это пустяк.
Ноги болят и спина; тяжела мне дорога, и долго
До кораблей мне идти, да и вернусь ли назад?
То ли пойду, то ли нет, ты послушай, Алкмена: вернется
Амфитрион, коли он намеревался прийти».
Грозно воскликнула тут Алкмена: «Ступай же!» — «Иду я,—
Раб отвечал,— помолись ты о возврате моем».
Тут он уходит, она ж: «Будь с нами Юпитер!» — сказала.
Ей же за Гету тотчас молвил Меркурий: «Он здесь».
Он уже Гетою стал, Юпитер же Амфитрионом.
«Здравствуй, Алкмена!» — сказал, радостно к ней подходя.
«Здравствуй, желанный ты мой!» — ему отвечает Алкмена.
За поцелуем опять новый идет поцелуй.

Нежно целуя, его укрощает, однако, Алкмена
И обращает к нему девственно-чистую речь.
Не унимается бог, взасос он страстно целует,
Точно любовник, ее крепко и сладко обняв.
Не отстраняет она объятий Юпитера, тесно
Вся прижимаясь к нему. Он — в упоенье любви.
«Даже с Юпитером мне обниматься бы так не хотелось»,—
Шепчет она, самого бога к богам приравняв.
Вновь поцелуи. Еще горячей распалился Юпитер:
«Двери запри,— говорит,— Гета, навесь и замок.
Если придут моряки, людское отродье гони ты
Прочь от дверей, никого ты не пускай за порог.
В спальне мы скроемся с ней». Подчинился Меркурий приказу.
Спрятались в спальне они, он же все двери замкнул.
Спальня обоих зовет к объятиям и поцелуям
Без промедленья. И вот вместе в постели они.

Бирриа тронулся в путь; он еле плетется, хромает
И на дорогу ворчит, будто она тяжела.
Все потому, что лентяй: «Увы мне, бедному, сил нет!
Ноги заныли мои, долго еще мне идти.
Нет, я на горе рожден, я страдаю, а все отдыхают.
Горе тебе, что нести должен ты бабье ярмо.
Баба заставит рабов до седьмого пота трудиться:
Бойся ее, а не то шкуру сдерет со слуги.
Чтобы любовник взошел, она врет, будто ждет она мужа,
И потому-то теперь выгнала Биррию вон.
Но, вот ужо я вернусь, поймаю ее. С перепугу
Все позабудет тогда — брань и угрозы, и плеть».
Так он сказал, но еще не решается, думает, медлит,
Снова себе говоря: «Это совсем не умно.
Ум изощряют грехи; затаит она ненависть в сердце:
Биррия, будешь во всем ты перед ней виноват.
Мужа уверит жена в чем угодно. Проклятая баба!
Я за нее поплачусь, мне же достанется крест.
Снова в дорогу, вперед! Хоть и трудно мне будет, но надо
Все же идти. Продолжай, Биррия, тягостный путь.
Ну так иди же, иди! Лишь бы Гету теперь мне не встретить,
Иначе он на меня взвалит поклажу свою.
А, провалиться б ему! Человек не рожден для поклажи:
Лошадь поклажу несет; Биррия ведь — человек».

В гавань вошел между тем, уберегшись от волн и от бури,
К берегу отчей земли радостный Амфитрион.
Чистая твердо царит любовь к жене у супруга:
Гету к себе он позвав,— «Спешно иди,— говорит,—
Книги возьми и беги ты домой, приветствуй Алкмену,
Пусть и супругу мою радует мужа приезд.

Я совершенно здоров, и жена, я надеюсь, здорова;
Благополучна она — благополучны и мы».
Молча Гета берет все книги, предвестником идя.
Биррия тронулся в путь. Видит он: Гета идет.
«Гета идет! Я погиб! — говорит он.— Чего я боялся,
То и случилось, увы! Экую тяжесть несет!
С этой поклажей и сам великан Атлант запотеет.
На плечи мне этот груз, верно, навалят теперь.
Тут вот пещера: в нее, пока не пройдет он, я спрячусь,
А уж потом и пойду». Так он и сделал тайком.
Гета увидел раба, которого знал за лентяя,
Но, что заметил тайник, вида не подал ему,
А, у пещеры присев, оперся на двузубую палку
И, отложивши свой груз, заговорил сам с собой:
«Горе моим и ногам и плечам! От поклажи тяжелой
Ноет спина, от пути долгого ноги болят.
Где ж это Биррия? Что не идет он Гете навстречу?
Должен бы он навалить на плечи это добро.
Только бы он не упал под грузом». А Биррия шепчет:
«Как повезло мне, что я ловко запрятался тут».
Гета опять за свое: «Увы мне! В этих Афинах,
И не сказать мне, каких только я бед не терпел.
Холод и голод меня и жестокая жажда томили,
Ночью не спал я, харчи были дрянными мои.
Сам господин мой одним только черствым хлебом питался,
Мне же доставался такой, что пролежал уж три дня.
Но удивительным я научился там хитрым софизмам,
И доказать я могу, что все людишки ослы.
Только вернут мне опять кастрюли, очаг и харчевню,
Я докажу, что ослы тé вот, а эти — быки.
Логикой я обращу кого хочешь в любую скотину.
Этот упрямый лентяй, Биррия, станет ослом».
Биррия тут про себя: «Ослом станет Биррия? Как так?
Он самое естество вздумал отнять у меня?
Гете, какие бы ты предо мною ни ставил проблемы,
Так я скажу: человек Биррия будет всегда!»
— «Я вот еще заучил, что ничто не может погибнуть —
Что ни на есть на земле, не обратится в ничто.
Что существует, ничем никогда оказаться не может,
Но изменяет свой лик и обновляет его.
Значит, и я не могу быть ничем».— Тут Биррия: «Гета
Пусть существует вовек, если он правду сказал!»
— «Уничтожает все смерть. Ученый Платон тоже умер,
Сам, как известно, Сократ смерти не мог избежать.
Слух обо мне будет жить, но и он подвергнется смерти:
Смерть ничего не щадит, уничтожает все смерть».
— «Противоречит себе: говорил, что кончины не может
Быть ничему, а теперь — все, говорит он, умрет».

— «Ну я пошел. Но что ж там шумит и бормочет в пещере?
Это не заяц ли? Вот эта добыча по мне!
Нет здесь сетей у меня, так я забью его камнем:
Я его палкой прижму, камнями сеть заменю.
Спрячется ль он, побежит,— прикончу добычу каменьем:
Обогатит мне теперь эта находка мой стол».
— «Кто это Гете дает побивать то, что скрыто, камнями?
Спрятаться можно луне, Биррии бедному — нет.
Плохо укрылся я тут. Умирать мне совсем неохота,
А умираю; желал жить, а кончается жизнь.
Вечно хотел в безопасности быть, а сокроюсь навеки —
Станет могильным холмом эта пещера моя.
Горе, что прятался я. Себя самого погубил я!
Здесь я, пожалуй, умру, а в безопасности был».
Гета каменья швырять начинает и бьет его больно,
И с перепугу тогда Биррия молит его:
«Гета мой, Биррия здесь! Пощади ты меня, умоляю:
Так избивать своего друга — ведь это позор.
Руку мне дай! Это я, это Биррия!» — «Нет»,— отвечает
Гета, а тот: «Это я!» — Гета: «Не верю тебе».
«Я это, я,— тот кричит,— клянусь я, ведь ты меня знаешь!
Слушай, по голосу ты можешь узнать: это я,
Биррия твой я, Гета! Оставь, пожалуйста, камни,
Не убивай, я всегда слушаться буду тебя».
— «Высунь-ка голову». — «Я ее высуну, камни оставь ты
И не разбей, я молю, голову камнями мне!»
Тот перестал, этот вышел; а Гета: «Чего ж ты укрылся?
Я ведь случайно тебе голову мог размозжить.
Живо беги на корабль и всю остальную поклажу
Ты забирай: на плечах много придется тащить.
Да и мою прихвати. Для тебя ведь пустяк это сущий».
— «Это пустяк? Да кому ж все это можно поднять?»
— «О, ты и больше снесешь, увяжи только это покрепче».
И, показав на узлы,— «это легко»,— говорит.
«Если же ты ни за что такой легкой не хочешь поклажи,
То почему бы не взять то, что по силам тебе?
Амфитрион мне сказал, когда больше я взять собирался, —
Гета, ты это возьми, это полегче нести.
Биррия пусть заберет, бездельник, что потяжеле:
Бо́льшую тяжесть пускай бо́льшие плечи несут».
— «Биррии надо тащить еще через горы! Давай же
Эту поклажу, какой ты нагрузился». — «Бери».
— «Если труда избежать невозможно, то надо трудиться».
Оба уходят — один к берегу, этот домой.

Гета доволен; идет он теперь по знакомой дороге,
В сладких о доме мечтах он сокращает свой путь:
«Радуйся, Гета, твои труды окончены. Скоро

Ты отдохнешь, и тебя вновь ожидает покой.
Бросятся Гету встречать Саннион сейчас же и Санга
С Давом, и рукоплескать будет вся челядь тебе.
Имя прославят мое, называть меня будут «учитель»;
Даже и тень моего имени будет страшить.
Буду велик я: во всех почитать меня станут харчевнях,
Стану я вольным и сам буду рабов обучать.
Что же, однако, нейдет Алкмена навстречу мне? Что же
Заперты двери и все замерло в доме у нас?
Двери должны отворить по первому возгласу Геты!
Иль уж слегка постучать, чтобы впустили меня?
Много уборов со мной на радость женщине: платье
Муж посылает жене, пояс, монисто и плащ.
Красят уборы всегда; подарками жены гордятся,
Кажутся лучше себе, кажутся краше мужьям».
Тут, подойдя, он стучит, однако за дверью ни звука.
Он в изумленье, и в дом голосом громким кричит:
«Выйди, Алкмена, скорей, распахните пред Гетою двери!
Выйди же: Амфитрион твой возвратился домой!»
Вышел Меркурий. В обман он вводит Гету. Такой же
Точно, как Гета, лицом, да и по голосу схож:
«Амфитрион уже спит, а дверь сторожит его Гета.
Кто ты такой? Пошел вон!» Тот обомлел и молчит.
В ужасе Гета, что свой он собственный голос услышал.
Он отошел от дверей и говорит про себя:
«Тот, кто со мной говорил, несомненно, по голосу — Гета.
Только бы Гета и мог голосом Геты сказать.
Логики нам говорят: если голос двоих одинаков
Будет, то имя одно быть у обоих должно».
Так он решил и, весь дом обойдя, увидел, что заперт
Дом отовсюду и все в замкнутом доме молчит.
Он изумился и вновь окликнул: «Кто бы ты ни был,
Дверь отвори поскорей: Гета вернулся домой!»
— «Гета давно уже здесь,— бог ответил,— Амфитрион же
В спальне с женою лежит и наслаждается с ней.
Биррия тоже пришел; он долго в пещере скрывался,
Там он, от страха дрожа, тяжких пугался камней.
Ты перестань-ка кричать, отдыхать не мешай ты усталым:
Сладкий отраден покой после тяжелых трудов».
Гета отлично свое знает имя, но дверь на запоре;
Назвали Гету, а дверь все продолжает молчать.
Остолбенел и опять отошел: «Увы! — восклицает,—
Вправду он Гета, его это слова и дела.
Иль заблудился я, что ль? Неужели же Биррия мог бы
Опередить меня, иль шел он кратчайшим путем?
Или же я говорю сам с собою? Но мне непонятно,
Как раздвоиться бы мог тот, кто был прежде один.
Всякая сущность одна. Но ведь один говорю я!

Следственно — Гета — ничто. Но быть не может ничто!
Был я один, когда мой раздался голос у двери
Дома, но этот меня тут же в ничто обратил.
Он отвечает ли мне? Не отзвук ли голоса это,
Вроде того как в лесу, мне отдает самый дом?
Двери давно уже мной, запертые на крюк, завладели.
Что мне сказать, чтоб удрать? Горе мне! Заперт я там.
Но подойду, рассмотрю его ноги я, волосы, зубы,
Голос какой, и лицом сходен я с ним или нет.
И о поступках спрошу и о нраве. Опасливым буду.
Тяжко, коль это двойник; плохо, коль Гета — ничто».
Вновь он идет и, засов сломать пытаясь железный,
В дверь запертую опять яростно бьет кулаком.
«Выйди,— кричит,— и лицом и голосом с Гетою схожий,
И отодвинь-ка засов ты от дверных косяков,
Дай мне взглянуть, не входя в твои приоткрытые двери,
Правда ль, что ты по лицу точно такой же, как я».
«Не проведешь никогда,— отвечает Меркурий,— ты Гету:
Если нет силы войти, хочешь ты хитростью взять?»
Просит он, тот — ни за что; умоляет, тот его гонит.
Начал ломиться опять; бог оказался сильней.
Стали браниться, в дверной косяк упираясь; напрасно
Сыплется ругань у них с той и с другой стороны.
Гета кричит: «Если ты дверей мне добром не отворишь,
То погоди, негодяй, силу узнаешь мою.
Выдвинь сейчас же засов, мерзавец, а то ведь дубиной
Крепко ударю и дверь вышибу я у тебя,
Стыдно мне умолять, коль могу своего я добиться.
Где ты, Алкмена? Вставай, дверь отворяй поскорей!
Стыдно жене не бежать со всех ног навстречу супругу,
Раз он приехал. Вот я, Гета, у двери стою!
Амфитрион уже здесь, прикажи отворить мне скорее.
Висельник этот никак Гету не хочет впустить».
«Мне от богов попадет, если ты что худое замыслил.
Гета, опомнись!» — себе это Меркурий сказал.
— «Дверь я дубиной собью!» — «А я сворочу тебе шею.
Голосом страшным ты мне поберегись угрожать!
Думаешь, я побоюсь угроз твоих? Ну, вышибай-ка:
Из головы у тебя вышибу все я мозги».

Гета испуган. Свои уловки с угрозами бросив,
Он прибегает опять к просьбам, привычным ему:
«Ты мне, прошу, расскажи, каков ты лицом и обличьем,
И укажи, каковы руки и ноги твои.
Ты постарайся себя описать мне в подробностях точно,
Кто ж это, кроме меня, может быть мною еще?»
— «Что же,— Меркурий сказал,— твою исполню я просьбу,
Раз ты уж мне не грозишь, но только просишь меня.

Прежде всего, коль умен, перестань уверять, что ты Гета;
В это не веришь ты сам, но вот уж мне ты поверь.
Геты, ведь, кроме меня, во всей Греции нету другого;
Верно, меня обмануть именем хочешь моим?
Гета единственный — я. Узнай же, каков по лицу я,
Тело мое каково и все повадки мои.
Я безобразным лицом наделен и неслыханно черным,
Да и все тело мое, словно как сажа, черно,
Точно бы я эфиоп иль пришелец из Индии дальней;
Вечно в чесотке зудит темная кожа моя;
Всклочена вся голова, козлиной обросшая шерстью,
Узок лоб мой, а нос долог; гноятся глаза;
Щеки и вся борода заросли волосами, как лесом,
На неуклюжих плечах длинная шея торчит.
Пузо раздуто мое, будто я водянкой болею,
А уж утроба моя меры не знает себе.
И никаким затянуть ремнем не способен я брюхо,
Если я хлеба нажрусь иль налакаюсь воды:
Нету предела моим ни почкам, ни чреву. В щетине
Икры мои, а свербёж в них неуёмно царит.
В ярость приводят меня икота моя и рыганье.
До колченогих колен мой отвисает живот.
Голени хоть коротки, но толсты; ноги кривые,
И ни одна на ступню не налезает туфля.
Всякому ясно, каков я собою: Гету завидя,
Все с отвращеньем бегут в разные стороны прочь.
Есть же, однако, и то, что ценится в мерзостном Гете:
Хочешь узнать почему? Мерзко и это, скажу,
Хоть и понятно вполне: ничем неуёмная похоть,
Похоть моя никакой меры не знает себе.
Чтобы всю правду сказать: не Гету, но часть его любят.
Мой отвратителен вид, но привлекательна часть.
Хоть не угодно лицо, но часть моя девкам угодна:
Похоти дикой полна и непреклонна всегда.
. . . .
Часть моя делает так, что целиком я любим».
Гета вконец поражен его обликом: смотрит и слышит,
Как с ним он сходен; себя он уже счел за ничто,
Видя себя самого до подробностей точно таким же:
«Вижу, ты Гета, и сам я совершенно таков.
Но ты скажи мне, какой такой хитростью Амфитриона
Ты обманул, мною став, я ж оказался ничем?»
«Слушай, какой я хитрец и ловкач,— жезлоносец ответил,—
И поклянись мне, что я — Гета, а ты вот — ничто.
Я провожу стариков, все обманы и тайны скрываю,
Всем же уловкам свою я и Таиду учу.
Не устоит никакой замок перед Гетой; рукою
Щедрою я раздаю все, что совсем не мое.

Мой отвратительный вид забывать заставляют подарки:
Коль не скупишься, всегда будешь, что хочешь, иметь.
Выслушай, кроме того, что недавно я делал в Афинах,
И по делам ты моим Гету признаешь во мне.
Школою Амфитрион был занят, а Гета Таидой:
В новой отчизне всегда с новой Таидою я.
Сколько угодно Таид везде себе Гета добудет.
Я побеждаю, даря: так побеждает Амур.
Если хозяин мой спит, мошну я его очищаю:
Освободив от монет, я облегчаю ее.
Часто мне крест угрожал, угрожали нередко оковы,
Секли частенько меня да и бранили не раз.
Я вот намедни (но ты смотри, чтоб никто не подслушал),
Не поломав и ларца, пару талантов стянул.
Ключ для соблазна жены всегда я храню сокровенно
И без труда я могу глупых мужей обмануть.
Коль не удался обман и с поличным буду я пойман,
То, призывая богов, все от себя отведу,
Не усомнившись призвать себе лжесвидетелей в помощь.
Смелости нет у того, кто почитает богов».
«Ладно: ты Гета»,— сказал ему Гета, не зная, что делать.
Все он признал, и ему горько с досады теперь.
«Значит, я — просто ничто»,— говорит он и тотчас обратно
Той же дорогой, какой радостный шел он, побрел.

Мрачный идет он назад, про себя печалясь: «Увы мне!
Был я когда-то, и вот я обратился в ничто.
Гета, чем можешь ты быть? Человек ты? Да нет, потому что,
Если кто Гетою был, чем, кроме Геты, он стал?
Я вот Платон; может быть, обращен я в Платона наукой?
Гетой же мне не бывать, хоть я и Гетой зовусь.
Коль я не Гета, то мне не должно Гетою зваться;
Гетой зовусь; если ж нет, как же меня называть?
Имени нет у меня, раз ничто я. Увы мне, ничто я.
Но говорю и смотрю, и осязаю себя».
Тут, прикасаясь к себе, говорит: «Да ведь я осязаем!
Что осязаемо, то не обратимо в ничто.
Есть то, что было, и впредь оно бытия не лишится;
То существует, чему существованье дано.
Я ж существую и нет. Пропадай, диалектика! Ею
Я уничтожен вконец. Знаю, что знание — зло.
Логику Гета учил, и вот бытие он утратил,
И не в быка обращен ею, но вовсе в ничто.
Эта софистика всех других лишь в скотов обращает,
А у меня-то мое все отняла бытие.
Горе вам, логикам всем, коли так! Но, я вижу, подходит
Амфитрион, но и он тоже, пожалуй, ничто.
Но, хоть ничто, он идет; идти же ничто ведь не может?!

Боги, что делать? Пошло все у нас здесь кувырком.
От диалектики стал я, дурень, и вовсе безумным.
Есть ли Гета иль нет, Гета теперь уяснит.
Я существую, коль он назовет меня Гетой при встрече;
Если же нет, я ничто». Так он сказал и пошел.

Амфитрион продолжает идти, а следом с узлами
Тяжкой поклажи спешит Биррия, еле дыша.
Гету увидя,— «Зачем, о великий Юпитер,— вскричал он,—
Гета навстречу идет? Что он еще натворил?
Или какую беду его спешный возврат возвещает?
Сделай, Юнона, чтоб он с доброю вестью пришел!
Может быть, умер сынок у меня иль несчастье какое
Сталось с женою? Боюсь. Видно, что он огорчен.
Страшно смотреть на него. Только б не дали боги бездетным
Мне оказаться и стать круглым навек сиротой.
Что ж я молчу? Расспрошу». И тут же к нему обратился:
«Гета, скажи мне скорей, как у нас дома дела?
Все ли в порядке иль нет? Как супруга моя дорогая,
Не захворала ль она?» Гета же так говорит:
«Боги, я — Гета, коль он, спросив меня, Гетою назвал.
Имени, знаю я, нет лишь у того, чего нет.
Пусть доказавшего мне, что ничто я, накажет Юпитер
И за меня отомстит, высших владыка небес».
Так говоря про себя, он тут же воскликнул: «Клянусь я,
Ты удивишься: давно мы уже дома с тобой.
Знай же: здесь вовсе не мы. Вернулся уж Биррия, в спальне
Амфитрион, у дверей Гета на страже стоит.
Правду тебе говорю я сущую; был бы я счастлив,
Если бы то, что скажу, было бы чистым враньем.
Вот когда, Амфитрион, ты меня отпустил, то, вернувшись,
Перед собой я нашел двери на крепком замке.
Стал я ломиться тогда. Меня Гета гонит от двери
И говорит, что давно дома уж Амфитрион.
Мне он меня описал, перечислил мне все, что я делал,
Кто такой Гета, сказал; я и поверил ему».
Биррия шепчет себе, усмехаясь: «Он в Грецию, вижу,
Выехал в здравом уме, там же с ума он сошел.
Всякого дурня сведет с ума диалектика. Видно,
Биррия, не по тебе эту науку зубрить.
Лучше уж неучем быть: любого все эти бредни
Делают или ослом, или же вовсе ничем.
Будь кто угодно ослом, ты, Биррия, будь человеком:
Школою всяких наук будет харчевня тебе».

Гета окончил доклад, едва самому себе веря.
В ужасе Амфитрион и говорит вне себя:
«Ты одурачен, болван, побоявшись ничем оказаться.

В спальне любовник; с тобой был он, конечно, знаком.
Дайте оружие мне! Ты, Гета, мечом опояшься,
Биррия, копья бери: мы одолеем его.
Счел он нас всех за ничто, но сейчас он почувствует, кто мы».
Выслушав этот приказ, Гета берется за меч.
Оба готовы. Один возмущен осквернением ложа,
Тот же докажет мечом, что он отнюдь не ничто.
Биррия тут про себя: «Я знал,— говорит,— что как только
К пристани я поспешу, ложе любовник займет.
Где бы мне спрятаться? Нет, уж Биррию ты не обманешь:
Этих безумцев двоих бешенство гонит на бой.
Пусть оба биться идут, в сражении все ненадежно.
Коль удеру, никогда в битве меня не убьют».
Грозно его господин торопит: «Ну, Биррия, живо!»
«Все я с поклажей вожусь. Я догоню»,— говорит.
— «Брось ты узлы, захватить и прикончить любовника надо».
— «Брошу. Беда за бедой, вижу я, так и бежит.
Силы у нас не равны, там, пожалуй, ведь много народу,
И захватить нелегко будет любовника нам.
Во всеоружье идут блудники. Я за вами. Ступайте.
Для рукопашной всегда нужны бывают мечи.
Издалека во врагов я пращой метать буду камни:
Раны нежданные вред бо́льший наносят врагам».
Оба, Юпитера мощь на Юпитера мощь призывая,
Гета и Амфитрион грозно оружьем гремят.
Биррию смех разобрал: что за смелость у этих обоих!
Вот бы любовнику знать, что за вояки идут.
Спины врагам показать им нетрудно. Коль Греция встарь бы
Эдаких слала бойцов, Троя стояла б досель.
Биррия, первым беги, коль умен, нападай же последним:
Робкому, чтобы спастись, лучше подальше удрать».

Стал уже меньше пылать любовною страстью Юпитер,
И поцелуи его стали не так горячи:
«Надобно мне уходить: корабли у причала оставил
Я без охраны. Пора, Гета, назад нам идти».
Тотчас Меркурий за ним. Небеса Юпитеру рады,
Грустною стала земля, чуя, что боги ушли.
Без украшений стоит Алкмена, сняв все уборы,
Но и без них хороша. Снова отворена дверь.
Амфитрион перед ней появляется вооруженный;
Страхом объята, жена мужу навстречу идет.
«Меч почему у тебя? Поцелуев я жду, не оружья.
Что за нужда,— говорит,— так появляться к жене?»
Ласковым рад он словам. «Целоваться явился в оружье?»
Выскользнул меч из руки, гнев остывает его.
Гета идёт; изумлен он отворенной двери; за нею
Хочет искать блудника, но и боится найти.

Вовсе его не найдя, становится Гета смелее
И начинает уже голосом грозным кричать:
«Амфитрион, где блудник? Довольно тебе целоваться!
Где тут блудник? Я его тут же прикончу мечом.
Я и Алкмену спрошу: почему ни за что не хотела
Гету впустить?» Но она так отвечает, смеясь:
«Ты же ведь дверь сторожил и сам же ее отворил ты,
А перед этим ее сам приказал запереть.
С Амфитрионом моим я в брачном покое ласкалась».
Амфитрион тут пришел в ярость при этих словах.
Вместо объятий — побои, нарушены мир и согласье,
И по желанным щекам муж начинает хлестать.
«Горе мне! — он завопил.— Наконец-то домой мы вернулись,
А у тебя был блудник!» «Не был,— она говорит.—
Я миловалась с тобой! Или мне это все показалось?
Часто виденья со мной шутят, когда я засну».
«Это, конечно, во сне,— добавил Биррия,— Гета
Тоже дуреет, глупей став от науки своей.
Бросьте дурацкую брань! Пойду-ка я лучше в поварню.
Радуйся, Амфитрион! Гета, ты — вновь человек!
Амфитрион, утешайся женой; ты, Биррия,— кухней;
Тем, что ты вновь человек,— Гета. И все хорошо».

Поэзия вагантов

Поэзию вагантов открыл для европейского читателя романтизм с его культом средневековья. В начале XIX в. была найдена знаменитая Бенедиктбейренская рукопись («Carmina, Burana»); удивленная Европа увидела, что мрачное средневековье умело не только молиться, но и веселиться, и не только на народных языках, но и на ученой латыни. К середине XIX в. основные памятники вагантской литературы были, худо ли, хорошо ли, уже опубликованы; но представления о ее происхождении, распространении и характере были самые смутные. Было предположение, что родиной вагантской поэзии была Италия, страна будущего Ренессанса; было предположение, что все лучшие вагантские стихи принадлежат одному гениальному поэту, скрывшемуся под прозвищем «Голиаф» (это имя стоит в рукописях многих стихотворений — особенно в рукописях английского происхождения), и его подражателям «голиардам», объединявшимся в организованный бродячий орден; было предположение, что это стихи и песни низового, коллективного происхождения, слагавшиеся безымянными бродягами, и было противоположное предположение, что эти стихи сочинялись для развлечения учеными и богатыми клириками и лишь потом спускались «в народ». Только в XX в. картина начала проясняться. В. Мейеру удалось выявить цикл стихотворений, сочиненных Примасом Орлеанским; М. Маницйус выделил и издал стихотворения Архипииты Кельнского; К. Штрекер определил лирическое наследие Вальтера Шатильонского и его школы. Вокруг этих (и немногих других) имен по-прежнему лежит неоглядное поле анонимных произведений, и работа по установлению их текста, происхождения, взаимовлияния и атрибуции находится еще в самом начале.

Самое раннее и самое славное из вагантских имен — это имя Гугона, по прозвищу Примас Орлеанский. Оно попало даже в современные летописи: в хронике продолжателя Ришара из Пуатье под 1142 г. стоит такая запись: «В это же время процветал в Париже некий школяр, по имени Гугон, от товарищей своих по учению прозванный Примасом; человек он был маленький, видом безобразный, в мирских науках смолоду начитанный и остроумием своим и познаниями в словесности стяжавший своему имени блистательную славу по многим и многим провинциям. Среди других школяров был он так искусен и быстр в сочинении стихов, что, по рассказам, вызывал всеобщий смех, оглашая свои тут же слагаемые вирши об убогом плаще, пожертвованном ему некоторым прелатом». Стихотворение это читатель найдет ниже. Про него рассказывали, что однажды он в церковном хоре пел вполголоса и объяснял это тем, что не мо-

жет петь иначе, имея только полприхода; и еще столетие спустя итальянский хронист Салимбене, рассказывая об одном архиепископе, который терпеть не мог смешивать вино с водой, упоминает, что при этом он с восторгом ссылался на стихи Примаса Орлеанского на эту тему. «Примас» стал почти нарицательным именем для поэта-ваганта; было даже предание о том, как он состязался в стихотворстве с легендарным Голиафом, праотцом голиардов. Действительно, во всем корпусе вагантской поэзии стихи Примаса отличаются наибольшей индивидуальностью, производят непреодолимое впечатление автобиографичности. Они самые ««земные», он нарочно подчеркивает низменность их тем — подарков, которые он выпрашивает, или поношений, которые он выносит. Он — единственный из вагантов, который изображает свою любовницу не условной красавицей, а прозаической городской блудницей. По его стихам можно проследить с приблизительной достоверностью историю его бродячей жизни. Он побывал и в Орлеане, и в Париже, и в Бовэ, и в Реймсе, которому посвятил панегирическое стихотворение, и в Амьене, где он проигрался до нитки, и в Сансе, где добрый епископ щедро его одарил. Под старость ему жилось все хуже и хуже: в одном свирепом стихотворении он рассказывает, как его спустил с лестницы некий богач, к которому он пришел (будто бы) за своими собственными деньгами, в другом, напечатанном ниже, — как злодей-капеллан со своим приспешником выжил его в больницу-богадельню при капитуле, а когда он попытался заступиться там за одного больного, то выгнал и оттуда. Даты жизни Примаса могут быть установлены лишь приблизительно: он родился ок. 1093 г., а умер ок. 1160 г.

Второй великий вагантский поэт известен не по имени, а только по прозвищу: это Архипиита, «поэт поэтов», как он себя называет. Архипиита — образ совсем иного рода, чем Примас. Он тоже скиталец, он тоже бедняк, но у него нет той едкой мрачности, которая присутствует в стихах Примаса: вместо этого он бравирует легкостью, иронией и блеском. Он тоже попрошайничает почти в каждом стихотворении, но не с издевательским самоуничижением, как Примас, а с гордым вызовом, принимая подаяния как нечто заслуженное. Стих его легче и звонче, он реже пользуется метрическими размерами и чаще — ритмическими, более разговорными, он с великолепной иронической свободой рассеивает в своих стихах и библейские и античные реминисценции в самом неожиданном применении. Хоть он и упоминает о том, что страдает чахоткой, но стихи его светлее и оптимистичнее, чем стихи Примаса. По собственному признанию, он был из рыцарского рода и пошел в клирики только из любви к наукам и искусствам; светский лоск лежит на его стихах больше, чем у кого-либо из его латинских современников. Таково и его общественное положение: это почти «придворный поэт» императора Фридриха Барбароссы, его официальный покровитель — архиканцлер Рейнальд (Регинальд) Дассельский, архиепископ Кельнский, правая рука императора. Жизнь Архипииты выступает для нас из неизвестности всего на какие-нибудь пять-шесть лет — 1161—1165 гг. В эти годы написаны все десять сохранившихся от него стихотворений: в них мы находим его сперва в Италии в свите Рейнальда, сопровождавшего императора в походе против Милана (Рейнальд побуждал поэта написать эпос в честь Фридриха, поэт изысканнейшим образом отказывался — это стихотворение переведено ниже, — но потом все-таки был вынужден написать если не эпос, то оду в честь Фридриха, эффектную и блестящую), потом — в Вене, на возвратном пути в

Германию, потом — в Кельне, потом — в Салерно, знаменитом медицинском центре, куда он отправился лечиться от чахотки, и наконец, после неудачного лечения, — опять в Германии. Стихи Архипииты широкого распространения не получили: это был слишком индивидуальный и слишком «локальный» мастер, чтобы ему можно было легко подражать. Однако одно из его десяти стихотворений представляет исключение — это знаменитая «Исповедь», с ее строками «В кабаке возьми меня, смерть, а не на ложе!..» и т. д.; рано утратив имя автора, она стала популярнейшим из всех вагантских стихотворений в Европе, перерабатываясь и контаминируясь с другими вагантскими «программными» стихами как истинное фольклорное произведение.

Третий классик вагантской поэзии, Вальтер Шатильонский (ок. 1135—1200) уже известен нам как автор эпической «Александреиды», один из самых ученых и классически образованных поэтов XII в. «Ученым поэтом» он остался и среди вагантов. Собственно, «бродячим клириком» его считать нельзя, бедняком он не был и всегда располагал каким-нибудь местом в каноникате, соборной школе или при дворе Генриха II. «Попрошайных» стихотворений, столь важных для Примаса или Архипииты, у него нет вовсе. Единственное стихотворение, в котором он просит пожаловать его приходом, обращено к самому папе и настолько полно патетических ламентаций о всеобщем падении нравов и знаний, что личная нота в нем совершенно теряется. Падение учености, отсутствие уважения к знаниям и знающим — главная тема жалоб и негодования Вальтера в большинстве его стихотворений: он ратует стихами не за себя, а за все ученое сословие. Поэтому для него особенно характерны сатирические и морально-обличительные стихотворения: ими он представлен и в нашей подборке. Главный предмет его обличений — богатые прелаты, их симония и непотизм; непосредственно папский престол он затрагивает лишь в одном стихотворении, «Обличить намерен я...» (может быть, оно даже принадлежит не Вальтеру, а его подражателю), которое именно поэтому стало одним из самых популярных во всей вагантской поэзии. Стиль Вальтера тоже несет отпечаток его «учености»: он любит эффектно развертываемые аллегории (так построено стихотворение «Для Сиона не смолчу я», где образы Сциллы и Харибды, скал, сирен и пр., нагроможденные в начале стихотворения, потом получают каждый свое отдельное толкование, так же построен «Стих о светопреставлении»), любит патетические антитезы, созвучия, игру слов (например, в «Обличении Рима»). Примаса легче всего представить себе читающим стихи в таверне, Архипииту — при дворе, а Вальтера — на проповеднической кафедре. Из трех поэтов он — самый «литературный»: он берет ходовые общедоступные мотивы и с помощью своего арсенала риторических средств, которыми он владеет в совершенстве, превращает их в образцовые стихотворения. Это относится не только к сатирическим, но и к традиционным лирическим темам — к стихам о любви, весне и свидании.

Безымянная масса рядовой вагантской поэзии представлена в настоящем сборнике немногими образцами, характерными для всех основных ее тем: здесь есть стихи «программно»-вагантские («Чин голиардский»), стихи сатирические, весенние песни, любовные песни, пасторали, и, наконец, вакхические песни; среди этих стихотворений помещена (в сокращении) и большая поэма «Прение Флоры и Филлиды», один из лучших образцов популярного в средние века жанра дебата на характерную для вагантов тему — кто больше достоин любви, рыцарь или клирик? Почти все эти стихотворения заимствованы из уже упоми-

навшегося сборника «Carmina Burana» — самой большой антологии латинской светской лирики средневековья. Составленная в XIII в. неизвестным любителем из южной Баварии, эта антология включает свыше 200 произведений, преимущественно вагантского происхождения. Они расположены в продуманной последовательности: вначале морально-сатирические стихи (быть может, этому предшествовала несохранившаяся часть с религиозными стихами), потом основная часть — любовные стихи, потом «бродяжные» и застольные песни, и наконец, как это ни странно, несколько религиозных гимнов и литургических драм: очевидно, ваганты в своей деятельности охотно выступали исполнителями этих праздничных действ. Аналогичным образом составлены были и некоторые другие сборники светской поэзии XII—XIII вв., менее объемистые и более пестрые по содержанию; они обычно называются по библиотекам, в которых хранятся их рукописи: Арундельский сборник, Ватиканский, Цюрихский, Базельский, Штутгартский и т. д. Еще большее количество стихотворений разрозненно находится в других бесчисленных сборниках средневековых стихов и прозы, до сих пор должным образом не обследованных. Поэзия вагантов остается одним из самых интересных предметов изучения для литературоведа-медиевиста.

ЧИН ГОЛИАРДСКИЙ

1. Бог сказал апостолам: «По миру идите!» [1]
И по слову этому, где ни поглядите,
Мнихи и священники, проще и маститей,
Мчатся — присоседиться к нашей славной свите.

2. Помним слово Павлово; «Испытуйте вольно!» [2]
Жребий наш — достойнейший в жизни сей юдольной.
Только тот противен нам в братье богомольной,
Кто нас примет скаредно и нехлебосольно.

3. Саксы, франки, мейсенцы, свевы и батавы [3],
В орден наш собравшие все концы державы,
Молвите, прослушавши ордена уставы:
«Сгиньте, скряги алчные! Сгибните без славы!»

4. Образ благочестия мы одни являем:
Бедного, богатого — всех мы принимаем;
Знатных с низкородными, дельного с лентяем,
Кто от монастырских врат в шею был толкаем.

5. Рады и монаху мы с выбритой макушкой,
Рады и пресвитеру с доброю подружкой;
Школьника с учителем, клирика со служкой
И студента праздного — всех встречаем кружкой.

6. Принимает орден наш правых и неправых,
Старых и измученных, молодых и бравых,
Сильных и расслабленных, видных и плюгавых,
И Венерой раненных, и всецело здравых.

7. Принимает всякого орден наш вагантский:
Чешский люд и швабский люд, фряжский и славянский,
Тут и карлик маленький, и мужлан гигантский,
Кроткий нрав и буйственный, мирный и смутьянский.

8. Ордена бродячего праведна основа:
Наша жизнь завидна есть, доля — несурова.
Нам милей говядины жирный кус здоровый,
Чем болтушка постная из крупы перловой.

9. Орден наш заслуженно братством стану звать я:
Люди званья разного к нам бегут в объятья.
Всех, того и этого, примем без изъятья —
В братии скитальческой все скитальцы — братья.

10. Возбраняет орден наш просыпаться рано —
Утром злые призраки реют средь тумана,
В души пробудившихся входят невозбранно:
Кто поутру в храм спешит — поступает странно.

11. Возбраняет орден наш раннее служенье —
Встав, мы ищем отдыха, ищем угощенья,
Пьем вино и кур едим, судьбам в посрамленье:
Это нам угоднее времяпровожденье.

12. Возбраняет орден наш быть в двойной одеже [4] —
Сверху свитки плащ носить можно лишь вельможе;
Мы же в кости спустим плащ, да и свитку тоже [5],
А потом расстанемся с поясом из кожи.

13. Твердо это правило помнит мир досужный;
Кто в рубахе чванится, тем штанов не нужно.
Коль наденешь лишнее — если не недужный —
Будь под отлучением: мы с таким не дружны.

14. Сан не дозволяет нам уходить голодным:
Каждый ловко клянчащий будь с подарком сродным.
Будет нам и медный грош нужным и угодным,
Коли с ним ты сядешь в зернь игроком свободным,

15. Ветры нас противные пусть в пути не встретят,
Злые стрелы бедности пусть нам в грудь не метят;
Всякому разумному луч надежды светит:
Беды минут странника, и судьба приветит.

16. А что речи едкие молвим, кроме лестных, —
Скажем в оправдание вольностей словесных:
«Честью честных мы честим и хулой — бесчестных,
Розним козлищ с агнцами, как в словах известных»[6].

ПОПРОШАЙНЯ

1. Звания духовного бедный я бродяжка,
Изнываю в скудости и терзаюсь тяжко.

2. Я бы рад премудрости книжной поучиться,
Так нужда злосчастная нудит отступиться.

3. Одежонка рваная тело прикрывает,
И зимой холодною зябко мне бывает.

4. Оттого и в божий храм прихожу последний:
Нет меня за всенощной, нет и за обедней.

5. Града украшение, ныне к вам взываю,
К вам с мольбой смиренною руки простираю:

6. Вспомните Мартиново благостное дело
И оденьте страннику страждущее тело!

7. Ведь Господь, что ведает о даренье честном,
Вам воздаст сторицею в царствии небесном.

ПРОКЛЯТИЕ ГОЛИАРДОВО ПОХИТИТЕЛЮ КОЛПАКА

1. Скудного имущества похититель жадный,
Будь за то наказан ты смертью безотрадной,
Мучься карой вечною, долей неповадной
Не в полях Элисия, а в геенне смрадной!

2. Пусть тебя, проклятый вор, всех воров негодней,
Бред и жар, и боль, и гниль сгложут безысходней,
Будь из жизни вычеркнут ты рукой Господней,
Будь Эаком выброшен в муки преисподней!

3. В жизни кратковременной ты не ведай счастья;
Днем и ночью пусть тебя стерегут напасти;
Яростной Эринии мучайся во власти;
Цербер растерзай тебя в три голодных пасти!

4. Пусть ему недолгую нить спрядает Клото;
Пусть Лахеза смертные с ним сведет расчеты;
Пусть Атропы ножницы довершат работу [7],
И без покаяния смерть придет к илоту!

5. Будь под отлучением в доме ты и в поле;
Не обрящи общника в злой твоей юдоли;
Пусть никто в глаза тебе не посмотрит боле;
Пусть Мегера жжет тебя пыткой адской боли!

6. Всех грехов немоленных с тяжестью на шее,
Без прикосновения кроткого елея
Смерть скоропостижная ввергнет лиходея
В пекло, где предатели страждут и злодеи.

7. Это отлучение кто услышит, люди,
Всяк к повиновению пусть себя принудит;
Кто же не воздаст за зло оному Иуде,
Ввек тому анафема буди, буди, буди!

Примас Орлеанский

ИЗГНАНИЕ ИЗ БОЛЬНИЦЫ КАПИТУЛА

Был я некогда богатым
И любимым всеми братом,
Но, от старости горбатым
Став, не стал уж тороватым,
Оказавшись виноватым
И проклятыми проклятым.
Сплю на ложе жестковатом,
Состою теперь за штатом.
А питаясь с недохватом,
Стал и грязным и лохматым.
Изгнан был я капелланом
И презренным, и поганым,
И жестоким стариканом,
Словно был я басурманом,
Сам же был он истуканом
Или сущим Дацианом [8].
Он любил меня сначала,
Затаив корысти жало,
А когда моих не стало
Денег, то любовь пропала,
Участь жалкая настала
И, узнавши зла немало,
Выгнан был примас усталый.
Он казался мне примерным
И шептал мне лицемерно,
Обольщенный денег скверной:
«Брат мой, друг тебе я верный».
Обольстился я угодой,
Но, лишившися дохода,
Выгнан был не на свободу,
А на муки и невзгоду
В холод, дождь и непогоду.
Непогоде на мученья
Отдан я без сожаленья
За грехи и преступленья.
Как Иуда, без сомненья,
Я достоин удавленья:
Хору вашему служенье
Предал я, и в заблужденье
Предпочел я униженье
Истинному наслажденью.
Тот, кому я сам предался,
Любодеем оказался,
Я же с жизнью распрощался,
По своей вине попался
И до гибели добрался.

Быть разумным не умея,
Глубоко погряз во зле я,
Сам себе сломивши шею,
Вздумал, что, больных жалея,
Хворым помогу в беде я,
Взяв одежду победнее.
В этой горестной затее
О небес забыл царе я.
Грешен я, но ради бога
Не судите меня строго!
И до смертного порога
Горьких слез пролью я много.
Горько плачу и рыдаю,
Но не тщетно я стенаю,
Вашу доброту всегда я
С умиленьем вспоминая.
О, примаса участь злая,
Я о ней не забываю!
Но пускай и навсегда я,
Днесь отверженный, страдаю,
Но, на вас я уповая,
В нищете не унываю.
Бедности влачу я долю:
Мой участок, мое поле —
Вот мой мир, и поневоле
Не схожу теперь оттоле.
Был богатым я дотоле,
Говорил, шутил я вволю
И острил я не без соли,
Но теперь для этой роли
Нищий не годится боле.
Где я пищу раздобуду,
Нищий? От монахов буду
Ждать ее, но не забуду
Муз, Гомера, и пребуду
Их поклонником повсюду.
Я не жду даяний груду,
Только, коль стою покуда
Я на паперти, зануду
Не прогнали бы оттуда.
Облегченье как найду я?
Но к мирянам не пойду я.
Мало ем и мало пью я,
Брюха я себе не вздую:
Пищу я люблю простую
И немногого ищу я;
Но, коль с голоду помру я,
Обвинить вас не миную.
Но вы знаете ли, братья,
Иль имеете ль понятье
О моем от вас изъятье?
Расскажу, не стану врать я,
Коль не заслужу проклятья.

Б р а т и я о т в е т с т в у е т:

Будет это всему клиру
Сладостней, чем слушать лиру.

П р и м а с:

Выгнан был хромой несчастный
Из обители прекрасной,
Словно вор иль враг опасный,
Был избит вожжой ужасной.
Гнал его от злобы красный
Паламед Вильгельм всевластный
Ганимед-распутник страстный [9].
Брат расслабленный, увечный,
Должен был бы, страждя вечно,
Принят ласково, сердечно.
Скромен был он безупречно,
Провинившись лишь беспечно.
Но его бесчеловечно
В грязь втоптали бессердечно.
Выбросили в грязь хромого
Брата и лишили крова.
Крик услышал я больного
И пошел на помощь снова,
Но и тут меня сурово
Выкинули чуть живого.
Вместе с братом очутился
Я в грязи, и с ним томился,
И, хоть я к добру стремился,
Грешником для всех явился.
Вместе были со злодеем
Хананеи с хананеем,
Фарисеи с фарисеем.
Кроме Бога, не имеем
Мы защиты, и не смеем
Мнить, что горе одолеем.
Плакал я один, и щеки
Заливали слез потоки,
Потому что был жестоко
Мучим старец одинокий.
Плакал, видя, что блюститель

Осквернил свою обитель:
Он был девок развратитель,
Матерей и жен губитель,
Нищих яростный гонитель!
Вы его не уличите ль,
Что им выгнан, как грабитель,
Старый был его сожитель?
Всякий слышал местный
житель,
Что рыдал он, как проситель.
И, страдая от недуга,
Ни священника, ни друга
Не нашел себе в услугу,
Хоть и обошел округу
Он от севера до юга.
Но когда взялся я смело
Осудить, что так терпело
Старика больное тело,
Выгнан был за это дело
За обители пределы.
Обвиненного прогнали,
Возвращаться запрещали,
Пить и есть мне не давали:
Капеллану потакали.
Все дары, что в храм влагали,
Паламеду отдавали,
Ганимеду уделяли,
Иль племяннику вручали.
Певчие же без печали
Негодяя восхваляли.
Братья, вот мое желанье:
Дайте мне вы обещанье
Не солгать в своем признанье
О Примасовом страданье.
Заслужил ли величанье
Иль, напротив, оплеванье
Злой старик без состраданья,
При своем высоком званье
Полный мерзкого желанья,
Осудивший на изгнанье
И лишивший пропитанья
Тех, кто славное признанье
Заслужил и почитанье
Всему свету в назиданье?

ШУБА БЕЗ МЕХА

1. Пастырь наш, аду утеха, а божией церкви помеха,
Видно, мерзавец, для смеха ты подал мне шубу без меха!

2. «Што это за одеянье? Покупка иль чье-то даянье?» —
«Выпрошен плащ, и с успехом; увы, не подбит лишь он мехом».
«Чей же сей дар столь богатый?» — «Подарок большого
прелата».—
«Дар поднося столь завидный, желал тебе смерти он, видно!
Право, зимой лишь потеха такая шуба без меха:
Стужа землю застудит, и что с тобой, горестный, будет?»

3. «Шуба, бедная шуба, на плащ похожая грубый,
Верь, мне мерзнуть не любо, стучат от холода зубы!
Будь моею защитой от зимней стужи сердитой,—
Может, с тобой я согреюсь, и скрыться от ветров надеюсь».
Шуба в ответ мне на это: «Теперь ведь зима, а не лето:
Голой тканью своею согреть я тебя не сумею!
Я от зубов аквилона не буду надежным заслоном,
Нот тебя не минует, коль тоже сквозь дыры задует: [10]
Так-то, с обоего бока пронзит тебя вьюга жестоко».—
«О, жестокая стужа!» — «Еще бы, а будет и хуже!
Есть на то и причина: одежка плоха без овчины.
Право, ты глупо поступишь коль теплого меха не купишь

Да не зашьешь все прорехи,   иначе не будет утехи.
Я-то тебе сострадаю   и вправду утешить желаю,
Но сойду я, дырява,   за Иакова, не за Исава»[11].

ФЛОРА

В горьком месяце мае   познал я удел Менелая:
Были в слезах мои взоры   затем, что лишился я Флоры.
Май — это время цветенья,   а я был в тяжком смятенье:
Флора — это ведь тоже   цветок, а на чьем она ложе?[12]
Плачу вослед я Флоре: меня ты оставила в горе,
Больше не знать мне покоя,   доколе не свижусь с тобою.
Лучшей была ты подругой,   зачем же бросаешь ты друга?
Ах, воротись, и досада   исчезнет от милого взгляда.
Днем я на суше и море   ищу, кто слышал о Флоре,
Ночью я в сновиденьях   томлюсь, как в цепях своих пленник,
Хуже, чем пленник, чем странник,   чем в дальней чужбине изгнанник.

Жизнь я влачу, и на щеки   струятся мне слезные токи,—
Их сдержать не могу я: их высушат лишь поцелуи.
Ах, воротись, дорогая,   и вновь я счастье узнаю —
Буду счастливее Кира,   властителя целого мира,
Буду счастливее оных   царей в драгоценных коронах.
Где от меня ты укрылась,   куда от меня удалилась?
Выйди, не прячься, не надо,   несчастному дай мне пощаду.

Где ты нашла мне замену?   Какую дал тебе цену
Тот, кто даже не знает,   как друг твой жестоко страдает?
Так я тоскую о Флоре,   как горлица мучится в горе,
Друга лишась дорогого   и, ах, не желая другого!
Так я уныло скитаюсь   и в дом свой пустой возвращаюсь,
Томным раскинуться телом   на ложе, увы, опустелом.
Ты ведь одна мне отрада,   других подруг мне не надо:
Уж такова мне судьбина —   страдать страдой голубиной,
И, претерпевши лишенье,   не ведать вовек утешенья.
Горе душу мне точит,   а Флора на это хохочет:
Птице иного полета,   ей горлицей быть неохота —
Похоть в ней блудная тлеет,   одна она спать не умеет.

ЖИЗНЬ БЛУДНИЦЫ

Ежели в гости блудница   к тебе соберется явиться,
Прежде помешкает знатно,   хоть звал ты ее многократно:
Краску кладет и белила,   брови себе насурьмила,
Всю красоту наводит   и важной походкой выходит.
В доме твоем появляясь,   она говорит, задыхаясь,

Будто шла издалека   и,ах, устала жестоко.
С виду даже робеет,   хоть опыт немалый имеет!
Чтоб угодить подруге,   ты кличешь, чтоб ловкие слуги
Всюду ковры стелили,   порядок везде наводили,
Дом украшали цветами,   чтоб сладкими пахло духами,—
Гостье будет приятно   войти в твой дом ароматный.
Самые лучшие вещи   в глаза красавице блещут;
Повар рвется на части —   готовит отборные сласти.
Гостья твоя прихотлива,   разборчива в пище на диво —
Тронет, откусит, пригубит,   посмотрит, что любит, не любит.
Слуги вино из подвала   пред ней наливают в бокалы —
Девка посмотрит, проглотит,   поморщится, нос отворотит.
Спать с тобою ложится   ни дать ни взять, как девица;
Только ты к ней подлезаешь,   кричит: «Меня ты пронзаешь!»
Стонет, ломая руки,   что этой не вынесет муки;
Так она жмется, что еле   дорогу нащупаешь к цели;
А ведь она бы вместила   в себя и ослиную силу!
Утром на улицу выйдет —   боится, что кто-то увидит;
Чтобы ее не узнали,   укроет лицо в покрывале.

Если ж ее не к себе ты приводишь,   а в дом к ней заходишь,—
Дом этот жалок, грязен,   убог и на вид безобразен;
И на столе негусто: один салат да капуста —
Вот и все угощенье.   А если нужны умащенья,—
Купит бычьего сала   из туши, какой ни попало,
Купит, потратясь немного,   овечью ли, козью ли ногу,
Хлеб растолчет и размочит,   черствевший с давешней ночи,
Крошек в сало добавит,   вином эту тюрю приправит,
Или, вернее, отстоем,   подобным винным помоям.
А чтоб торговец в лавке   расчелся бы с ней без надбавки,
Оба при каждой покупке   на палочке режут зарубки.
Так же она получает   и то, чем гостей угощает:
Медную мелочь потратит,   а на пять обедов ей хватит.
Ежели к двери убогой   подходит шут босоногий,
Мим, игрок-оборванец,   иль пьяница, худший из пьяниц,
Лишь бы, силою полон,   могучими чреслами цвел он,—
Дверь перед ним нараспашку,   а ты завидуй, бедняжка.
Ей забулдыга милее   Пелопа, милее Пелея,
Он самому Диомеду   над ней не уступит победу.
С ним она спорить не будет,   а всякий стыд позабудет
И с головой непокрытой   за ним побежит неумытой
В самое грязное стойло,   чего бы ей это ни стоило —
Тут уж брезгливости нету,   и малой довольна монетой,
Мчится, куда ни покличут,   коль видит такую добычу.
Словно пчела, что за медом   летит на любую колоду,
Так блудница бежит за мужланом,   ей трижды желанным,
А получив, что хотела,   любому отдаст свое тело.

ОРФЕЙ В ЗАГРОБНОМ МИРЕ

Пир на свадьбе великой пирует Орфей с Евридикой;
Мать-богиня Орфея поет им гимн Гименея [13].
Третий день на исходе, как вдруг беда происходит.
Счастье на свете непрочно: ногою шагнув ненарочно,
Дева на змея ступает; змей свою пасть разевает
И в наступившую грубо вонзает жестокие зубы.
Змей ногою раздавлен, но пир тоскою отравлен:
Яд восходит по ране, девица теряет дыханье,
Муж на нечаянной тризне чуть сам не лишается жизни;
Хочет он плакать жестоко, но много ль от этого прока?
Мужу не свойственны стоны. Вершится обряд похоронный,
Сам он в горе великом склонился над мертвенным ликом.
В землю опущено тело, к Плутону душа отлетела.
Сухи Орфеевы вежды, на лиру его все надежды:
В сердце своем он угрюмо скрывает великую думу:
«В струнном бряцании лиры — почет владыкам эфира;
Сам богов повелитель — гармонии лирной любитель;
Силою струнного звона смягчу я и сердце Плутона —
Песнь мне откроет дорогу, как речи аркадского бога» [14].
Лиру в порядок привел он, по струнам рукою провел он,
Вот уж умелые руки исторгли сладчайшие звуки,—
И, неподвластный смятенью, идет он за милою тенью.
Вот он, не зная покоя, стоит над Плачем-рекою; [15]
Дав перевозчику марку, вступает в Харонову барку —
Барка тяжко осела под грузом смертного тела,—
С лирой в руках невозбранно идет в залетейские страны
Прямо к дворцу Плутона, к его высокому трону.
Царь преисподней тоскует, взирая на дерзость людскую,
И вопрошает, что ищет пришелец в подземном жилище?

В струны Орфей ударяет, к царю свою речь обращает:
Внемлет царь сановитый, безмолвна царская свита.
«Слава, слава Плутону, владыке подземного трона!
Дан судьбой тебе жребий царить не в море, не в небе,—
Здесь, у последнего крова, где всем нам удел уготован,
Ты восседишь в диадеме, от нас почитаемый всеми,
Ибо, рано иль поздно, смерть всех похищает нас грозно,
Чтобы в твоей мы державе ответ по чести держали
И по заслугам награды имели, и кары терпели.
Добрым и злым, одна нам дорога к подземному богу!
Двор твой, я вижу, дивится, что смел я живым здесь явиться?
Пусть дивится: причину скажу я тебе, господину.
Сила любви необорной свела меня в край этот черный
Следом за милой женою, кончиной похищенной злою,
Коей причина — не старость, не мор, а змеиная ярость.
Пусть для подземного мира не даром звучит моя лира:

Пусть в награду за песню моя Евридика воскреснет!
Дар этот, знаю великий,— к лицу он такому владыке:
Стоит подобного дара звучащая в аде кифара!
Не о бессмертье прошу я, не с дерзкой мольбою вхожу я —
Пусть лишь будут даны ей обычные сроки земные,
После которых мы оба сойдем в земную утробу —
Смерти добычей двойною, за милость достойной ценою...» [16]

Архипиита Кельнский

ПОСЛАНИЕ К АРХИКАНЦЛЕРУ РЕГИНАЛЬДУ, АРХИЕПИСКОПУ КЕЛЬНСКОМУ

1. Архиканцеляриус, славный муж совета,
Просвещенный истиной божеского света,
Чья душа высокою твердостью одета,
Ты чрезмерно многого хочешь от поэта.

2. Выслушай, возвышенный, робкие моленья,
Изъяви к просящему ты благоволенье
И не заставляй меня, внявши повеленью,
Гнуть под тяжкой ношею слабые колени.

3. Я — певец твой искренний, твой слуга толковый,
По суху и по морю для тебя готовый;
Все, что хочешь, напишу по любому зову;
Но нехватка времени жмет меня сурово.

4. За неделю можно ли описать пристойно
Нашим славным кесарем веденные войны?
Лишь Лукан с Вергилием их воспеть достойны,
Год и два, и три подряд песнь слагая стройно [17].

5. Пожалей, разумнейший, стихотворца участь!
Не заставь покорствовать, жалуясь и мучась!
Жгучей торопливости умеряя жгучесть,
Струнам растревоженным вороти певучесть.

6. Ты ведь знаешь, праведный,— в этой жизни бренной
Сила в нас не может быть вечно неизменной:
И пророков покидал божий дар священный,
И родник моих стихов иссыхает, пенный.

7. Иногда пишу легко, без числа и счета,
И никто не упрекнет, что плоха работа;
Но пройдет немного дней, пропадет охота,
И заменит мне стихи сонная зевота

8. Что однажды издано, то уж не исправить!
И спешат писатели, чтоб себя прославить,
Стих похуже выкинуть, а получше — вставить,
Не желая праздный люд без нужды забавить.

9. Неучей чуждается стихотворец истый,
От толпы спасается в рощице тенистой [18],
Бьется, гнется, тужится, правя слог цветистый,
Чтобы выстраданный стих звонкий был и чистый.

10. В площадном и рыночном задыхаясь гаме,
Стихотворцы впроголодь мучатся годами;
Чтоб создать бессмертный сказ, умирают сами,
Изможденные вконец горькими трудами.

11. Но звучит по-разному голос наш природный!
Я вот вовсе не могу сочинять голодный:
Одолеть меня тогда может кто угодно,—
Жизнь без мяса и вина для меня бесплодна.

12. Да, зовет по-разному к делу нас природа!
Для меня кувшин вина — лучшая угода: [19]
Чем я чаще в кабаках делаю обходы,
Тем смелей моя в стихах легкость и свобода.

13. От вина хорошего звонче в лире звоны:
Лучше пить и лучше петь — вот мои законы!
Трезвый я едва плету вялый стих и сонный,
А как выпью — резвостью превзойду Назона.

14. Не всегда исполнен я божеского духа —
Он ко мне является, если сыто брюхо.
Но едва нахлынет Вакх в душу, где так сухо,—
Тотчас Феб заводит песнь, дивную для слуха.

15. Оттого и не могу, нищий я и бедный,
Фридриха державного славить путь победный,
Сокрушивший в Лации корень злобы вредной,—
В этом, повелитель мой, каюсь исповедно.

16. Трудно в худшей нищете отыскать поэта:
Только у меня и есть, что на мне надето!
А от сытых скудному можно ль ждать привета?
Право, не заслужена мною доля эта.

17. Я из рода рыцарей вышел в грамотеи,
Я с сохой и заступом знаться не умею,
Мне и ратного труда книжный труд милее —
Я люблю Вергилия больше, чем Энея.

18. Не пойду я в нищие — это мне зазорно;
Не пойду и воровать, хоть зови повторно;
Видишь сам, передо мной нет дороги торной —
Клянчить, красть, пахать, служить — все неплодотворно.

19. Как мои страдания скорбны и жестоки,
Я не раз уже писал горестные строки;
Но невнятны для зевак все мои намеки —
Я блуждаю, как и был, нищий, одинокий.

20. Немцев щедрые дары я не позабуду
И достойною хвалой их прославлю всюду...
. . . .

21. Но зато в Италии — сущие злодеи,
Идолопоклонники, а не иереи,
Подают мне медный грош, серебра жалея,—
Ну так диво ли, что я чахну и худею?

22. Горько мне, что вижу я: льстивые миряне,
Глупые и праздные, хуже всякой дряни,
Век в душе не знавшие божьего дыханья,
Ходят разодетые в шелковые ткани.

23. Если б им лишь рыцари были доброхоты,
А о нас священники брали бы заботы!
Только ведь и в клириках нет для нас щедроты —
Лишь о суете мирской все у них хлопоты.

24. Священнослужители нынче стали плохи:
Наши им неведомы горестные вздохи,
В их домах, бесчинствуя, скачут скоморохи,
Вместо нас последние подъедая крохи.

25. Сгибни, клир злонравственный и несердобольный,
Нас забывший жаловать милостью застольной!
Но вовек да славятся те, кто хлебосольны,
И первейший между них — ты, блюститель Кёльна!

26. Царскими заботами ты чело венчаешь
И от царских ты забот имя получаешь; [20]
Ты господню заповедь в сердце величаешь
И пришельца-странника с щедростью встречаешь.

27. Страждущий от зимнего хладного дыханья,
Я к тебе дрожащие простираю длани —
Ни постели у меня нет, ни одеянья,
И смиренно я приму всякое даянье.

28. Архиканцеляриус, свет мой и опора,
Славою наполнивший звездные просторы,
Верности прибежище и услада взора,
Годы долгие живи и не знай укора!

29. Я когда-то от тебя деньги взять решился,
Но давно мой кошелек вновь опустошился:
Я с одним священником ими поделился,
Чтобы век он за тебя Господу молился.

30. Щедрому хозяину щедро подражая,
Я делюсь с издольщиком долей урожая:
Каждый знает по себе, в ком душа большая,—
Чем крупней кусок отдам, тем вкусней вкушаю.

31. Не могу один в углу наслаждаться пищей —
Половину уделю доброй братье нищей.
А при княжеских дворах пусть другие рыщут,
Коим высшее из благ — толстый животище.

32. Архиканцеляриус, свет мой и отрада,
Нестора премудрого истинное чадо,
Да пошлет тебе Христос за труды награду,
Мне же — красноречие петь тебя как надо.

ИСПОВЕДЬ

1. Осудивши с горечью жизни путь бесчестный,
Приговор ей вынес я строгий и нелестный:
Создан из материи слабой, легковесной,
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный [21].

2. Мудрецами строится дом на камне прочном [22],
Я же, легкомыслием заражен порочным,
С чем сравнюсь? С извилистым ручейком проточным,
Облаков изменчивых отраженьем точным.

3. Как ладья, что кормчего потеряла в море,
Словно птица в воздухе на небес просторе [23],
Все ношусь без удержу я себе на горе,
С непутевой братией никогда не в ссоре.

4. Что тревожит смертного, то мне не по нраву:
Пуще меда легкую я люблю забаву.
Знаю лишь Венерину над собой державу —
В каждом сердце доблестном место ей по праву.

5. Я иду широкою юности дорогой [24]
И о добродетели забываю строгой,
О своем спасении думаю не много
И лишь к плотским радостям льну душой убогой.

6. Мне, владыка, грешному, ты даруй прощенье:
Сладостна мне смерть моя, сладко умерщвленье;
Ранит сердце чудное девушек цветенье —
Я целую каждую — хоть в воображенье!

7. Воевать с природою, право, труд напрасный:
Можно ль перед девушкой вид хранить бесстрастный?
Над душою юноши правила не властны:
Он воспламеняется формою прекрасной.

8. Кто не вспыхнет пламенем средь горящей серы?
Сыщутся ли в Павии чистоты примеры?
Там лицо, и пальчики, и глаза Венеры
Соблазняют юношей красотой без меры.

9. Ипполита в Павии только поселите —
Мигом все изменится в этом Ипполите:
Башни Добродетели там вы не ищите —
В ложницу Венерину все приводят нити [25].

10. Во-вторых, горячкою мучим я игорной;
Часто ей обязан я наготой позорной,
Но тогда незябнущий дух мой необорный
Мне внушает лучшие из стихов бесспорно.

11. В-третьих, в кабаке сидеть и доселе было
И дотоле будет мне бесконечно мило,
Как увижу на небе ангельские силы
И услышу пенье их над своей могилой.

12. В кабаке возьми меня, смерть, а не на ложе! [26]
Быть к вину поблизости мне всего дороже.
Будет петь и ангелам веселее тоже:
«Над великим пьяницей смилуйся, о Боже!»

13. Да, хмельными чарами сердце пламенится;
Дух, вкусивший нектара, воспаряет птицей;
Мне вино кабацкое много слаще мнится
Вин архиепископских, смешанных с водицей.

14. Вот, гляди же, вся моя пред тобою скверна,
О которой шепчутся вкруг тебя усердно;
О себе любой из них промолчит, наверно,
Хоть мирские радости любы им безмерно

15. Пусть в твоем присутствии, не тая навета,
И словам господнего следуя завета,
Тот, кто уберег себя от соблазнов света,
Бросит камень в бедного школяра-поэта [27].

16. Пред тобой покаявшись искренне и гласно,
Изрыгнул отраву я, что была опасна;
Жизни добродетельной ныне жажду страстно...
Одному Юпитеру наше сердце ясно.

17. С прежними пороками расстаюсь навеки;
Словно новорожденный, поднимаю веки,
Чтоб отныне, вскормленный на здоровом млеке,
Даже память вытравить о былом калеке [28].

18. К кельнскому избраннику просьба о прощенье: [29]
За мое раскаянье жду я отпущенья.
Но какое б ни было от него решенье,
Подчиниться будет мне только наслажденье.

19. Львы, и те к поверженным в прах не без пощады:
Отпустить поверженных львы бывают рады.
Так и вам, правители, поступать бы надо:
Сладостью смягчается даже горечь яда.

ПРОПОВЕДЬ

1. Слабый духом, с речью убогою,
Выступаю к мудрому кругу я —
Не в гордыне и не с отвагою —
Нет, нуждою мучимый строгою.

2. Есть на свете правило дельное,
Благородным душам знакомое:
Помогают немощным сильные.
Низшим — высший, глупым — разумные.

3. Не держусь дурного обычая,
Свет ума от зрячих не прячу я: [30]
Все, что знаю, на все отвечу я
Благочестной доброю речию.

4. Будет речь моя невеликою,
Чтоб не мучить внемлющих скукою,
Чтоб не слышал ропщущих крика я,
Не глядел в зевоту широкую.

5. Человеку в грешном падении
Бог надежду дал на спасение:
Дева-матерь в дивном рождении
Нам явила лик откровения.

6. Сочеталось с низменным вышнее,
С рабством — царство, с немощным — мощное,
Скорбь — с блаженством, с ясностью — мрачное,
С тем, что смертно, жизнь бесконечная.

11. Души смертных, тьмою уловлены,
Днесь от мрака светом избавлены:
Мудрость вживе мудрым представлена,
Тайна рока смертному явлена.

13. В этом мире, преданном тлению,
Узок путь, ведущий к спасению —
Строго судит божье предзнание
Наши мысли, наши деяния.

14. Зрящий в душах злое и доброе
Нас зовет на судьбище грозное,
Да воздастся мерою полною
За добро и зло совершенное.

15. В сей юдоли скорбен удел людской,
Суетою мучимый всяческой —
С колыбели нашей младенческой
Прям ко гробу путь человеческий.

16. Но вдохнувший в смертных дыхание
Дал иное нам упование:
Есть за смертью жизни продление,
Мертвым прахам есть воскресение.

17. Нас зовет он в царство небесное,
Где забыто бренное, косное
Где отраду сладостно-ясную
Божья воля дарит чудесная.

18. Убоимся ж ада кромешного,
Справедливой кары для грешного!
Смрада, стона, пламени страшного
И рыданья, ввек неутешного!

24. Бог, за нас принявший страдания,
Вновь грядет — судить поколения,
Мерить радость, мерить терзание:
Милосердью вслед — правосудие.

26. Он да будет вам наставителем,
О, Писанья верные чтители,
Христианской паствы радетели,
Всех мирских соблазнов презрители!

29. Будьте церкви светочи светлые:
Как настанут сроки заветные,
День суда за злое и стыдное,
Вы воссядьте на место судное.

30. Но чтоб править суд по достоинству,
От мирской мы скверны омоемся:
Если мы на благо надеемся —
С чистым сердцем честно покаемся.

31. Путь вернейший к благу вернейшему —
Благостыня малому нищему.
Кто, имущий, даст неимущему,
Тот послужит Богу всевышнему.

32. Нас Писанье учит святейшее,
Что богатство — бремя тягчайшее.
Щедрость к бедным — вот доблесть высшая,
Добродетель, всех величайшая.

33. К вам взываю громким взыванием —
Не оставьте бедных призрением!
Кто запятнан был прегрешением —
Грех загладит добрым даянием.

34 К вам взываю вестью учительной,
Указую путь вам целительный —
Ведь не сам ли молвил Спаситель мой:
«Всех просящих встреть благодетельно»[31].

35. Говорю слова я известные,
Но, увы, для многих напрасные.
Подкрепляя проповедь устную,
О себе поведаю честно я.

36. Расскажу я речью нелживою,
Как нас мучит бедность суровая:
И без крова и без покрова я,
Голод к жажде служит приправою.

37. Я не друг мошеннику грешному,
Но пороку предан я общему:
Рад я дару, даже и лишнему,
Жду себе я больше, чем ближнему.

38. Я тщеславен: даже из нужды я
Не расстанусь с доброй одеждою.
Не с того ли уж не однажды я
Голодал и мучился жаждою?

39. Щедрый князь мой с доброю думою
Дал мне плащ — прикрыть наготу мою:
Как Мартин, такою же самою
Он в раю почтится наградою [32].

40. А теперь — услышавши, ведайте! —
Вы его примеру последуйте:
Сколько можно, столько добра дайте,
Знатным даром скудость обрадуйте!

41. Пусть мой зов и к бедным доносится —
Дар и малый нищему по сердцу!
Так вдовица лептой украсится
И вдвойне пред богом возвысится [33].

42. Вы же, мужи, славою важные,—
Мне опора трижды надежная:
Взяв с вас деньги ль, платье ль ненужное,—
Не уйду с сумою порожнею.

43. Вот и вся вам главная заповедь —
Не хочу вас больше испытывать;
Утомлять вас будет нелепо ведь —
И молитвой кончу я проповедь.

44. Да пошлет Творец мироздания
Вам за ваши благодеяния
Веры хлеб, вино упования
И любовь — елея вкушение! [34]

45. Я же, в грешном мире блуждающий,
Доброй кружкой плоть согревающий,
Об одном прошу умоляюще:
Дай мне денег, Господи, дай еще!
Аминь.

Вальтер Шатильонский

«Я, НЕДУЖНЫЙ СРЕДЬ НЕДУЖНЫХ...»

1. Я, недужный средь
недужных,
И ненужный средь
ненужных,
Всем, от вьюжных стран до
южных
Глас посланий шлю
окружных:
Плачьте, плачьте,
верные —
Церкви нашей скверные
Слуги лицемерные
С Господом не дружны!

2. Кто, прельщенный звоном
денег,
Иль диакон, иль
священник,
Утопая в приношеньях,
Погрязая в прегрешеньях,
В путь идет
заказанный,
Симоном указанный,—
Тот, да будет
сказано,—
Гиезит-мошенник [35].

3. Мир над клиром так
глумится,
Что у всех краснеют лица;
Церковь, божия девица [36],
Ныне — блудная блудница;
Таинства церковные,
Благодать духовная, —
Скоро все в греховные
Деньги превратится!

4. Только то зовется даром,
Что дается людям даром;
Если станет дар товаром —
Будь виновник предан
карам:
Он, склоненный ложию
К идолов подножию,
Будь из храма божия
Выброшен ударом!

5. Кто подвержен этой
страсти,
Тот не пастырь ниотчасти:
Он не властен и во власти,
Он покорен сладострастью.
Алчная пиявица,
Как жена-красавица,
Папским слугам
нравится,
К нашему несчастью [37].

6. Молодые наши годы
Видят в старости
невзгоды;
Мы боимся: без дохода
Пропадет для нас свобода;
Нас пугает скудное —
Мы впадаем в блудное:
Такова подспудная
Смертная природа.

7. И помазанье святое
Продают тройной ценою,
И старик под сединою,
Деньги взяв, бодрится
втрое:
Старцы обветшалые,
Словно дети малые,
Предаются, шалые,
Сладкому запою.

8. Таковы теперь натуры
Тех, кто ждут инвеституры,
Нежат тело, холят шкуры,
Славословят Эпикура —
Насладясь богатствами,
Пресыщаясь яствами,
Чванятся над паствами,
Не стыдясь тонзуры!

СТИХ О СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИИ

1. Скорбно стонет ныне
Вальтерова лира —
Не по той причине,
Что коварством клира
Он живет в изгнании
Или же в страдании
От земной болезни —
А от горькой горести,
Что весь мир наш вскорости
Сгинет и исчезнет.

Припев. Вас сужу я, мужи
Церкви и двора:
Вы живете хуже
Нынче, чем вчера.

2. Если тень покрыла
Низменные нивы —
Ночи легкокрылой
Надо ждать наплыва.
Если ж выси горные
Пеленою черною
Скрыты в грозном мраке,—
Зримы в том явлении
Светопреставления
Истинные знаки.

3. Низменные долы —
Это суть миряне:
Царства и престолы,
Графы и дворяне.
Роскошь и тщеславие,
Словно ночь злонравия,
Их обуревает;
Божье наказание,
Смертное терзание
Грешных ожидает.

4. Горные же грани
В точном смысле слова —
Чтители Писанья,
Пастыри Христовы.
Тем они прославлены,
Что они поставлены
На горе Сиона —
Миру в назидание,
Ежели Писания
Чтят они законы.

5. Ныне наши горы
Пастбищами стали;
Старцы, их опоры,
Пред юнцами пали;
Что для Бога создано —
По наследству роздано
Или же за плату;
Службы беззаконные
Правят неученые
Родичи прелата.

Припев. А ведь каждый ведает,
Кто вглядеться мог:
Родич унаследует
Родича порок.

6. Боже, боже правый,
Все мы ждем прихода
За дурные нравы —
Гибельного года:
Верно слава славится,
Что антихрист явится,
Коего предтечи —
В вере столь непрочные
Пастыри порочные
Паствы человечьей.

«ДЛЯ СИОНА НЕ СМОЛЧУ Я...»

1. Для Сиона не смолчу я[38],
Но о Риме петь хочу я
Слезно и воинственно,
Чтобы радость мир объяла,
Чтобы снова воссияла
В нашей церкви истина.

2. Ныне Рим повержен в прахе,
Царь вселенной в рабском страхе,
Багряница в клочиях;
Рим Спасителем оставлен,
Обессилен, обесславлен,—
Видим мы воочию.

3. Был он мира господином,
А подобен стал пучинам,
Где ладьи расколоты,
Где плывущий погибает,
А засевший загребает
Серебро и золото.

4. Там лютует Сциллы злоба,
Там Харибдина утроба [39]
Емлет все даяния,
И, как дикие пираты,
Там свирепствуют прелаты
В кардинальском звании.

5. Там у скал водовороты,
А над скалами, где гроты,
Там сирены с пением
Ликом женственным
светлеют,
Но в сердцах коварных
тлеют
Дьяволовым тлением.

9. Словно Сцилла, звонко лают
И плывущим зла желают
Адвокаты курии:
Лживым лаем к скалам
кличут,
Чтоб делить потом добычу,
Брошенную бурею.

10. Тот глядит, как муж совета,
Этот знает все декреты,
Шлется на Геласия; [40]
Все берут с тебя поборы
И сулят любые споры
Привести к согласию.

11. А писцы, что пишут кривды,
Нам опаснее Харибды,
Злой и многоволненной:
Чтоб добиться благодати,
Всяк им должен благо дати [41]
Из сумы наполненной.

12. За свинцовые печати
На вес золота здесь платит
Всякий, кто мытарствует.
Здесь сбылись слова
пророка:
Суд во образе порока
Здесь клеймит и
царствует [42].

13. А коварные сирены —
Это те, кто в сети плена
Манят речью лживою:
Завлекают, обольщают,
Кошелек опустошают
И уйдут с поживою.

14. Такова у них повадка:
Подойдут и молвят сладко,
В душу так и просятся:
«Ты не бойся, не обижу,
Ты француз, я это вижу,
Нам французы по
сердцу [43].

15. Ваши земли нам знакомы,
Мы у вас вершим, как дома,
Все дела соборные.
Между нами нет раскола [44],
Вы — святейшего престола
Витязи отборные.

16. Мы грехи вам отпускаем,
В рай Господень допускаем
Нашей волей папскою —
По Петровому завету
Нам цари земного света
Служат службой
рабскою».

17. Так сидят они в конклаве,
Словно боги, нежась в славе,
Сея лесть зловредную;
Сладким ядом сердце
травят,
Но тебе едва оставят
Лишь полушку медную.

18. В сердце волки, с виду
овцы —
Таковы они, торговцы

Божьими даяньями;
На устах — Петрово имя,
Но Нероновыми злыми
Славятся деяньями.

19. Такова-то их порода,
И у них-то ключ от входа
В царствие небесное;
Здесь-то тьмою просвещает,
Просвещеньем помрачает
Слово бессловесное[45].

22. А царица в сей пучине —
Не Ахилла мать-богиня,
Не Фетида пенная,
А сбирательница платы,
Пожирательница злата,
Та мошна священная.

23. Коль мошна твоя богата —
У пирата, как у брата,
Ты пируешь с прибылью;
Коль мошна твоя пустеет —
Ветры веют, бури зреют
И грозят погибелью.

24. Скалы судно сокрушают,
А пираты обращают
Богача в убогого;
Только нищий, только голый
Ходит с песнею веселой
Через это логово[46].

25. Уподоблю этим скалам
Даже тех, кто в званье малом
У дверей присутствуют —
Богачу дают дорогу,
Бедняка же от порога
Кулаком напутствуют.

26. Слава богу, в сворах жадных
Два приюта есть отрадных,
Две надежных гавани,
Где причалишь, где пристанешь
И чинить челнок свой станешь
После злого плаванья.

27. Первый — Петр, павиец родом,
Мельдским ведомый приходом[47],
Нам спасенье сущее —
Он смиряет бурю словом,
Под его, Петра, покровом
Кроются плывущие.

28. А второй нас берегущий —
Брег зовущий, луг цветущий.
Верой облюбованный —
Александр, моя услада[48],
Божье избранное чадо,
К раю уготованный.

29. Он страдающим подмога,
Щедр премного, помнит Бога,
Любит и поэзию;
Был бы лучшим иереем,
Если б рядом с Елисеем
Не было Гиезия[49].

30. Но чтоб в этом бурном море
Мне не видеть больше горя,
Я смолкаю, братия,
И язык мой многогласный,
Для судьбы моей опасный,
Я замкнул печатию[50].

ОБЛИЧЕНИЕ РИМА

1. Обличить намерен я лжи природу волчью:
Часто, медом потчуя, нас питают желчью,
Часто сердце медное златом прикрывают,
Род ослиный львиную шкуру надевает[51].

2. С голубиной внешностью дух в разладе волчий:
Губы в меде плавают, ум же полон желчи.
Не всегда-то сладостно то, что с медом схоже:
Часто подлость кроется под атласной кожей.

3. Замыслы порочные скрыты речью нежной,
Сердца грязь прикрашена мазью белоснежной.
Поражая голову, боль разит все тело;
Корень высох — высохнуть и ветвям приспело.

4. Возглавлять вселенную призван Рим, но скверны
Полон он, и скверною все полно безмерной —
Ибо заразительно веянье порока,
И от почвы гнилостной быть не может прока.

5. Рим и всех и каждого грабит безобразно;
Пресвятая курия — это рынок грязный!
Там права сенаторов продают открыто,
Там всего добьешься ты при мошне набитой.

6. Кто у них в судилище защищает дело,
Тот одну лишь истину пусть запомнит смело:
Хочешь дело выиграть — выложи монету:
Нету справедливости, коли денег нету.

7. Есть у римлян правило, всем оно известно:
Бедного просителя просьба неуместна.
Лишь истцу дающему в свой черед дается —
Как тобой посеяно, так же и пожнется.

8. Лишь подарком вскроется путь твоим прошеньям.
Если хочешь действовать — действуй подношеньем.
В этом — наступление, в этом — оборона:
Деньги ведь речистее даже Цицерона.

9. Деньги в этой курии всякому по нраву
Весом и чеканкою и сверканьем сплава.
В Риме перед золотом клонятся поклоны
И уж, разумеется, все молчат законы.

10. Ежели кто взяткою спорит против права —
Что Юстиниановы все ему уставы?
Здесь о судьях праведных нету и помина —
Деньги в их суме — зерно, а закон — мякина.

11. Алчность желчная царит в Риме, как и в мире:
Не о мире мыслит клир, а о жирном пире;
Не алтарь в чести, а ларь там, где ждут подарка,
И серебряную чтят марку вместо Марка [52].

12. К папе ты направился? Ну, так знай заране:
Ты ни с чем воротишься, если пусты длани.
Кто пред ним с даянием появился малым,—
Взором удостоен он будет очень вялым.

13. Не случайно папу ведь именуют папой:
Папствуя, он хапствует цапствующей лапой.
Он со всяким хочет быть в пае, в пае, в пае [53] —
Помни это каждый раз, к папе приступая.

14. Писарь и привратники в этом с папой схожи,
Свора кардинальская не честнее тоже.
Если, всех обславивши, одного забудешь,—
Всеми разом брошенный, горько гибнуть будешь.

15. Дашь тому, дашь этому, деньги в руку вложишь,
Дашь, как можешь, а потом дашь и как не можешь.
Нас от многоденежья славно в Риме лечат:
Здесь не кровь, а золото рудометы мечут.

16. К кошельку набитому всем припасть охота:
Раз возьмут и два возьмут, а потом без счета.
Что считать на мелочи? Не моргнувши глазом,
На кошель навалятся и придушат разом.

17. Словно печень Тития, деньги нарастают: [54]
Расточатся, явятся и опять растают.
Этим-то и кормится курия бесстыдно:
Сколько ни берет с тебя, все конца не видно.

18. В Риме все навыворот к папской их потребе:
Здесь Юпитер под землей, а Плутон — на небе [55].
В Риме муж достойнейший выглядит не лучше,
Нежели жемчужина средь навозной кучи.

19. Здесь для богача богач всюду все устроит
По поруке круговой: рука руку моет.
Здесь для всех один закон, бережно хранимый:
«Ты мне дашь — тебе я дам» — вот основа Рима!

Безымянные поэты

СТИХ О СИМОНИИ

Се внемлите гласу ныне
Вопиющего в пустыне [56]
К нам, убогим, одиноким,
К нам, ко грешникам жестоким!
Жизни истинной не знаем,
Не живем, а погибаем,
Потерявши силу веры,
Позабыв Христа примеры,
Не клонясь под крестным брусом,
Не идя за Иисусом.

Кто есть добрый, кто есть
честный,
Кто на путь способен крестный?

Смерть владычит в нашем
мире [57],
Смерть царит в церковном
клире —
Без большого приношенья
Не творят богослуженья;
В день, как в сан их
посвящают,—
Что угодно обещают,
А уверясь в этом сане,
Чтить забудут и Писанье.

Божьи розы пахнут склепом,
Храм Господень стал вертепом,
Всяк служитель есть грабитель,
Слова Божия губитель.
Симон Волхв сидит над ними [58],
Царь над присными своими,
Симон злых и правых судит,
По карманам деньги удит,
Симон грабит, Симон дарит,
Симон в Риме государит;

Без подарка он тоскует,
А с подарком он ликует,
Разоряет, возвышает,
Одаряет, сокрушает,
Тех накажет скорбью мрачной,
Тех оденет ризой брачной,
Кто достоин смертной кары —
Удостоится тиары;
Все для Симона открыто,
Нет от Симона защиты.

Мучься, Симон, мукой злою
За владычество дурное!
Ты Петром в гордыне сдержан,
Ты Петром с вершины свержен,
Ты, крылатый, ты, надменный,
Черной пожран был геенной;
Да познают ту же долю
Все, кто верных грабит вволю,
И терзанье в бездне ада
Будь им лютая награда!

ОБЛИЧЕНИЕ ДЕНЕГ [59]

Ныне повсюду на свете великая милость монете.
Ныне деньгою велики цари и мирские владыки.
Ради возлюбленных денег впадет во грехи и священник,
И на вселенском соборе у каждого — деньги во взоре.

Деньги то бросят нас в войны, то жить нам позволят спокойно.
Суд решает за плату все то, чего хочет богатый.
Все продают, покупают, берут и опять отнимают.
Деньги терзают нас ложью, вещают и истину Божью.
Деньги ввергают в соблазны, и мучат и губят нас разно.

Деньги — святыня имущих и обетование ждущих.
Деньги женскую верность легко превратят в лицемерность.
Деньги из знатных и важных соделают тварей продажных.
Денег желая, правитель становится сущий грабитель.
И из-за денег в народе воров — как звезд в небосводе.

Деньги для каждого милы, не в страх им враждебные силы.
Денег звонкое слово для бедных людей злее злого.

Деньги — ведомо это — глупца превращают в поэта.
С теми, кто деньги имеет, и пир никогда не скудеет.
Деньги спасут от недуга, купят подругу и друга.

Деньги с легким сердцем съедают миногу под перцем.
Деньги сосут из кувшина французские сладкие вина.
Деньги чванятся звоном, что все перед ними — с поклоном.
Деньги пируют со знатью и носят богатые платья.
Деньги могучи премного, их все почитают, как бога.

Деньги больных исцеляют, здоровым сил прибавляют,
Пошлое сделают милым, любезное сердцу — постылым,
Станет хромой ходячим, воротится зренье к незрячим.
Долго можно их славить, одно лишь хочу я прибавить:
Видел я, видел намедни, как деньги служили обедню:
Деньги псалом запевали, и деньги ответ подавали,
Проповеди говорили и слезы прегорькие лили,
А под слезами смеялись, затем, что с доходом остались.

Деньги повсюду в почете, без денег любви не найдете.
Будь ты гнуснейшего нрава — с деньгами тебе честь и слава.
Нынче всякому ясно: лишь деньги царят самовластно!
Трон их — кубышка скупого, и нет ничего им святого,
Пляска кругом хоровая, а в ней — вся тщета мировая,
И от толпы этой шумной бежит лишь истинно умный.

СТИХ ОБ УПАДКЕ УЧЕНОСТИ

Увы, увы! учение —
Для всех теперь мучение:
К науке нет почтения,
Забавам — предпочтение!
Мальчишки малолетние
Упрямы все заметнее,
Злонравствуют, строптивятся
И мудрости противятся.
В былые годы оные
Достойные ученые,
Давно седоголовые,
Впивали знанья новые;
А нынче все, мальчишками,
Спешат расстаться с книжками,
Учить спешат, горячие,
Слепцов ведут, незрячие,
Птенцы — взлетают юными,
Ослы — бряцают струнами [60],
Быки — в дворцах бесчинствуют,
А мужики — воинствуют.
Где новые Григории?
В кабацкой консистории!
Где Киприаны новые?
Вершат дела грошовые!
Где Августин? за кружкою!
Где Бенедикт? с подружкою!
В таверне разминаются,
Пред чернью распинаются,
Что Марфа — благодольная,
Мария — хлебосольная,
Что Лия — чревом праздная,
Рахиль — слепообразная,
Катон их стал гулякою,
Забыв про строгость всякую,
Лукреция — блудницею,
Гулящею девицею [61].
Что прежде было мерзостно,
Теперь кичится дерзостно;
Иссохшим стало водное,

Горячим — все холодное,
Соленым стало пресное,
Бездельем — дело честное;
И все, что днесь сбывается,
С путей своих сбивается!
Пусть это размышление
Нам будет в поучение,—
Да будем же готовы мы
Предстать суду суровому,
Предстать судье неложному
В решеньях непреложному!

БЕЗУМНЫЙ МИР

В мире шумном и безумном нет надежной радости!
Все, что зреет,— то истлеет, словно в поле лилии!
Суета и честь мирская злой достойны гибели,
Ибо рушат наши души в Тартаровы пропасти.
Наше тело ждет удела всякой мимолетности:
Словно тени и виденья, исчезает в вечности.
Что имеем, чем владеем в нашей смертной участи —
Все умчится, словно листья под напором осени.
Одоленье — лишь в презренье к здешней бренной сладости:
С ним в грядущем мы обрящем подлинные благости.
Так порушим, так задушим зовы плотской похоти,
Чтоб за это в сфере света, в том небесном царствии
Вечной славой величаво Господа мы славили!

ФОРТУНА

1. О Фортуна,
Лик твой лунный
Вечно изменяется:
Прибывает,
Убывает,
Дня не сохраняется;
То ты злая,
То благая
Прихотливой волею;
И вельможных,
И ничтожных
Ты меняешь долею.

2. Мощным летом
По высотам
Колесо катящая,
Неминучесть,
Нашу участь
Так и сяк вертящая,
Жил я славно,
Но злонравно
Ты меня покинула —
Скрылось благо,
Тело наго,
Вся отрада минула.

3. Случай правит,
Случай травит
Нас с жестокой страстию.
В твоей власти
Наше счастье
И в твоей — несчастие.
Гряньте в струны
Песнь Фортуны,
В лад со мною сетуя,—
Все, что ложно,
Ненадежно,
Слейте с песней этою!

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ (1)

О, весна, ты с нами,
Желанная,
Алыми цветами
Венчанная!
Пташки глас пускают
Сколь сладостно!
Нивы оживают,
Рощи расцветают —
Сколь радостно!

Время наступает,
И юноши
По лугам гуляют,
А девушки
К ним толпой выходят —
Всё с песнями,
Хороводы водят,
По лужочку бродят —
Всё парами!

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ (2)

1. Дни светлы, погожи,
О девушки!
Радуйтесь, ликуйте,
О юноши!
О, о! Сердце расцвело!
Плоть и душу пожирает
Жар желания;
От любви теряю ум
И сознание.

2. Щекот соловьиный
Разносится,
Сладкою истомой
В сердце просится.
О, о! (и т. д.)

3. Ты всех дев милее,
Желанная!
Ты — лилей лилея,
Благоуханная!
О, о! (и т. д.)

4. Взглянешь благосклонно —
Я радуюсь;
Взглянешь непреклонно —
Я мучаюсь;
О, о! (и т. д.)

5. Ты играешь мною,
Жестокая!
Нет мне дня покоя,
Светлоокая!
О, о! (и т. д.)

6. Пусть умолкнут трели
Соловьиные!
Чу! В душе запели
Песни дивные.
О, о! (и т. д.)

7. Я имел зимою
Терпение;
Днесь владеет мною
Хотение!
О, о! (и т. д.)

8. Жду тебя с волненьем,
Красавица!
Сердце чрез мгновенье
Расплавится!
О, о!
Сердце расцвело!
Плоть и душу пожирает
Жар желания;
От любви теряю ум
И сознание.

БЕЗЗАБОТНАЯ ПЕСНЯ

1. Бросим все премудрости,
По боку учение!
Наслаждаться в юности —
Наше назначение.
Только старости пристало
К мудрости влечение.

. . . .

Припев:

Быстро жизнь уносится:
Радости и смеха
В молодости хочется,—
Книги лишь помеха.

2. Вянут годы вешние,
Близятся осенние;
Жизнь все безутешнее,
Радостей все менее;
Тише кровь играет в жилах,
Нет в ней прежней ярости;
Ратью немощей унылых
Встретят годы старости.

Припев.

3. Но имеем право мы
Быть богоподобными —
Гнаться за забавами
Сладкими, любовными!
Нам ли, чьи цветущи годы,
Над книгой сутулиться?
Нас девичьи хороводы
Ждут на каждой улице!

Припев.

4. Пляской их игривою,
Чай, не оскоромишься:
С девой нестроптивою
Живо познакомишься!
Я гляжу, как то и дело
Девы извиваются,
И душа моя от тела
Словно отрывается.

Припев.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЕСНЯ

Радость, радость велия!
День настал веселия:
Песнями и пляскою
Встретим залихватскою
День освобождения
От цепей учения.
Школяры, мы яростно
Славим праздник радостный.

Пук тетрадей — в сторону,
На съеденье ворону —
Творчество Назоново,
Хлама груз ученого!
Пусть, как знают, прочие,—
Мы спешим к Венере
И толпой бесчисленной
К ней стучимся в двери.

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ

1а. Пусть моя Венера
Прославится:
По ее веленью
Красавица
Дар желанный,
Долгожданный
Мне дала, влюбленному.

1в. В воинствах Венеры
Я ратую,
И почтен впервые
Наградою —
Как я ныне
Рад богини
Взору благосклонному!

2а. Взглядам, лобзаниям,
Нежным касаниям
Дева поддавалася,
Но оставалася
Цель любви последняя,
Та, что всех заветнее,
Сладость!
Если миг оттянется,
Цель не достанется —
Все иные радости
Пламенной младости
В тягость!

2в. Полный желания,
Слышу рыдания:
Слез ручьи жестокие
Льются на щеки ей —
Стыдно деве снять покров,
Скрывший лучший из даров
Счастья!
Слезы я, волнуемый,
Пью поцелуями —
Не зальют соленые
Пламя влюбленное
Страсти!

3а. Соль, со сластью смешана,
Мне хмельнее хмеля!
Дух стремится бешено
К вожделенной цели!
Цель еще пленительней,
Нега властительней
К наслажденью клонит;
Но подобно раненной
Нимфе Дианиной,
Дева боязливая
Томно, стыдливая,
Стонет.
3в. Множу ласки ласками
И напор напором —
Множит вздохи вздохами
И укор укором
То с осуждением,
То со снисхождением
Трепетная дева,
То необорная,
То почти покорная,
То уже склоняяся,
То преисполняяся
Гнева.

4а. Но милостью Венериной
Борюсь я все уверенней —
Дева бьется,
Вьется, гнется,
Милая,
Крепче жмется,
Не дается
Силою,—
И я дрожу
На сладостном пороге;

4в. Предчувствую, предведаю
Блаженную победу я;
Стиснул тело
Оробелой
Властно я;
Впился в губы
Лаской грубой,
Страстною; —
И вот вхожу
В Венерины чертоги!

5а. Обретенье опыта
Утишает ропоты,
И уста медовые
Негою новою
Полны;

5в. И глаза смежаются,
Губы улыбаются —
В царство беззаботное
Мчат нас дремотные
Волны.

ПРЕНИЕ ФЛОРЫ И ФИЛЛИДЫ

1 В час, когда забрезжился ясный свет Авроры
Над землей, одетою в вешние уборы,
Сон успокоительный вдруг покинул взоры
У Филлиды молодой и у юной Флоры.

2. Захотелось девушкам в ранний час досуга
Сердца боль бессонную рассказать друг другу,
И пошли гулять они по большому лугу,
Где резвиться весело дружескому кругу.

3. Шли походкой ровною славные девицы,
Та — рассыпав волосы, та — скрепив их спицей,
Видом — небожители, поступью — царицы;
Как заря, румянилась молодые лица.

4. Платьем, ликом, знатностью поровну блистая,
Шли они, и в сердце жизнь билась молодая;
Но была меж девушек разница такая:
Любит рыцаря одна, клирика — другая.

6. Ласково повеивал ветерок игривый,
Луг стелился под ноги зеленью красивой,
А средь зелени ручей вил свои извивы,
Волны резвые катя звонко-говорливо.

7. А над самым берегом всей древесной силой
Исполинская сосна шапку возносила;
Ветками раскинувшись, зной она гасила
По небу идущего жаркого светила.

8. Сели обе девушки на траве прибрежной,
Старшая на ближний холм, младшая на смежный,
Сели и задумались, и в груди их нежной
Снова вспыхнула любовь болью неизбежной.

9. Ведь любовь, таимая в глубине сердечной,
Наше сердце вздохами мучит бесконечно,
Щеки красит бледностью, морщит лоб беспечный,
И под девичьим стыдом жар пылает вечный.

10. Старшая вздыхавшую Флору упрекала,
Теми же упреками Флора отвечала;
Так перекорялися девушки немало,
Наконец, тоску свою каждая признала.

11. Тут и потекли у них волны разговора,
И любовь была ему главная опора,
Вдохновением была и предметом спора;
Вот Филлида начала, попрекая Флору:

12. «Рыцарь мой возлюбленный, мой Парид прекрасный,
Где, в каких сражениях длишь ты путь опасный?
О, удел воительский, славимый всечасно,
Ты один достоин ласк Дионеи страстной!»

13. Так Филлида славила своего Парида;
Флору подзадорила эта речь Филлиды,
И она промолвила, смехом скрыв обиду:
«Нищий твой возлюбленный важен только с виду!

14. Вспомни философии мудрые законы,
Те, что Аристотель нам дал во время оно![62]
Право,всех счастливее клирик мой ученый,
От рожденья Господом щедро одаренный».

15. Вспыхнула Филлидина гневная натура,
И она ответила, поглядевши хмуро:
«Хоть тебя я и люблю, ты — прямая дура,
Что от сердца чистого любишь Эпикура.

16. Эпикуром клирика я зову по праву,
Презирая грубые плотские их нравы:
Есть да пить да сладко пать — вот их все забавы,—
Брось позорную любовь, будь рассудком здрава.

17. Кто в постыдной праздности нежася, жиреет,—
В службе Купидоновой доли не имеет.
Ах, подруга милая, всякий разумеет,
Что совсем иной удел рыцарю довлеет.

18. Рыцарь насыщается пищей самой скудной,
Он не знает роскоши в жизни многотрудной,
Страстный, он гнушается спячкой непробудной:
Лишь любовь живит его и питает чудно.

19. Рыцаря и клирика сравнивать легко ли?
Перед Богом и людьми их различны доли:
Моего зовет любовь, твоего — застолье,
Мой дает, а твой берет,— что тут скажешь боле?»

20. Кровь к лицу прихлынула у прелестной Флоры,
Смехом негодующим заблестели взоры,
И она ответила горячо и скоро,
В сердце почерпнув своем едкие укоры:

22. «Почитая клирика праздным и ленивым,
Пьяницей, обжорою толстым и сонливым,
Вторишь ты завистников наговорам лживым;
А по правде следует звать его счастливым.

23. Я горжусь, что он богат: может, не жалея,
Тратить вековой запас меда и елея,
Есть Церерины дары, пить дары Лиэя[63]
С блюд и кубков золотых — так ему милее.

24. Ах, житье у клириков сладко беспримерно!
Ни одно перо его не опишет верно.
И не гаснет их любви жар нелицемерный,
И Амур над их челом бьет крылами мерно.

25. Ведомы и клирику страсти нежной стрелы,
Но его от этого не слабеет тело:
Всяким наслаждением наслаждаясь смело,
Он своей возлюбленной прилежит всецело.

26. Изможден и бледен вид рыцарского чина:
Сердце им теснит тоска, слабость ломит спину.
И чего иного ждать в доле их кручинной?
Не бывает следствия там, где нет причины.

27. Бедность для влюбленного — стыдное страданье:
Что он даст, когда его призовут к даянью?
Между тем у клирика все есть в обладанье,
И его дающие не скудеют длани».

28. А Филлида ей в ответ: «Ты болтаешь вволю —
Вижу, ты изведала ту и эту долю;
Но тебе не уступлю без борьбы я поле,
И на этом кончиться спору не позволю.

29. Право, в праздничной толпе, пестрой и задорной,
Даже облик клирика выглядит позорно —
С выбритой макушкою и в одежде черной,
И с лицом, окутанным мрачностью упорной.

30. Грязного ль бездельника милым назову я?
Нет, ищи для этого женщину слепую!
Мой же рыцарь краше всех, на коне гарцуя,
И сверкает шлем его, и сверкает сбруя.

31. Рыцарь мой разит с коня вражеские строи,
А отдав коня пажу, спутнику героя,
И шагая в жаркий бой пешею стопою,
Именует он меня в самой гуще боя.

32. А рассеяв недругов, словно робких ланей,
Возвратясь с победою с поля бурной брани,
Он взирает на меня средь рукоплесканий,
И поэтому он мне всех мужей желанней».

33. Так Филлида молвила сколь возможно строже,
Только Флора ей в ответ не смолчала тоже:
«Тщетны все слова твои! Что ты ни изложишь,
А верблюда сквозь ушко пропустить не сможешь.

34. Восхваляя рыцарей и хуля духовных,
Ты сама запуталась в бреднях празднословных.
Разве рыцарь в бой идет для венков любовных?
Нет, лишь из-за бедности и убытков кровных.

36. Право, служба рыцаря хуже всякой пытки:
В холоде и голоде все его прибытки,
Вечно средь опасностей жизнь его на нитке,
Чтобы только выслужить скудные прожитки.

37. Клирик мой претит тебе грубой рясой темной,
И гуменцем выбритым, и повадкой скромной;
Но не думай, будто он — человек никчемный:
Нет, его могущество истинно огромно.

38. Сколько перед клириком шей и спин склоненных!
Слава на власах его, властью осененных.
Он приказы шлет полкам рыцарей хваленых —
А повелевающий выше подчиненных.

39. Назвала ты праздною клирика породу —
Да, заботы низкие — не его невзгода.
Но когда взлетает он мыслью к небосводу,
Видит он пути светил и вещей природу.

40. Мой блистает в мантии, твой скрипит в кольчуге;
Твой хорош в сражении, мой же — на досуге;
Числит он правителей древние заслуги,
И слагает он стихи в честь своей подруги.

41. Силу чар Венериных и любви законы
Самым первым высказал клирик мой ученый:
Рыцарь лишь за клириком стал певцом Дионы [64],
И в твоей же лире есть клириковы звоны».

42. Кончив речь защитную, предложила Флора,
Чтоб крылатый Купидон был судьею спора.
Старшая перечила, но смирилась скоро,
И пошли они искать к богу приговора.

43. Купидон заведомо судия исправный,
Рыцаря и клирика ведает он равно,
Мерит мерой праведной, судит достославно;
И к нему направились девы добронравно.

60. По недолгом времени рощу примечали;
На опушке ручейки ласково журчали,
Ветер легковеющий развевал печали,
И тимпаны с цитрами сладостно звучали.

63. Пение над рощею раздавалось птичье,
Всех пернатых голоса там сливались в кличе —
Пели дрозд и горлинка, власть любви велича,
И не молкли соловья жалобы девичьи.

64. Музыка, и пение стаи сладкогласной,
И цветы, пестревшие, как ковер прекрасный,
С их благоуханием, чаровавшим властно,
Говорили: здесь стоит храм Любови страстной.

66. Здесь дары бессмертия каждому знакомы,
Здесь на каждом дереве плод висит весомый,
Всюду льются запахи мирры и амома,—
Видишь дом и чувствуешь, кто хозяин дома.

67. Нимфы здесь кружилися в нежном хороводе,
Красотой подобные звездам в небосводе;
Столько было прелести в юном их народе,
Что сердца у девушек дрогнули при входе.

69. Фавны вместе с нимфами в роще потаенной
Воздавали пляскою славу Купидону;
Вакх учил их пению и тимпанов звону,
И кругами шли они, поклоняясь трону.

72. А на троне восседал отпрыск Кифереи,
Меткий лук со стрелами при себе имея;
Крылья горделивую осеняли шею,
И чело прекрасное было звезд светлее.

73. Скипетр он держал в руке в царственном наклоне,
От волос его текли волны благовоний,
Три прекрасных Грации, съединив ладони,
Подносили свой потир божеству на троне.

74. Подступили девушки, и склонив колени,
Богу благодатному вознесли моленья;
Он же, лишь завидя их, в знак благоволенья,
Сходит сам навстречу им с золотой ступени.

75. Вопросил он, что вело в эту их дорогу?
И понравился ответ молодому богу.
Повелел он путницам подождать немного —
Суд любви решит их спор праведно и строго.

76. Хорошо, коль судит бог девичьи раздоры,—
Ведь ему не надобны долгие разборы.
Все узнав и все поняв хорошо и скоро,
Созывает он судей ради приговора.

77. У Любви уставы есть, у Любви есть судьи:
Суть Вещей и Нрав Людей — так зовут их люди.
Оба с разумением все на свете судят,
Зная все, что под луной было, есть и будет.

78. И собравшися на зов, и принявши меры,
Чтобы справедливости соблюсти примеры,
Молвил суд обычая, знания и веры:
«Клирик выше рыцаря в царствии Венеры!»

79. Так свершился приговор, так закон положен,
И ему из века в век строже быть и строже.
Знайте это, женщины и девицы тоже,
Для которых рыцари клириков дороже.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

1—2. В час, когда закатится
Феб перед Дианою,
И она с лампадою
Явится стеклянною,
Сердце тает,
Расцветает
Дух от силы пения,
И смягчает,
Облегчает
Нежное томление,
И багрец передзакатный
Сон низводит благодатный
На людское бдение.

3. Сон, души целитель!
Нет тебя блаженней!
Ты порывы укрощаешь
Горестных мучений,
Ты смыкаешь очи
Роем сновидений!
Ты самой любви отрадней
И благословенней!

4. Веянья Морфея
В наши души сеют
Сны живые,
Ветерками веют,
Нивами желтеют,
Реками струятся,
И колеса шумных мельниц
В них кружатся,
И под их круженье очи
Сном смежатся.
5. После наслаждений
Венериных
Полон мозг томлений
Немереных,
И темнеет свет в моих глазницах,
И плывут глаза в челнах-ресницах...
Сладко, страстью наслаждаясь,
Сном забыться,
Только слаще, пробуждаясь,
Вновь любиться! [65]

7. Где листва вновь зазеленела,
Где поет песню филомела [66],
Отдыхать приятно;
Но милей на траве резвиться
С нежною девицей!
Вешний луг дышит ароматно,
Розы — в изголовье!
А потом, утомясь любовью,
Сладко пить подкрепленье силам
В сновиденье милом,
Что слетит лётом легкокрылым!

8. Как сердце бьется
И как душа мятется
У того, кто любови предается!
Как в просторе водном волны
Носят челны,
Так ни в счастье, ни в несчастье не уверена
Рать Венерина.

ПАСТОРАЛЬ

1. В полной силе было лето;
В зное солнечного света
Вся земля в цветы одета;
Сердце билось без запрета;
Отдыхал я в пору эту
Под большой оливою,—

2. Под оливою, склоненной
Над травою над зеленой,
Летним цветом распестренной,
Нежным ветром освеженной —
Не найти перу Платона [67]
Место столь красивое.

3. А у дерева, под сенью,
Ключ журчал в кипучей пене,
Соловья носилось пенье,—
Был здесь рай, никак не мене,
Ибо мест еще блаженней
Нет под нашей радугой.

4. Так лежал я час короткий,
Наслаждаясь ленью кроткой,
Вдруг я вижу, вижу четко,
Как пастушка, как красотка
Ходит мерною походкой,
Собирая ягоды.

5. Как любовь сердцами движет!
Как Венеры пламя брызжет!
«Подойди,— кричу,—
поближе:
Не ограблю, не обижу —
Весь я твой, а ты, я вижу,
Славная красавица!»

6. Но в ответ сказала дева:
«Брось, я знаю, плуты все вы:
Я ведь дочь простого свева [68],
Не хочу отцова гнева,
Так оставь свои напевы —
Мне они не нравятся!»

НАЧАЛО ПАСТОРАЛИ

Вышла за околицу
Милая девица,
Стадо в поле выгнала —
Надо торопиться.
Были в стаде маленьком
Овцы и ослицы,

Козлики и козочки
И телок с телицей.
Школяра увидела
В поле под сосною:
«Что сидишь без дела ты?
Поиграй со мною!»

. . . .

ЖАЛОБЫ ДЕВУШКИ

1. Ах, пришла моя напасть!
Долго я скрывала страсть
И, любя, таилася.

2. Но всему пришел предел —
Мой живот отяжелел,
И родины близятся.

3 Мать нещадно бьет меня,
И отец, и вся родня,—
Горько мне, обиженной!

4. Дома я одна сижу,
Никуда не выхожу,
Все забавы кончены.

5. Выйду ль я средь бела дня,
Все так смотрят на меня,
Словно видят чудище!

6. Я иду, они молчат,
И на мой живот глядят,
И друг дружке щурятся.

7. Всякий рад меня толкнуть

Или вслед мне пальцем ткнуть —
А что я им сделала?

8. Лишь попреки мне от всех —
За один единый грех
Сжечь готовы заживо.

9. Ах, к чему мои слова?
Обо мне и так молва
Ходит злоязычная.

10. Оттого я и терплю,
Слезы лью, ночей не сплю —
Ах, тоска мне смертная!

11. А еще больней недуг
Оттого, что милый друг —
Он меня покинул вдруг.

12. Как отец его прижал,
Он во Францию бежал,
В те края далекие.

13. Оттого я и грущу,
Что его я не сыщу,
Оттого и плачу я.

ПРОКЛЯТИЕ ВЕНЕРЕ

1а. Прокляну Венеру я,
Если не отстанет
И не перестанет
Прежней
мучить верою,
Поначалу нежной,
А потом мучительной,
А потом губительной
Скорбью неизбежной [69].

1в. В игрища Венерины
Я вступал впервые
В дни мои былые
Скромно,
неуверенно;
Но теперь я помню:
Нет ее заманчивей,
Нет ее обманчивей,
Нету вероломней.

2а. Венеры в ратном стане я
В дни ранние
Служил со всем старанием,
Как подобает мужу;
Уж воин я заслуженный,
Натруженный,
А все-таки я нужен ей —
Зовет меня к оружью.

2в. Умы людей баюкая,
Лишь мукою
И тягостной докукою
Казнила их Цирцея;
Но от ее прельщения
Умение
Спасло ведь, тем не менее,
Скитальца Одиссея.

3а. Зачем мне безответно
Пылать любовью тщетной?
Уж лучше ненавидеть!
Но нет, да минет любящих
Удел все узы рубящих:
Пусть радости
Их младости
Судьба не смеет тягостью
Обидеть!

3в. Любовь хоть и обманет,
Но пусть она не станет
И ненавистью злобной!
Кто в страсти злобой лечится,
Тот тщетно духом мечется:
Стремление
К целению
Ума — вот путь, спасению
Подобный!

КАБАЦКАЯ ПЕСНЯ

1. Во кабацком сидя чине,
Мы не помним о кручине,
А печемся лишь о зерни,
Чей приют у нас в таверне.
Что за жизнь в кабацкой
келье,
Где за грош идет веселье,—
Если спросите об этом,
Удостою вас ответом.

2. Здесь играют, выпивают,
Здесь и песню запевают;
А за кости кто присядет —
То не всяк с судьбою
сладит:
Тот найдет себе одежу,
Тот оденется в рогожу.
Не пугает нас кончина,
Есть покуда зернь и вина.

3. Бросим кости на удачу,
Чтобы стать вином богаче:
Выпьем раз за тех, кто
узник,
Два — за тех, кто нам
союзник,
Три, четыре — за
крещеных,
Пять — за девок
совращенных,
Шесть — за праведных
покойников,
Семь — за всех лесных
разбойников,

4. Восемь пьем за братьев
блудных,
Девять — за скитальцев
трудных,
Десять пьем за тех, кто в
море,
Дальше пьем за тех, кто
в ссоре,
Дальше пьем за бедных
кающихся,
В путь-дорогу
отправляющихся,
А за кесаря и папу
Пьем без счета, снявши
шляпу.

5. Пьет хозяин, пьет хозяйка,
Пьет и братия и шайка,
Пьет и овый, пьет и оный,
Пьет невежда, пьет ученый,
Пьет монах и рыцарь тоже,
Пьет епископ и вельможа,
Пьет и трезвый и
пьянчужка,
Пьет и барин, пьет и служка;

6. Пьет и домосед и странник,
И неведомый изгнанник,
Пьет и старый, пьет и
малый,
Пьет и шалый, пьет и
вялый,
Пьет и бабка, пьет и
дедка,
И мамаша, и соседка,
Пьет богатый, пьет и
нищий,
Хлещут сотни, хлещут
тыщи.

7. Сто кругов обходят чаши,
И не сохнут глотки наши,
Коли пьем, не зная счету,
Позабывши всю заботу.
Век без хлеба, век без шубы,
Злобным людям мы не любы,
Но отступит злоба черная,
Нашей правдой помраченная!

КОММЕНТАРИИ

Латинская литература между империей и папством (X—XI вв.)

«Кембриджские песни»

[1] Речь идет о венгерском нашествии 955 г., закончившемся решительной победой Оттона I при Лехе в Баварии.
[2] «Парфяне» (так же, как и «гунны») — унаследованное от античности обозначение, прилагавшееся сперва к аварам, потом к венграм.
[3] Конрад, герцог франконский, недавний враг Оттона I, был героем битвы при Лехе и погиб во время сражения.
[4] Судя по тому, что об императорском сане Оттона III здесь не упоминается, стихотворение было сложено до 996 г.
[5] Тезид — Адидже, река в восточной Ломбардии. Во второй строфе стихотворения не 6 стихов, как в других, а 7 — может быть здесь имела место ученая интерполяция переписчика.
[6] Античная реминисценция (из Овидия) — миф о Девкалионе и Пирре, после всемирного потопа создававших новое поколение людей из брошенных через голову каменьев.

Ратхер Веронский

[1] Под «неким Оригеном» (имя знаменитого еретика III в.) Ратхер имеет в виду себя.
[2] Марсы, италийское племя, знатоки целебных трав и заклинатели змей, и псиллы, племя на северном побережье Африки, часто упоминаются рядом уже в античных источниках.
[3] Испорченное «μέλqν πνέυμα» — «черное дыхание».
[4] Т. е. на сутки.

Лиутпранд Кремонский

АНТАПОДОСИС, ИЛИ ВОЗДАЯНИЕ

[1] Ныне Иллибрия в Испании.
[2] Т. е. в Павии.
[3] *Боэтий,* Утешение философией, кн. I.
[4] *Теренций,* Евнух, Пролог, ст. 41—42.
[5] Т. е. епископ Рецемунский из Эльвиры.
[6] Беренгарий II, внук Беренгария I по матери, маркграф Ивреи, время правления — 961—964 гг.
[7] Иезавель (библ.) — супруга израильского царя Ахава, дочь жреца Астарты. В своей фанатической преданности идолопоклонству жестоко преследовала пророков. Ее имя стало впоследствии символом всякого несчастия.
[8] Ламия — в религиозных верованиях древних греков страшное фантастическое существо, вампир, пожирающий юношей.

[9] В гл. IV говорится, что Анскарий, маркграф Сполето и Камерино, замышлял зло против короля Гуго (правил с 926 по 947 г.).
[10] Т. е. короля Гуго.
[11] Теперь перевал Большой Сен-Бернар.
[12] Теперь Бернардин (Малый Сен-Бернар), у истоков Рейна.
[13] Беренгарий отравил его (см.: *Флодоард*, Анналы, 950).
[14] Т. е. Беренгарию и Вилле.
[15] Здесь, по-видимому, игра слов на сходстве avium и avius: «птичья» и «бездорожная».
[16] В тексте in baratrum (греч.), т. е. «в бездну».
[17] Перевод М. Гаспарова. Стихотворение написано изысканным размером, названным на полях рукописи «алеманским дактилическим метром»; он отдаленно напоминает гексаметр с наращениями в середине стиха. В переводе ритм несколько упрощен.
[18] Ср. V, 18, где, напротив, Оттон получал дары.
[19] «Энеида», IV, 174, 175. Цитируется неточно.
[20] Там же.
[21] Об этом речь идет в предыдущих главах.
[22] Лиутпранд так и не рассказал об этом в своей неоконченной книге.
[23] Иов, 39, 18.
[24] Т. е. в 947 г.
[25] Римская мера сыпучих тел, равная приблизительно 9 литрам.
[26] Константин Порфирогенет (время правления — 955—959 гг.).
[27] В тексте comis curtis (греч. κόμηςτιῆς κόρτης) — «дворцовый граф».
[28] Т. е. Берте, побочной дочери короля Гуго, жене его сына Романа.
[29] Т. е. 1 августа 949 г.
[30] Теперь река По.
[31] Придворная должность, камергер, служащий — «спальник».
[32] Имеется в виду Оттон I.
[33] Т. е. 25 августа.
[34] Т. е. 17 сентября.
[35] Дигамма, двойная гамма, др.-греч. буква «Ϝ», соответствующая лат. «V».
[36] См.: *Константин Порфирогенет,* О церемонии византийского двора, II, 15.
[37] Логофет — церковная должность в средневековой Византии: канцлер в церкви, заведовал архивом, казной, хранил печать. Логофет при дворе ведал приемом гостей.
[38] Ср. *Теренций,* Евнух, II, 1, 8.

ОТЧЕТ О ПОСОЛЬСТВЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

[1] Т. е. 4 июня 968 г.
[2] Никифор Фока, византийский император, сын императора Романа II, правил с 963 по 968 г.
[3] Имеется в виду Мраморный дворец, который предназначался для жительства посольств.
[4] Т. е. 6 июня.
[5] После принятия власти Никифор объявил своего брата Льва Фоку куропалатом — управляющим и магистром. В его обязанности входило представлять императору иностранных послов.
[6] Исайя, 36, 6.
[7] Т. е. 7 июня.
[8] *Ювенал,* Сатиры, V, 54.
[9] Т. е. из сикионской области (северо-запад Пелопоннеса).
[10] Сводные братья императора Никифора, сыновья императора Романа II, Василий II и Константин VII, которые пришли к власти в 976 г.
[11] В следующих IV—VIII гл. излагаются дипломатические переговоры Лиутпранда с Никифором, который медлит с ответом, высказывая недовольство политикой Оттона в Южной Италии, затем он приглашает Лиутпранда принять участие в торжественной церковной процессии.

[12] Торжественное церковное шествие по большим праздникам.
[13] Сильван (миф.) — бог лесов и полей.
[14] Послание к Филиппу, 3, 19.
[15] Бари — город в Апулии, византийская крепость, которую Оттон осадил в 968 г. и потерпел неудачу.
[16] Южная вершина горы Иды в Троаде.
[17] *Овидий*, Искусство любви, I, 57 и 59 (цитируются Лиутпрандом по памяти).
[18] В тексте Salus — богиня здоровья и благополучия.
[19] Ср. *Теренций,* Адельфы, IV, 7, 43.
[20] Т. е. 27 июля.
[21] Лиутпранду чинили препятствия для его возвращения, чтобы он не сообщил Оттону о подготовке Никифора к войне (гл. 27, 28).
[22] Псалтирь, 22 (23).
[23] Т. е. с 4 июня по 2 октября 968 г.
[24] В последних (53—65) главах рассказывается об обратном путешествии Лиутпранда, после его неудавшейся миссии, продолжавшемся 49 дней.

Видукинд Корвейский

[1] Имеется в виду Оттон I Великий (912—973), у власти с 933 г. Труды эти не сохранились.
[2] *Иосиф Флавий,* Иудейская война, II, 16.
[3] *Лукан,* Фарсалия, I, 423.
[4] Слева от устья Эльбы (Лабы).
[5] Туринги жили между франками и саксами, между реками Рейн и Майн.
[6] Выражение заимствовано у Саллюстия («Заговор Катилины», 48), у Видукинда встречается еще в I, 12.
[7] Ср. «Энеида», II, 335.
[8] В ответ на просьбу франкского короля Тиадрика, незаконного сына короля Гуго, помочь ему в войне против турингов. Об этом идет речь в начале главы
[9] Альтернатива «победа или смерть», по-видимому, заимствована у Саллюстия («Заговор Катилины», 20).
[10] Франки имели обыкновение стричь волосы на затылке.
[11] Широкая в разноцветную полосу льняная или шерстяная одежда.
[12] Имеется в виду город близ Ганновера, где в замке Сцитинги (теперь Бург-Шейдунген) заперся со свитой король турингов.
[13] В тексте «oppidum» означает строения, расположенные за стенами города, незащищенный оградой поселок.
[14] Ср. *Саллюстий,* Заговор Катилины, 60: «Дротики были отброшены, бились мечами».
[15] Король франков обещал саксам в случае их победы над турингами всю страну.
[16] Ср. *Саллюстий,* Югуртинская война, 60: «Наступившая ночь прервала сражение».
[17] Король турингов.
[18] Оруженосец Ирминфрида.
[19] Ирминфрид был женат на Амальберге, сводной сестре Тиадрика.
[20] Рудольф Фульдский (I, 1) называет Гатагата вождем саксов.
[21] Ср. «Энеида», IV, 651 и I, 18: «судьба позволила», «если позволит то рок».
[22] Выражение «бескровная победа» заимствовано у Саллюстия («Заговор Катилины», 61).
[23] По-видимому, у Видукинда были довольно смутные представления о греческой мифологии. «Геркулесовы столбы» — скалы по берегам Гибралтарского пролива — он принимал за статуи.
[24] Видукинд смешивает здесь Ареса и Гермеса. На сакс. яз. mâri, mâr — для одобрения, mara — для порицания.
[25] Т. е. 1 октября.
[26] В 924 г.

[27] Т. е. Генрих I Птицелов, у власти с 919 г., положил начало саксонской династии (919—1024).
[28] Близ г. Гослара.
[29] С набегами венгров уже не могло справиться пешее ополчение германских племен, необходима была конница. Генрих I и провел в целях обороны Саксонии военную реформу, подготовив из свободных крестьян и министериалов воинов-рыцарей, сражавшихся в конном строю в тяжелом вооружении.
[30] В тексте «agrarii milites». Толкования этого термина различны. По-видимому, это были слуги короля из свободных крестьян, выполнявшие хозяйственно-административную и военную службу (главным образом, в коннице), за которую получали земельные владения.
[31] Область по берегам реки Хафель, близ Берлина, к востоку от Эльбы (Лабы). Битва с полабскими славянами имела место в 928 г.
[32] Теперь Бранденбург.
[33] Одно из славянских племен.
[34] Оттон, герцог саксонский, см. I, 16—17.
[35] Местность возле Мейсена (близ Дрездена).
[36] Т. е. чешского святого Вацлава (см. II, 3).
[37] Видукинд неоднократно высказывает сомнения в достоверности сообщаемого им, считая это «выдумкой, основанной на народной молве» (I, 22, ср. I, 1; 13; 18; 35 и др.).
[38] Т. е. Генриху I. Термин «imperator» употреблен здесь, как и в ряде других мест, не в собственном значении, а в смысле «король» («rex»).
[39] Генрих отказался платить венграм дань, и они снова задумали напасть на Саксонию.
[40] Вблизи саксонско-тюрингской границы, может быть — Риетенбург.
[41] Битва произошла 15 мая 933 г.
[42] Заимствовано у Саллюстия («Югуртинская война», 45).
[43] Т. е. Оттон I Великий.
[44] Т. е. Генриха II и Бруно.
[45] Здесь очевидно влияние Эйнхарда («Жизнь Карла», 22—23).
[46] Жена Оттона, умерла в 947 г.
[47] Имеется в виду не латинский язык, которого Оттон не понимал, а древний французский язык, галльское народное наречие (см.: *Нитхард*, История, III, 5).

Хротсвита Гандерсгеймская

[1] «Громкий Глагол» — народная этимология имени «Хротсвита»; современные ученые предполагают более вероятной другую этимологию — «крепкая славой».
[2] Действие «Каллимаха» агиографическая литература относит к Эдессе, действие «Авраама» — к Геллеспонтской Фригии в Малой Азии.
[3] «Пусть, судьбе вопреки!» — вергилианская реминисценция.

«Житие Алексея, человека Божия»

[1] Лаодикия — город в Сирии.
[2] Т. е. причащался.
[3] Т. е. дьявол.
[4] От Матфея, 11, 28.
[5] Конец IV — начало V в.
[6] Иеремия, 9, 1.

Анселл Схоластик

[1] Песнь Песней, 3, 9—10: «Но сильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; столпцы его сделаны из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпурной ткани, внутренность его убрана с любовью

дщерями Иерусалимскими». Мистическое толкование этого места таково: все ложе — царство божие, воздвигнутое при помощи тела Богородицы (дерева Ливанские), поддерживаемое серафимами (столпцы); внутри его — божественная Любовь, на коей возлежит Искупитель (царь Соломон), опираясь на херувимов (локотники), престолы и прочие чины ангельские (пурпур); девы Иерусалимские — человеческие души, в совокупности составляющие церковь, олицетворяемую также Суламифью. Ложе Соломоново есть источник божественной мудрости.

[2] Результат народной этимологии, осмысляющей название галльского племени ремов, от которого получил название Реймс. Современник Анселла, Флодоард («История», I, 1), выражается осторожнее: «Кажется более вероятным, что город наш воздвигнут воинами Рема, бежавшими с родины».

[3] Св. Ремигий жил в 470—544 гг.; праздник перенесения его мощей отмечался 1 октября.

[4] I послание Петра, 5, 8: «диавол ходит, как лев рыкающий».

[5] Ср. Апок., 13, 2. Б. И. Ярхо приводит для сравнения описание демонов в видении Фулберта (XII в.), 269 сл.

> Дротики железные держат два злодея,
> Рты раскрыты, пламенем вместе с серой рдея,
> И клыки торчат у них, заступов грубее,
> Из ноздрей же явственно выползают змеи.
>
> Как жаровни, очи их обжигают взглядом,
> Уши их отвислые пышут знойным смрадом,
> Сверх того, на лбах у них по два рога рядом,
> Коих оконечности истекают ядом.

[6] «Ропщущие» — термин монашеского обихода: устав св. Бенедикта (гл. «О послушании») со строгостью обрушивается на ропщущего — «послушание его не угодно Богу... зрящему сердце его ропщущее, и таким послушанием не снищет он милости».

[7] Пс. 94 («Приидите, возрадуемся Господу»), входящий в чин заутрени.

[8] Монастырь Флёри незадолго перед тем получил устав от самого Одона́ Клюнийского.

[9] Т. е. вымолить прощение за греховные сны.

[10] Евр — восточный ветер.

[11] Т. е. сделать видение, полученное во сне, столь же авторитетным и значительным, сколь видения, полученные при галлюцинации и пользующиеся бо́льшим почтением.

Отлох Эммерамский

КНИГА ПОСЛОВИЦ

[1] *Гораций,* Послания, I, 2, 27.
[2] *Ювенал,* 14, 139.
[3] «Дистихи Катона», II, 19, 2.
[4] *Гораций,* Послания, I, 2, 40.
[5] «Дистихи Катона», I, 10, 1.
[6] *Гораций,* Послания, I, 10, 47.
[7] Там же, I, 2. 57.
[8] «Дистихи Катона», II, 4, 2.
[9] *Гораций,* Оды, II, 10, 9.
[10] *Гораций,* Послания, I, 2, 56.

Эккехард IV

[1] Т. е. Ноткер Заика (ок. 840—912 гг.), монах Санкт-Галленского монастыря, учитель музыки, поэт.
[2] Монахи монастыря.
[3] Учителя в монастырской школе.
[4] Намек на секвенции Ноткера.
[5] *Марк Фабий Квинтилиан,* Об образовании оратора, VIII, 3, 10; X, 1, 33.
[6] Т. е. на латинском и немецком языках.
[7] Карл III посетил Санкт-Галленский монастырь в 883 г.
[8] Собрание членов монастырского ордена и его высший руководящий орган.
[9] См.: «Энеида» II, 65—66.
[10] По-видимому, столовая.
[11] Аббат Санкт-Галлена, епископ Констанцский (860—919). В 890 г. составил книгу формул (образцов юридических актов и писем).
[12] В тексте decanus operiorum — должностное лицо из монахов, помощник настоятеля монастыря в управлении.
[13] Работник столовой, может быть эконом, завхоз или официант.
[14] В тексте in pyrali, т. е. в большом, отапливаемом зале заседаний капитула.
[15] Аббат Санкт-Галленского монастыря (в 925—935 г.)
[16] Балдахин над алтарем, чашевидной формы, поддерживаемый четырьмя колоннами.
[17] В тексте camerarius — заведующий монастырским имуществом.
[18] Corona — подвесной светильник.
[19] Игра слов: gallus — «петух» и «монастырь св. Галла».
[20] Отшельница, жила в монастыре с 916 г., мученическую смерть ее относят ко 2 мая 926 г.
[21] Церковное пение, при котором хор разделяется на две группы, поющие попеременно.
[22] Т. е. 3 мая.
[23] Picchin (нем.) — «колоть».
[24] Круглая выбритая макушка у католического священника.
[25] Игра слов: gallus — «петух» и «красный петух» (пожар).
[26] 25 апреля 931 г.
[27] Фериями называли дни недели: первая ферия — воскресенье, вторая ферия — понедельник, третья — вторник и т. д.
[28] В тексте circator, т. е. qui circam fecit.
[29] Крыши монастырских зданий и храма были покрыты дубовой щепой.
[30] Аббат Санкт-Галленского монастыря. Башня находилась на северной стороне церкви, недалеко от внешней школы.
[31] Крипта — подземная часовня под храмом, здесь, вероятно, под алтарем св. Отмара.
[32] Абсида — полукруглая, иногда многогранная, выступающая часть здания, перекрытая соответствующим полукуполом.

Ламперт Герсфельдский

[1] После княжеского сейма в Трибуре (Оппенгейме) в октябре 1076 г. большинство немецких князей и епископов отказали в доверии Генриху IV и низложили его. Они пригласили его и папу Григория VII Гильдебранда (см. ниже) в феврале 1077 г. в Аугсбург для разбора конфликтных дел. Генрих вынужден был отправиться в Италию, чтобы примириться с папой и таким образом избавиться от церковного отлучения, объявленного ему папским собором 15 февраля 1076 г. в ответ на низложение Григория VII на Вормсском сейме в январе 1076 г.
[2] Т. е. Генрих IV (годы правления 1056—1077).
[3] Т. е. Григорий VII Гильдебранд, вступил на папский престол в 1073 г.

С этого времени началась открытая борьба между ним и Генрихом IV за инвеституру. Инвеститура духовенства, ранее осуществляемая королевской властью, была объявлена Латеранским собором в Риме недействительной. Папа требовал от Генриха прекращения инвеституры и смещения ряда епископов. Генрих ответил отказом. Фактически эта борьба за право назначения епископов вылилась в борьбу между духовной и светской властью за политическое господство в феодальном мире.

4 Т. е. в Германию.

5 В период борьбы Генриха IV с папой Григорием VII Гильдебрандом усилилась роль княжеских собраний, которые теперь решали государственные дела самостоятельно.

6 Преувеличено, чтобы представить положение Генриха IV как можно более плачевным.

7 11 ноября.

8 Двоюродный брат императрицы Агнессы, матери Генриха IV.

9 Сторонники Григория VII.

10 Адельгейда, маркграфиня Туринская.

11 Эта подробность недостоверна.

12 Т. е. 15 февраля 1077 г.

13 Княжеские собрания в этот период принимали решения о судьбе короля самостоятельно.

14 Мон-Сени.

15 В январе 1077 г.

16 Маркграфиня Матильда Тосканская, сторонница Григория VII.

17 Замок Каносса, в северной Италии, юго-восточнее Пармы, принадлежал Матильде Тосканской.

18 Из Эсте, отец герцога Вельфа Баварского.

19 Гуго, аббат из Клюнийского монастыря в Бургундии, крестный отец короля.

20 Действуя в союзе с феодальной знатью, стремившейся к ослаблению королевской власти, Григорий VII претендовал на роль арбитра в столкновениях короля с князьями.

21 Генрих обвинялся в оскорблении апостольского престола, в нарушении клятв, в симонии.

22 Исайя, 42, 3.

23 Неточно: Генрих IV пришел в Каноссу по собственному решению, а не по приказу.

24 Т. е. Каносса.

25 Генрих был освобожден 23 января, на третий день.

26 Преданные сторонники короля, отлученные в числе других пяти его советников от церкви в феврале 1075 г.

27 Обещание Генриха было политическим маневром, как и вообще его приход в Каноссу.

28 Далее папа предлагает ему «испытание чашей», предварительно пройдя его сам.

29 По другим источникам, король принял просвиру (гостию).

30 Продажа и купля церковных должностей в католических церквах.

31 Т. е. за Генриха IV.

32 Сочинение кончается рассказом о Форхгеймском сейме в марте 1076 г., на котором Генрих IV лишился власти, а Рудольф Швабский был избран королем.

Хильдеберт Лаварденский

1 Аракс — река в Армении, до которой доходили Помпей и Траян и которая «скорбит» о том, что ее берегов не достигли крестоносцы.

2 *Гораций,* Оды, II, 10; Послания, I, 4, 14.

3 *Лукан,* VIII, 395.

4 *Ювенал,* X, 243.

[5] *Лукан,* VIII, 29 (стих слегка изменен).
[6] *Ювенал,* XI, 44.
[7] «Энеида», II, 646.
[8] *Лукан,* VII, 809—811, 818, 819.
[9] *Гораций,* Оды, III, 3.
[10] *Лукан,* VII, 104.
[11] *Цицерон,* Об обязанностях, I, 23, 80.

Марбод Реннский

[1] Все три гимна относятся к чинопоследованию так называемого общего поминания канонизированных церковью священников; первый — для пения на вечерне, второй — на утрене, третий — перед службой первого часа. Заключительная строфа повторяется.
[2] Великий Первосвященник — Иисус Христос (К евреям, 9, 11—12).
[3] Символ духовного бодрствования (От Луки, 12, 35); образ пламени связан и с притчей о мудрых и неразумных девах (От Матфея, 25, 1—12). Препоясать чресла (т. е. подобрать одежду) нужно было перед физическим трудом, перед борьбой и битвой.
[4] Ср. евангельское иносказание о рабе, поставленном над другими рабами в отсутствие господина (От Матфея, 24, 45—50).
[5] В средние века верили, что второе пришествие Христа действительно произойдет в полночь. Здесь, однако, в этом образе дан не Страшный суд, а час смерти отдельного человека, понятый как встреча с судящим и вознаграждающим Христом.
[6] Имеются в виду Ева, вкусившая запретный плод, и «вторая Ева», искупившая грех первой,— дева Мария.
[7] Психея — душа (греч.)

Бальдерик Бургейльский

[1] В действительности Овидий происходил даже не из Рима, а из итальянского городка Сульмона.
[2] Парфия для средневекового автора — готовое название всякой дальней страны.
[3—4] Намек на «Науку любви».
[5] Аргус — чудовище, сторожившее Ио и зачарованное песней Меркурия.
[6] Морины — племя, жившее в низовьях Рейна.
[7—8] Фракийская царевна Филлида, не дождавшись из-за моря своего жениха Демофонта, повесилась и была обращена в дерево («Героиды», 2).
Намек на известное (по-видимому, из вторых рук) стихотворение Катулла.

Время расцвета (XII в.)

Петр Абеляр

[1] Норберт (ок. 1085—1134) — основатель ордена премонстратов, стремившегося преобразовать белое духовенство, подчинив его монашеским уставам.
[2—3] Специальные занятия в средневековых училищах.
[4] Абеляр имеет в виду не только брак с Элоизой, но и сожжение его книги на Суассонском соборе.
[5] Письмо 48.
[6] *Овидий,* Метаморфозы, XIV; «Одиссея», VIII.
[7] Имеется в виду сочинение Иеронима «Против Иовиниана», где изложена христианская этическая доктрина; Иероним в нем ссылается на «Характеры» Феофраста.
[8] *Сенека,* К Луцилию, письмо 22.
[9] Илия и Елисей — библейские пророки (III и IV книги Царств).
[10] *Иосиф Флавий,* Иудейские древности, XVIII, 1, 2. Из упоминаемых здесь иудейских сект фарисеи были сторонниками соблюдения древних обрядов и имели влияние в средних слоях населения; саддукеи выражали интересы рабовладельческой знати и высшего жречества; ессеи пользовались популярностью в крестьянстве.
[11] «О граде божьем», VIII, 2.
[12] Эпизод, упоминаемый Платоном и Ксенофонтом.

Бернард Клервоский

[1] Из цикла посланий Бернарда к князьям церкви с целью добиться в римской курии осуждения Абеляра, апеллировавшего после Сансского собора к папе.
[2] Имеется в виду возвращение Абеляра из Бретани к преподаванию в Париже в 1136 г.
[3] Основные ереси Абеляра, отмеченные на соборе в Сансе: разумная вера, или вера постигаемая (вера не предшествует пониманию, но предполагает предварительное понимание), учение о св. Троице (толкование единосущия и триединства), об исхождении св. Духа (дух святой исходит от отца и сына, но не от сущности отца и сына), о неизменяемости бога при его воплощении (в Иисусе Христе божественное — λογος — относится к человеческому, как духовное к телесному, и как дух не превращается в тело, так и бог при воплощении остается тем же, чем он был до этого) — в трактатах «Христианская теология», «Введение в теологию»; учение о сущности греха (грех заключается в сознательном решении воли, и совершение поступка не прибавляет греха), об искуплении (второе лицо св. Троицы, сын, как воплощение по-преимуществу божественной мудрости, принял крестную смерть, цель которой — высшим откровением божественной любви побудить людей к взаимной любви к богу и тем спасти человечество: учение идет в

разрез со средневековой религиозной догмой, приглушающей смысл нравственного примера, т. е. момент субъективного воздействия на человека, и выдвигающей моменты объективного удовлетворения божественного достоинства: грех Адама, оскорбив бога, предал человечество дьяволу: кровь распятого Христа искупила вину человечества и освободила его из-под власти дьявола; кровь Христа — плата за первородный грех), учение об отпущении грехов (по Абеляру, посредничество церкви в акте исповеди, покаяния перед богом, в акте отпущения грехов необязательно) в трактате Абеляра «Этика» и в «Комментариях на Послание к римлянам» послужило опорной точкой и непосредственным теоретическим обоснованием практики ранней бюргерской ереси Арнольда Брешианского (ок. 1100—1155 гг).

4 Арий (IV в.) учил, что три лица Троицы не равны друг другу, а подчинены друг другу; Пелагий (конец IV — начало V в.) — что спасение души человека зависит не от божьей благодати, а от его свободной воли; Несторий (V в.) — что Христос был не богочеловек, а человек, на которого снизошла и соединилась с ним слава божия.

5 Имеются в виду сторонники Абеляра в Италии, среди которых были Роланд Бандинелли (будущий папа Александр III) в Болонье, Гвидо ди Кастелло (будущий папа Целестин II) и иподиакон Иакинф (будущий кардинал) в Риме.

6 Намек на ученую переписку Абеляра с монахинями Параклета, предосудительно посвящавшую женщин в тайны Писания.

7 Беседа Моисея с богом на горе Синайской (Исход, 19).

8 Бернард намекает на свою помощь папе Иннокентию II (1130—1143) в его борьбе с антипапой Анаклетом II, происходившим из римского рода Пьерлеоне (Петра Льва).

9 Третья из 86 проповедей на «Песнь Песней»; в начале следующей проповеди Бернард резюмирует ее содержание: под наименованием трех лобзаний скрыты три совершенствования души — покаяние в грехах, укрепление в благе, единение в духе с богом.

10 Речь идет об индивидуальном мистическом опыте, в котором человеку свыше открывается познание религиозных истин.

11 «Пресветлый жених» и «престрогий владыка» — воплощения двух божественных атрибутов: милосердия и справедливости.

12 Эфиопянка — Суламифь, героиня Песни Песней.

13 По мистической теории любви к богу и ближнему, бог есть любовь, раскрывающаяся в милосердии и справедливости. Бог влагает любовь к себе в душу человека, и та как к высшему блаженству стремится к единению с богом, что достигается через осознание грехов, покаяние, проникновение волей божьей и исполнение его заповедей.

14 Душа, восприяв благодать через дар божий, соединяется с богом в единый дух, достигая в этом предела божественной любви; при этом, однако, она не делается богом по существу, а только уподобляется ему праведностью, знанием, красотой, блаженством и проникается волей божией, сохраняя вместе с тем и свою человеческую волю (I Коринф., 6, 17).

Религиозная поэзия XII века

1 Князь мира — Сатана, «посягнувший» разрушить дело Христа его убиением, но не «досягнувший» до цели и теперь окончательно посрамленный.

2 Когда Адам был изгнан из рая, «Господь Бог... поставил на востоке у сада эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к Древу Жизни» (Бытие, 3, 24).

3 Философия Аристотеля различает четыре вида причины: «финальную», или цель, «эффективную» («содетельную»), или причину в нашем смысле слова, «формальную», или структурный первообраз, и «материальную» («вещественную»), т. е. запас материи, из которой вещь возникает. Адам Сен-Викторский в полном согласии со средневековой схоластикой рассматривает бога

как цель, как творца и как первообраз всего сущего; но поскольку некоторые пантеистические доктрины, осужденные на Латеранском соборе в 1215 г., утверждали, что бог явил собой и четвертый вид причины, сотворив мир из своей собственной сущности, Адам спешит особо отмежеваться от этого воззрения.

[4] «Умная молитва» — молитва, произносимая умом, духовная молитва (в отличие от изустной молитвы вслух).

[5] Ср. новозаветный текст: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу... имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (К эфесянам, 2, 19—22).

[6] Назорей — Иисус Христос; его победный трофей — крест.

[7] Ср. текст псалма: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание» (пс. 18, 3).

[8] Оттуда же: «По всей земле проходит звук их, и в концы вселенной слова их» (пс. 18, 5).

[9] Имеется в виду «благая весть» Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас; возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго мое благо, и бремя мое легко» (От Матфея, 11, 28—30).

[10] Ср. примечание 5.

[11] Имеются в виду двенадцать колен Израиля по числу двенадцати библейских патриархов — сыновей Иакова: Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Завулона, Иссахара, Дана, Гада, Асира, Неффалима, Иосифа и Вениамина. Благословение этих колен описано в 49 главе Книги Бытия.

[12] Хлебы Предложения — двенадцать хлебов, возлагавшихся на золотой стол в скинии, а затем в Иерусалимском храме как жертва богу.

[13] «Наперсная святыня» — особая принадлежность одежды ветхозаветного первосвященника, украшенная двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израилевых (Исход, 28, 15—21). В средние века каждый из двенадцати камней был соотнесен с одним из двенадцати апостолов (например, яспис — с Петром, изумруд — с Иоанном, сапфир — с Андреем).

[14] День св. Стефана Первомученика приходится на 27 декабря и потому непосредственно примыкает к празднику Рождества. О Стефане, «муже, исполненном веры и силы», рассказывается в главах 6 и 7 Деяний апостолов: он был рукоположен апостолами в диаконы, выступал в спорах с ортодоксальными иудеями, был представлен на суд синедриона, произнес перед членами синедриона смелую речь и был побит камнями.

[15] Левит (т. е. отпрыск ветхозаветного колена Левинина, предназначенного к храмовому служению) — на языке средневековой символики обозначение диакона.

[16] «Стефан» по-гречески означает «венец».

[17] Ср. рассказ Деяний апостолов: «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же , будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (7, 54—56). Эти слова Стефана служат непосредственным сигналом к его гибели.

[18] Савл — будущий апостол Павел, в момент казни Стефана ортодоксальный иудей и ожесточенный гонитель христиан.

[19] По рассказу Деяний апостолов, Стефан перед смертью «преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи! не вмени им греха сего» (7, 60).

[20] Вавилон — библейский символ греховных, противобожественных сил мира.

[21] Ср. Апок., 21, 9, где Небесный Иерусалим назван «женой, невестой Агнца».

[22] Традиция так называемой молитвы Иисусовой, предполагавшей бесконечное повторение одних и тех же слов при абсолютном сосредоточении всех сил ума на имени Иисуса, особенно характерна для православной мистики. В этих стихах, приписывавшихся Бернарду Клервоскому и во всяком случае связанных с его влиянием, мы видим западное отражение этой традиции.

Хильдегарда Бингенская

[1] Ходовое для средневековой символики представление о св. Духе в образе огня («огнезрачном») имеет для себя опору в тексте Деяний апостолов, 2, 3—4: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них; и исполнились все Духа Святаго». Св. Дух есть огонь, в частности потому, что огонь имеет свойство очищать: в Книге Исайи говорится об очищении «духом суда и духом огня» (4, 4). Вызываемое приходом Духа состояние экстаза символизируется праздничным шумом тимпанов и кифар, согласно тексту 150 псалма: «Хвалите Бога... с тимпаном и хорами, хвалите Его на струнах и органе». Со времен патристики толкователи Библии любили усматривать в тимпане и струнных инструментах аллегорию души, звучащей от прикосновения музыканта — св. Духа.

[2] Сравнение устрояемой души со строящимся домом обычно для языка христианской мистики: глагол, передаваемый в русском тексте Нового Завета как «назидать», и по-гречески (οἰκοδομεῖν), и по-латыни (aedificare) означает «строить дом». Ср. слова Христа в Евангелии от Луки: «Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их.... подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, и положил основание на камне» (6, 47—48).

[3] Имеется в виду, разумеется, не чувственный, а сверхчувственный «вкус» — вкус души к мистическому созерцанию. Средневековые мистики любили говорить о пяти чувствах души, противостоящих пяти чувствам тела. Библейская опора для фразеологии Хильдегарды — слова 33 псалма: «Вкусите и увидите, как благ Господь!» (ст. 9.).

[4] «Губительное яблоко», плод с древа познания добра и зла, означающий в символической системе Хильдегарды чувственные помехи к духовной свободе. «Человекоубийство» — угашение духовной жизни, которое есть дело дьявола, называемого «человекоубийцей от начала» еще в Евангелии от Иоанна, 8, 44.

[5] «Челюсть мерзости» — неожиданный и смелый образ, обусловленный, однако, теми контекстами, в которых в Библии появляется слово «челюсть» (напр., «челюсти преисподней», пс. 140, 7).

[6] «Опыт» (experientia), т. е. непосредственное мистическое переживание — одно из кардинальных понятий в мировоззрении Хильдегарды, как и других средневековых мистиков.

[7] «Первый отпавший ангел» — Люцифер. В средние века распространено было представление, согласно которому души праведных людей должны будут восполнить у престола бога число ангелов, отпавших вместе с Люцифером: ангелы через гордыню ниспадают с небес в ад, люди через смирение восходят с земли на небеса и удостаиваются занять место павших. Символ гордыни — башня (ср. рассказ Книги Бытия о Вавилонской башне или пророчество Исайи о том, что гнев божий «грядет на всякую башню»). Но одновременно созидание башни, как и созидание дома, означает духовное самоусовершенствование (ср. в Евангелии от Луки, 14, 27—28: «И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником: ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для окончания ее?»). Эта полисемия образа башни используется Хильдегардой для противопоставления двух «башен»: ложного самопревознесения и истинного восхождения.

[8] Средневековые толкователи Библии любили представлять девственное зачатие Марии в образе росы, тихо и неприметно сходящей с небес на руно Гедеона (Книга Судей, гл. 6). В 109 псалме, истолковывавшемся как пророчество о Христе, говорится: «подобное росе рождение Твое» (ст. 3).

[9] Алый цвет — символ небесной любви и духовного горения, один из цветов Девы Марии.

[10] Речь идет о Небесном Иерусалиме, описанном в Апокалипсисе как символ высшей надмирной реальности (гл. 21). Об этом городе говорится, что он есть «чистое золото, подобен чистому стеклу», т. е. блеск золота совмещен

в его облике с прозрачностью. В средневековом словаре символов золото означает славу, блаженство, царственность Христа, духовную драгоценность созерцания.

[11] Холм и гора — постоянные символы мистического восхождения (ср. образ Моисея, поднимающегося на Синай для предстояния богу). Но для Хильдегарды св. Руперт есть «холм» и по иной, более приватной причине: монастырь, в котором Хильдегарда была настоятельницей, расположился на «Рупертовом холме» (Рупертсберг). Образ св. Руперта незаметно перетекает в образ так хорошо знакомого Хильдегарде «холма среди долины» — *того самого* холма, *ее* холма,— чтобы немедленно, в то же мгновение обернуться мистическим знаком высоты и подъема.

[12] Топаз — символ благоразумия и добрых дел, сапфир — символ надежды и созерцания.

[13] Ср. образ «лилии долин» в Песни Песней (2, 1).

[14] Выражение из Деяний апостолов, 9, 15.

[15] Ср. Послание к римлянам. 13; 14; «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Одеяние со времен античных мистерий символизирует высшую сущность, образ которой сообщается человеческому «я» и последним воспринимается.

[16] Образ «камней из потока», символизирующий души, изъятые из волн житейских и положенные в основу духовного здания (ср. выше примечание 2), соотносится сразу с двумя ветхозаветными текстами: с рассказом о том, как Иисус Навин приказал взять из середины Иордана двенадцать камней в память о том, как вода Иордана разделилась перед Ковчегом Завета (Иис. Навин, 4, 1—9), и с упоминанием «пяти гладких камней из ручья» которыми вооружился Давид перед боем с Голиафом (I Царств, 17, 40).

[17] Ср. новозаветный текст: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «...вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в него не постыдится» (Исайя, 28, 16). «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла» (I Петра, 2, 5—7). Сходным языком говорит Послание к эфесянам: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе» (2, 19—21).

[18] Одиннадцать тысяч дев — легендарные спутницы св. Урсулы, якобы блуждавшие с песнями и плясками в поисках случая к мученичеству. Урсула, дочь британского короля, убитая на обратном пути из паломничества гуннами в середине V в., обрела в легенде явственные черты кельтской водной богини. Яркий, фантастический, почти «дионисийский» колорит этой легенды очень чутко воспринят Хильдегардой.

[19] Эти непривычные метафоры вдохновлены поэтикой Песни Песней. Ср. такой пассаж: «Шея твоя — как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (7, 5). Сравнение гласа божьего с «шумом вод многих» есть у Иезекииля, 43, 2 (вот откуда пушкинское: «И голос, шуму вод подобный»).

[20] Имеются в виду гунны, перебившие девическую рать Урсулы.

[21] Стилизован характерный тон Апокалипсиса (ср., напр.: «И я видел, и слышал голоса многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев... которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение», 5, 11—12). Для понимания всего места нелишне иметь в виду, что Урсула — невеста, и пока совершается ее гибель, ее мать вышивает для нее свадебный наряд. Ее смерть — бракосочетание. В Ветхом Завете бог однажды назван «жених крови» (Исход, 4, 25).

[22] «Чрез оконные створы» показывается жених в Песни Песней (2, 9): он «мелькает», он и видим, и невидим. Средневековые мистики видели в этом

описание поведения «жениха души» — бога. Человеческая душа — перед богом всегда невеста, и поэтому Максимину в этой секвенции отводится роль Суламифи из Песни Песней.

23 См. выше примечание 2.

24 Снова реминисценция из Песни Песней: «Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы» (1, 16). Так описывается брачный терем, символизирующий душу созерцателя, в которую входит жених — бог.

25 Гиацинт и сардоникс фигурируют в описании Небесного Иерусалима (21, 20). Обычно гиацинт означал мудрость, сардоникс — любовь.

26 См. выше примечание 17. Камень — Иисус Христос: он есть «источник воды живой», как называет себя бог у Иеремии (2, 13). Жаждущий олень — символ духовной жажды, согласно словам псалма: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (41, 2).

27 Слон — символ целомудрия; единорог, зверь недоступный, но склоняющийся в лоно непорочной девы — символ воплощающегося Христа. Для нас слон реален, а единорог нереален; для Хильдегарды оба были одинаково реальны и одинаково непредставимы.

28 Эту молитву «невест Христовых» необходимо понимать двояко: в буквальном и символическом планах. «Невесты Христовы» в узком смысле — монахини. Хильдегарда сама была монахиней и была окружена монахинями, и борьба с искушениями за добросовестное исполнение монашеского обета была для нее повседневной жизненной реальностью. Но мы только что видели, что всякая душа — девическая, женская или мужская — есть в широком смысле слова невеста Христова, и под ее «девством» следует разуметь духовную отрешенность. Те души, которые потеряли эту отрешенность в корыстной привязанноти к земным благам, не достойны тайны соединения с небесным Женихом.

29 Имеется в виду плод с Древа познания.

30 Жемчужина — древний символ избранной души.

31 Кровь, пролитая Христом на кресте,— брачный дар невесте — Церкви и обручающимся с Христом душам.

32 К Христу был применен ветхозаветный мессианский символ Льва из колена Иуды (Бытие, 49, 9) уже в Апокалипсисе: «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил» (5, 5). Девственное чрево Марии у средневековых авторов часто уподобляется «запертому саду» Песни Песней (4, 12). Но Христос, зачатый однажды, вновь и вновь зачинается каждой «девственной» (т. е. чистой и отрешенной) душой, а потому «ограда Девы» есть также и эта душа.

Алан Лилльский

1 Четыре телесные влаги, по античной и средневековой медицине,— кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь.

2 Эдикт — указ римского претора, нарочито употребленный юридический термин.

3 Аналогичная игра слов — в подлиннике.

4 Протействует — т. е. меняется, уподобляясь Протею, морскому богу, знаменитому искусством превращений.

5 Девятый час — от рассвета, т. е. последняя четверть дня.

6 Триклиний — трапезная комната с тремя ложами.

7 Фиванец Тиресий, знаменитый прорицатель, в молодости чудесным образом был на некоторое время обращен в женщину.

8 Паралогизм — нарушение логических законов.

9 Кровосмесительная любовь царевны Мирры описана в «Метаморфозах», X.

11 Апостат — отступник (греч.).

12 Катефатические — предосудительные, грубые (греч.).

13 Парентеза — перебивка хода мысли замечанием «в скобках».

14 Энигматический — загадочный (греч.).

15 Меликерт — сын орхоменской царицы Ино, погибший младенцем.

Иоанн Сольсберийский

МЕТАЛОГИК

[1] Генрих I Английский, четвертый сын Вильгельма Завоевателя. Обращал особое внимание на соблюдение судебного законодательства. Умер в 1135 г., следовательно, Иоанн приехал во Францию в 1136 г.
[2] «Перипатетик из Палле» — прозвище, данное Иоанном Петру Абеляру; Палле — местечко близ Нанта, где родился Абеляр.
[3] Диалектики.
[4] Роберт из Мелэна (близ Парижа) — епископ Гирфорда в 1163—1167 гг.
[5] Совр. Болонья.
[6] Грамматик Вильям из Конша, ученик Бернарда Шартрского, учитель Генриха II Английского. Написал глоссы к диалогу Платона «Тимей» и комментарий к произведению Боэтия «Об утешении философией».
[7] Теодорик, или Тьерри из Шартра,— брат Бернарда Шартрского, был учителем в Шартре, когда Бернард был там канцлером.
[8] Адам с Малого моста; назван так по месту, где он учил (близ Малого моста через Сену). Был посвящен в епископы в Уэльсе в 1175 г., написал книгу, названную «Искусство рассуждения».
[9] Гильберт из Порре (позднее получивший прозвище «из Пуатье») был канцлером в Шартре, когда Иоанн (1137—1140) там учился. В 1142 г. Гильберт стал епископом в Пуатье.
[10] Роберт Пулл был архидиаконом в Рочестере с 1138 по 1143 г., затем кардиналом и канцлером в Риме (1144—1146).
[11] Занятия в тогдашних школах проводились по следующей системе: сначала лекция учителя, затем диспут между учителем и учениками.
[12] А именно с 1136 по 1148 г.

ПОЛИКРАТИК

[1] Ганимед. Далее таким же перифрастическим образом упомянут Актеон («Фиванский вождь»).
[2] «Энеида», IV, 160 сл.
[3] «Энеида», VI, 803—804.
[4] Речь идет о высоте созвездий на небе в период приблизительно от 1 января до 22 мая.
[5] *Ювенал,* Сатиры, V, 121—122.
[6] *Гораций,* Наука поэзии, 142.
[7] Вергилий, которого в средние века считали магом.
[8] Бытие, 25, 27.
[9] *Лукан,* Фарсалия, II, 391.
[10] Иезекииль, 32, 29—30.
[11] См. *Авл Геллий,* X, XII, 9.
[12] *Цицерон,* Об обязанностях, I, XXXI, 113.
[13] *Ювенал,* Сатиры, IV, 13—14.
[14] *Гораций,* Послания, I, VI.
[15] *Гораций,* Наука поэзии, 92.
[16] *Гораций,* Послания, II, I, 115—116.

Гвиберт Ножанский

ДЕЯНИЯ БОГА ЧЕРЕЗ ФРАНКОВ

[1] В 1095 г.
[2] Имеется в виду римский папа Урбан II (1088—1099).
[3] Псалтирь, 47, 8.

1 С 6-летнего возраста.
2 Пропуск в манускрипте.
3 На 12 году Гвиберт был отдан в монастырь Флавиньи, в котором оставался до времени избрания его аббатом в монастыре г. Ножана.
4 Имеются в виду «Буколики» Вергилия.
5 Т. е. Григорий I Великий.
6 Знаменитый Ансельм Кентерберийский (1033—1109).

Одон Дейльский

1 Т. е. из Болгарии в Константинополь.
2 В Константинополь франки прибыли 4 октября 1147 г.
3 Т. е. Людовику VII, франкскому королю (1137—1180), предводителю второго крестового похода франков.
4 Т. е. Мануила Комнина, византийского императора (1143—1180).
5 Византийский император и греки, раздраженные бесчинствами немцев на их земле, не доверяли и франкам.
6 Византийский историк Иоанн Киннам (II, 7) иначе передает этот эпизод: византийский император сидел на своем троне, а Людовик на маленькой скамеечке.
7 Т. е. Филопатион, где до Людовика останавливался Конрад III.
8 Т. е. Большой дворец, построенный Константином Великим, официальная резиденция императоров.
9 С юго-востока Мраморным морем, с северо-востока — заливом Золотой Рог.
10 Т. е. Босфор.
11 Залив Золотой Рог.
12 См.: *Константин Порфирогенет*, О церемониях византийского двора, II, 15, где описываются пиры императоров Константинополя, устраиваемые для гостей.
13 Город на юге Италии, совр. Бриндизи.
14 Город в Албании, совр. Дуррес.
15 9 октября.
16 Т. е. Годфрид, лангрский епископ с 1138 по 1162 г.
17 В предыдущем абзаце приводятся речи епископа Лангра, а также противников захвата Константинополя, настаивающих на безотлагательном продолжении похода.
18 Имеются в виду немецкие крестоносцы, которых вел Конрад III.
19 Иконий — столица сельджуков в Малой Азии.
20 Т. е. Конрад III Мануилу Комнину.
21 Т. е. на азиатском берегу Босфора. Сообщение неточно: Людовик оставался на Босфоре всего 23 дня, с 4 по 26 октября.
22 Толкования слова различны. По-видимому, это возглас побуждения к грабежу (= quot bona! quot bona!). По Дю Канжу, происходит от лат. habere и фландр. have (богатство).
23 Получив известие о разгроме немецких крестоносцев сельджуками под Иконием и об их отходе назад к Никее, франки были встревожены и удручены поражением столь сильной армии.
24 Т. е. выступили, не дожидаясь франков, которых они должны были ждать у Босфора.
25 Имеется в виду Мануил Комнин.
26 Никея — сборный пункт крестоносцев на пути в Азию; от нее до Икония 25 дней пути.
27 Рассказ неточен. Отступление началось после сражения с турками у Дорилеи, где погибло множество людей.
28 Имеется в виду затмение солнца 26 октября, считавшееся знамением несчастья (см. в конце IV гл.).
29 Т. е. в продвижении вперед.
30 К евреям, 9, 10.

Гийом Тирский

[1] *Теренций,* Андрия, I, 1, 41.
[2] *Цицерон,* О дружбе, XXIV, 89.
[3] *Цицерон,* Тускуланские беседы, I, 3, 6.
[4] Имеются в виду правители иерусалимского королевства.
[5] 14 июля 1099 г.
[6] Т. е. войско крестоносцев.
[7] Т. е. Иерусалиму.
[8] Машины для метания стрел, камней и бревен.
[9] Т. е. Годфрида Лотарингского.
[10] Нормандского герцога, одного из вождей первого крестового похода.
[11] Раймунда Сен-Жилль.
[12] Об этом говорится в гл. VIII, 5.
[13] В гл. VIII, 16 говорится о том, что крестоносцам удалось засыпать ров, подкатить к стене осадную башню и сорвать со стены две большие балки.
[14] Т. е. Годфрида Лотарингского и графов Роберта Нормандского и Роберта Фландрского.
[15] Крестоносцы.
[16] Гора на западе, близ Иерусалима.
[17] Имеются в виду защитники южной части города.
[18] В башне Давида.
[19] Т. е. войско графа Тулузского.
[20] Храма Соломона на горе Мория.
[21] Амори I, пятый король Иерусалима, правил с 1163 по 1174 г.
[22] Т. е. Балдуина III, правившего с 1143 по 1162 г.
[23] См. беседу Карла Великого с Алкуином на подобную тему, по сравнению с которой здесь заметен некоторый скептицизм, характерный для светских кругов XII в.
[24] Т. е. воздаяние.

Вильям Мальмсберийский

[1] Сильвестр II, папа римский (999—1103), ранее архиепископ Реймсский (с 984 г.) и Равеннский (в 998 г.). Прославился как ученый, философ, оратор, писатель.
[2] Абака — счетная доска.
[3] *Овидий,* Любовные элегии, III, 4, 17.
[4] Согласно поверью, необходимая предосторожность в искусстве некромантии.
[5] Барселоннет — город на юге Франции близ границы с Испанией.
[6] Лев IX, папа римский (1049—1054).
[7] История относится ко времени нормандского завоевания. Чудо это используется автором как случай оплакать союз Англии с Нормандией, который стоил Англии ее свободы.
[8] Крик возвещал о попутном ветре, которого ждал флот Вильгельма, герцога нормандского, в порту Сен-Валери для переправы в Англию.
[9] Т. е. Вильгельм I Завователь, король Англии с 1066 по 1087 г.
[10] Ла-Манш.
[11] 28 сентября 1066 г., сражение произошло 14 октября.
[12] Ср. *Светоний,* Божественный Цезарь, 59.
[13] Гарольд — последний король англо-саксонской династии. Избран королем после смерти Эдуарда Исповедника в 1066 г.
[14] Гарольд клялся уступить Англию Вильгельму, который заявил свои притязания на королевство, ссылаясь на завещание Эдуарда.
[15] См. § 228.
[16] *Цезарь,* V, гл. 14.
[17] Т. е. Вильгельму.
[18] Александру II, папе римскому (1061—1073).
[19] Т. е. просвиры.

[20] Вильгельм II Рыжий, сын Вильгельма I Завоевателя, король Англии с 1087 по 1100 г.
[21] Ланфранк, церковный деятель (1005—1089), архиепископ Кентерберийский с 1070 г.
[22] В тексте firmarius — викарий или епископ, на кого возложено обслуживание церкви.
[23] Т. е. Генрих I Боклерк, младший сын Вильгельма I, король Англии с 1100 по 1135 г.
[24] *Платон,* Письма, VII, 326 B. Сентенция изложена сокращенно.
[25] Т. е. Вильгельмом или Робертом.
[26] См. IV, 333, где рассказано о смерти Вильгельма, убитого на охоте.
[27] Наследником Вильгельма II был объявлен по договору 1091 г. Роберт Нормандский.
[28] Т. е. законы Эдуарда Исповедника.
[29] Ансельм, архиепископ Кентерберийский с 1093 г., ревностный защитник прав церкви, находился во враждебных отношениях с королями Вильгельмом II и Генрихом I, дважды лишался епископской кафедры. Умер в 1109 г.
[30] Т. е. 5 августа 1100 г.
[31] «Энеида», VI, 853.
[32] Следует перечисление этих дел.

Оттон Фрейзингенский

ХРОНИКА, ИЛИ ИСТОРИЯ О ДВУХ ЦАРСТВАХ

[1] См.: *Августин,* О граде божьем, XVII, 16.
[2] Т. е. Тацита.
[3] Имеются в виду язычники.
[4] Даниил, 11, 40.
[5] *Лукан,* Фарсалия, 1, 1/5.
[6] Т. е. в Восточную римскую империю.
[7] Т. е. Рима.
[8] *Халкидий,* Комментарий к «Тимею», Изд. Wrobel, 1896, 3, 14.
[9] Исход, гл. 3.
[10] Деяния апостолов, 7, 22.
[11] Бытие, 12, 1—3.
[12] Т. е. пошел в Египет, оставив Харан.
[13] Исайя, 13, 19—22.
[14] Иеремия, 2, 6.
[15] Т. е. из Египта.
[16] Ср. Гуго Сен-Викторский, De vanitate mundi, 2.
[17] См. пролог к кн. V; ср. VII, 35.
[18] Клирик, к которому обращен пролог «Хроники».
[19] *Гораций,* Послания, II, 1, 117.
[20] Арбат — правитель Мидии.
[21] Т. е. Цезарь.
[22] Константин I Великий (306—337).
[23] Одоакр, скир, предводитель заговора против последнего римского императора Ромула Августула в 476 г.
[24] Ругии — восточно-германское племя.
[25] Т. е. Карл Великий (768—814).
[26—27] См. примечания к статье «Ламперт Герсфельдский». Григорий VII умер в 1085 г.
[28] Имеется в виду Конрад III (время правления 1138—1152).
[29] Т. е. Вильгельм-Завоеватель.
[30] Т. е. Генрих IV.

[31] Т. е. Григорий VII.
[32] В 1076 г.
[33] Т. е. Рудольф Рейнсфельдский (1057—1080). Был избран в 1077 г.
[34] Герман Сальмский, убит в 1081 г.
[35] Т. е. Марк Юлий Филипп (Араб) — римский император (244—249).
[36] Феодосий I — римский полководец и император с 388 г.

ДЕЯНИЯ ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА I

[1] Т. е. Конрад III.
[2] Теперь Нюрнберг.
[3] На правом берегу Дуная.
[4] Т. е. в Венгрии.
[5] Т. е. Людовик VII (1137—1180).
[6] Речь идет о втором крестовом походе 1147 г., который окончился провалом при попытке овладеть Дамаском в 1149 г.
[7] От Луки, 18, 19.
[8] Иаков, I, 17.
[9] Имеется в виду Аристотель.
[10] В тексте: ad destruendum... ad construendum.
[11] I Тимофею, 5, 23.
[12] Т. е. Бернард Клервоский (1091—1153).
[13] Т. е. Евгений III, папа римский (1145—1153).

Светская поэзия XII в.

[1] Могунция — латинское название города Майнца; этимология его вполне фантастична.
[2] «Флавии — сын и отец» (императоры Веспасиан и Тит) правили Римской империей только с 70 г., т. е. спустя целое поколение после службы Пилата и казни Христа.
[3] Родан — река Рона, Лугдун — город Лион.
[4] «Лебедь прибрежный» — реминисценция из «Героид» Овидия (начало послания Дидоны Энею).
[5] Игра слов: «я люблю» по-латински amo, «я любим» — amor, разница только в одной плавной (сонорной) согласной «р».
[6] Частый каламбур — игра словами gratia (благодать) и gratus (любезный).
[7] Пирр — Неоптолем, сын Ахилла; описание его неистовств соседствует во II книге «Энеиды» с описанием пожара Трои.
[8] Красавец Ацис и безобразный циклоп Полифем были соперниками в любви к нимфе Галатее; о том, как Ацис, спасаясь от циклопа, был обращен в реку, рассказывается в XIII книге «Метаморфоз» Овидия.

Действо об Антихристе

[1] «На юг» и «на полдень» — не совсем понятное различение; во всяком случае, оба указания относятся к одной и той же сторое сцены.
[2] Указание на последующие повторения этой песни (и аналогичных) — по-видимому, перед явлением Антихриста.
[3] Реминисценция из Иеремии, 3, 23.
[4] Измаил — прародитель сарацин, представителей язычества.
[5] Отражение исторического факта: французские короли считали, что Франция имеет больше прав на императорскую корону, чем Германия, потому что империя была установлена Карлом Великим, а во Франции потомство Карла Великого правило дольше, чем в Германии.

[6] 2 Паралипоменон, 20, 17: «Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Ответные слова хора — единственные в пьесе, над которыми стоят нотные значки.
[7] В подлиннике — любопытная реминисценция слов Марии архангелу Гавриилу (От Луки, 1, 34): «Как будет это, когда я мужа не знаю?»
[8] Пс. 89, 14.
[9] Возможно, это колкость, имеющая в виду богословские споры, которыми была увлечена Франция со времен Абеляровой полемики.
[10] «Тевтонская ярость» — выражение поговорочное, восходящее к Лукану, а в средние века употребительное с XII в., преимущественно в осудительном смысле: «слепое буйство».
[11] Реминисценция из Даниила, 2, 47.
[12] Набор реминисценций из Луки, 1, 52 («Низложил сильных с престолов и вознес смиренных»), I Коринф., 15, 27 («все покорил под ноги его») и Исайя, 60, I («Востань и святися, Иерусалим»).
[13] Синагога на сцене, как и в изобразительном искусстве, выступает с покрывалом на глазах; сняв покрывало, она прозревает и обращается к Христу.
[14] Песнь Песней, I, 13.
[15] Пс. 52, 9—10.
[16] Откровенне, 19, 5.

Вальтер Шатильонский

[1] «Положить под молот» — образ Горация («Наука поэзии», 441).
[2] Мантуанский поэт — Вергилий; упоминаемый далее Сервий — известнейший комментатор произведений Вергилия.
[3] Дарий III Кодоман — персидский царь, побежденный Александром.
[4] Алкид — Геракл, Геркулес.
[5] Нектанеб — по одной из версий псевдо-Каллисфена, египетский фараон, бежавший в Македонию, маг и волшебник, проникший в виде змеи к царице Олимпиаде и ставший отцом Александра.
[6] «Энеида», VI, 852: ...Ниспроверженных щадить и ниспровергать горделивых.
[7—8] *Овидий,* «Метаморфозы», I, 149—150: ...И дева Астрея.
С влажной от крови земли ушла, из бессмертных последней.
[9] Отпрыск Ахилла — Неоптолем, один из разрушителей Трои.
[10] Стикс — река в северной Аркадии; считалось, что под землей она протекает через царство мертвых.
[11] Пор — индийский царь, побежденный Александром.
[12] Аверн — озеро в Кампании, считавшееся входом в подземное царство («Энеида», VI).
[13] Антипатр — один из старейших полководцев Александра.
[14] Под «Мемноном» метонимически понимается Египет, под «Таксилом» — Индия.
[15] Этнейские братья — гиганты, боровшиеся с богами и брошенные на казнь под Этну; Пелор — один из великанов, выросших из зубов дракона при основании Фив; Тифон — самый страшный из гигантов, стоголовое чудовище.
[16] Пердикка — один из старших полководцев Александра, регент после его смерти.
[17] Птолемей — один из диадохов, будущий царь Египта.
[18] Пиериды — Музы: от македонской области Пиерии.

Поэзия вагантов

[1] От Матфея, 28, 19: слова Христа, отправляющего апостолов обращать мир в истинную веру.
[2] I Фесал., 5, 21: «все испытывайте, хорошего держитесь».

[3] Мейсенцы — жители восточной марки на славянской границе, свевы — швабы, батавы — голландцы.
[4] Ср. От Матфея, 10, 10: «не берите с собою... ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Вагантский протест против роскоши.
[5] Эти три стиха даны в переводе Б. И. Ярхо (вставленном им в его неизданную пьесу «Расколотые», 1941).
[6] От Матфея, 25, 32—33: «...как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую».
[7] Имена трех парок: Клото прядет жизненную нить, Лахеза мерит судьбы, Атропа режет нить.
[8] Дациан — имя палача из легенд о мучениках.
[9] Паламед назван как изобретатель игры в кости, Ганимед — как противоестественный развратник.
[10] Аквилон — северный ветер, Нот — южный.
[11] Исав, брат Иакова, назван в библии «косматым» (Бытие, 25, 25).
[12] Имя «Флора», традиционное в средневековой любовной поэзии, означает «цветок»; игра слов подлинника передана не полностью.
[13] Мать Орфея — муза Каллиопа.
[14] Аркадский бог — Меркурий, рожденный в Аркадии, проводник душ в царство мертвых.
[15] «Плач-река» — Ахерон.
[16] Конец стихотворения не сохранился.
[17] Лукан, не успевший до смерти закончить свою «Фарсалию», и Вергилий, 10 лет работавший над «Энеидой» и не считавший ее завершенной, названы как образцы поэтического усердия.
[18] Такая характеристика поэтов близко следует словам Горация в послании к Августу («Послания», II, 1).
[19] Реминисценция из Горация, упоминавшего о пьянстве отца римской поэзии — Энния («Послания», I, 19, 7).
[20] Имя «Регинальд» (Рейнальд) Архипиита производит от латинского regius «царский».
[21] Ср. Иов, 13, 25; Исайя, 64, 4.
[22] «Дом на камне» — из Матфея, 7, 24; «ручеек проточный» — из Горация, «Послания», I, 2, 42—43.
[23] Ср. Премудрость Соломонова, 5, 10 сл.
[24] От Матфея, 7, 13: «Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими».
[25] Реминисценция из Овидия, «Любовные элегии», II, 4, 32: «Тут Ипполита возьми — станет Приапом и он» (Ипполит — традиционный образ чистого девственника). «Башня Добродетели» (в подлиннике «башня Ариции» — нимфы-невесты Ипполита?) — неясный намек.
[26] Это знаменитейшее место всей вагантской поэзии также является парафразой Овидия («Любовные элегии», II 10, 35—38):

Мне же да будет дано истощиться в волнениях страсти,
Пусть за любовным трудом смерть отпускную мне даст,
И со слезами пускай кто-нибудь на моем погребенье
Скажет: «Кончина твоя жизни достойна твоей!»

(Перевод С. В. Шервинского)

[27] От Иоанна, 8, 7— известный рассказ о Христе и грешнице.
[28] I посл. Петра, 2, 2.
[29] Опять обращение к Регинальду Кельнскому.
[30] От Матфея, 5, 15.
[31] От Луки, 6, 30: «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад».
[32] Традиционный образец милосердия — св. Мартин Турский, отрезавшнй нагому нищему половину своего плаща.
[33] О «лепте вдовицы» — От Матфея, 12, 42.

[34] Контаминация — I Коринф. 13, 13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» и Второзак. 11, 14: «И ты соберешь хлеб свой и вино свое и елей свой».
[35] Отрок Гиезий, слуга пророка Елисея, пытавшийся брать взятки с тех, кого благодетельствовал его хозяин (IV Царств, 5, 20 сл.) считался, наряду с Симоном Волхвом, зачинателем симонии; упоминается он, однако, редко и главным образом в порядке ученого щегольства.
[36] «Церковь — невеста божия» — традиционный образ, восходящий к аллегорическому толкованию Песни Песней.
[37] Притчи Соломоновы, 30, 15: «У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» (по традиционному толкованию — роскошь и алчность).
[38] Исайя, 62, 1.
[39] Вальтеру Шатильонскому принадлежит ставшая хрестоматийной гексаметрическая строчка:

Сцилле во власть попадет, кто хочет избегнуть Харибды
(«Александреида», 5, 301).

[40] Геласий I, папа (492—496), заботившийся об авторитете римских постановлений для всей церкви.
[41] В подлиннике игра слов, объясняемая тем, что имя Грациана, «отца церковного права», означает «благодатный».
[42] Темное место в стихотворении, с намеком на не менее темное место из книги пророка Захарии, 5, 7.
[43] В подлиннике — макароническая смесь французских слов с латинскими.
[44] Во время церковного раскола между папой и антипапой в 1159—1177 гг. Франция поддерживала «законного» папу Александра III; сам Александр посещал Францию в 1162—1165 гг.
[45] Пс. 18, 3: «Ночь ночи открывает знание».
[46] *Ювенал*, 10, 22: «Идя без клади, поет и разбойников встретивший путник» (популярная в средние века цитата).
[47] Кардинал Петр, в 1171—1175 гг. числившийся епископом в Мельдах (Мо близ Парижа), но в должность так и не вступивший (перевод здесь неточен); отсюда — датировка стихотворения.
[48] Папа Александр III (1159—1181); эпитеты, прилагаемые к нему, восходят к гимнам в честь Богоматери.
[49] См. примечание 34.
[50] Пс. 38, 2: «Буду обуздывать уста мои...»
[51] Начальные стихи, быть может, перенесены в это стихотворение из какого-то другого, направленного не против симонии, а против лицемерия. Антитеза «мед — желчь» (по-латыни эти слова созвучны) — античного происхождения.
[52] Нагромождение каламбуров, лишь отчасти переданное в переводе.
[53] В подлиннике обыгрывается французское слово «paie, paie» — «плати, плати», откуда выводится иронической этимологией слово «папа».
[54] Образ Тития взят из описания загробных мук в «Энеиде», VI, 595 сл.
[55] Подземный бог Плутон и бог богатства Плутос часто смешивались в средние века.
[56] Исайя, 40, 3; отсюда этот образ перешел в Новый Завет (От Матфея, 3, 3) и получил широчайшую популярность.
[57] К римлянам, 5, 15: «Смерть царствовала от Адама до Моисея...» и т. д.
[58] Симон Волхв, по «Деяниям апостолов»,— чародей, при виде апостольских чудес пожелавший купить у апостолов за деньги их дар чудотворства; от его имени образовано слово «симония». Предание о том, что Симон погиб, попытавшись полететь по воздуху, сложилось позднее.
[59] Одно из самых популярных стихотворений обличительной поэзии средневековья; число и порядок стихов в нем сильно разнятся в разных рукописях. Предлагаемый перевод сделан по тексту Буранского сборника.
[60] Образ слепца, ведущего слепцов,— библейский (От. Матфея, 15, 14 и др.), образ осла с лирой — античный (пословица); характерен для идеологии вагантов презрительный стих о мужиках.

61 «Вывернутые наизнанку» традиционные образы библейской и античной истории.

62 В других рукописях вместо женоненавистника Аристотеля упоминается ученик Сократа — любвеобильный Алкивиад.

63 Лиэй — Вакх, бог вина.

64 Эти три стиха даны в переводе Б. И. Ярхо (процитированы в его вступительной статье к переводу «Песни о Роланде»).

65 Строфы 5—8 (и особенно строфа 6 с ученым объяснением физиологии сна) некоторыми издателями считаются позднейшим добавлением.

66 Филомела — унаследованное от античной мифологии название соловья.

67 Имеется в виду знаменитое начало «Федра» Платона, известное средневековой Европе из вторых рук через Цицерона.

68 Свевы — латинское название швабов.

69 Припев песни оставлен без перевода.

СОДЕРЖАНИЕ

Памятники
средневековой латинской литературы

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР

Редактор издательства *Л. М. Стенина*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Р. Г. Грузинова*

Сдано в набор 2/V 1972 г.
Подписано к печати 12/X 1972 г.
Формат 60×90[1]/16. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 35,0. Уч.-изд. л. 38,2
Тираж 12000. Тип. зак. 550. А-12205
Цена 2 р. 43 к.

Издательство «Наука».
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
4	2 св.	М. Л. Гаспарова	М. Л. Гаспаров
152	15 св.	творин	творит
176	2 сн.	отборе	объеме
208	11 св.	1901	1091
314	6 сн.	оэмы	поэмы
319	16 сн.	воздыхание	воздыханье
340	15—16 сн.	едино- оборачивает.	единообразие Диониной грамматики, он коснеет в порочной инверсии;
343	13 св.	вразумительное	невразумительное
349	14 сн.	но не так уж	он не так уж
361	8 св.	могло	не могло
415	7 св.	поправший	поправый

Памятники средневековой латинской литературы X—XII веков.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА X–XII веков

2 р. 43 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА X–XII веков

ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛАТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X–XII веков

Книга представляет собой систематический обзор средневековой латинской литературы периода ее расцвета. Она состоит из двух разделов: «Латинская литература между империей и папством (X—XI вв.)» и «Время расцвета (XII в.)». Каждый раздел включает большую обзорную статью с характеристикой историко-литературного периода, ряд очерков об отдельных авторах и жанрах и образцы переводов художественных памятников, публикуемых на русском языке впервые.

В книге собран большой материал, освещающий культурную жизнь эпохи, показана преемственность гуманистических традиций в европейской культуре, раскрыто художественное богатство эпохи, обычно представляемой скудной и единообразной, впервые дается марксистское освещение этому очень сложному и противоречивому периоду истории культуры. Среди представленных в книге авторов — Абеляр, Бернард Клервоский, Хротсвита, Хильдегарда Бингенская, Иоанн Сольсберийский, Алан Лилльский и др.